Кнут

ГАМСУН

Голод

Пан

Виктория

Плоды земли

Кнут ГАМСУН

ГОЛОД
•
ПАН
•
ВИКТОРИЯ
•
ПЛОДЫ ЗЕМЛИ

АСТ
ИЗДАТЕЛЬСТВО

УДК 821.113.5
ББК 84 (4Нор)
Г18

Knut Hamsun

SULT
PAN
VICTORIA
MARKENS GRØDE

Вступительная статья Т. Боровинской

Примечания А. Сергеева

Перевод с норвежского Ю. Балтрушайтиса под ред. В. Хинкиса («Голод»), Е. Суриц («Пан»), Ю. Яхниной («Виктория»), под редакцией Н. Федоровой («Плоды земли»)

Печатается с разрешения издательства Gyldendal Norsk Forlag AS.

Гамсун, К.
Г18 Голод. Пан. Виктория. Плоды земли : [романы: пер. с норв.] / Кнут Гамсун. — М.: АСТ: АСТ МОСКВА, 2010. — 762, [6] с.

С.: ЗФМК
ISBN 978-5-17-057242-7 (ООО «Издательство АСТ»)
ISBN 978-5-403-02245-3 (ООО Издательство «АСТ МОСКВА»)
Компьютерный дизайн С.В. Шумилина

С.: БМЛ-2
ISBN 978-5-17-057243-4 (ООО «Издательство АСТ»)
ISBN 978-5-403-02246-0 (ООО Издательство «АСТ МОСКВА»)
Компьютерный дизайн Н.А. Хафизовой

С.: ЗФМК(портрет)
ISBN 978-5-17-062253-5 (ООО «Издательство АСТ»)
ISBN 978-5-403-02247-7 (ООО Издательство «АСТ МОСКВА»)
Компьютерный дизайн С.В. Шумилина

В книге представлены лучшие произведения классика норвежской литературы Кнута Гамсуна.

УДК 821.113.5
ББК 84 (4Нор)

© Gyldendal Norsk Forlag AS, 1890, 1894, 1898, 1917
© Вступительная статья. Т. Боровинская, 2009
© Примечания. А. Сергеев, 2009
© Перевод. Е. Суриц, 2009
© Перевод. Ю. Яхнина, наследники, 2009
© ООО Издательство «АСТ МОСКВА», 2009

«Певец любви и природы»

Жизнь Кнута Гамсуна часто сравнивают с авантюрно-приключенческим романом. Вероятно, немалый вклад в подобное мнение внесли книги воспоминаний (и отчасти биографии), написанные его сыном Торе Гамсуном и женой Марией Гамсун. Ключевым высказыванием для восприятия его творчества станет написанное Марией Гамсун: «Кнут имел среди людей свое предназначение, уготованное ему Творцом, давшим также и силы нести свой крест. Поэтому не надо жалеть его и прощать, он никогда в этом не нуждался». Единственное, что действительно необходимо, — понять его характер, и нет ничего лучше для этого, чем прочесть его книги.

Кнут Педерсен родился 8 августа 1859 года в семье деревенского портного в норвежских горах. Однако вскоре, спасаясь от нужды, семья переехала далеко на север, за Полярный круг, на хутор Гамсунд, принадлежащий дяде Кнута. Суровая северная природа и тяжелый крестьянский труд на хуторе не мешали Кнуту, двум его братьям и двум сестрам почувствовать себя счастливыми. Первые свои литературные труды он стал подписывать названием родного хутора, но однажды при публикации статьи в наборе выпала последняя буква. Получившийся вариант «Гамсун» понравился автору и стал использоваться им в дальнейшем. Так, по случайности, родился псевдоним одного из известнейших европейских писателей и, пожалуй, самого известного норвежского писателя. Совсем не случайно, однако же,

что источником этого литературного имени стало название родных мест писателя: это имя со времен выхода его самого известного произведения «Плоды земли», отмеченного Нобелевской премией, ассоциируется с проповедью возвращения к природе и своим корням.

Детское счастье Гамсуна оказалось недолгим, семья не могла расплатиться с долгами, и Кнута отдали в помощь заболевшему дяде. Дядюшка его, морализатор и проповедник, был при этом человеком грубым, непомерно требовательным к окружающим, включая своего племянника-воспитанника. Отрадой и утешением Гамсуну стала приходская библиотека, которая находилась в ведении его родственника. Здесь он получил свой первый опыт чтения, в ней почерпнул первые образцы для своих литературных трудов. Тяжелая болезнь дяди освободила его от попреков и побоев, а также от тяжелой работы — ему почти полностью пришлось заменять дядю в конторе. И лишь спустя пять лет подросток отправился в большой мир: перепробовал множество профессий, какими только может заняться молодой человек, не имеющий весомого образования и связей, но готовый познать мир, — работал помощником приказчика в лавке, был торговцем-коробейником, помощником ленсмана, учетчиком на строительстве дорог.

Попробовал он себя и в литературном труде: уже в 1877 году удалось опубликовать маленькую повесть «Загадочный человек. Нурланнская любовная история», через год — балладу «Свидание». Эти драматические истории, написанные в духе лубочной литературы и народных книг того времени, имели успех у читателя. Успех ободрил юного автора, и тот решил посвятить себя писательству. Получив финансовую поддержку, он написал еще одну любовную повесть из сельской жизни, названную «Фрида», и отправился в Копенгаген — центр духовной жизни Скандинавии того времени. Однако столичные издатели оказались требовательнее сельских читателей: повесть нигде не брали. Истощив запасы, Гамсун возвращается в Норвегию, поселяется в Христиании (нынешний Осло) и снова обивает пороги издателей. Величайший норвежский литературный авто-

ему приносит свою книгу юный автор, просмотрев рукопись, предлагает ему податься в актеры: внешность у него видная, подходящая для сцены, и склонность к драматизму для театра больше годится, чем для серьезной литературы. Гамсун сжигает рукопись, но не сдается; пытается подработать литературной поденщиной: время от времени ему удается продать статью или заметку то в одну, то в другую газету Христиании. Ситуация становится все тяжелее, и единственным путем для Гамсуна, как и для многих норвежцев, оказывается эмиграция — в 1882 году он уезжает в Америку. Несмотря на полубродяжью жизнь и тяжелую грязную работу, которой он вынужден был заниматься в чужой стране, годы эмиграции полезны для писательского становления — в первую очередь сближением с образованными кругами норвежской эмиграции, активным пополнением образования. Через два года крайнее физическое истощение заставило его вернуться на родину для выздоровления. Следующие два года прошли в совершенствовании образования и стиля, Гамсун даже пытался выступать с публичными лекциями о Флобере, Золя и Ибсене — еще новых, но уже признанных именах. Однако в лекциях этих больше пылкости и красноречия, нежели эрудиции или анализа. Еще одна фигура, захватившая его воображение в тот период, оказалась роковой для дальнейшей судьбы Гамсуна: он увлекся Ницше, затем Германией, а значительно позднее и идеями национал-социализма.

Через некоторое время Гамсун вновь вынужден уехать в Америку, но на сей раз его жизнь была немного легче, он сотрудничал в норвежских эмигрантских изданиях — и писал, писал, совершенствуя свой стиль, разрабатывая свои темы и приобретая собственный взгляд на мир. Позднее он воплотил свой американский опыт в новеллах «Закхей», «В дни скитаний», «Женская победа» и других — о тяжелой жизни и суровых нравах на фермах, затерянных в степях, о безжалостности больших городов. Итог его наблюдений вылился в большую книгу очерков «Духовная жизнь Америки» (1888) и отразил стойкое неприятие американского образа жизни, образа мыш-

ления, тезиса о «равенстве возможностей» и «американской свободе», которые автор считает не более чем выдумкой, мифом. Это неприятие «американской» цивилизации писатель обнаруживал до конца жизни, противопоставляя ей позднюю европейскую традиционную, в частности германскую, культуру.

По возвращении на родину печатавшиеся в газетах очерки из книги вызвали большой интерес к автору, и его жизнь стала несколько легче. Признание критиков и высочайшую оценку его писательского дарования принес Гамсуну первый роман «Голод» (1890) — произведение, отразившее его опыт полуголодного и нищенского существования, приведшего к эмиграции.

Роман, с одной стороны, показывает личность художника — избранного, одаренного тонким чувствованием человека, знакомого нам по произведениям писателей-романтиков, а с другой — дает детальные, почти мелочные, зарисовки действительности, свойственные, пожалуй, писателям «натуральной школы». В этом нет противоречия — повествование от первого лица позволяет передать тончайшие самонаблюдения героя, сложные психические состояния, переходы настроения. Внешний мир, показанный через призму психологических состояний героя и являющийся их источником, предстает в романе словно увиденным через лупу: острота чувств художника, умноженная, увеличенная до предела длительным голоданием, оказывается линзой, которая сдвигает и делает выпуклыми отдельные фрагменты реальности. Голод, состояние аномальное для тела, искажает и душевное состояние, выводит за пределы обыденного, обычного способность и физического, и внутреннего зрения. Задачей Гамсуна, однако, не было показать и раскритиковать состояние мира и его социальное устройство. Традиционная форма повествования в его романе превращается в своего рода предмодернистский эксперимент, цель которого именно в изображении подобного преломления видения. Предвосхищая романы М. Пруста, В. Вулф и Дж. Джойса, написанные в XX веке, Гамсун обращает свой взор и писательское мастерство на пере-

...к отдельно взятого, индивидуального, уникального человека. Мы не найдем в романе обобщений ни относительно судьбы художника, ни относительно неблагополучия и жестокости мира, нет здесь и философствования героя. Ничего, кроме детальнейшего — эпического не по широте, а по степени конкретики — отражения личного взаимодействия человека, находящегося в пограничном психическом состоянии, и мира, деформированного его искаженным зрением. Человек предстает как полностью отделенная от мира частица, отделенная им самим, а не отброшенная миром: герой закрывается от окружающих, отказывается от помощи, скрывает бедственное свое положение не только от близких или знакомых, но даже и от совсем незнакомых людей. Даже любовь не способна соединить людей, ибо оборачивается в романе почти фарсом, — она демонстрирует ту же разделенность и непонимание, а точнее, ложное понимание, несовпадение чувств, мыслей и побуждений. Этот мотив одиночества человека и его постоянного несовпадения с другими людьми и миром в целом становится характерным для Гамсуна, находя отражение и во многих других его произведениях.

После появления романа «Голод» Гамсун стал вести деятельность профессионального писателя. Появившиеся в 1892 году «Мистерии» укрепили его репутацию и выявили появление новых граней художественной манеры. Драматичное, напряженное, основанное на конфликтах и столкновениях, действие его романа прикрыто вуалью тайны (отсюда и название романа). Кажущееся ровным и ничем не примечательным течение провинциальной жизни под взглядом пытливого наблюдателя обнаруживает скрытые глубины и водовороты. Вмешательство главного героя Нагеля, художника, бродяги, о чьем прошлом, да и настоящем, ничего не известно, превращает его из наблюдателя в действующее лицо, столь же двойственное в своем поведении, как и жители взбаламученного им городка. Жизнь расслаивается, обнажая для Нагеля-наблюдателя тайное и скрываемое людьми, но в то же время обнажая для читателя и свойственную ему двуслойность, склонность утаивать

от окружающих истинные мотивы и неискренность, оборачивающуюся непрочностью и ненадежностью. Уже здесь можно найти мотивы, которые позднее будут развиты в романе «Плоды земли»: отсутствие почвы — будь то земля, традиция или собственные твердые убеждения — под ногами, отказ от корней и укорененности лишают человека внутреннего покоя, делают его ненадежным и для него самого, и для окружающих.

Следующие два романа Гамсуна — почти сатирического плана «Редактор Люнге» (1892) и «Новые всходы» (1893) — развивают некоторые мотивы «Мистерий» и подвергают резкой критике попытки политического преобразования мира и среду художественной богемы и интеллигенции. В этих произведениях отчетливо обозначаются народнические и национальные чувства Гамсуна, склоняющегося к почвенничеству. В «Новых всходах» появляется и персонаж, выражающий авторские симпатии и умонастроения, — хранитель и защитник традиций сельский учитель Кольдевин, испытывающий недоверие к городской цивилизации. Социальная проблематика главенствует в драматической трилогии «У врат царства» (1895), «Игра жизни» (1896), «Вечерняя заря» (1898), которую объединяет образ Ивара Карено, интеллектуала-бунтаря. Три произведения представляют собой историю развития его мировоззрения, достаточно типичную, если не сказать банальную. В первой части это непреклонный борец с общественным мнением, верный своим взглядам, не желающий отказаться от них даже в обмен на все блага (царство); двадцать лет спустя, в третьей части, — лояльный обыватель, считающий воззрения своей молодости заблуждением. Воззрения Карено, о которых идет речь, тоже не столь уж оригинальны: он осуждает либерализм и гуманизм интеллектуалов-профессоров, мечтая о приходе нового повелителя, предводителя для человеческого стада (дань ницшеанским увлечениям Гамсуна). Ново лишь одно: он ненавидит пролетариат и считает, что его надо уничтожить, поддерживая крестьянство; сохранение аграрного образа жизни, с его точки зрения, охранит страну от капитализма со всеми его недостатками.

становления и развития мировоззрения самого автора, не была воспринята благосклонно читающей публикой. А вот два небольших романа, посвященных любви, «Пан» (1894) и «Виктория» (1898) имели значительно большую популярность, пережившую автора.

Название романа «Пан» напрямую не связано с действием: это греческое божество единожды упоминается при описании табакерки главного героя, на которой вырезана фигурка Пана. Уродливый лесной божок покровительствовал всем лесным и сельским занятиям, даровал плодородие почве, скоту и людям. Он должен покровительствовать и герою романа, лейтенанту Глану, живущему в лесной сторожке со своим псом Эзопом. Здесь Глан ощущает свободу и покой в этой одинокой жизни, видит возможности естественного существования среди природы. Его несколько забавляют попытки окружающих манипулировать им: зависимость от природы и ее ритма воспринимается им как единственно возможная и необходимая, зависимость от людских настроений и желаний — как избыточная и нелепая. Единственная зависимость, справиться с которой для Глана оказалось трудно, — это зависимость от любви, странного, нерационального чувства. Откровенная нецелесообразность и эксцентричность поведения его возлюбленной Эдварды будоражат его, заставляют делать нелепости, совершать поступки столь же нецелесообразные. В то же время столь же нерациональное, жертвенное поведение любящей его Евы лишь поверхностно трогает его, не касаясь глубин души. Любовная одержимость героя, ведущая к метаниям и нелепому поведению, сравнима с той паникой, которую, по мифу, насылает Пан в полуденной тишине. В состояние природного умиротворения и душевного покоя вторгается неведомая и нерегулируемая сила, равная природной силе.

Романтическая личность Глана, движущегося от идиллии к драме в повести «Пан», вновь появляется в новелле «Смерть Глана», своеобразном эпилоге, обращающем драму в трагедию. Доводя до предела слабость человека перед лицом любви, Гам-

сун превращает благородного и вызывающего сочувствие героя в манипулятора, который, будучи слишком слаб, чтобы бороться со своей страстью, искусно играет чувствами других людей, вынуждая застрелить себя. Эгоцентричность героя, в романе еще завуалированная, романтизированная, в финальной новелле выходит на первый план.

«Виктория» рассказывает о другой любви — той, которую можно подчинить и спрятать, но лишь до времени. История несостоявшейся любви сына деревенского мельника Юханнеса и дочери землевладельца Виктории проникнута лиризмом: она разворачивается в мире, который растет вместе с героями, — от их детства в маленьком деревенском мирке к юности, связанной с путешествиями и большим городом. Социальное неравенство лишь кажется основным препятствием для того, чтобы их любовь состоялась. Главное, что им мешает, — их собственные чувства и убеждения. В первую очередь это касается Виктории, чье имя и вынесено в название; хотя значительная часть событий показана как бы глазами Юханнеса, рассказана его голосом, именно Виктория определяет характер их отношений — ее убежденность в своем долге перед родителями, которых она хочет спасти от грядущей нищеты удачным браком, ее честность перед самой собой, ее нежелание, а возможно, и неспособность увеличивать притворство и ложь. Если в «Пане» объяснение поведения Эдварды принадлежит мужчине, доктору, то в «Виктории» слово дано самой женщине — в предсмертном письме, текст которого завершает роман, она сама признается в любви Юханнесу, раскрывает все чувства и сомнения, объясняет все свои поступки.

Произведения, написанные Гамсуном в XX веке, менее лиричны, повествование в них более объективно и эпично. Можно сказать, что в них нет столь явного разграничения социальной критики и психологического исследования, как это было в его творчестве 1890-х годов. Новый период писательского развития Гамсуна открывает роман «Мечтатель» (1904) — зарисовка нравов и быта небольшого рыбачьего поселка, в котором

обитает главный герой, телеграфист Роландсен, которого за его экстравагантное поведение считают сумасбродом и мечтателем. Экстравагантность же заключалась в независимости суждений и склонности к поиску нового. Критический взгляд Роландсена на окружающий мир не приводит к их абсолютному и непреодолимому противостоянию, у романа счастливый конец — существенное отличие от всех предыдущих произведений Гамсуна. Роман «Мечтатель» уже в явной форме показывает приверженность автора к патриархальным формам жизни. Она заметна и в следующих романах — «Бенони» и «Роза», — написанных в 1908 году, где вновь возникают образы Эдварды и ее отца Мака из романа «Пан».

Однако при всей симпатии к сельскому традиционному укладу и терпимости к необходимым умеренным изменениям в нем Гамсун, конечно же, ощущал, что этот мир уходит в прошлое. Его интересовало то, что может прийти на смену — и что сможет по-настоящему заменить утрачиваемое равновесие. Исследованию этого вопроса посвящены две небольшие повести — «Под осенней звездой» (1906) и «Странник, играющий под сурдинку» (1909). Художник, чей возраст перешел за пятый десяток, вновь отправляется в странствие, как в годы юности, и рассказывает о том, что нового показывает ему жизнь. Однако вновь и вновь автор возвращается к проблеме вечной — проблеме закрытости человека, которая ведет к взаимному отталкиванию и непроницаемости, к неспособности преодолеть их даже для любящих друг друга людей. В «Страннике» этот мотив возникает вновь, в романе «Дети времени» (1913) и продолжающем его «Местечке Сегельфосс» (1915) он изображается как характерная особенность человеческих отношений и примета новых «сыновей века».

Тема странничества человека в мире, растворенности в потоке жизни становится основной в этот период. В романе «Последняя глава» Гамсун выразит эту мысль совершенно четко: «Да, все мы бродяги на земле». Вечный поиск смысла становится для современности тем самым искомым смыслом, заме-

няя данные традицией истины и смыслы. Гамсун предлагает ему альтернативу принятия жизни и растворения в ней. Последующие романы своей формой воплощают его новую философию: повествование превращается в подобие жизненного потока, движется линейно от прошлого к настоящему через всю совокупность крупных и мелких событий. Как в романе «Голод» он использовал технику, близкую «потоку сознания», развитую модернистами, так в своих романах 1910-х годов он приближается по поэтике к модели «романа-реки», «романа-потока», свойственного европейской литературе между Первой и Второй мировыми войнами. В последующих романах повествование строится не вокруг одного или двух персонажей, но имеет более сложную сюжетную структуру и идейно-этический центр, объединяющий параллельные линии.

Образцом такого произведения может служить всемирно известный роман Кнута Гамсуна «Плоды земли» (1917), удостоенный в 1920 году Нобелевской премии в области литературы. В презентационной речи Нобелевского комитета говорилось, что этот роман можно назвать по-настоящему классическим, ибо он не копирует действительность, но воплощает значимое из нее в форме, которая будет иметь ценность даже для последующих веков. И хотя, как всегда, решение комитета носило во многом политический характер и поощряло скандинавского писателя, отразившего в своем романе подлинную атмосферу Севера, форма и стиль этого романа и оказались созвучны времени, и отвечали мировоззрению автора, которое он не изменил и до конца своей жизни.

Главный герой Исаак в начале романа — бродяга, странник, который приходит неведомо откуда в поисках своего места. Он забредает далеко в неосвоенные и безлюдные места, пробирается через чащи и болота, ведомый чутьем, останавливается и начинает осваивать пустошь: валит лес, корчует пни, убирает валуны, пашет освобожденную землю и живет в землянке. Дары земли и плоды трудов своих он меняет в ближайшем (всего два дня ходу) поселении на нужные ему товары и скот. Из поселка

за перевалом к нему приходит женщина Ингер. Вместе они начинают жить и трудиться, хозяйство их становится все обширнее и богаче, жизнь по-прежнему размеренна и подчинена природным циклам и сельскому календарю. Однако упорный труд ведет к процветанию, а оно — к богатству и славе, а значит, и ко все более тесному общению с людьми. Люди, часть другого, более широкого мира, требуют, чтобы дети были окрещены, а их отец и мать женаты. Люди, пусть и с запозданием, узнают, что Ингер задушила свою дочку, родившуюся, как и она сама, с заячьей губой, и суд наказывает ее — парадоксальным образом наказывает приобщением к цивилизации, ибо из городской тюрьмы она привозит умение читать и писать, швейное ремесло, красивые платья, знание моды и городские привычки. Люди, даже негласно, настаивают, что дети должны пойти в школу. Люди становятся все ближе: растет поселок, приходят власти и требуют оформить документы на землю, появляются новые хутора, строятся дороги, и путь до ближнего поселения уже занимает несколько часов, а не суток. Внешний мир врывается на пустошь и увлекает то одного ее обитателя, то другого, они то уходят, то возвращаются и снова уходят. Однако все внешние вторжения лишь создают рябь на поверхности жизни, не меняя ее глубинного течения. Пока люди остаются на своей земле и заботятся о ней, их жизнь устойчива и благополучна, они способны принять все изменения времени и приспособиться к новшествам.

Плохо приходится тем, кто оторвался от корней. Старший сын Исаака Сиверт работает на земле, его не привлекает даже возможность переехать в небольшой городок к своему богатому престарелому родственнику, от которого можно получить наследство и у которого жизнь не столь тяжела, как у крестьянина. Младший сын Элесеус, с детства любивший читать книги, рано попал в ближний город и стал работать в доме чиновника. Его тянуло подальше от родного дома, и переезд в большой город приучил его к приятной и красивой жизни — и лишь по видимости легкой жизни, — обеспечить которую своим тру-

дом он был не в состоянии. Бесславно вернувшись домой, он пытается играть роль отдыхающего горожанина, потом местного купца, но без помощи родных и близких людей не умеет этого делать. В конце концов он уезжает в поисках счастья в Америку, и дальнейшая судьба его неизвестна.

Финала как такового, завершения сюжета в романе нет, ибо жизнь продолжается, природа вновь расцветает, люди осваивают все новые земли, на смену старшему поколению приходит молодое, и оно способно так же работать на своей земле, как и прежнее. Долгая жизнь Исаака не более чем часть общего течения жизни, измеряемого небольшими фрагментами между повторяющимися событиями сельских работ или редкими событиями чьих-то приходов и уходов. Часы для него — больше атрибут зажиточности или красивой городской жизни, а вовсе не необходимый инструмент для отсчета времени. Как жизнь человека есть некоторая часть общего, так и сам он предстает как обобщенный представитель целого: крестьянства, купечества, власти, несчастных людей, поддавшихся соблазнам города и зараженных его суетностью.

И все же автор не создает типические характеры: его сельский мир вокруг Исаака не столько отражение реально существующего мира современной ему Норвегии или Европы, сколько модель мира желаемого, воображаемого. В своем романе Гамсун создает пусть и не идиллический, но вполне утопический сельский мир, живущий по идеальным вневременным законам. Труд крестьянина тяжел, но благодарен; при некотором везении и хорошем расчете даже плохие природные условия не так уж опасны для урожая; постоянный труд ведет к процветанию; умеренная религиозность изначально свойственна крестьянину и не связана со специальными церковными ритуалами; достижения цивилизации, механизмы облегчают крестьянский труд и ведут к еще большему процветанию. К концу романа Исаак, изначально наделенный основательностью и весомостью утеса (читай: краеугольный камень), становится кем-то вроде патриарха, обладающего большим авто-

ритетом для местных жителей. Он и сам зачастую ощущает себя носителем мудрости, почти природной или божественной, оценивая про себя (не публично, редко даже вслух) поступки и намерения людей.

Послевоенные произведения Гамсуна отражают как общеевропейские мрачные настроения, так и собственный скептицизм писателя относительно прогресса. Роман «Женщины у колодца» (1920) — одна из самых мрачных его книг. Повседневная жизнь небольшого городка рисуется здесь уже не столь лирично или иронично, как в «Мечтателе». Ирония приобретает оттенок горечи, и в центре романа оказывается не жизнерадостный сумасброд, а жутковато-гротескная фигура калеки, приобретающий символическое значение образ Оливера Андерсена.

Следующий роман «Последняя глава» (1923) изображает жизнь в санатории, построенном среди лугов и пастбищ. Насколько прочно и настояще все вокруг санатория, настолько зыбко, искусственно и даже фальшиво то, что внутри его или связано с ним: консервированная еда, реклама лечебных свойств ничем не примечательной местности, пациенты, выдающие себя за тех, кем не являются, и директор, болтающий либеральный вздор о просвещении народа.

Еще одна попытка уловить изменения выразилась в трилогии «Бродяги» (1927), «Август» (1930), «А жизнь идет» (1933), главный герой которой — предприимчивый, энергичный Август, имеющий сходство с героями плутовских романов. Действие трилогии охватывает почти полвека, что позволяет автору не только проследить изменения в жизни героев, но и исследовать то, что вызывает перемены. Силу, толкающую к ним, и олицетворяет Август — воплощение прогресса, равнодушия к положительному или отрицательному характеру влекомых им изменений. В чем-то этот образ продолжает и развивает образ ленсмана Гейслера из романа «Плоды земли», приходящего в жизнь Исаака, приносящего ему новые сведения и новые механизмы, а затем исчезающего и оставляюще-

го его наедине с последствиями. Однако если дары Гейслера оказывали благотворное влияние на жизнь Исаака и его семьи, то реализация весьма соблазнительных для горожан фантазий Августа оборачивается для них крахом. С точки зрения автора, слепое доверие и увлечение прогрессом приводят лишь к погоне за миражами, в то время как прочная связь с землей и своим делом позволяет выдерживать превратности судьбы и постепенно улучшать жизнь.

Творческая деятельность Гамсуна фактически завершается романом «Кольцо замыкается» (1936). Однако по-настоящему последней и итоговой стала книга «По заросшим тропам» (1949), написать и издать которую он считал очень важным. Для этого были причины.

Почвеннические и национал-социалистические умонастроения Гамсуна привели его к контактам с нацистскими лидерами Норвегии, которые продолжались и после оккупации Норвегии фашистами в 1940 году. К тому времени писателю было уже за восемьдесят, он много лет безвыездно жил в своем имении Нёрхольм, и его контакты с нацистами сводились к переписке с Квислингом и Тербовеном, в том числе отражающей его протесты против создания концентрационных лагерей в Норвегии. Объявляя о своей нелюбви к евреям, он спасает многих из них во время гонений. Заявляя о том, что всегда считал себя человеком Квислинга, он так и не написал заявление о вступлении в партию. И все же его поведение впоследствии было расценено как коллаборационизм. Возможно, главным поводом для обвинений стала встреча Гамсуна с Гитлером 26 июня 1943 года, о которой много говорили и писали. После окончания войны восьмидесятисемилетний писатель отдан под суд как изменник. От тюремного заключения спас возраст, однако ему пришлось пройти психиатрическое обследование, уплатить большой штраф и провести два года в закрытом заведении. Лишь в 1950 году он вернулся домой, в Нёрхольм. Написанная им книга, «по-прежнему живая, сжатая и яркая», не оправдание своих поступков, но объяснение своего мировоззрения и пути, которым он шел к нему.

Умер Кнут Гамсун 19 февраля 1952 года. К тому времени из-под его пера вышло более 30 романов, повести, пьесы, рассказы, публицистические книги и стихи. Полное собрание его произведений вышло спустя два года после его смерти. Его жизнь полна противоречий, но при этом Гамсун всегда оставался самим собой и был готов отвечать за свои убеждения. Эта противоречивость и верность себе нашли полное и мастерское выражение в произведениях норвежского писателя, и, возможно, потому их издают и читают по сей день не только на его родине, но и по всему миру.

Т. Боровинская

ГОЛОД

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Это было в те дни, когда я бродил голодный по Христиании, этому удивительному городу, который навсегда накладывает на человека свою печать...

Я лежу без сна у себя на чердаке и слышу, как часы внизу бьют шесть; уже совсем рассвело, началась беготня вверх и вниз по лестнице. У двери стена моей комнаты оклеена старыми номерами «Утренней газеты», и я четко вижу объявление смотрителя маяка, а чуть левее — жирную, огромную рекламу булочника Фабиана Ольсена, расхваливающую свежеиспеченный хлеб.

Едва открыв глаза, я по старой привычке начал подумывать, чему бы мне порадоваться сегодня. В последнее время жилось мне довольно трудно; мои пожитки помаленьку перекочевали к «Дядюшке Живодеру», я стал нервен и раздражителен, несколько дней мне пришлось даже пролежать в постели из-за головокружения. Временами, когда везло, мне удавалось получить пять крон за статейку в какой-нибудь газете.

Становилось все светлей, и я принялся читать объявления у двери; я даже мог разобрать тощие, похожие на оскаленные зубы буквы, которые возвещали, что «у йомфру Андерсен, в подворотне направо, можно приобрести самый лучший сазан». Это объявление долго занимало меня, и когда я, встав, начал одеваться, часы внизу пробили восемь.

Я открыл окно и выглянул во двор. Мне видна была веревка для сушки белья и пустырь; в отдалении чернел скелет сго-

ревшей кузницы, где возились какие-то люди, разгребая угли. Я облокотился о подоконник и смотрел вдаль. Без сомнения, день будет ясный. Пришла осень, дивная, прохладная пора, все меняет цвет, увядает. На улицах уже поднялся шум, он манит меня выйти из дому; пустая комната, где половицы стонали от каждого моего шага, походила на трухлявый, отвратительный гроб; здесь не было ни порядочного замка на двери, ни печки; по ночам я обыкновенно клал носки под себя, чтобы они хоть немного высохли к утру. Единственным моим утешением была маленькая красная качалка, в которой я сидел вечерами, подремывал и думал о всякой всячине. Когда поднимался сильный ветер и входная дверь внизу бывала открыта, пол и стены пронзительно стонали на все лады, а в «Утренней газете» у двери появлялись щели длиною с мою руку.

Я отошел от окна и принялся искать в узелке, что лежал в углу, подле кровати, чем бы позавтракать, но ничего не нашел и снова вернулся к окну.

«Бог весть, — думал я, — удастся ли мне вообще приискать себе занятие!» Столько было отказов, полуобещаний, решительных «нет», взлелеянных и обманутых надежд, новых и новых попыток, которые всякий раз кончались ничем, что я совсем утратил решимость. Наконец я попытался поступить в кассиры, но опоздал; и, кроме того, я не мог бы внести залога в пятьдесят крон. Вечно мне что-либо мешало. А еще я просился в пожарную команду. Нас там стояло с полсотни человек, и каждый выпячивал грудь, чтобы произвести впечатление силача и редкого смельчака. Меж нами расхаживал наниматель, осматривал претендентов, щупал мускулы, расспрашивал, а проходя мимо меня, только головой покачал да обронил, что люди в очках для этого дела не годятся. Я пришел снова уже без очков и стоял, насупившись, стараясь придать своему взгляду остроту ножа, но он снова прошел мимо меня и только улыбнулся, потому что узнал меня. В довершение всех зол, мое платье износилось до такой степени, что я уже не казался работодателям приличным человеком.

Как медленно и неуклонно катился я под гору! Под конец у меня не осталось решительно ничего, даже гребенки или хотя бы книжки, которой я утешился бы в грустную минуту. Летом я всякий день уходил куда-нибудь на кладбище или в парк, где стоит зáмок, сидел там и писал статьи для газет, столбец за столбцом, и чего только не было в этих статьях, сколько удивительных выдумок, причуд, капризов моей беспокойной фантазии! Отчаявшись, я брал самые отвлеченные темы, эти статьи я сочинял много мучительных часов, и никто не хотел их печатать. Закончив одну, я тотчас принимался за другую и редко приходил в уныние от редакторского отказа. Я старался убедить себя, что когда-нибудь мне повезет. И действительно, по временам, когда счастье мне улыбалось и я сочинял что-нибудь путное, мне платили пять крон за работу, которая отнимала полдня.

Я снова оторвался от окна, подошел к умывальнику и смочил водой колени своих лоснившихся брюк, чтобы они казались черными и стали как будто новее. Сделав это, я, по обыкновению, сунул в карман бумагу и карандаш и вышел за дверь. По лестнице я спустился тихонько, чтобы не привлечь внимания хозяйки; срок уплаты за квартиру истек несколько дней назад, а платить мне было нечем.

Пробило девять часов. Грохот экипажей и людские голоса витали в воздухе — то был стоустый утренний хор, раздававшийся под стук шагов пешеходов и щелканье извозчичьих кнутов. Это шумное движение тотчас оживило меня, и я стал чувствовать себя уверенней. Менее всего я собирался просто вот так гулять с утра на свежем воздухе. На что был моим легким воздух? Я чувствовал себя неодолимым, как исполин, мог упереться плечом в повозку и остановить ее. Мной овладело удивительное, чудесное чувство, какое-то светлое удовлетворение. Я смотрел на встречных, читал вывески на домах, ловил на лету взгляды, брошенные на меня из проносившихся мимо карет, замечал всякую мелочь, не упускал ни малейшей случайности, что попадалась мне на пути и сразу же исчезала.

Какой дивный денек, вот бы еще поесть хоть немного! Я проникся этим радостным утром, счастье переполняло меня, и я

вдруг ни с того ни с сего принялся напевать. Возле мясной лавки стояла женщина с корзинкой и выбирала колбасу к обеду; когда я проходил мимо, она взглянула на меня. Изо рта у нее торчал лишь один зуб. В последние дни я стал таким нервным и впечатлительным, что лицо этой женщины показалось мне отвратительным; длинный желтый зуб походил на мизинец, торчащий изо рта, а когда она подняла на меня глаза, взгляд ее еще был полон мыслей о колбасе. Мне сразу расхотелось есть, тошнота подкатила к горлу. Дойдя до рынка, я напился воды из-под крана; потом поднял голову и взглянул на колокольню храма Спасителя — часы показывали десять.

Я долго еще бродил по городу, ни о чем не думая, потом безо всякой надобности постоял на каком-то углу и свернул на боковую улицу, хотя у меня не было там никакого дела. Я плыл по течению, купался в радостном утре, беззаботно расхаживал среди других веселых людей; воздух был чист и ясен, душу мою не омрачало ничто.

Минут десять впереди меня шел хромой старик. В одной руке он нес узел, и все тело его напрягалось от усилий ускорить шаг. Я слышал, как тяжко он дышал, и подумал, что мог бы понести его узел; однако я не попытался догнать его. Близ Гренсена я встретил Ханса Паули, он поклонился и быстро прошел мимо. Почему он так спешил? Ведь я и не думал выпрашивать у него крону, я даже хотел при первой возможности вернуть ему одеяло, которое взял у него несколько недель назад. Как только я мало-мальски выкарабкаюсь, никто не сможет сказать, что я не отдал одеяла; пожалуй, еще сегодня начну писать статью о роли преступлений в будущем, или о свободе воли, или вообще о чем-нибудь важном и получу за нее по меньшей мере десять крон... Я вдруг почувствовал потребность немедленно приняться за дело, потому что мысли переполняли меня; я решил отыскать подходящее местечко в парке и даже не помышлять об отдыхе, покуда статья не будет кончена.

Но старый калека все так же шел впереди меня, уродливо напрягаясь на ходу. В конце концов меня стало раздражать, что старик все время идет передо мною. Казалось, этому не будет

конца; может быть, он шел как раз туда же, куда и я, а если так, он все время будет маячить у меня перед глазами. Я так разволновался, что мне казалось, будто на каждом перекрестке он замедляет шаг и как бы ждет, куда я поверну, а потом он вскидывал свой узел повыше и прибавлял шагу, чтобы опередить меня. Я иду, всматриваюсь в этого несчастного калеку и проникаюсь все бóльшим и бóльшим ожесточением против него; я чувствую, как он мало-помалу портит мое радостное настроение и вместе с тем как бы омрачает чистое, прекрасное утро своим уродством. Он был похож на огромное искалеченное насекомое, которое упорно и настойчиво стремится куда-то и занимает собою весь тротуар. Когда мы поднялись на холм, я не пожелал больше терпеть это и остановился у витрины, дожидаясь, покуда он уйдет. Когда через несколько минут я двинулся дальше, этот человек снова оказался впереди меня, — он тоже останавливался. Не долго думая я в три-четыре больших шага настиг его и хлопнул по плечу.

Он остановился как вкопанный. Мы пристально посмотрели друг на друга.

— Подайте, сколько можете, на молоко! — сказал он наконец и склонил голову набок.

Ну вот, в хорошенькое я попал положение! Я пошарил в карманах и сказал:

— Ах, на молоко... Гм!.. Но ведь в наше время деньги на улице не валяются, а я не знаю, крайняя ли у вас нужда.

— Я не ел со вчерашнего дня, как ушел из Драммена, — сказал он. — У меня нет ни эре, и я еще не нашел работы.

— Вы ремесленник?

— Да, я скорняк.

— Как?

— Скорняк. Впрочем, умею еще шить сапоги.

— Это меняет дело, — сказал я. — Погодите-ка здесь минутку, а я сбегаю за деньгами и дам вам несколько эре.

Я что было духу побежал на Пилестредет, где в одном из домов, на втором этаже, жил ростовщик; впрочем, мне еще не приходилось у него бывать. Войдя в подворотню, я быстро снял

жилет, свернул его и сунул под мышку; потом поднялся по лестнице и постучал в дверь. Войдя, я поклонился и бросил жилет на прилавок.

— Полторы кроны, — сказал ростовщик.

— Хорошо, благодарю вас, — отвечал я. — Не будь он для меня слишком узок, я, конечно, не расстался бы с ним.

Взяв деньги и квитанцию, я отправился назад. В сущности, это была великолепная мысль — заложить жилет; ведь у меня еще останутся деньги на плотный завтрак, а к вечеру будет готова моя статья о роли преступлений в будущем. Мне сразу стало казаться, что жизнь не так уж мрачна, и я поспешил к старику, чтобы избавиться от него.

— Пожалуйста! — сказал я ему. — Счастлив, что вы первым делом обратились ко мне.

Он взял деньги и начал меня разглядывать. Чего он на меня уставился? Мне показалось, что он особенно пристально глядит на мои колени, и его бесстыдство меня взбесило. Неужели этот бродяга думает, что, если я так одет, меня можно почитать за нищего? Ведь я уже почти начал писать статью за десять крон. И вообще будущее мне не страшно, на мою долю хватит. Что тут такого, если в этот ясный день я дал немного денег незнакомому человеку? Его взгляд мне не нравился, и я решил, прежде чем уйти, сделать ему внушение. Я пожал плечами и сказал:

— Любезный, у вас отвратительная привычка таращить глаза на колени человека, который дал вам целую крону.

Он прислонился к стене, закинул голову и разинул рот. В мозгах этого нищего шевелилась какая-то мысль, он, конечно, подумал, что я хочу как-нибудь над ним посмеяться, и протянул мне деньги обратно.

Я стал топать ногами и требовать, чтобы он оставил деньги у себя. Уж не думает ли он, что я хлопотал по-пустому? В конце концов я попросту должен ему эту крону, я вспомнил этот старый долг, а он имеет дело с порядочным человеком, честным до мозга костей. Словом, это его деньги... Ах, не стоит благодарности, я очень рад. До свидания!

И я ушел. Наконец-то этот назойливый калека отвязался от меня, теперь мне никто не помешает. Я снова пошел на Пилестредет и остановился у продуктового магазина. Витрина была завалена съестными припасами, и я решил войти и прихватить чего-нибудь с собой.

— Кусок сыру и французскую булку! — сказал я и бросил на прилавок полкроны.

— Сыру и хлеба на все деньги? — насмешливо спросила продавщица, не глядя на меня.

— Да, на все пятьдесят эре, — невозмутимо ответил я.

Я получил покупку, почтительно поклонился старой толстой продавщице и быстро зашагал к холму, где был парк. Там я отыскал скамейку и с жадностью принялся за еду. Мне сразу полегчало; давно уже не было у меня столь обильной трапезы, и мало-помалу я успокоился, почувствовал облегчение, как бывает, когда выплачешь все слезы. Вскоре я совсем воспрянул духом; теперь мне уже мало было написать статью на такую простую и нехитрую тему, как роль преступлений в будущем, к тому же это всякий мог сам предугадать, стоило просто-напросто заглянуть в историю; я же чувствовал себя способным на гораздо большее свершение, мне хотелось преодолевать необычайные трудности, и я решил написать сочинение в трех частях о философском познании. Разумеется, я не премину разнести в пух и прах некоторые из Кантовых софизмов... Я хотел вынуть письменные принадлежности и приступить к работе, но тут обнаружилось, что у меня нет карандаша, я забыл его в лавочке у ростовщика — ведь карандаш лежал в кармане жилета.

Господи, до чего же мне все-таки не везет! Я выругался несколько раз, встал со скамейки и принялся ходить взад-вперед по дорожкам. Вокруг было тихо; в отдалении, подле королевской беседки, какие-то няньки катали младенцев в колясках, а больше нигде не было ни души. Я был очень расстроен и как безумный бегал вокруг скамейки. Со всех сторон на меня обрушивались беды! Мне нельзя написать философское сочинение в трех частях лишь потому, что в кармане у меня нет грошового карандаша! А что, если вернуться на Пилестредет и взять ка-

рандаш? Тогда я все-таки успею порядочно написать, прежде чем гуляющие хлынут в парк. Ведь от этого сочинения о философском познании зависело так много — как знать, быть может, счастье всего человеческого рода. И я полагал, что оно окажется весьма полезным многим молодым людям. Если поразмыслить хорошенько, то мне вовсе незачем нападать на Канта: этого легко избежать, стоит только чуть-чуть уклониться в сторону, когда речь пойдет о времени и пространстве; зато уж Ренана, этого старого священника, я не пощажу... Но так или иначе, нужно было написать определенное количество столбцов: за квартиру я не заплатил, хозяйка пристально смотрела на меня по утрам, когда я встречал ее на лестнице, и это мучило меня весь день, всплывало даже в самые радостные мгновения, когда ни одна черная дума не омрачала мою душу. Надо было положить этому конец. Я быстрым шагом покинул парк и отправился к ростовщику за своим карандашом.

Спустившись с холма, я обогнал двух дам. По нечаянности я задел одну рукавом, взглянул на нее и увидел полное, слегка бледное лицо. Вдруг она вся вспыхнула, похорошела, не знаю отчего, быть может, от слова, которое сказал ей прохожий, а быть может, — лишь от тайной мысли. Или же оттого, что я коснулся ее руки? Ее высокая грудь бурно вздымается, и она крепко сжимает ручку зонтика. Что это с ней?

Я остановился и снова пропустил ее вперед, мне невозможно было идти дальше, все это показалось мне таким странным. Я был раздосадован, сердился на себя за историю с карандашом, и еда, проглоченная после долгой голодовки, меня разгорячила. Мысли мои приняли причудливый ход, я почувствовал, как мною овладевает странное желание напугать эту даму, погнаться за ней и причинить ей какую-нибудь неприятность. Я снова нагоняю ее и прохожу мимо, потом неожиданно поворачиваю назад, чтобы рассмотреть ее, и оказываюсь с нею лицом к лицу. Я стою и смотрю ей в глаза, а сам тут же придумываю имя, хоть никогда его и не слышал, — имя, скользящее и волнующее: Илаяли. Она подошла ко мне совсем близко, я вскидываю голову и говорю веско:

— Вы потеряете книгу, фрекен.

Говоря это, я слышал стук своего сердца.

— Книгу? — спрашивает она свою спутницу. И идет дальше.

Но злобное упорство не покидало меня, и я пошел за нею. Конечно, в тот миг я вполне сознавал, что совершаю безумство, но был не в силах преодолеть его; волнение влекло меня вперед, заставляло делать нелепые движения, и я уже не владел собою. Сколько ни твердил я себе, что поступаю как идиот, ничто не помогало, и я корчил за спиной дамы преглупые рожи, а обогнав ее, громко кашлянул. Теперь я медленно шел впереди, держась в нескольких шагах от нее, чувствовал ее взгляд у себя на спине и невольно потупил голову от стыда, что так отвратительно веду себя с нею. Мало-помалу мною овладевает странное ощущение, что я где-то далеко отсюда, во мне рождается смутное чувство, что не я, а кто-то другой идет по этим каменным плитам, потупив голову.

Через несколько минут, когда дама подошла к книжному магазину Паши, я уже стоял у первой витрины, шагнул ей навстречу и повторил:

— Вы потеряете книгу, фрекен.

— Но какую книгу? — спрашивает она в испуге. — О какой он книге говорит?

И она останавливается. Я злорадствую, видя ее смущение, растерянность у нее в глазах восхищает меня. Ей не понять той отчаянности, которая движет мною; у нее нет решительно никакой книги, ни единого листка, но она все-таки ищет в карманах своего платья, смотрит себе на руки, вертит головой, оглядывается назад, напрягает свои нежные мозги, пытаясь понять, о какой это книге я говорю. Она то краснеет, то бледнеет, на лице ее одно выражение сменяется другим, я слышу, как тяжко она дышит; и даже пуговицы с ее платья смотрят на меня, словно испуганные глаза.

— Не обращай на него внимания, — говорит ее спутница и тянет ее за руку. — Ведь он же пьян! Разве ты не видишь, что этот человек пьян?

Как ни был я в тот миг далек от самого себя, совершенно подчиненный странным и незримым силам, все же ничто вокруг не могло ускользнуть от моего внимания. Вот большой рыжий пес пересек улицу и побежал к бульвару, а оттуда дальше в сторону Тиволи; на нем узкий мельхиоровый ошейник. Чуть подальше, на этой же улице, открылось окно во втором этаже, оттуда высунулась служанка и, засучив рукава, принялась вытирать снаружи стекла. Ничто не ускользало от моего внимания, я был в ясном уме и твердой памяти, все впечатления пронизывали меня ясно и отчетливо, словно яркая вспышка света. У обеих дам, стоявших передо мною, были синие перья на шляпах и шотландские шелковые шарфы на шее. Мне показалось, что они — сестры.

Они отошли прочь, остановились подле музыкальной лавки Сислера и стали разговаривать. Я тоже остановился. Потом обе они повернули назад, пошли тою же дорогою обратно, мимо меня, свернули на Университетскую улицу и направились к площади Святого Улафа. Я все время старался следовать за ними по пятам. Один раз они обернулись, поглядели на меня испуганно и в то же время с любопытством, но они не хмурились, и на лицах их не было сердитого выражения. Они так терпеливо сносили мою назойливость, что я устыдился и опустил глаза. Мне не хотелось больше докучать им, и я с чувством благодарности смотрел им вслед, ожидая, что вот сейчас они войдут куда-нибудь и исчезнут из виду.

У большого четырехэтажного дома под номером два они обернулись еще раз, потом вошли. Я прислоняюсь к газовому фонарю у фонтана и прислушиваюсь к их шагам на лестнице. Шаги замирают во втором этаже. Я отхожу от фонаря, смотрю вверх, на окна. И тут совершается чудо: там, наверху, колышутся занавески, потом окно отворяется, оттуда выглядывает голова, и ее чудесные глаза останавливаются на мне. «Илаяли!» — шепчу я и чувствую, что краснею. Почему она никого не кликнула? Почему не сбросила мне на голову цветочный горшок или не послала прогнать меня? Мы не двигаемся и смотрим друг другу в глаза; это длится с минуту; от окна к тротуару несутся

мысли, но мы не вымолвили ни слова. Она отворачивается, и это отзывается у меня в душе толчком, едва уловимой дрожью; я вижу ее плечо, потом спину, и она исчезает в комнате. Исчезает медленно, и движенье ее плеча словно знак мне; всем своим существом я ощутил этот чудесный привет; и меня захлестнула светлая радость. Постояв немного, я повернулся и пошел по улице.

Я не осмеливался оглянуться назад и не знал, подходила ли она еще раз к окну; раздумывая об этом, я все больше беспокоился и не находил себе места. Быть может, в этот самый миг она наблюдала за каждым моим движением, и мне было невыносимо знать, что за мной следят. Я держался как можно прямее и шел не останавливаясь; ноги подо мной дрожали, походка стала неверной, именно потому, что я хотел идти как можно красивее. Стараясь казаться спокойным и равнодушным, я нелепо размахивал руками, сплевывал и высоко задирал нос; но тщетно. Я все время чувствовал испытующий взгляд у себя за спиной, и по телу моему пробегал холодок. Наконец я скрылся в боковой улочке, откуда направился на Пилестредет, чтобы взять свой карандаш.

Мне не стоило ни малейшего труда получить его обратно. Ростовщик сам принес мне жилет и попросил меня тут же обшарить все карманы; я нашел еще несколько закладных квитанций, сунул их в карман и поблагодарил любезного хозяина за его предупредительность. Он нравился мне все больше и больше, и мне тут же захотелось произвести на него хорошее впечатление. Я сделал несколько шагов к выходу, но опять вернулся к прилавку, словно забыл что-то; мне казалось, что я обязан объясниться, сообщить ему подробности, и я стал тихонько напевать, чтобы привлечь его внимание. Потом я поднял карандаш, который держал в руке.

— Мне и в голову не пришло бы тащиться в такую даль за этим несчастным карандашом, — сказал я, — но тут дело другое, совсем особое дело. Хоть у этого огрызка карандаша и жалкий вид, благодаря ему я стал тем, что я есть, нашел, так сказать, свое место в жизни...

Я умолк. Хозяин подошел к самому прилавку.

— Вот как? — сказал он и с любопытством посмотрел на меня.

— Этим карандашом, — продолжал я невозмутимо, — написано мое трехтомное сочинение о философском познании. Неужели вы не слышали об этом?

И хозяину показалось, что он слышал имя, заглавие.

— Да, — сказал я, — это мое сочинение! Поэтому неудивительно, что я захотел получить назад этот огрызок карандаша: он имеет для меня слишком большую цену, он мне все равно что маленький друг. Я весьма благодарен вам за доброе отношение и не забуду этого; да, да, в самом деле, не забуду, честное слово, такой уж я человек, а вы этого вполне заслужили. До свиданья! — Я пошел к двери с таким видом, словно мог вершить людские судьбы. Ростовщик дважды вежливо поклонился мне вслед, а я еще раз обернулся и сказал: «До свиданья!»

На лестнице мне встретилась женщина с чемоданом. Ввиду моей важности она робко посторонилась передо мной, я же невольно сгал шарить в кармане, чтобы дать ей что-нибудь: ничего не найдя, я понурил голову и прошел мимо. Немного погодя я услышал, как она стучится к ростовщику; на дверях у него была стальная решетка, и я тотчас узнал дребезжащий звук, когда ее коснулась человеческая рука.

Солнце светило с юга, было около полудня. Народу на улицах становилось все больше, наступало время гулянья, и толпы людей, раскланиваясь, с улыбками на лицах, словно волны перекатывались по улице Карла-Юхана. Я весь съежился, сжался в комок и проскользнул мимо кучки знакомых, которые стояли неподалеку от университета и глазели на толпу. Потом я побрел на холм, в дворцовый парк, где предался глубоким раздумьям.

Как весело и легко все эти встречные вертят головами, как ясны их мысли, как свободно скользят они по жизни, словно по паркету бальной залы! Ни у кого из них я не прочел в глазах печали, их плечи не отягощает никакое бремя, в безмятежных душах, кажется, нет ни мрачных забот, ни тени тайного страдания. А я бродил среди этих людей, молодой, едва начавший жить

и забывший уже, что такое счастье! Эта мысль не покидала меня, и я чувствовал, что стал жертвой чудовищной несправедливости. Почему в последние месяцы мне живется так невыносимо тяжело? Мою неомраченную душу словно подменили, повсюду меня подстерегали горькие разочарования. Стоило мне присесть на скамейку или сделать хоть шаг, как на меня сразу обрушивались какие-то жалкие и ничтожные нелепости, они вторгались в мой внутренний мир, вынуждали понапрасну растрачивать силы. Собака, пробежавшая мимо, желтая роза в петлице у какого-нибудь господина могли пробудить во мне мысли и долгое время занимать меня. Что же со мной случилось? Неужто перст Божий коснулся меня? Но почему же меня? Почему не какого-нибудь другого человека, живущего хоть в Южной Америке, уж если на то пошло? Чем больше я думал, тем непостижимее и непостижимее представлялось мне, что именно я избран своенравным промыслом Божьим для его упражнений! И как странно, что во всем мире он отыскал именно меня; есть же книготорговец Паша и пароходный агент Хеннехен.

Я шел, размышляя об этом, и ничего не мог решить, я находил самые веские возражения против такого произвола со стороны Бога, заставляющего меня расплачиваться за грехи всех. Когда я отыскал свободную скамейку и сел, этот вопрос все еще занимал меня и мешал мне думать о другом. С того майского дня, когда начались мои злоключения, я чувствовал, как мною постепенно завладевает слабость, я стал слишком вялым, утратил волю и целенаправленность, словно стая каких-то мелких хищников вселилась в мое тело и грызла его изнутри. А что, если Бог попросту решил меня погубить? Я встал и принялся расхаживать подле скамейки.

В этот миг все мое существо было исполнено нестерпимейшего страдания; даже руки мучительно ныли, и я не знал, куда мне их девать. К тому же я недавно так плотно поел, что мне было не по себе, я объелся и, не находя себе места, топтался возле скамейки; люди скользили мимо меня, появлялись и исчезали как призраки. Наконец на мою скамейку сели двое мужчин, они закурили сигары и стали громко разговаривать; я рассердился

и хотел сделать им замечание, но вместо того повернулся и пошел в другой конец парка, где отыскал пустую скамейку. Там я сел.

Мысль о Боге снова начала меня одолевать. Я находил, что с его стороны в высшей степени непростительно вмешиваться всякий раз, как я пытался найти работу, и расстраивать все дело, хотя я просил лишь хлеба насущного. Я определенно заметил, что стоит мне поголодать несколько дней подряд, как мой мозг начинает словно бы вытекать и голова пустеет. Она становится легкой и бесплотной, я больше не чувствую ее у себя на плечах, и мне кажется, что, когда я на кого-нибудь гляжу, глаза мои раскрываются до невероятности широко.

Я сидел на скамейке и думал обо всем этом, все горше сетуя на Бога за эти беспрерывные мучения. Если он, испытывая меня и воздвигая на моем пути препятствие за препятствием, хочет приблизить меня к себе, очистить мою душу, то смею его заверить, что он ошибается. Я поднял глаза к небу, чуть не плача от негодования, и раз навсегда высказал ему все, чтобы облегчить душу.

Вспомнилось то, чему меня учили в детстве, в ушах зазвучал негромкий голос, читающий Библию, и я начал разговаривать сам с собою, насмешливо покачивая головой. Зачем заботился я о том, что мне есть и пить, во что одеть бренную свою плоть? Разве Отец Небесный не питает меня, как питает птиц, и не оказал мне особой милости, избрав раба своего? Перст Божий коснулся нервов моих и потихоньку, едва заметно, тронул их нити. А потом Господь вынул перст свой, и вот на нем обрывки нитей и комочки моих нервов. И осталась зияющая дыра от перста его, перста Божия, и рана в моем мозгу. Но, коснувшись меня перстом десницы своей, Господь покинул меня и не трогал более, и не было мне никакого зла. Он отпустил меня с миром, отпустил с открытой раной. И не было мне никакого зла от Бога, ибо Он — Господь наш во веки веков...

Ветер донес до меня музыку и пение студентов, — значит, был уже третий час. Я достал карандаш и бумагу, хотел написать что-нибудь, и вдруг из кармана у меня выпала книжечка с талонами на бритье. Я сосчитал талоны: их оставалось шесть.

— Слава Богу! — невольно воскликнул я. — Еще неделю-другую я могу бриться у цирюльника и иметь приличный вид!

Это маленькое достояние тотчас заставило меня воспрянуть духом; я тщательно разгладил талоны и спрятал книжку в карман.

Но писать я не мог. Сочинил несколько строк, а больше ничего не приходило в голову; мысли мои были где-то далеко, и я не мог сосредоточиться. Все меня рассеивало и отвлекало, со всех сторон подступали новые впечатления. Комары и мошки садились на бумагу и мешали мне; я дул на них, чтобы прогнать, дул во всю мочь, но напрасно. Эта мелюзга переворачивалась, жалась к бумаге, упиралась так, что тонкие лапки гнулись. Просто невозможно от них избавиться. Они всегда найдут, за что зацепиться, отыскивают шероховатости и неровности на бумаге и сидят до тех пор, покуда им самим не вздумается улететь.

Некоторое время эти маленькие кровососы занимали меня, я закинул ногу на ногу и довольно долго наблюдал их. А потом до меня донеслись звуки кларнета, и от этого мысли мои приняли новое направление. Досадуя, что я не могу написать статью, я сунул бумагу в карман и откинулся на спинку скамейки. В такие мгновения моя голова до того ясна, что меня посещают самые изощренные мысли, и при этом я нисколько не устаю. Я сижу, откинувшись назад, поглядываю на свою грудь, на ноги и вижу, как подрагивает моя нога от толчков крови. Я приподнимаю голову и все смотрю, и меня охватывает какое-то странное, небывалое ощущение; по нервам моим пробегает дивная волна, и словно трепетный свет вдруг вспыхивает во мне. Я гляжу на свои башмаки и как будто встречаюсь со старым другом, как будто какая-то частица моего существа вновь возвращается ко мне; чувство единения захлестывает мне душу, глаза наполняются слезами, и мои башмаки словно отдаются во мне тихим звоном. «Это слабость! — строго говорю я себе и, сжав кулаки, повторяю: — Слабость». И я принялся смеяться над этими нелепыми чувствами, я нарочно издевался над собой; я произносил твердые и здравые слова, крепко жмурился, чтобы прогнать слезы. И словно я никогда не видел своих башмаков,

я начинаю присматриваться, как они выглядят, как меняются при всяком движении моей ноги и какая у них форма, как потерлась кожа, и обнаруживаю, что морщины и белесые швы придают им своеобразное выражение, что у них как бы есть лицо. Некая частица моего существа перешла в эти башмаки, от них на меня веяло чем-то близким, словно то было собственное мое дыхание...

Я долго предавался этим ощущениям, — наверно, не меньше часа. А потом на другой конец скамейки присел маленький старичок; садясь, он тяжело вздохнул и сказал:

— М-да-а-а, вот так-то!

Едва я услышал его голос, в голове у меня словно поднялся вихрь, я оставил башмаки в покое, и мне даже показалось, что смутное настроение, которое я только что пережил, было чем-то давним, с тех пор, пожалуй, прошел год или два, а теперь оно мало-помалу изглаживается из моей памяти. Я смотрел на старика. Какое мне было дело до этого маленького человечка? Ровным счетом никакого! Меня занимало лишь то, что в руке он держал газету, старый номер со страницей объявлений, и в нее, по-видимому, было что-то завернуто. Мной овладело любопытство, и я не мог оторвать глаз от газеты; мне пришла безумная мысль, что это замечательная газета, единственная в своем роде; мое любопытство возрастало, и я начал ерзать на скамейке. Там могли быть документы, опасные бумаги, выкраденные из какого-нибудь архива. И я стал думать о тайном замысле, о заговоре.

Старичок сидел тихонько и о чем-то размышлял. Почему он не держит газету, как все, а вывернул ее? Что это за козни? Он, по-видимому, не хотел ни за что на свете выпустить этот сверток из рук. Он, пожалуй, не смел даже положить его себе в карман. Я готов был дать голову на отсечение, что это был не простой сверток.

Я смотрел вдаль. Уже одно то, что не было ни малейшей возможности проникнуть в эту тайну, разжигало во мне любопытство. Я шарил в карманах, хотел предложить что-нибудь этому человеку, вступить с ним в разговор, нащупал книжечку с та-

лонами, вынул и тут же снова спрятал ее. Вдруг я осмелел, похлопал себя по пустому боковому карману и сказал:

— Не угодно ли сигарету?

Спасибо, он не курит, — пришлось бросить из-за болезни глаз, он почти ослеп. Впрочем, большое спасибо!

— А давно ли у вас больны глаза? Наверное, вам совсем нельзя читать? Даже газет?

— Да, к сожалению, даже газет!

Он повернулся ко мне. Глаза его закрывали бельма, отчего они казались остекленелыми; у него был белый взгляд, неприятный до отвращения.

— Вы не здешний? — спросил он.

— Да... Но неужели вы не можете прочесть даже название газеты, что у вас в руках?

— С трудом... А я сразу понял, что вы не здешний: догадался по выговору. Это так просто, ведь у меня очень тонкий слух. По ночам, когда все спят, я слышу дыхание в соседней комнате... Но я вот что хотел спросить: вы где живете?

Ложь тотчас же возникла у меня в голове. Я солгал невольно, сказал без умысла и задней мысли:

— На площади Святого Улафа, дом два.

— Правда? А ведь я знаю на площади Святого Улафа каждый камень. Там есть фонтан, несколько фонарей, деревья, я все помню... Какой, вы сказали, номер?

Я решил положить этому конец, измученный навязчивой мыслью о газете, и встал. Тайна непременно должна была объясниться.

— Раз вам нельзя читать газеты, зачем же...

— Вы, кажется, сказали, что живете во втором номере? — продолжал он, не замечая моего волнения. — В свое время я знал всех жильцов в этом доме. Как зовут вашего хозяина?

Чтобы покончить с ним, я сказал первую попавшуюся фамилию, выдумал ее тут же, на месте, чтобы отвязаться.

— Хапполати, — сказал я.

— Да, Хапполати. — Он без запинки повторил эту трудную фамилию и кивнул.

Я с изумлением смотрел на него; он сидел с очень серьезным видом, и лицо у него было задумчивое. Не успел я произнести глупую фамилию, которая взбрела мне на ум, как человек освоился с нею и сделал вид, что слышал ее раньше. Тем временем он положил свой сверток на скамейку, и я чувствовал, как волна любопытства захлестывает меня. Я заметил, что на газете были два жирных пятна.

— А ваш хозяин не моряк? — спросил старичок, и в голосе его не было и тени насмешки. — Мне помнится, он моряк!

— Моряк? Виноват, должно быть, вы знаете его брата, а этот — агент, Ю.-А. Хапполати.

Я думал этим его сразить; но он охотно верил всему.

— Я слышал, он дельный человек, — продолжал свои расспросы старик.

— Да, смышленый малый, отличный делец, — ответил я, — агент по продаже всякой всячины: брусника из Китая, перо и пух из России, кожа, древесина, чернила...

— Хе-хе, черт его побери! — с живостью прервал меня старик.

Это становилось забавным. Я увлекся и измышлял одну ложь за другой. Я снова сел, позабыл про газету, про таинственные бумаги, начал горячиться и перебивать собеседника. Доверчивость этого карлика пробудила во мне какую-то дурацкую наглость, хотелось немилосердно утопить его во лжи, сломить его сопротивление.

— А не приходилось ли вам слышать об электрическом молитвеннике, который изобрел Хапполати?

— Электри... как вы сказали?

— О молитвеннике с электрическими буквами, которые светятся в темноте! Это огромное дело с капиталом во много миллионов крон, работают словолитни и печатни, сотни механиков на большом жалованье, — семьсот человек, как я слышал.

— А я что говорил! — тихо сказал старик.

И умолк; он верил каждому моему слову не задумываясь. Это несколько разочаровало меня, я надеялся, что мои россказни приведут его в бешенство.

Я сплел еще две отчаянные байки, вошел в азарт и шепнул, что Хапполати целых девять лет был министром в Персии.

— Вы, пожалуй, и представить себе не можете, что это значит — быть министром в Персии? — спросил я. — Там министр важнее, чем у нас король, это почти все равно что султан, если вы знаете, кто это такой. Но Хапполати был на высоте и ни разу не оплошал.

И я рассказал об Илаяли, его дочери, фее, принцессе, которая имела триста рабынь и почивала на ложе из желтых роз; она была прекраснейшее существо, какое я видел, — покарай меня Бог, — равной ей я не встречал в жизни!

— Стало быть, она была так красива? — рассеянно спросил старик, потупив глаза.

— Красива? Да она прекрасна, соблазнительно нежна! Глаза как бархат, руки словно янтарь! Один взгляд ее искушал, как поцелуй, и когда она звала меня, ее голос, как струя вина, пьянил мою душу. Да и почему бы ей не быть столь прекрасной? Разве, по-вашему, она какая-нибудь конторщица или служащая из пожарного ведомства? Да она, скажу я вам, небесное существо, она подобна сказке.

— Да, конечно, — сказал он почти равнодушно.

Его спокойствие наскучило мне; я был опьянен собственным голосом и говорил совершенно серьезно. Я не думал больше о похищенных бумагах, о заговоре в пользу какого-нибудь иностранного государства; маленький, тощий сверток лежал между нами на скамейке, но у меня уже не было никакого желания заглянуть в него и узнать, что в нем содержится. Я был поглощен собственными россказнями, перед глазами у меня проносились изумительные образы, кровь бросилась мне в голову, и я вдохновенно лгал.

А старик как будто собрался уходить. Он привстал и, чтобы не сразу прервать разговор, спросил:

— Должно быть, у этого Хапполати огромное состояние?

Как мог этот слепой, отвратительный старик распоряжаться чужой фамилией, которую я выдумал, так, словно ее можно было прочесть на любой вывеске в городе?

Он ни разу не запнулся, не пропустил ни одного звука; фамилия запечатлелась в его памяти и прочно укоренилась там. Я досадовал и сердился на этого человека, которого ничто не могло смутить или обескуражить.

— Не знаю, — ответил я вдруг. — Положительно не знаю. Но да будет вам известно, что зовут его Юхан Арндт Хапполати, если судить по инициалам.

— Юхан Арндт Хапполати, — повторил старик, несколько озадаченный моей горячностью.

И умолк.

— Вы бы посмотрели на его жену, — продолжал я вне себя. — Это такая толстуха... Вы, может быть, не верите, что она толста?

Нет, этого он, конечно, не мог отрицать; у такого господина вполне могла быть толстая жена...

На каждую мою выходку старик отвечал кротко и тихо, взвешивал слова, точно боялся сказать лишнее и рассердить меня.

— Что за черт, вы, верно, думаете, что я морочу вам голову? — вскричал я вне себя. — Вы, верно, думаете, что господина по фамилии Хапполати и на свете нет? Первый раз в жизни вижу такого упрямого и противного старика! Какая муха вас укусила? Вы еще, чего доброго, приняли меня за нищего, который надел праздничное платье, а у самого даже сигаретки нет? Я не привык к такому обращению, смею вас заверить, и, ей же богу, ни от кого этого не стерплю, так и знайте!

Старик тем временем встал. Он стоял, разинув рот, и молча слушал мою тираду, потом схватил свой сверток со скамейки и пошел, почти побежал по дорожке мелким старческим шагом.

А я все сидел и смотрел, как он удаляется и спина его горбится все сильней. Не знаю, откуда взялось это впечатление, но мне показалось, что я никогда еще не видел такой постыдной, такой ничтожной спины, и мне было ничуть не совестно, что я обругал его напоследок...

Уже вечерело, солнце садилось, тихонько шелестела листва деревьев, и няньки, сидевшие у загородки, за которой выступали канатоходцы, собирались везти своих младенцев домой. Я был спокоен и невозмутим. Мое недавнее волнение мало-по-

малу улеглось, я ослабел, почувствовал вялость, мне захотелось спать; и хотя в тот день я съел слишком много хлеба, последствия этого уже почти не чувствовались. В наилучшем расположении духа я откинулся на спинку скамьи и закрыл глаза; спать хотелось все сильнее, я клевал носом и совсем уж было уснул, но тут сторож положил мне руку на плечо и сказал:

— Здесь спать нельзя.

— Да, конечно, — сказал я и тотчас же поднялся.

И тут же положение мое вновь представилось мне совершенно безнадежным. Нужно было что-то сделать, что-то придумать! Мне не удалось найти места; рекомендации, которые я представлял, были давнишние, и под ними стояли подписи никому не известных людей, так что на них надеяться не приходилось; к тому же я столько раз за это лето получал отказы, что потерял всякую уверенность в себе. Но как бы то ни было, я не уплатил в срок за квартиру, и эти деньги должен был где-то добыть. Остальное могло пока оставаться по-прежнему.

Машинально я снова взял в руки карандаш и бумагу, сел и написал в каждом углу листа: «1848». Если б хоть одна вдохновенная мысль овладела мною и подсказала мне слова! Ведь бывали же раньше, да, бывали такие минуты, когда я безо всякого труда мог сочинить длинную и блестящую статью.

Я сижу на скамейке и все вывожу на бумаге: «1848», я пишу это число вдоль и поперек, на тысячу разных ладов, и жду, не осенит ли меня спасительное вдохновение. Какие-то отрывочные мысли роятся в голове, гаснущий день навевает уныние и грусть. Осень уже пришла и начинала сковывать все сном, мухи и насекомые ощутили на себе ее дыхание, в листве деревьев и на земле слышен шорох — это не хочет покориться жизнь, она беспокойна, шумна, неугомонна, она не щадит сил в своей борьбе против умирания. Все ползучие твари снова высовывают желтые головы из мха, шевелят конечностями, ощупывают землю длинными усиками, а потом вдруг падают, опрокидываются кверху лапками. Всякая былинка принимает особенный, неповторимый оттенок под дыханием первых холодов; бледные стебельки тянутся к солнцу, опавшие листья шуршат на земле,

словно шелковичные черви. Осенняя пора, карнавал тления; кроваво-красные лепестки роз обрели воспаленный, небывалый отлив.

Я сам чувствовал себя словно червь, гибнущий среди этого готового погрузиться в спячку мира. Охваченный непостижимым страхом, я вскочил и большими шагами забегал по дорожке. «Нет! — крикнул я и стиснул кулаки. — Так продолжаться не может!» И снова сел, взялся за карандаш, решившись во что бы то ни стало написать статью. Я не имел права опускать руки — счет за квартиру маячил у меня перед глазами.

Медленно, очень медленно, мысли мои приходили в порядок. Я сосредоточился и не спеша, взвешивая каждое слово, написал две вводные страницы; они могли стать введением к чему угодно — к путевым заметкам или к политическому обзору, как мне заблагорассудится. Это было превосходное начало и к тому и к другому.

Потом я начал искать подходящее содержание — кого-нибудь или что-нибудь такое, о чем стоило бы написать, и ничего не мог найти. От этого бесполезного усилия мои мысли снова начали путаться, я почувствовал, как мозг отказывается работать, голова все пустеет, пустеет, и вот я снова совсем не чувствую ее на плечах. Эту зияющую пустоту в голове я ощущаю всем своим существом, мне кажется, что весь я пуст с головы до ног.

— Господи, Боже ты мой! — воскликнул я в отчаянье, а потом повторил этот возглас еще и еще, не в силах больше вымолвить ни слова.

Ветер шумел в листве, надвигалось ненастье. Я посидел еще немного, задумчиво глядя на бумагу, потом сложил ее и не спеша спрятал в карман. Стало холодно, а у меня теперь не было жилета; я застегнул куртку до самого верха и сунул руки в карманы. Потом встал и пошел.

Хоть бы в этот раз мне посчастливилось, в этот единственный раз! Хозяйка уже дважды смотрела на меня, безмолвно требуя денег, а я вынужден был, смущенно поклонившись, прошмыгнуть мимо. Больше я так не могу; когда она снова бросит

на меня такой взгляд, я честно признаюсь во всем и откажусь от квартиры, ведь все равно дальше так нельзя.

Дойдя до выхода из парка, я снова увидел старичка, который убежал, испуганный моей яростью. Таинственный сверток был развернут и лежал подле него на скамейке, — там оказалась всякая снедь, и он закусывал. Я хотел подойти к нему и извиниться за свое поведение, но не мог — так отвратительно он ел; морщинистые старческие пальцы, словно десять отвратительных когтей, впивались в жирные бутерброды, я почувствовал, что меня тошнит, и молча прошел мимо. Он не узнал меня, его глаза скользнули по мне, и ни один мускул в лице не дрогнул.

Я пошел дальше.

По своему обыкновению, я останавливался перед каждой вывешенной газетой, читал объявления о найме на работу и, когда нашел одно подходящее место, очень обрадовался: торговец на Грёнланслерет ищет счетовода для двухчасовой вечерней работы; плата по соглашению. Я записал адрес и про себя возблагодарил Бога; я соглашусь на самую ничтожную плату, мне хватит и пятидесяти эре, хватит даже сорока; я пойду на какие угодно условия.

Когда я вернулся домой, на моем столе лежала записка от хозяйки, в которой она требовала либо уплатить за комнату вперед, либо освободить ее как можно скорее. Она просила не сердиться, — ей нельзя иначе. С совершенным почтением мадам Гуннерсен.

Я написал письмо торговцу Кристи, Грёнланслерет, 31, положил его в конверт и бросил в ящик на углу. Потом я снова поднялся к себе, сел в качалку и задумался, а сумерки меж тем все сгущались. Тяжелая усталость одолевала меня.

Наутро я проснулся рано. Когда я открыл глаза, было еще совсем темно, и лишь через некоторое время я услышал, как внизу пробило пять. Я хотел уснуть снова, но сон не приходил, я не мог даже задремать, тысячи мыслей лезли в голову.

Вдруг мне пришло на ум несколько хороших фраз, годных для очерка или фельетона, — прекрасная словесная находка, ка-

кой мне еще никогда не удавалось сделать. Я лежу, повторяю эти слова про себя и нахожу, что они превосходны. Вскоре за ними следуют другие, я вдруг совершенно просыпаюсь, встаю, хватаю бумагу и карандаш со стола, который стоит в ногах моей кровати. Во мне как будто родник забил, одно слово влечет за собой другое, они связно ложатся на бумагу, возникает сюжет; сменяются эпизоды, в голове у меня мелькают реплики и события, я чувствую себя совершенно счастливым. Как одержимый исписываю я страницу за страницей, не отрывая карандаша от бумаги. Мысли приходят так быстро, обрушиваются на меня с такой щедростью, что я упускаю множество подробностей, которые не успеваю записать, хотя стараюсь изо всех сил. Я полон всем этим, весь захвачен темой, и всякое слово, написанное мною, словно изливается само по себе.

Это изумительное состояние длится, длится бесконечно долго; и когда я наконец прерываюсь и откладываю карандаш, на моих коленях лежат пятнадцать, а то и все двадцать исписанных страниц. Если только эти листки действительно чего-нибудь стоят, я спасен! Я вскакиваю с постели и одеваюсь. Все больше и больше светает, уже почти можно прочесть объявление смотрителя маяка у двери, а подле окна уже так светло, что писать — одно удовольствие. И я тотчас принимаюсь переписывать бумаги набело.

Мои фантазии облечены удивительной, плотной дымкой, сотканной из света и красок; я едва успеваю удивляться своим удачам и говорю себе, что лучше этого еще ничего не читал. Счастье пьянит меня, радость пылает в моей душе, я торжествую победу; взвесив пачку листков на руке, я тут же оцениваю их в пять крон, по самому примерному подсчету. Ведь о пяти кронах никто не станет торговаться, напротив, можно смело сказать, что, учитывая содержание моей рукописи, даже десять крон — ничтожная цена. Я не собирался делать столь исключительную работу даром; сколько мне известно, такие романы не валяются на дороге. И я решил просить десять крон.

В комнате становилось все светлее, я взглянул в сторону двери и без особенного труда прочел тонкие, похожие на скелеты

буквы, возвещающие, что «у йомфру Андерсен, в подворотне направо, можно приобрести самый лучший саван»; к тому же часы внизу уже довольно давно пробили семь.

Я отошел от окна и остановился посреди комнаты. Если все хорошенько взвесить, мадам Гуннерсен весьма кстати отказала мне. Эта комната вовсе не для меня; здесь такие простенькие зеленые занавески на окнах, а в стены вбито так мало гвоздей и некуда вешать одежду. Качалка в углу, по сути дела, лишь пародия, жалкое подобие качалки, смех, да и только. Кроме того, она слишком низка для взрослого и до такой степени узка, что из нее приходится самого себя вытаскивать, словно ногу из тесного сапога. Одним словом, эта комната не для умственной работы, и я не хотел здесь оставаться. Ни в коем случае не хотел! Слишком долго я молчал, терпел и томился в этой каморке.

Окрыленный надеждой и радостью, все еще полный мыслей о замечательном сочинении, которое я то и дело вытаскивал из кармана и перечитывал, я решил, не теряя времени, собирать вещи. Я достал узелок — пару чистых воротничков, завернутых в красный носовой платок, и скомканную газетную бумагу, в которой я приносил домой хлеб, скатал свое одеяло, прихватил весь свой запас писчей бумаги. Потом я предусмотрительно обшарил все углы, чтобы убедиться, не забыл ли я чего-нибудь, и, не найдя ничего, выглянул в окно. Утро выдалось пасмурное и сырое; у сгоревшей кузницы не было ни души, а отсыревшая веревка на дворе туго натянулась от стены к стене. Все это я видел и раньше, поэтому я отошел от окна, взял одеяло под мышку, поклонился объявлению смотрителя маяка, а также савану йомфру Андерсен и отворил дверь.

Тут я вспомнил про хозяйку; ведь нужно было уведомить ее об отъезде, пусть знает, что имела дело с порядочным человеком. Кроме того, мне хотелось поблагодарить ее в записке за те несколько дней, что я пользовался комнатой сверх срока. Сознание, что теперь я на некоторое время обеспечен, было так сильно, что я даже пообещал хозяйке в ближайшие дни занести пять крон; мне хотелось подчеркнуть, какой благородный человек жил под ее кровом.

Записку я оставил на столе.

У двери я снова остановился и обернулся назад. Светлое чувство возвращения к жизни возродило меня, я был благодарен Богу и всему миру, я опустился на колени у кровати и громко возблагодарил Творца за великую милость, которую он ниспослал мне в это утро. Я знал, да, знал, что этот порыв вдохновения, который я только что пережил и перенес на бумагу, был чудом, свершившимся в моей душе по воле неба, откликом на мой вчерашний крик о помощи. «Там Господь! Там Господь!» — восклицал я и плакал, радостно умиленный собственными словами; по временам мне приходилось умолкать и прислушиваться, не идет ли кто наверх. Наконец я встал, неслышно спустился с длинной лестницы и, никем не замеченный, добрался до парадной двери.

Мостовые блестели от дождя, выпавшего ранним утром, над городом нависло тяжелое и низкое небо, солнце не проглядывало сквозь тучи. Который был час? По своему обыкновению, я пошел к ратуше и увидел, что на часах половина девятого. Значит, мне предстояло бродить добрых два часа, ведь не имело смысла являться в редакцию до десяти или даже до одиннадцати, а покуда приходилось шататься по улицам и на досуге придумывать, как раздобыть чего-нибудь на завтрак. Впрочем, я не боялся в тот вечер остаться без ужина; те времена, славу Богу, миновали! Это уже пережито, кончилось, как дурной сон; теперь мои дела пошли в гору!

Под мышкой у меня было зеленое одеяло, и от этого я чувствовал себя неловко: просто немыслимо носить такой сверток на виду у всех. Что подумают люди? Я стал подыскивать местечко, где можно было бы оставить его на время. Вдруг мне пришло в голову, что я могу зайти к Сеубу и попросить завернуть одеяло в бумагу; мой сверток тотчас примет приличный вид, и мне нечего будет стыдиться. Я зашел в магазин и обратился со своей просьбой к одному из приказчиков.

Он взглянул сперва на одеяло, потом на меня; мне показалось, что он презрительно пожал плечами, принимая сверток. Это меня задело.

— Осторожней, черт побери! — воскликнул я. — Тут завернуты две драгоценные вазы. Эта посылка будет отправлена в Смирну.

Моя уловка удалась как нельзя лучше. Теперь у приказчика был виноватый вид, он словно молил простить его за то, что он не сразу сообразил, какой это ценный сверток. Когда он закончил свое дело, я поблагодарил его с таким видом, словно уже не раз отсылал в Смирну всякие драгоценности; приказчик даже проводил меня до порога и распахнул передо мной дверь.

Я отправился на рыночную площадь и стал бродить в толпе, стараясь держаться поближе к женщинам, которые продавали цветы в горшках. Тяжелые, красные розы, влажно алевшие в сыром утреннем воздухе, дразнили меня, вызывали искушение сорвать один цветок, и я спрашивал о цене, пользуясь предлогом подойти поближе. Будь у меня деньги, я купил бы розу не задумываясь; чтобы возместить такую трату, я мог бы в чем-нибудь урезать себя.

Десять часов, иду в редакцию. Человек с ножницами роется в куче старых газет, редактор еще не приходил. Он предлагает мне оставить мою пухлую рукопись, а я даю ему понять, что это не простая рукопись, и убедительно прошу передать ее в собственные руки редактора. Позднее я сам зайду за ответом.

— Ладно! — сказал Человек-Ножницы и снова принялся за свои газеты.

Мне показалось, что он отнесся к делу слишком спокойно, но я промолчал, с притворным равнодушием кивнул ему и ушел.

Теперь у меня было много свободного времени. Хоть бы небо прояснилось! Погода омерзительная — ни ветра, ни мороза; дамы предусмотрительно раскрыли зонтики, а шляпы на головах у мужчин имеют смешной и печальный вид. Я снова иду на рынок, рассматриваю зелень и розы. Вдруг кто-то кладет мне руку на плечо, и я оборачиваюсь — это «Красная девица» желает мне доброго утра.

— Доброе утро? — повторил я полувопросительно, желая поскорей от него отвязаться. Я недолюбливал «Красную девицу».

Он с любопытством смотрит на большой, аккуратный сверток у меня под мышкой и спрашивает:

— Что это у вас?

— Я был у Семба и купил кое-что на платье, — безразличным тоном отвечаю я. — Мне надоело ходить в такой поношенной одежде. Нельзя же без конца пренебрегать своей внешностью.

Он смотрит на меня с изумлением.

— Ну а вообще как дела? — спрашивает он, помолчав.

— Лучшего и желать нельзя!

— Нашли себе какое-нибудь занятие?

— Занятие? — повторяю я с нарочитым удивлением. — Да будет вам известно, что я служу бухгалтером в оптовой фирме Кристи.

— Вот как! — говорит он, попятившись. — Ах ты Господи, до чего же я рад за вас. Глядите же не раздавайте денег всяким попрошайкам. Всего доброго.

Отойдя немного, он снова возвращается, указывает палкой на мой сверток и говорит:

— Позвольте рекомендовать вам моего портного. Более элегантного портного, чем Исаксен, вам не сыскать. Скажите, что вы от меня.

И зачем ему понадобилось совать нос в мои дела? Что ему до того, к какому портному я пойду? Я рассердился; этот пустой расфранченный человек раздражал меня, и я довольно грубо напомнил ему о десяти кронах, которые он как-то у меня занял. Но не успел он ответить, как я раскаялся, что потребовал у него долг, смутился и опустил глаза; в это время мимо нас проходила дама, я отступил, чтобы пропустить ее, и воспользовался случаем уйти.

Куда мне деваться, где ждать? Идти в кофейню с пустым карманом я не мог, и к знакомым в это время дня нельзя было зайти. Я бесцельно побрел по городу, между рынком и Гренсеном, прочитал «Вечерние новости», только что вывешенные на доске, прошелся по улице Карла-Юхана, потом повернул и направился к храму Спасителя, где нашел спокойное местечко на кладбище, подле часовни.

Воздух здесь был влажный, я сидел в тишине, думал, задремывал и зяб. Время шло. Можно ли быть уверенным, что мой фельетон — это хоть и маленький, но вдохновенный шедевр? Бог знает, нет ли в нем ошибок! Если подумать хорошенько, его ведь могут вовсе не принять, просто-напросто не принять! Пожалуй, он попросту посредственный, а то и безнадежно плохой, кто мне поручится, что его уже не швырнули в корзину для бумаги?.. Мое душевное спокойствие было нарушено, я вскочил и бросился прочь с кладбища.

На Акерсгатен я заглянул через витрину в лавку и увидел, что на часах только начало первого. Это меня вконец расстроило, ведь я был уверен, что уже далеко за полдень, а идти к редактору раньше четырех было бесполезно. Меня одолевали мрачные предчувствия относительно судьбы моего фельетона; чем больше я думал об этом, тем мне представлялось невероятнее, что я мог написать нечто сносное в таком порыве, почти во сне, когда мой мозг лихорадило и мысли блуждали. То был, конечно, просто самообман, и все утро я радовался зря! Еще бы!.. Я быстро шел по Уллевольсвейен, мимо холма Святого Генриха, миновал пустыри, зашагал по узким странным улицам, прилегающим к лесопилке, мимо строек и огородов и очутился наконец на большой дороге, которой не видно было конца.

Здесь я остановился и решил повернуть назад. Ходьба согрела меня, и назад я шел медленно, повесив нос. Мне встретились два воза с сеном. Возчики лежали навзничь на сене и пели, оба босые, с круглыми, беспечными лицами. Идя им навстречу, я думал, что они заговорят со мной, отпустят какое-нибудь замечание или начнут смеяться, и, когда я подошел к ним довольно близко, один из них громко осведомился, что у меня под мышкой.

— Одеяло, — ответил я.

— Который час? — спросил он.

— Точно не знаю, наверно, около трех.

Тогда оба засмеялись и поехали дальше. Но вдруг меня ожгла боль от удара кнутом по уху, и шляпа слетела с головы; эти парни не могли удержаться, чтобы не подшутить надо

мною. Возмущенный, я схватился за ухо, подобрал шпяпу на краю канавы и пошел прочь. У холма Святого Генриха я спросил у встречного, сколько времени, и он ответил, что уже пятый час.

Пятый час! Уже пятый час! Я прибавил шагу, почти бегом поспешил в редакцию. Редактор, пожалуй, давно там, а может быть, даже уже ушел! Я то брел медленно, то бежал, едва не попадая под колеса, обгонял прохожих, мчался взапуски с лошадьми, выбивался из сил как безумный, только бы успеть вовремя. Вбежав в здание, я несколькими прыжками одолел лестницу и постучал в дверь.

Ответа не было.

«Он ушел! Ушел!» — думаю я. Я дергаю дверь, она не заперта, стучу еще раз и вхожу.

Редактор сидит за столом, лицом к окну, в руке у него перо, он что-то пишет. Я здороваюсь, с трудом переведя дух, он оборачивается, глядит на меня и качает головой.

— У меня еще не было времени просмотреть ваш очерк.

Я рад, что он по крайней мере пока не отверг мою работу, и говорю:

— Ну конечно, я же понимаю. Да это и не к спеху. Может быть, зайти дня через два или...

— Да, да, я погляжу. Впрочем, у меня ведь есть ваш адрес.

И тут я забыл сказать, что у меня больше нет никакого адреса.

Аудиенция кончилась, я с поклонами отступаю назад и ухожу. Душа моя снова полна надежды: еще ничего не потеряно, напротив, я еще могу многого добиться, если уж на то пошло. И в голове у меня рождаются всякие фантазии, мне мнится, что у престола Всевышнего решено вознаградить меня за мой фельетон десятью кронами...

Только бы мне найти какое-нибудь пристанище на ночь! Я раздумываю, где мне лучше всего заночевать; этот вопрос так занимает меня, что я останавливаюсь посреди улицы. Я забываю, где я, стою, как одинокий бакен в море, а вокруг плещут и бушуют волны. Газетчик протягивает мне «Викинга». Любопыт-

но, очень любопытно! Я поднимаю голову и вздрагиваю — передо мной снова магазин Семба.

Я быстро поворачиваюсь, стараюсь скрыть сверток и, растерянный, спешу к церкви, боясь, как бы меня не увидели из окон. Я миную Ингебрет, прохожу мимо театра, у Логена сворачиваю и направляюсь в сторону набережной, к форту. Отыскав свободную скамейку, я снова погружаюсь в размышления.

Где мне найти пристанище на ночь? Нет ли какой-нибудь дыры, где я мог бы укрыться до утра? Гордость не позволяла мне вернуться назад, в прежнюю свою комнату; я и мысли не допускал о том, чтобы отказаться от своих слов, я с негодованием отмахнулся от этого и лишь смущенно улыбнулся, представив себе маленькую красную качалку. Волею воображения я вдруг очутился в большой, с двумя окнами, комнате на Хегдехауген, где когда-то жил: на столе я увидел поднос со множеством бутербродов внушительного вида, а потом он превратился в бифштекс — соблазнительный бифштекс, рядом появилась белоснежная салфетка, груды хлеба, серебряная вилка. И отворилась дверь: вошла моя хозяйка, она предложила мне еще чашечку чаю...

Пустые видения и сны! Я стал внушать себе, что, если б я теперь добыл еды, голова моя снова пришла бы в расстройство, мне пришлось бы бороться с тою же самой лихорадкой в мыслях, с наплывом безумных фантазий. Таков уж я был, еда приносила мне вред; это была моя странность, мое особенное свойство.

Может статься, я еще найду себе пристанище попозже, перед вечером. Спешить некуда: на худой конец, отыщу местечко где-нибудь в лесу, все городские окрестности к моим услугам, и мороза нет.

А море замерло в тяжкой неподвижности, корабли и неуклюжие, тупоносые буксиры бороздили его свинцовую гладь, вспенивали воду с обоих бортов, плыли все вперед, дым, словно пух, летел из труб, стучали машины, сотрясая глухими ударами промозглый воздух. Небо застилали тучи, было безветренно, деревья у меня за спиной казались мокрыми, а скамейка подо мной была сырая и холодная. Время шло; я начал задре-

мывать, появилась усталость, холодок пробежал по спине; вскоре я почувствовал, что глаза у меня совсем слипаются. И я смежил веки...

Когда я проснулся, было уже темно; одурелый спросонья и озябший, я вскочил, схватил свой сверток и пошел прочь. Я шел все быстрее и быстрее, чтобы согреться, махал руками, потирал ноги, которые у меня словно отнялись, и очутился у пожарной каланчи. Было девять; я проспал несколько часов.

Куда же мне деваться? Нужно найти место для ночлега. Я стою, гляжу на пожарное депо и соображаю, не удастся ли проскользнуть в какую-нибудь дверь, выждав, когда охранник зазевается. Я поднимаюсь по ступенькам и пробую завязать с ним разговор, он тотчас же берет свой топорик на караул и готов меня слушать. Этот поднятый топорик, обращенный ко мне холодным лезвием, словно рубит меня по нервам, я немею от страха перед вооруженным человеком и невольно отступаю. Я молчу, только отступаю все дальше и дальше; спасая достоинство, я провожу рукою по лбу, словно забыл что-то, и отхожу. Очутившись снова на тротуаре, я чувствую облегчение, как будто в самом деле избежал серьезной опасности. И спешу прочь.

Холодный и голодный, все больше падая духом, поплелся я по улице Карла-Юхана; при этом я громко ругался, не беспокоясь, что кто-нибудь может это услышать. У здания стортинга, подле первого льва, опять-таки волею воображения, я вспоминаю знакомого художника, молодого человека, которого однажды спас в Тиволи от пощечины, а потом как-то заходил к нему. Весело щелкнув пальцами, я отправляюсь на Турденшёльгатен, отыскиваю дверь с табличкой: «К. Захария Бартель» и стучусь.

Он сам открыл дверь; от него омерзительно пахло пивом и табаком.

— Добрый вечер! — сказал я.

— Добрый вечер! Это вы? Черт возьми, что это вам вздумалось пожаловать ко мне так поздно? Ведь при лампе на моей картине решительно ничего не видно. Со времени вашего прошлого посещения я пририсовал стог сена и кое-что переделал. Приходите днем, а сейчас смотреть нет никакого смысла.

— Все-таки позвольте взглянуть! — сказал я. Впрочем, я не помнил, о какой картине шла речь.

— Это невозможно! — отвечал он. — Все будет казаться желтым! И кроме того... — Понизив голос до шепота, он подошел ко мне вплотную. — Сегодня у меня девушка, так что я никак не могу.

— Ну, в таком случае и толковать не о чем.

Я попятился, пожелал ему доброй ночи и ушел.

Оставалось только одно — идти в лес. Ах, если б земля была не такой сырой! Я поглаживал свое одеяло и понемногу свыкался с мыслью, что буду ночевать под открытым небом. Поиски ночлега в городе были столь долгими и мучительными, что я устал, мне все опротивело; так сладостно было почувствовать успокоение, смириться и плестись по улице без единой мысли в голове. Проходя мимо университета, я поднял голову, увидел, что уже одиннадцатый час, и направился к окраине. На Хегдехауген я остановился перед съестной лавкой, у витрины. Рядом с французской булкой спала кошка, тут же была жестянка со свиным салом и стеклянные банки с крупой. Я постоял немного, глядя на это изобилие, но так как денег у меня не было, отвернулся и продолжал путь. Я шел очень медленно, миновал заставу, побрел дальше, все дальше, час за часом, и наконец добрался до пригородного леса.

Здесь я свернул с дороги и присел отдохнуть. Потом стал искать какое-нибудь мало-мальски подходящее место, собрал вереску и можжевельника, устроил постель на маленьком пригорке, где было чуть посуше, развернул свой пакет и вынул одеяло. Я смертельно устал после долгого пути и тотчас же лег. Много раз я ворочался и ерзал, покуда не устроился наконец поудобнее; ухо у меня слегка побаливало, оно даже распухло от удара кнутом, и я мог лежать только на одном боку. Башмаки я снял и положил под голову, завернув в бумагу от Семба.

Все вокруг было погружено в темноту, стояла тишина, полнейшая тишина. Лишь в высоте звучала вечная песня воздушных стихий, далекий, монотонный гул, который никогда не смолкает. Я так долго прислушивался к этому бесконечному,

тоскливому звучанию, что мне сделалось не по себе; ведь это была музыка блуждающих миров, мелодия звезд...

— Нет, это, наверно, дьявольское наваждение! — сказал я и, чтобы ободриться, громко засмеялся. — Это филины кричат в земле Ханаанской!

Я встал, лег и снова встал, надел башмаки, принялся бродить в темноте, потом опять лег и до самого рассвета боролся с ожесточением и страхом, лишь под утро сон наконец одолел меня.

Когда я открыл глаза, было уже совсем светло, и я почувствовал, что время близится к полудню. Я надел башмаки, снова завернул одеяло в бумагу и пошел обратно в город. Солнце, подобно вчерашнему, скрывали тучи, и я мерз, как собака; ноги у меня окоченели, а глаза слезились, словно ослепленные дневным светом.

Оказалось, что уже три часа. Голод терзал меня все сильней, я ослаб. Я шел, временами чувствуя тошноту. Потом свернул к общественной столовой, прочитал меню, вывешенное на доске, и выразительно пожал плечами, словно терпеть не мог говядину и свинину; отсюда я отправился на вокзальную площадь.

Голова моя сильно кружилась; я шел дальше и старался не обращать на это внимания, но она кружилась все сильней, и наконец мне пришлось присесть на лестнице. Все внутри меня переменилось, словно бы сдвинулось с места, или какая-то завеса, какая-то ткань лопнула у меня в мозгу. Раза два я чуть не задохнулся, и сидел пораженный. Я не терял сознания, я определенно чувствовал, как у меня со вчерашнего дня побаливало ухо, и когда мимо прошел знакомый, я тотчас узнал его, встал и поклонился.

Что это за новое, мучительное ощущение добавилось теперь к остальным? Неужели дело в том, что я спал на сырой земле? Или же я чувствую себя так потому, что еще не завтракал? Вообще говоря, не имело смысла влачить столь жалкую жизнь; видит Бог, я решительно не понимал, за что мне ниспослано это наказание! И я подумал, что очень даже просто могу стать прощелыгой, могу снести в заклад одеяло. Я получу за него крону,

и этого мне хватит трижды плотно пообедать, я продержусь сколько возможно, пока не подвернется что-нибудь другое; а Ханса Паули я как-нибудь обману. Я уже направился к процентщику, но остановился перед дверью, в раздумье покачал головой и повернул назад.

Чем дальше я уходил, тем радостнее становилось мне от мысли, что я преодолел это тяжкое искушение.

Я думал о том, что остался честным человеком, что у меня твердая воля, что я, как яркий маяк, возвышаюсь над мутным людским морем, где плавают обломки кораблекрушений, и это исполняло меня гордости. Заложить чужую вещь, только чтобы пообедать, угрызаться совестью из-за каждого куска, ругать себя прощелыгой, стыдиться перед самим собой — нет, никогда! Никогда! Такая мысль не могла прийти мне всерьез, ее, можно сказать, вовсе и не было; а за случайные, мимолетные мыслишки человека винить нельзя, в особенности когда нестерпимо болит голова и до смерти устаешь все время таскать с собой чужое одеяло.

Рано или поздно непременно найдется какой-нибудь выход! Вот, скажем, этот торговец на Грёнланслерет, я предложил ему свои услуги письмом, но разве я обивал его порог? Разве звонил по телефону с утра до ночи и получал отказы? Я просто-напросто не пришел к нему, потому и не знаю ответа. Быть может, из этого выйдет что-нибудь, быть может, на этот раз счастье мне улыбнется; пути счастья сплошь и рядом неисповедимы. И я отправился на Грёнланслерет.

Последняя встряска меня обессилила, я едва плелся и придумывал, что мне сказать этому торговцу. Наверное, у него добрая душа; если он будет в хорошем настроении, то охотно даст мне крону вперед за работу, даже просить не придется; у подобных людей часто бывают премилые чудачества.

Я проскользнул в ворота, смочил слюною свои брюки на коленях, чтобы придать им более приличный вид, сунул одеяло за ящик в темный угол, пересек наискось улицу и вошел в лавку.

Внутри какой-то человек клеил пакеты из старых газет.

— Мне хотелось бы видеть господина Кристи.

— Это я и есть, — отозвался он.

Вот как! А я такой-то, имел честь письмом предложить ему свои услуги и вот хочу узнать, можно ли мне на что-нибудь рассчитывать?

Он несколько раз повторил мое имя и рассмеялся.

— Не соблаговолите ли полюбоваться, как вы оперируете числами, сударь? Вы пометили ваше письмо тысяча восемьсот сорок восьмым годом.

И он захохотал во всю глотку.

— Да, это не очень хорошо, — смущенно сказал я. — Готов признать, я несколько рассеян, невнимателен.

— Мне, да будет вам известно, нужен человек, который никогда не делает ошибок в числах, — сказал он. — А право, жаль, у вас такой четкий почерк, и вообще ваше письмо мне понравилось, но...

Я подождал немного; мне трудно было поверить, что это его последнее слово.

Он снова занялся своими пакетами.

— Да, это досадно, очень досадно, но поверьте, такое никогда больше не повторится, ведь нельзя же из-за легкой описки считать меня совершенно непригодным к работе счетовода?

— Я этого и не считаю, — ответил он. — Но в ту минуту я придал этому такое значение, что тотчас взял другого.

— Стало быть, место занято? — спросил я.

— Да.

— Ах ты Господи, значит, ничего не поделаешь!

— Ровным счетом. Мне очень жаль, но...

— Прощайте! — сказал я.

Звериная ярость овладела мной. Я схватил свое одеяло в подворотне, стиснул зубы, толкал мирных людей на улице и не извинялся. Когда какой-то господин остановился и сделал мне строгое замечание, я повернул к нему голову и выкрикнул ему прямо в ухо какую-то бессмыслицу, потряс кулаками перед самым его носом и пошел дальше, ослепленный бешенством, с которым не в силах был совладать. Он позвал полицейского, и в это мгновение мне больше всего захотелось затеять с полицей-

ским драку, я умышленно замедлил шаг, чтобы меня могли нагнать; но его не было. Что толку, если все самые горячие, самые решительные попытки что-то предпринять оканчивались неудачей? Почему я написал 1848? На что сдался мне этот проклятый год? Теперь я был так голоден, что у меня сводило кишки, причем не приходилось и надеяться, что в этот день я раздобуду хоть немного еды. С течением времени все более сильное опустошение, душевное и телесное, завладевало мною, с каждым днем я все чаще поступался своей честностью. Я лгал без зазрения совести, не уплатил бедной женщине за квартиру, мне даже пришла в голову преподлая мысль украсть чужое одеяло — и никакого раскаяния, ни малейшего стыда. Я разлагался изнутри, во мне разрасталась какая-то черная плесень. А там, на небесах, восседал Бог и не спускал с меня глаз, следил, чтобы моя погибель наступила по всем правилам, медленно, постепенно и неотвратимо. Но в преисподней метались злобные черти и рвали на себе волосы, оттого что я так долго не совершал смертного греха, за который Господь по справедливости низверг бы меня в ад...

Я прибавил шагу, почти побежал, неожиданно свернул налево и в яростном негодовании очутился перед ярко освещенным, красивым подъездом; я не остановился, не опомнился ни на минуту; но удивительная пышность подъезда мгновенно запечатлелась в моей памяти, каждая мелочь, все украшения стояли перед моим внутренним взором, пока я бежал вверх по лестнице. Во втором этаже я резко позвонил. Почему я остановился именно во втором этаже? И почему схватился за самый дальний от лестницы звонок?

Молодая дама в сером платье с черной отделкой отворила дверь; некоторое время она изумленно смотрела на меня, потом покачала головой и сказала:

— Нет, сегодня у нас ничего нет.

И хотела закрыть дверь.

Почему именно ей суждено было оказаться на моем пути? Она приняла меня за нищего, а я вдруг стал хладнокровен и спокоен. Я снял шляпу, почтительно поклонился и, как будто не расслышав ее слов, сказал с крайней учтивостью:

— Прошу прощения, фрекен, что я так громко позвонил, я не привык к вашему звонку. Кажется, здесь живет больной, который ищет человека возить его в коляске?

Мгновение она постояла, как бы взвешивая мою нелепую выдумку и, видимо, не зная, что обо мне думать.

— Нет, — сказала она наконец. — Никакой больной здесь не живет.

— Разве? Такой пожилой господин, которого нужно возить по два часа в день, за сорок эре в час.

— Нет.

— Тогда еще раз прошу прощения, — сказал я. — Очевидно, это в первом этаже. Я только хотел рекомендовать ему одного человека, своего знакомого, чья судьба мне не безразлична. Меня зовут Ведель-Ярльсберг.

Я снова поклонился и сделал шаг назад; дама покраснела до корней волос, от смущения она не могла двинуться с места и стояла, глядя мне вслед, пока я спускался по лестнице.

Спокойствие снова вернулось ко мне, и голова моя была ясна. Слова дамы, что ей нечего подать сегодня, подействовали на меня, как холодный душ. Я уже дошел до того, что каждый мог, посмотрев на меня, мысленно сказать: «Вон идет нищий, он клянчит у людей себе на пропитание!»

На Меллергаде я остановился у кухмистерской и стал нюхать аппетитный запах жареной говядины; я уже взялся за ручку двери и хотел войти, сам не зная для чего, но вовремя одумался и ушел. Выйдя на площадь, я стал искать места, где бы отдохнуть, но все скамейки были заняты, и я тщетно бродил вокруг церкви в поисках тихого местечка, куда мог бы присесть. «Ну конечно! — с мрачностью сказал я про себя. — Конечно! Конечно же!» И я пошел дальше. У фонтана в углу базара я остановился, выпил воды, снова пошел, волоча ноги, подолгу мешкал у каждой витрины, провожал глазами каждую проезжавшую карету. Голова у меня горела, в висках раздавался какой-то странный стук; выпитая вода не пошла впрок, и время от времени я с трудом удерживался от рвоты. Наконец я добрался до кладбища у храма Спасителя. Я сел, уперся локтями в коле-

ни и уронил голову на руки; когда я скорчился таким образом, мне стало лучше, и я уже не чувствовал покалывания в груди.

Какой-то каменщик ползал по гранитной плите неподалеку от меня и высекал надпись; он был в темных очках и вдруг напомнил мне одного моего знакомого, которого я почти забыл, — тот человек служил в банке, и я встретился с ним както в кофейне.

Если б только я мог преодолеть свой стыд и обратиться к нему! Сказать ему всю правду о том, как мне теперь тяжко, как трудно добывать пропитание! Я мог бы отдать ему книжку с талонами на бритье... Ах, черт, я совсем позабыл про эту книжку! А там талонов почти на крону! Взволнованный, я начинаю искать свое сокровище. Не найдя сразу, я вскакиваю, шарю в холодном поту от страха, и наконец нахожу ее на дне бокового кармана вместе с чистыми и исписанными листками, не имеющими никакой ценности. Я несколько раз пересчитываю эти шесть талонов от начала, потом от конца; мне они не очень нужны, — я больше не хочу бриться, такая уж у меня прихоть, фантазия. Я мог бы иметь вместо них полкроны, блестящую монету из конгсбергского серебра! Банк закрывается в шесть, я могу дождаться своего знакомого у кофейни, он придет часов в семь или в восемь.

Я долго радовался этой мысли. Время шло, в листве каштанов вокруг меня шумел ветер, день клонился к вечеру. Но разве не унизительно соваться с шестью талончиками к молодому человеку, служащему в банке? Как знать, может, у него целых две пухлых книжки в кармане, а талоны в них красивее и чище, чем мои. И я шарил по карманам в надежде найти еще что-нибудь подходящее и предложить ему в придачу, но ничего не нашел. А что, если предложить ему мой галстук? Я отлично могу обойтись и без него, стоит только плотно застегнуть куртку, а мне и без того приходится это делать, раз у меня нет жилета. Я снял галстук, завязанный большим бантом и закрывавший едва ли не половину моей груди, тщательно почистил его и вместе с книжкой завернул в кусок белой бумаги. Потом покинул кладбище и пошел в город.

Часы на ратуше показывали семь. Я держался поблизости от кофейни, прохаживался взад-вперед вдоль железной решетки и внимательно оглядывал всех, кто входил и выходил. Наконец около восьми я увидел молодого человека, чисто и элегантно одетого, который направлялся к дверям кофейни. Когда я увидел его, сердце у меня в груди затрепыхалось, как птичка, и я, не здороваясь, набросился на него.

— Дайте полкроны, старый друг! — нагло сказал я. — А вот это вам в залог. — И я сунул маленький сверток ему в руку.

— Не могу! — сказал он. — Видит Бог, у меня ничего нет! — И он вывернул свой кошелек наизнанку перед самым моим носом. — Вчера вечером я развлекался и теперь сижу на мели. Поверьте, у меня ничего нет.

— Ну не беда, друг мой! — ответил я, поверив ему на слово.

Ведь он, конечно, не стал бы лгать из-за такого пустяка; мне даже показалось, что его серые глаза увлажнились, когда он рылся в карманах и ничего не находил. Я отошел.

— В таком случае извините! — сказал я. — Просто я попал в некоторое затруднение.

Я уже отошел довольно далеко, когда он окликнул меня и напомнил о свертке.

— Оставьте, оставьте его у себя! — откликнулся я. — Сделайте мне удовольствие! Там несколько безделок, мелочь — едва ли не все, что у меня есть на свете.

Я был растроган собственными словами, они прозвучали так безутешно в вечерних сумерках, и я заплакал...

Ветер свежел, тучи быстро неслись по небу, и с наступлением сумерек становилось все холоднее. Я шел по улице и плакал, все больше и больше жалея себя, то и дело у меня вырывались несколько слов, восклицание, от которого слезы, утихшие было, снова наворачивались на глаза:

— Боже, как мне тяжко! Боже, как тяжко!

Прошел час, он тянулся так медленно, что казался бесконечным. Я долго пробыл на Турвгаде, сидел на ступеньках у дверей, прятался в подворотнях, когда кто-нибудь проходил мимо, бессмысленно смотрел через освещенные витрины на снова-

ших в лавках покупателей и наконец нашел уютное местечко за штабелем досок, между церковью и базаром.

В лес я идти не мог даже под страхом смерти — в тот вечер у меня не было сил, а путь казался таким нескончаемо долгим. Я решил, что как-нибудь протяну ночь здесь, никуда не пойду; если меня одолеет холод, поброжу вокруг церкви, стесняться тут особенно нечего. Я прислонился к доскам и задремал.

Понемногу стало тише, лавки закрывались, шаги прохожих раздавались все реже, наконец в окнах погас свет...

Я открыл глаза и увидел перед собой какого-то человека; блестящие пуговицы бросились мне в глаза, и я понял, что это полицейский; лица видно не было.

— Добрый вечер! — сказал он.

— Добрый вечер! — испуганно ответил я. И встал, чувствуя неловкость.

Он постоял немного без движения.

— Где вы живете? — спросил он.

По старой привычке я, не задумываясь, назвал свой старый адрес, где жил недавно в каморке на чердаке. Он еще немного постоял молча.

— Я сделал что-нибудь дурное? — со страхом спросил я.

— Что вы, вовсе нет! — отвечал он. — Но лучше бы вам пойти домой, здесь вы замерзнете.

— Да, это верно, сегодня свежо.

Я пожелал ему покойной ночи и непроизвольно направился к своему прежнему дому. Соблюдая осторожность, я мог пробраться наверх, никого не потревожив; на лестнице было всего восемь ступеней, и только две верхние грозили скрипнуть.

Я разулся на пороге и пошел. В доме было тихо; на втором этаже я услышал медленное тиканье часов и негромкий плач ребенка; больше я не слышал ни звука. Я отыскал свою дверь, приподнял ее на петлях, открыв, по обыкновению, без ключа, вошел в комнату и бесшумно затворил дверь за собой.

В каморке ничто не переменилось, занавески на окнах были отдернуты, кровать пуста. На столе я увидел бумагу, очевидно, это была моя записка; хозяйка даже не заглянула сюда после

моего ухода. Я ощупываю рукой белый квадратик и с удивлением обнаруживаю, что это письмо. Но от кого? Я несу его к окну, разбираю в полутьме каракули и наконец нахожу свое имя. «Ага! — думаю я. — Верно, это от хозяйки, она запрещает мне входить в комнату, если я вздумаю вернуться!»

И медленно, очень медленно, я снова ухожу, неся башмаки в одной руке, письмо в другой и одеяло под мышкой. Я иду на цыпочках, стискиваю зубы, когда ступаю на скрипящие ступени, благополучно преодолеваю лестницу и оказываюсь в подъезде.

Я снова надеваю башмаки, долго вожусь со шнурками, сижу несколько времени, бессмысленно глядя перед собой и держа письмо в руке.

Потом встаю и ухожу.

На улице мерцает газовый фонарь, я иду поближе к свету, кладу сверток у столба и медленно, очень медленно, вскрываю письмо.

Внутри у меня словно вспыхивает пламя, я слышу свой слабый крик, бессмысленный, радостный возглас.

Письмо от редактора, мой фельетон принят и уже отправлен в типографию! «Несколько мелких поправок... две-три случайные описки... очень талантливо... будет напечатано завтра... десять крон».

Смеясь и плача, я пустился бежать по улице, потом остановился, упал на колени, молил всех святых неведомо о чем... А время шло.

Всю ночь до утра я бродил по улицам, обезумев от радости, и повторял:

— Талантливо, значит, маленький шедевр, гениальная вещь. И десять крон!

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Недели через две, как-то вечером, я ушел из дому.

Я снова сидел на кладбище и писал статью для одной из газет; я проработал до десяти, стало темнеть, скоро сторож должен был запереть ворота. Меня мучил голод, сильный голод. Тех десяти крон, к сожалению, хватило не надолго; я уже не ел два, почти три дня и чувствовал слабость, мне было трудно даже водить карандашом по бумаге. В кармане у меня был сломанный перочинный ножик и связка ключей, но ни единой монетки.

Так как кладбищенские ворота запирались, мне, конечно, следовало пойти домой; но из бессознательного страха перед своим жилищем, где было темно и пусто, перед заброшенной мастерской жестянщика, где мне в конце концов позволили ютиться до поры до времени, я поплелся куда глаза глядят, мимо ратуши, к набережной, и дальше, к вокзалу, где наконец сел на скамейку.

Черных мыслей вмиг как не бывало, я забыл все свои невзгоды, успокоенный зрелищем морской глади, такой безмятежной и чудесной в вечерних сумерках. По привычке я хотел перечитать то, что недавно написал, моему больному воображению это представлялось лучшим из моих сочинений. Я достал рукопись из кармана, поднес ее к самым глазам, чтобы лучше видеть, и перечитывал страницу за страницей. Наконец я устал и снова сунул бумаги в карман. Все было тихо; море отливало перламутровой синевой, вокруг с места на место порхали птич-

ки. Несколько поодаль расхаживал полицейский, а больше не видно было ни души, и вся гавань безмолвствовала.

Я снова перебираю свои богатства: сломанный перочинный ножик, связка ключей, но ни единой монетки. Вдруг я хватаюсь за карман и снова достаю бумаги. Это было машинальное движение, бессознательный нервный порыв. Я отыскиваю чистый, неисписанный листок, и — бог знает, отчего мне пришла эта мысль — сворачиваю кулек, аккуратно загибаю края, чтобы казалось, будто в нем что-то есть, и бросаю его далеко на мостовую; пролетев немного по ветру, кулек падает и лежит неподвижно.

Голод стал невыносимым. Я смотрел на белый кулек, раздутый, словно полный серебряных монет, и мне самому начинало казаться, что он совсем не пустой. Я радовался и пробовал отгадать, сколько там денег, — если верно отгадаю, они будут мои! Я представлял себе маленькие, чудесные монетки по десять эре на самом дне и солидные, чеканные кроны сверху — целый кулек, набитый деньгами! Я таращил на него глаза, и мне хотелось его стащить.

Вдруг слышится кашель полицейского, — и отчего это мне приходит в голову тоже кашлянуть? Я встаю со скамейки и кашляю, делаю это трижды, чтобы он услышал. Как ему не броситься к кульку, когда он подойдет! Я радовался этой шутке, потирал руки от восторга и самозабвенно ругался. Я тебя проведу за нос, собака! Угодишь в самую преисподнюю за эту воровскую проделку! От голода я словно охмелел и был как пьяный.

Через несколько минут подходит полицейский, озираясь по сторонам, железные подковки на его каблуках стучат по мостовой. Он не торопится, у него целая ночь впереди; он замечает кулек, только когда подходит совсем близко. Но вот он останавливается и смотрит на кулек. А кулек так соблазнительно белеет на мостовой, должно быть, там кругленькая сумма, а? Кругленькая сумма серебром? И он поднимает кулек. Гм! Там что-то легкое, очень легкое. Может быть, драгоценное перо для шляпы... Своими большими руками он осторожно открывает кулек и заглядывает внутрь. А я хохочу, хохочу как сумасшедший и хлопаю себя по колену.

Но ни единого звука не вырывается у меня; мой смех безмолвен, он подобен затаенному рыданию...

Снова раздается стук каблуков по мостовой, и полицейский идет дальше по набережной. Я сижу со слезами на глазах и задыхаюсь от лихорадочной веселости. Потом я начинаю разговаривать вслух, рассказываю самому себе о кульке, передразниваю бедного полицейского, заглядываю себе в пустую горсть, снова и снова повторяю про себя: «Он кашлянул, когда бросил кулек! Кашлянул, когда бросил!» Немного погодя я добавляю к этой фразе еще несколько пикантных словечек, переделываю ее, и теперь она звучит гораздо остроумней: «Он кашлянул разок — кхе-хе!»

Эта игра словами меня утомила, был уже поздний вечер, и веселость моя исчезла. Мною овладел дремотный покой, приятная истома, и я этому не противился. Темнота сгустилась, подул легкий ветерок, и перламутровая гладь моря подернулась рябью; мачты кораблей четко рисовались на фоне неба, а сами черные их громады были похожи на молчаливых ощетинившихся чудищ, которые притаились и подстерегали меня. Скорбь моя прошла, ее заглушил голод; теперь я ощущал в себе приятную пустоту, ничто меня не тревожило, и я радовался своему одиночеству. Я забрался на скамейку с ногами и прилег — так удобнее всего было наслаждаться уединением. Ни единое облачко не омрачало мою душу, у меня не было тягостных чувств, и мне казалось, что сбылись все мои мечты и желания. Я лежал с открытыми глазами, словно отрешившись от самого себя, мысленно уносясь в блаженные дали.

По-прежнему ни один звук не нарушал моей безмятежности; мягкий сумрак скрывал от моих глаз весь мир, и я погрузился в глубины покоя — лишь беспокойный шорох тишины наполняет мои уши безмолвием. Когда настанет ночь, эти темные чудища поглотят меня и унесут далеко, за море, в чужие страны, где никто не живет. Они принесут меня к замку принцессы Илаяли, где мне уготовано такое великолепие, какого еще не видел свет. И сама она будет сидеть в сияющей зале, где все сделано из аметиста, на троне из золотистых роз, и протянет ко

мне руку, когда я войду, и громко произнесет приветствие, когда я приближусь и преклоню колена: «Приветствую тебя, рыцарь, в моем замке и в моих владениях! Я ждала тебя двадцать лет, я звала тебя все эти светлые ночи, и когда ты страдал, я плакала, а когда ты спал, я навевала тебе прекрасные сны!..» И вот красавица берет меня за руку, указывает путь, ведет по длинным коридорам, где огромные толпы кричат «ура!», через светлые сады, где играют и смеются триста юных дев, в другую залу, где все сделано из лучезарного изумруда. Здесь все залито солнцем, в галереях и портиках раздается сладостное пение, на меня веет благоуханными ароматами. Я держу ее руку в своей и чувствую, как мою кровь воспламеняют безумные, колдовские чары; я обнимаю ее, и она шепчет: «Не здесь, пойдем дальше!» И мы входим в алую залу, где все сделано из рубина, — я погружаюсь в лучистое великолепие. И я чувствую, как ее рука обвивается вокруг меня, чувствую на своем лице ее дыхание, слышу шепот: «Приветствую тебя, мой возлюбленный! Целуй меня! Еще... еще...»

Со скамейки мне видны звезды, и моя мысль уносится вместе с вихрем света...

Я уснул, лежа на скамейке, и полицейский разбудил меня. Надо было дальше влачить нищенскую жизнь. Первым моим чувством было тупое изумление, что я очутился под открытым небом, но оно скоро сменилось горькой тоской; я готов был плакать от досады, что я все еще жив. Пока я спал, выпал дождь, платье мое промокло насквозь, и я чувствовал промозглый холод в членах. Темнота стала еще гуще, я с трудом мог разглядеть лицо полицейского.

— Та-а-ак! — сказал он. — А теперь вставайте.

Я тотчас встал; если б он велел мне снова лечь, я повиновался бы. Я был подавлен и совершенно обессилен, да к тому же голод сразу начал снова меня терзать.

— Эй вы, дурак, обождите! — окликнул меня полицейский. — Вы позабыли шляпу. Та-а-ак, теперь ступайте!

— Мне тоже показалось, что я... что я позабыл... — бессвязно лепетал я. — Спасибо. Доброй ночи.

И я поплелся дальше.

Ах, если б теперь кусочек хлеба! Чудесный кусочек черного хлеба, который можно грызть, бродя по улицам! И я думал, что бывает такой особенно вкусный черный хлеб, и хорошо бы его поесть. Голод мучил меня, мне хотелось умереть, и я плакал от избытка чувств. Горе мое было беспредельно. Вдруг я остановился посреди улицы, затопал ногами и стал изрыгать проклятия. Как он меня обозвал? Дураком? Я покажу этому полицейскому, как называть меня дураком! Тут я повернул и бросился назад. Я весь пылал гневом. На улице я споткнулся и упал, но не обратил на это внимания, вскочил и снова побежал. Добравшись до вокзальной площади, я так устал, что у меня уже не было сил бежать до пристани; кроме того, злоба моя поостыла. Наконец я остановился и перевел дух. Не все ли равно, что сказал какой-то полицейский! Да, но я не намерен все это терпеть! Ну конечно! — перебил я сам себя. — Но что с него спрашивать!.. И это извинение показалось мне достаточным; я повторял про себя, что с него нечего спрашивать. И снова повернул назад.

«Господи, вот наказание, — с горечью думал я. — И придет же в голову бегать, высунув язык, по мокрым улицам в такую темную ночь!» Голод нестерпимо мучил меня, не давал мне покоя. Я то и дело глотал слюну, чтобы хоть немного его заглушить, и это как будто помогало. Вот уже много недель я недоедал, и теперь наступил ощутимый упадок сил. Когда мне, так или иначе, удавалось раздобыть пять крон, их хватало ненадолго, и поэтому я не успевал оправиться до новой голодовки. Хуже всего мне повиновались спина и плечи; боль в груди была не слишком сильна, и я мог унять ее, хорошенько прокашлявшись или подавшись всем телом вперед; а вот спина и плечи были для меня сущим наказанием. Отчего судьба так жестока? Разве я не имею такого же права жить, как антикварий Паша и пароходный агент Хеннехен? Разве у меня нет сильных плеч и пары крепких рабочих рук, разве я не готов удовольствоваться хотя бы местом дровосека на Мёллергаде, чтобы зарабатывать на хлеб насущный? Разве я лентяй? Разве я не искал работы, не

слушал лекций, не писал статей, не читал, не трудился день и ночь как одержимый? Разве я не экономил, не питался хлебом и молоком, когда дела мои шли в гору, одним только хлебом — когда они шли хуже, и не голодал — когда оказывался совсем без средств? Разве я жил в гостинице или в большой квартире на первом этаже? Нет, я жил на чердаке, а потом — в мастерской жестянщика, которую в ту зиму совершенно забросили, потому что ее заносило снегом. И теперь я решительно ничего не мог понять.

Я шел и думал обо всем этом, и в душе моей не было ни тени озлобления, зависти или горечи.

Я остановился у лавки, где торговали красками, и стал разглядывать витрину; попытался прочитать затейливые надписи на закрытых коробках, но было слишком темно. Эта моя новая причуда вызвала во мне досаду, я почти сердился, что не могу узнать содержимого этих коробок, стукнул в витрину и пошел прочь. Дальше, на улице, я увидел полицейского, прибавил шагу, подошел к нему вплотную и сказал ни с того ни с сего:

— Сейчас десять часов.

— Нет, сейчас два, — с удивлением возразил он.

— Нет, десять, — настаивал я. — Сейчас десять часов. — Я застонал от злобы, сделал еще несколько шагов вперед, сжал кулак и сказал: — Послушайте, говорю вам, что сейчас — десять.

Несколько мгновений он пытался что-то сообразить, всматривался в меня долго и пристально. Потом сказал тихо:

— Во всяком случае, вам пора домой. Может быть, проводить вас?

— Нет, благодарю. Я несколько засиделся в кофейне. Премного благодарен.

Когда я отошел, он отдал мне честь. Его учтивость меня совершенно обезоружила, и я плакал от обиды, что у меня не нашлось для него пяти крон. Я остановился и долго провожал его глазами, я хлопал себя по лбу и заливался слезами, глядя ему вслед. Я проклинал себя и свою бедность, поносил себя последними словами, измышлял обидные клички, изощрялся в изыскивании самой отборной брани, осыпал ею себя. Так продол-

жалось почти до самого дома. Дойдя до ворот, я обнаружил, что потерял ключи.

«Ну ясно! — сказал я себе с горечью. — Как мне было не потерять ключей? Я живу на дворе, где есть конюшня, а наверху — мастерская жестянщика; ворота запираются на ночь, и никто, никто не может их открыть, — как же мне было не потерять ключей? Я промок как собака, проголодался, — самую малость проголодался, я чувствовал странную слабость в коленях — как же мне было не потерять ключей? Почему, в сущности, все жильцы не разъехались, когда мне нужно войти?..» И я смеялся, ожесточенный голодом и немощью.

Я слышал, как лошади на конюшне били копытами, и видел свое окошко наверху; но я не мог открыть ворота и войти. Усталый и раздосадованный, я решил вернуться на пристань и поискать свои ключи.

Снова пошел дождь, и я уже чувствовал, как вода стекает у меня между лопаток. У ратуши мне вдруг пришла прекрасная мысль: я решил обратиться к полиции с просьбой открыть мои ворота. Подойдя к полицейскому, я убедительно попросил его пойти со мной и, если возможно, отпереть замок.

Если б это было возможно, тогда конечно! Но это невозможно, у него нет отмычек. Отмычки только у агентов сыскного отделения.

— Как же мне быть?

— Что ж, придется вам переночевать в гостинице.

— Но я, право, не могу ночевать в гостинице: у меня нет денег. Понимаете, я вышел из дому только в кофейню...

Некоторое время мы постояли на ступенях у ратуши. Он соображал, раздумывал, поглядывал на меня. Дождь лил как из ведра.

— Вам придется пойти в дежурную часть и объявить, что у вас нет пристанища, — сказал он.

Объявить, что у меня нет пристанища? Об этом я не подумал. Ей же ей, прекрасная мысль! Я принялся благодарить полицейского за совет. Значит, я могу просто войти и сказать, что у меня нет пристанища?

— Да, можете!..

— Фамилия? — спросил дежурный.

— Танген... Андреас Танген.

Я сам не знал, зачем лгу. Мысли беспорядочно метались у меня в голове и помимо воли заставляли меня пускаться на всякие ухищрения; я мгновенно придумал эту чужую фамилию и выпалил ее сразу. Я лгал безо всякой надобности.

— Занятие?

Я очутился в безвыходном положении. Гм! Вначале я думал сказаться жестянщиком, но не рискнул; ведь я назвал себя фамилией, мало подходившей для жестянщика, и, кроме того, у меня были очки на носу. Тогда я набрался нахальства, сделал шаг вперед и сказал торжественно, недрогнувшим голосом:

— Я журналист.

Дежурный вздрогнул, но записал мои слова, а я важно стоял перед ним, словно министр, оказавшийся без пристанища. То, что я помедлил с ответом, не вызвало у дежурного подозрений. Ведь это ни на что не похоже: журналист, стоящий у ратуши, без крова над головой!

— А в какой газете вы сотрудничаете, господин Танген?

— В «Утренней газете», — ответил я. — К сожалению, я вышел сегодня вечером из дому...

— Да полноте! — перебил он и добавил с улыбкой: — Когда молодые люди отлучаются из дому... Это мы понимаем. — Он встал и почтительно поклонился мне, а потом сказал какому-то полицейскому: — Проводите господина в резервную камеру. Спокойной ночи.

От собственной дерзости по спине у меня пробежали мурашки, и, сжав кулаки, я старался ободриться.

— Газ горит только десять минут, — предупредил полицейский еще в дверях.

— А потом тушится?

— Да, потом тушится.

Я сел на кровать и слышал, как ключ повернулся в замке. В камере было светло, она казалась уютной; чувствуя кров над головой, я с удовольствием прислушивался к шуму дождя. Иметь

бы всегда такую уютную комнатку — лучшего я и не желал! На душе у меня стало гораздо спокойней. Сидя на кровати со шляпой в руке и глядя на газовый светильник у стены, я повторял про себя подробности этого первого своего столкновения с полицией. Да, я впервые столкнулся с ними, и до чего же ловко я их провел! Журналист Танген, не угодно ли? Из «Утренней газеты»! Я поразил этого господина в самое сердце «Утренней газетой»! «Да полноте!» Каково?

Засиделся в гостях подле собора до двух ночи, забыл дома ключ и бумажник с несколькими тысячами крон! «Проводите господина в резервную камеру...»

Но вот газовый светильник гаснет, гаснет сразу, без предупреждения; я сижу в полной тьме, не видя даже своей руки, не видя белых стен камеры, ничего. Остается одно — лечь спать. И я раздеваюсь.

Но я не мог уснуть, сон не шел ко мне. Некоторое время я лежал, глядя в темноту, в густую, плотную, бездонную и непостижимую. Моя мысль не могла ее охватить. Мрак был слишком густым, он давил меня. Я зажмурился и стал напевать вполголоса, я ерзал на койке, чтобы развеять тягостные чувства; но все было тщетно. Мрак поглощал все мои мысли и ни на мгновение не отступал. А вдруг сам я весь растворился в этом мраке, слился с ним воедино? Я вскакиваю с койки и размахиваю руками.

Нервное возбуждение совершенно завладело мною, и как ни старался я избавиться от него, ничто не помогало. И вот я сидел, обуреваемый престранными фантазиями, баюкал себя, напевал колыбельную песенку, силился себя успокоить, весь в поту от этих усилий. Я пристально вглядывался во мрак, такой глубокий, какого я в жизни не видел. У меня не было ни малейшего сомнения в том, что это совершенно особенная темнота, грозная стихия, с какой еще никто не сталкивался. Мне приходили в голову самые нелепые мысли, все вокруг пугало меня. Вот в стене над койкой небольшое отверстие, оно меня очень занимает. Это дырка от гвоздя, думаю я, это знак, оставленный на стене. Я ощупываю отверстие, дую в него. Стараюсь опреде-

лить его глубину. Нет, это не простое отверстие, как бы не так; это очень хитрое и таинственное отверстие, его следует остерегаться. Поглощенный этой мыслью, охваченный жгучим любопытством и страхом, я наконец встал с койки, отыскал свой перочинный ножик и измерил глубину отверстия, дабы убедиться, что оно не выходит в соседнюю камеру.

Затем я опять прилег и попытался уснуть, но вместо этого снова начал бороться с мраком. Дождь на дворе перестал, и не слышно было ни звука. Я долго прислушивался и не успокоился, пока не услышал шаги на улице — по всей видимости, это прошел полицейский. Потом я стал щелкать пальцами и смеяться. Ха-ха! Черт возьми! В голову мне пришло новое, небывалое слово. Я приподнимаюсь на койке и говорю: «Кубоа», — такого слова нет в языке, я сам его выдумал. Как и всякое слово, оно состоит из букв, видит Бог. Да, брат, ты создал слово... «Кубоа»... оно имеет огромное значение для грамматики.

Это слово четко рисовалось передо мной во мраке.

Теперь я сижу на койке, широко раскрыв глаза, поражаюсь своей находке и смеюсь от радости. Я говорю шепотом: меня ведь могут подслушать, а я хочу сохранить свое изобретение в тайне. От голода мною овладело ликующее безумие: боль надо мной не властна, мысль не знает удержу. Она делает непостижимый скачок, пытаясь уяснить смысл нового слова, придуманного мною. Нет, оно вовсе не значит «Бог» или «Тиволи», и с какой стати должно оно обозначать «зверинец»? Стиснув кулаки, я повторяю: «С какой стати должно оно обозначать зверинец?» Если вдуматься, оно не может значить «висячий замок» или «восход солнца». Но смысл его отыскать не так уж трудно. Я подожду, предоставлю дело времени. А покамест можно поспать.

Я лежу на койке и улыбаюсь молча, ничего не говорю ни «за» ни «против». Но через несколько минут я прихожу в волнение, новое слово не дает мне покоя, оно то и дело возвращается и наконец совершенно завладевает моими мыслями, отчего я становлюсь очень серьезен. Я уже твердо решил, чего оно не должно обозначать, но не определил, что же оно все-таки

значит. «Это — несущественный вопрос!» — громко говорю я себе, беру сам себя за руку и повторяю, что это — несущественный вопрос. Слово, с Божьей помощью, найдено, и это — главное. Но мысль о том, что оно может значить, не оставляет меня, мешает уснуть; перед столь редкостным словом я безоружен. Наконец я снова сажусь на койку, сжимаю обеими руками голову и говорю: «Нет, положительно невозможно, чтобы оно значило «эмиграция» или «табачная фабрика»! Если б оно могло значить что-нибудь в этом роде, я давно уже остановился бы на этом и сделал соответствующие выводы. Нет, это слово, собственно, рождено для обозначения чего-то *духовного*: чувства, душевного состояния — как же я до сих пор этого не понял? Я роюсь в памяти, ищу какое-нибудь духовное понятие. И вдруг мне чудится, будто я слышу чей-то голос, будто кто-то вмешивается в мои рассуждения, и я говорю сердито: «Это еще что такое? Вот идиот, каких свет не видел! Как может оно значить «пряжа»? Пошел ты к черту!» С какой стати мне соглашаться, что оно значит «пряжа», когда я с самого начала был против этого? Ведь слово придумал я и имею полное право придать ему смысл, какой пожелаю. А я, кажется, еще не высказал своего мнения...

Но мысли мои становились все исступленней. Наконец я соскочил с койки и стал искать водопроводный кран. Пить мне не хотелось, но голова была в жару, и меня тянуло к воде. Напившись, я снова лег и решил уснуть во что бы то ни стало. Закрыв глаза, я принудил себя успокоиться. После этого я пролежал несколько минут не шелохнувшись. Я был в испарине и чувствовал буйные толчки крови у себя в жилах. Нет, подумать только, как прекрасно это получилось, что он стал искать денег в бумажном кульке! Он кашлянул разок. Небось он до сих пор там бродит? Сидит на моей скамейке?.. Перламутровая синева... Корабли...

Я открыл глаза. Что было толку жмурить их, раз я не мог уснуть! Все тот же мрак окружал меня, все та же бездонная черная вечность, сквозь которую не могла пробиться моя мысль. С чем бы его сравнить? Я сделал отчаянное усилие, чтобы приискать самое черное слово для обозначения этого мрака, столь ужа-

сающе черное слово, чтобы мой рот почернел, произнося его. Господи, как темно! И я снова начинаю думать о гавани, о кораблях, о черных чудищах, что подстерегают меня. Они хотели заманить меня, схватить и увлечь за моря и земли, за черные, никем не виданные страны. Мне кажется, будто я на корабле, я уплыл в море, воспарил к облакам и падаю, падаю... Я издаю отчаянный крик и стискиваю руками края койки; это был опасный полет, я со свистом летел вниз, как мешок с камнями. И когда руки мои ощутили твердые края койки, я не почувствовал себя спасенным. «Вот она, смерть, — сказал я себе. — Теперь ты умрешь!» Некоторое время я размышлял о своей неизбежной смерти. Потом приподнялся на койке и строго спросил: «А кто сказал, что ты должен умереть?» Раз я сам выдумал слово, то имею полное право решить, что оно должно значить... Я слышал свой голос, слышал собственные фантазии. Это было безумие, бред, порожденный слабостью и истощением, но я не лишился чувств. И вдруг меня пронзила мысль, что я сошел с ума. Охваченный страхом, я соскочил с койки. Шатаясь, пошел к двери, попытался ее открыть, несколько раз ударился в нее всем телом, чтобы ее высадить, потом уперся лбом в стену, громко стонал, кусая себе пальцы, плакал, бормотал проклятия...

Все было тихо; только мой голос метался по камере, бессильный преодолеть каменные стены. Ноги больше не держат меня. И я падаю на пол. Высоко над собою я смутно различаю в стене серый квадрат, он приобретает беловатый оттенок, и меня осеняет предчувствие — это дневной свет. Ах, с каким облегчением я вздохнул! Я распростерся на полу и плакал, радуясь этому проблеску света, это были слезы благодарности, я посылал окну поцелуи и безумствовал. Но в это мгновение я сознавал, что делаю. Вся моя подавленность сразу прошла, отчаяние и боль исчезли, мне ничего больше не было нужно, я не мог придумать ни единого желания. Я сидел на полу, скрестив на груди руки, и терпеливо ждал наступления дня.

«Какая ужасная была ночь! Странно, что никто не слышал шума», — с удивлением думал я. Но ведь я был в резервной камере, расположенной гораздо выше всех остальных. Министр,

очутившийся без пристанища, если можно так выразиться. У меня было теперь прекрасное, ничем не омраченное настроение, я пристально смотрел на окно, за которым брезжил рассвет, и забавлялся, воображая, будто я важная особа, величал себя фон Тангеном и старался выражаться, как подобает сановнику. Фантазия моя по-прежнему работала, но я стал гораздо спокойней. Проклятая рассеянность, из-за нее я забыл дома бумажник. Не окажет ли мне господин министр великую честь, не позволит ли он предложить ему постель? С необычайной важностью, очень церемонно, я подошел к койке и лег.

Стало уже так светло, что я мог различать стены камеры, а немного погодя разглядел и тяжелую ручку двери. Это развлекло меня; однообразный мрак, столь раздражающе плотный, что я не видел самого себя, рассыпался; кровь в моих жилах текла спокойней, и вскоре я почувствовал, что у меня смыкаются глаза.

Меня разбудил стук в дверь. Я вскочил и поспешно оделся; мое платье еще не высохло со вчерашнего вечера.

— Пожалуйте вниз, к дежурному, — сказал полицейский.

«Значит, снова предстоят всякие формальности!» — со страхом подумал я.

Я спустился вниз, в большую комнату, где сидели тридцать или сорок бездомных людей. Их поочередно выкликали по списку и давали им талоны на обед. Дежурный то и дело спрашивал стоявшего рядом полицейского:

— Талон выдан? Не забывайте выдавать талоны. Ведь они, должно быть, голодны.

Я смотрел на все эти талоны и мечтал тоже заполучить один.

— Андреас Танген, журналист!

Я шагнул вперед и поклонился.

— Послушайте, вы-то каким образом сюда попали?

Я объяснил, как было дело, рассказал ту же историю, что и вчера, я лгал не моргнув глазом, лгал совершенно искренне: засиделся в кофейне, потерял ключ...

— Ах так, — сказал он и улыбнулся. — Вон оно что! Хорошо ли вас тут устроили?

— Как министра, — ответил я. — Как министра!

— Очень рад! — сказал он, вставая. — До свидания!

Я ушел.

И мне бы, и мне бы талончик! Я не ел целых три дня! Хоть бы кусок хлеба! Но никто не предложил мне талон, а попросить я не решился. Это сразу вызвало бы подозрение. Стали бы копаться в моих личных делах и доискиваться, кто я такой в действительности; и арестовали бы меня за ложные показания. Высоко подняв голову и сунув руки в карманы, я вышел из ратуши гордо, словно миллионер.

Солнце уже пригревало, было десять часов, площадь заполнили экипажи и пешеходы. Куда пойти? Я хлопаю по карману, нащупываю свою рукопись, — в одиннадцать часов попытаюсь заглянуть к редактору. Стоя у балюстрады, я наблюдаю, как подо мной кипит жизнь: от моей одежды идет пар. Голод снова проснулся, болью сводит грудь, пробегает судорогой по телу, слабо, но ощутимо пронзает меня. Неужели мне не найти ни друга, ни знакомого — никого, к кому бы я мог обратиться? Я роюсь в памяти, стараюсь придумать, кто дал бы мне десять эре, но не нахожу такого человека. А день так чудесен! Вокруг столько тепла и света; небо растеклось над головой, как море, опрокинутое над горной грядой...

Незаметно для себя я пошел к дому.

Я был очень голоден и, подобрав с земли щепку, стал жевать ее. Это помогло. Как я не подумал об этом раньше!

Ворота были отперты, конюх, по обыкновению, пожелал мне доброго утра.

— Хорошая сегодня погодка! — сказал он.

— Да, — отвечал я.

И больше не нашелся что сказать. Не попросить ли у него пять крон? Он охотно даст, если только у него есть. К тому же я однажды написал по его просьбе письмо.

Он стоял, явно намереваясь что-то сказать.

— Хорошая погодка, да. Гм... А мне сегодня платить хозяйке, так не будете ли вы добры ссудить мне пять крон? Всего на несколько дней. Вы ведь однажды уже выручали меня.

— Право, никак не могу, Йенс Олай, — сказал я. — Сейчас у меня нет. Может быть, попозже, к вечеру...

И я потащился по лестнице к себе.

Я бросился на постель и стал смеяться. Какое счастье, что он меня опередил! Моя честь спасена. Пять крон — Бог с тобою, любезный! С таким же успехом ты мог бы попросить у меня пять акций общественной столовой или загородную усадьбу.

При мысли об этих пяти кронах я смеялся все громче и громче. Ну не молодчина ли я? Пять крон! Нашел подходящего человека! Я не мог совладать со своей веселостью, она захватила меня всего. Тьфу, черт возьми, как пахнет съестным! Запах жаркого с самого обеда, тьфу! Я распахиваю окно, чтобы выветрился этот отвратительный запах. Человек, половину бифштекса! Обращаясь к столу, к своему сломанному столу, который приходится поддерживать коленями, когда пишешь, я говорю с низким поклоном:

— Я Танген, министр Танген. К сожалению, я немного засиделся... и забыл ключ от ворот...

И мысли мои, вырвавшись на волю, снова понеслись как безумные. Я сознавал, что говорю бессвязно, и внимательно прислушивался к своим словам. Я сказал себе: «Вот ты снова ведешь бессвязные речи!» И все же я ничего не мог с собой поделать. Я не спал и все же разговаривал, как во сне. Голова моя была легка, я не чувствовал ни боли, ни тяжести, и ни единое облачко не омрачало душу Я плыл по воле стихий.

Входите! Да входите же! Как видите, здесь все сделано из рубина. Илаяли, Илаяли! Красивая, дивная шелковая тахта! Как бурно дышит ее грудь! Целуй меня, мой возлюбленный! Еще! Еще! Твои руки золотисты, как янтарь, твои уста пылают... Человек, я заказал бифштекс...

Солнце светило в окно, я слышал, как лошади внизу хрупали овсом. А я грыз свою щепку и радовался от души, как ребенок. То и дело я ощупывал свою рукопись; я ни разу не подумал о ней, но чутье подсказывало мне, что она здесь, моя кровь напоминала про нее.

Она промокла, я развернул ее и положил на солнце. Потом начал расхаживать взад-вперед по комнате. Какое вокруг меня удручающее зрелище! На полу мелкие растоптанные обрезки жести, и нет ни одного стула, ни одного гвоздя на голых стенах. Все отправлено в лавчонку к процентщику, все проедено. Несколько листков бумаги на столе, покрытые толстым слоем пыли, составляли все мое имущество; старое, зеленое одеяло на кровати мне одолжил Ханс Паули много недель тому назад. Ханс Паули! Я щелкаю пальцами. Ханс Паули Петтерсен поможет мне! И я стараюсь вспомнить его адрес. Как это я мог забыть Ханса Паули! Он, конечно, очень обидится, что я не сразу обратился к нему. Я быстро надеваю шляпу, собираю исписанные листки и сбегаю вниз по лестнице.

— Послушайте, Йенс Олай, — крикнул я в двери конюшни. — Я твердо уверен, что вечером смогу вам помочь!

Подойдя к ратуше, я вижу, что уже двенадцатый час, и решаю немедленно отправиться в редакцию. У редакционной двери я останавливаюсь, чтобы взглянуть, в порядке ли сложены страницы рукописи. Я тщательно разглаживаю ее, снова кладу в карман и стучу. Когда я вхожу, мне слышно, как бьется мое сердце.

Человек-Ножницы, по обыкновению, был занят своим делом. Я робко справился о редакторе. Он не ответил. Все сидел да отыскивал мелкие новости в иногородних газетах.

Я повторил свой вопрос, подойдя поближе.

— Редактор еще не приходил, — наконец-то отвечают Ножницы, даже не взглянув на меня.

— А когда он придет?

— Не берусь сказать, положительно не берусь.

— До какого времени открыта редакция?

Я не получил никакого ответа и вынужден был уйти, Человек-Ножницы во время нашего разговора ни разу не посмотрел мне в лицо; он узнал меня по голосу. «На каком же ты здесь дурном счету, — подумал я, — если тебе даже ответить не хотят. Неужели так распорядился редактор?» Правда, после своего знаменитого фельетона за десять крон я засыпал его статьями,

бегал к нему почти каждый день, приносил негодную стряпню, которую ему приходилось читать, а потом возвращать обратно. Пожалуй, он решил положить этому конец и принял свои меры... Я пошел к центру города.

Ханс Паули Петтерсен, студент из крестьян, жил на чердаке пятиэтажного дома, — стало быть, Ханс Паули Петтерсен был бедный человек. Но если у него найдется крона, он не пожалеет ее. Я могу считать, что она у меня в руке. Идя к нему, я не переставал радоваться этой кроне и был уверен, что получу ее. Дверь подъезда была заперта, пришлось позвонить.

— Я хотел бы видеть студента Петтерсена, — сказал я и попытался войти. — Я знаю, где он живет.

— Студента Петтерсена? — повторила горничная. — Того, что жил на чердаке? Да ведь он переехал.

Она не знала, куда именно; однако он просил пересылать письма к Хермансену на Тульбудгатен, номер такой-то.

Обнадеженный, я отправляюсь на Тульбудгатен за адресом Ханса Паули. Больше мне не на что было рассчитывать, приходилось цепляться за последнее. Я прошел мимо новостройки, где плотники строгали доски. Я выбрал из кучи две чистые стружки, сунул одну в рот, а другую спрятал в карман, про запас, и продолжал свой путь. Я стонал от голода. В витрине булочной я увидел хлеб необычайной величины, ценою в десять эре, самый большой хлеб, какой можно купить за эти деньги...

— Я хотел бы узнать адрес студента Петтерсена.

— Улица Бернта Анкера, дом десять, на чердаке... Вы идете туда? В таком случае не прихватите ли для него вот эти письма?

И я отправляюсь в город той же дорогой, какой пришел, снова прохожу мимо плотников, которые теперь сидят, поставив котелки на колени, и едят вкусный, горячий обед, мимо булочной, где в витрине все так же лежит хлеб, и когда я наконец добираюсь до улицы Бернта Анкера, то едва не падаю от истощения. Дверь не заперта, и я по длинной, крутой лестнице взбираюсь на чердак. Я вынимаю письма из кармана, чтобы, войдя, сразу обрадовать Ханса Паули. Он, конечно, не откажется протянуть мне руку помощи, когда я изложу ему все обстоятель-

ства, — конечно, нет, у Ханса Паули отзывчивое сердце, я всегда так считал...

На двери была приколота карточка: «Х.-П. Петтерсен, студ. богосл. уехал на родину».

Я сажусь, сажусь прямо на голый пол, не в силах шевельнуться от усталости, обессилев от истощения. Я машинально повторяю несколько раз: «Уехал на родину! Уехал на родину!» Потом умолкаю. Глаза мои сухи, никаких мыслей, никаких чувств нет во мне. Я с недоумением рассматриваю письма и сижу без движения. Проходит десять минут, а может быть, все двадцать или даже больше, но я все сижу на месте, даже не пошевельнувшись. Это тупое оцепенение подобно сну. Вдруг я слышу шаги на лестнице, встаю и говорю:

— Тут жил студент Петтерсен, я принес ему два письма.

— Он уехал, — отвечает женщина. — Но он вернется после каникул. А письма, если хотите, можете отдать мне.

— Спасибо, вы очень любезны, — сказал я. — Тогда он возьмет их у вас, как только вернется. Ведь письма, наверное, очень важные. До свиданья.

Выйдя из дома, я остановился посреди улицы и, сжав кулаки, произнес громко:

— Вот что я тебе скажу, милосердный Боже: теперь я знаю, каков ты есть! — И в бешенстве, стиснув зубы, я погрозил небу кулаком. — Черт меня побери, если я этого не знаю!

Пройдя еще несколько шагов, я снова останавливаюсь. Внезапно, переменив тон, я смиренно складываю руки, склоняю голову и кротким, елейным голосом спрашиваю:

— А молил ли ты Его, сын мой?

Это прозвучало фальшиво.

— Его — с большой буквы, — продолжал я. — С буквы Е, огромной, как колокольня. Я спрашиваю снова: — Просил ли ты Его, сын мой? — и, понурив голову, я ответил печально: — Нет!

И это тоже прозвучало фальшиво.

Ты не умеешь лицемерить, глупец! Ты должен бы сказать: «Да, я взывал к Господу Богу моему!» И ты должен бы произнести эти слова жалостно, как можно жалостней. Ну-ка, еще ра-

зок! Вот теперь уже лучше. Но при этом надо вздыхать, вздыхать тяжело, как измученная лошадь. Вот так!

Я иду и поучаю себя, а когда это мне надоедает, сердито топаю ногами и обзываю себя дубиной, к удивлению прохожих, которые оборачиваются и глядят на меня.

Все это время я жевал стружку и не останавливаясь шел по улице. Я даже не заметил, как очутился на вокзальной площади. Часы на храме Спасителя показывали половину второго. Я постоял немного в раздумье. На лбу у меня выступила испарина, пот заливал глаза.

— А не пойти ли на пристань? — сказал я себе. — Разумеется, если у тебя есть время.

Я поклонился самому себе и пошел на пристань.

Корабли стояли на рейде, море зыбилось, сверкая под солнцем. Здесь царило оживление, раздавались пароходные свистки, сновали грузчики с ящиками на спинах, с баржей доносились веселые песни. Неподалеку от меня какая-то женщина торговала пирожками, она клевала почернелым носом над своим товаром; столик перед нею завален лакомствами, и я презрительно отворачиваюсь. Она всю пристань завоняла; тьфу, проветрите набережную! Я обращаюсь к господину, сидящему рядом со мной, и убедительно доказываю ему, как неуместно торговать пирожками везде и всюду... Вы не согласны? Хорошо, однако не станете же вы спорить, что... Но господин почувствовал неладное, он не дал мне договорить до конца, встал и ушел. Я тоже встал и последовал за ним, твердо решив доказать ему, что он заблуждается.

— Это недопустимо также и в санитарном отношении, — сказал я, похлопав его по плечу.

— Извините, я приезжий и ничего не понимаю в санитарии, — сказал он, глядя на меня в ужасе.

— Ну, если вы приезжий, тогда дело другое... — Не могу ли я быть вам полезен? Не показать ли вам город? Нет? Я с удовольствием сделал бы это безо всякого вознаграждения...

Но он явно хотел избавиться от меня и быстро перешел на другую сторону улицы.

Я вернулся к своей скамейке и снова сел. Я был очень огорчен, и шарманка, громко заигравшая поодаль, еще больше расстраивала меня. Отрывисто звякая, она наигрывала что-то из Вебера, и под этот аккомпанемент маленькая девочка пела печальную песенку... Надрывные пискливые звуки шарманки пронизывают меня, нервы мои дрожат, точно вторят этим звукам, и вот я уже тихонько напеваю что-то жалобное, откинувшись на спинку скамьи. Каких только ощущений не испытывает голодный человек! Я чувствую, как эти звуки завладевают мною, я растворяюсь в них, устремляюсь потоком, отчетливо сознаю, что я устремился потоком ввысь, воспарил высоко над горами, несясь в пляске над лучезарными далями...

— Подайте эре! — говорит девочка, которая пела под шарманку, и протягивает металлическую тарелочку. — Всего только эре!

— Сейчас, — отвечаю я безотчетно и, вскочив, шарю по карманам.

Но девочка думает, что я просто смеюсь над ней, и уходит, не сказав более ни слова. Это бессловесное смирение я не в силах вынести; если б она обругала меня, мне было бы гораздо легче; мне стало больно, и я окликнул ее:

— У меня нет ни единого эре, но я вспомню о тебе скоро, быть может, завтра же. Как тебя зовут? Какое красивое имя, я его не забуду. Итак, до завтра...

Но я прекрасно понимал, что она не поверила мне, хотя промолчала, и я плакал от отчаяния, что эта маленькая уличная девочка мне не верит. Я еще раз окликнул ее, быстро расстегнул куртку и хотел отдать ей свой жилет.

— Погоди минутку, — сказал я. Вот тебе в залог...

Но жилета на мне не было.

С чего это я подумал о жилете? Ведь вот уж которую неделю я хожу без него. Что со мной? Испуганная девчушка поспешно попятилась от меня. Я не мог ее более удерживать. Вокруг собирался народ, все громко смеялись, полицейский, раздвигая толпу, шел узнать, что случилось.

— Ничего, — говорю я. — Решительно ничего не случилось! Я просто хотел отдать свой жилет вон той девочке... или, верней, ее отцу... Вы напрасно смеетесь. Дома у меня есть еще один.

— Нечего безобразничать на улице! — говорит полицейский. — Марш отсюда. — И он толкает меня. А потом кричит мне вдогонку: — Постойте, это ваши бумаги?

— Да, черт возьми, это моя статья для газеты, очень важная рукопись! Как я мог допустить такую небрежность...

Я беру рукопись, проверяю, в порядке ли она, и, не задерживаясь ни на минуту, даже не оглядываясь, иду в редакцию. Часы на храме Спасителя показывают четыре.

Редакция заперта. Я спускаюсь по лестнице, дрожа, как вор, и в нерешимости останавливаюсь у подъезда. Что мне теперь делать? Я прислоняюсь к стене, смотрю себе под ноги, на камни, и думаю. У моих ног лежит блестящая булавка, я нагибаюсь и поднимаю ее. Что, если срезать пуговицы с моей куртки, много ли мне дадут за них? Но нет, это напрасный труд. Пуговицы остаются пуговицами; однако я внимательно осмотрел их и нашел, что они почти новые. Во всяком случае, это счастливая мысль, я срежу их перочинным ножом и отнесу в заклад. Надежда выручить денег за эти пять пуговиц тотчас оживила меня, и я сказал: «Ну вот, дело налаживается!» Радость охватила меня, я тотчас принялся срезать пуговицы одну за другой. При этом я говорил безмолвно: «Да, я, видите ли, несколько обнищал, у меня временные затруднения... Вы говорите, они потерты? Полноте. Уверяю вас, никто на свете так не бережет пуговицы, как я. Куртка у меня всегда расстегнута, доложу я вам; так уж у меня заведено, я привык... Ну, если вам не угодно, что ж... Но мне нужно выручить за них хотя бы десять эре... Нет, Господи, кто говорит о вас? Отвяжитесь, сделайте милость, оставьте меня в покое... Что ж, прекрасно, зовите полицию. Я подожду, пока вы сходите за полицейским. И ничего у вас не украду... Ну хорошо, до свидания, до свидания! Стало быть, моя фамилия Танген, — я несколько засиделся...»

На лестнице раздаются шаги. Я сразу возвращаюсь к действительности; это Человек-Ножницы, и, узнав его, я быстро прячу пуговицы в карман. Он хочет пройти мимо, он даже не отвечает на мой поклон и вдруг начинает усердно разглядывать свои ногти. Я останавливаю его и справляюсь про редактора.

— Он не приходил.

— Вы лжете! — говорю я. И с наглостью, поразившей меня самого, продолжаю: — Мне необходимо с ним переговорить. Неотложное дело. Важные сведения.

— А не можете ли вы сказать мне?

— Нет! — отрезал я и смерил его взглядом.

Это возымело действие. Он тотчас пригласил меня наверх и отпер дверь. Волнение душило меня. Чтобы собраться с духом, я крепко стиснул зубы, постучался и вошел в кабинет редактора.

— Здравствуйте! Это вы? — приветствовал он меня. — Садитесь, пожалуйста.

Если б он сразу указал мне на дверь, мне было бы гораздо легче; я почувствовал, что слезы навернулись мне на глаза, и сказал:

— Прошу извинения...

— Садитесь, — повторил он.

Я сел и объяснил, что написал новую статью, которую мне очень важно поместить в его газете. Я много работал над нею, она стоила мне больших усилий.

— Я ее прочту, — сказал он и взял статью. — Все, что вы пишете, стоит вам больших усилий, но вы слишком порывисты. Если б вы могли быть немного хладнокровнее! У вас слишком много пыла. Но все-таки прочту.

И он снова склонился над своим столом.

А я все сидел. Нельзя ли попросить у него крону? Объяснить, откуда этот мой всегдашний пыл? Он, конечно, поможет мне; ведь это не в первый раз.

Я встал. Гм! Однако когда я был у него в последний раз, он жаловался на денежные затруднения, даже посылал куда-то кассира за мелочью для меня. Пожалуй, и теперь будет то же. Нет, это недопустимо. И разве я не видел, что он занят работой?

— Вам угодно еще что-нибудь? — спросил он.

— Нет! — сказал я, стараясь придать своему голосу твердость. — Когда прикажете зайти?

— Ну, как-нибудь при случае, — ответил он. — Скажем, дня через два.

Я не мог выговорить свою просьбу. Казалось, любезность этого человека безгранична, я не мог ее не оценить. Лучше уж умереть с голоду. И я ушел.

Я не пожалел, что ушел из редакции, так и не попросив крону, даже за дверью, когда голод вновь начал терзать меня. Я вынул из кармана вторую стружку и сунул ее в рот. Мне опять стало легче. Почему я не делал этого раньше?

— Стыд и срам! — громко сказал я. — Неужели тебе могло прийти в голову просить у этого человека крону и ставить его в неловкое положение? — И я стал строго выговаривать себе за свое бесстыдство. — Право, в жизни не слыхивал ничего гнуснее! — сказал я. — Набрасываться на человека, норовить чуть ли не выцарапать ему глаза только потому, что тебе, презренному псу, нужна крона! Убирайся отсюда. Живо! Живо, дурак! Вот я тебе покажу!

И чтобы наказать себя, я пустился бегом, пробегал улицу за улицей, гнал себя вперед, мысленно понукал, бешено покрикивал, когда бег замедлялся. Тем временем я очутился уже на Пилестредет. Когда я наконец остановился, готовый заплакать от ярости, что не могу больше бежать, все мое тело содрогалось, и я присел на какую-то ступеньку.

— Нет, погоди! — сказал я. И чтобы как следует наказать себя, снова встал и заставил себя стоять, и смеялся над собою, и радовался собственному бессилию. Наконец, через несколько минут, я кивнул и позволил себе присесть; но при этом выбрал самое неудобное место на ступеньке.

Господи, как сладостен был отдых! Я вытер пот с лица и глубоко вдыхал свежий воздух. Как я бежал! Но жалости к себе я не чувствовал — так мне и надо. Зачем вздумал просить крону? Теперь вот получай! Потом я смягчился, заговорил с собой ласково, увещевал себя, как мать ребенка. Это меня растрогало, ведь

я так устал, был обессилен, и я заплакал. Это был тихий, затаенный плач, внутреннее рыдание без слез...

Я просидел на одном месте с четверть часа или даже более. Люди проходили мимо, но никто не трогал меня. Вокруг играли дети, на дереве, по другую сторону улицы, пела какая-то пташка.

А потом ко мне подошел полицейский.

— Зачем вы здесь сидите? — спросил он.

— Зачем сижу? — повторил я. — Просто так, для собственного удовольствия.

— Я слежу за вами целых полчаса, — сказал он. — Ведь вы сидите здесь полчаса?..

— Да, около того, — ответил я. — Ну и что?

Я вскочил и пошел прочь.

Выйдя на площадь, я остановился и стал глядеть вдоль улицы. Для собственного удовольствия! Разве это ответ? Надо было сказать как можно жалостней: я сижу, потому что устал. Дурак ты дурак, никогда не научишься ты притворяться. Потому что я устал! И дышать надо было тяжело, как загнанная лошадь.

Подойдя к пожарному депо, я опять остановился, потому что в голову мне взбрела новая фантазия. Я щелкнул пальцами, громко захохотал, к удивлению прохожих, и сказал:

— Нет, тебе, право, нужно сходить к пастору Левисону. Непременно. Попытка не пытка. Терять-то нечего. Да и погода прекрасная.

Я зашел в книжный магазин Паши, справился в адресной книге, где живет пастор Левисон, и отправился к нему.

— Ну, теперь надо взять себя в руки, — сказал я. — Хватит шуток! Совесть, говоришь? Вздор, ты слишком беден, чтобы носиться со своей совестью. Ты голоден, ты идешь по важному делу, просить о самом необходимом. Ты должен склонить голову к плечу и говорить проникновенным голосом. Не хочешь? В таком случае я тебе больше не друг, так и знай. Вот что: ты истерзан тревогой, борешься по ночам с силами мрака и с огромными безмолвными чудищами, погибаешь от голода, жаждешь вина и молока, но не имеешь ничего.

Дела твои плохи. Вот ты стоишь, и ничегошеньки нет у тебя за душой. Но ты, слава Богу, веруешь в милосердие, ты все-таки не утратил веры! И чтобы верить в милосердие, ты должен сложить руки и быть хитрее самого сатаны. А Маммону ты ненавидишь во всякой личине; другое дело — получить молитвенник и две кроны на память... Я остановился у двери пастора и прочел: «Прием от 12 до 4».

— А теперь без глупостей! — сказал я. — Дело нешуточное! Итак, склони голову к плечу...

Я позвонил.

— Нельзя ли мне видеть пастора? — сказал я горничной; но не мог добавить: «во имя Господа».

— Он ушел, — ответила она.

Ушел! Ушел! Планы мои разом рухнули, все заготовленные слова оказались ни к чему. Что было пользы идти так далеко? Я не мог двинуться с места.

— У вас важное дело? — спросила горничная.

— О нет! — ответил я. — Совсем пустяковое! Просто сегодня такая прекрасная погода, поэтому я решил прогуляться и засвидетельствовать свое почтение пастору.

Я не двигался, она тоже. Я нарочно выпятил грудь, чтобы обратить ее внимание на булавку, которой была заколота моя куртка; я молил ее взглядом понять, зачем я пришел; но бедняжка ничего не поняла.

— Да, погода прекрасная. А фру тоже нет дома?

— Фру дома, но у нее ревматизм, она лежит на диване и не может подняться... Не угодно ли мне оставить записку?

— Ах нет! Просто я иногда выхожу прогуляться, подышать свежим воздухом. А сегодня такой чудесный день.

И я поплелся обратно. Что было толку болтать? К тому же у меня начала кружиться голова; это была не шутка, я мог упасть. Прием от 12 до 4; я опоздал на целый час, время милосердия истекло!

Дойдя до площади, я присел у церкви на скамейку. Боже, каким мрачным представлялось мне будущее! Я не плакал, у меня не было на это сил; измученный до предела, я сидел бес-

цельно и неподвижно, сидел, терзаемый голодом. Грудь моя в особенности пылала, внутри нестерпимо жгло. Я пробовал жевать стружку, но это больше не помогало мне; челюсти мои устали от напрасной работы, и я уже не утруждал их. Я покорился. К тому же кусок почерневшей апельсинной корки, который я подобрал на улице и тотчас же принялся жевать, вызвал у меня тошноту. Я был болен; на руках у меня вздулись синие жилы.

Чего я, собственно, ждал? Целый день я пытался раздобыть крону, которая могла поддержать во мне жизнь на несколько лишних часов. В конце концов, какая разница, свершится ли неизбежное днем раньше или днем позже? Порядочный человек на моем месте давным-давно пошел бы домой, лег и смирился. Мои мысли вдруг прояснились. Теперь я должен умереть. Стояла осень, мир был скован дремотой. Я испытал все средства, прибегнул ко всем источникам, какие знал. Я носился с этой мыслью и всякий раз, когда во мне еще брезжила надежда, с грустью шептал: «Глупец, ты уже умираешь!» Предстояло написать кое-какие письма, привести все в порядок, приготовиться. Нужно было хорошенько вымыться и убрать постель. Под голову я положу два листа белой писчей бумаги — это самое чистое, что у меня оставалось. А зеленым одеялом я мог бы...

Зеленое одеяло! Я вдруг встрепенулся, кровь бросилась мне в голову, и сердце мое сильно забилось. Я встал со скамейки и спешу вперед, жизнь снова пробудилась во мне, и я то и дело повторяю отрывисто: «Зеленое одеяло! Зеленое одеяло!» Я иду все быстрее, точно стараюсь кого-то догнать, и вскоре снова оказываюсь в своем жилище — мастерской жестянщика.

Не мешкая и не колеблясь в своем решении, я подхожу к кровати и скатываю одеяло Ханса Паули. Какая прекрасная мысль пришла мне в голову, теперь я спасен! Я преодолел свою постыдную нерешимость, я махнул на все рукой. Ведь я не святой, не какой-нибудь добродетельный идиот. Я в здравом уме...

Взяв одеяло под мышку, я отправляюсь на Стенерсгатен, в дом номер пять.

Я постучал и вошел в большую незнакомую комнату. Дверной колокольчик у меня над головой прозвенел громко и от-

чаянно. Из соседней комнаты вышел какой-то человек с набитым ртом и встал за прилавок.

— Дайте мне полкроны за эти очки! — сказал я. — Через несколько дней я их непременно выкуплю.

— Что? Ведь оправа просто стальная?

— Да.

— Нет, я не могу их взять.

— Разумеется. Ведь я, собственно, пошутил. Вот у меня тут одеяло, которое, в сущности, мне больше не нужно, и я хотел бы от него избавиться.

— К сожалению, у меня целый склад одеял, — ответил он, а когда я развернул одеяло, лишь мельком взглянул на него и воскликнул: — Прошу прощения, но это мне тоже без надобности.

— Я нарочно сразу показал вам изнанку, — с лицевой стороны оно гораздо лучше.

— Все равно я его не возьму, ведь никто не даст за него даже десяти эре.

— Понятное дело, оно ничего не стоит, — согласился я. — Но мне казалось, что вместе с другим старым одеялом его можно продать.

— Нет, нет, напрасный труд.

— Может быть, дадите хоть двадцать пять эре? — спросил я.

— Нет, право, я не могу его взять, милейший, оно мне совершенно ни к чему.

Я снова сунул одеяло под мышку и пошел домой.

Как ни в чем не бывало я разостлал одеяло на кровати, тщательно расправил его, как будто и не носил никуда. Решившись на эту авантюру, я, кажется, был не в своем уме; и чем больше я думал об этом, тем нелепее представлялся мне мой поступок. Очевидно, это был приступ слабости, какое-то внутреннее отупение. Но я почувствовал, что это западня, понял, что теряю разум, и первым делом предложил процентщику очки. А теперь я был так рад, что не совершил преступления, которое отравило бы последние часы моей жизни.

Я снова пошел бродить по городу.

У храма Спасителя я опять сел на скамейку, свесил голову на грудь, истерзанный недавними волнениями, больной и изнуренный голодом. А время шло.

Я просидел час под открытым небом; здесь было светлее, чем дома; кроме того, мне казалось, что на свежем воздухе не так мучительно ныла грудь; я не спешил вернуться домой.

Я дремал, раздумывал, и мне было очень тяжко. Я подобрал камешек, обтер его, сунул в рот и стал сосать; при этом я почти не шевелился и даже не моргал. Мимо проходили люди, слышался грохот карет, стук подков, голоса.

Отчего бы не попытать все-таки счастья с пуговицами? Конечно, из этого ничего не выйдет, и, кроме того, я положительно болен. Но если хорошенько все взвесить, то ведь все равно по дороге домой я пройду мимо лавки процентщика, того самого, к которому я так часто заглядывал.

Наконец я встал и медленно, бессильно поплелся по улицам. Лоб у меня горел, начиналась лихорадка, и я спешил, как мог. Я снова прошел мимо булочной, где в витрине был выставлен хлеб.

— Ну вот, остановимся здесь, — сказал я с деланной решимостью. — А если войти и *попросить* кусок хлеба? — Эта мысль была мимолетна, она вспыхнула, как искорка; в действительности я этого не думал. — Тьфу! — прошептал я, покачал головой и пошел дальше, смеясь над самим собой. Я отлично знал, как бесполезно было заходить в лавку с этой просьбой.

В переулке влюбленные шептались у ворот; чуть подальше девица высунулась в окно. Я шел так медленно и осторожно, что могло показаться, будто я чего-то хочу, — и девица вышла на улицу.

— Как поживаем, старина? Что такое, ты болен? Господи, да на тебе лица нет!

И девица быстро ушла в дом.

Я тотчас же остановился. Что значит: лица нет? Неужели я умираю? Я коснулся рукою щек: да, конечно, я очень худ. Щеки ввалились, они были как два блюдца. Ах ты Господи! И я поплелся дальше.

Потом я снова остановился. Должно быть, моя худоба чудовищна. И глаза совсем ввалились. Интересно, на кого я похож? Разнесчастная моя судьба, живой человек превратился от голода в этакую развалину! Меня снова охватило бешенство, это была словно последняя вспышка, судорога. Стало быть, лица нет? У меня хорошая голова, второй такой не сыскать во всей стране, и пара кулаков, которые — Боже избави! — могли бы стереть человека в порошок, и я гибну от голода в самом центре Христиании! Разве это мыслимо? Я жил в свинарнике и надрывался с утра до ночи, как черный вол.

От чтения у меня не стало глаз, мозг иссох от голода, — а что я получил взамен? Даже уличные девки ужасаются и кричат «Господи!» при виде меня. Но теперь этому придет конец, — понятно тебе? — придет конец, черт возьми!.. Я трясся от бешенства и скрежетал зубами, слабость захлестывала меня, в глазах стояли слезы, с губ слетали проклятия, и так я плелся вперед, не обращая внимания на прохожих. Я снова начал мучить себя, намеренно стукался лбом о фонарные столбы, глубоко вонзал ногти в ладони, в безумии кусал себе язык, когда начинал говорить бессвязно, и хохотал всякий раз, когда мне было больно.

— Да, но что же мне делать? — говорю я наконец самому себе. И несколько раз топаю ногой, повторяя: — Что же делать?

Какой-то случайный прохожий говорит мне с улыбкой:

— Попросите, чтобы вас арестовали.

Я посмотрел ему вслед. Это был известный гинеколог по прозвищу Герцог. Даже он не понял моего состояния, а ведь мы были знакомы и здоровались за руку. Я присмирел. Попросить, чтобы меня арестовали? Да, он прав, я сошел с ума. Я чувствовал безумие в своей крови, чувствовал его искры в мозгу. Так вот какой мне уготован конец! Да, да! И я поплелся дальше медленным, похоронным шагом. Значит, вот какая судьба меня ждет!

Вдруг я снова останавливаюсь.

— Только не арест! — говорю я. — Только не это!

Я потерял голос от страха. Я просил, я молил всех святых, чтобы они избавили меня от ареста. Ведь я опять попал бы в

ратушу, меня заперли бы в темной камере, где нет и проблеска света. Только не арест! Были и другие возможности, которые я еще не испытывал. Но я их испытаю, я буду упорен, не пожалею времени, стану неутомимо ходить из дома в дом. Есть, например, музыкальный магазин Сислера, туда я и не заглядывал. Чем не выход из положения... Я бормотал на ходу, а потом снова тихонько заплакал от жалости к себе. Только бы меня не арестовали!

Сислер? Может быть, это наитие свыше? Его имя пришло мне в голову само собой, и жил он так далеко; но я наведаюсь к нему, я пойду медленно и время от времени буду отдыхать. Я знаю этот магазин, часто бывал там в лучшие времена, покупал ноты. Что, если попросить у него полкроны? Но это может его смутить; спрошу сразу крону.

Я вошел в магазин и пожелал видеть хозяина; мне указали, куда пройти. В комнате сидел человек, одетый по последней моде, и просматривал бумаги.

Я пролепетал извинение и изложил свое дело. Бедственное положение вынудило меня обратиться к нему... Я очень скоро верну деньги... Как только получу гонорар за статью... Он окажет мне величайшее благодеяние...

Я еще не кончил говорить, как он уже снова склонился над столом и продолжал свое занятие. Когда я умолк, он покосился на меня, качнул своей красивой головой и сказал:

— Нет!

Просто «нет». Без всяких объяснений. Ни единого слова!

Колени у меня дрожали, и я прислонился к маленькому лакированному шкафчику. Я решил попробовать еще раз. Почему именно он пришел мне в голову, ведь я живу так далеко на Ватерланне? В левом боку покалывало, я покрылся испариной.

— Гм... Поверьте, я очень ослабел, — сказал я. — Тяжкая немощь. Но не позднее чем через два дня у меня будет возможность вернуть долг. Не окажете ли мне любезность?

— Милейший, почему вы пришли именно ко мне? — сказал он. — Я вас никогда в глаза не видел, вы для меня человек с улицы. Обратитесь в газету, где вас знают.

— Но я прошу только на один вечер! — сказал я. — Редакция уже закрыта, а я очень голоден.

Он упорно качал головой, все качал головой, даже когда я взялся за дверь.

— Прощайте! — сказал я.

«Это не было наитие свыше, — подумал я и горько улыбнулся. — Уж если на то пошло, с такой высоты я и сам мог бы ниспослать наитие». Я прохожу один квартал за другим, по временам немного отдыхая на ступеньках. Только бы меня не арестовали! Ужас перед темной камерой преследовал меня, не давал мне ни минуты покоя; завидев полицейского, я всякий раз сворачивал в боковую улицу, чтобы избежать встречи с ним.

— Ну, теперь отсчитаем сто шагов, — сказал я, — и снова попытаем счастья! Когда-нибудь да получится...

Это была маленькая лавчонка, в которую я раньше никогда не заходил. За прилавком стоял простой на вид человек, за спиной у него была дверь с фарфоровой вывеской, товар на длинных полках и стеллажах. Я дождался, пока не ушла из лавки последняя покупательница — молодая дама с ямочками на щеках. Какой счастливый был у нее вид! Я не хотел обращать на себя ее внимание и отвернулся.

— Что вам угодно? — спросил приказчик.

— Могу ли я видеть хозяина?

— Нет, он уехал в горы, в Йотунхейм, — ответил он. — А у вас важное дело?

— Мне нужно несколько эре на хлеб, — сказал я с насильственной улыбкой. — Я голоден, и в карманах у меня пусто.

— В таком случае я не богаче вас, — сказал он и начал раскладывать мотки пряжи.

— Ах, не гоните меня в такую трудную минуту! — сказал я, похолодев. — Поверьте, я умираю с голоду, — вот уже несколько дней у меня крошки во рту не было.

Он молча, с самым серьезным видом, принялся выворачивать свои карманы.

Как, мне не угодно поверить ему на слово?

— Я прошу всего пять эре, — сказал я. — А через два дня вы получите десять.

— Любезный, вы хотите, чтобы я украл деньги из кассы? — сердито спросил он.

— Да, — сказал я. — Возьмите пять эре из кассы.

— Это не в моих правилах, — возразил он и добавил: — Кстати, мне пора закрывать лавку.

Я ушел, истерзанный голодом, сгорая со стыда. Нет, довольно! Это уж слишком. Столько лет я держался, в такие тяжкие часы сохранял достоинство, а теперь вдруг скатился до самого примитивного нищенства. За один день я своим бесстыдством лишил возвышенности все свои мысли, выпачкал душу. Не краснея, я плакался и клянчил деньги у ничтожного лавочника. А к чему это привело? Разве не остался я все равно без куска хлеба? И теперь я стал отвратителен самому себе. Да, необходимо положить этому конец! Как раз сейчас запираются ворота моего дома, и мне нужно поторопиться, если я не хочу провести еще одну ночь в ратуше...

Это придало мне силы; ночевать в ратуше я не хотел. Скорчившись, держась за левый бок, чтобы хоть немного унять колику, я поплелся дальше, не сводя глаз с тротуара, чтобы знакомым, если они попадутся навстречу, не приходилось мне кланяться; я спешил к пожарному депо. Слава Богу, часы на храме Спасителя показывали только семь, и у меня еще оставалось три часа, прежде чем запрут ворота. Напрасно я испугался!

Итак, все испытано, сделано все возможное. «Но какой несчастливый день, с утра до вечера мне ни разу не повезло», — подумал я. Если бы рассказать это кому-нибудь, никто не поверит, а если бы описать, скажут, что все это я выдумал. Ни разу! Стало быть, ничего не попишешь; только ни за что не впадать больше в жалобный тон. Тьфу, это так противно, поверь, — ты внушаешь мне отвращение! Раз нет надежды, значит, нет. Впрочем, нельзя ли украсть на конюшне горсть овса? Эта мысль промелькнула, как лучик, как полоска света, я знал, что конюшня заперта.

Меня это не опечалило, и я медленно поплелся к дому. На счастье, мне только теперь захотелось пить, впервые за целый день, и я искал где бы напиться. От базара я был слишком далеко, а в частный дом мне заходить не хотелось; пожалуй, я мог бы потерпеть до возвращения домой; на это потребуется с четверть часа. Еще неизвестно, как подействует на меня глоток воды; мой желудок уже ничего не принимал, меня тошнило даже от слюны, которую я глотал.

А пуговицы? Я еще не попытал счастья с пуговицами! Тут я улыбнулся. Может быть, все-таки найдется выход! Еще не все потеряно! Без сомнения, я получу за них десять эре, а завтра раздобуду где-нибудь еще десять, в четверг же мне заплатят за статью. Нужно только собраться с силами, и все наладится! Как я, в самом деле, мог забыть про пуговицы! Я вынул их из кармана и рассматривал на ходу; в глазах у меня мутилось от радости, я плохо видел улицу, по которой шел.

Как хорошо я знал большой подвал, где часто искал спасения в темные вечера, он был мне другом и в то же время высасывал из меня кровь! Все мое имущество постепенно перекочевало туда, все хозяйственные домашние мелочи, все книги до единой. В дни распродажи я ходил туда смотреть и радовался всякий раз, как мне казалось, что книги мои попадают в хорошие руки. Мои часы купил артист Магельсен, и я почти гордился этим; календарь с первым моим стихотворением приобрел один знакомый, а пальто досталось фотографу, который давал его теперь на прокат в своем ателье. Так что все устроилось прилично.

Я вошел, держа пуговицы в руке. Процентщик сидел за своей конторкой и писал.

— Я могу обождать, мне не к спеху, — сказал я, боясь помешать ему и рассердить его своим приходом. Мой голос звучал так глухо, я сам не узнавал его, а сердце стучало, как молот.

Он подошел ко мне с обычной своей улыбкой, положил на стойку обе руки и посмотрел мне в лицо, не говоря ни слова.

— Я тут кое-что принес и хотел бы показать, может быть, они пригодятся... дома они мне только мешают, просто спасения нет... вот эти пуговицы.

— Что же это у вас за пуговицы такие? — И он поглядел на мою ладонь.

— Нельзя ли мне получить за них несколько эре? Сколько вы сами найдете возможным... По вашему усмотрению...

— За пуговицы? — И он изумленно посмотрел на меня. — За *эти* пуговицы?

— На сигару или хоть сколько-нибудь. Я проходил мимо, вот и зашел...

Старый ростовщик засмеялся и, не говоря ни слова, вернулся к своей конторке. Я стоял на месте. Собственно, я не очень на него рассчитывал, но все же у меня была слабая надежда. И этот его хохот прозвучал, как смертный приговор... А что, если я предложу ему в придачу очки?

— Я готов отдать также очки, это само собой разумеется, — сказал я и снял очки. — Мне всего-то и нужно десять эре или хотя бы пять.

— Вы сами знаете, что я не могу взять ваши очки, — сказал процентщик. — Я вам это уже говорил.

— Но мне нужна почтовая марка, — глухо сказал я. — Я не могу даже отослать письмо, а это необходимо. Дайте мне марку в десять или в пять эре.

— Ступайте отсюда с Богом! — отозвался он и махнул на меня рукой.

«Ну, теперь будь что будет!» — сказал я себе. Я машинально надел очки, взял пуговицы и ушел, пожелав ему спокойной ночи и, как всегда, плотно прикрыв за собою дверь. Теперь уж ничего не поделаешь! На лестничной площадке я остановился и еще раз взглянул на пуговицы.

— Он решительно не хочет их взять! — сказал я. — Хотя пуговицы почти новые. Это для меня загадка.

Пока я стоял в раздумье, мимо меня прошел какой-то человек и стал спускаться вниз, в подвал. Впопыхах он слегка толкнул меня; мы оба извинились, я обернулся и смотрел ему вслед.

— Послушай, это ты? — сказал он вдруг снизу.

Потом он снова поднялся наверх, и я узнал его.

— Господи, какой у тебя вид! — сказал он. — Что ты здесь делаешь?

— Да так, было одно дельце. Но ты, я вижу, идешь туда же.

— Да. А ты что ему носил?

Колени у меня дрожали, я прислонился к стене и показал пуговицы, лежавшие у меня на ладони.

— Что за черт! — воскликнул он. — Нет, это уж слишком!

— До свидания! — сказал я и хотел уйти, так как в груди у меня закипали слезы.

— Нет, подожди! — сказал он.

Но чего мне ждать? Ведь он сам пришел к процентщику, быть может, принес свое обручальное кольцо, несколько дней голодал, задолжал хозяйке.

— Хорошо, — сказал я. — Если ты не долго...

— Ну конечно же, — сказал он, беря меня за руку. — Но, признаться, я не очень тебе верю, дурак ты этакий, так что пойдем-ка лучше вместе.

Я понял, о чем он, и ответил, чувствуя себя несколько оскорбленным:

— Не могу! Я обещал в половине восьмого быть на улице Бернта Анкера, и...

— В половине восьмого, так! Но сейчас-то уже восемь. Видишь, я держу часы в руке, и мне нужно только отнести их в подвал. Ступай за мной, голодный бродяга! Я раздобуду тебе не меньше пяти крон.

И он подтолкнул меня к двери.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Целая неделя прошла в изобилии и радости.

Я выкарабкался из беды, обедал каждый день, моя бодрость росла, и я придумывал одну затею за другой. Я работал сразу над тремя или четырьмя статьями, отдавая им всякую искру, всякую мысль, какая возникала в моей бедной голове, и мне казалось, что дело у меня идет лучше, чем прежде. Последнюю статью, на которую я потратил столько сил и возлагал столько надежд, редактор ужѐ вернул обратно, и я тотчас же уничтожил ее, взбешенный и оскорбленный, изорвал, не перечитав. Теперь постараюсь устроиться в другую газету, чтобы иметь возможность лавировать. В худшем случае, если и это не поможет, наймусь в матросы: у пристани стоит «Монах», готовый к отплытию, и я, пожалуй, смогу отправиться на нем в Архангельск или куда там он плывет. Так что надежд у меня было хоть отбавляй.

Последнее потрясение не прошло для меня бесследно; начали выпадать волосы, мучительно болела голова, шалили нервы. Днем я писал, обернув руки тряпками, просто потому, что не терпел ощущения на них собственного своего дыхания. Когда Йенс Олай слишком сильно хлопал подо мною дверью конюшни или на заднем дворе начинала лаять собака, меня до мозга костей пронизывало холодом, и это ощущение отдавалось по всему телу. Мое здоровье заметно пошатнулось.

Изо дня в день я напряженно работал, с трудом находил время пообедать и снова принимался писать. Не только мой шаткий письменный столик, но и вся кровать были завалены заметками и исписанными листами, которые я исправлял, переделывал, тут же вставлял в новые статьи, задуманные в тот день, кое-что зачеркивал, неуклюжие места оживлял красочными словами, с большим трудом продвигаясь от фразы к фразе. Както вечером одна из статей была наконец готова, и я, счастливый и радостный, сунув ее в карман, отправился к «Командору». Давно пора было снова подумать о деньгах, потому что у меня почти ничего не оставалось.

«Командор» просил подождать всего минутку... Сам он продолжал писать.

Я осмотрел тесное помещение: бюсты, литографии, газетные вырезки, огромная корзина, которая, казалось, могла поглотить человека. Мне стало очень грустно при виде этого чудовищного зева, этой драконовой пасти, вечно раскрытой, вечно готовой глотать отвергнутые работы, разбивать людские надежды.

— Какое у нас сегодня число? — вдруг спрашивает «Командор», не поднимая головы от стола.

— Двадцать восьмое! — отвечаю я, обрадовавшись, что могу оказать ему услугу.

— Двадцать восьмое. — И он продолжает писать. Наконец он запечатывает несколько писем, отправляет в корзину какие-то бумаги и кладет перо. Потом поворачивается в кресле и смотрит на меня. Заметив, что я все еще стою у двери, он полусерьезно-полушутливо делает знак рукою и указывает на стул.

Я отворачиваюсь, чтобы он не видел, что на мне нет жилета, расстегиваю куртку и достаю рукопись из кармана.

— Это небольшой очерк о Корреджо, — говорю я. — Но к сожалению, это написано не совсем обычным...

Он берет из моей руки листки и начинает просматривать их. Он поворачивается ко мне лицом. Имя этого человека я слышал уже в ранней молодости, и много лет его газета имела на меня огромное влияние, а сам он вблизи оказался вот каким. У него вьющиеся волосы и несколько беспокойные карие глаза;

он имеет привычку время от времени негромко сопеть. С виду он кроток, как пастор, этот человек с хлестким пером, которым он умеет бичевать до крови. Когда я смотрю на него, страх и удивление овладевают мною, чуть не плача, я невольно делаю шаг к нему, хочу выразить свою любовь за все, чему я у него научился, хочу попросить у него снисхождения — ведь я всего только жалкий бедняк, которому и без того трудно...

Он смотрит на меня и медленно, в задумчивости кладет рукопись. Чтобы ему легче было мне отказать, я сам протягиваю руку и говорю:

— Это, конечно, вам не подходит?

И улыбаюсь, делая вид, будто отношусь к этому совсем легко.

— Мы можем печатать лишь популярные статьи, — отвечает он. — Вы же знаете наших читателей. Нельзя ли сделать это попроще? Или взять другую тему, более понятную?

Его предупредительность изумляет меня. Я понимаю, что моя статья отвергнута, и все-таки я не мог бы получить более любезного отказа. Чтобы не задерживать его, я торопливо отвечаю:

— О да, конечно, можно.

Я направляюсь к двери. Кашлянув, прошу прощения за то, что обеспокоил его... Откланиваюсь и берусь за ручку двери.

— Если угодно, — говорит он, — я могу заплатить вам немного вперед. Вы потом отработаете.

Он сам видел, что я не гожусь в писатели, поэтому его предложение несколько унизительно для меня, и я отвечаю:

— Нет, благодарствуйте, в настоящее время я еще свожу концы с концами. Впрочем, я вам весьма признателен. Прощайте!

— Прощайте! — отвечает «Командор» и тотчас же отворачивается к своему письменному столу.

Во всяком случае, я не заслужил такого любезного обращения и был благодарен ему за это; мне следовало оценить его предупредительность. Я решил прийти к нему не раньше, чем напишу статью, которой сам буду вполне доволен; тогда это озадачит «Командора», и он, не колеблясь, предложит мне десять крон. Я пошел домой и снова взялся за перо.

В ближайшие дни, когда время подходит к восьми вечера и уже зажигают газовые фонари, со мною неизменно случается следующее.

Я выхожу из ворот, чтобы после дневных трудов и хлопот погулять по улицам, а у фонаря, подле самых ворот, стоит дама в черном, поворачивается ко мне лицом и провожает меня взглядом, когда я прохожу мимо. Я обращаю внимание, что на ней всегда одно и то же платье, одна и та же густая вуаль, закрывающая лицо и спадающая на грудь, а в руке маленький зонтик с кольцом из слоновой кости на рукоятке.

Уже третий вечер я вижу ее здесь, всегда на том же самом месте; как только я прохожу мимо, она медленно поворачивается и идет по улице в противоположную сторону.

Из моей головы, как из рога изобилия, сыплются фантазии, у меня возникает нелепая мысль, что она приходит ради меня. Я почти готов заговорить с нею, спросить ее, не ищет ли она кого-нибудь, не нужна ли ей моя помощь, нельзя ли мне проводить ее до дому, хотя я, к сожалению, так плохо одет, — вдруг ей понадобится защита на темной улице. Но я чувствую смутный страх, что это повлечет за собой расходы, — придется угостить ее вином, покатать в коляске, а у меня совсем не осталось денег; карманы мои пусты, — это угнетает, и я не осмеливаюсь хотя бы испытующе взглянуть на нее, когда прохожу мимо. Голод начал снова терзать меня, я не ел со вчерашнего дня; это, конечно, не так уж много, ведь мне не раз приходилось терпеть по нескольку дней кряду, но я стал подозрительно слабеть и уже не мог голодать, как раньше, один-единственный день без пищи изнурял меня, и стоило мне выпить воды, как появлялась неудержимая рвота. Кроме того, я очень мерз по ночам, ложился, не раздеваясь, и все равно мерз, леденел от озноба и страдал от холода во сне. Старое одеяло не могло спасти от сквозняков, и утром я просыпался, чувствуя, что нос мой превратился в сосульку от ледяного ветра, врывавшегося со двора.

Я иду по улице и думаю, как бы мне не свалиться еще до того, как я окончу свою следующую статью. Будь у меня свеча, я попытался бы работать ночью; на это ушло бы два часа, будь я

действительно в рабочем состоянии; а завтра я снова мог бы пойти к «Командору».

Не долго думая я вхожу в кофейню и жду своего знакомого из банка, чтобы взять взаймы десять эре на свечку. Мне позволили обойти все комнаты, все столы, за которыми ели, пили и беседовали гости, я дошел до самого конца кофейни, до «красной комнаты», но так и не увидел своего знакомого. Подавленный и злой, я снова вышел на улицу и направился к дворцу.

Черт возьми, неужели моим невзгодам так и не будет конца! Я шагал широкими, яростными шагами, подняв воротник куртки и сжимая кулаки в карманах брюк, шел и проклинал свою несчастную звезду. Ни одной блаженной минуты за целых восемь месяцев, всякую неделю я голодаю, бедствую и теряю силы. И к тому же, при всей своей нищете, я честен, хе-хе, честен всегда и во всем! Боже правый, как я смешон! И я бормотал о том, как меня мучила совесть, потому что однажды я снес к ростовщику одеяло Ханса Паули. Я презрительно хохотал над своей больной совестью, брезгливо плевал на землю и не находил достаточно резких слов, издеваясь над своей глупостью. Ах, случись это теперь! Если б в этот миг я нашел на улице кошелек, потерянный школьницей, единственную монетку бедной вдовы, я поднял бы ее и сунул в карман, украл бы со спокойной совестью и сладко спал бы всю следующую ночь. Недаром я так долго страдал, мое терпение истощилось, и я был готов на все.

Я несколько раз обошел дворец, потом решил отправиться домой, замешкался еще немного в парке и наконец пошел по улице Карла-Юхана.

Было около одиннадцати часов. Вокруг царила полутьма, всюду бродили люди, то парами, то шумной толпой. Наступил великий миг, пришло время любви, когда души тайно сливаются и жизнь подобна счастливой сказке. Слышался шелест женских юбок, короткий, страстный смех, волнующий грудь, горячее, судорожное дыхание. Вдали, у Гранда, какой-то голос звал: «Эмма!» Вся улица была подобна болоту, над которым вздымались горячие пары.

Я невольно шарю в кармане, не найдется ли там двух крон. Страсть, которая трепещет в каждом людском движении, даже тусклый свет газовых фонарей, тихая, волнующая ночь — все это начинает оказывать на меня воздействие, а воздух вокруг полон шепота, объятий, трепетных признаний, недосказанных слов, отрывистых вскриков; несколько кошек с громким мяуканьем справляют свадьбу в подворотне Блумквиста. А у меня нет даже двух крон. Какое это горе, какое ужасное несчастье, что я так обнищал! Какое унижение, какой позор! И я снова стал думать о последней монетке бедной вдовицы, которую мог бы украсть, о шапке или носовом платке школьника, о котомке нищего, которую без малейшего колебания отнес бы к тряпичнику, и прокутил бы вырученные деньги. Чтобы утешить и вознаградить себя, я стал выискивать всевозможные недостатки у этих счастливых людей, скользивших мимо меня; я сердито пожимал плечами и презрительно смотрел на них, когда они проходили, пара за парой. Эти самодовольные лакомки-студенты, которые думают, что ведут себя как европейские повесы, когда им удается коснуться груди какой-нибудь швейки! Эти молодые люди, банкиры, коммерсанты, бульварные волокиты, которые не брезгуют даже матросскими женами, толстыми куколками со скотного рынка, отдающимися за кружку пива в первой же подворотне. Ну и сирены! Их постель еще не остыла после посещения пожарного или конюха... Трон всегда свободен, доступен всякому, милости просим, взойдите!.. Я плевал изо всех сил, не заботясь о том, что могу попасть в кого-нибудь, был озлоблен, полон презрения к этим людям, льнувшим друг к другу и сходившимся на моих глазах. Я высоко держал голову и был счастлив, что соблюл себя в чистоте.

У стортинга я встретил девицу, которая пристально посмотрела на меня, и пошел рядом с нею.

— Добрый вечер! — сказал я.

— Добрый вечер!

Она остановилась.

— Гм... Что это вы ходите так поздно? Разве молодой девице не рискованно гулять в такое время по улице? Нет? Да, но раз-

ве с вами никогда не заговаривали, не оскорбляли вас, не зазывали домой?

Она изумленно смотрела на меня, стараясь прочесть на моем лице, что я хотел сказать. Потом вдруг взяла меня под руку и проговорила:

— Ну что ж, пойдемте!

Я пошел. Когда мы очутились в стороне от извозчиков, я остановился, высвободил свою руку и сказал:

— Послушайте, миленькая, у меня нет ни эре. Уж лучше я пойду своей дорогой.

Вначале она не хотела верить мне; но, ощупав мои карманы и ничего не найдя, она насупилась, вскинула голову и обозвала меня пентюхом.

— Спокойной ночи! — сказал я.

— Постойте! — крикнула она. — А очки у вас в золотой оправе?

— Нет.

— Ну и черт с вами!

Я ушел.

Но она нагнала меня и снова окликнула:

— Ладно уж, все равно пойдемте.

Это предложение жалкой уличной девки было для меня унизительно, и я отказался. Кроме того, была уже поздняя ночь, и я торопился в другое место; да и не таково ее положение, чтобы идти на подобные жертвы.

— Но я *хочу* пойти с вами.

— А я не могу согласиться на такие условия.

— Вы, конечно, идете к другой, — сказала она.

— Нет, — ответил я.

Ах, у меня не было никакой охоты к этому, девицы стали для меня почти все равно что мужчины, нужда иссушила меня. Но я чувствовал, как жалок я в глазах этой странной девицы, и решил соблюсти приличие.

— Как вас зовут? — спросил я. — Мария? Так вот! Послушайте, Мария! — И я начал объяснять свое поведение. Девица все больше и больше изумлялась. Неужели она подумала, что и

я один из тех, кто ходит вечерами по улицам и ловит девиц? Неужели она в самом деле так дурно обо мне думала? Разве я сказал ей что-нибудь неприличное? Разве тот, у кого дурное на уме, ведет себя так, как я? Одним словом, я разговаривал с ней и проводил ее немного, желая посмотреть, что она станет делать дальше. Впрочем, меня зовут так-то и так-то, я пастор. Спокойной ночи! Ступай и впредь не греши!

И я ушел.

Я потирал руки, восхищаясь своей великолепной выдумкой, и разговаривал сам с собой вслух. Как радостно бродить по городу и творить добрые дела! Быть может, я помог этому падшему созданию возродиться на всю жизнь! Опомнившись, она оценит мое благородство, с сердечной признательностью будет вспоминать меня даже в свой смертный час. Ах, все-таки стоило быть честным, честным и праведным!

Я был в прекрасном настроении, чувствовал себя сильным и смелым, был готов ко всему. Если б только достать свечку, я, пожалуй, окончил бы свою статью! Я шел, помахивая новым ключом от ворот, напевал, посвистывал и думал, как мне добыть свечу. Но придумал только одно — писать на улице, при свете газового фонаря. Я отпер ворота и отправился за своими бумагами.

Выйдя снова, я запер ворота снаружи и расположился у фонаря. Вокруг было тихо, я слышал только тяжелые, гулкие шаги полицейского в соседнем переулке, да издалека, от холма Святого Генриха, доносился собачий лай. Ничто не мешало мне, я поднял воротник куртки и принялся сосредоточенно думать. Я был бы бесконечно счастлив, если б мне удалось закончить эту маленькую статью. Я остановился на трудном месте, нужен был незаметный переход к чему-нибудь новому, потом мягкий, постепенный конец на длинной трепетной ноте, которая вдруг оборвется очень резкой фразой, волнующей, как выстрел или как грохот горной лавины. Точка.

Но слов не было. Я перечел всю статью сначала, громко произнося каждое слово, и никак не мог собраться с мыслями, чтобы придумать подходящую фразу. Пока я работал, подошел по-

лицейский, остановился посреди улицы поодаль от меня и разрушил все мое рабочее настроение. Какое ему дело, что в этот миг я придумывал замечательную фразу к статье для «Командора»? Господи, как трудно мне было удержаться на поверхности, за что бы я ни ухватился! Я простоял под фонарем с час, полицейский ушел, холод стал слишком пронизывающим, и я не мог оставаться на месте. Унылый и подавленный новой неудачей, я снова открыл ворота и пошел к себе.

В моем жилище было холодно, и я с трудом различил свое окно в густой темноте. Я ощупью добрался до постели, снял башмаки и стал растирать ноги, чтобы их согреть. Потом я лег не раздеваясь, как делал уже давно.

На следующее утро, едва рассвело, я сел в кровати и снова принялся за статью. Я сидел так до полудня, и мне удалось сочинить десятка два строк. Но до конца я так и не дошел.

Я встал, обулся и, чтобы согреться, начал ходить взад-вперед по комнате. Окна заиндевели, я выглянул на улицу: шел снег, весь двор и колодезный сруб были завалены снегом.

Я метался по комнате, бессознательно шагал взад-вперед, царапал ногтями стены, осторожно прижимался лбом к двери, постукивал указательным пальцем по полу, напряженно прислушивался — все это я делал без малейшей надобности, но тихо и глубокомысленно, будто затеял нечто важное. И в то же время я громким голосом, чтобы слышать самому, твердил: «Боже правый, но ведь это же безумие!» И продолжал делать то же самое. По прошествии долгого времени, — это длилось, пожалуй, не меньше двух часов, — я овладел собою, закусил губу и постарался обрести твердость. С этим необходимо покончить! Я отыскал стружку, пожевал ее и решительно взялся за карандаш.

С огромным трудом мне удалось написать две короткие фразы — с десяток жалких, вымученных слов, которые я выжал насильственно, лишь бы как-нибудь продвинуть дело. Но дальше я не мог работать, голова была пуста, силы оставили меня. Я не мог пошевельнуться и широко раскрытыми глазами глядел на эти слова, на эту недописанную страницу, вперившись в стран-

ные, шаткие буквы, которые торчали на бумаге, словно ощетинившиеся зверьки, — глядел, ничего не в силах понять, ни о чем не думая.

Время шло. До меня уже доносился уличный шум, стук колес и конских подков, из конюшни слышался голос Йенса Олая, который разговаривал с лошадьми. Я совершенно ослабел и только причмокивал губами, не в силах пошевельнуться. Жжение в груди усилилось.

В глазах у меня темнело, я изнемогал от усталости и снова лег. Чтобы согреть руки, я потирал волосы от лба к затылку и от виска к виску; при этом я вырывал пучки и клочья, роняя их на подушку. Это меня не беспокоило, я оставался равнодушным, ведь волос на моей голове было еще достаточно. Я попытался стряхнуть с себя эту странную дрему, расползавшуюся по всему телу, как туман; я приподнялся, похлопал ладонью по коленям, прокашлялся, превозмогая боль в груди, — и снова упал навзничь. Ничто не помогало; я беспомощно лежал с открытыми глазами, устремленными в потолок, и чувствовал, что умираю. Потом я сунул указательный палец в рот и стал его сосать. Что-то шевельнулось в моем мозгу, безумная, нелепая мысль искала выхода. А не укусить ли его? Не долго думая я закрыл глаза и стиснул зубы.

Я вскочил. Наконец-то я очнулся. Из пальца сочилась кровь, и я стал ее слизывать. Мне не было больно, да и ранка была пустячная; но я сразу пришел в себя; я покачал головой, подошел к окну, отыскал тряпочку и перевязал рану. На глазах у меня тем временем выступили слезы, я тихо оплакивал самого себя. Этот худой, искусанный палец был таким жалким. Боже правый, до чего я дошел!

Темнота сгущалась. В конце концов, вполне возможно, что к вечеру я закончу статью, если только у меня будет свеча. Голова моя снова прояснилась, мысли текли, как всегда, и я не очень страдал; даже голод ощущался не так остро, как несколько часов назад, и я мог преспокойно потерпеть до следующего утра. Вероятно, мне дадут свечу в долг, если я пойду в лавку и объясню свое положение. Меня там хорошо знают; в лучшие

времена, до своего обнищания, я часто покупал хлеб в этой лавчонке. Без сомнения, мне дадут там свечу под честное слово. И впервые за долгое время я принялся ощупью, в темноте, чистить свое платье, смахнул с воротника куртки выпавшие волосы; потом побрел вниз по лестнице.

Выйдя за ворота, я подумал, что лучше, быть может, попросить хлеба. Я остановился в раздумье.

— Нет, ни в коем случае! — сказал я наконец сам себе.

Ведь в теперешнем состоянии мне никак нельзя есть; иначе опять возникнут видения, нелепые чувства, бред, я не смогу закончить статью, а мне необходимо пойти к «Командору», пока он не забыл меня. Ни в коем случае! Я решился просить свечу. И с этой мыслью вхожу в лавку.

Какая-то женщина у стойки делает покупки; я вижу множество мелких разноцветных свертков. Приказчик, который знает меня и помнит, что я обычно у него покупаю, оставляет женщину, ни о чем не спрашивая, заворачивает в газету хлеб и кладет передо мною.

— Нет, мне, собственно, нужна свеча на сегодняшний вечер, — говорю я. И говорю это очень тихо, почтительно, иначе он может рассердиться и не даст мне свечу.

Мои слова кажутся ему неожиданными, впервые я спрашиваю у него не хлеб, а что-то другое.

— В таком случае вам придется немного обождать, — говорит он и снова возвращается к женщине.

Она берет свои покупки, протягивает ему пять крон, получает сдачу и уходит.

Мы с приказчиком остаемся одни.

Он говорит:

— Вам, значит, свечу.

Вскрыв пачку свечей, он вынимает одну. Он смотрит на меня, и я смотрю на него, не в силах высказать свою просьбу.

— Да, конечно, ведь вы уже заплатили, — вдруг говорит он.

Просто-напросто говорит, что я заплатил; я отчетливо слышу каждое его слово. И он начинает отсчитывать серебро из

ящика, крону за кроной, тяжелые, блестящие монеты, он дает мне сдачи с пяти крон, — с пяти крон той женщины.

— Пожалуйста! — говорит он.

Мгновение я смотрю на деньги, понимаю, что он ошибся, но не раздумываю, совершенно не шевелю мозгами, — ослепленный этим богатством, я совсем как шальной. Машинально я беру деньги.

Я стою у прилавка в тупом удивлении, пораженный, уничтоженный; потом я делаю шаг к двери и снова останавливаюсь. Я пристально гляжу в стену; там на кожаном шнурке висит колокольчик, а под ним — связка веревок. И я стою и смотрю на все это.

Видя, как долго я мешкаю, приказчик думает, что я хочу вступить в разговор и, перекладывая на прилавке стопки оберточной бумаги, замечает:

— Похоже, скоро зима.

— Гм. Да... — отвечаю я. — Похоже, что скоро зима. Похоже на то. — И немного спустя прибавляю: — Что ж, ведь пора. И похоже на то. Впрочем, давно уж пора.

Я прислушиваюсь к своей болтовне, словно не я, а кто-то другой говорит все это.

— Вы так полагаете? — говорит приказчик.

Сунув деньги в карман, я отворил дверь и ушел; я слышал, как я пожелал приказчику спокойной ночи и он мне ответил.

Не успел я сделать и двух шагов, как дверь распахнулась и приказчик окликнул меня. Я обернулся без удивления, без тени страха: я только собрал деньги в горсть и готов был отдать их.

— Вы забыли свечу, — говорит приказчик.

— Ах, благодарю вас! — спокойно отвечаю я. — Большое спасибо!

И я снова пошел по улице, держа свечу в руке.

Моя первая здравая мысль касалась денег. Я подошел к фонарю и снова пересчитал их, взвесил на ладони и улыбнулся. Ведь это целое богатство, его хватит надолго, очень надолго! Я снова сунул деньги в карман и пошел дальше.

У столовой на Стургатен я остановился, тщательно, хладнокровно взвешивая, можно ли мне сейчас немного поесть; изнутри слышался звон тарелок, стук ножей; искушение было слишком велико, и я вошел.

— Бифштекс! — потребовал я.

— Один бифштекс! — крикнула официантка в оконце.

Я сел за отдельный маленький столик у самых дверей и стал ждать. В этом углу царил полумрак, мне здесь было спокойно, и я предался размышлениям. Время от времени официантка с любопытством поглядывала на меня.

Итак, я совершил первый действительно бесчестный поступок, первую кражу, в сравнении с которой все мои прежние выходки были пустяком; первое маленькое и в то же время великое падение... Ну что ж! Теперь уже ничего не поделаешь. Впрочем, все зависит от меня, ведь я могу расплатиться с лавочником потом, при случае. И это вовсе не значит, что я должен и дальше идти по этому пути; к тому же я не обязан жить честнее всех, я не давал такой клятвы...

— Как вы думаете, бифштекс скоро будет готов?

— Да, сейчас.

Официантка открывает оконце и заглядывает в кухню.

Но если это дело выплывет наружу? Если у приказчика возникнет подозрение, если он начнет вспоминать историю с хлебом, с пятью кронами, со сдачей, которую получила та женщина? Ведь, вполне вероятно, что он спохватится в первый же раз, как я снова зайду в лавку. Господи, ну и что с того?.. Я слегка пожимаю плечами.

— Пожалуйста! — любезно говорит официантка и ставит бифштекс на стол. — Но не лучше ли вам перейти в соседнее помещение? Здесь так темно.

— Нет, спасибо, позвольте мне остаться здесь, — отвечаю я.

Ее любезность растрогала меня, я тотчас плачу за бифштекс, даю ей наугад, сколько попалось в кармане, и зажимаю ее руку. Она улыбается, а я, шутя, с увлажнившимися глазами, говорю:

— На чаевые купите себе усадьбу... Ах, не стоит благодарности!

Принявшись за бифштекс, я ем все жаднее, глотаю большие куски, не разжевывая. Я рву говядину зубами, как людоед.

Официантка снова подходит ко мне.

— Не хотите ли чего-нибудь выпить? — спрашивает она, слегка нагнувшись ко мне.

Я взглянул на нее: она говорила очень тихо, почти стыдливо; под моим взглядом она опустила глаза.

— Скажем, полбутылки пива или еще что-нибудь... от меня... и кроме того... если вам угодно...

— Нет, спасибо! — ответил я. — Как-нибудь в другой раз. Я еще зайду к вам.

Она отошла и села за стойкой; теперь я видел только ее голову. Какая она странная!

Кончив есть, я тотчас же пошел к двери. Я уже чувствовал тошноту. Официантка встала. Я боялся выйти на свет, боялся слишком близко подойти к этой молодой девушке, которая и не подозревала о моей нищете, а поэтому торопливо пожелал ей доброй ночи, поклонился и вышел.

Еда уже оказывала свое действие, меня сильно тошнило, к горлу подступала рвота. Во всяком темном углу я искал облегчения, старался преодолеть тошноту, от которой снова пустел мой желудок, сжимал кулаки, делал над собой усилие, топал ногами и в бешенстве глотал то, что готово было извергнуться изо рта, — но все напрасно! Наконец я вбежал в какую-то подворотню, скорчившись, ослепнув от слез, застилающих глаза, и меня вырвало.

Я был в отчаянье, шел по улице и плакал, проклиная те чудовищные силы, каковы бы они ни были, за то, что они так беспощадно преследуют меня, призывал на них проклятие ада и вечные муки за их жестокость. Да, эти силы не отличаются рыцарским благородством, право, не отличаются, уж это точно!.. Я подошел к какому-то человеку, который глазел на витрину, и попросил поскорей сказать, что, на его взгляд, нужно дать человеку, долгое время терпевшему голод.

— Это вопрос жизни и смерти, — сказал я. — А бифштекса он не может перенести.

— Я слышал, что очень полезно молоко, кипяченое молоко, — ответил он в крайнем изумлении. — А о ком речь?

— Спасибо! Спасибо! — сказал я. — Может, вы и правы, кипяченое молоко очень полезно.

И я ухожу.

Зайдя в первую попавшуюся кофейню, я спрашиваю кипяченого молока. Мне дают горячее молоко, и я пью его, жадно глотаю каждую каплю, расплачиваюсь и ухожу. Я направляюсь домой.

И тут происходит нечто поразительное. Я вижу, что у моих ворот, прислонившись к фонарному столбу, на самом освещенном месте, кто-то стоит, — это опять дама в черном. Та самая дама в черном, что уже приходила сюда. Ошибки быть не может, она пришла на то же место в четвертый раз. Она стоит совершенно неподвижно.

Мне это кажется столь странным, что я невольно замедляю шаг; мысли мои совершенно ясны, но я очень взволнован, нервы возбуждены едой. Я, как всегда, прохожу мимо нее, дохожу почти до ворот и готов уже войти. Но тут я останавливаюсь. Меня охватывает дерзкий порыв. Я безотчетно поворачиваюсь, направляюсь к даме, смотрю ей прямо в лицо и кланяюсь:

— Добрый вечер, фрекен!

— Добрый вечер! — отвечает она.

— Прошу прощения, но вы кого-нибудь ищете? Я вас уже давно заметил, не могу ли быть чем-нибудь полезен? В противном случае — виноват.

— Право, не знаю...

— В этом дворе никто не живет, кроме меня да трех-четырех лошадей, здесь только конюшня и мастерская жестянщика. Если вы кого-нибудь здесь ищете, это, наверное, ошибка.

Она отворачивается и говорит:

— Я никого не ищу, я стою здесь просто так.

Вот как, она просто стоит здесь, стоит уже не первый вечер только из прихоти. Это несколько странно; чем больше я думал об этом, тем сильней недоумевал. Наконец я решился быть смелее. Я звякнул деньгами в кармане и не долго думая предложил

ей пойти куда-нибудь выпить стакан вина... поскольку уже зима, наступили холода, хе-хе... и ведь это совсем недолго... разумеется, если она согласна.

Ах нет, спасибо, это невозможно. Нет, никак нельзя согласиться. Но если б я был так любезен и проводил ее немного, тогда... Уже темно, в столь позднее время неловко идти одной по улице Карла-Юхана.

— С большим удовольствием.

И мы пошли; она шла по правую руку от меня. Мною овладело приятное, неповторимое ощущение — ощущение близости молодой женщины. Я не отрываясь смотрел на нее. Аромат духов, источаемый ее волосами, тепло, исходившее от ее тела, сладостный запах женщины, легкое дыхание, которое овевало меня всякий раз, как она поворачивалась ко мне лицом, — все это проникало, пронизывало меня до глубины души. Я лишь смутно различал под вуалью полное, чуть бледное лицо, а под накидкой — высокую грудь. Этот дивный соблазн, таившийся под покровами, смущал меня, и в то же время я чувствовал беспричинное счастье; не вытерпев, я коснулся ее рукою, дотронулся до ее плеча и глупо улыбнулся. Я слышал, как билось мое сердце.

— Какая вы странная! — сказал я.

— Да почему же?

— Во-первых, потому, что у вас есть привычка неподвижно стоять по вечерам у ворот конюшни без малейшей надобности, только потому, что это пришло вам в голову...

— Ну, на это могут быть свои причины. Кроме того, так приятно гулять до поздней ночи, это мне всегда очень нравилось. А разве вы ложитесь до двенадцати?

— Я? Больше всего на свете ненавижу ложиться раньше двенадцати. Ха-ха!

— Ха-ха, вот видите! А я предпринимала эту вечернюю прогулку, потому что мне все равно нечего делать. Я живу на площади Святого Улафа...

— Илаяли! — воскликнул я.

— Как вы сказали?

— Я просто сказал: Илаяли... Но продолжайте!

— Я живу на площади Святого Улафа вдвоем с матерью, но с ней нельзя говорить, потому что она глухая. Разве странно, что я люблю гулять?

— Нисколько! — ответил я.

— Хорошо, в чем же тогда дело?

По ее голосу я понял, что она улыбается.

— А разве у вас нет сестер?

— Да, есть сестра, старше меня, — но откуда вы это узнали? Она сейчас уехала в Гамбург.

— Недавно?

— Да, пять недель тому назад. А откуда вам известно, что у меня есть сестра?

— Мне это вовсе не известно, я просто так спросил.

Мы замолчали. Мимо прошел какой-то человек, неся под мышкой пару башмаков, дальше, насколько хватало глаз, улица была пуста. У Тиволи, вдали, светился длинный ряд разноцветных фонариков. Снег перестал, небо было ясное.

— Господи, а вам не холодно без пальто? — говорит вдруг дама и смотрит на меня.

Рассказать ей, почему у меня нет пальто? Сразу же открыть ей свое положение, пускай лучше пугается теперь, чем потом? Но мне было так сладостно идти рядом с нею и держать ее в неведении. Я солгал:

— Нет, нисколько не холодно. — И чтобы переменить разговор, спросил: — Вы видели зверинец в Тиволи?

— Нет, — ответила она. — А что, это очень интересно?

Вот если б она согласилась пойти туда! Там так светло и людно! Но нет, ей пришлось бы стыдиться, пришлось бы уйти оттуда, стесняясь моего потертого платья, моего изможденного лица, которое я уже два дня не умывал; к тому же она могла бы обнаружить, что на мне нет жилета. Поэтому я ответил:

— Ах нет, там решительно нечего смотреть. — К счастью, мне удается призвать на помощь остатки своего красноречия. — Что смотреть в таком крошечном зверинце? И вообще я не люблю смотреть зверей в клетках. Эти звери знают, что человек на них

смотрит, чувствуют на себе сотни любопытных глаз, и это действует на них. Нет, я предпочитаю зверей, которые и не подозревают, что на них смотрят, они таятся в своих норах, их зеленые глаза лениво светятся, они лижут лапы и думают. А как вы полагаете?

— Да, вы, конечно, правы.

— Только звери со всем своим диким своеобразием, злобные и свирепые, могут быть интересны. Когда они бесшумно крадутся в ночной тьме, через грозную чащу леса, и слышатся птичьи крики, и шумит ветер, и пахнет кровью, и рев, и грохот, — одним словом, когда зверей овевает дух дикой природы...

Но я боялся ей наскучить, вновь почувствовал, что я — лишь жалкий нищий, и это чувство раздавило меня. Будь на мне приличное платье, я мог бы предложить ей приятную прогулку в Тиволи! Как странно, что эта женщина могла находить удовольствие в том, что ее по улице Карла-Юхана провожает оборванный бродяга. О чем она думает? И чего ради я иду подле нее с идиотской, бессмысленной улыбкой? Какой толк мне тащиться в такую даль за этой крошкой? Разве мне это не тяжко? Разве холод не пронизывает меня до костей при всяком порыве ветра, который дует нам в лицо? И разве безумие уже не пылает в моем мозгу оттого, что я столько месяцев подряд недоедал? Ведь из-за нее я не мог пойти домой и промочить горло глотком молока, которое, пожалуй, сумел бы удержать мой желудок. Почему она не повернулась ко мне спиной, почему не послала к черту?..

Я был в отчаянье; эта безнадежная тоска толкнула меня на крайность, и я сказал:

— В сущности, нам не следовало бы идти вместе, фрекен: уже одно мое платье позорит вас на виду у всех. Право, это так, я не шучу.

Она озадачена. Быстро взглянув на меня, она некоторое время молчит. Потом роняет:

— Ах Боже мой!

И больше ни слова.

— Как прикажете вас понимать? — спросил я.

— Ах нет, не говорите так... Теперь уж недалеко.

И она заторопилась.

Мы свернули на Университетскую улицу, и уже видны фонари на площади Святого Улафа. Теперь она снова замедлила шаг.

— Простите меня за нескромность, но, быть может, вы назовете свое имя, прежде чем мы расстанемся? И хотя бы на мгновение приподнимете вуаль, чтобы я мог взглянуть на вас? Я был бы вам бесконечно благодарен.

Пауза. Я ждал.

— Вы уже видели меня, — говорит она.

— Илаяли! — снова восклицаю я.

— Вы полдня преследовали меня, шли за мной до самого дома. Вы были пьяны?

По ее голосу я снова понял, что она улыбается.

— Да, — сказал я. — Да, к сожалению, я был пьян.

— Ах, как это гадко!

Раздавленный, я признал, что это действительно гадко.

Мы подошли к фонтану, мы остановились и смотрим на освещенные окна дома номер два.

— Дальше вам нельзя идти, — говорит она. — Спасибо, что проводили меня.

Я понурил голову, не смея вымолвить ни слова. Я снял шляпу и стоял с непокрытой головой. Подаст ли она мне руку?

— А почему вы не просите, чтобы я прошлась с вами еще немного? — шутит она, глядя на носки своих башмаков.

— Боже мой, — говорю я. — Если б вы согласились!

— Хорошо, но только совсем немного.

И мы повернули назад.

Я совсем растерялся, я не знал, идти ли мне или остановиться; из-за этой женщины все мои мысли спутались. Я был в восторге, в упоении, казалось, я готов умереть от счастья. Она сама захотела вернуться, это не я предложил, это было ее собственное желание. Я поглядываю на нее и становлюсь все смелее, она поощряет, манит меня к себе каждым словом. На мгновение я забываю о своей бедности, о своем ничтожестве, о всех своих жалких обстоятельствах, я чувствую, как кровь горячей волной

разливается по телу, словно в прежние времена, когда я был полон сил, и я пускаюсь на маленькую хитрость, чтобы выспросить у нее кое-что.

— Впрочем, я тогда преследовал не вас, а вашу сестру, — говорю я.

— Мою сестру? — переспрашивает она в изумлении.

Она останавливается, смотрит на меня, ждет ответа. Это был не пустой вопрос.

— Да, — отвечаю я. — Гм! Я хочу сказать, ту, что помоложе из двух дам, шедших впереди меня.

— Помоложе? Ого! — Она вдруг смеется громко, искренне, как ребенок. — Какой вы хитрец! Вы это сказали, чтобы заставить меня поднять вуаль. Разве нет? Да, я вас раскусила. Но вам этого не дождаться. Вы должны быть наказаны.

Мы стали смеяться и шутить, все время болтали без умолку, и я сам не знал, что говорю, — так мне было радостно. Она рассказала, что как-то, очень давно, видела меня в театре. Я был с тремя приятелями и вел себя как безумный; очевидно, я и в тот раз был пьян.

— Почему вы это думаете?

— Вы так громко хохотали.

— Вот как! Да, я часто смеялся в то время.

— А теперь нет?

— И теперь тоже. Но тогда жизнь была так прекрасна!

Мы дошли до улицы Карла-Юхана. Она сказала:

— Ну, будет!

Мы повернули назад и снова пошли по Университетской улице. Когда мы опять приблизились к фонтану, я несколько замедлил шаг, зная, что мне нельзя будет провожать ее дальше.

— Теперь вам пора уходить, — сказала она и остановилась.

— Да, пора, — отозвался я.

Но, поразмыслив, она решила, что я могу проводить ее до подъезда.

— Господи, ведь в этом нет ничего дурного. Правда?

— Конечно, нет, — сказал я.

Но когда мы стояли у подъезда, я вновь остро почувствовал свою нищету. Как такому обездоленному человеку сохранить бодрость духа? Грязный, измученный, изуродованный голодом, весь в лохмотьях, стоял я перед этой молодой женщиной, готовый провалиться сквозь землю. Я съежился, невольно сгорбил спину и сказал:

— Увижусь ли я с вами еще?

У меня не было никакой надежды, что она позволит увидеться с нею снова; я даже почти желал решительного отказа, который заставил бы меня совладать с собой, снова стать безразличным.

— Да, — сказала она.

— Когда же?

— Не знаю.

Пауза.

— Вы не поднимете вуаль хотя бы на один-единственный миг? — попросил я. — Дайте мне увидеть ваше лицо. На один только миг! Увидеть ваше лицо.

Пауза.

— Мы можем встретиться здесь во вторник вечером, — говорит она. — Хотите?

— Да, милая, если только это возможно!

— В восемь часов.

— Хорошо.

Я провел рукой по ее накидке, смахнул снег, пользуясь предлогом коснуться ее; мне было радостно чувствовать ее близость.

— Значит, вы не станете думать обо мне слишком дурно, — сказала она. И снова улыбнулась.

— Нет...

Вдруг она решительным движением подняла вуаль; мгновение мы смотрели друг на друга.

— Илаяли! — сказал я.

Она привстала на цыпочки, обвила руками мою шею и поцеловала меня в губы. Один-единственный раз, быстро, головокружительно быстро, прямо в губы. Я чувствовал, как вздымается ее грудь от порывистого дыхания.

И тотчас же она вырвалась из моих рук, задыхающимся шепотом бросила мне: «Спокойной ночи!» — повернулась и побежала по лестнице, не сказав больше ни слова...

Входная дверь захлопнулась.

На другой день снег усилился, он падал сырыми, тяжелыми хлопьями, которые на земле превращались в грязь. Было мокро и холодно.

Я проснулся очень рано, и мысли у меня в голове были совершенно спутаны после вчерашних душевных волнений, а душа полна восторга от недавней встречи. Упоенный, я некоторое время лежал с открытыми глазами и воображал, будто Илаяли рядом со мной: я обнимал самого себя и целовал воздух. Наконец я встал, выпил чашку молока, а немного погодя съел бифштекс и больше не чувствовал голода, однако нервы мои снова были сильно возбуждены.

Я отправился к торговцу готовым платьем. Мне пришло в голову, что я, пожалуй, мог бы недорого купить поношенный жилет, лишь бы было что надеть под куртку. Я поднялся по лестнице к рынку, облюбовал себе жилет и стал его рассматривать. Пока я возился там, мимо прошел знакомый; он кивнул и окликнул меня, я повесил жилет и направился к нему. Он был техник и шел на работу.

— Пойдем выпьем пива, — предложил он. — Но только поскорее, мне некогда... А что это за дама, с которой вы гуляли вчера вечером?

— Разве вы не знаете, — сказал я, ревнуя уже только от того, что он смеет думать о ней, — что это моя возлюбленная?

— Ух ты, дьявол! — сказал он.

— Да, это произошло вчера вечером.

Я сразил его на месте, он сразу поверил мне.

Я солгал ему, чтобы отвязаться; мы выпили пива и вышли на улицу.

— До свидания!.. Или нет, погодите, — сказал он вдруг. — Я вам ведь должен несколько крон, и мне стыдно, что я до сих пор не вернул их. Но вы получите долг в самом скором времени.

— Спасибо, — сказал я. Но у меня не было сомнений, что он никогда не вернет мне этих денег.

К сожалению, пиво сразу ударило мне в голову, горячей волной разлилось по телу. Я стал думать о минувшем вечере и пришел в смятение. А вдруг она не придет во вторник? Вдруг она одумалась, стала сомневаться! Но в чем ей сомневаться?.. Мысли мои теперь вертелись вокруг денег. Я испугался, мне стало очень страшно за себя. Я припомнил совершенное мной мошенничество во всех подробностях; увидел маленькую лавчонку, стойку, свою худую руку, хватающую деньги, представил себе, как полиция придет и схватит меня. Кандалы на руках и ногах. Нет, только на руках, быть может, лишь на одной руке; решетка, дежурный, составляющий протокол, скрип его пера, его взгляд, уничтожающий взгляд. Ну-с, господин Танген? А потом — одиночная камера, вечный мрак...

Гм! Я стиснул кулаки, постарался ободриться, ускорял шаги и очутился на Стуртувет. Здесь я присел.

Нет, бросьте, я не ребенок, нечего меня морочить! Кто может это доказать? И кроме того, приказчик не посмеет поднять шум, даже если и вспомнит, как было дело: он слишком дорожит своим местом. Сделайте одолжение, не надо шума и бурных сцен!

Но эти деньги все же тяготили меня, не давали мне покоя. Я начал копаться в себе и неоспоримо установил, что был счастливее прежде, в те дни, когда страдал, имея чистую совесть. А Илаяли! Разве я не увлек ее в грязь грешными своими руками! Господи Боже мой! Илаяли!

Теперь я казался себе отвратительным чудовищем, я вдруг вскочил и пошел прямо к торговке пирожками, сидевшей подле аптеки. Еще не поздно было смыть позор, показать всему свету, на что я способен! На ходу я приготовил деньги, держал их все, до последней монетки, в руке, а потом я склонился над лотком, точно хотел что-то купить, и не долго думая сунул деньги торговке в руку. При этом не сказал ни слова и тотчас же ушел.

Какая это дивная отрада — снова стать честным человеком! Пустые карманы давали мне ощущение легкости, как чудесно

было снова стать чистым. Ведь если разобраться, эти деньги, в сущности, возбуждали во мне немало тайной горечи, при мысли о них я всякий раз вздрагивал; ведь у меня не закоснелая душа, моя честность была оскорблена этим низким поступком, да, да! Слава Богу, я оправдался в собственных глазах.

— Берите с меня пример! — сказал я, окидывая взором кишащую людьми площадь. — Берите с меня пример! Я осчастливил старую, бедную торговку, вот это дело! Ведь она была в безвыходном положении. Сегодня вечером ее дети не лягут спать голодные...

Я утешал себя такими мыслями и находил, что мое поведение выше всяких похвал. Слава Богу, я избавился от этих денег.

Взволнованный, опьяненный, я шел по улице, гордо подняв голову. Я ликовал при мысли, что пойду к Илаяли чистым и честным, смогу глядеть ей прямо в глаза; ничто больше меня не мучило, мысли прояснились, исчезла тяжесть в голове, которая, казалось, была теперь отлита из прозрачного света. Мне хотелось шутить, выкидывать небывалые штуки, перевернуть вверх дном весь город, поднять страшный шум. Я шел через Гренсен как безумный; в ушах у меня слегка шумело, хмельная радость обуревала душу. В порыве безрассудной смелости я сообщил, сколько мне лет, рассыльному, который встретился мне по пути, но он не сказал ни слова, а я схватил его за руку, пристально посмотрел ему в лицо и пошел дальше, никак не объяснив свой поступок. Я прислушивался к голосам и смеху прохожих, поглядывал на птичек, прыгавших по тротуару, присматривался к булыжникам мостовой и находил в их расположении различные знаки и странные фигуры. Наконец я вышел на площадь, к стортингу.

Остановившись как вкопанный, я смотрю на извозчиков. Они расхаживают по площади и переговариваются, а лошади стоят, понурив головы, удрученные скверной погодой. «Ну, вперед!» — сказал я себе и подтолкнул себя локтями. Я быстро подошел к первой коляске и сел.

— Уллевольсвейен, тридцать семь! — крикнул я.

И мы поехали.

По дороге извозчик начал оборачиваться назад, поглядывать на меня, сидевшего под просмоленным холстом. Неужели он что-то заподозрил? Не было ни малейшего сомнения, что мое поношенное платье обратило на себя его внимание.

— Мне нужно навестить одного господина! — крикнул я ему, чтобы предупредить его расспросы. И я убедительно объяснил ему, как мне необходимо навестить этого господина.

Мы останавливаемся у дома номер тридцать семь, я выскакиваю, бегом поднимаюсь по лестнице на третий этаж и дергаю звонок, который отчаянно дребезжит.

Горничная отворяет дверь; я обращаю внимание на то, что в ушах у нее золотые серьги, а на серой блузке черные пуговицы. Она испуганно смотрит на меня.

Я спрашиваю Хьерульфа, Иоахима Хьерульфа, ну, того, который торгует шерстью, одним словом, его ни с кем не спутаешь...

Горничная качает головой.

— Хьерульф здесь не живет, — говорит она.

Взглянув на меня, горничная хочет закрыть дверь. Она произнесла эту фамилию легко, без малейшей запинки, словно действительно знает человека, которого я ищу, только ей лень вспоминать. В ярости я повернулся к ней спиной и сбежал вниз по лестнице.

— Его нет здесь! — крикнул я извозчику.

— Нет здесь?

— Нет. Поезжайте на Томтегатен, номер одиннадцать.

Мое волнение отчасти передалось кучеру; он, видно, подумал, что надо спасать человеческую жизнь, и тотчас же рванул с места. Он громко понукал лошадей.

— А как фамилия этого господина? — спросил он, обернувшись на козлах.

— Хьерульф, тот, что торгует шерстью. Хьерульф. Извозчику тоже показалось, что он знает этого человека. А не носит ли он светлого костюма?

— Как вы сказали?! — воскликнул я. — Светлого костюма? Да вы в своем уме? Что я, по-вашему, шутки шутить буду?

Этот светлый костюм испортил мне всю музыку, ведь я представлял себе Хьерульфа совсем не таким.

— Как бишь его фамилия? Хьерульф?

— Ну, да, — ответил я. — А что тут странного? В этой фамилии ничего плохого нет.

— А он не рыжий?

Вполне возможно, что он рыжий, и когда извозчик упомянул об этом, я вдруг твердо решил, что так оно и есть. Я был признателен извозчику и сказал, что он сразу сообразил, кого я ищу; ведь все обстоит именно так, как он говорил.

— Было бы весьма странно, — заметил я, — не окажись он рыжим.

— Стало быть, его-то я и возил раза два, — сказал кучер. — У него еще была в руке суковатая палка.

Тут уж этот человек встал предо мною как живой, и я сказал:

— Хе-хе, никто еще не видал этого господина без суковатой палки в руке. Уж на этот счет будьте спокойны, будьте совершенно спокойны.

Да, без сомнения, это был тот самый человек, которого он возил. Он узнал его...

Мы ехали так быстро, что из-под подков сыпались искры.

Хотя я был очень взволнован, я ни на миг не потерял присутствия духа. Мы проехали мимо постового, и я обратил внимание, что у него бляха с номером 69. Это число поражает меня до глубины души, вонзается мне в мозг, как заноза. 69, именно 69, уж я не забуду!

Я откинулся на спинку сиденья, весь во власти диких фантазий, съежился под просмоленным холстинным верхом, чтобы никому не было видно, как я шевелю губами, и начал самым нелепым образом разговаривать сам с собой. Безумие бушевало в моем мозгу, и я дал ему волю, вполне сознавая, что стал жертвой порывов, противостоять которым не в силах. Я начал смеяться, безмолвно и неистово, без малейшего к тому повода, веселый и пьяный от двух кружек пива. Мало-помалу мое возбуждение проходит, я все более успокаиваюсь. Я чувствую, как

ноет у меня палец, и сую его за ворот рубахи, чтобы немного согреть. Но вот мы на Томтегатен. Извозчик останавливается.

Я вылезаю из коляски медленно, ни о чем не думая, отяжелевший, с головой, словно налитой свинцом. Я прохожу через подъезд, оттуда — во двор, пересекаю его наискось, оказываюсь перед дверью, открываю ее и вижу перед собой как бы прихожую в два окна. Там, в углу, два сундука, один на другом, а у стены старая, некрашеная лежанка, покрытая ковром. Справа, в соседней комнате, слышится голос и детский крик, а надо мной, во втором этаже, удары молотка по железу. На все это я обращаю внимание сразу, как только вхожу.

Я преспокойно иду через всю квартиру к другой двери, не торопясь, не помышляя о бегстве, отворяю ее и выхожу на соседнюю улицу. Я смотрю на дом, через который только что прошел, и читаю вывеску «Пансионат для приезжих».

У меня нет намерения бежать, скрыться от извозчика, который меня ждет; я преспокойно иду по улице, без всякого страха, не чувствуя за собой ничего дурного. Хьерульф, торговец шерстью, так долго занимавший мои мысли, человек, в существование которого я верил и которого мне непременно нужно было найти, вдруг исчез, испарился вместе с другими безумными выдумками, которые появлялись, а потом исчезали; теперь он маячил передо мною лишь как смутный образ, как далекое воспоминание.

Чем дальше я шел, тем рассудительней становился, я чувствовал тяжесть и усталость, еле волочил ноги. А снег все падал большими мокрыми хлопьями. Наконец я вышел на Грёнланн, к самой церкви, и там присел на скамейку отдохнуть. Прохожие с удивлением смотрели на меня. Я погрузился в раздумье.

Великий Боже, как я обездолен! Вся моя жалкая жизнь так постыла мне, я так бесконечно устал, что больше не стоит труда бороться, не стоит поддерживать ее. Невзгоды доконали меня, они были слишком суровы; я совершенно разбит, стал собственной жалкой тенью. Плечи мои поникли, перекосились, я ходил скрючившись, чтобы хоть немного унять боль в груди. Два дня назад, у себя дома, я осмотрел свое тело — и не мог удержать

слез. Несколько недель я не менял рубашки, она вся задубела от пота и до крови натирала мне пупок; растертое место кровоточило, и хотя боли я не чувствовал, было так грустно носить на себе эту рану. Я не мог ее залечить, и сама по себе она не заживала; я промыл ее, осторожно вытер и снова надел ту же рубашку. Что ж было делать...

Я сижу на скамейке, думаю обо всем этом, и мне очень грустно. Я противен себе; даже руки мои кажутся мне омерзительными. Эти слабые, до непристойности немощные руки вызывают у меня досаду; я сержусь, глядя на свои тонкие пальцы, ненавижу свое хилое тело, содрогаюсь при мысли, что должен влачить, ощущать эту бренную оболочку. Господи, хоть бы все это скорей кончилось! Как я хочу умереть!

Совершенно растоптанный, осквернённый и униженный в собственных глазах, я безотчетно встал и пошел домой. По дороге я увидел вывеску над воротами: «Йомфру Андерсен, лучшие саваны, в подворотне направо». «Какие воспоминания!» — сказал я, и мне вспомнился мой чердак на Хаммерсборг, маленькая качалка, газетные обои вокруг двери, объявление смотрителя маяка и свежий хлеб булочника Фабиана Ольсена. Ах, в то время мне жилось куда лучше, чем теперь; однажды ночью я написал фельетон, за который мне уплатили десять крон, теперь же я больше ничего не мог написать, совсем ничего, стоило мне приняться за дело, и все мысли исчезали у меня из головы. Да, пора кончать! Я шел не останавливаясь.

По мере того как я подходил к мелочной лавке, мной все неотвязнее овладевало смутное ощущение опасности; но я был тверд в решении добровольно сознаться в своем поступке. Вот я преспокойно поднимаюсь по ступенькам, в дверях сталкиваюсь с маленькой девочкой, которая несет чашку, пропускаю ее и закрываю за собой дверь. Приказчик и я снова оказываемся с глазу на глаз.

— Скверная погода, не правда ли? — говорит он.

К чему эти увертки? Почему он не схватил меня сразу? Охваченный яростью, я говорю:

— Я пришел вовсе не за тем, чтобы болтать о погоде.

Моя горячность смущает его, этот ничтожный торгаш ничего не может взять в толк; ему и в голову не приходит, что я украл у него пять крон.

— Разве вы не знаете, что я обжулил вас? — с раздражением говорю я и весь дрожу, задыхаюсь, готовый заставить его действовать, если он станет еще мешкать.

Но он, бедняга, ни о чем не подозревает.

Ах ты Господи, среди каких глупцов приходится жить! Я осыпаю его бранью, в подробности объясняю, как было дело, показываю ему, где я стоял и где стоял он, когда это произошло, где лежали деньги, как я их взял и зажал в кулаке, — и до него наконец доходит, но он все равно не предпринимает ничего. Он только вертит головой, прислушивается к шагам за стенкой, делает мне знаки, чтобы я говорил потише, и наконец изрекает:

— Да, вы поступили нехорошо!

— Нет, погодите! — кричу я, обуреваемый духом противоречия, стараясь вывести его из себя. — Вы жалкий торгаш, где вам понять, но я поступил не так уж подло! Не думайте, что я присвоил эти деньги, нет, я не собирался ими воспользоваться, ведь я честный человек и мне это противно...

— Что же вы с ними сделали?

— Да будет вам известно, что я отдал их бедной старухе, все, до последней монетки. Такой уж я человек, у меня сердце не каменное, я жалею бедняков...

Он задумался, у него нет уверенности в том, что я честный человек. Наконец он спрашивает:

— А отчего вы не вернули деньги?

— Да поймите же, — нагло отвечаю я. — Мне не хотелось причинять вам неприятности, я решил пощадить вас. И вот награда за благородство. Я пришел сюда и вот уже сколько времени объясняю вам, как было дело, а вы, совсем потеряв стыд, и не думаете сводить со мной счеты. Поэтому я умываю руки. И вообще, ну вас к черту. Имею честь!

Я ушел, громко хлопнув дверью.

Но когда я вернулся в свое жилище, в эту сумрачную дыру, весь вымокший от сырого снега, моя воинственность вдруг ис-

чезла, и я опять сник. Я пожалел, что так нападал на бедного приказчика, я плакал, хватал себя за горло, дабы наказать себя за подлую выходку, и каялся. Он, конечно, насмерть перепугался за свое место и не посмел поднять шум из-за этих пяти недостающих крон. А я воспользовался его страхом, кричал на него, язвил его каждым словом. А сам хозяин, пожалуй, был за стенкой и каждую минуту мог выйти поглядеть, что случилось. Правда, мыслима ли худшая низость!

Эх, почему меня не задержали? Тогда все было бы кончено. Я сам дал бы надеть на себя кандалы. Не оказал бы ни малейшего сопротивления, — напротив, помог бы себя арестовать. Господи всемогущий, я жизнь готов отдать за единый миг счастья! Всю свою жизнь — за чечевичную похлебку! Хоть на этот раз внемли моим мольбам!..

Я лег спать в мокрой одежде; у меня была смутная мысль, что ночью я могу умереть, и, собрав последние силы, я привел в порядок свою постель, чтобы утром она выглядела прилично. Я улегся и скрестил руки на груди.

И вдруг мне вспомнилась Илаяли. Как мог я не вспоминать о ней целый вечер! В моей душе снова начинает брезжить свет, тоненький солнечный лучик, от которого мне так благостно тепло. Солнце светит все ярче, это кроткое, нежное, ласковое сияние, сладко опьяняющее меня. А потом солнце начинает жечь, опаляет мои виски, пожирает свирепым пламенем мой измученный мозг. Теперь перед глазами у меня сверкает костер, небо и земля объяты пожаром, передо мною огненные люди и звери, огненные горы, огненные дьяволы, бездна, пустыня, весь мир пылает, дымный пламень Судного дня.

Больше я ничего не видел и не слышал...

На другой день я проснулся весь в поту; меня трепала жестокая лихорадка. Поначалу я плохо понимал, что со мной случилось, с удивлением озирался, чувствуя в себе какой-то перелом, совершенно не узнавая себя. Я ощупывал свои руки и ноги, изумлялся, что окно в этой стене, а не в противоположной; со двора слышались удары лошадиных копыт, а мне казалось, будто эти звуки доносятся откуда-то сверху. И к тому же меня тошнило...

Мокрые, холодные волосы упали мне на лоб; я приподнялся на локте и посмотрел на подушку: мокрые волосы лежали и здесь мелкими клочьями. Ноги, обутые в башмаки, распухли за ночь, я с трудом мог шевелить пальцами.

Время близилось к вечеру, уже начало смеркаться, поэтому я встал с постели и принялся бродить по комнате. Я семенил осторожными шажками, чтобы не потерять равновесия и уберечься от боли в ногах. Я не очень страдал, и мне не хотелось плакать, вообще я не был печален, наоборот, я был очень радостен и уже не желал иной судьбы.

Потом я вышел из дому.

Единственное, что меня все же мучило, несмотря на отвращение к пище, был голод. Я снова начал чувствовать низменный аппетит, сосущее ощущение в животе, которое становилось все сильнее. Боль немилосердно терзала мою грудь, там шла какая-то безмолвная, странная возня. Казалось, с десяток крошечных зверьков грызли ее то с одной, то с другой стороны, потом затихали и снова принимались за дело, бесшумно вгрызались в меня, выедали целые куски...

Я не заболел, но был истощен и обливался потом. Я надеялся отдохнуть на площади, но путь туда был долог и тяжел; и все же я добрался туда, остановился на углу улицы, вливавшейся в площадь. Пот стекал мне в глаза, застилал стекла очков, слепил меня, и я остановился, чтобы вытереть лицо. Я не видел, где стоял, не думал об этом; вокруг раздавался оглушительный шум.

Вдруг слышится окрик, громкий, отрывистый: «Поберегись!» Я слышу этот окрик, я отлично слышу его и шарахаюсь в сторону, делаю быстрый шаг, насколько мне позволяют слабые ноги. Хлебный фургон, словно свирепое чудовище, проносится мимо, колесом задевает полу моей куртки; будь я немного проворнее, все кончилось бы благополучно. Я, пожалуй, мог бы быть попроворнее, чуть-чуть попроворнее, сделай я еще небольшое усилие; но теперь было уже поздно, колесо проехало по мне и отдавило на ноге пальцы; я чувствовал, что два пальца как бы перекосились.

Кучер на всем ходу осадил лошадей; он оборачивается и испуганно спрашивает, что со мной. О, могло быть гораздо хуже... Не бог весть как страшно... не думаю, чтобы был перелом... Ах, сделайте милость...

Я как мог быстрей поплелся к скамейке; толпа, глазевшая на меня, была мне неприятна. Ведь меня же не задавило насмерть, и раз уж это было неизбежно, я отделался довольно легко. Хуже всего было то, что пострадал башмак, подошва почти совсем оторвалась, и мысок походил на разинутую пасть. Я поднял ногу и увидел в этой пасти кровь. Что ж, никто из нас не виноват, кучер вовсе не хотел усугублять мое и без того скверное положение. Но я мог бы попросить его бросить мне небольшой хлебец, и он, пожалуй, не отказал бы в моей просьбе. Он охотно сделал бы мне такую услугу. Да пребудет же с ним милость Господня за это!

Голод нестерпимо мучил меня, и я не знал, как мне избавиться от своего постыдного аппетита. Я ерзал на скамейке, потом подобрал колени к груди. Когда стемнело, я поплелся к ратуше — бог знает, как я добрался туда, — и сел у балюстрады. Я оторвал карман от своей куртки и принялся жевать его, впрочем, совершенно бессознательно, насупясь, устремив глаза в пустоту и ничего не видя. Я слышал крики детей, игравших подле меня, и время от времени смутно угадывал прохожих; больше я не воспринимал ничего.

Потом мне вдруг пришло в голову пойти на рынок и раздобыть кусок сырого мяса. Я встал, прошел вдоль балюстрады к дальнему концу крытого рынка и стал спускаться по лестнице. Немного не доходя до мясных рядов, я обернулся назад и сердито прикрикнул на воображаемую собаку, словно приказывая ей оставаться на месте, а потом смело обратился к первому попавшемуся мяснику.

— Не откажите в любезности, дайте кость для моей собаки! — сказал я. — Только кость, без мяса: просто собаке нужно держать что-нибудь в зубах.

Мне дали кость, превосходную косточку, на которой еще оставалось немного мяса, и я спрятал ее под курткой. Я так

горячо благодарил мясника, что он посмотрел на меня с изумлением.

— Не стоит благодарности, — сказал он.

— Ах, не говорите, — пробормотал я. — Вы так любезны.

И я стал подыматься по лестнице. Сердце мое колотилось.

Я свернул в глухой переулок и остановился у каких-то развалившихся ворот. Здесь было совсем темно, и я, радуясь этой благодатной темноте, стал глодать кость.

Она была безвкусна; от нее исходил омерзительный запах спекшейся крови, и меня вскоре стошнило. Потом я снова попробовал приняться за кость; если б я мог удержать хоть кусочек, это, конечно, оказало бы свое действие, нужно было только удержать. Но меня снова стошнило. Я рассердился, решительно оторвал зубами кусочек мяса и насильно проглотил его. Но все было тщетно; как только кусочки мяса согревались в животе, они тотчас извергались оттуда. Я в неистовстве стискивал кулаки, плакал от бессилия и яростно грыз кость; я обливался слезами, кость стала грязной и мокрой от этих слез, меня рвало, я выкрикивал проклятия, снова грыз кость и плакал в отчаянье, и меня снова рвало. Я громко проклинал весь божий свет.

Тишина. Вокруг ни души, всюду темнота и безмолвие. Моя душа в страшном смятении, я тяжело и шумно дышу, обливаясь слезами, и со скрежетом зубовным извергаю из себя один за другим кусочки мяса, которые могли бы хоть немного меня насытить. Я ничего не могу поделать, как ни стараюсь, и в бессильной ярости, в неистовой злобе швыряю кость в подворотню, дико кричу, возношу хулы к небу, хриплым, надтреснутым голосом измываюсь над именем Божиим, воздеваю руки со скрюченными, как когти, пальцами... Эй ты, всевышний Ваал, тебя нет, но если б ты был, я проклял бы тебя так ужасно, что в небе твоем воспылал бы адский пламень. Эй ты, я готов был служить тебе, но ты отринул меня, и теперь я навеки от тебя отвернулся, потому что ты упустил свой час. Эй ты, я знаю, что скоро умру, и сейчас, у двери гроба, я все равно плюю на тебя, всевышний Апис. Ты хотел подчинить меня силой, не зная, что меня нельзя сломить. Неужели ты не знаешь этого? Или ты сотворил серд-

це мое во сне? Эй ты, всем своим существом, всеми фибрами души я презираю тебя, я торжествую и плюю на твою благодать. Отныне я отрекаюсь от твоего промысла и твоей сущности, я прокляну самую свою мысль, если она вновь обратится к тебе, и раздеру свои уста, если они вновь произнесут имя твое. Эй ты, если ты есть, вот тебе мое последнее слово, — ныне, и присно, и во веки веков я говорю тебе: прощай. Я умолкаю, и отворачиваюсь от тебя, и пойду дальше своей дорогой...

Тишина.

Я весь дрожу от волнения и страданий, я не двигаюсь с места и все шепчу проклятья и хулы, всхлипывая и горько рыдая, разбитый и обессиленный безумной вспышкой ярости. Ах, все это книжные разглагольствования, даже в своем ничтожестве я стараюсь выражаться красиво. Я стою у ворот с полчаса, и шепчу, и всхлипываю, схватившись за столб. Вдруг я слышу голоса, двое прохожих приближаются ко мне, о чем-то разговаривая. Отпрянув от ворот, я плетусь вдоль домов и снова выхожу на освещенные улицы. Когда я спускаюсь с Юнгсбаккена, в моем мозгу вдруг начинают твориться очень странные вещи. Мне кажется, будто жалкие лачужки на краю площади, сараи и ветхие склады подержанного платья все портят. Они портят площадь, уродуют весь город, — тьфу, долой эти развалины! Я стал подсчитывать в уме, много ли потребовалось бы затрат, чтобы перенести сюда Географический институт, красивое здание, которое всегда восхищало меня, когда я проходил мимо. Пожалуй, приняться за такое дело невозможно без капитала в семьдесят или даже в семьдесят две тысячи крон, — кругленькая сумма, шутка сказать, порядочный капиталец для начала, хе-хе. Голова у меня была словно бы пустая, когда я кивнул, подтверждая, что для начала это порядочный капиталец. Меня все так же била дрожь, и время от времени я всхлипывал.

У меня было такое чувство, что жизнь почти покинула меня и песенка моя спета. Но это было мне, в сущности, безразлично, это нисколько меня не беспокоило. Напротив, я шел через город, к порту, все более удаляясь от своего жилья. Я вполне мог бы лечь прямо на улице и умереть. От страданий я стал бе-

зучастным; искалеченные пальцы на ноге болели, мне казалось даже, что боль распространилась вверх до самого бедра, но и это не очень меня тревожило. Я пережил гораздо худшие страдания.

И вот я вышел к железнодорожному мосту. Здесь не было никакого движения, никакого шума, только изредка попадались люди — рыбак или матрос, который разгуливал, заложив руки в карманы. Я обратил внимание на хромого человека, который пристально взглянул на меня, когда мы с ним поравнялись. Я невольно остановил его, приподнял шляпу и спросил, не знает ли он, отплыл ли «Монах». При этом я не удержался, щелкнул пальцами перед самым его носом и сказал:

— Черт возьми, «Монах»! Ведь я совсем позабыл о нем!

Все-таки мысль об этом судне, помимо воли, сидела во мне.

— Да, как назло, «Монах» отплыл.

— А не можете ли сказать мне куда?

Он задумался, приподняв хромую ногу и чуть покачивая ею.

— Нет, — говорит он. — Но знаете ли вы, чем он грузился?

— Нет, — отвечаю я.

Но меж тем я уже позабыл про «Монаха» и расспрашиваю хромого о расстоянии до Хольместранна, если считать по старинке, на географические мили.

— До Хольместранна? Пожалуй...

— Или до Веблунгснеса?

— Так вот, стало быть: до Хольместранна, пожалуй...

— Послушайте, чтобы не забыть, — снова перебиваю я его. — Будьте добры, дайте мне щепотку табаку, совсем маленькую щепотку!

Получив табак, я горячо поблагодарил его и ушел. Табаком я так и не воспользовался, я тотчас же сунул его в карман. Хромой смотрел мне вслед — быть может, я чем-то возбудил в нем подозрение; куда бы я ни шел, я чувствовал на себе его подозрительный взгляд, и мне не нравилось, что этот человек преследует меня. Я повернулся, снова подошел к нему, посмотрел на него и сказал:

— Скорняк.

Только одно это слово: скорняк. Не более того. Говоря это, я пристально вглядывался в него, я чувствовал, как ужасен мой взгляд; словно бы я смотрел на него с того света.

Произнеся это слово, я некоторое время стою на месте. Потом снова плетусь к вокзалу. Хромой не издал ни звука, он только провожает меня глазами.

Скорняк? Я вдруг остановился. Как же я сразу не понял? Ведь я уже встречал этого калеку. На Гренсене, в ясное утро; я тогда заложил жилет. Мне казалось, что с того дня прошла целая вечность.

Я стою и размышляю об этом, — стою, прислонившись к стене дома на углу площади и Портовой улицы, — и вдруг вздрагиваю, пытаюсь скрыться. Но мне это не удается, и тогда, забыв всякий стыд, я поднимаю голову, так как ничего другого мне не остается, — и оказываюсь лицом к лицу с «Командором».

Неведомо откуда берется у меня дерзость, я даже отхожу на шаг от стены, чтобы он мог получше меня разглядеть. И я делаю это не для того, чтобы пробудить в нем сострадание, — я хочу себя унизить, поставить себя к позорному столбу; я готов был упасть на землю и просить «Командора» растоптать меня, наступить мне на лицо. Я даже не пожелал ему доброго вечера.

«Командор», видно, догадался, что со мной неладно, он замедляет шаг, а я, чтобы остановить его, говорю:

— Я хотел принести вам кое-что, но все никак не закончу...

— Вот как? — с сомнением говорит он. — Стало быть, вы еще не закончили?

— Нет, никак не закончу.

Я чувствую участие «Командора», и глаза мои наполняются слезами, я отхаркиваюсь и надрывно кашляю, стараясь взять себя в руки. «Командор» сморкается; он пристально смотрит на меня.

— А есть у вас на что жить? — спрашивает он.

— Нет, — отвечаю я. — У меня ничего нет. Я совсем не ел сегодня, но...

— Господь с вами, дружище, можно ли допустить, чтобы вы умирали с голоду! — говорит он. И тотчас начинает шарить в кармане.

Но тут во мне просыпается стыд, я, шатаясь, снова отхожу к стене и хватаюсь за нее, я смотрю, как «Командор» роется в бумажнике, и молчу. Он протягивает мне десять крон. Не раздумывая, он просто-напросто дает мне десять крон. При этом он повторяет, что невозможно допустить, чтобы я умирал с голоду.

Я, запинаясь, пробую отказаться и не сразу беру бумажку.

— Мне, право, стыдно... и, кроме того, тут слишком много...

— Берите скорей! — говорит он и смотрит на часы. — Мне надо на поезд, и я слышу, что он уже подходит.

Я взял деньги, онемев от радости, и не сказал больше ни слова, даже не поблагодарил его.

— Не стесняйтесь, — говорит «Командор» на прощанье. — Ведь вы же отработаете.

И он ушел.

Глядя ему вслед, я вдруг вспомнил, что не успел поблагодарить его за помощь. Я хотел догнать его, но не мог двинуться с места, ноги отказывались мне служить, я стал бы падать на каждом шагу. А он уходил все дальше и дальше. Я не пошел за ним, хотел окликнуть его, но не сразу решился, и когда я наконец все-таки собрался с духом и окликнул его раз, потом другой, он отошел уже далеко, а голос мой был слишком слаб.

Я остался на улице, смотрел ему вслед и тихо-тихо плакал.

«Неслыханное дело! — сказал я про себя. — Он дал мне десять крон!»

Я встал на то место, где только что стоял он, и начал повторять все его движения. И я поднес бумажку к глазам, мокрым от слез, осмотрел ее с обеих сторон и поклялся — громко, во всеуслышание поклялся, что это правда и у меня в руке действительно десять крон.

Через некоторое время — быть может, прошло бесконечно много времени, потому что вокруг стало совсем тихо, — я неожиданно очутился на Томтегатен, у дома номер одиннадцать. Ведь здесь я обманул извозчика, который меня возил, здесь же, никем не замеченный, я пробрался через двор на другую улицу. Я постоял немного, опомнился и, удивляясь себе, снова вошел в ворота и направился прямо в «Пансионат для приезжих».

Здесь я попросился на ночлег, и мне тотчас же предоставили постель.

Вторник.

Солнечный свет и тишина, день поразительно ясный. Снег растаял; всюду оживление, веселье, радостные лица, улыбки и смех. Над фонтанами круто взмывают водяные струи, золотистые от солнца, голубоватые от небесной синевы...

Около полудня я вышел из дома на Томтегатен, где я теперь жил в довольстве благодаря десяти кронам «Командора», и отправился в город. Я был в прекрасном расположении духа и до вечера бродил по самым оживленным улицам, рассматривая пеструю толпу. Задолго до семи вечера я прошелся до площади Святого Улафа и украдкой взглянул на окна в доме номер два. Через час я увижу ее! У меня захватывало дух. Что будет? Что я ей скажу, когда она спустится по лестнице? Добрый вечер, фрекен? Или просто улыбнусь? Я решил ограничиться улыбкой. Разумеется, я почтительно ей поклонюсь.

Я ушел с площади, немного стыдясь, что явился так рано, стал бродить по улице Карла-Юхана, почти не спуская глаз с часов на университете. В восемь я снова свернул на Университетскую улицу. По дороге я сообразил, что опаздываю, и прибавил шагу. Сильно болела нога, — если б не это, я был бы совершенно счастлив.

У фонтана я остановился перевести дух; я долго стоял там и смотрел на окна дома номер два; но она не появлялась. Что ж, я могу подождать, спешить мне некуда; ведь ее могли задержать. И я ждал. Но не приснилось ли мне все это? Может быть, я просто вообразил прошлую встречу, ведь я всю ночь пролежал в бреду? В нерешительности я стал раздумывать об этом, и меня одолевали сомнения.

— Гм!

Кто-то кашлянул у меня за спиной.

Я слышу этот кашель, слышу и легкие шаги, но не оборачиваюсь, а пристально смотрю на большую лестницу.

— Добрый вечер! — слышу я немного погодя. Я забываю улыбнуться и даже не сразу снимаю шляпу, — так я удивлен, что она пришла с той стороны.

— Вы долго ждали? — спрашивает она, часто дыша.

— Нет, помилуйте, я пришел совсем недавно, — ответил я. — Да, кроме того, велика ли беда, если мне и пришлось подождать? Впрочем, я думал, что вы придете с другой стороны.

— Я провожала маму, ее сегодня пригласили в гости.

— Вот как! — говорю я.

И мы идем. Полицейский, стоящий на углу, смотрит на нас.

— Но куда мы, собственно, пойдем? — спрашивает она и останавливается.

— Куда вам будет угодно.

— Ах, но ведь это так скучно — выбирать самой.

Пауза.

Потом я говорю, лишь бы сказать что-нибудь:

— Я вижу, у вас в окнах темно.

— Да, конечно! — оживленно отвечает она. — Горничная отпросилась и ушла. У нас никого нет.

Мы останавливаемся и смотрим на окна дома номер два, словно никогда их раньше не видели.

— В таком случае не пойти ли к вам? — говорю я. — Если разрешите, я посижу у двери...

Я весь дрожал и очень пожалел, что позволил себе такую смелость. Что, если она обидится и уйдет? Что, если я не увижу ее больше? Ах, мои жалкие отрепья! Я в отчаянье ждал ответа.

— Но вам, право, незачем сидеть у двери, — говорит она.

Мы стали подниматься по лестнице.

В прихожей было темно, она взяла меня за руку и повела за собой. Не нужно все время молчать, сказала она, можно разговаривать не стесняясь. Мы вошли. Зажигая свечу, — не лампу, а именно свечу, — зажигая эту свечу, она сказала с коротким смешком:

— Только вы не должны смотреть на меня. Ах, как мне стыдно. Но я никогда больше не сделаю этого.

— Чего вы больше не сделаете?

— Я никогда... нет, Боже упаси... я никогда больше не стану вас целовать.

— Не станете? — сказал я, и мы оба засмеялись.

Я протянул к ней руки, а она уклонилась, выскользнула, перебежала по другую сторону стола. Некоторое время мы смотрели друг на друга, и свеча стояла между нами.

Потом она стала снимать вуаль и шляпку, а ее блестящие глаза были устремлены на меня, следили за каждым моим движением, — она боялась, как бы я не схватил ее в объятия. Я снова попытался ее настичь, споткнулся о ковер и упал; я больше не мог ступить на больную ногу. В смущении я встал.

— Боже, как вы покраснели! — сказала она. — Вам очень больно?

— Да, очень.

И мы снова стали бегать вокруг стола.

— Вы, кажется, хромаете?

— Да, я прихрамываю, но совсем немного.

— В прошлый раз у вас болел палец на руке, а теперь болит нога. Сколько же у вас всяких бед!

— Несколько дней назад меня чуть не задавил фургон.

— Чуть не задавил? Вы, верно, опять были пьяны? Господи, какую жизнь вы ведете, молодой человек! — Она погрозила мне пальцем и стала серьезна. — Давайте сядем! — сказала она. — Нет, только не у двери; вы слишком застенчивы, сядьте вон там. Вы там, а я здесь, вот так... Ах, как это скучно, когда человек застенчив! Все приходится говорить и делать самой, а от вас никакой помощи. Вот, к примеру, вы вполне могли бы положить руку на спинку моего стула, вполне могли бы сами догадаться это сделать. А если я вам это скажу, вы уставитесь на меня, как будто не верите своим ушам. Да, да, я уже не раз замечала, вот и теперь то же самое. Но не пытайтесь меня убедить, будто вы всегда так скромны, иногда вы много себе позволяете. Вы были весьма дерзки в тот день, когда, подвыпив, шли за мной до самого дома и преследовали меня своими шуточками: «Вы потеряете книгу, фрекен, вы непременно потеряете книгу, фрекен!» Ха-ха-ха! Фуй, вы были такой гадкий!

Я смущенно смотрел на нее. Сердце мое сильно стучало, кровь горячей волной разливалась по телу. Какое наслаждение снова сидеть в человеческом жилище, слушать тиканье часов и разговаривать с юной, веселой девушкой, а не бормотать что-то себе под нос.

— Почему вы молчите?

— Как вы очаровательны! — сказал я. — Вы меня покорили, совершенно покорили, я сражен на месте. Никуда не денешься! Вы — самая удивительная из всех... Порой ваши глаза так сияют, я никогда не видел столь чудесного сияния, они подобны цветам. А? Нет, я даже сравнил бы их не с цветами, но... Я страстно влюблен в вас и очень страдаю. Как вас зовут? Вы непременно должны мне сказать, как вас зовут...

— А вас как зовут? Боже, я опять чуть не забыла! Вчера я целый день думала, что нужно будет спросить вас. Нет, вовсе не *целый* день, я не думала о вас целый день.

— Знаете, как я прозвал вас? Я прозвал вас Илаяли. Как вам это покажется? Тут есть неуловимый звон...

— Илаяли?

— Да.

— Это на каком-нибудь иностранном языке?

— Гм!.. Нет, отнюдь нет.

— Да, это недурно.

После долгих разговоров мы назвали друг другу свои имена. Она села рядом со мной на диван, отодвинула стул ногой. И мы снова начали болтать.

— Вы даже побрились сегодня, — сказала она. — И вообще вы гораздо лучше выглядите, чем в прошлый раз, правда, вы несколько малы ростом, но не подумайте... Нет, в прошлый раз у вас был действительно невзрачный вид. К тому же палец вы перевязали какой-то отвратительной тряпкой. И в таком виде вы непременно хотели пойти куда-нибудь выпить со мной вина. Нет уж, спасибо.

— Стало быть, вы не хотели пойти со мной из-за моего жалкого вида? — спросил я.

— Нет, — сказала она и опустила глаза. — Нет, свидетель Бог, не поэтому! Я об этом даже не думала.

— Послушайте, — сказал я. — Вы, конечно, полагаете, что я могу жить и святым духом, одеваться, как вам вздумается? Но я не могу, я очень, очень беден.

Она посмотрела на меня.

— Вы бедны? — переспросила она.

— Да, беден.

Пауза.

— Господи, но ведь я тоже бедна, — сказала она и гордо вскинула голову.

Каждое ее слово пьянило меня, проникало мне в душу, подобно капле вина, хотя это была самая обыкновенная девушка, говорившая на жаргоне, довольно развязная и болтливая. Она восхищала меня своей привычкой склонять голову набок и внимательно слушать, когда я говорил что-нибудь. При этом я чувствовал ее дыхание на своем лице.

— Вы знаете, дело в том... но только вы не сердитесь... Когда я лег вчера спать, я протянул к вам руку... вот так... как будто вы лежали рядом. И потом уснул.

— Вот как? Очень мило. — Пауза. — Но вы могли сделать это только на расстоянии, — ведь иначе...

— Вы думаете, иначе я не мог бы сделать этого?

— Думаю, что нет.

— Ну уж, от меня вы можете всего ожидать, — сказал я, лукаво взглянув на нее.

И обнял ее за талию.

— Всего? — переспросила она.

Она считала меня слишком уж порядочным человеком, это меня сердило и оскорбляло; я приосанился, набрался смелости и взял ее за руку. Но она преспокойно отняла руку и несколько отодвинулась от меня. Это опять лишило меня смелости, я устыдился и стал смотреть в окно. Все равно я был жалок, мне не следовало так много мнить о себе. Другое дело, если б я встретил ее раньше, когда я еще был человеком, в лучшие дни, пока дела кое-как шли. Я упал духом.

— Вот видите! — сказала она. — Видите, как легко с вами справиться, достаточно лишь едва заметно нахмурить лоб, чуть-чуть от вас отодвинуться, и вы сразу конфузитесь.

Она игриво засмеялась и крепко зажмурила глаза, словно бы не могла выносить, что на нее смотрят...

— Боже праведный! — воскликнул я. — Вот сейчас я вам покажу!

И я крепко обнял ее за плечи. С ума она сошла, что ли? Принимает меня за неопытного юнца! Ха, мы еще посмотрим... Никто не скажет, что в таких делах я хуже других. Да я сам черт, а не человек! Уж если на то пошло...

Точно я и в самом деле на что-то годился!

Она сидела спокойно, не открывая глаз, и оба мы молчали. Я решительно привлек ее к себе, прижал ее к своей груди, а она не вымолвила ни слова. Я слышал биение наших сердец, громкое, как топот копыт.

Я поцеловал ее.

Больше я не помнил себя, я говорил какие-то глупости, над которыми она смеялась, шептал ей нежные слова, прижимаясь губами к ее губам, гладил ее по лицу, и целовал, целовал. Я расстегнул пуговицу на ее блузке, потом другую, и обнажились груди — они выглядывали из-под сорочки, белые, округлые, чудо из чудес.

— Ах, позвольте взглянуть! — сказал я, стараясь расстегнуть другие пуговицы, еще больше обнажить ее тело; но я слишком распалился и не мог справиться с нижними пуговицами, а лиф был слишком тугой. — Я взгляну немножко... совсем немножко...

Тут она обвивает рукой мою шею, очень медленно и нежно; дыхание вырывается из розовых, трепещущих ноздрей, овевает мне лицо; другой рукой она начинает сама расстегивать пуговицы, еще и еще. Она смущенно, отрывисто смеется и поглядывает на меня, хочет понять, заметил ли я ее страх. Она развязывает ленты, расстегивает корсет, она проникнута нежностью и робка. И я своими грубыми руками тоже прикасаюсь к этим пуговицам и лентам...

Чтобы отвлечь внимание, она проводит левой рукой по моим плечам и говорит:

— Сколько тут выпавших волос!

— Да, — шепчу я, стремясь приникнуть губами к ее груди.

Она уже лежит рядом со мной, и платье ее расстегнуто. Но вдруг она, словно опомнившись, решает, что зашла слишком далеко. Она старается прикрыть свою наготу и приподнимается. Маскируя стыд, она снова заводит разговор о том, как много у меня на плечах выпавших волос.

— А почему волосы у вас так выпадают?

— Не знаю.

— Ну конечно, вы слишком много пьете, наверно, дело тут... Фу, даже сказать совестно! Стыдитесь! Право, от вас я этого не ожидала. Вы так молоды и уже лысеете!.. А теперь соблаговолите рассказать о своей жизни. Я уверена, что она просто ужасна! Но только говорите правду, понимаете, все как есть! Впрочем, если вы что-нибудь скроете, я увижу это по вашему лицу. Ну, рассказывайте!

Ах, до чего я устал! С какой радостью я просто посидел бы спокойно, глядя на нее, вместо того чтобы притворяться и понапрасну тратить силы на эту игру. Я был ни на что не годен, стал тряпкой.

— Начинайте же! — потребовала она.

Я воспользовался случаем и рассказал ей все, рассказал сущую правду. Я не пытался представить дело в более мрачном свете, чем было в действительности, не стремился пробудить в ней сострадания; я не утаил от нее, что присвоил однажды пять крон.

Она слушала, приоткрыв рот, бледная, перепуганная, и в ее блестящих глазах было смущение. Я хотел исправить свою оплошность, рассеять дурное впечатление, которое произвел на нее, и взял себя в руки.

— Но это — дело прошлое, больше такое никогда не повторится: теперь я спасен...

Но она была в совершенной растерянности.

— Господи! — сказала она и умолкла. Потом повторила еще и еще раз: — Господи!

Я попытался шутить, пощекотал ее, привлек ее к себе. Она уже успела застегнуть блузку, и это меня рассердило. Зачем она застегнулась? Разве теперь в ее глазах я стоял ниже, чем было бы в том случае, если б я подтвердил, что волосы у меня выпадают от распутной жизни? Неужели я нравился бы ей больше, если б прикинулся греховодником?.. Довольно болтовни. Нужно действовать решительно. А там, где нужно действовать решительно, я не ударю лицом в грязь.

Настала пора возобновить натиск.

И я, без дальних слов, опрокинул ее на диван. Она сопротивлялась, впрочем, не слишком сильно, и была как будто удивлена.

— Что вы делаете?.. Не надо... — сказала она.

— Что я делаю?

— Нет... не надо...

— Да, да...

— *Не надо*, слышите! — воскликнула она. И чтобы уязвить меня, добавила: — А знаете, мне кажется, что вы сумасшедший.

Я невольно остановился и сказал:

— Не правда, вы не думаете этого!

— Но у вас такой странный вид! И в то утро, когда вы преследовали меня, — ведь вы тогда не были пьяны?

— Нет. Но я был сыт, я только что поел.

— Что ж, тем хуже.

— Вы предпочли бы, чтобы я был пьян?

— Да... Я вас боюсь! Ради Бога, пустите меня!

Я задумался. Нет, я не мог это так оставить, слишком много я терял. Хватит валять дурака на диване, в поздний вечер! Эх, к каким только уловкам не прибегнешь в такое мгновение. Как будто я не знаю, что это — простая стыдливость! Не такой уж я младенец! Спокойно! И довольно пустой болтовни!

Она сопротивлялась весьма решительно, слишком решительно, чтобы это можно было объяснить простой стыдливостью. Я как бы нечаянно опрокинул свечу, стало темно, а она оказывала отчаянное сопротивление и даже издала слабый крик.

— Нет, не надо, не надо! Если хотите, поцелуйте лучше меня в грудь. Милый мой, хороший!

Я сразу остановился. Эти слова прозвучали так испуганно, так беспомощно, что я искренне недоумевал. Она думала вознаградить меня, позволив мне поцеловать ее в грудь! Как это мило, — мило и наивно! Я готов был упасть перед ней на колени.

— Но, моя дорогая! — сказал я в замешательстве. — Я никак не пойму... право, никак не пойму, что это за игра...

Она встала и дрожащими руками зажгла свечу; я снова сел на диван и сидел неподвижно. Что же теперь будет? Я совсем расстроился.

Она взглянула на стенные часы и вздрогнула.

— Ах, скоро вернется горничная, — сказала она.

Это было первое, о чем она подумала.

Я понял ее намек и встал.

Она взяла накидку, как бы собираясь надеть ее, но раздумала, снова положила ее и отошла к камину. Она была бледна и все больше беспокоилась. Чтобы ей не пришлось указать мне на дверь, я спросил:

— Ваш отец был военный?

А сам тем временем встал, собираясь уйти.

— Да, он был военный. А откуда вы знаете?

— Я не знаю, мне просто пришло в голову спросить.

— Как странно!

— О да. Чутье очень мне помогает. Ха-ха, недаром же я сумасшедший...

Она быстро взглянула на меня, но промолчала. Я чувствовал, что мое присутствие для нее мучительно, и хотел поскорей положить этому конец. Я направился к двери. Неужели она больше не поцелует меня? И даже руки не подаст? Я остановился и ждал.

— Вы уже уходите? — сказала она, по-прежнему стоя у камина.

Я не отвечал. Униженный и растерянный, я смотрел на нее, не говоря ни слова. Ах, я все испортил! Казалось, ей не было

никакого дела, что я собираюсь уходить, она словно была теперь навеки потеряна для меня, и я придумывал, что бы сказать ей на прощание, искал значительных, глубоких слов, которые поразили бы ее, подняли бы меня в ее глазах. И наперекор своему твердому решению, раздосадованный, взволнованный и обиженный, я, вместо того чтобы проститься с ней гордо и холодно, принялся болтать всякий вздор; нужные слова не приходили, я вел себя крайне легкомысленно. В голову снова лезли книжные красивости.

Почему бы ей не сказать мне прямо и открыто, чтобы я ушел? — спросил я. Да, почему? Нечего стесняться. Вместо напоминания, что скоро вернется горничная, она просто-напросто могла сказать так: «Теперь вы должны удалиться, потому что мне пора идти за матерью, и я не хочу, чтобы вы меня провожали». Ей это не пришло в голову? Ах, стало быть, именно это и пришло ей в голову? Так я и думал. Ведь мне так легко указать мое место; довольно было ей взять и снова положить накидку, как я сразу все понял. Ведь я же сказал, что у меня есть чутье. И для этого, в сущности, вовсе не надо быть сумасшедшим...

— Ради Бога, простите, что я вас так назвала! Это слово сорвалось у меня с языка! — воскликнула она.

Но она все стояла поодаль и не подходила ко мне.

А я упрямо гнул свое. Я болтал, мучительно чувствуя, что надоел ей, что ни одно мое слово не достигает цели, и все же не мог остановиться. Я полагаю, можно иметь чувствительное сердце, даже не будучи сумасшедшим; есть натуры, которые отзываются на всякую мелочь, их можно убить одним резким словом. И я намекнул, что у меня именно такая натура. Дело в том, что нищета очень обострила во мне некоторые наклонности, и я весьма сожалею, право, весьма сожалею... Но в этом есть и некая хорошая сторона, это иной раз помогает мне. Интеллигентный бедняк гораздо наблюдательней интеллигентного богача. Бедняк всегда осмотрителен, следит за каждым своим шагом, подозрительно относится к каждому слову, которое слышит; всякий его шаг заставляет напрягаться, работать его мысли и

чувства. Он проницателен, чуток, он искушен опытом, его душа изранена...

Я довольно долго говорил о своей израненной душе. Но чем больше я говорил, тем беспокойнее становилась женщина, к которой я обращался; наконец, в отчаянье ломая руки, она несколько раз повторила:

— О Господи! Господи!

Я отлично понимал, что терзаю ее, и вовсе не хотел ее терзать, но все-таки терзал. Наконец я решил, что главное, в общем, сказано, и, тронутый ее полным отчаянья взглядом, воскликнул:

— А теперь я ухожу, ухожу! Вы же видите, я уже взялся за ручку двери! Прощайте! Прощайте, слышите? Вы могли хотя бы ответить, раз я дважды простился с вами и твердо намерен уйти. Я даже не прошу позволения снова повидаться с вами, потому что это будет вам неприятно. Но скажите: зачем вы меня мучили? Что я вам сделал? Ведь я не стоял у вас на дороге, правда? Почему же вы вдруг отворачиваетесь от меня, как будто мы не знакомы? Ведь вы совсем опустошили меня, я теперь окончательно раздавлен. Но видит Бог, я не сумасшедший. Если вы дадите себе труд подумать, то прекрасно поймете, что я совершенно здоров. Протяните же мне руку! Или позвольте подойти к вам! Можно? Я вам ничего не сделаю, я только на миг преклоню перед вами колени, встану на колени у ваших ног, всего на одно мгновенье, вы позволите? Ну хорошо, я не сделаю этого, я вижу, что вы боитесь, и не сделаю, слышите, *не сделаю* этого. Но скажите, Бога ради, чего вы так боитесь? Ведь я же стою спокойно, даже не шелохнусь. Я просто преклонил бы колени на коврике, вон на том красном узоре у самых ваших ног. Но вы испугались, я сразу увидел по вашим глазам, что вы испугались, и вот я не двинулся с места. Я не сделал ни шагу, когда просил у вас позволения, не так ли? Я стоял неподвижно, как вот сейчас, когда я показал вам место, где хотел опуститься на колени, вон там, на ковре, где красная роза. Я даже не показываю пальцем, право, даже не показываю, не делаю этого, чтобы не испугать вас, я только киваю и устремляю туда взгляд, вот так! И вы

отлично понимаете, о какой я розе говорю, но не хотите позволить мне встать на колени, вы боитесь меня и не решаетесь подойти ко мне. Не понимаю, как у вас хватило жестокости назвать меня сумасшедшим. Не правда ли, вы этого вовсе не думаете? Лишь однажды летом, давным-давно, я был безумен, мне приходилось слишком тяжело работать, и я забывал вовремя пообедать, потому что мысли мои были поглощены делом. Это повторялось изо дня в день: мне следовало помнить о еде, но я вечно забывал. Видит Бог, это правда! Не сойти мне с этого места, если я лгу. А вы обижаете меня, поймите. Не нужда заставляла меня так работать: я пользуюсь кредитом, большим кредитом у Ингебрета и Гравесена, у меня часто бывало довольно денег, и я все-таки не покупал еды, потому что забывал про нее. Слышите! Вы молчите, не отвечаете, вы не отходите от камина, а просто стоите и ждете, пока я уйду...

Она быстро подошла ко мне и протянула руку. Я с недоверием смотрел на нее. Сделала ли она это от души? Или же только для того, чтобы избавиться от меня? Она обвила руками мою шею, и на глазах у нее выступили слезы. А я стоял и смотрел на нее. Она подставила мне губы, но я не верил ей, это просто была жертва, лишь бы все поскорей кончилось.

Она что-то сказала, и мне послышалось: «А все-таки я люблю вас!» Она сказала это очень тихо и невнятно; может быть, я не расслышал, может быть, она произнесла что-нибудь совсем другое; но она с жаром бросилась мне на шею и даже привстала на цыпочки, чтобы дотянуться, и стояла так чуть ли не целую минуту.

Я боялся, что она просто принудила себя быть со мной ласковой, и сказал только:

— Как вы прекрасны!

Больше я ничего не сказал. Я попятился, наткнулся на дверь и задом вышел из комнаты. А она осталась.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Пришла зима, холодная, сырая и почти бесснежная, наступила вечная, туманная ночь, и почти целую неделю не ощущалось даже свежего дуновения ветерка. На улицах целыми днями горели газовые фонари, и все же люди натыкались друг на друга в тумане. Все звуки — звон церковных колоколов, звяканье бубенцов на извозчичьих лошадях, людские голоса — раздавались глухо и были словно похоронены в плотном воздухе. Прошла неделя, потом еще одна, а погода стояла все такая же.

Я по-прежнему не менял своего приюта.

Все больше и больше я привязывался к этому жилью, к этим меблированным комнатам для приезжих, где я мог ютиться, несмотря на свою нищету. Деньги у меня давным-давно вышли, но я все-таки продолжал приходить сюда, словно имел на это право, словно стал здесь своим. Хозяйка пока ничего мне не говорила; но меня все равно мучило, что я не могу расплатиться с нею. Так прошли три недели.

Уже несколько дней я снова писал, но то, что получалось, меня не удовлетворяло; я усердно работал, бился с утра до ночи, но без всякого успеха. За что бы я ни принимался, все оказывалось тщетным, — удачи не было.

Я пытался писать в комнате на втором этаже, это была самая лучшая из гостиных. С того первого вечера, когда у меня еще были деньги и я мог платить за все, никто меня там не беспокоил. Я все время надеялся, что мне удастся написать какую-

нибудь статью, и тогда я смогу уплатить за комнату, а также рассчитаться с прочими долгами; вот почему я работал так усердно. Особенно занимала меня одна уже начатая вещь, от которой я многого ожидал, — иносказательное сочинение о пожаре в книжном магазине; тут была заложена глубокая мысль, которую я хотел обработать как можно тщательней и отдать написанное «Командору» в уплату долга. Пускай «Командор» убедится, что оказал помощь действительно талантливому человеку; у меня не было ни малейшего сомнения, что он убедится в этом. Нужно было только подождать, когда меня осенит вдохновение. А почему бы вдохновению не осенить меня? Почему бы не снизойти ко мне в самом скором времени? Ничто мне не мешало; каждый день хозяйка кормила меня, предлагала мне несколько бутербродов утром и вечером, и я стал гораздо спокойнее. Я больше не обматывал руки тряпками, когда писал, и мог без головокружения смотреть на улицу из окон во втором этаже. Мне было теперь гораздо лучше во всех отношениях, и я начал удивляться, что все еще не кончил свое сочинение. Я не знал, чем это объяснить.

Но вот мне довелось почувствовать, как я слаб, как вяло и бесплодно работает мой мозг. В этот день хозяйка принесла мне какой-то счет и попросила просмотреть его; кажется, этот счет неверен, сказала она, он не сходится с книгами; но она не могла найти ошибку.

Я принялся подсчитывать; хозяйка сидела напротив и смотрела на меня. Я сложил все двадцать цифр, сначала сверху вниз, и нашел сумму верной, потом снизу вверх, и снова пришел к тому же выводу. Я смотрел на хозяйку, она сидела напротив меня и ждала, что я скажу; от меня не укрылось, что она беременна, это не ускользнуло от моего наблюдательного взгляда, хотя я вовсе не старался что-нибудь заметить.

— Все верно, — сказал я.

— Нет, проверьте каждую цифру в отдельности, — попросила она. — Я уверена, что итог слишком велик.

И я стал проверять каждую цифру: 2 хлеба по 25, ламповое стекло — 18, мыло — 20, масло — 32... Не требовалось никаких

особых дарований, чтобы проверить эти столбцы чисел, этот счет из мелочной лавки, где не было никаких сложностей, и я добросовестно пытался отыскать ошибку, о которой говорила хозяйка, но не находил ее. Провозившись несколько минут, я, как на грех, почувствовал, что голова у меня пошла кругом; я уже не отличал приход от расхода, все перепуталось. Наконец я сосредоточился на строчке: $3\,{}^{5}/_{16}$ фунта сыру по 16. Мой мозг окончательно отказывался работать, я тупо смотрел на слово «сыр» и не мог сдвинуться с места.

— Черт возьми, как неразборчиво тут написано! — сказал я в отчаянии. — Господи твоя воля, здесь сказано: пять шестнадцатых фунта сыра. Ха-ха, неслыханное дело! Взгляните сами!

— Да, — согласилась хозяйка. — Они имеют привычку так писать. Это зеленый сыр. Стало быть, все верно! Пять шестнадцатых — это пять долей...

Я снова попытался разобраться в этом счете, который несколько месяцев назад проверил бы в одну минуту; я обливался потом, изо всех сил старался постичь эти загадочные числа и глубокомысленно закрывал глаза, точно вникая в написанное; но ничего не выходило. Проклятый сыр доконал меня; казалось, что-то треснуло в моем мозгу.

Однако я продолжал считать, чтобы произвести впечатление на хозяйку, шевелил губами и время от времени громко называл вслух какое-нибудь число, скользя глазами сверху вниз по счету, точно беспрерывно подвигался вперед и уже заканчивал проверку. Хозяйка сидела и ждала. Наконец я сказал:

— Я проверил все от начала до конца, и, насколько я могу судить, тут, право, нет никакой ошибки.

— Разве? — спросила она. — В самом деле?

Но я отлично видел, что она не верит мне. И вдруг мне показалось, что в ее голосе появился пренебрежительный оттенок, некое безразличие, какого раньше я у нее не замечал. Она сказала, что я, видно, не привык считать на шестнадцатые доли, и добавила, что ей придется попросить проверить счет кого-нибудь еще, кто лучше в этом смыслит. Она сказала все это не в обидной форме, без желания меня осрамить, но это прозвучало

задумчиво и серьезно. Уже с порога она сказала, не взглянув на меня:

— Простите, что помешала вам!

И ушла.

Немного погодя дверь отворилась еще раз, и хозяйка вошла опять; должно быть, она недалеко успела отойти по коридору.

— Вот что! — сказала она. — Вы только не обижайтесь, но с вас кое-что причитается. Ведь вчера, кажется, исполнилось уже три недели, как вы у меня поселились? Да, именно три недели. Не так-то легко перебиться с большой семьей на руках, поэтому я не могу пускать жильцов в кредит...

Я прервал ее.

— Ведь я уже говорил вам, что работаю над статьей, — сказал я. — И как только она будет готова, вы сейчас же получите ваши деньги. Будьте совершенно спокойны.

— Ну, а вдруг вы ее никогда не кончите?

— Вы так полагаете? Вдохновение может осенить меня завтра или даже сегодня ночью. Вполне возможно, что оно осенит меня сегодня ночью, и тогда я закончу статью в какие-нибудь четверть часа. Я работаю не так, как все остальные люди; я не могу писать в день определенное количество страниц, я должен дождаться своей минуты. И никто не ведает ни дня, ни часа, когда снизойдет вдохновение, это случается само по себе.

Хозяйка ушла. Но ее доверие ко мне, видно, было сильно поколеблено.

Оставшись один, я вскочил и начал рвать на себе волосы от отчаяния. Нет, действительно спасения нет, спасения нет никакого! Мой мозг не служит мне больше! Разве не стал я совершенным идиотом, если уже не могу высчитать стоимость кусочка сыру? Но если я задаю себе такие вопросы, возможно ли, чтобы я лишился рассудка? Разве я, хоть и был поглощен подсчетами, не заметил с редкостной проницательностью, что хозяйка была беременна? Ведь я понятия не имел об этом, никто мне ничего не сказал; это осенило меня помимо воли, я увидел это собственными глазами и тотчас все понял, да еще в то отча-

янное мгновение, когда я вычислял шестнадцатые доли. Как же объяснить все это?

Я подошел к окну и поглядел на улицу; окно выходило на Вогнмансгатен. На тротуаре играли дети, дети бедняков на бедняцкой улице; они перебрасывались пустой бутылкой и громко визжали. Мимо медленно проехала повозка с домашним скарбом; видно, какая-то семья, выброшенная на улицу, перебиралась в такое неурочное время на другую квартиру. Я сразу об этом догадался. На повозке громоздились одеяла, подушки и мебель — источенные червями кровати и комоды, красные треногие стулья, рогожи, всякий железный хлам, жестяная посуда. Маленькая девочка, совсем еще крошка, уродливая, с отмороженным носом, сидела на повозке и крепко держалась посиневшими ручонками, чтобы не упасть. Под ней была куча ужасных, сырых матрасов, на которых дома спали дети, и она смотрела на ребятишек, перебрасывавшихся пустой бутылкой...

Я глядел на улицу и легко понимал все происходящее. Стоя у окна, я слышал, как хозяйская стряпуха напевала в кухне, по соседству с моей комнатой; я знал песенку, которую она пела, и прислушивался, не сфальшивит ли она. И я сказал себе, что слабоумный был бы не способен на все это; слава Богу, я нормален, как всякий другой.

Вдруг я увидел, что два мальчугана на улице затеяли ссору; одного я знал, это был сын хозяйки. Я открыл окно и стал слушать, что они говорят друг другу, а под окном тотчас собралась толпа детей, они жадно смотрят вверх. Чего они ждут? Какой-нибудь подачки? Сухого цветка, кости, окурка сигары, чего-нибудь, что можно съесть или употребить для игр? Они долго смотрят на мое окно, и лица у них синие от холода... А те двое все ссорятся между собой. Из их детских ртов вылетают бранные слова, непотребные прозвища, матросские ругательства, которым они, верно, выучились в порту. И оба так увлеклись, что совсем не замечают хозяйки, которая прибежала узнать, что случилось.

— Да-а! — жалуется ее сын. — Он меня схватил за горло, чуть не задушил совсем! — И, повернувшись к своему недругу, ко-

торый злорадно посмеивается, он в ярости кричит: — Убирайся к черту, сучий сын! Всякая гнида станет хватать людей за глотку! Вот я тебе, распротак твою...

А его беременная мать, чей живот едва не перегораживает всю узкую улицу, хватает своего десятилетнего сына за руку и хочет увести его.

— Тс! Придержи язык! Не смей ругаться! Лаешься, как будто уже не один год якшаешься со шлюхами! Марш домой!

— Не пойду!

— Нет, пойдешь.

— Не пойду!

Я стою у окна и вижу, как мать приходит в бешенство; эта отвратительная сцена глубоко возмущает меня, я больше не в силах ее терпеть, я кричу мальчику вниз, чтобы он поднялся ко мне на минутку. Я дважды крикнул это, чтобы остановить их, прекратить эту сцену; во второй раз я кричу очень громко, хозяйка смущенно поднимает голову и смотрит на меня. Но она тотчас оправляется от смущения, нагло смотрит на меня, — смотрит с видом нескрываемого превосходства, а потом, сделав сыну замечание, уходит. Она говорит ему громко, чтобы я мог слышать:

— Фу, стыдись, показываешь всяким, какой ты гадкий мальчик!

Глядя на все это, я не упустил ничего, даже малейшей подробности. Моя наблюдательность была очень острой, я чутко воспринимал каждую мелочь и все поочередно обдумывал. Стало быть, рассудок мой не был поврежден. Да и как мог он повредиться?

— Послушай-ка, — сказал я вдруг себе. — Ты достаточно долго тревожился о своем рассудке, а теперь хватит! Разве это признак безумия, когда голова замечает и воспринимает все, до последней мелочи? Да ты просто смешон, смею тебя заверить, ведь это очень забавно. Словом, у всякого бывают заскоки, особенно в простых вещах. Это ничего не значит, это — простая случайность. Говорю тебе, ты смешон. А этот счет, эти разнесчастные пять шестнадцатых вонючего сыра, — ха-ха, сыр с гвозди-

кой и перцем! — что до этого смехотворного сыра, то от него вполне можно отупеть, уж один запах этого сыра способен отправить человека на тот свет... — И я хохотал над всем зеленым сыром на свете. — Нет, ты дай мне что-нибудь съедобное! — сказал я. — Дай мне, ежели угодно, пять шестнадцатых свежего сливочного масла! Тогда другое дело!

Я лихорадочно смеялся собственным шуткам и находил их весьма забавными. У меня, право, не было никаких изъянов, я был совершенно здоров.

Я ходил по комнате, разговаривая сам с собою, и моя веселость все возрастала; я громко смеялся и словно опьянел от радости. В самом деле, казалось, я только и ждал этой короткой радостной минуты, этого мгновения, исполненного странного светлого восторга, чтобы работоспособность вернулась ко мне. Я сел за стол и занялся своим сочинением. Работа продвигалась успешно, гораздо успешнее, чем раньше. Она продвигалась не слишком быстро; но то немногое, что я сделал, казалось мне бесподобным. К тому же я работал целый час без устали.

И вот я дошел до самого важного места в этом иносказательном сочинении о пожаре в книжном магазине; оно представляется мне столь важным, что все другое, написанное мной, ничто в сравнении с этим местом. Я хотел выразить поистине глубокую мысль, что горели не книги, а мозги, человеческие мозги, хотел устроить из этого настоящую Варфоломеевскую ночь. Как вдруг дверь распахнулась и ворвалась хозяйка. Она быстро вошла прямо в комнату, даже не задержавшись у двери.

Я коротко вскрикнул, точно мне нанесли удар.

— Как? — сказала она. — Мне показалось, будто вы что-то сказали? К нам приехал постоялец, и я намерена отдать ему эту комнату. А вы сегодня переночуете у нас, внизу, но для этого вам надо обзавестись собственной постелью. — И, не слушая меня, она без дальнейших разговоров принялась небрежно сгребать со стола мои бумаги.

Мое радостное настроение сразу исчезло, я вспылил, пришел в отчаяние и тотчас же встал. Я молча предоставил ей уби-

рать бумаги со стола, я не вымолвил ни слова. Она сгребла листки и сунула их мне в руки.

Делать было нечего, пришлось освободить комнату. И драгоценное мгновение было утеряно безвозвратно! Нового постояльца я встретил на лестнице, — это был молодой человек с большим синим якорем, вытатуированным на руке; за ним носильщик тащил на спине сундук. Приезжий, очевидно, был моряк, стало быть, лишь случайный гость на одну ночь; он, конечно, не займет мою комнату на более продолжительное время. Может быть, завтра, когда он уедет, мне снова посчастливится и вдохновение вернется, хотя бы на пять минут, — этого хватит, чтобы закончить работу. А пока нужно покориться судьбе...

До тех пор я не бывал на хозяйской половине, где днем и ночью ютились муж, жена, отец жены и четверо детей. Стряпуха жила на кухне, там она и спала. Я с неохотой подошел к двери и постучал; никакого ответа, хотя внутри слышались голоса.

Когда я вошел, муж не сказал ни слова, даже не ответил на мое приветствие; он лишь безучастно взглянул на меня, точно ему не было до меня никакого дела. Впрочем, он играл в карты с человеком, которого я как-то видел на пристани, с грузчиком по прозвищу Стекляшка. Грудной младенец что-то лепетал на кровати, а старик, отец хозяйки, сидел на скамеечке, скрючившись и подпирая руками голову, словно у него болела грудь или живот. Он был почти совсем седой и скорчился, словно змея, подстерегающая добычу.

— Не откажите приютить меня на ночь, — сказал я хозяину.

— Это моя жена так распорядилась? — спросил он.

— Да. Мою комнату занял новый постоялец.

На это он ничего не сказал и снова занялся картами.

Изо дня в день он играл здесь в карты с гостями, играл не на деньги, а лишь бы скоротать время, лишь бы чем-нибудь занять руки. Больше он ничего не делал, движения его были ленивы и неохотны, а жена его тем временем сновала вверх и вниз по лестнице, хлопотала по дому и отыскивала постояльцев. У нее было соглашение с рабочими и носильщиками в порту, которые получали известную плату за каждого нового жильца и,

кроме того, часто сами оставались здесь на ночлег. Стекляшка как раз и привел нового постояльца.

Вошли двое детей, две девочки с веснушчатыми, изможденными, как у потаскушек, лицами; на них были совсем рваные платья. Немного погодя вошла и сама хозяйка. Я спросил ее, где она намерена пристроить меня на ночь, и она ответила, что я могу лечь здесь, вместе со всеми, или же в прихожей, на скамье, как мне самому угодно. Говоря это, она ходила по комнате, приводила все в порядок и ни разу не взглянула на меня.

Выслушав ее ответ, я сник, примирился и скромно встал у двери, делая вид, будто мне даже приятно предоставить на одну ночь мою комнату другому; я старался придать своему лицу приятное выражение, чтобы не рассердить ее и не очутиться на улице. Я сказал:

— Ну да как-нибудь устроимся!

И замолчал.

Она продолжала ходить по комнате.

— Впрочем, я должна заметить, что мне никак нельзя сдавать комнаты и кормить людей в кредит, — сказала она. — Я это вам уже говорила.

— Да, уважаемая, но мне нужно всего два дня, чтобы окончить статью, — ответил я. — И тогда я с удовольствием уплачу вам лишних пять крон, с огромным удовольствием.

Но я видел, что она совсем в это не верит. А я не мог гордо оскорбиться и покинуть ее дом; я знал, что ждет меня, если я уйду отсюда.

Прошло два дня.

Я по-прежнему ютился вместе с хозяйской семьей, потому что в прихожей, где не было печки, стоял холод; спал я на полу. Приезжий моряк продолжал жить в моей комнате и, по-видимому, не собирался скоро уезжать. К обеду пришла хозяйка и сказала, что он заплатил ей вперед за целый месяц; впрочем, он должен до отъезда сдать экзамен на штурмана, поэтому и остановился здесь. Слушая это, я понял, что моя комната потеряна для меня навсегда.

Я вышел в прихожую и сел на скамью; если мне суждено вообще написать что-нибудь, то это возможно только здесь, в тишине. Мое иносказательное сочинение уже не занимало меня больше; в моей голове появилась новая идея, великолепный план: я решил сочинить одноактную пьесу «Знаменье креста», из средневековой жизни. Я уже придумал подходящую героиню — великолепный образ фанатичной блудницы, согрешившей в храме не из слабости или из страсти, а из ненависти к Богу, согрешившей у самого алтаря, сунув покров под голову, из дерзновенного презрения к Богу. Ха-ха!

Время шло, и этот образ все сильней завладевал моим воображением. В конце концов она уже стояла перед моими глазами как живая и была как раз такова, как мне требовалось. Тело блудницы должно было иметь отталкивающие изъяны: высокая, очень худая и слегка смуглая, а когда ходит, ее длинные ноги должны просвечивать сквозь юбку. Кроме того, у нее еще должны были быть большие, оттопыренные уши. Одним словом, с виду она невзрачна, отталкивающа. Меня в ней интересовало ее поразительное бесстыдство, отчаянная безоглядность предумышленного греха, который она совершила. Право, она очень занимала меня; мой мозг как бы вздулся от этого странного уродства. И я писал пьесу целых два часа подряд.

Исписав десять или, может быть, двенадцать страниц, часто с большим трудом, с долгими перерывами, перечеркивая и разрывая листы, я почувствовал усталость, я совсем окоченел от холода, встал и вышел на улицу. Кроме всего прочего, последние полчаса хозяйский ребенок плакал без умолку и мешал мне, так что больше я все равно ничего не мог бы написать. Поэтому я решил прогуляться подальше по дороге в сторону Драммена и не возвращаться домой до самого вечера, но, гуляя, я все время думал о своей драме. А во время прогулки со мной случилось вот что.

Я остановился у сапожной мастерской в дальнем конце улицы Карла-Юхана, почти у самой Вокзальной площади. Бог знает почему я остановился именно у этой сапожной мастерской! Я смотрел в окно, хотя вовсе не думал, что у меня нет сапог;

мысли мои были далеко, на другом конце света. Позади меня проходили люди, о чем-то разговаривали, но я не слышал их слов. И вдруг чей-то голос громко произнес.

— Привет!

Это был мой знакомый по прозвищу Красная Девица.

— Привет, — отозвался я рассеянно.

Я не сразу узнал Девицу.

— Ну, как дела? — спросил он.

— Да ничего... все по-прежнему.

— Послушайте, скажите-ка, вы, стало быть, все еще у Кристи?

— У Кристи?

— Помнится, вы как-то говорили, что служите счетоводом у оптовика Кристи?

— Ах да! Но я уже ушел от него. У этого человека невозможно работать, и мы вскоре расстались.

— Но почему же?

— Однажды я сделал неправильную запись, и вот...

— Фальшивую?

Фальшивую! Девица откровенно спрашивал, не совершил ли я подлога. Он спросил это быстро и с явным любопытством. Я смотрел на него, чувствуя себя глубоко оскорбленным, и не отвечал.

— Ах Господи, да ведь это со всяким может случиться! — сказал он, пытаясь меня утешить.

Он все еще думал, что я совершил подлог.

— Что именно может со всяким случиться? — спросил я. — Вы хотите сказать, что всякий может сделать фальшивую запись? Послушайте, милейший, вы в самом деле думаете, что я способен на такую низость? Это я-то?

— Но, мой дорогой, мне кажется, вы сами ясно сказали...

Я вскинул голову, отвернулся от Девицы и смотрел в сторону. Вдруг я увидел красное платье, женщина в красном платье шла рядом с каким-то мужчиной. Если б я не разговаривал с Девицей, если б я не был уязвлен его низменным подозрением, не вскинул голову, оскорбленный, не отвернулся от него, это красное платье, пожалуй, ускользнуло бы от моего внима-

ния. Какое, в сущности, мне до него дело? Что мне в нем, будь это даже платье самой камер-фрейлины Нагель?

А Девица все говорил, стараясь исправить свою оплошность; я его совсем не слушал, я все время смотрел на красное платье, приближавшееся ко мне. И в груди у меня встрепенулось волнение, словно в нее вонзилась тонкая игла; я прошептал мысленно, не шевеля губами:

— Илаяли!

Теперь и Девица обернулся, увидел проходящих даму и господина, поклонился им и проводил их глазами. Я не поклонился или, может быть, поклонился, не заметив этого. Красное платье удалялось по улице Карла-Юхана и наконец исчезло.

— Кто это с ней? — спросил Девица.

— Герцог, разве вы не видели? Это у него прозвище такое — Герцог. А ее вы знаете?

— Да, немного. А вы?

— Нет, — отвечал я.

— Мне показалось, что вы ей низко поклонились.

— Поклонился?

— Разве вы не поклонились? — сказал Девица. — Очень странно! Ведь она все время только на вас и смотрела.

— Откуда вы ее знаете? — спросил я.

Он, в сущности, ее не знал. Все случилось как-то осенним вечером. Было уже поздно, трое молодых людей только что вышли из «Гранда», они были навеселе, встретили эту женщину одну возле Каммермейера и заговорили с ней. Вначале она не хотела разговаривать; но один из весельчаков, которому море было по колено, прямо попросил у нее позволения проводить ее до дому. Он не тронет на ней, как говорится, ни единого волоса, просто доведет ее до подъезда и тогда будет уверен, что она действительно вернулась домой, а иначе ему не будет покоя всю ночь. Они шли, и он говорил без умолку, сыпал всякими небылицами, назвался Вольдемаром Аттердагом, выдал себя за фотографа. В конце концов эти веселые выдумки ее рассмешили, а он нисколько не был смущен ее холодностью, и в конце концов она позволила ему себя проводить.

— Ну а что же было дальше? — спросил я, и у меня перехватило дыхание.

— Дальше? Ах, не будем об этом! Все-таки она женщина.

На мгновение мы оба замолчали.

— Черт возьми, так это Герцог! Вот он, значит, каков! — добавил Девица задумчиво. — Раз она пошла с этим господином, я немного за нее дам.

А я все молчал. Ну разумеется, Герцог ее завлечет! Вот и прекрасно! Мне-то что за печаль? Я пожелал счастливого пути этой прелестнице, счастливого ей пути! И попытался утешить себя, думая о ней дурно, с наслаждением втоптал ее в грязь. Меня раздражало лишь, что я снял перед этой парочкой шляпу, если только это действительно правда. Зачем мне было снимать шляпу перед такими людьми? А о ней я больше не жалел, нисколько не жалел; она уже не была красавицей, подурнела, — черт возьми, до чего же она увяла! Вполне возможно, что она смотрела только на меня; тут нет ничего удивительного; быть может, в ней пробудилось раскаянье. Но только из-за этого я не упаду к ее ногам, не стану приветствовать ее как безумный, в особенности раз она так подозрительно увяла за последнее время. Пускай Герцог берет ее себе, на здоровье! Может быть, настанет день, когда я гордо пройду мимо нее, даже не взглянув в ее сторону. Может случиться, я позволю себе сделать это даже в том случае, если она станет смотреть на меня в упор и будет в красном платье. Очень даже может случиться! Ха-ха, вот будет торжество! Насколько я себя знаю, я, пожалуй, могу закончить пьесу еще нынче ночью, и дней через восемь эта фрекен будет стоять предо мной на коленях. Со всеми своими прелестями, ха-ха, со всеми прелестями!..

— Прощайте! — сказал я отрывисто.

Но Девица удержал меня. Он спросил:

— А чем же вы заняты теперь?

— Чем занят? Пишу, разумеется. Чем же мне еще заниматься? Ведь я только этим и живу. В настоящее время я работаю над большой драмой — «Знаменье креста», из средневековой жизни.

— Черт побери! — с искренним восхищением сказал Девица. — Да ведь если вы это напишете, тогда...

— Меня это не очень заботит! — ответил я. — Но дней через восемь, надеюсь, вы обо мне услышите.

И я ушел.

Вернувшись домой, я тотчас же обратился к хозяйке и попросил лампу. Мне была очень нужна лампа; я собирался не ложиться в ту ночь, пьеса бушевала у меня в голове, и я твердо рассчитывал написать к утру порядочную часть. Я изложил хозяйке свою просьбу очень смиренно, так как заметил у нее на лице недовольство тем, что я снова вернулся. Я почти кончил свою замечательную пьесу, сказал я, остается дописать всего лишь две сцены. И я намекнул, что пьесу может поставить какой-нибудь театр еще прежде, чем я сам об этом попрошу. И если она окажет мне такое одолжение, тогда я...

Но у хозяйки не было лампы. Она долго думала, но никак не могла вспомнить, чтобы у нее где-нибудь была лампа. Если я готов подождать до двенадцати, тогда, пожалуй, можно будет взять лампу из кухни. А почему я не куплю себе свечи?

Я умолк. У меня не было десяти эре на свечу, и она это отлично знала. Увы, мои планы опять расстроились! Стряпуха сидела с нами, она сидела в комнате, на кухне ее не было, стало быть, лампу даже не зажигали. Я подумал об этом, но не сказал больше ничего.

Вдруг стряпуха говорит:

— Я, кажись, недавно видала, как вы выходили из дворца? Вы что же, были на обеде? — И она громко засмеялась над собственной шуткой.

Я сел, достал свои бумаги и хотел попытаться работать, сидя здесь. Я держал бумагу у себя на коленях и пристально смотрел в пол, чтобы не отвлекаться; но это не помогало, ничто не помогало мне, я не мог выжать из себя ни строчки. Вошли две хозяйские девочки и стали шумно играть с кошкой, а кошка эта была на удивление большая и почти без шерсти; когда девочки дули ей в глаза, в них появлялись слезы и стекали по носу. Хозяин и еще двое гостей играли за столом в карты. Только хозяйка, как

всегда, занималась делом — она шила. Она отлично видела, что я не могу писать в таком шуме, но совсем уже не считалась со мной; она даже улыбнулась, когда стряпуха спросила, не на обед ли меня пригласили во дворец. Все в доме относились ко мне враждебно; казалось, после того как я вынужден был с позором уступить свою комнату другому, это дало всем в доме право обращаться со мной как с посторонним. И даже стряпуха, эта маленькая черноглазая дрянь, у которой был низкий лоб и совсем плоская грудь, насмехалась надо мной по вечерам, когда я брал бутерброды. Она часто спрашивала меня, где я обычно обедаю, что-то она никогда не видела, чтоб я ковырял в зубах, выходя из «Гранда». Было ясно, что она знает о моем бедственном положении и ей доставляет удовольствие напоминать мне об этом.

Все эти мысли лезут мне в голову, и я не в силах придумать ни одной реплики для своей пьесы. Мои попытки тщетны; у меня начинает гудеть в голове, и я наконец вынужден бросить работу. Я кладу листки в карман и поднимаю глаза. Стряпуха сидит прямо передо мной, я смотрю на нее, смотрю на ее узкую спину и покатые плечи, которые еще даже не окрепли как следует. Зачем ей нападать на меня? Пусть бы я вышел даже из дворца, что из этого? Ей-то что за печаль? В последние дни она нагло насмехалась надо мной, когда я спотыкался на лестнице или, зацепившись за гвоздь, разрывал куртку. Не далее как вчера она подобрала мои черновики, которые я выбросил в прихожую, украла эти наброски к моей пьесе и потом читала их в комнате во всеуслышание, вышучивая меня и осыпая издевками. Я ни разу не обидел ее и, помнится, ни разу не просил ее оказать мне какую-нибудь услугу. Напротив, по вечерам я сам стелил себе постель на полу, не желая ее утруждать. Она смеялась надо мной еще и потому, что у меня выпадали волосы. По утрам в умывальнике плавали волосы, и это ее смешило. Башмаки у меня прохудились, в особенности тот, что попал под хлебный фургон, она и над этим насмехалась. «Вот так башмаки, прости Господи! — говорила она. — Глядите, каждый что твоя собачья конура!» Да, мои башмаки и в самом деле были изношены; но я не мог покамест обзавестись другими.

Я вспоминаю все это и удивляюсь открытой враждебности со стороны стряпухи, а девочки начинают тем временем дразнить старика, лежащего на кровати. Они прыгали вокруг него и были целиком поглощены этим занятием. Потом они стали щекотать у него в ушах соломинками. Поначалу я не вмешивался. Старик и пальцем не шевельнул, чтобы от них избавиться; он лишь смотрел на своих мучительниц яростным взглядом, когда они его щекотали, да мотал головой, чтобы освободиться от торчавших из ушей соломинок.

Это зрелище становилось для меня невыносимым, но я не мог отвести глаз. Отец иногда поднимал голову от карт, смеялся выходкам девочек и даже обращал на это внимание своих партнеров. Почему старик не пошевельнется? Почему не отшвырнет девочек? Я сделал шаг к постели.

— Пусть их! Пусть! У него паралич! — крикнул хозяин.

И я, испугавшись его неудовольствия, боясь оказаться на ночь глядя за дверьми, молча вернулся на прежнее место и сидел смирнехонько. Зачем мне рисковать своим ночлегом и бутербродами, вмешиваясь в семейные дрязги? Нечего стараться ради этого полумертвого старика. И я почувствовал, что стал тверд как кремень.

Девчонки продолжали донимать старика. Их забавляло, что он не может шевельнуть головой, и они совали ему соломины в глаза, в ноздри. Он смотрел на них с ненавистью, но не способен был ни вымолвить слово, ни двинуть руками. Вдруг он приподнял все свое туловище и плюнул одной из девочек прямо в лицо; потом приподнялся еще и плюнул в другую, но не попал. Я видел, как хозяин бросил карты и подскочил к кровати. Он весь побагровел и крикнул:

— Как ты смеешь плевать людям в глаза, старый пес!

— Но ведь они же не давали ему покоя! — воскликнул я, потеряв терпение.

Но я все время боялся, как бы меня не выгнали, и крикнул не очень возмущенно; я только дрожал всем телом.

Хозяин обернулся ко мне.

— Хорош гусь! Чего вы суетесь не в свои дела, черт вас возьми? Заткните глотку, слышите? Так-то лучше будет.

Но тут подняла голос хозяйка, и весь дом огласился бранью.

— Да вы все, никак, взбесились! — орала она. — Сидите оба смирно, а не то вышвырну вон, понятно? Ха, мало того что я пригрела эту гадину и кормила ее, изволь еще терпеть ад в доме, черт ему рад! Я этого не потерплю, слышите? Цыц! Замолчите, дряни, да вытрите носы, не то я сама примусь за вас. Слыханное ли дело! Заявляются прямо с улицы, без единого эре, даже мазь от вшей купить не на что, да подымают шум среди ночи, вступают в перекоры. Я этого не допущу, и пускай чужие катятся вон. Чтобы в доме было тихо. Такова моя воля!

Я ничего не ответил, даже рта не раскрыл, только снова сел у двери и слушал крики. Кричали все, даже дети и стряпуха, которая непременно желала объяснить, с чего началась ссора. Если б я молчал, то все бы сразу и кончилось, мне бы только придержать язык, и не дошло бы до крайности. А разве я не придержал язык? Ведь зима была на дворе, и дело шло к ночи. Мог ли я стукнуть кулаком по столу и постоять за себя? Нет уж, без глупостей! Поэтому я сидел смирно и, хотя мне почти отказали от квартиры, не ушел от хозяев. Я не сводил глаз со стены, где висела олеография с изображением Спасителя, и упорно отмалчивался, невзирая на все выпады хозяйки.

— Если вам угодно избавиться от меня, мадам, то нет ничего проще, — сказал один из игроков.

Он встал. Второй игрок встал тоже.

— Да нет же, речь не о тебе. И не о тебе, — заверила их хозяйка. — Уж ежели на то пошло, я могу сказать, о ком разговор. Ежели на то пошло. Тогда станет ясно, кого это касается...

Она говорила отрывисто, наносила мне удары с короткими паузами и нарочито медлила, давая мне понять, что она разумела меня. «Спокойствие! — сказал я себе. — Только спокойствие!» Она не выгоняла меня, не говорила этого открыто, в ясных словах. Только бы мне не выказать высокомерия, надо поступиться гордостью, сейчас не время! Держи ухо востро!.. А у Христа на олеографии такие странные зеленые волосы... Они

очень похожи на зеленую травку, или, выражаясь с изящной точностью, на густую траву поемных лугов. До чего же тонко я это подметил — именно на густую траву поемных лугов... И тотчас в голове у меня одна мысль тянет за собой другую: зеленая трава заставляет меня вспоминать те места в Писании, где говорится, что дни человека, как трава, и вся трава зеленая сгорела, потом я начинаю думать о Судном дне, когда все погибнет в пламени, у меня мелькает мысль о землетрясении в Лиссабоне, и я вижу перед собой латунную испанскую плевательницу и письменный прибор черного дерева, какой был у Илаяли. Ах, все — тлен! Вся трава зеленая сгорела! Удел всего — гроб в четыре доски и саван от йомфру Андерсен, в подворотне направо...

Все это промелькнуло у меня в голове в то отчаянное мгновение, когда хозяйка собиралась выгнать меня за дверь.

— Он даже не слушает! — крикнула она. — Говорю вам, покиньте мой дом, понятно? Накажи меня Бог, да этот малый сошел с ума! Убирайтесь на все четыре стороны, вот и весь сказ.

Я посмотрел на дверь, но не с тем, чтобы уйти, вовсе не с тем, чтобы уйти; в голову мне пришла предерзкая мысль; будь в дверях ключ, я повернул бы его, заперся бы здесь вместе со всеми, только бы остаться. Мысль, что сейчас я снова окажусь на улице, приводила меня в ужас. Но в дверях не было ключа, и я встал; надеяться было не на что.

И вдруг сквозь крик хозяйки слышится голос ее мужа. Я останавливаюсь в изумлении. Человек, только что грозивший мне, теперь неожиданно принимает мою сторону. Он говорит:

— Не знаешь разве, что нельзя выгонять людей из дому в ночную пору? Это карается законом.

Я не знал, карается ли это законом, едва ли так могло быть, хотя, конечно, все возможно, но хозяйка сразу опомнилась, утихла и оставила меня в покое. Она даже предложила мне на ужин два бутерброда, но я их не взял, — из благодарности к ее мужу я не взял их, объяснив, что уже поел в городе.

Когда я наконец пошел в прихожую и стал укладываться, хозяйка последовала за мной, остановилась на пороге и громко сказала, застив свет своим чудовищно распухшим животом:

— Но вы ночуете здесь в последний раз, так и знайте.

— Ну что ж! — ответил я.

Завтра мне, пожалуй, удастся найти ночлег, если хорошенько постараться. Где-нибудь да найдется убежище. А покуда я радовался, что не остался без крова сегодня ночью.

Проснулся я в пять или в шесть часов утра. Еще не рассвело, но все равно я тотчас же встал; из-за холода я спал в одежде, и мне не нужно было одеваться. Выпив воды, я тихонько отворил дверь и вышел тихонько, чтобы избежать встречи с хозяйкой.

На улице не было никого, лишь иногда попадался полицейский, который дежурил всю ночь; вскоре появились два фонарщика и стали гасить газовые фонари. Я бродил без цели, вышел на Церковную улицу и побрел к крепости. Хотелось спать, я продрог, спина и ноги у меня ныли от долгой ходьбы, очень хотелось есть, и я, присев на скамейку, задремал. Три недели я питался бутербродами, которые хозяйка давала мне утром и вечером; теперь вот уже сутки я ничего не ел, голод снова терзал меня, и нужно было поскорей искать какой-нибудь выход. С этой мыслью я опять задремал, сидя на скамейке...

Меня разбудили чьи-то голоса, я огляделся и увидел, что уже совсем светло и город проснулся. Я встал и пошел прочь. Над холмами всходило солнце, небо приобрело нежный светлый оттенок, погожее утро после стольких хмурых недель вселило в меня радость, я позабыл все свои невзгоды, и теперь мне казалось, что много раз бывало гораздо хуже. Я хлопнул себя по груди и тихонько запел песенку. Мой голос звучал так печально, так слабо, что это растрогало меня до слез. Кроме того, чудесный день, светлое, сияющее небо действовали на меня слишком сильно, и я заплакал навзрыд.

— Что с вами? — спросил какой-то прохожий.

Я поспешил прочь, не отвечая и прикрыв лицо руками.

Я пришел на пристань. С большой барки под русским флагом выгружали уголь; я стал разбирать название: «Копегоро». Долгое время развлекался тем, что наблюдал за этим иностранным судном. Очевидно, оно уже почти разгрузилось, и, несмот-

ря на балласт, шкала на борту показывала уже девять футов над водой, и когда тяжелые сапоги грузчиков стучали по палубе, судно отзывалось протяжным гулом.

Солнце, свет, соленое дыхание моря — вся эта интересная и веселая жизнь возбуждала меня, и кровь бодрей струилась в моих жилах. Вдруг мне пришло в голову, что я, пожалуй, мог бы прямо здесь сочинить несколько сцен для своей пьесы. И я вынул бумажки из кармана.

Я стал придумывать слова, которые хотел вложить в уста монаха, — слова, пылающие яростной нетерпимостью; но мне это не удавалось. Тогда я оставил монаха и стал сочинять речь, с которой судья обращается к осквернительнице храма, написал полстраницы и бросил. Настоящего пафоса не получалось. Люди вокруг меня трудились, гремели лебедки, скрипели вороты, звякали цепи, и все это никак не отвечало мрачной, затхлой атмосфере средневековья, которой была проникнута моя пьеса. Собрав бумажки, я встал.

Но все же я сдвинулся с мертвой точки и был совершенно уверен, что, если ничего не случится, дело пойдет на лад. Только бы найти какое-нибудь пристанище! При этой мысли я остановился посреди улицы, но не мог вспомнить ни одного спокойного местечка во всем городе, где мне можно было бы пристроиться на время. Не было другого выхода, кроме как вернуться в «Пансионат для приезжих». От одной этой мысли меня начало корчить, я твердил себе, что так не годится, но плелся все вперед, туда, куда путь мне был заказан. Конечно, это презренно, сознавался я себе, это унизительно; но ничто не действовало. Правда, я человек не гордый, я должен прямо сказать, что на свете нет существа смиренней меня. И я продолжал путь.

У двери я остановился и еще раз все взвесил. Будь что будет, надо рискнуть! Разве все это не презренная суета? Во-первых, мне нужен приют всего на несколько часов, а во-вторых, накажи меня Бог, если я еще когда-нибудь переступлю порог этого дома. Я вошел во двор. Шагая по неровным булыжникам, я все еще колебался и чуть не повернул назад от самых дверей. Я стиснул зубы. Прочь, неуместная гордость! В худшем случае

я принесу извинения, скажу, что пришел проститься, как того требует вежливость, и условиться, когда я отдам должок за квартиру. Я открыл дверь прихожей.

Войдя, я застыл на месте. Прямо передо мной, в двух шагах, стоял сам хозяин, без шляпы и без куртки, и подглядывал в замочную скважину за тем, что происходило в комнате. Он сделал мне знак рукою, чтоб я стоял тихо, и снова стал подглядывать в замочную скважину. При этом он смеялся.

— Подите сюда! — сказал он шепотом.

Я подошел на цыпочках.

— Смотрите! — сказал он, дрожа от безмолвного смеха. — Загляните-ка туда! Хи-хи! Видите, лежат! Взгляните на старика! Вам видно старика?

В комнате, на кровати, прямо против меня, под олеографией, изображавшей Христа, я увидел двоих — хозяйку и приезжего штурмана; на темном одеяле белели ее ноги. А на кровати у другой стены сидел ее отец, разбитый параличом, и смотрел, опираясь на руки, скорчившись, как всегда, не в силах шевельнуться...

Я повернулся к хозяину. Он с трудом сдерживался, чтобы не расхохотаться. Двумя пальцами он зажимал себе нос.

— Видели старика? — шепнул он. — О Господи, видели вы старика? Сидит и смотрит на них! — И он снова нагнулся к замочной скважине.

Я отошел к окну и сел. Это жестокое зрелище совершенно расстроило мои мысли, уничтожило мое вдохновение. Но какое мне дело до всего этого? Если сам муж мирится с этим и даже потешается, то у меня нет ни малейшего основания негодовать. Что же до старика, то о нем нечего беспокоиться. Он, верно, видел это уже не раз; быть может, он попросту спал сидя или даже уже умер, бог его знает. Я ничуть не удивился бы, если б узнал, что он мертв. И моя совесть успокоилась.

Я снова достал рукопись и попытался отогнать все постороннее. Фраза в речи судьи была оборвана на половине: «Так велят мне Бог и закон, так велит мне совет мудрых мужей, так велит мне моя совесть...» Я смотрел в окно, придумывая, что же велит ему совесть. Из комнаты донесся негромкий шум. Ну, это

меня не касалось, нисколько не касалось; а старик, быть может, умер, он умер сегодня в четыре утра; стало быть, мне совершенно безразлично, что там за шум. Но зачем же я, черт возьми, думаю об этом? Спокойствие!

«Так велит мне моя совесть...»

Но все словно были в заговоре против меня. Хозяин, подглядывая в замочную скважину, не мог удержаться, время от времени я слышал его подавленный смех и видел, как он весь трясется; и еще меня отвлекало то, что происходило на улице. По другую ее сторону играет на солнце маленький мальчик; спокойно и беспечно он связывает полоски бумаги. И вдруг он вскакивает с сердитым криком: пятясь, он выходит на середину улицы и глядит на рыжебородого человека, который высунулся из окна во втором этаже и плюнул ему на голову. Малыш плачет от злобы и беспомощно ругается, а рыжебородый хохочет в окне: так проходит минут пять. Я отворачиваюсь, чтобы не видеть слез мальчика.

«Так велит мне моя совесть...»

Я никак не мог сдвинуться с места. Наконец все начало путаться. Мне казалось, что даже написанное прежде никуда не годится, что весь мой замысел — сплошной вздор. Нельзя говорить о совести в средние века, совесть впервые изобрел учитель танцев Шекспир, следовательно, вся речь судьи неправильна. Стало быть, мои бумажки можно выбросить? Я снова пробежал их, и мои сомнения тотчас же разрешились; я нашел великолепные места, порядочные куски, обладающие исключительными достоинствами. И в моей груди снова всколыхнулось пьянящее желание взяться за дело и кончить пьесу.

Я встал и пошел к двери, не обращая внимания на хозяина, который махал руками, показывая, чтобы я не шумел. Исполненный непоколебимой решимости, я вышел из прихожей, поднялся по лестнице на второй этаж и вошел в свою прежнюю комнату. Ведь штурмана там не было, кто же мог мне помешать побыть здесь немного? Я не трону его вещей, не воспользуюсь даже столом, а просто посижу на стуле у двери, с меня и этого довольно. Я быстро раскладываю бумаги у себя на коленях.

Несколько минут все идет как по маслу. В моей голове одна за другой возникают отделанные в совершенстве фразы, и я пишу не отрываясь. Я заполняю одну страницу за другой, стремительно продвигаюсь вперед, иногда тихонько вскрикиваю, восхищаясь своим порывом, и почти совершенно забываюсь. Я слышу в эти мгновения лишь собственные радостные возгласы. И вот мне приходит в голову счастливая мысль о церковном колоколе, его звон должен прозвучать в одном месте моей пьесы. Все идет великолепно.

Вдруг я слышу шаги на лестнице. Я дрожу и едва сдерживаюсь, я насторожен, робок, готов ко всему, меня все пугает; мои нервы взвинчены от голода; я взволнованно прислушиваюсь, зажав в руке карандаш, и не могу больше написать ни слова. Дверь отворяется; входят двое, которых я недавно видел внизу, в замочную скважину.

Не успеваю я извиниться за свое вторжение, как хозяйка кричит, удивленная, словно с луны свалилась:

— Господи Боже ты мой, да он опять здесь!

— Простите! — говорю я и хочу кое-что добавить к этому, но мне не дают продолжать.

— Убирайтесь вон, не то, видит Бог, я позову полицию!

Я встал.

— Но ведь я хотел только проститься с вами, — бормочу я. — И мне пришлось подождать. Я ничего не тронул, я просто посидел здесь на стуле...

— Это не беда, — говорит штурман. — Какого дьявола? Оставьте его!

Когда я спустился с лестницы, мною вдруг овладела бешеная ненависть к толстой, отяжелевшей женщине, которая шла за мной по пятам, торопясь меня выпроводить; я застыл на миг в неподвижности, и на языке у меня вертелись самые ужасные ругательства, которые я готов был швырнуть ей в лицо. Но я вовремя опомнился и смолчал, смолчал из простой благодарности к незнакомому человеку, который шел за ней и мог услышать это. Хозяйка наседала на меня сзади и беспрерывно ругалась, отчего ярость моя росла с каждым шагом.

Мы вышли на двор, я шел медленно, все еще колеблясь, стоит ли связываться с хозяйкой. Бешенство душило меня, самые кровожадные мысли лезли в голову, я готов был убить ее на месте, ударить ногой в живот. В воротах я сталкиваюсь с рассыльным, он кланяется мне, но я не отвечаю; он обращается к хозяйке, и я слышу, что он справляется обо мне; но я не оборачиваюсь.

Едва я выхожу за ворота, как рассыльный нагоняет меня, снова кланяется и просит обождать. Он передает мне письмо. Я машинально вскрываю конверт, и оттуда выпадает бумажка в десять крон, но письма никакого нет.

Я смотрю на рассыльного и спрашиваю:

— Что это за шутки? От кого письмо?

— Право, не знаю, — отвечает он. — Какая-то дама велела снести это вам.

Я остолбенел. Рассыльный уходит своей дорогой. Тогда я кладу бумажку обратно, комкаю конверт, поворачиваю назад, подхожу к хозяйке, которая все еще глядит на меня из дверей, и швыряю ей конверт в лицо. Я ничего не говорю, не произношу ни звука, только, обернувшись через плечо, я вижу, как она разворачивает скомканную бумажку...

Вот это — достойное поведение! Никаких разговоров, ни слова этой дряни, преспокойно скомкать крупную ассигнацию и швырнуть в лицо своим врагам. Вот это называется вести себя с достоинством! Поделом им, скотам!..

Когда я вышел на угол Вокзальной площади и Томтегатен, улица вдруг закружилась перед моими глазами, в голове у меня раздался гул, и я, едва не упав, прислонился к стене. Я никак не мог двинуться дальше, не мог даже выпрямиться и оставался скорченный; как я привалился к стене, так и остался, чувствуя, что начинаю терять сознание. Это изнеможение лишь усиливало мою безумную ярость, и я топал ногами. Чего я только не делал, чтобы прийти в себя, — стискивал зубы, морщил лоб, ворочал глазами, и это как будто помогло. Мои мысли прояснились, я понял, что близок к гибели. Я оттолкнулся руками от стены; улица по-прежнему плясала вокруг меня. Я стал всхли-

пывать от бешенства, изо всех сил боролся с этой напастью, отважно удерживаясь на ногах: я не хотел падать, я хотел умереть стоя. Мимо проезжает повозка. Я вижу, что в повозке картофель, но в бешенстве, из упрямства, я вбиваю себе в голову, что это не картофель, а кочны капусты, и я с ожесточением клянусь, что это — капуста. Я отлично слышал собственный голос и сознательно продолжал божиться, уверяя, что эта нелепость — истинная правда, ради нелепого удовлетворения от ложной клятвы. Опьяненный этой чудовищной ложью, я поднял три пальца и дрожащими губами клялся во имя Отца, и Сына, и Святого Духа, что там была капуста.

Время шло. Я плюхнулся на ближайшую приступку, утер пот со лба и шеи, глубоко вздохнул, чтобы успокоиться. Солнце зашло, день клонился к вечеру. Я снова начал размышлять о своем положении; голод немилосердно мучил меня, а через несколько часов снова настанет ночь; необходимо придумать что-нибудь, пока еще есть время. Мысль моя снова устремилась к меблированным комнатам, откуда меня выгнали; я вовсе не хотел возвращаться туда, но все-таки не мог отогнать эту мысль. В сущности, хозяйка была совершенно права, когда вышвырнула меня. Как могу я ожидать, что мне дадут приют, раз я не платил денег? А ведь меня к тому же еще кормили; даже вчера вечером, когда хозяйка на меня рассердилась, она предложила мне два бутерброда, — предложила по своей доброте, зная, как я в них нуждаюсь. Значит, мне грех жаловаться, и, сидя на приступке, я начал смиренно умолять ее простить мое поведение. В особенности горько я раскаивался в том, что оказался неблагодарным и швырнул деньги ей в лицо...

Десять крон! Я вдруг даже присвистнул. От кого было письмо, которое принес рассыльный? Только в этот миг я сознательно задумался об этом и сразу догадался, в чем дело. Я скорчился от скорби и стыда, хрипло прошептал несколько раз: «Илаяли» и покачал головой. Не сам ли я, не далее как вчера вечером, решил гордо пройти мимо, если встречу ее, и выказать к ней глубочайшее равнодушие? А вместо этого я лишь возбудил в ней жалость и выманил у нее лепту. Нет, нет, нет, мое униже-

ние беспредельно! Даже в ее глазах я не сумел остаться порядочным человеком; я погрузился по колена, по пояс, погряз в позоре и больше уже не в силах был выбраться, нет, никогда! Это предел! Принять десять крон, словно милостыню, и не иметь возможности швырнуть их обратно таинственному благодетелю, вцепиться в деньги обеими руками и не вернуть, уплатить ими за квартиру, невзирая на глубочайшее отвращение!..

Нельзя ли как-нибудь получить эти десять крон обратно? Идти к хозяйке и требовать возвращения денег было бесполезно; надо найти другой выход, стоит только подумать, стоит только сделать над собой усилие. Видит Бог, тут мало было просто думать о том, как добыть эти десять крон, тут нужно было думать всем существом. И я принялся за дело всерьез.

Вероятно, было уже около четырех часов, часа через два я мог бы, пожалуй, пойти к директору театра, будь моя пьеса готова. Я вынимаю рукопись и решаюсь во что бы то ни стало написать несколько последних сцен; я думаю, потею, перечитываю все сначала, но не подвигаюсь ни на волос. «Довольно глупить, — говорю я себе. — Перестань упрямиться!» И я принимаюсь сочинять, как попало, записываю все, что приходит в голову, лишь бы поскорей кончить и отделаться. Я пытаюсь внушить себе, что меня вновь осенило вдохновение, я лгу, грубо обманываю себя и пишу дальше, точно мне не нужно подыскивать слов. «Прекрасно! Великолепная находка! — то и дело шепчу я. — Только записывай!»

В конце концов последние фразы начали казаться мне подозрительными; они так резко отличались от первых сцен; кроме того, слова монаха и не пахли средневековьем. Я перегрызаю карандаш, вскакиваю, разрываю рукопись, рву в клочки каждый листок, бросаю шляпу на землю и топчу ее. «Я погиб! — шепчу я про себя. — Милостивые государыни и милостивые государи, я погиб!» Кроме этих слов, я ничего не могу вымолвить и лишь продолжаю топтать свою шляпу.

В нескольких шагах от меня стоит полицейский и следит за мной; он стоит посреди улицы и не спускает с меня глаз. Когда я поднимаю голову, наши глаза встречаются; быть может, он

уже давно так стоит и не спускает с меня глаз. Я подбираю свою шляпу, надеваю ее и подхожу к полицейскому.

— Вы не знаете, сколько времени? — спрашиваю я.

Выждав немного, он достает часы и при этом все смотрит на меня.

— Четыре часа, — отвечает он.

— Верно! — говорю я. — Именно четыре, совершенно справедливо. Я вижу, вы свое дело знаете, и буду иметь вас в виду.

И я отошел. Он остолбенел от удивления и, разинув рот, смотрел мне вслед, все еще держа часы в руке. Подходя к «Ройялю», я обернулся и посмотрел назад: он все еще стоял на месте и провожал меня глазами.

Хе-хе, вот так-то надо обращаться со скотами! Без всякой совести! Это внушает скотам уважение, заставляет их трепетать... Я был очень доволен собой и снова принялся напевать. В сильном волнении, совершенно забыв о боли, не испытывая даже никаких неприятных ощущений, исполненный удивительной легкости, я прошел через всю площадь, свернул у рынка к храму Спасителя и сел на скамейку.

В конце концов не все ли равно, верну я эти десять крон или нет! Раз их прислали мне, стало быть, они мои, и совершенно безразлично, от кого эти деньги. Было велено передать их именно мне, и поэтому пришлось взять; не имело смысла оставлять их рассыльному. И глупо было бы теперь вернуть другие десять крон, совсем не те, что я получил. А если так, тут уж ничего не поделаешь.

Я постарался сосредоточить все свое внимание на людной, оживленной площади и думать о безразличных вещах; но это мне плохо удавалось, десять крон не шли у меня из головы. В конце концов я пришел в ярость и крепко сжал кулаки. «Если бы я отослал деньги назад, зто оскорбило бы ее, — сказал я себе. — Так в чем же дело?» Я всегда был крайне надменным, отказывался от подачек, лишь высокомерно качал головой и говорил: «Нет уж, благодарю покорно». И вот к чему это привело: я снова очутился на улице. Я не остался в своем теплом, уютном жилище, хотя имел к этому полнейшую возможность; меня обуяла гордыня, при пер-

вом же слове, которое мне не понравилось, я взвился, никому не дал спуску, я расшвыривал бумажки по десять крон направо и налево, а потом ушел куда глаза глядят... Я сам себя наказал, покинул свое жилище и вот снова попал в тяжкое положение.

Впрочем, к чертям собачьим! Я не просил этих десяти крон, и они недолго были у меня в руках, я тотчас же их отдал, уплатил их совершенно чужим людям, которых никогда больше не увижу. Такой уж я человек, когда надо, отдам все до последнего! И если я не ошибаюсь в Илаяли, она тоже не раскаивается, что послала мне деньги, к чему же тогда весь этот шум? Самое меньшее, что она могла сделать, это время от времени посылать мне десять крон. Ведь бедная девушка влюблена в меня, быть может, даже безнадежно влюблена... Я долго тешился этой мыслью. Не могло быть ни малейшего сомнения, что она влюблена в меня, бедняжка!..

Пять часов. Нервный подъем кончился, голова моя снова как бы опустела, наполнилась гулом. Я смотрел в пространство остановившимся взглядом и видел перед собою аптеку. Голод мучительно терзал меня, и я жестоко страдал. Так я сидел, уставившись в пространство, и мало-помалу перед моим неподвижным взором обозначилась человеческая фигура, наконец она стала совсем четкой, и я узнал, кто это: женщина, которая торговала пирожками у аптеки.

Вздрогнув, я выпрямляюсь на скамейке и начинаю припоминать. Да, конечно, это та самая женщина, с тем же лотком, она сидит на том же самом месте! Я присвистнул несколько раз, щелкнул пальцами, встал со скамейки и направился к аптеке. Довольно глупостей! Черт возьми, не все ли равно, дал ли я ей деньги, приобретенные неправедно, или же честные норвежские денежки из конгсбергского серебра! Я не желаю быть посмешищем, а от неумеренной гордости недолго и ноги протянуть...

Я выхожу на угол, всматриваюсь в женщину, останавливаюсь подле нее. Я улыбаюсь, киваю ей, как знакомой, и заговариваю непринужденно, словно мое возвращение — это нечто само собой разумеющееся.

— Здравствуйте! — говорю я. — Вы, наверно, меня не узнаете?

— Нет, — медленно отвечает она и глядит на меня.

Я улыбаюсь еще старательней, как будто она бог весть как остроумно шутит, притворяясь, что не узнает меня, и говорю:

— Неужели вы не помните, как я недавно дал вам несколько крон? Сколько помнится, я не сказал при этом ни слова, да, ни слова, у меня нет такой привычки. Когда имеешь дело с честными людьми, нет надобности ставить условия и, так сказать, заключать договор из-за всякой мелочи. Хе-хе! Но это я дал вам деньги.

— Да, конечно, это вы! Теперь я вас узнала...

Прежде чем она начала меня благодарить, я уже выбрал глазами лакомый кусок и поспешно говорю:

— А теперь я пришел за пирожками.

Она недоумевает.

— За пирожками, — повторяю я. — Теперь я пришел за пирожками. Я хочу получить хоть часть для начала. Все мне сегодня не требуется.

— Вы пришли за пирожками? — переспрашивает она.

— Ну конечно, за пирожками! — отвечаю я с громким смехом, словно ей сразу должно быть ясно, что я пришел за ними.

Я беру с лотка пирожок, или, вернее, булочку, и начинаю есть.

При виде этого торговка выскакивает из своего закутка, невольным движением пытается защитить товар, давая мне понять, что она вовсе не ждала моего возвращения, да еще с целью отобрать у нее пирожки.

— Вы против? — говорю я. — Вы в самом деле против? Право, это смешно! Разве бывало когда-нибудь, чтобы человек дал вам кучу денег и не потребовал их обратно? Нет, вот видите! А вы еще, чего доброго, подумали, что это были краденые деньги, раз я просто сунул их вам? Нет, не подумали? Тем лучше, это просто прекрасно! Вы очень великодушны, если считаете меня за порядочного человека! Ха-ха! Да, вы в самом деле великодушны!

— Но зачем же вы дали мне эти деньги? — с возмущением крикнула она.

Я объяснил, зачем я дал ей деньги, объяснил спокойно и убедительно: у меня есть такая привычка, потому что я доверяю

всем людям. Когда кто-нибудь предлагает мне вексель или расписку, я всегда качаю головой и говорю: «Нет, благодарствуйте». Видит Бог, я так всегда делаю.

Но торговка никак не понимала меня.

Тогда я попробовал растолковать ей это по-другому, заговорил строго, не шутя. Разве ей никогда не платили вперед, подобно мне? — спросил я. Я разумел, конечно, людей со средствами, например, какого-нибудь консула.

Никогда? Ну что ж, раз она не привыкла к такому обхождению, с нее нельзя строго спрашивать. Но так принято за границей. Она, верно, никогда не ездила в чужие страны? Нет? Ну, то-то же! Тогда ей нельзя и судить... И я взял с лотка несколько пирожков.

Она сердито ворчала, упорно не хотела отдать хотя бы малую толику своего товара, даже вырвала у меня пирожок и положила его на место. Я вскипел, ударил кулаком по лотку и пригрозил позвать полицию. Это еще снисходительность с моей стороны, сказал я, ведь если бы мне вздумалось забрать все, что мне причитается, она была бы разорена, потому что недавно я дал ей огромную сумму денег. Но я не намерен брать так много, я хочу взять лишь половину своего состояния. К тому же она больше меня не увидит. Бог свидетель, не увидит никогда, раз она такая...

Наконец она выбрала несколько пирожков по самой бессовестной цене, четыре или пять штук, за которые она запросила неслыханно много, велела мне взять их и идти своей дорогой. Но я продолжал препираться с ней, доказывал, что она меня обманула по меньшей мере на целую крону и, кроме того, ободрала заживо, назначив такие несуразные цены.

— А знаете ли вы, что подобные штуки караются по закону? — сказал я. — Господи Боже, да вы можете угодить на бессрочную каторгу, старая дура!

Она швырнула мне еще один пирожок и со скрежетом зубовным потребовала, чтоб я оставил ее в покое.

И я ушел.

Ну и ну, свет еще не видывал такой двуличной торговки! Я шел через площадь, ел пирожки и громко рассуждал об этой женщине и ее бесстыдстве, повторял весь наш разговор и ду-

мал, что я гораздо лучше ее. Я ел пирожки на виду у всех и громко разговаривал.

Пирожки исчезали один за другим; сколько я ни ел, мне все казалось мало, голод был неутолим. Господи, почему мне все мало! В своей жадности я чуть не съел последний пирожок, который с самого начала решил приберечь для мальчика с Вогнмансгатен, для того малыша, которому рыжебородый плюнул на голову. Я то и дело вспоминал о нем, не мог забыть, какое у него было лицо, когда он вскочил, и заплакал, и стал ругаться. Когда на него плюнули, он повернулся к моему окну поглядеть, не смеюсь ли я над ним. Бог весть, удастся ли мне его теперь найти! Я спешил добраться до Вогнмансгатен, миновал место, где изорвал свою пьесу и где еще валялись клочки бумаги, обошел стороной полицейского, которого удивил своим поведением, и наконец очутился у той двери, где утром сидел мальчик.

Его не было. Улица почти опустела. Уже смеркалось, и мальчика найти не удалось; наверное, он ушел домой. Я бережно положил пирожок на землю, у самого порога, громко постучал и тотчас же пустился бежать. «Он, конечно, найдет пирожок! — сказал я самому себе. — Как только выйдет из дому, так сразу и найдет!» И от радости, что малыш найдет пирожок, слезы выступили у меня на глазах.

Я снова вышел к пристани.

Теперь я уже не был голоден, но от сладких пирожков меня начало тошнить. В голове снова метались самые нелепые мысли: а что, если я незаметно перережу канаты, которыми пришвартованы все эти корабли? Что, если я вдруг закричу: «Пожар»? Я пошел дальше по пристани, отыскал ящик, сел, скрестил руки на груди и почувствовал, что путаница в моей голове усиливается. Я сижу неподвижно, боюсь пошевельнуться, чтобы не пойти ко дну.

Я смотрю на «Копегоро», барку под русским флагом. Я вижу у поручней какого-то человека; красные фонари с левого борта освещают его лицо, я встаю и заговариваю с ним. Собственно, я не собирался затевать с ним разговор и не ждал никакого ответа. Я сказал:

— Вы отплываете нынче вечером, капитан?

— Да, в самое ближайшее время, — ответил он.

Он говорил по-шведски.

«Стало быть, это финн», — думаю я.

— Гм! А не нужен ли вам матрос?

В этот миг мне было безразлично, ответит ли он отказом или согласием, его ответ не имел никакого значения для меня. Я смотрел на него и ждал.

— Нет уж, — ответил он. — Вот юнгу я взял бы, пожалуй.

Юнгу! Я вздрогнул, незаметно снял очки, спрятал их в карман и поднялся по трапу на палубу.

— Мне не приходилось плавать, но я могу делать все, что велите, — сказал я. — Куда вы плывете?

— Сперва в Лидс, там возьмем уголь и пойдем в Кадикс.

— Ладно, — сказал я и стал уговаривать его взять меня. — Мне все равно, куда плыть. Я буду хорошо работать.

Некоторое время он рассматривал меня, что-то соображая.

— Так ты еще не бывал в плавании? — спросил он.

— Нет. Но, говорю вам, дайте мне работу, и я все сделаю. Я человек привычный.

Он снова задумался. А я уже свыкся с мыслью о плаванье и боялся, что меня прогонят.

— Так как же, капитан? — спросил я наконец. — Поверьте, я готов делать любую работу. Да что говорить! Я буду последним негодяем, если не вылезу из кожи, чтобы вам угодить. Я готов, если надо, стоять по две вахты подряд. Мне это только на пользу, я такие вещи люблю.

— Ну что ж, попробуем, — сказал он, слегка улыбнувшись при моих последних словах. — А в случае чего в Англии можно будет и расстаться.

— Разумеется! — отвечал я с восторгом. И повторил вслед за ним, что в случае чего в Англии мы можем расстаться.

И он дал мне работу...

Когда мы вышли во фьорд, я разогнул спину, весь взмокший от слабости и волнений, вгляделся в берег и простился наконец с городом Христианией, где в окнах повсюду уже зажглись яркие огни.

ПАН

© Перевод. Е. Суриц, 2009

I

Последние дни мне все думается, думается о незакатном дне северного лета. Все не идут у меня из головы это лето и лесная сторожка, где я жил, и лес за сторожкой, и я решился кое-что записать, чтоб скоротать время и так просто, для собственного удовольствия. Время идет медленно, я никак не могу заставить его идти поскорей, хоть ничто не гнетет меня, и я веду самую беззаботную жизнь. Я совершенно всем доволен, правда, мне уже тридцать лет, но не так уж это много. Несколько дней назад я получил по почте два птичьих пера, издалека, от человека, который вовсе не должен бы мне их присылать, но вот поди ж ты — два зеленых пера в гербовой бумаге, запечатанной облаткой. Любопытно было взглянуть на эти перья, до чего же они зеленые... А так ничто меня не мучит, разве что иногда ломит левую ногу из-за старой раны, впрочем, давно уже залеченной.

Помню, два года назад время бежало быстро, не то что теперь, не успел я оглянуться, как промчалось лето. Это было два года назад, в 1855 году, а сейчас я для собственного удовольствия решил написать обо всем, что мне тогда выпало на долю, а может быть, и просто приснилось. Теперь уж позабылись многие подробности тех событий, я ведь о них почти и не вспоминал; помню только, что ночи были очень светлые. И многое казалось мне странно; в году, как всегда, двенадцать месяцев, а

ночь обратилась в день, и хоть бы одна звезда на небе. И люди там тоже особенные, никогда еще мне такие не встречались; иной раз одна всего ночь — и вчерашний ребенок становится взрослым, разумным и прекрасным созданьем. И не то чтобы это колдовство, просто никогда еще мне такое не встречалось. О, никогда, никогда не встречалось.

В большом белом доме у самого моря судьба свела меня с человеком, на короткое время занявшим мои мысли. Теперь этот человек уже не стоит неотступно у меня в голове, так только, изредка вспомню, да нет, совсем позабыл; я вспоминаю, напротив, совсем другое: крик морских птиц, охоту в лесах, мои ночи, каждый горячий час лета. Да и свел-то нас с нею случай, и ведь не будь этого случая, я бы и дня о ней не думал.

Из сторожки я видел сумятицу островков и шхер, кусочек моря, синие вершины, а за сторожкой лежал лес, бескрайний лес. Как я радовался запаху корней и листвы, запаху жирной сосновой смолы; только в лесу все во мне затихало, я чувствовал себя сильным, здоровым, и ничто не омрачало душу. Всякий день я шел в горы с Эзопом, и ничего-то мне больше не надо было — только вот так ходить в горы, хоть еще не сошел снег и местами чернела слякоть. Единственным товарищем моим был Эзоп; теперь у меня Кора, а тогда был Эзоп, мой пес, которого я потом застрелил.

Часто вечером, когда я подходил к своей сторожке, у меня уютно замирало сердце, пробирала радостная дрожь, и я говорил с Эзопом о том, как славно нам живется. «Ну вот, сейчас, мы разведем огонь и зажарим на очаге птицу, — говорил я ему, — что ты на это скажешь?» А когда мы отужинаем, Эзоп, бывало, забирался на свое место за очагом, а я зажигал трубку и ложился на нары, и вслушивался в глухой шорох леса. Ветер дул в сторону нашего жилья, и я отчетливо слышал, как токуют тетерева далеко в горах. А то все было тихо.

И часто я так и засыпал, как был, во всей одежде, и просыпался лишь от утреннего крика морских птиц. Выглянув в окно, я видел большие белые строенья, лавку, где я брал хлеб, пристани Сирилунна, и потом еще лежал на нарах, дивясь, что я тут, на самом севере Норвегии, в Нурланне, в сторожке на краю леса.

Но вот Эзоп потягивался узким длинным телом, звенел ошейником, зевал, вилял хвостом, и я вскакивал после трех- четырехчасового сна, совершенно выспавшийся и всем, всем довольный.

Так прошло много ночей.

II

Бывает, и дождь-то льет, и буря-то воет, и в такой вот ненастный день найдет беспричинная радость, и ходишь, ходишь, боишься ее расплескать. Встанешь, бывает, смотришь прямо перед собой, потом вдруг тихонько засмеешься и оглядишься. О чем тогда думаешь? Да хоть о чистом стекле окна, о лучике на стекле, о ручье, что виден в это окно, а может, и о синей прорехе в облаках. И ничего-то больше не нужно.

А в другой раз даже и что-нибудь необычайное не выведет из тихого, угнетенного состояния духа, и в бальной зале можно сидеть уныло, не заражаясь общим весельем. Потому что источник и радостей наших, и печалей в нас же самих.

Вот помню я один день. Я спустился к берегу. Меня захватил дождь, и я спрятался в лодочном сарае. Я напевал, но без охоты, без удовольствия, так просто, чтобы убить время. Эзоп был со мной, он сел, прислушался. Я перестаю петь и тоже слушаю, я слышу голоса, ближе, ближе. Случай, чистейший случай! Два господина и девушка влетают ко мне в сарай. Они, хохоча, кричат друг дружке:

— Скорее! Тут и переждем!

Я встал.

Один из мужчин был в белой некрахмаленой манишке, теперь она вдобавок совсем промокла и пузырилась; в этой мокрой манишке торчала брильянтовая булавка. На ногах у него были длинные, остроносые башмаки весьма щегольского вида. Я поклонился, это был господин Мак, торговец, я узнал его, я покупал хлеб у него в лавке. Он еще приглашал меня к себе домой, да я пока не собрался.

— А, знакомые! — сказал он, разглядев меня. — Вот, пошли было на мельницу, и пришлось воротиться. Ну и погодка, а? Так когда же вы пожалуете в Сирилунн, господин лейтенант? — Он представил мне низкорослого господина с черной бородкой, доктора, жившего в соседнем приходе.

Девушка подняла вуаль на нос и принялась тихонько беседовать с Эзопом. Я заметил ее кофту, по изнанке и петлям видно было, что она перекрашена. Господин Мак представил и ее, это его дочь, зовут ее Эдвардой.

Эдварда быстро глянула на меня через вуаль и опять стала шептаться с Эзопом и разбирать надпись у него на ошейнике.

— Тебя, оказывается, зовут Эзоп... Доктор, кто такой Эзоп? Я только и помню, что он сочинял басни. Фригиец, кажется? Нет, не знаю.

Ребенок, школьница. Я смотрел на нее. Высокая, но еще не развившаяся, лет пятнадцати-шестнадцати, длинные, темные руки без перчаток. Наверное, придя домой, она отыскала в лексиконе Эзопа, чтобы блеснуть при случае.

Господин Мак расспрашивал меня об охоте. Чего попадается больше? Я могу свободно располагать любой из его лодок, одно мое слово — и она в моем нераздельном пользовании. Доктор все время молчал. Когда они пошли, я заметил, что доктор прихрамывает и опирается на палку.

Я побрел домой; на душе у меня было по-прежнему пусто, я безразлично напевал. Встреча в лодочном сарае не произвела на меня ровным счетом никакого впечатления; больше всего запомнилась мокрая манишка господина Мака с брильянтовой булавкой, тоже мокрой и почти без блеска.

III

Неподалеку от моей сторожки стоял камень, высокий серый камень. У камня был такой приветливый вид, он словно смотрел на меня, когда я к нему подходил, и узнавал меня. По утрам, отправляясь на охоту, я приноровился ходить мимо камня, и меня словно бы поджидал дома добрый друг.

А в лесу начиналась охота. Иногда я подстрелю какую-нибудь дичь, иногда и нет...

За островами тяжело и покойно лежало море. Часто я забирался далеко в горы и глядел на него с вышины; в тихие дни суда почти не двигались с места, бывало, три дня кряду я видел все тот же парус, крошечный и белый, словно чайка на воде. Но вот налетал ветер и почти стирал горы вдалеке, поднималась буря, она налетала с юго-запада, у меня на глазах разыгрывалось интереснейшее представление. Все стояло в дыму. Земля и небо сливались, море взвихрялось в диком танце, выбрасывая из пучины всадников, коней, разодранные знамена. Я стоял, укрывшись за выступ скалы, и о чем только я тогда не думал! Бог знает, думал я, чему я сегодня свидетель и отчего море так открывается моим глазам? Быть может, мне дано в этот час увидеть мозг мирозданья, как кипит в нем работа! Эзоп нервничал, то и дело поднимал морду и принюхивался, у него тонко дрожали лапы; не дождавшись от меня ни слова, он жался к моим ногам и тоже смотрел на море. И ни голоса, ни вскрика — нигде ничего, только тяжкий, немолчный гул. Далеко в море лежал подводный камень, лежал себе, тихонько уединясь вдалеке, когда же над ним проносилась волна, он вздымался, словно безумец, нет, словно мокрый полубог, что поднялся из вод, и озирает мир, и фыркает так, что волосы и борода встают дыбом. И тотчас снова нырял в пену.

А сквозь бурю пробивал себе путь крошечный, черный как сажа, пароходик...

Когда я вечером пришел на пристань, черный пароходик уже стоял в гавани; оказывается, это был почтовый пароход. Посмотреть на редкого гостя собралось немало народу, я заметил, что как бы ни рознились эти люди, глаза у всех подряд были синие. Молодая девушка, покрытая белым шерстяным платком, стояла неподалеку; волосы у нее были очень темные, на них особенно выделялся белый платок. Она любопытно разглядывала меня, мою кожаную куртку, ружье, когда я с ней заговорил, она смутилась и потупилась. Я сказал:

— Носи всегда белый платок, тебе он к лицу.

И тотчас к ней подошел высокий, крепкий человек в толстой вязаной куртке, он назвал ее Евой. Видно, она его дочь. Высокого, крепкого человека я узнал, это был кузнец, здешний кузнец. За несколько дней до того он приделал новый курок к одному из моих ружей...

А дождь и ветер сделали свое дело и счистили весь снег. Несколько дней было промозгло и неуютно, скрипели гнилые ветки, да вороны собирались стаями и каркали. Но длилось это недолго, солнышко затаилось совсем близко, и однажды утром оно поднялось из-за леса. Солнце встает, и меня пронизывает восторгом; я вскидываю ружье на плечо, замирая от радости.

IV

В ту пору я не знал недостатка в дичи, я стрелял, что вздумается, то подстрелю зайца, то глухаря, то куропатку, а когда мне случалось спуститься к берегу и подойти на выстрел к морской птице, я, бывало, и ее подстрелю. Славная была пора, дни делались все длиннее, воздух чище, я запасался едой на два дня и пускался в горы, к самым вершинам, там я сходился с лопарями-оленеводами, и они давали мне сыру, небольшие жирные сыры, отдающие травой. Я ходил туда не раз. На возвратном пути я всегда подстреливал какую-нибудь птицу и совал в сумку. Я присаживался и брал Эзопа на поводок. В миле подо мной было море; скалы мокры и черны от воды, что журчит под ними, плещет и журчит, и все одна и та же у воды незатейливая музыка. Эта тихая музыка скоротала мне не один час, когда я сидел в горах и смотрел вокруг. Вот журчит себе нехитрая, нескончаемая песенка, думал я, и никто-то ее не слышит, никто-то о ней не вспомнит, а она журчит себе и журчит, и так без конца, без конца! Я слушал эту песенку, и мне уже казалось, что я не один тут в горах. Случались и происшествия: прогремит гром, сорвется и упадет в отвес обломок скалы, оставив дымящуюся осколками дорожку на круче; Эзоп тотчас же поднимал морду, принюхивался, он недоумевал, откуда это тянет гарью. Когда пото-

ки талого снега проточат ложбинки в горах, достаточно выстрела, даже громкого крика, чтобы большая глыба сорвалась и рухнула в море...

Проходил час, а то и больше, время бежало так быстро. Я спускал Эзопа, перебрасывал сумку на другое плечо и шагал к дому. Вечерело. Сойдя в лес, я неизменно нападал на знакомую свою тропку, узенькую ленту, всю в удивительных изгибах. Я прилежно следовал за каждым изгибом, — спешить было некуда, никто ведь меня не ждал; вольный, как ветер, я шел по своим владеньям, по мирному лесу, и мне не к чему было ускорять шаг. Птицы уже молчали, только тетерев токовал вдалеке, он токовал без умолку.

Я вышел из лесу и увидел перед собой двоих, они прогуливались, я нагнал их; это оказалась йомфру Эдварда, я узнал ее и поклонился; с ней был доктор. Пришлось показывать им ружье, они осмотрели мой компас, мою сумку; я пригласил их к себе в сторожку, и они пообещались как-нибудь зайти.

Ну вот и вечер. Я пришел домой, развел огонь, зажарил птицу и поужинал. Завтра снова будет день...

Повсюду тишь и покой. Я лежу и смотрю в окно. Лес в необычном уборе заката. Солнце уже зашло и оставило на горизонте густой, застывший отсвет, словно нанесенный алой краской. Небо везде чисто и открыто, я глядел в эту ясную глубь, и мне словно обнажилось дно мира, и сердце стучало и стремилось к этому голому дну, рвалось к нему. Ну почему, почему, думал я, горизонт одевается по вечерам в золото и багрянец, уж не пир ли у них там, наверху, роскошный пир с катаньем по небесным потокам под музыку звезд. А ведь похоже! И я закрываю глаза и вот уже я с пирующими, и мысли мои мелькают одна за другой и путаются.

Так прошел не один день.

Я бродил и смотрел, как тает снег, как трогается лед. Часто, когда дома у меня хватало еды, я даже не разряжал ружья, я просто гулял, а время все шло и шло. Всюду, куда ни оглянешься, было на что поглядеть, что послушать, с каждым днем все потихоньку менялось, даже ивняк и можжевельник и те затаились и

ждали весну. Сходил я и на мельницу, она пока была под ледяной коркой; но земля вокруг утопталась за множество лет и ясно показывала, что сюда приходят люди с тяжелыми мешками зерна. И я словно бы потолкался тут среди людей в ожиданье помола, а на стенах во множестве были вырезаны буквы и даты.

Вот так-то!

V

Что ж, писать и дальше? Нет, нет. Разве что немного, для собственного удовольствия, да и просто время скоротаю, рассказывая, как два года назад настала весна и как глядело все кругом. Земля и море чуть-чуть запахли, сладко запахло прелью от лежалой листвы, и сороки летали с прутиками в клювах и строили гнезда. Еще несколько дней, и ручьи вспенились, вздулись, и уже над кустами суетились крапивницы, и рыбаки вернулись с зимних промыслов. Две торговые баржи, доверху груженные рыбой, стали на якорь возле сушилен; на островке побольше, где распластывали рыбу для сушки, закипела жизнь. Мне все было видно из моего окна.

Но до сторожки гвалт не доносился, и ничто не нарушало моего одиночества. Случалось, пройдет кто-нибудь мимо; мне встретилась Ева, дочь кузнеца, на носу у нее выступили веснушки, совсем немного.

— Куда ты? — спросил я.

— По дрова, — ответила она тихо. В руке у нее была веревка. На Еве опять был белый платок. Я посмотрел ей вслед, но она не оглянулась.

И снова пошли день за днем, и я никого не видел.

Весна ударила дружнее, лес повеселел; очень меня забавляли дрозды, они сидели на макушках деревьев, пялились на солнце и горланили; иной раз я вставал даже и в два, чтоб вместе со зверьем и птицами порадоваться на восход.

И ко мне подобралась весна, кровь билась в жилах так громко, будто выстукивали шаги. Я сидел у себя дома и думал о

том, что надо бы осмотреть вентеря и лесы, однако же и пальцем не шевелил; смутная пугливая радость бродила в сердце. Но вот Эзоп вдруг вскочил, замер и коротко тявкнул. К сторожке уже подходили, я поскорей стянул с головы картуз и услышал под дверью голос йомфру Эдварды. Значит, они с доктором, как обещались, решили запросто, без церемоний заглянуть ко мне.

— Да нет, он дома, — услышал я. И она вошла и неловко протянула мне руку. — Мы и вчера тут были, да вас не застали, — пояснила она.

Она села на нары, поверх одеяла, и стала оглядывать мою сторожку; доктор поместился рядом со мной на скамье. Мы принялись болтать, мы говорили о всякой всячине; между прочим, я рассказал им, какой зверь водится в лесу и когда какую дичь запрещается стрелять. Теперь запрещается стрелять глухарей.

Доктор опять больше помалкивал; когда же взгляд его упал на фигурку Пана у меня на пороховнице, он пустился разъяснять миф о Пане.

— А как же вы будете жить, — вдруг сказала Эдварда, — когда всю дичь запретят?

— Рыба, — сказал я. — Выручает рыба. Еда всегда найдется.

— А почему бы вам не обедать у нас, — сказала она. — В прошлом году в этой сторожке жил один англичанин, так он часто приходил к нам обедать.

Эдварда глянула на меня, и я на нее. Тут сердце мое дрогнуло, как от нежного привета. Это все весна, все яркий день, мне запомнилась та минута. И потом у Эдварды были такие восхитительные, дугами выгнутые брови.

Она заговорила о моем жилище. Стены у меня были увешаны разными шкурами и перьями, просто логово дикаря. Эдварде это понравилось.

— Настоящее логово, — сказала она.

Подарить гостям было нечего, я подумал, как бы доставить им удовольствие, и решил зажарить птицу. Можно есть ее руками, как на охоте; это очень весело.

И я зажарил птицу.

Эдварда рассказывала про англичанина. Такой чудной старик, сам с собой разговаривал. Он был католик и всюду таскал с собой в кармане молитвенник с черными и красными буквами.

— В таком случае, полагаю, он был ирландец? — спросил доктор.

— Ирландец?

— Ну да. Если уж он был католик?

Эдварда покраснела, запнулась и отвела глаза.

— Ах, наверное, он был ирландец.

И она стала скучная. Мне сделалось жаль ее, захотелось поправить дело, и я сказал:

— Ну конечно, правда ваша, он был англичанин, ведь ирландцы не ездят в Норвегию.

Мы сговорились как-нибудь поехать на лодке поглядеть, как сушат рыбу...

Я проводил их немного, вернулся и сел поправлять снасти. Сачок висел на гвозде у двери, и несколько петель прорвалось от ржавчины; я заострил крючки, загнул их, проверил невод. Как трудно было собраться и думать о делах! В голове мелькали все ненужные мысли. Нехорошо, что я оставил йомфру Эдварду на нарах, надо бы усадить ее на скамье. Вдруг мне представилось ее смуглое лицо и смуглая шея; передник она повязывала ниже пояса, чтоб талия получалась длинная, по моде; я вспомнил, какое девическое стыдливое выражение у ее большого пальца, он возбуждал во мне нежность, и складочки у суставов такие приветливые. И как горел ее большой рот.

Я встал, отворил дверь и прислушался. Я ничего не услышал, да и слушать-то было нечего. Я снова затворил дверь. Эзоп поднялся с подстилки, он почуял неладное. Мне приходит в голову догнать йомфру Эдварду и попросить у нее немного шелка починить сачок, это не выдумка, нет, я могу расстелить сачок и показать ей проржавевшие петли. Я был уже за дверью, когда вспомнил, что шелк у меня есть, он лежит в коробке для мух, у меня его сколько угодно. И я тихо и уныло побрел обратно.

Из углов сторожки на меня дохнуло чем-то чужим, словно кто поджидал меня в моем доме.

VI

Меня спрашивали, уж не бросил ли я охоту; спрашивал один рыбак, он два дня провел в заливе и за все время не слыхал в горах ни выстрела. Да, я не стрелял, я все сидел дома, покуда у меня не вышла еда.

На третий день я отправился на охоту. Лес зазеленел, пахло землей и деревьями. Сквозь взмокший мох пробивались зеленые стрелки дикого чеснока. О чем я только не думал... Голова шла кругом, я то и дело присаживался. За целых три дня я видел одного человека, того, вчерашнего рыбака. Я думал: а вдруг я встречу кого-нибудь по дороге домой, на опушке, на том месте, где видел доктора и йомфру Эдварду. Они ведь снова могут там оказаться. Впрочем, кто его знает. И почему, собственно, именно они пришли мне в голову? Мало ли кого я могу встретить. Я застрелил двух куропаток, одну тотчас приготовил; потом я взял Эзопа на поводок.

Я ел, лежал на подсохшей поляне и ел. Все было тихо, лишь вскрикнет вдруг птица да ветер прошелестит листвой. Я лежал и глядел, как медленно, медленно качаются ветки; ветер делал свое дело, разносил пыльцу с куста на куст, не забывал ни одного венчика; лес упоенно замер. Зеленая гусеница, пяденица, шагает по краю ветки, шагает без передышки, словно отдыхать ей нельзя. Она почти ничего не видит, хоть у нее есть глаза, то и дело встает торчком и нащупывает, куда бы ступить; будто обрывок зеленой нитки мережит ветку крупными стежками. К вечеру, надо думать, она доберется до места.

Тихо. Я встаю и иду, присаживаюсь и встаю снова. Сейчас около четырех; когда будет шесть, я пойду домой, и, может быть, я кого-нибудь встречу. У меня остается два часа, всего два, и я уже волнуюсь, я счищаю вереск и мох со своего платья. Места мне знакомы, я узнаю все эти деревья и камни, отвыкшие от людей, листва шуршит у меня под ногами. Шелест, шелест, мои знакомые деревья и камни! И меня переполняет странной благодарностью, сердце мое открыто всему, всему, все это мое, я все люблю. Я подбираю засохший сучок, держу его в руке и смот-

рю на него, сидя на пне и думая о своем; сучок почти совсем сгнил, у него такая трухлявая кора, мне делается его жалко. И, поднявшись, пустившись в путь, я не бросаю сучок, не швыряю его подальше, но осторожно кладу и гляжу на него с состраданием; и когда я смотрю на него в последний раз, перед тем как уйти, глаза у меня мокрые.

Но вот уже пять. Солнце ведь показывает неточное время, я целый день шел на запад, и, верно, теперь оно на полчаса обманывает меня. Я это уже прикинул. Но до шести все равно еще час, и я снова встаю и снова иду. И листва шуршит у меня под ногами. Так проходит час.

Вот прямо, в низине, я вижу ручей и мельницу, зимой она стояла под ледяной коркой; и я останавливаюсь; лопасти кружат, гудят, задумчивость мою как рукой снимает, я так и замираю на месте «Я опоздал!» — кричу я. И сердце у меня ноет. Я тотчас поворачиваю и иду к дому, но сам знаю, знаю, что опоздал. Я ускоряю шаг, я бегу; Эзоп чует неладное, тянет за поводок, прядает, скулит и рвется. Вихрем взвивается у нас из-под ног сухая листва. Но когда мы выходим на опушку, там никого, все тихо, и там никого.

— Никого! — говорю я. — Что ж, так я и знал.

Я стоял недолго, я пошел, мысли мои подгоняли меня, я прошел мимо сторожки и дальше, к Сирилунну, с Эзопом, сумкой и ружьем, со всем своим имуществом. Господин Мак встретил меня весьма любезно и пригласил отужинать.

VII

Мне кажется, я немного умею читать в душах других людей; может, это и не так. А когда я в духе, мне представляется, что я могу заглянуть глубоко в чужую душу, и вовсе не потому, что такой уж я умник. Вот мы сидим в комнате, несколько мужчин, несколько женщин и я, и я прямо-таки вижу все, что происходит в этих людях, знаю все, что они обо мне думают. Ничто от меня не укроется; вот кровь прилила к щекам, и они загоре-

лись; а то прикинется кто-то, будто смотрит совсем в другую сторону, и тайком, искоса поглядывает на меня. И вот я сижу себе, смотрю, и никому-то невдомек, что я вижу насквозь любую душу. Много лет я был убежден, что умею читать в душах людей. Может, это и не так...

Я целый вечер просидел у господина Мака. Я мог, разумеется, тотчас уйти, мне было совсем неинтересно; но ведь я и приходить-то не собирался, меня просто что-то пригнало сюда. Как же я мог уйти? Мы играли в вист, пили после ужина тодди, я сидел лицом к окну, свесив голову; у меня за спиной двигалась Эдварда, входила и выходила из гостиной. Доктор уехал домой.

Господин Мак показал мне свои новые лампы, первую партию керосиновых ламп на севере, очень красивые лампы, на тяжелых свинцовых подставках, и он их сам зажигал каждый вечер, чтобы их не попортили или вдруг не наделали пожара. Несколько раз он упомянул в разговоре своего деда, консула: эта булавка досталась моему деду, консулу Маку от самого Карла-Юхана, из собственных рук, — сказал он и ткнул пальцем в свою бриллиантовую булавку. Жена у него умерла, он показал мне портрет в угловой комнате, портрет женщины с важным лицом, в блондах и с учтивой улыбкой. В той же комнате стоял шкаф с книгами, где были даже и старые французские книги, видимо, полученные в наследство, переплеты изящные, золоченые, и множество прежних хозяев начертало на них свои имена. Среди книг стояли сочинения энциклопедистов; господин Мак был человек мыслящий.

К висту позвали обоих приказчиков господина Мака; они играли медленно и осторожно, долго прикидывали каждый ход — и все равно ошибались. Одному помогала Эдварда.

Я опрокинул стакан, я огорчился и встал.

— Ох Господи, я опрокинул стакан! — сказал я.

Эдварда расхохоталась и ответила:

— Мы видим и сами.

Все, смеясь, принялись уверять меня, что это пустяки. Мне дали полотенце, и мы продолжали игру. Пробило одиннадцать. Смех Эдварды покоробил меня, я взглянул на нее и нашел, что

лицо ее сделалось невыразительно и почти некрасиво. Господин Мак прервал наконец игру, объявив, что приказчикам пора спать, а потом он откинулся на спинку дивана и завел разговор о новой вывеске, которую собирался навесить на лавку со стороны пристани. Он спрашивал моего совета. Какую бы взять краску? Мне было скучно, не думая, я брякнул — черную краску, и господин Мак тотчас же подхватил:

— Черная краска! Вот именно! «Продажа соли и бочонков» большими черными буквами, так благородней всего... Эдварда, не пора ль тебе ложиться?

Эдварда встала, протянула нам обоим руку на прощанье и вышла. Мы еще посидели в гостиной. Мы поговорили о железной дороге, которую провели прошлой весной, о первой телеграфной линии. Бог знает, когда еще телеграф дойдет сюда, на север!

Пауза.

— Понимаете, — сказал господин Мак, — оглянуться не успел, как сорок шесть стукнуло, волосы и борода уж седеют. Я чувствую, что подходит старость. Вот вы смотрите на меня днем и думаете, что я молодой; а вечерами, как останусь один, очень не по себе делается. И сижу тут да раскладываю пасьянсы. И выходят, если чуть передернуть. Ха-ха.

— Пасьянсы выходят, если чуть передернуть? — спрашиваю я.

— Да.

Я смотрю ему в глаза, и мне кажется, что я читаю в его взгляде...

Он поднялся, подошел к окну и выглянул; он сильно сутулился, и вся шея у него заросла волосами. Я тоже поднялся. Он обернулся и шагнул мне навстречу в своих длинных остроносых башмаках; оба больших пальца он засунул в карманы жилета и слегка помахивал руками, словно крылышками; он улыбался. Потом он еще раз заверил меня, что я могу располагать его лодкой, и протянул мне руку.

— Хотя дайте-ка я вас провожу, — сказал он и задул лампы. — Пройдусь немного, еще ведь не поздно.

Мы вышли.

Он показал на дорогу мимо дома кузнеца и сказал:

— Пойдемте так. Тут ближе.

— Нет, — ответил я. — Мимо пристани ближе.

Мы поспорили немного, каждый стоял на своем. Я был совершенно убежден в своей правоте и не мог понять, отчего он так упорствует. Наконец он предложил, чтоб каждый шел своей дорогой; кто придет первым, подождет возле сторожки.

Мы отправились. Скоро он скрылся за стволами.

Я шел обычным своим шагом и рассчитал, что приду по меньшей мере пятью минутами раньше. Но когда я вышел к сторожке, он уже был там. Он крикнул, завидя меня:

— Ну что? Видали? Я всегда хожу этой дорогой, здесь куда ближе.

Я смотрел на него в совершенном недоуменье, он не запыхался, и не похоже было, чтобы он бежал. Он тотчас откланялся, пригласил меня заходить и той же дорогой отправился обратно.

Я стоял и думал: до чего же удивительно! Кажется, я чувствую расстояние, и обеими дорогами ходил не раз. Да ты никак опять мошенничаешь, любезный! А ну как все это передержка?

Я увидел, как его спина снова исчезла за стволами.

В следующее мгновенье я шел за ним следом, скорым шагом, осторожно; я видел, как он беспрестанно утирает лицо, и я уже и сам не знал, бежал он только что или нет. Сейчас он шел очень медленно, и я не отрывал от него глаз. Возле дома кузнеца он остановился. Я притаился неподалеку и увидел, как отворилась дверь и господин Мак вошел в дом.

Был час ночи, я видел это по морю и по траве.

VIII

Кое-как я провел еще несколько дней один на один с лесом и со своим одиночеством. Господи Боже, никогда еще не было мне так одиноко, как в тот самый первый день. Весна хозяйничала вовсю, уже попадались ромашка и тысячелистник и прилетели зяблики и коноплянки; я знал всех птиц в лесу. Порой я

вынимал два медяка из кармана и звенел ими, чтоб не было так одиноко. Я думал: вот бы пришли Дидерик с Изелиной!

Ночи совсем не стало, солнце только ныряло в море и тут же выкатывалось опять, красное, свежее, будто вдоволь напилось глубокой воды. По ночам со мною творилось небывалое. Никто бы, никто мне не поверил. Не Пан ли сидел на дереве, выслеживал меня? И брюхо его было разверсто, и он весь скорчился, будто пил из собственного брюха? Но все это лишь уловка, он исподлобья косился на меня, подглядывал за мной, и дерево тряслось от его неслышного смеха, потому что он видел, какая сумятица в моих мыслях. По лесу шел шелест. Сопело, принюхивалось зверье, окликали друг друга птицы. И зовами полнился воздух. И майских жуков поналетело в этом году, и на их жужжанье отвечали шорохом крыльев ночные бабочки, и по всему лесу будто шел шепот, шепот. Чего только я не наслушался! Я не спал три ночи, я думал о Дидерике и об Изелине.

Погоди, думал я, вот они придут. Изелина заманит Дидерика в сторонку, к дереву, и скажет:

— Стой тут, Дидерик, смотри, следи за своей Изелиной, а я попрошу того охотника завязать мне башмачок.

И этот охотник я, и она подмигивает мне, чтоб я понял. И когда она подходит, мое сердце чует все, все, и оно уже не бьется, оно ударяет, как колокол. И она под платьем вся голая от головы до пят, и я дотрагиваюсь до нее рукою.

— Завяжи мне башмачок! — говорит она, и щеки у нее пылают. И немного погодя она шепчет прямо у моего рта, у моих губ: — Отчего ты не завязываешь мне башмачок, любимый мой, нет, ты не завязываешь... ты не завязываешь...

А солнце ныряет в море и тут же выкатывается опять, красное, свежее, будто вдоволь напилось глубокой воды. И повсюду шепот, шепот.

Потом она говорит у самого моего рта:

— Пора. Я должна идти.

И, уходя, она машет мне рукою, и лицо у нее еще горит, лицо у нее нежное, страстное лицо. И снова она оглядывается и машет мне рукою.

А Дидерик выходит из-под дерева и говорит:

— Изелина, что ты делала? Я все видел.

Она отвечает:

— Дидерик, что ты видел? Я ничего не делала.

— Изелина, я видел, что ты делала, — говорит он снова, — я видел.

И тогда звонкий, счастливый смех ее несется по лесу, и она идет за Дидериком, ликующая и грешная с головы до пят. Куда же она? К первому мóлодцу, к лесному охотнику.

Настала полночь. Эзоп сорвался с привязи и охотился сам по себе. Я слышал, как он лает в горах, и когда наконец я заманил его обратно, был уже час. Пришла девочка-пастушка, она вязала чулок, тихонько мурлыкала и озиралась. Но где же ее стадо? И за какой надобностью пришла она в лес в такой час? Без всякой, без всякой надобности. Тревожится, а может быть, радуется, полуночница. Я подумал: она услыхала, как лает Эзоп, и поняла, что я в лесу.

Когда она подошла, я встал; я стоял и смотрел на нее, она была такая тоненькая, молодая. Эзоп тоже стоял и смотрел на нее.

— Ты откуда? — спросил я ее.

— С мельницы, — отвечала она.

Но что ей было делать на мельнице так поздно?

— А ты не боишься ходить по лесу так поздно, — спросил я, — такая тоненькая, молодая?

Она засмеялась и ответила:

— Вовсе не такая уж я молодая, мне девятнадцать.

Но ей не было девятнадцати, я убежден, что она набавила себе два года, ей не испóлнилось и восемнадцати. Но зачем ей было набавлять себе года?

— Сядь, — сказал я. — И скажи мне, как тебя звать?

Она зарделась, села рядом и сказала, что звать ее Генриетой.

Я спросил:

— А есть у тебя жених, Генриета? Он тебя уже обнимал?

— Да, — ответила она и засмеялась смущенно.

— И сколько же раз?

Она молчит.

— Сколько раз? — повторяю я.
— Два раза, — тихо сказала она.
Я притянул ее к себе и спросил:
— А как он это делал? Вот так?
— Да, — шепчет она и дрожит.
Уже четыре часа.

IX

У нас с Эдвардой был разговор.
— Скоро будет дождь, — сказал я.
— Который теперь час? — спросила она.
Я глянул на солнце и сказал:
— Около пяти.
Она спросила:
— Вам это видно по солнцу, и так точно?
— Да, — ответил я, — это видно по солнцу.
Пауза.
— Ну, а если солнца нет, как же вы тогда узнаете время?
— Есть много других примет. Прилив или отлив; в свой час ложится трава, и птичьи голоса меняются; когда умолкнут одни птицы, заводят другие. Еще по цветам можно узнать время, они замыкаются к вечеру, и по листьям — они то светло-зеленые, блестящие, то темные; наконец, я просто его чувствую.
— Правда? — сказала она.
Я ждал дождя и не хотел держать Эдварду на дороге, я взялся за картуз. Но она вдруг задала мне еще вопрос, и я остался. Она покраснела и стала расспрашивать, зачем я, собственно, здесь, зачем я занимаюсь охотой, зачем я то, зачем это. Я ведь стреляю, только чтобы прокормиться, не правда ли, и Эзоп у меня не очень-то устает?
Она еще больше покраснела и совсем потерялась. Я понял, что кто-то при ней говорил обо мне; она повторяла чужие слова. И меня это тронуло, я вдруг вспомнил, что у нее ведь нет матери, и она показалась мне такой беззащитной, особенно из-

за этих ее сиротливых, тоненьких рук. И тут на меня что-то нашло.

Ну да, я стреляю не убийства ради, а только чтобы прожить. В день не съешь больше одного тетерева, вот я и убью сегодня одного, а другого завтра. Больше-то зачем? Я живу в лесу, я сын леса. С первого июня запрещают охоту на куропаток и зайцев, стрелять уже почти нечего, ну и что ж, я рыбачу и ем рыбу. Вот скоро возьму лодку у ее отца и выйду в море. Разве мне охотиться только нужно? Мне нужно жить в лесу. Мне тут хорошо; мой стол сама земля, когда я ем, и не надо садиться и вскакивать со стула; я не опрокидываю стаканов. В лесу я волен делать все, что хочу, могу лечь навзничь и закрыть глаза, если захочется; и говорю я все, что хочу. Часто ведь хочется что-то сказать, сказать вслух, громко, а в лесу слова идут прямо из сердца...

Когда я спросил, понятно ли ей это, она ответила — да.

И я говорил еще, потому что глаза ее не отрывались от моего лица.

— Знали бы вы, чего я только не перевидал! Вот выйдешь зимой и заметишь на снегу следы куропаток. Вдруг они обрываются, значит, птицы взлетели. Но по отпечаткам крыльев мне ясно, куда полетела дичь, и я ее сразу же отыщу. Всякий раз это до того удивительно. Осенью часто смотришь, как падают звезды. Сидишь один-одинешенек и думаешь: неужели это разрушился целый мир? Целый мир кончился прямо у меня на глазах? И я, я сподобился увидеть, как умерла звезда! А когда приходит лето, на каждом листочке своя жизнь; смотришь на иную тварь и видишь, что нет у нее крылышек, некуда ей деться, и до самой-то смерти жить ей на этом самом листочке, где она родилась. Вы только подумайте! Или, бывает, увидишь синюю муху. Да нет, разве словами такое выскажешь, я даже не знаю, понимаете ли вы меня?

— Да, да, я понимаю.

— Ну вот. А иной раз смотрю я на траву, и она прямо так и смотрит на меня, честное слово. Я смотрю на малую былинку, а она дрожит, и ведь неспроста же. И я тогда думаю: вот стоит былинка и дрожит! Или глянешь на сосну, и всегда выищется

сучок, от которого глаз не отвести; и о нем еще подумается. А иной раз и человека встретишь в горах, бывает и такое.

Я посмотрел на нее, она вся подалась вперед и слушала. Я не узнал ее. Она до того заслушалась, что совсем забыла о своем лице, и оно сделалось просто, некрасиво, и отвисла нижняя губа.

— Я понимаю, — сказала она и распрямилась.

Упали первые капли.

— Дождь, — сказал я.

— Ах Господи, дождь, — сказала она и тотчас пошла.

Я не стал провожать ее, она пошла одна, я поспешил к сторожке. Прошло несколько минут, дождь припустил сильнее. Вдруг я слышу, что за мной кто-то бежит, я оборачиваюсь и вижу Эдварду. Она раскраснелась от бега и улыбалась.

— Совсем забыла, — выговорила она, запыхавшись. — Насчет этой прогулки к сушильням. Доктор будет завтра, а у вас время найдется?

— Завтра? Как же! Непременно.

— Совсем забыла, — сказала она снова и улыбнулась.

Когда она пошла, я заметил, какие у нее тонкие, красивые ноги, их забрызгало грязью. На ней были стоптанные башмаки.

X

Тот день я особенно запомнил. С него я и отсчитываю лето. Солнце светило уже с ночи и к утру просушило землю, воздух был чистый и тонкий после дождя.

Я пришел на пристань после полудня. Вода гладкая, тихая, к нам доносился говор и смех с островка, где работники и девушки вялили рыбу. Веселый это был день. Да, веселый, веселый день. Мы захватили корзины с вином и едой, вся компания разместилась в двух лодках, и женщины были в светлых платьях. Я так радовался, я напевал.

В лодке я стал думать, откуда же взялось столько народу. Тут были дочки судьи и приходского доктора, две гувернантки,

дамы из пасторской усадьбы; я был с ними незнаком, я впервые их видел, но они держались так просто, словно мы знаем друг друга целый век. Разумеется, не обошлось без промахов, я совсем отвык от общества и часто обращался к барышням на ты; но мне это сошло. Один раз я даже сказал «милая», или «моя милая», но меня и тут простили и сделали вид, будто ничего я такого не говорил.

Господин Мак явился, как всегда, в своей некрахмаленой манишке с брильянтовой булавкой. Он был, видимо, в отличном расположении духа и кричал другой лодке:

— Вы за бутылками смотрите, повесы! Доктор, вы мне отвечаете за бутылки!

— Согласен! — кричал доктор.

И как бодро и празднично делалось на душе от одних этих выкликов...

Эдварда была в том же платье, что и накануне, — не нашла другого, или поленилась переодеться, или уж я не знаю что. И башмаки были те же. Мне даже показалось, что руки у нее немытые; зато она надела новенькую шляпку с пером. Свою перекрашенную кофту она постелила на сиденье.

По просьбе господина Мака я выстрелил, когда мы сходили на берег, выстрелил дважды, из обоих стволов; и мы прокричали «ура». Мы пошли по острову, сушильщики кланялись нам, и господин Мак побеседовал со своими работниками. Мы рвали львиный зев и лютики и втыкали их в петлицы; кое-кто напал на колокольчики.

И уйма морских птиц, — они гоготали, орали в вышине и по берегу.

Мы расположились на лужайке, в соседстве бедненькой поросли белых березок, распаковали корзины, и господин Мак откупорил бутылки. Светлые платья, синие глаза, звон стаканов, море, белые парусники. Мы пели песни.

И лица разгорелись.

Скоро голова у меня кругом идет от радости; на меня действуют всякие мелочи; на шляпке колышется вуаль, выбивает-

ся прядка, два глаза сощурились от смеха, и это меня трогает. Какой день, какой день!

— Говорят, у вас премилая сторожка, господин лейтенант?

— Да, лесное гнездо, до чего же оно мне по сердцу. Заходите как-нибудь в гости, фрекен; такую сторожку поискать. А за нею лес, лес.

Подходит вторая и говорит приветливо:

— Вы прежде не бывали у нас на севере?

— Нет, — отвечаю я, — но я уже все тут знаю, сударыни. Ночами я стою лицом к лицу с горами, землей и солнцем. Но лучше я оставлю этот выспренний стиль... Ну и лето у вас! Подберется ночью, когда все спят, а утром — тут как тут. Я подсматривал из окна и все увидел. У меня в сторожке два окна.

Подходит третья. У нее маленькие ручки и какой у нее голос, она прелестна. До чего они все прелестны! Третья говорит:

— Давайте обменяемся цветами? Это приносит счастье.

— Да, — сказал я и уже протянул руку, — давайте меняться. Спасибо вам. Какая вы красивая, какой у вас милый голос, я его заслушался.

Но она прижимает к груди колокольчики и отвечает резко:

— Что это с вами? Я вовсе не к вам обращалась.

Так она обращалась не ко мне! Мне больно от моей оплошности, мне хочется домой, подальше, к моей сторожке, где мой единственный собеседник — ветер.

— Извините меня, — говорю я, — простите меня.

Остальные дамы переглядываются и отходят в сторону, чтоб не видеть моего униженья.

В эту минуту к нам кто-то подходит, — это Эдварда, все ее видят. Она идет прямо ко мне, что-то говорит, бросается ко мне на шею, притягивает к себе мою голову и несколько раз подряд целует меня в губы. Всякий раз она что-то приговаривает, но я не слышу что. Я вообще ничего не понимал, сердце у меня остановилось, я только видел, как горят у нее глаза. Вот она меня выпустила, с трудом перевела дыханье, да так и осталась стоять, темная шеей и лицом, высокая, тонкая, и глаза у нее блес-

тели, и она ничего не видела; все смотрели на нее. Снова поразили меня ее темные брови, они изгибались такими высокими дугами.

Ах, Господи ты Боже мой! Взяла и поцеловала меня на виду у всех!

— Что это вы, йомфру Эдварда? — спросил я. И я слышу, как стучит моя кровь, она стучит словно прямо у меня в горле, голос мой срывается и не слушается.

— Ничего, — отвечает она. — Просто мне захотелось. Просто так.

Я снимаю картуз, механически откидываю волосы со лба, стою и смотрю на нее. Просто так? — думаю я.

Тут с дальнего конца острова доносится голос господина Мака, он что-то говорит, и слов не разобрать; и я с радостью думаю о том, что господин Мак ничего не видел, ничего не знает. Как же хорошо, что он как раз оказался на дальнем конце острова! У меня отлегло от сердца, я подхожу ко всей компании, я смеюсь и говорю, прикидываясь совершенно беспечным:

— Прошу всех простить мою непристойную выходку; я и так вне себя. Я воспользовался минутой, когда йомфру Эдварда предложила мне обменяться цветами, и нанес ей оскорбленье; приношу ей и вам свои извинения. Ну поставьте себя на мое место: я живу один, я не привык обращаться с дамами; и потом я пил вино, к которому у меня тоже нет привычки. Будьте же снисходительны.

Я смеялся и прикидывался беспечным, я делал вид, что все это пустяк, который надо поскорей забыть, на самом же деле мне было не до шуток. Впрочем, на Эдварду моя речь не произвела никакого впечатления, ровным счетом никакого, она и не думала ничего скрывать, заглаживать свою опрометчивость, напротив, она села рядом со мной и не сводила с меня глаз. И время от времени ко мне обращалась. Потом, когда стали играть в горелки, она сказала во всеуслышанье:

— Мне давайте лейтенанта Глана. Чтоб я за кем-то еще бегала? Ни за что!

— О черт, да замолчите же вы наконец, — шепнул я и топнул ногой.

Недоумение отразилось на ее лице, она сморщила нос, словно от боли, и улыбнулась. И опять она показалась мне такой беззащитной, и такая потерянность была в ее взгляде и во всей ее тонкой фигуре, что я не смог этого вынести. Меня охватила нежность, и я взял ее узкую длинную руку в свою.

— Потом! — сказал я. — Не теперь. Мы ведь завтра увидимся, правда?

XI

Ночью я слышал, как Эзоп выходил из своего угла и рычал, я слышал это сквозь сон; но мне как раз снилась охота, рычанье как будто было во сне, и я не проснулся. Когда в два часа утра я вышел из сторожки, на траве были следы человечьих ног; кто-то побывал здесь, подходил сначала к одному окну, потом к другому. Следы терялись у дороги.

Она шагнула мне навстречу, лицо у нее горело, глаза сияли.

— Вы ждали? — сказала она. — Я боялась, как бы вам не пришлось ждать.

Я не ждал, она пришла первая.

— Вы хорошо спали? — спросил я. Я почти не знал, что говорить.

— Нет, какое там, я и не ложилась, — ответила она. И рассказала, что всю ночь она не спала, так и просидела на стуле с закрытыми глазами. Она даже выходила из дому.

— Кто-то был ночью возле моей сторожки, — сказал я. — Утром я видел следы на траве.

И она краснеет, она прямо посреди дороги берет меня за руку и не отвечает. Я смотрю на нее и спрашиваю:

— Уж не вы ли?

— Да, — ответила она и прижалась ко мне, — да, это я. Я ведь не разбудила вас, я ступала тихо-тихо. Да, да, это я. Я еще разок побывала с вами рядом. Я вас люблю.

XII

Всякий день, всякий день я ее видел. Не стану отпираться, я был рад, да, я совсем потерял голову. Тому минуло уже два года; теперь я думаю об этом только, когда самому захочется, все приключение просто забавляет и рассеивает меня. Что же до двух зеленых перьев, так это я еще объясню, непременно объясню чуть позже.

У нас было много условных местечек: у мельницы, на дороге, даже и у меня в сторожке; она приходила, куда я ни скажу. «Здравствуй!» — кричала она всегда первая, и я отвечал: «Здравствуй».

— Ты нынче веселый, ты поёшь, — говорит она, и глаза у нее сияют.

— Да, я веселый, — отвечаю я. — У тебя на плече пятно, это пыль, видно, ты перепачкалась по дороге; как мне хочется поцеловать это пятно, ну позволь мне его поцеловать. Все твое мне так дорого, я с ума по тебе схожу. Я не спал нынче ночью.

И это правда, не одну ночь я провел без сна.

Мы бредем рядышком по дороге.

— Скажи, тебе нравится, как я себя веду? — говорит она. — Может, я чересчур много болтаю? Нет? Но ты сразу говори, если что не так. Иногда мне кажется, что это не может кончиться добром...

— Что не кончится добром? — спрашиваю я.

— Ну, у нас с тобой. Что это добром не кончается. Хочешь верь, хочешь не верь, а вот мне сейчас холодно; у меня вся спина леденеет, только я к тебе подойду. Это от счастья.

— И я тоже холодею, только тебя увижу, — отвечаю я. — Нет, все будет хорошо. А пока давай я тебя похлопаю по спине, ты и согреешься.

Она нехотя уступает, я хлопаю посильнее шутки ради, я хохочу и спрашиваю, согрелась ли она.

— Ах, смилостись, перестань колотить меня по спине, — говорит она.

Словечко-то какое! И как жалко она это сказала: смилостись.

Мы пошли дальше вдоль дороги. Уж не гневаются ли на меня за мою шутку? — спросил я себя и подумал: поглядим.

Я сказал:

— Вот мне как раз вспомнилось. Однажды я катался на санках с одной молодой дамой, и она сняла с себя белый шелковый платок и повязала мне на шею. Вечером я ей сказал: завтра я верну вам платок, я отдам его постирать. Нет, — отвечает она, — верните его теперь же, я так и сохраню его, в точности так. И я отдал ей платок. Через три года я снова встретил ту молодую даму. А платок? — спросил я. Она принесла платок. Он так и лежал нестираный в бумаге, я сам видел.

Эдварда быстро глянула на меня.

— Да? И что же дальше?

— Нет, дальше ничего не было, — сказал я. — Просто это, по-моему, красивый поступок.

Пауза.

— А где она теперь?

— За границей.

Больше мы об этом не говорили. Но уже прощаясь, она сказала:

— Ну, спокойной ночи. И не думай об этой даме, ладно? Я ни о ком не думаю, только о тебе.

Я поверил ей, я видел, что она говорит правду, и ничего-то мне больше не нужно было, раз она думает только обо мне. Я нагнал ее.

— Спасибо тебе, Эдварда, — сказал я. Сердце мое было переполнено, и я прибавил: — Ты слишком хороша для меня, но спасибо тебе за то, что ты меня не гонишь, Бог наградит тебя, Эдварда. Я сам не знаю, что ты во мне нашла, есть ведь столько других, куда достойней. Но зато я совсем твой, весь, каждой жилкой и со всей своей бессмертной душою. О чем ты? У тебя на глазах слезы.

— Нет, нет, ничего, — ответила она. — Ты говоришь так непонятно... что Бог наградит меня. Ты так говоришь, будто... Как я тебя люблю!

Она бросилась мне на шею тут же посреди дороги и крепко меня поцеловала.

Когда она ушла, я свернул в сторону и бросился в лес, чтоб побыть один на один со своей радостью. Потом я встревожился, побежал обратно к дороге — посмотреть, не видел ли меня кто. Но там никого не было.

XIII

Летние ночи, и тихая вода, и нерушимая тишь леса. Ни вскрика, ни шагов на дороге, сердце мое словно полно темным вином.

Мотыльки и мошкара неслышно залетают ко мне в окно, соблазнясь огнем в очаге и запахом жареной птицы. Они глухо стукаются о потолок, жужжат у меня над ухом, так что по коже бегут мурашки, и усаживаются на мою белую пороховницу. Я разглядываю их, они трепыхают крылышками и смотрят на меня — мотыльки, древоточицы и шелкопряды. Иные похожи на летающие фиалки.

Я выхожу из сторожки и прислушиваюсь. Ничего, ни звука, все спит. Все светлым-светло от насекомых, мириады шуршащих крыльев. Дальше, на опушке собрались папоротники, и борец, и боярышник, я так люблю его мелкий цвет. Слава тебе, Господи, за каждый кусточек вереска, который ты дал мне увидеть; они словно крошечные розы на обочине, и я плачу от любви к ним. Где-то близко лесная гвоздика, я не вижу ее, я узнаю ее по запаху.

А ночью вдруг распускаются большие белые цветы, венчики их открыты, они дышат. И мохнатые сумеречницы садятся на них, и они дрожат. Я хожу от цветка к цветку, они словно пьяные, цветы пьяны любовью, и я вижу, как они хмелеют.

Легкий шаг, человечье дыханье, веселое «здравствуй».

Я отвечаю и бросаюсь в дорожную пыль, и обнимаю эти колени и простенькую юбку.

— Здравствуй, Эдварда! — говорю я снова, изнемогая от счастья.

— Как ты меня любишь! — шепчет она.

— Не знаю, как и благодарить тебя! — отвечаю я. — Ты моя, и я весь день не нарадуюсь, и сердце мое не натешится, я все думаю о тебе. Ты самая прекрасная девушка на этой земле, и я тебя целовал. Я, бывает, только подумаю, что я тебя целовал, и даже краснею от радости.

— Но почему ты сегодня так особенно любишь меня? — спрашивает она.

По тысяче, по тысяче причин, и мне достаточно одной только мысли о ней, одной только мысли. Этот ее взгляд из-под бровей, выгнутых высокими дугами, и эта темная, милая кожа!

— Как же мне не любить тебя! — говорю я. — Да я каждое деревце благодарю за то, что ты бодра и здорова. Знаешь, както раз на бале одна юная дама все сидела и не танцевала, и никто ее не приглашал. Я был с ней незнаком, но мне понравилось ее лицо, и я пригласил ее на танец. И что же? Она покачала головой. «Фрекен не танцует?» — спросил я. «Представьте, — ответила она, — мой отец был так хорош собой и мать моя была писаная красавица, и отец любил ее без памяти. А я родилась хромая».

Эдварда посмотрела на меня.

— Сядем, — сказала она.

Мы сели посреди вереска.

— Знаешь, что про тебя говорит одна моя подруга? — начала она. — Она говорит, что у тебя взгляд зверя и когда ты на нее глядишь, она сходит с ума. Ты как будто до нее дотрагиваешься.

Сердце мое дрожит от нестерпимой радости, не за себя, а за Эдварду, и я думаю: мне нужна только одна-единственная, что-то она говорит о моем взгляде?

Я спросил:

— Что ж это за подруга?

— Этого я тебе не скажу, — ответила она. — Но она была с нами тогда, у сушилен.

— А... — сказал я.

И мы заговорили о другом.

— Отец на этих днях собирается в Россию, — сказала она, — и я отпраздную его отъезд. Ты был на Курхольмах? Мы возьмем с собой две корзины с вином, дамы с пасторской усадьбы тоже едут, отец уже распорядился насчет вина. Только ты не будешь больше глядеть на мою подругу? Ведь правда? А то я ее не позову.

И она вдруг умолкла и кинулась мне на шею, и стала смотреть на меня, не отрываясь смотреть мне в лицо, и я слышал, как она дышит. И темными, черными стали у нее глаза.

Я резко поднялся и в смятенье только и мог выговорить:

— А... твой отец едет в Россию?

— Почему ты вдруг встал? — спросила она.

— Потому что уже поздно, Эдварда, — сказал я. — Белые цветы закрываются, встает солнце, уже утро.

Я проводил ее по лесу, я стоял и смотрел на нее, пока она не скрылась из виду; далеко-далеко она обернулась, и до меня слабо донеслось «спокойной ночи!».

И она исчезла. В ту же минуту отворилась дверь у кузнеца, человек в белой манишке вышел, огляделся, надвинул шляпу на лоб и зашагал в сторону Сирилунна.

У меня в ушах еще звенел голос Эвварды — «спокойной ночи!».

XIV

Голова кругом идет от радости. Я разряжаю ружье, и немыслимое эхо летит от горы к горе, несется над морем и ударяет в уши бессонного рулевого. Чему я так радуюсь? Мысли, воспоминанью, лесному шуму, человеку? Я думаю о ней, я закрываю глаза и стою тихо-тихо, и думаю о ней, я считаю минуты.

Вот мне хочется пить, и я напиваюсь из ручья; вот я отсчитываю сто шагов туда и сто обратно; она что-то запаздывает.

Не случилось ли чего? Прошел всего месяц, месяц срок не долгий; нет, ничего не случилось! Бог свидетель, месяц этот пролетел так быстро. А вот ночи иной раз выпадают долгие, и я

решаю намочить картуз в ручье и просушить его, чтоб как-нибудь скоротать время.

Время я считал ночами. Бывало и так, что наступала ночь, а Эдварда не приходила, однажды ее не было целых две ночи. Две ночи! Но нет, ничего, ничего не случилось, и мне подумалось, что никогда уж я не буду так счастлив.

И разве я ошибся?

— Ты слышишь, Эдварда, как неспокойно сегодня в лесу? Листы дрожат, шум и возня на кочках. Что-то они там затевают... но я не о том, я не то хотел тебе сказать. В горах поет птица, синичка просто. Она две ночи сидит на одном месте и все поет, все зовет своего дружка. Слышишь, как заладила, как заладила одно и то же!

— Да, да, я слышу. Но отчего ты спрашиваешь?

— Сам не знаю. Она две ночи тут сидит. Это я и хотел тебе сказать, больше ничего... Спасибо, спасибо, что пришла, любимая! Я ждал, ждал, может, ты сегодня придешь, а может, завтра. Я так обрадовался, когда тебя увидел.

— И я ждала. Я все думаю о тебе. Я собрала и спрятала осколки того стакана, что ты тогда разбил. Помнишь? Отец сегодня уехал, мне нельзя было прийти, надо было так много всего уложить, собрать его в дорогу. Я знала, что ты ходишь по лесу и ждешь, я укладывала его вещи и плакала.

Но прошло ведь две ночи, подумал я, что же она в первую-то ночь делала? И отчего в глазах ее нет уже той радости, что прежде?

Прошел час. Синица в горах умолкла, лес замер. Нет, нет, ничего не случилось; все как прежде, она протянула мне руку на прощанье и смотрела на меня с любовью.

— Завтра? — сказал я.

— Нет, завтра нет, — ответила она.

Я не спросил почему.

— Завтра ведь я устраиваю праздник, — сказала она и засмеялась. — Я просто хотела сделать тебе сюрприз, но у тебя так вытянулось лицо, что, видно, лучше уж сказать сразу. Я хотела послать тебе записку.

Как же у меня отлегло от сердца!

Она кивнула мне и пошла было.

— Еще только одно, — сказал я, не двигаясь с места. — Скажи мне, когда ты собрала и спрятала осколки стакана?

— Когда собрала?

— Ну да. Неделю назад, две недели?

— Может, и две недели назад. И почему ты спрашиваешь? Нет, уж скажу тебе правду, это было вчера.

Вчера, вчера, не далее как вчера она думала обо мне! Значит, все хорошо.

XV

Мы разместились в двух лодках. Мы пели и перекликались. Курхольмы лежали за островами, это довольно далеко, и мы покуда перекликались с лодки на лодку. Доктор оделся во все светлое, как наши дамы; никогда еще не видывал я его таким довольным, — то он все молчал, а тут вдруг разговорился. Мне показалось даже, что он слегка подвыпил и оттого такой веселый. Когда мы сошли на берег, он на минуту потребовал нашего внимания и попросил всех чувствовать себя как дома. Я подумал: ага, стало быть, Эдварда избрала его хозяином.

Дамам он выказывал высшую степень учтивости. С Эдвардой он был внимателен и приветлив, порой обращался с ней отечески и, как не раз прежде, педантически ее наставлял. Стоило ей упомянуть дату, сказать: «Я родилась в тридцать восьмом году», — как он спросил: «В тысяча восемьсот тридцать восьмом, не так ли?» И ответь она: «Нет, в тысяча девятьсот тридцать восьмом», — он бы нимало не смутился, только поправил бы ее снова, да еще объяснил бы: «Этого не может быть». Когда говорил я, он слушал вежливо и внимательно, без всякого пренебреженья.

Молодая девушка подошла ко мне и поздоровалась. Я не узнал ее, никак не мог вспомнить, где же я ее видел; я, смешавшись, пробормотал что-то, и она засмеялась. Оказалось, что это

одна из дочерей пробста, мы были вместе у сушилен, я еще приглашал ее к себе в сторожку. Мы немного поболтали.

Проходит час или два. Я томлюсь, я пью все, что мне ни наливают, я накоротке со всеми, болтаю со всеми. Снова я допускаю промах за промахом, я не в своей тарелке, теряюсь, часто не нахожусь, что ответить на любезность; то я говорю невпопад, а то не могу выдавить ни слова и мучаюсь. Поодаль, у большого камня, что служит нам столом, сидит доктор и жестикулирует.

— Душа! Да что такое эта ваша душа? — говорит он. Тут вот дочь пробста обвинила его в свободомыслии, ну, а кто сказал, что нельзя мыслить свободно? Скажем, иные представляют себе ад, как некий дом глубоко в подземелье, а дьявола столоначальником или, пуще, прямо-таки его величеством. Ну так вот, ему, доктору, хочется, кстати, рассказать о запрестольном образе в приходской церкви: Христос, несколько евреев и евреек, превращение воды в вино, превосходно. Но у Христа на голове — нимб. А что такое этот нимб? Золотой обруч с бочонка, и держится на трех волосиках!

Две дамы сокрушенно всплеснули руками. Но доктор вышел из положения и добавил шутливо:

— Не правда ли, звучит ужасно! Признаю, признаю. Но если повторять и повторять это про себя семь или восемь раз подряд и потом еще немножко подумать, то уж и не так страшно покажется. Сударыни, окажите мне честь, выпейте со мною!

И он бросился на колени перед этими двумя дамами прямо в траву, а шляпу не положил рядом, нет, но высоко поднял левой рукой и так и осушил стакан, запрокинув голову. Я даже позавидовал такой ловкости и непременно выпил бы с ним вместе, да просто не успел.

Эдварда следила за ним глазами. Я сел с нею рядом, я сказал:

— А в горелки сегодня играть будем?

Она вздрогнула и поднялась.

— Помни, нам нельзя говорить друг другу ты, — шепнула она.

Но я и не думал говорить ей ты. Я снова отошел.

Проходит еще час. Какой долгий день! Я бы давно уж уехал домой, будь у меня третья лодка: Эзоп в сторожке, он привязан, он, верно, думает обо мне. Мысли Эдварды витали где-то дале-

ко от меня, это было ясно, она говорила о том, какое счастье уехать в дальние, незнакомые края, щеки у нее разгорелись, и она даже сделала ошибку.

— Не будет никого более счастливее меня в тот день...

— Более счастливее, — говорит доктор.

— Что? — спрашивает она.

— Более счастливее.

— Не пойму.

— Вы сказали — более счастливее. Только и всего.

— О, правда? Прошу прощенья. Не будет никого счастливее меня в тот день, когда я ступлю на палубу парохода. Иногда меня тянет куда-то, даже сама не знаю куда.

Ее тянет куда-то, она не помнит обо мне. Я смотрел на нее и по лицу ее видел, что ведь она меня забыла. Слов тут не надо, зачем?.. Просто я смотрел на нее — и видел все по ее лицу. И минуты тянулись томительно долго. Я всем докучал, все спрашивал, не пора ли нам домой. Уже поздно, говорил я, и мой Эзоп в сторожке, он привязан. Но домой никому не хотелось.

В третий раз я подошел к дочери пробста, я подумал: не иначе, как это она говорила о моем зверином взгляде. Мы выпили с нею; у нее был какой-то боязливый взор, она ни на чем не останавливала глаз, устремит их на меня и тотчас же отводит.

— Скажите, фрекен, — начал я, — вам не кажется, что люди в здешних краях сами похожи на быстрое лето? Так же переменчивы и так же прелестны?

Я говорил громко, очень громко, я нарочно так говорил. Не понижая голоса, я снова пригласил фрекен зайти ко мне в гости, поглядеть на мою сторожку.

— Осчастливьте, сделайте такую божескую милость, — молил я ее и уже думал, что бы такое подарить ей, если она придет. Ничего, пожалуй, не найдется, кроме пороховницы, решил я.

И фрекен обещала прийти.

Эдварда смотрела в другую сторону и никакого внимания не обращала на мои слова. Она прислушивалась к тому, что говорят другие, и время от времени вставляла слово в общую беседу. Доктор гадал дамам по руке и болтал без умолку, у самого у него руки были маленькие, изнеженные и на пальце кольцо. Я

почувствовал себя лишним и сел на камень в сторонке. День уже заметно клонился к вечеру. Вот я сижу один-одинешенек на камне, думал я, и единственная, к кому бы я тотчас подошел, окликни она меня, вовсе меня не замечает. Ну, да все равно, мне ничего не нужно...

Я чувствовал себя так сиротливо... Я слышал у себя за спиной разговор, в ушах у меня зазвенел смех Эдварды; тут я вдруг вскочил и подошел к ним ко всем. Я уже не владел собой.

— Минуточку, всего одну минуточку, — сказал я. — Видите ли, я сидел там на камне, и вдруг мне подумалось, что вам интересно будет взглянуть на мою коллекцию мух. — И я вытащил коробку. — Простите меня, что я едва не забыл про нее. Сделайте милость, посмотрите, все посмотрите, тут и красные мухи и желтые, вы посмотрите, я буду рад, очень рад. — И пока говорил, я держал картуз в руке. Потом я сообразил, что я снял картуз и что это глупо, и тотчас надел его.

На минуту воцарилось общее молчание, и никто не прикасался к коробке. Наконец доктор протянул к ней руку и вежливо сказал:

— Благодарствуйте. Так, так, поглядим, что это за штуки. Для меня всегда было загадкой, как делают этих мух.

— Я сам их делаю, — сказал я, переполненный признательностью. И тотчас же пустился объяснять, как я их делаю: — О, это совсем не трудно, я покупаю перья и крючки... мухи не очень удачные, но ведь это только так, для себя. А бывают и готовые мухи, так те очень красивые.

Эдварда бросила равнодушный взгляд на меня, потом на мою коробку и снова стала болтать с подругами.

— А, тут и материалы, — сказал доктор. — Взгляните, какие красивые перья.

Эдварда посмотрела.

— Лучше всех зеленые, — сказала она. — Дайте-ка их сюда, доктор.

— Возьмите их себе, — крикнул я. — Да, да, пожалуйста, прошу вас. Вот эти два зеленых. Сделайте одолжение, пусть это будет вам на память.

Она повертела перья в руке, потом сказала:

— Они зеленые, а на солнышке золотистые. Ну спасибо, если уж вам так хочется их мне подарить.

— Мне хочется их вам подарить, — сказал я.

Она прикрепила перья к платью.

Немного погодя доктор вернул мне коробку и поблагодарил. Он встал и поинтересовался, не пора ли уже нам подумывать о возвращении.

Я сказал:

— Да, да, ради Бога. У меня дома мой пес, понимаете, у меня есть пес, это мой друг, он думает обо мне, ждет меня не дождется, а когда я вернусь, он встанет передними лапами на окно и будет меня встречать. День был такой чудесный, скоро он кончится, пора домой. И спасибо вам всем.

Я встал у самой воды, чтобы посмотреть, в какую лодку сядет Эдварда, и самому сесть в другую. Вдруг она окликнула меня. Я взглянул на нее в недоумении, лицо у нее пылало. Вот она подошла ко мне, протянула руку и сказала нежно:

— Спасибо за перья... Мы ведь в одну лодку сядем, правда?

— Как вам угодно, — ответил я.

Мы вошли в лодку, она села подле меня на скамеечке, и ее колено касалось моего. Я посмотрел на нее, и она в ответ быстро глянула на меня. Так сладко мне было касанье ее колена, мне показалось даже, что я вознагражден за трудный день, и я готов уже был вернуться в прежнее радостное свое состояние, как вдруг она поворотилась ко мне спиной и стала болтать с доктором, который сидел на руле. Битых четверть часа я для нее словно не существовал. И тут я сделал то, чего до сих пор не могу себе простить и все никак не забуду. У нее с ноги свалился башмачок, и я схватил этот башмачок и швырнул далеко в воду — от радости ли, что она рядом, или желая обратить на себя внимание, напомнить ей, что я тут, — сам не знаю. Все произошло так быстро, я не успел даже подумать, просто на меня что-то нашло. Дамы подняли крик. Я сам оторопел, но что толку? Что сделано, то сделано. Доктор пришел мне на выручку, он крикнул: «Гребите сильней!» — и стал править к башмачку; мгновенье спустя, когда башмачок как раз зачерпнул воды и начал погружаться, гребец

подхватил его; рукав у него весь намок. Многоголосое «ура!» грянуло с обеих лодок в честь спасения башмачка.

Я от стыда не знал, куда деваться, я чувствовал, что весь изменился в лице, пока обтирал башмачок носовым платком. Эдварда молча приняла его из моих рук. И только потом уже она сказала:

— Ну, в жизни такого не видывала.

— Правда, не видывали? — подхватил я. Я улыбался и бодрился, я прикидывался, будто выходка моя вызвана какими-то соображеньями, будто за нею что-то скрывается. Но что же могло тут скрываться? Впервые доктор взглянул на меня с пренебреженьем.

Время шло, лодки скользили к берегу, неприятное чувство у всех сгладилось, мы пели, мы подходили к пристани. Эдварда сказала:

— Послушайте, мы же не допили вино, там еще много осталось. Давайте соберемся опять немного погодя, потанцуем, устроим настоящий бал у нас в зале.

Когда мы поднялись на берег, я извинился перед Эдвардой.

— Как мне хочется поскорей в мою сторожку, — сказал я. — Я измучился сегодня.

— Вот как, оказывается, вы измучились сегодня, господин лейтенант?

— Я хочу сказать, — ответил я, — я хочу сказать, что я испортил день себе и другим. Вот, бросил в воду ваш башмачок.

— Да, это была странная мысль.

— Простите меня, — сказал я.

XVI

Все было так плохо, куда уж хуже? И я решился охранять свой покой. Господь мне свидетель, что бы ни стряслось, я буду охранять свой покой. Я, что ли, ей навязывался? Нет, нет и нет. Просто в один прекрасный день случился на дороге, когда она проходила мимо.

Ну и лето тут, на севере! Уж не видать майских жуков, а людей я теперь совсем не могу понять, хоть солнце день и ночь на них светит. И во что только вглядываются эти синие глаза, и что за мысли бродят за этими странными лбами? А, да не все ли равно. Мне никто не нужен. Я брал удочки и рыбачил. Два дня, четыре дня. А по ночам я лежал, не смыкая глаз, в моей сторожке...

— Я ведь четыре дня не видал вас, Эдварда?

— Да, в самом деле четыре дня. Понимаете, столько хлопот. Вот войдите, взгляните.

Она ввела меня в залу. Столы вынесли. Стулья расставили по стенам. Все передвинуто; люстра, печь и стены причудливо убраны вереском и черной материей, взятой в лавке. Фортепьяно задвинуто в угол.

Это она готовилась к «балу».

— Ну как, вам нравится? — спросила она.

— Прелестно, — ответил я.

Мы вышли из залы.

Я сказал:

— А ведь вы меня совсем позабыли, правда, Эдварда?

— Я вас не понимаю, — ответила она изумленно. — Разве вы не видите, сколько я переделала дел? Когда же мне было заходить к вам?

— Ну конечно, — сказал я, — когда же вам было заходить ко мне. — Голова у меня кружилась от бессонных ночей, я еле держался на ногах, я говорил сбивчиво и неясно, весь день у меня так болело сердце. — Разумеется, вам некогда было зайти ко мне... Так о чем это я? Ах да, одним словом — вы переменились ко мне, что-то случилось. Не спорьте. Но по вашему лицу я не могу понять, что́. Какой у вас странный лоб, Эдварда! Я сейчас только это заметил.

— Но я вовсе вас не забыла! — крикнула она, залилась краской и взяла меня под руку.

— Ну да, да. Может быть, вы и не забыли меня. Но тогда я просто сам не знаю, что говорю. Уж одно из двух.

— Завтра я пошлю вам приглашение. Вы будете танцевать со мною. И потанцуем же мы!

— Вы не проводите меня немножко? — спросил я.

— Сейчас? Нет, я не могу, — ответила она. — Скоро будет доктор, он обещался мне помочь, кое-что еще надо поделать. Значит, вы находите, что зала убрана мило? А вам не кажется, что...

У крыльца останавливается коляска.

— О, доктор сегодня в карете? — спрашиваю я.

— Да, я послала за ним лошадь, я хотела...

— Ну да, поберечь его больную ногу. Так простите меня, я отправляюсь... Добрый день, добрый день, доктор. Рад вас видеть. Как всегда, в отличном здравии? Надеюсь, вы извините, если я вас тотчас оставлю?..

Спустившись с крыльца, я оглянулся, Эдварда стояла у окна и глядела мне вслед, она обеими руками раздвинула занавеси, и лицо у нее было задумчивое. Глупая радость пронизывает меня, я спешу от дома веселыми шагами, я не чую под собою ног, в глазах туман, ружье в моей руке легко, словно тросточка. Если б она была со мной, я бы стал хорошим человеком, думаю я. Я вхожу в лес и додумываю свои думы; если б она была со мной, как бы я служил ей, как угождал; и если б она оказалась нехороша ко мне, неблагодарна, требовала бы невозможного, я бы все, все делал для нее и не нарадовался бы, что она моя... Я остановился, упал на колени, в смиренной надежде припал губами к травинкам на обочине. Потом я встал и пошел дальше.

Под конец я почти успокоился. Ну и что же, что она ко мне переменилась! Это только так, просто такая уж она; она ведь стояла и смотрела мне вслед, стояла у окна и провожала меня глазами, пока я не исчез из виду. Чего же мне еще? Мне стало так хорошо, как никогда. Я с утра ничего не ел, но я уже не чувствовал голода.

Эзоп бежал впереди, вдруг он залаял. Я поднял глаза. Женщина в белом платке стояла возле моей сторожки; это была Ева, дочь кузнеца.

— Здравствуй, Ева! — крикнул я.

Она стояла подле большого серого камня, вся красная, и дула себе на палец.

— Ева! Ты? Что с тобою? — спросил я.

— Эзоп укусил меня, — ответила она и потупилась.

Я посмотрел на ее палец. Она сама себя укусила. Вдруг у меня в голове мелькает догадка, я спрашиваю:

— И долго ты тут дожидалась?

— Нет, недолго, — ответила она.

Больше мы не сказали друг другу ни слова, я взял ее за руку и ввел в сторожку.

XVII

С рыбной ловли я ушел не раньше обычного и явился на «бал» прямо с сумкой и ружьем, только что в лучшей своей куртке. Когда я подошел к Сирилунну, было уже поздно, я услышал, что в зале танцуют, потом кто-то крикнул:

— А вот и господин лейтенант! С охоты!

Меня обступила молодежь, всем хотелось взглянуть на мою добычу, я пристрелил несколько морских птиц и наловил пикши... Эдварда улыбнулась мне навстречу, она танцевала и вся раскраснелась.

— Первый танец со мной! — сказала она.

И мы стали танцевать. Все сошло благополучно, голова у меня закружилась, но я не упал. Мои грубые сапоги стучали об пол, я заметил этот стук и решил не танцевать больше, кроме того, я исцарапал крашеный пол. Но как же я радовался, что не наделал еще бóльших бед!

Оба приказчика господина Мака были тут же и танцевали истово, с серьезными минами. Доктор вовсю выделывал кадрильные па. Помимо этих кавалеров, в зале собралось еще четверо совсем зеленых юнцов, сыновья пробста и здешнего доктора. Откуда-то явился и заезжий коммерсант, он обладал приятным голосом и подпевал музыке, а то и подменял дам у фортепьяно.

Как прошли первые часы, я уже не помню, зато помню все, что было под конец. Солнце заливало залу красным светом, и морские птицы уснули. Нам подавали вино и печенья, мы громко болтали и пели, смех Эдварды звонко и беспечно разносил-

ся по зале. Но почему она больше не обмолвилась со мной ни единым словом? Я подошел к ней и, хоть небольшой на то мастер, хотел сказать ей любезность; она была в черном платье, его, верно, сшили к конфирмации, оно уже стало немного коротко, но когда она танцевала, это ей даже шло, и я хотел ей об этом сказать.

— Как черное платье... — начал я.

Но она встала, обняла за талию какую-то свою подружку и отошла прочь. Так повторялось несколько раз. Ладно, думал я, ничего не поделаешь! Но зачем тогда стоять у окна и провожать меня печальным взглядом? Зачем?

Одна дама пригласила меня на танец. Эдварда сидела поблизости, и я ответил громко:

— Нет, мне уже пора идти.

Эдварда глянула на меня, вскинула брови и сказала:

— Идти? Ах нет, вы не уйдете!

Я оторопел и до крови закусил губу. Я встал.

— Я не забуду того, что вы мне сейчас сказали, йомфру Эдварда, — сказал я горько и сделал несколько шагов в сторону двери.

Доктор подскочил ко мне, поспешила ко мне и Эдварда.

— Зачем вы так? — сказала она с упреком. — Я просто понадеялась, что вы уйдете последним, самым что ни на есть последним. Да и время-то всего только час... Ах, послушайте, — добавила она с сияющим лицом, — вы ведь дали гребцу пять талеров за то, что он спас мой башмачок. Это слишком много. — Тут она засмеялась от души и повернулась к остальным.

Я даже рот раскрыл от изумления, я был совершенно сбит с толку и обескуражен.

— Вы, верно, изволите шутить, — ответил я. — Вовсе я не давал вашему гребцу никаких пяти талеров.

— Не давали? — Она отворила дверь на кухню и кликнула работника. — Помнишь ты нашу прогулку к Курхольмам, Якоб? Ты еще спас из воды мой башмачок?

— Да, — отвечал Якоб.

— Получил ты пять талеров за то, что спас башмачок?

— Да, мне было дадено...

— Ну, хорошо. Ступай.

Что за причуда, подумал я. Решила меня осрамить? Нет, не удастся, в краску ей меня не вогнать. Я сказал громко и отчетливо:

— Я хочу, чтобы все вы знали, господа, что тут либо ошибка, либо обман. Мне и в голову не приходило давать гребцу пять талеров за ваш башмачок. Верно, я и должен бы так сделать, но как-то не догадался.

— Ну так давайте снова танцевать, — сказала она, наморщив лоб. — Отчего же мы не танцуем?

Погоди, ты мне еще все это объяснишь, решил я сам с собою, и с той минуты не выпускал ее из виду. Наконец она вышла в соседнюю с залой комнату, и я пошел за нею.

— Ваше здоровье! — сказал я и поднял свой стакан.

— У меня в стакане пусто, — только и ответила она. А ведь перед ней стоял стакан, и он был полнехонек.

— Я думал, это ваш стакан...

— Нет, это не мой, — сказала она, поворотилась к соседу и принялась с ним оживленно беседовать.

— Тогда простите, — сказал я.

Кое-кто из гостей заметил это небольшое происшествие.

Сердце во мне перевернулось от обиды, я сказал:

— Однако же нам надо объясниться...

Она встала, взяла обе мои руки в свои и проговорила с мольбой:

— Только не сегодня, не сейчас. Мне так грустно. Боже, как вы глядите на меня! Вы же были мне другом...

Я совсем потерялся, сделал поворот направо и вернулся к танцующим.

Вскоре в залу вошла и Эдварда, она стала подле фортепьяно, за которым наигрывал танец заезжий коммерсант, и на лице ее отразилась тайная забота.

— Я никогда не училась играть, — сказала она. Она посмотрела на меня, и глаза у нее потемнели. — Ах, если б я только умела!

Что я мог на это ответить? Но сердце мое снова метнулось к ней, и я спросил:

— Отчего вы вдруг так загрустили, Эдварда? Знали бы вы, как мне это больно.

— Сама не пойму, — ответила она. — Так, все вместе, должно быть. Ушли бы они все поскорее, все до единого. Только не вы, нет, нет. Помните, вы уйдете последним.

И от этих слов я опять оживаю, и глаза мои уже светло глядят в залитую солнцем залу. Дочь пробста подошла ко мне и завела со мной беседу: мне было не до нее, совсем не до нее, и я отвечал ей отрывисто. Я нарочно отводил от нее глаза, ведь это она говорила о моем зверином взгляде. Она обернулась к Эдварде и рассказала, как однажды за границей, в Риге, если я не путаю, ее преследовал какой-то господин.

— Он шел за мной по пятам из улицы в улицу и все улыбался, — сказала она.

— Так, может, он был слепой? — выпалил я, чтоб угодить Эдварде. И вдобавок пожал плечами.

Фрекен тотчас поняла мою грубость и ответила:

— Ну уж конечно, если он мог преследовать такую старую уродину, как я.

Но я не дождался от Эдварды благодарности, она увлекла свою подружку в дальний угол, они принялись шептаться и качать головами. И я был предоставлен самому себе.

Проходит еще час, в шхерах просыпаются морские птицы, их крик летит в наши распахнутые окна. Каждая жилка во мне дрожит, когда я слышу этот первый утренний крик, и мне хочется в шхеры...

Доктор опять пришел в отличное расположение духа и завладел всеобщим вниманием, дамы теснились вокруг него. Не он ли мой соперник? — подумал я, и тут же я подумал о его хромой ноге и обо всей его жалкой фигуре. Он напал на новую выдумку, он все время повторял «чтоб мне ни дна ни покрышки», и всякий раз при этом его чудно́м присловье я громко хохотал. Я вконец измучился, и мне уже представлялось, что раз этот

человек мой соперник, я должен всячески его отличать. Я смаковал каждое его острое словцо, я кричал:

— Послушайте только, что говорит доктор! — И принуждал себя громко хохотать, что бы он ни сказал.

— Я влюблен в сей мир, — говорил доктор. — Я держусь за жизнь руками и ногами. Но раз уж смерти не миновать, я надеюсь в царствии небесном заполучить местечко где-нибудь над самым Лондоном или Парижем, чтоб слушать гул толпы во веки вечные, во веки вечные.

— Великолепно! — крикнул я и закашлялся от смеха, хоть нисколько не был пьян.

Эдварда тоже казалась в восхищенье.

Когда начали расходиться, я забился в угловую комнатушку, сел и стал ждать. Я слышал, как один за другим гости, прощаясь, выходили на крыльцо. Доктор тоже простился и вышел. Скоро стихли все голоса. Сердце у меня гулко колотилось, я ждал.

Вот вернулась Эдварда. Завидя меня, она сначала замерла в изумлении, потом сказала с улыбкой:

— Ах, вы тут. Как мило, что вы всех переждали. Но я умираю от усталости.

Она не садилась.

Я сказал, тоже вставая со стула:

— Да, вам, верно, пора ложиться. Надеюсь, вам уже легче, Эдварда. Вы вдруг так загрустили, и меня это мучило.

— Пустое, я высплюсь, и все пройдет.

Мне нечего было прибавить, и я пошел к дверям.

— Да, спасибо, что пришли, — сказала она и протянула мне руку. Она пошла следом за мной в прихожую; это было совсем лишнее.

— Не надо, — сказал я, — не затрудняйтесь, я сам...

Но она все же вышла со мною. Она стояла в дверях и терпеливо ждала, пока я отыскивал картуз, ружье и сумку. В углу стояла трость, я ее заметил, пригляделся и узнал — это была палка доктора. Эдварда видит, на что я смотрю, и заливается краской, по лицу ее ясно, что она тут ни при чем и о палке не

подозревала. Проходит не меньше минуты. Наконец ее охватывает лихорадочное нетерпенье и совершенно вне себя она говорит:

— Ваша палка. Не забудьте свою палку.

И она берет докторскую палку и протягивает ее мне.

Я смотрел на нее, она стояла с палкой в руке, рука у нее дрожала. Чтоб положить этому конец, я взял палку и поставил ее обратно в угол. Я сказал:

— Это палка доктора. Не пойму, как хромой мог позабыть свою палку.

— Хромой, хромой! — крикнула она горько и подошла ко мне почти вплотную. — Вы-то не хромаете! Куда! Но если б вы даже и хромали, вы все равно его не стоите, вам до него далеко!

Я хотел ответить, ничего, ничего не приходило в голову, я молчал. Я низко поклонился ей и попятился к дверям, потом на крыльцо. На крыльце я мгновенье постоял, глядя прямо перед собой, потом пошел.

Так-так. Он забыл палку. Он вернется за нею этой дорогой. Он не хотел, чтобы *я* оставался последним... Я брел очень медленно, то и дело оглядывался, на опушке я остановился. Я ждал полчаса, наконец появился доктор; завидя меня, он ускорил шаг. Не успел он еще рта раскрыть, я приподнял картуз. Я решил поглядеть, что он станет делать. Он в ответ приподнял шляпу. Я пошел прямо на него и сказал:

— Я вам не кланялся.

Он отступил на шаг и вглядывался в мое лицо.

— Не кланялись?

— Нет, — сказал я.

Пауза.

— Ну ладно, мне это безразлично, — ответил он, бледнея. — Я иду за палкой, я ее забыл.

Сказать мне тут было нечего; но я придумал другое, я вытянул перед ним ружье, словно перед собакой, и крикнул:

— Гоп! — И принялся хлопать и свистать.

Мгновенье он боролся с собой, лицо его приняло престранное выражение, губы сжались, глаза вперились в землю. Вдруг

он остро глянул на меня, подобие улыбки осветило его черты, и он сказал:

— Ну зачем вам все это?

Я не отвечал; но его слова задели меня.

Он вдруг протянул мне руку и глухо проговорил:

— Что-то с вами неладно. Сказали бы мне лучше, может быть, я...

Тут меня захлестнули стыд и тоска, его спокойная речь совершенно вышибла меня из равновесия. Мне захотелось сделать ему приятное, я обнял его за талию и выпалил:

— Простите меня, слышите! Да нет, что со мной может быть неладно? Право же, не беспокойтесь, помощи мне не требуется. Вам, верно, нужна Эдварда? Вы застанете ее дома... Только поторопитесь, не то она ляжет спать; она так устала, я сам видел. Правда, поторопитесь, послушайте моего совета, и вы ее еще застанете. Что же вы стоите!

И я повернулся и поспешил прочь, я кинулся через лес, домой, в свою сторожку.

Долго я сидел на нарах, в точности как вошел, с сумкой через плечо и с ружьем в руке. Странные мысли бродили у меня в голове. И зачем была эта несдержанность перед доктором! Я с досадой представил себе, как обнимаю его за талию и гляжу на него мокрыми глазами; небось злорадствует, подумал я, должно быть, сидит сейчас с Эдвардой и насмешничает. Он оставил в прихожей свою палку. Да, да, видите ли, если б я даже и хромал, я все равно не стóю доктора, мне до него далеко, это подлинные ее слова...

Я встаю посреди комнаты, взвожу курок, приставляю дуло к левой лодыжке и нажимаю на спуск. Пуля проходит ступню и впивается в пол. Эзоп коротко, перепуганно лает.

Скоро в дверь стучат.

Это доктор.

— Извините, что я вторгаюсь, — начал он. — Вы так поспешно ушли, а ведь нам не мешало бы поговорить. Тут как будто пахнет порохом?

Он был совершенно трезв.

— Видели вы Эдварду? Взяли свою палку? — спросил я.

— Я взял свою палку. Нет, Эдварда уже легла... Что это? Господи Боже, да у вас кровь?

— Нет, это так, не стоит внимания. Я ставил ружье, а оно выстрелило; сущие пустяки. Черт вас побери, да отчего же это я должен перед вами тут отчитываться!.. Значит, вы взяли палку?

Он неотрывно смотрел на мой простреленный сапог и на струйку крови. Проворным движеньем он положил палку и стал снимать перчатки.

— Сидите-ка тихо, надо снять сапог. То-то мне показалось, что я слышу выстрел.

XVIII

Как же я жалел потом об этой глупости, и зачем это я, собственно, да и чего добился; только обрек себя несколько недель не вылезать за порог своей сторожки. Как сейчас помню все свои терзания и неудобства, моей прачке пришлось всякий день являться ко мне, чуть ли не жить у меня, покупать мне еду, вести мое хозяйство. Вот ведь поди ж ты!

Однажды доктор завел разговор об Эдварде. Я слушал ее имя, слушал, что она сказала или сделала, и это стало уже так не важно, он словно говорил о чем-то далеком и до меня не касающемся. До чего же скоро все забывается! — думал я в изумлении.

— Ну, а вы-то сами что думаете об Эдварде, раз уж вы о ней спрашиваете? Я, говоря по правде, уже несколько недель как ее не вспоминал. Погодите-ка, ведь, по-моему, между вами что-то было, вы так часто видались; когда ездили на острова, вы были за хозяина, она за хозяйку. Не отпирайтесь, доктор, что-то было, какая-то взаимная склонность. Да нет, Бога ради, не отвечайте, вы не обязаны мне отчитываться, я так только спрашиваю, сам не знаю зачем. Поговорим о другом, если хотите. Когда я смогу ходить?

Я сидел и думал о том, что́ только что сказал. Отчего я в глубине души боюсь, как бы доктор не разоткровенничался? Какое мне дело до Эдварды? Я ее забыл.

Потом еще как-то зашел разговор об Эдварде, и я опять перебил доктора; одному только Богу известно, что́ это я боялся услышать.

— Зачем вы перебиваете меня? — спросил он. — Не можете слышать ее имени?

— Скажите, доктор, — попросил я, — какого вы, собственно, мнения о йомфру Эдварде? Мне это интересно.

Он подозрительно глянул на меня:

— Какого я о ней мнения?

— Может, вы расскажете мне сегодня что-нибудь новенькое, может, вы даже посватались и получили согласие? Вас поздравить? Нет? Ну да, так я вам и поверил, ха-ха-ха!

— Ах, вот вы чего боялись!

— Боялся? Милейший доктор!

Пауза.

— Нет, я не сватался и не получал согласия, — сказал он. — Может, это вас можно поздравить? Нет, к Эдварде не сватаются, она сама берет, кого захочет. Думаете, она сельская простушка? Да вы и сами видите — здесь, в северной глуши, — и вдруг такое существо. Девчонка, бить ее некому, и взрослая причудница. Холодна? О, не беспокойтесь! Горяча? Сущий лед. Так что же она такое? Семнадцатилетняя девчонка, не правда ли? А вот вы попробуйте только повлиять на эту девчонку, так она сразу у вас всякую охоту отобьет. Отец и тот не найдет на нее управы; она с виду его слушается, а сама делает, что ее левая нога захочет. Она говорит, что у вас взгляд зверя...

— Тут вы ошибаетесь, это другая говорит, что у меня взгляд зверя.

— Другая? Кто же?

— Не знаю. Какая-то ее подруга! Нет, это не Эдварда. Погодите-ка, а может быть, это и правда сама Эдварда...

— Когда вы на нее смотрите, это-де так-то и эдак на нее действует. Но, думаете, это хоть на волосок вас к ней приближает?

Ни чуточки. Смотрите на нее, смотрите на здоровье. Но как только она почувствует себя в вашей власти, она тотчас решит: ишь ты, как он смотрит на меня и воображает себя победителем! И тут же одним взглядом или холодным словом отшвырнет вас за тридевять земель. Думаете, я ее не знаю? Как по-вашему, сколько ей лет?

— Она ведь родилась в тридцать восьмом году?

— Враки. Я забавы ради это проверил. Ей двадцать лет, хоть она и впрямь легко сойдет за пятнадцатилетнюю. У нее несчастный нрав, и он не дает покоя ее бедной головке. Когда она стоит и смотрит на море и скалы, у нее такой скорбный рот, и видно, как она несчастна; но она слишком горда и упряма и ни за что не расплачется. Она искательница приключений, у нее богатая фантазия, она ждет принца. Кстати, что это за история с пятью талерами, которые вы якобы дали гребцу?

— Шутка. Да нет, это пустяки...

— Нет, не пустяки. Она и со мной такое однажды проделала. Год тому назад. Мы стояли на палубе почтового парохода, он еще не отчалил. Шел дождь, и было холодно. Женщина с ребенком сидит на палубе и вся дрожит. Эдварда ее спрашивает: неужели вам не холодно? Как же, ей холодно.

— Ну, а маленькому не холодно?

Как же, и ему холодно.

— Отчего бы вам не спуститься в каюту? — спрашивает Эдварда.

— У меня билет на палубу, — ответила женщина.

Эдварда смотрит на меня.

— У женщины билет на палубу, — говорит она.

Что ж тут поделаешь, думаю я про себя. Но я понимаю все значение взгляда Эдварды. Я не родился в палатах, я начинал с медных грошей и не швыряю денег без счета. Я отодвигаюсь подальше от женщины с ребенком и думаю: если надо заплатить за нее, пусть платит сама Эдварда — они с отцом побогаче моего. И Эдварда, разумеется, платит сама. В этом ей нельзя отказать, у нее, бесспорно, доброе сердце. Но совершенно ясно, как дважды два, она ждала, чтоб я купил билет в каюту для жен-

щины с ребенком, я это понял по ее взгляду. Теперь слушайте дальше. Женщина встала и принялась благодарить.

— Не меня благодарите, а вон того господина, — отвечает Эдварда и с самым невозмутимым видом указывает в мою сторону. Ну, что вы скажете? Я слышу, как женщина благодарит теперь уже меня, я не знаю, что отвечать, но что тут поделаешь? Вот вам один из случаев, но я мог бы рассказать еще. И те пять талеров гребцу она, разумеется, дала сама. Если б это сделали вы, она бы кинулась к вам на шею; еще бы — рыцарь без страха и упрека, не пожалевший столь значительной суммы за стоптанный башмак, — такую она нарисовала себе картинку, таковы ее понятия. А раз вы не догадались, она все и проделала сама от вашего имени. В этом она вся — безрассудная и расчетливая вместе.

— Неужели же никому с ней не сладить? — спросил я.

— Ее следует воспитывать, — ответил доктор уклончиво. — То-то и беда, что ей дано слишком много воли, она делает, что захочет, она избалована, она окружена вниманием. Всегда под рукой есть кто-то, на ком можно проверять свое могущество. Замечали вы, как я с ней обращаюсь? Как со школьницей, с девчонкой. Я распекаю ее, исправляю ее речь, не пропускаю случая поставить ее в тупик. Думаете, она не понимает? Ах, она горда и упряма, ее это еще как задевает; но она до того горда, что ни за что не покажет виду. А потачки ей давать нельзя. До того, как появились вы, я уже год ее воспитывал, наметились кое-какие перемены, она стала плакать, когда ей больно или досадно, стала похожа на человека. И вот появились вы, и все пошло насмарку. Вот так. Один теряет терпенье, и за нее принимается другой; после вас, очень может быть, появится третий, кто знает...

Ого, бедный доктор, кажется, сводит со мной счеты, подумал я и сказал:

— Объясните, однако, с какой же стати вы взяли на себя труд мне все это сообщить? Должен ли я помочь вам в воспитании Эдварды?

— А ведь она горяча, как вулкан, — продолжал он, не слушая. — Вы вот говорите — неужели никто с ней не сладит? От-

чего же? Она ждет своего принца, его все нет, она ошибается вновь и вновь, она и вас приняла за принца, у вас ведь взгляд зверя, ха-ха! Послушайте, господин лейтенант, вам бы надо захватить сюда мундир, он бы пригодился. Нет, отчего же никто с ней не сладит? Я видел, как она ломает руки в ожидании того, кто бы пришел, взял ее, увез, владел бы ее телом и душою. Да. Но он должен появиться издалека, вынырнуть в один прекрасный день неизвестно откуда и быть непременно не как все люди. Вот я и полагаю, что господин Мак снарядил экспедицию, это его путешествие неспроста. Господин Мак однажды уже отправлялся в подобное путешествие и вернулся в сопровождении некоего господина.

— Вот как, некоего господина?

— Ах, он оказался непригодным, — сказал доктор и горько усмехнулся. — Это был человек моих лет и хромой, вроде меня. Какой уж там принц.

— И куда же он уехал? — спросил я, не сводя глаз с доктора.

— Куда уехал? Отсюда? Этого я не знаю, — смешавшись, ответил он. — Ну, мы, однако ж, заболтались. Через неделю вы уже сможете ступать на больную ногу. До свиданья.

XIX

Я слышу женский голос подле моей сторожки, кровь ударяет мне в голову, это голос Эдварды.

— Глан, Глан болен, оказывается?

И моя прачка отвечает под дверью:

— Да он уж почти поправился.

Это ее «Глан, Глан» так и пронизало меня насквозь, она дважды повторила мое имя, Боже ты мой, и голос у нее звенел и срывался.

Она, не постучавшись, толкнула дверь, вбежала и принялась смотреть на меня. И вдруг все сделалось как прежде; она надела свою перекрашенную кофточку и передничек повязала чуть ниже пояса, чтоб стан казался длинней. Я все это тотчас заме-

тил, и ее взгляд, ее смуглое лицо, и брови высокими дугами, и эти ее нежные руки — все так и полоснуло меня по сердцу, и у меня закружилась голова. «И я ее целовал!» — подумал я. Я встал и не садился.

— Вы встали, вы не садитесь, — заговорила она. — Сядьте же, у вас ведь болит нога, вы ее прострелили. Господи Боже, да как же это вы? Я только сейчас узнала. А я-то все думаю: что это с Гланом? Он совсем пропал. Я ничего не знала. Вы прострелили ногу, вот уж несколько недель, оказывается, а мне никто и слова не сказал. И как же вы теперь? До чего же вы бледный, вас просто не узнать. А нога? Будете вы хромать? Доктор говорит, вы не будете хромать. Какой же вы милый, что не будете хромать, и слава, слава Богу! Я думаю, вы извините меня, что я так запросто ворвалась к вам, я не шла, я бежала...

Она вся подалась ко мне, она стояла так близко, я чувствовал на своем лице ее дыханье, я протянул к ней руки. Но она отпрянула. В глазах ее еще стояли слезы.

— Это вот как получилось, — начал я, и голос меня не слушался. — Я ставил ружье в угол, я неправильно его держал, вот так, дулом вниз; и вдруг я слышу выстрел. Произошел несчастный случай.

— Несчастный случай, — проговорила она задумчиво и кивнула. — Постойте-ка, ведь это левая нога; но почему же именно левая? Ну да, случайность...

— Да, случайность, — оборвал я. — Откуда же я могу знать, почему именно левая? Вы ведь сами видите, я держал ружье вот так, стало быть, в правую ногу я никак не мог попасть. Конечно, веселого мало.

Она смотрела на меня и о чем-то сосредоточенно думала.

— Ну, вы, значит, поправляетесь, — сказала она и огляделась. — Отчего же вы не послали к нам за едой? Как же вы жили?

Мы поговорили еще несколько минут. Я спросил:

— Когда вы вошли, у вас было растроганное лицо, ваши глаза сияли, вы протянули мне руку. А теперь глаза у вас опять погасли. Мне ведь не почудилось?

Пауза.

— Не все же быть одинаковой...

— Но вы хоть сейчас только объясните, — попросил я, — только сейчас — что я сказал или сделал такого, чем вам не угодил? Надо же мне знать, хотя бы на будущее.

Она глядела в окно на далекую черту горизонта, стояла и задумчиво глядела прямо перед собой и ответила мне, не обернувшись в мою сторону:

— Ничего, Глан. Так, мало ли какие могут прийти в голову мысли. Ну вот вы и рассердились? Не забудьте, один дает мало, но и это много для него, другой отдает все, и ему это нисколько не трудно; кто же отдал больше? Вы приуныли за время болезни. Да, так к чему это я?

И вдруг она смотрит на меня, смотрит радостно, к лицу у нее приливает краска, она говорит:

— Ну выздоравливайте же поскорее. Всего доброго.

И она протянула мне руку.

Но вот тут-то мне и не захотелось подавать ей руку.

Я встал, заложил руки за спину и низко поклонился; так я поблагодарил ее за любезный визит.

— Простите, что не могу проводить вас, — сказал я. Когда она ушла, я сел и долго думал о том, что только что произошло. Я написал письмо с просьбой, чтобы мне выслали мундир.

XX

Первый день в лесу.

Я счастлив и еле держусь на ногах, всякая тварь разглядывает меня; на листьях сидят жуки, жужелицы на тропках. Как меня встречают! — думал я. Каждой порой чувствовал я душу леса, я плакал от любви, радовался несказанно, я изнемог от благодарности. Лес ты мой милый, мой дом, здравствуй, — хочется мне сказать от всего сердца... Я останавливаюсь, озираюсь во все стороны, сквозь слезы называю имена птиц, деревьев, камней, трав и букашек, оглядываюсь и по очереди их называю. Я гляжу на горы и про себя говорю: иду, иду! — так, словно кто

зовет меня. Там, в вышине, свили гнезда соколы, я давно об этом знаю. Но только я вспомнил о соколиных гнездах, и фантазия моя уносит меня далеко-далеко...

В полдень я сел в лодку и пристал к небольшому островку далеко в море. Тут росли лиловые цветы на долгих стеблях, они доходили мне до колен, я пробирался в невиданных зарослях, по малиннику и чертополоху; зверья тут не было никакого, и нога человека, верно, еще не ступала тут. Море гнало к берегу легкую пену и осеняло меня шорохом, где-то далеко у Эггехольмов расшумелись береговые птицы. И со всех сторон море, море, оно словно сжимало меня в объятьях. Будьте же благословенны жизнь, и земля, и небо, будьте благословенны мои враги. Я готов был в этот час любить самого заклятого своего недруга и развязать ремень обуви его...

До меня доносятся громкие крики грузчиков с баржи господина Мака, и все во мне дрожит от радости при знакомых звуках. Я гребу к пристани, выхожу на берег, миную рыбачьи бараки и направляюсь домой. Час уже не ранний; я приступаю к трапезе, делюсь своими припасами с Эзопом и снова иду в лес. Легкий ветерок овевает мне лицо. Здравствуй, милый, говорю я ветерку, который дует мне в лицо, здравствуй; каждая жилка моя на тебя не нарадуется! Эзоп кладет лапу мне на колено.

Меня одолевает усталость, и я засыпаю.

Трам! Там! Колокола? Далеко в море, в нескольких милях от берега стоит гора. Я читаю две молитвы, одну за моего пса, другую за себя, и мы входим в глубь горы. За нами захлопываются ворота, я вздрагиваю и просыпаюсь.

Небо пылает пожаром, солнце бьет прямо в глаза; ночь; горизонт дрожит от света. Мы с Эзопом прячемся в тень. Все тихо. Давай не будем больше спать, говорю я Эзопу, утром пойдем на охоту, видишь, на нас светит красное солнце, вовсе мы с тобой не входили в глубь горы.... И что-то странное творится со мной, и кровь вдруг ударяет мне в лицо; я чувствую, будто кто целует меня, и поцелуй горит на моих губах.

Я озираюсь — нигде никого. Изелина, — шепчу я. Трава шуршит, верно, лист упал на землю, а может быть, это шаги. По лесу идет дрожь, это, верно, вздох Изелины. Здесь бродила Изелина, здесь склонялась она на мольбы охотников в желтых сапогах и зеленых накидках. Жила в своей усадьбе в полумиле отсюда, сидела у окошка и слушала, слушала, как звенит по округе охотничий рог; это было в дни прапрадедов... Олень, волк, медведь водились в лесу, и охотников было немало; при них она росла, и каждый ее дожидался. Тому довелось увидеть ее взор, тот услыхал ее голос; но однажды ночью не спалось одному молодцу, и он не стерпел, просверлил стену в горнице Изелины и увидел ее бархатный, белый живот. По двенадцатому ее году сюда приехал Дундас. Он был родом шотландец, он торговал рыбой и владел множеством кораблей. У него был сын. Когда Изелине минуло шестнадцать лет, она увидела молодого Дундаса. Он стал ее первой любовью...

И что-то странное творится со мной. Голова у меня клонится; я закрываю глаза, и снова на моих губах поцелуй Изелины.

— Ты тут, Изелина, вечная возлюбленная? — шепчу я. — А Дундас, верно, стоит под деревом?

Но все клонится и клонится моя голова, и я падаю в сонные волны.

Трам-там! Кажется, голос! Млечный Путь течет по моим жилам, это голос Изелины:

Спи, спи! Я расскажу тебе о моей любви, пока ты спишь, и я расскажу тебе о моей первой ночи. Помню, я забыла запереть дверь; мне было шестнадцать, стояла весна, дул теплый ветер; и пришел Дундас, словно орел прилетел, свистя крылами. Я встретила его утром перед охотой, ему было двадцать пять, он приехал из чужих краев, мы прошли с ним вместе по саду, он коснулся меня локтем, и с той минуты я полюбила его.

На лбу у него рдели два красных пятна, и мне захотелось поцеловать эти пятна.

После охоты, вечером, я бродила по саду, я ждала его и боялась, что он придет. Я повторяла тихонько его имя и боялась, как бы он не услыхал. И вот он выступает из-за кустов и шепчет:

— Сегодня ночью в час!

И с этими словами исчезает.

Сегодня ночью в час, думаю я, что бы это значило, не пойму. Не хотел же он сказать, что сегодня ночью в час он снова уедет в чужие края? Мне-то что до этого?

И вот я забыла запереть дверь...

Ночью, в час, он входит ко мне.

— Неужто дверь не заперта? — спрашиваю я.

— Сейчас я запру ее, — отвечает он.

И он запирает дверь изнутри.

Его высокие сапоги стучали, я так боялась.

— Не разбуди мою служанку! — сказала я.

Я боялась еще, что скрипнет стул, и я сказала:

— Ой, не садись на стул, он скрипит!

— А можно сесть к тебе на постель? — спросил он.

— Да, — сказала я.

Но я сказала так потому только, что стул скрипел.

Мы сели ко мне на постель. Я отодвигалась, он придвигался. Я смотрела в пол.

— Ты озябла, — сказал он и взял меня за руку. Чуть погодя он сказал: — О, как ты озябла! — И обнял меня.

И мне стало жарко. Мы сидим и молчим. Поет петух.

— Слышишь, — сказал он, — пропел петух, скоро утро.

И он коснулся меня, и я стала сама не своя.

— А ты точно слышал, что пропел петух? — пролепетала я.

Тут я снова увидела два красных пятна у него на лбу и хотела встать. Но он не пустил меня, я поцеловала два милые, милые пятна и закрыла глаза...

И настало утро, было совсем светло. Я проснулась и не могла узнать стен у себя в горнице, я встала и не могла узнать своих башмачков; что-то журчало и переливалось во мне. Что это журчит во мне? — думаю я, и сердце мое веселится. Кажется, часы бьют, сколько же пробило? Ничего я не понимала, помнила только, что забыла запереть дверь.

Входит моя служанка.

— Твои цветы не политы, — говорит она.

Я позабыла про цветы.

— Ты измяла платье, — говорит она.

Когда это я измяла платье? — подумала я, и сердце мое взыграло; уж не сегодня ли ночью?

У ворот останавливается коляска.

— И кошка твоя не кормлена, — говорит служанка.

Но я уже не помню про цветы, платье и кошку и спрашиваю:

— Это не Дундас? Скорей проси его ко мне, я жду его, я хотела... хотела...

А про себя я думаю: «Запрет он дверь, как вчера, или нет?»

Он стучится. Я отворяю ему и сама запираю дверь, чтобы его не затруднять.

— Изелина! — шепчет он и на целую минуту припадает к моему рту.

— Я не посылала за тобой, — шепчу я.

— Не посылала? — спрашивает он.

Я снова делаюсь сама не своя, и я отвечаю:

— О, я посылала за тобой, я ждала тебя, душа моя так стосковалась по тебе. Побудь со мною.

И я закрываю глаза от любви. Он не выпускал меня, у меня подкосились ноги, я спрятала лицо у него на груди.

— Кажется, снова кричит кто-то, не петух ли? — сказал он и прислушался.

Но я поскорее оборвала его и ответила:

— Да нет, какой петух? Никто не кричал.

Он поцеловал меня в грудь.

— Это просто курица кудахтала, — сказала я в последнюю минуту.

— Погоди-ка, я запру дверь, — сказал он и хотел встать.

Я удержала его и шепнула:

— Она уж заперта...

И снова настал вечер, и Дундас уехал. Золотая темень переливалась во мне. Я села перед зеркалом, и два влюбленных глаза глянули прямо на меня. Что-то шелохнулось во мне под этим взглядом и потекло, и переливалось, струилось вокруг сердца.

Господи! Никогда еще я не глядела на себя такими глазами, и я целую свой рот в зеркале, изнемогая от любви...

Вот я и рассказала тебе про свою первую ночь, и про утро, и вечер, что настал после утра. Когда-нибудь я еще расскажу тебе про Свена Херлуфсена. И его я любила, он жил в миле отсюда, вон на том островке, — видишь? — и я сама приплывала к нему на лодке тихими летними ночами, потому что любила его. И о Стаммере я тебе расскажу. Он был священник, я его любила. Я всех люблю...

Сквозь дрему я слышу, как в Сирилунне поет петух.

— Слышишь, Изелина, и для нас пропел петух! — крикнул я, счастливый, и протянул руки. Я просыпаюсь. Эзоп уже вскочил. — Ушла! — говорю я, пораженный печалью, и озираюсь. Никого, никого! Я весь горю, я иду домой. Утро, петухи все кричат и кричат в Сирилунне.

У сторожки стоит женщина, это Ева. В руке у нее веревка, она собралась по дрова. Она такая молоденькая, сама как веселое утро, грудь ее тяжело дышит, ее золотит солнце.

— Вы только не подумайте... — начала она и запнулась.

— Что — не подумайте, Ева?

— Что я нарочно пришла сюда. Просто я шла мимо...

И лицо ее заливается краской.

XXI

Больная нога все беспокоила меня, часто ночью зудела и не давала спать, а то ее вдруг пронизывало острой болью и к перемене погоды ломило. Так тянулось долго. Но хромым я не остался.

Шли дни.

Господин Мак вернулся из своего путешествия, и я тотчас же на себе почувствовал, что он вернулся. Он отобрал у меня лодку, он поставил меня в затрудненье; охотничий сезон еще не начался, и стрелять нельзя было. Как же это он, ни словом не предупредив, отнял у меня лодку? Двое работников господина Мака утром вывезли в море какого-то незнакомца.

Я повстречал доктора.

— У меня отобрали лодку, — сказал я.

— К нам приехал гость, — ответил он, — его каждый день вывозят в море, а вечером доставляют на берег. Он изучает морское дно.

Приезжий был финн, господин Мак познакомился с ним по чистой случайности на борту парохода, он приехал со Шпицбергена и привез собранье раковин и морских зверушек, его называют бароном. Ему отвели залу и соседнюю с ней комнатку в доме господина Мака. К нему очень внимательны.

Я давно не ел мяса, может быть, Эдварда накормит меня ужином, подумал я. Я отправляюсь в Сирилунн. Я тотчас же замечаю, что Эдварда в новом платье, она словно бы выросла, платье очень длинное.

— Простите, что я не встаю, — только и сказала она и протянула мне руку.

— Да, к несчастью, дочка нездорова, — подтвердил господин Мак. — Простуда. Вот, не бережется... Вы, надо думать, пришли узнать насчет лодки? Придется мне ссудить вам другую, ялик. Он не новый, но если хорошенько отчерпывать... Дело в том, что у нас гостит один ученый господин, так что сами понимаете... Времени свободного у него нет, он работает весь день и возвращается к вечеру. Вы уж дождитесь его, он скоро будет. Вам ведь интересно свести с ним знакомство? Вот его карточка, с короной. Он барон. Приятнейший человек. Я познакомился с ним по чистой случайности.

Ага, подумал я. Ужинать тебя не оставляют. Слава тебе Господи, я не очень-то на это и рассчитывал, пойду себе домой. У меня в сторожке лежит еще немного рыбы. Чем рыба не еда? Ну и спасибо, с меня довольно.

Пришел барон. Маленького роста человек, лет сорока, длинное, узкое лицо, выдающиеся скулы, бедная черная бороденка. Взгляд за сильными очками острый и пронизывающий.

Пятизубая корона, такая же, как на визитной карточке, была у него и на запонках. Он слегка сутулился, и худые руки покрыты синими жилами, а ногти словно из желтого металла.

— Весьма польщен, господин лейтенант. Долго ли, господин лейтенант, изволили тут пробыть?

— Несколько месяцев.

Обходительный человек. Господин Мак попросил его рассказать о раковинах и морских зверушках, и он с готовностью согласился, объяснил нам, какие глины залегают в окрестностях Курхольмов, вышел в залу и принес оттуда образец взморника из Белого моря. Он то и дело поднимал к переносью правый указательный палец и поправлял золотые, в толстой оправе очки. Господина Мака в высшей степени заинтересовали разъяснения барона. Прошел час.

Барон заговорил о несчастном случае с моей ногой, о моем неудачном выстреле. Я уже оправился? В самом деле? О, он весьма рад. Откуда это он знает о несчастном случае? — подумал я. Я спросил:

— А кто рассказал господину барону о несчастном случае?

— Кто? В самом деле, кто же? Фрекен Мак как будто? Ведь правда, фрекен Мак?

Эдварда покраснела до корней волос.

Мне было так скверно, много дней подряд такая тоска давила меня, но при последних словах барона у меня вдруг потеплело на душе. Я не смотрел на Эдварду, я думал: спасибо тебе, что говорила обо мне, называла мое имя, произносила его, хоть что тебе в нем? Доброй ночи.

Я откланялся. Эдварда снова не поднялась, она из вежливости сослалась на нездоровье. Равнодушно протянула она мне руку.

А господин Мак был увлечен беседой с бароном. Он говорил про своего деда, консула Мака.

— Не помню, рассказывал ли я уже господину барону, что вот эту самую булавку король Карл-Юхан собственноручно приколол на грудь моего деда.

Я вышел на крыльцо, никто не проводил меня. Проходя, я бросил взгляд на окна залы, там стояла Эдварда, высокая, прямая, она обеими руками отвела гардины и смотрела в окно. Я даже не поклонился, все разом вылетело у меня из головы, смятенье охватило меня и погнало прочь.

Погоди, постой минутку сказал я сам себе уже на опушке. Отец небесный, да когда же все это кончится! Вдруг меня бросило в жар, и я застонал в бессильной злобе. Нет, не осталось у меня ни чести, ни гордости, неделю, не более, я пользовался милостью Эдварды, это давно позади, пора бы и опомниться. А мое сердце все не устанет звать ее, и о ней кричат дорожная пыль, воздух, земля у меня под ногами. Отец небесный, да что же это такое...

Я пришел в сторожку, приготовил рыбу и поел.

Все-то дни напролет ты надрываешь душу из-за жалкой школьницы, и пустые наваждения не отпускают тебя ночами. И душный воздух кольцом сжимает твою голову, спертый, прошлогодне пропахший воздух. А небо дрожит такой немыслимой синевой, и горы зовут тебя к себе. Эй, Эзоп, живее!

XXII

Прошла неделя. Я попросил лодку у кузнеца и питался рыбой. Эдварда и приезжий барон все вечера, как он возвращался с моря, проводили вместе, я видел их раз возле мельницы. Другой раз они прошли мимо моей сторожки, я отпрянул от окна и тихонько затворил дверь на засов, на всякий случай. Я увидел их вместе, и это не произвело на меня никакого впечатления, ровным счетом никакого, я только пожал плечами. Еще как-то вечером я столкнулся с ними на дороге, мы раскланялись, я выждал, пока поклонится барон, а сам лишь двумя пальцами тронул картуз, чтоб выказать невежливость. Когда мы поравнялись, я замедлил шаг и равнодушно смотрел в их лица.

Еще день минул.

Сколько уже их минуло, этих дней, долгих дней! Сердце не отпускала тоска, в голове неотступно стояло все одно и то же, даже милый серый камень подле сторожки как-то безнадежно и горько глядел на меня, когда я к нему приближался. Шло к дождю, стоял тяжкий плотный жар, левую ногу мою ломило, утром я видел, как жеребец господина Мака брыкался в оглоб-

лях; мне ясно было значенье всех этих примет. Надо запастись едой, пока стоит погожая пора, подумал я.

Я взял Эзопа на поводок, захватил рыболовные снасти и ружье и отправился к пристани. Тоска мучила меня больше обычного.

— Когда ждут почтового парохода? — спросил я одного рыбака.

— Почтового парохода? Через три недели, — ответил он.

— Мне выслали мундир, — сказал я.

Потом я встретил одного из приказчиков господина Мака. Я пожал ему руку и спросил:

— Скажите мне, Христа ради, неужто вы так-таки больше и не играете в вист?

— Как же! Играем. И часто, — ответил он.

Пауза.

— Мне последнее время все не случалось составить вам компанию, — сказал я.

Я поплыл к своей отмели. Сделалось совсем душно, тяжко, мошкара роилась тучами, я только тем и спасался, что курил. Пикша клевала, я удил на две удочки, улов был славный. На возвратном пути я подстрелил двух чистиков.

Когда я причалил к пристани, там стоял кузнец. Он работал. Меня осеняет внезапная мысль, я говорю кузнецу:

— Пойдемте вместе домой?

— Нет, — отвечает он, — господин Мак задал мне работы до самой полуночи.

Я кивнул и про себя подумал, что это хорошо.

Я взял свою добычу и пошел, я выбрал ту дорогу, что вела к дому кузнеца. Ева была одна.

— Я так по тебе соскучился, — сказал я ей. Меня тронуло ее смущенье, она почти не глядела на меня. — Ты такая молодая, у тебя такие добрые глаза, до чего же ты милая, — сказал я. — Ну накажи меня за то, что о другой я думал больше, чем о тебе. Я пришел только одним глазком на тебя взглянуть, мне так хорошо с тобою, девочка ты моя. Слыхала ты, как я звал тебя ночью?

— Нет, — отвечала она в испуге.

— Я звал Эдварду, йомфру Эдварду, но я думал о тебе. Я даже проснулся. Ну да, я сказал — Эдварда, но знаешь что? Не будем больше про нее говорить. Господи, до чего же ты у меня хорошая, Ева! У тебя такой красный рот, сегодня особенно. И ножки твои красивее, чем у Эдварды, вот, сама погляди.

Я приподнял ей юбку, чтоб она посмотрела на свои ноги.

Радость, какой я прежде у нее не видывал, ударяет ей в лицо; она хочет отвернуться, но одумывается и одной рукой обнимает меня за шею.

Идет время. Мы болтаем, сидим на длинной скамье и болтаем о том, о сем. Я сказал:

— Поверишь ли, йомфру Эдварда до сих пор не выучилась верно говорить, она говорит как дитя, она говорит «более счастливее», я сам слышал. Как по-твоему, красивый у нее лоб? По-моему, некрасивый. Ужасный лоб. И рук она не моет.

— Но мы ведь решили больше про нее не говорить?

— Верно. Я просто забыл.

Опять идет время. Я задумался, я молчу.

— Отчего у тебя мокрые глаза? — спрашивает Ева.

— Да нет, лоб у нее красивый, — говорю я, — и руки у нее всегда чистые. Она просто случайно один раз их запачкала. Я это только и хотел сказать. — Однако же я продолжаю, торопясь, сжав зубы: — Я день и ночь думаю о тебе, Ева; и просто мне пришло на ум кое-что тебе рассказать, ты, наверное, еще этого не слыхала, вот послушай. Когда Эдварда первый раз увидела Эзопа, она сказала: «Эзоп — это был такой мудрец, кажется, фригиец». Ну не глупо ли? Она ведь в то же утро вычитала об этом в книжке, я совершенно убежден.

— Да? — говорит Ева. — А что ж тут такого?

— Насколько я припоминаю, она сказала еще, что учителем Эзопа был Ксанф. Ха-ха-ха!

— Да?

— На кой черт оповещать собравшихся о том, что учителем Эзопа был Ксанф? Я просто спрашиваю. Ах, ты нынче не в духе, Ева, не то бы ты умерла со смеху.

— Нет, это, верно, и правда весело, — говорит Ева и старательно, удивленно смеется, — только я ведь не могу этого понять так, как ты.

Я молчу и думаю, молчу и думаю.

— Давай совсем не будем разговаривать, просто так посидим, — говорит Ева тихо. Она погладила меня по волосам, в глазах ее светилась доброта.

— Добрая ты, добрая душа! — шепчу я и прижимаю ее к себе. — Я чувствую, что погибаю от любви к тебе, я люблю тебя все сильней и сильней, я возьму тебя с собой, когда уеду. Вот увидишь. Ты поедешь со мной?

— Да, — отвечает она.

Я едва различаю это «да», скорее угадываю по ее дыханью, по ней самой, мы сжимаем друг друга в объятьях, и уже не помня себя она предается мне.

Час спустя я целую Еву на прощанье и ухожу. В дверях я сталкиваюсь с господином Маком.

С самим господином Маком.

Его передергивает, он стоит и смотрит прямо перед собой, стоит на пороге и ошалело смотрит в комнату.

— Н-да! — говорит он и больше не может выдавить ни звука.

— Не ожидали меня тут застать? — говорю я и кланяюсь.

Ева сидит, не шелохнувшись.

Господин Мак приходит в себя, он уже совершенно спокоен, как ни в чем не бывало он отвечает:

— Ошибаетесь, вас-то мне и надо. Я принужден вам напомнить, что, начиная с первого апреля и вплоть до пятнадцатого августа, запрещается стрелять в расстоянии менее четверти мили от мест, где гнездятся гагары. Вы пристрелили сегодня на острове двух птиц. Вас видели, мне передали.

— Я убил двух чистиков, — ответил я, опешив. До меня вдруг доходит, что ведь он в своем праве.

— Два ли чистика или две гагары — значения не имеет. Вы стреляли там, где стрелять запрещено.

— Признаю, — сказал я, — я этого не сообразил.

— Но вам бы следовало это сообразить.

— Я и в мае стрелял из обоих стволов на том же приблизительно месте. Это произошло во время прогулки к сушильням. И по личной вашей просьбе.

— То дело другое, — отрубил господин Мак.

— Ну так, черт побери, вы и сами прекрасно знаете, что́ вам теперь делать!

— Очень даже знаю, — ответил он.

Ева только и ждала, когда я пойду, и вышла следом за мною, она покрылась платком и пошла прочь от дома, я видел, как она свернула к пристани. Господин Мак отправился в Сирилунн.

Я все думал и думал. До чего же ловкий выход нашел господин Мак! И какие колючие у него глаза! Выстрел, два выстрела, два чистика, штраф, уплата. И, стало быть, все, все кончено с господином Маком и его семейством. Все, в сущности, сошло как нельзя глаже, и так быстро...

Уже начинался дождь, упали первые нежные капли. Сороки летали по-над самой землей, и когда я пришел домой и выпустил Эзопа, он стал есть траву. Поднялся сильный ветер.

XXIII

В миле подо мной море. Обломный дождь, а я в горах, и выступ скалы защищает меня от дождя. Я курю свою носогрейку, набиваю и набиваю без конца, и всякий раз, как я поджигаю табак, в нем оживают и копошатся красные червячки. И в точности как эти красные червячки, роятся мои мысли. Рядом на земле валяется пучок прутьев из разоренного гнезда. И в точности как это гнездо — моя душа.

Любую мелочь, любой пустяк из того, что случилось в тот день и назавтра, я помню. Хо-хо, и скверно же мне пришлось...

Я в горах, а море и ветер воют, ужасно стонет, шумит над ухом непогода. Барки и шхуны бегут вдаль, зарифив паруса, там люди, видно, им куда-то надо, и я думаю: Господи, куда это их несет в такую непогодь?

Море вскипает, взлетает и падает, падает, все оно словно толпа взбешенных чудищ, что с рыком кидаются друг на друга, или нет, словно несчетный хоровод воющих чертей, что скачут, втянув головы в плечи, и добела взбивают море ластами. Где-то там, далеко-далеко, лежит подводный камень, с него поднимается водяной и трясет белой гривой вслед валким суденышкам, которые летят навстречу ветру и морю, хо-хо! — навстречу морю, злому морю...

Я рад, что я один, что никто не видит моих глаз, я приник к скале, это моя опора, и я спокоен, что никто не подкрадется и не станет глядеть на меня со спины. Птица проносится над горой с пронзительным криком, в то же мгновенье чуть поодаль обрывается в море скала. А я сижу, не шевелясь, и мне так покойно, сердце вдруг уютно замирает, оттого что я надежно укрыт от дождя, а он все льет и льет. Я застегнул куртку и благодарил Бога за то, что она у меня такая теплая. Время шло. Я прикорнул.

Дело к вечеру, я иду домой, дождь все льет. И вот неожиданность. Передо мной на тропинке стоит Эдварда. Она промокла до нитки, видно, долго стояла на дожде, но она улыбается.

Ну вот! — думаю я, и меня охватывает злость, я изо всех сил сжимаю ружье и, не обращая никакого внимания на ее улыбку, я иду ей навстречу.

— Добрый день! — кричит она первая.

Я сначала подхожу еще на несколько шагов и только тогда говорю:

— Привет вам, дева красоты!

Ее передергивает от этой игривости. Ах, я сам не соображал, что говорю! Она улыбается робко и смотрит на меня.

— Вы были в горах? — спрашивает она. — Так, значит, вы промокли. Вот у меня платок, возьмите, он мне не нужен... Нет! Вы не хотите меня знать. — И она опускает глаза и качает головой.

— Платок? — отвечаю я и морщусь от злобы и удивленья. — Да вот у меня куртка, не хотите ли? Она мне не нужна, я все равно отдам ее первому встречному, так что берите, не стесняйтесь. Любая рыбачка с радостью ее возьмет.

Я видел, что она ловит каждое мое слово, она вся напряглась, и это вовсе к ней не шло, у нее оттопырилась нижняя губа. Она так и стоит с платком в руке, платок белый, шелковый, она сняла его с шеи. Я стаскиваю с себя куртку.

— Бога ради, скорее наденьте куртку! — кричит она. — Зачем вы, зачем? Неужто вы так на меня сердитесь? О Господи, наденьте же куртку, вы промокнете насквозь.

Я натянул куртку.

— Вам куда? — спросил я безразлично.

— Да так, никуда... Не пойму, зачем было снимать куртку...

— Куда вы подевали барона? — спрашиваю я далее. — В такую погоду граф едва ли на море...

— Глан, я хотела вам сказать одну вещь...

Я обрываю ее:

— Смею ли просить вас передать поклон герцогу?

Мы глядим друг на друга. Я готов оборвать ее снова, как только она раскроет рот. Наконец у нее страдальчески передергивается лицо, я отвожу глаза и говорю:

— Откровенно говоря, гоните-ка вы принца, мой вам совет, йомфру Эдварда. Он не для вас. Поверьте, он все эти дни прикидывает, брать ли вас в жены или не брать, что для вас не так уж лестно.

— Нет, не надо об этом говорить, ладно? Глан, я думала о вас, вы готовы снять с себя куртку и промокнуть ради другого человека, я к вам пришла...

Я пожимаю плечами и продолжаю свое:

— Взамен предлагаю вам доктора. Чем не хорош? Мужчина во цвете лет, блестящий ум. Советую вам подумать.

— Выслушайте меня. Всего минуту...

— Эзоп, мой пес, ждет меня в сторожке. — Я снял картуз, поклонился и опять сказал: — Привет вам, дева красоты.

И я пошел.

Тогда она кричит, кричит в голос:

— Нет, не разрывай мне сердце. Я пришла к тебе, я ждала тебя тут и улыбалась, когда тебя увидела. Вчера я чуть рассудка не лишилась, я думала все об одном, мне было так пло-

хо, я думала только о тебе. Сегодня я сидела у себя, кто-то вошел, я не подняла глаз, но я знала, кто это. «Я вчера прогреб полмили», — сказал он. «Не устали?» — спросила я. «Ну как же, ужасно устал и натер пузыри на ладонях», — сказал он; он был этим очень огорчен. А я думала: нашел, чем огорчаться! Потом он сказал: «Ночью у меня под окном шептались; это ваша горничная любезничала с приказчиком». «Да, у них любовь», — сказала я. «Но ведь в два часа ночи!» — «Ну и что же? — спросила я, помолчала и прибавила: — Ночи у них не отнять». Тогда он поправляет свои золотые очки и замечает: «Однако не кажется ли вам, что шептаться под окном посреди ночи не совсем прилично?» Я все не смотрела на него, так мы просидели минут десять. «Разрешите, я принесу вам шаль?» — спросил он. «Спасибо, не надо», — ответила я. «И кому-то достанется эта ручка?» — сказал он. Я не ответила, мысли мои были далеко. Он положил мне на колени шкатулку, я раскрыла ее, там лежала брошка. На брошке была корона, я насчитала в ней десять камешков... Глан, она у меня тут, хочешь посмотреть? Она вся раздавлена, вот подойди, посмотри, она вся раздавлена... «Ну, а зачем мне эта брошка?» — спросила я. «Для украшения», — ответил он. Но я протянула ему брошку и сказала: «Оставьте меня, я думаю о другом». — «Кто же он?» — «Охотник, — ответила я. — Он подарил мне лишь два чудесных пера на память. А брошку свою вы заберите себе». Но он не взял брошку. Только тут я на него поглядела, глаза его пронизывали меня насквозь. «Я не возьму брошку, делайте с ней, что вам угодно, хоть растопчите», — сказал он. Я встала, положила брошку под каблук и раздавила. Это было утром... Четыре часа я бродила по дому, в полдень я вышла. Он ждал на дороге. «Куда вы?» — спросил он. «К Глану, — ответила я, — я попрошу его не забывать меня...» С часу я ждала тебя тут, я стояла под деревом и увидела, как ты идешь, ты был точно Бог. Я смотрела, как ты идешь, я видела твою походку, твою бороду и твои плечи, как я любила все в тебе... Но тебе не терпится, ты хочешь уйти, поскорее уйти, я не нужна тебе, ты на меня не глядишь...

Я стоял. Когда она умолкла, я снова пошел. Я слишком намучился, и я улыбался, я одеревенел.

— Ах да, — бросил я, приостанавливаясь. — Вы ведь хотели мне что-то сказать?

И вот тут-то я надоел ей.

— Сказать? Но я уже все сказала. Вы что, не слышали? Нет, мне нечего, нечего больше вам сказать...

Голос ее странно дрожит, но это не трогает меня.

XXIV

Наутро, когда я выхожу, Эдварда стоит у сторожки.

За ночь я все обдумал и решился. Нет, больше я не дам себя морочить этой своевольной девчонке, темной рыбачке; хватит, и так уж слишком долго ее имя неотступно стояло у меня в голове и мучило меня. Довольно! К тому же мне казалось, что, как раз насмешничая и выказывая ей равнодушие, я поднялся в ее глазах. И ловко же я уязвил ее — она держит речь целых несколько минут, а я себе спокойно бросаю: ах да, вы ведь хотели мне что-то сказать...

Она стояла подле камня. Она была сама не своя и метнулась было мне навстречу, но сдержалась и стояла, ломая руки. Я притронулся к картузу и поклонился молча.

— Сегодня мне нужно от вас только одно, Глан, — заговорила она быстро. И я не двигался, просто мне захотелось послушать, что она такое скажет. — Я слыхала, вы были у кузнеца. Вечером. Ева была дома одна.

Я опешил и спросил:

— И кому вы обязаны этими сведениями?

— Я за вами не шпионю! — крикнула она. — Я узнала это вчера вечером, мне рассказал отец. Я пришла домой вчера вечером, я вся промокла, и отец меня спросил: «Ты надерзила барону?» — «Нет», — ответила я. «Где же ты была?» — спросил отец. Я ответила: «У Глана». И тогда он мне рассказал.

Я превозмогаю тоску и говорю:

— Ева и тут бывала.

— Тут? В сторожке?

— Не раз. Я зазывал ее. Мы разговаривали.

— И тут!

Пауза. Спокойно! — думаю я и говорю:

— Раз уж вы взяли на себя труд входить в мои дела, и я в долгу не останусь. Вчера я предлагал вам доктора. Ну как, вы подумали? Принц ведь никуда не годится.

Глаза ее вспыхивают гневом.

— Так знайте же, он еще как годится! — кричит она. — Он лучше вас, куда лучше, он не колотит чашек и стаканов, и я могу быть спокойна за свои башмаки. Да. Он умеет себя вести, а вы смешны, я за вас краснею, вы несносны, слышите, несносны!

Слова ее больно обидели меня, я наклонил голову и ответил:

— Правда ваша, я отвык от общества. Будьте же добрее; вы не хотите меня понять, я живу в лесу, в этом моя радость. В лесу никому нет вреда от того, что я такой, какой я есть; а когда я схожусь с людьми, мне надо напрягать все силы, чтоб вести себя как должно. Последние два года я так мало бывал на людях...

— Всякую минуту вы можете выкинуть любую гадость, — продолжала она. — Устаешь за вами смотреть.

Как жестоко она это сказала! Мне так больно, я чуть не упал, будто она ударила меня. Но Эдварде этого мало, она продолжает:

— Пускай Ева за вами и смотрит. Вот жаль только, она замужем.

— Ева? Вы говорите Ева замужем? — спросил я.

— Да, замужем!

— За кем же?

— Сами знаете. Ева жена кузнеца.

— Разве она не дочь его?

— Нет, она его жена. Уж не думаете ли вы, что я лгу?

Ничего я такого не думал, просто очень, очень велико было мое удивленье. Я стоял и думал: неужто Ева замужем?

— Так что вас можно поздравить с удачным выбором, — говорит Эдварда.

Ну когда же это кончится! Меня всего трясет, и я говорю:

— Так вот, подумайте-ка насчет доктора. Послушайтесь дружеского совета; ваш принц старый дурак. — И я сгоряча наговорил на него лишнего, преувеличил его возраст, обозвал его плешивым, подслепым; еще я говорил, что корона на запонках нужна ему исключительно на то, чтоб кичиться своей знатностью. — Впрочем, я не искал ближе с ним познакомиться, увольте, — сказал я. — Он ничем не выдается, в чем его суть — не поймешь, он просто ничтожество.

— Нет, нет, он не ничтожество! — кричит она, и голос ее срывается от гнева. — Он совсем не такой, как ты воображаешь, лесной дикарь! Вот погоди, он еще с тобой потолкует, о, я попрошу его! Ты думаешь, я не люблю его, так ты скоро увидишь, что ошибся. Я пойду за него замуж, я день и ночь буду думать о нем. Запомни, что я сказала: я люблю его. Пускай приходит твоя Ева, ох, Господи, пускай она приходит, до чего же мне это все равно. Мне бы только поскорей уйти отсюда... — Она пошла прочь от сторожки, сделала несколько быстрых шажков, обернулась белая, как полотно, и простонала:

— И не смей попадаться мне на глаза.

XXV

Желтеют листы, картофельная ботва цветет высокими кустами; снова разрешили охоту, я стрелял куропаток, глухарей и зайцев, раз подстрелил орла. Пустое, тихое небо, ночи прохладны, звонкие звуки, легкие шумы ходят полями и лесом. Покойно раскинулся Божий мир...

— Что-то господин Мак больше не поминает двух чистиков, которых я подстрелил, — сказал я доктору.

— А это вы благодарите Эдварду, — ответил он, — я знаю, я сам слышал, как она за вас заступалась.

— Что мне ее благодарить, — сказал я.

Бабье лето... Тропки располосили желтый лес, что ни день, нарождается по новой звезде, месяц плавает тенью, золотой тенью, обмокнутой в серебро...

— Господь с тобой, ты замужем, Ева?

— А ты не знал?

— Нет, я не знал.

Она молчит и стискивает мою руку.

— Господь с тобой, дитя, что же нам теперь делать?

— Что хочешь. Ты ведь еще не едешь. Пока ты тут, я и рада.

— Нет, Ева.

— Да, да, только пока ты тут!

Она очень жалка, она все стискивает мою руку.

— Нет, Ева, ступай! Все кончено.

Проходят ночи, приходят дни. Вот уж три дня прошло с того разговора. Из лесу идет Ева с тяжелой вязанкой. Сколько дров перетаскала за лето бедная девочка!

— Положи вязанку, Ева, дай мне глянуть в твои глаза. Они синие, как и прежде?

Глаза у нее были красные.

— Ну улыбнись же, Ева! Я не могу больше тебе перечить, я твой, я твой...

Вечер. Ева поет, я слушаю ее песню, к горлу подкатывает комок.

— Ты поёшь сегодня, Ева?

— Да, я так рада.

И она поднимается на цыпочки, чтобы меня обнять, ведь она такая маленькая.

— Ева, у тебя руки в ссадинах? Что бы я дал, чтоб на них не было ссадин!

— Это не важно.

И так чудесно сияет ее лицо.

— Ева, ты говорила с господином Маком?

— Один раз.

— О чем же вы говорили?

— Он к нам переменился, заставляет мужа день и ночь работать на пристани, меня тоже заставляет работать без отдыха. Он задает мне мужскую работу.

— Отчего он так?

Ева смотрит в землю.
— Отчего он так, Ева?
— Оттого, что я люблю тебя.
— Но откуда он мог это узнать?
— Я ему сказала.
Пауза.
— О Господи, хоть бы он подобрел к тебе, Ева!
— Да это не важно. Мне теперь все не важно.
И голос ее дрожит, словно тонкая песенка.

А листы все желтеют, дело к холодам, народилось много новых звезд, месяц кажется уже серебряной тенью, обмокнутой в золото. Еще не приморaживало, только прохладная тишь стояла в лесу, и повсюду жизнь, жизнь. Всякое дерево призадумалось. Поспели ягоды.

Потом наступило двадцать второе августа, и были три ночи, железные ночи, когда по северному календарю лету надо проститься с землей и уже пора осени надеть на нее свои железа.

XXVI

Первая железная ночь.

В девять часов заходит солнце. На землю ложится мутная мга, видны немногие звезды, два часа спустя мгу прорезает серп месяца.

Я иду в лес с моим ружьем, с моим псом, я развожу огонь, и отблески костра лижут стволы сосен. Не приморозило.

— Первая железная ночь, — говорю я вслух и весь дрожу от странной радости. — Какие места, какое время, как хорошо, Боже ты мой...

Люди, и звери, и птицы, вы слышите меня? Я благословляю одинокую ночь в лесу, в лесу! Благословляю тьму и шепот Бога в листве, и милую, простую музыку тишины у меня в ушах, и зеленые листья, и желтые! И сплошной шум жизни в этой тиши, и обнюхивающего траву пса, его чуткую морду! И припавшего

к земле дикого кота, следящего воробушка во тьме, во тьме! Благословляю блаженный покой земного царства, и месяц, и звезды, да, конечно, их тоже!

Я встаю и вслушиваюсь. Нет, никто меня не слыхал. Я снова сажусь.

Благодарю за одинокую ночь, за горы! За гул моря и тьмы, он в моем сердце. Благодарю и за то, что я жив, что я дышу, за то, что я живу в эту ночь! Тсс! Что это там, на востоке, на западе, что это там? Это Бог идет по пространствам! Тишь вливается в мои уши. Это кровь кипит у вселенной в жилах, это работа кипит в руках у творца, я и мир у него в руках. Костер озаряет блестящую паутинку, из гавани слышен всплеск весла, вверх по небу ползет северное сиянье. От всей своей бессмертной души благодарю за то, что мне, мне дано сидеть сейчас у костра!

Все тихо. Глухо падает на землю сосновая шишка. «Вот шишка упала!» — думаю я. Высоко стоит месяц, костер дрожит, догорает, скоро совсем загаснет. И на исходе ночи я иду домой.

Вторая железная ночь. Та же тишь и теплынь. Я все думаю, думаю. Я сам не замечаю, что делаю, я подхожу к дереву, надвигаю на лоб картуз и прислоняюсь спиной к стволу, сложа руки на затылке. Я смотрю на огонь и думаю, пламя слепит мне глаза, а я не чувствую. Я долго стою в этом нелепом положении и смотрю на огонь; но вот ноги устают, подкашиваются, затекают, и мне приходится сесть. Только сейчас я понимаю, как глупо себя веду. И зачем я так долго смотрел на огонь?

Эзоп поднимает голову и слушает, он слышит шаги, из-за стволов выходит Ева.

— Мне сегодня так грустно, меня одолели думы, — говорю я.

И она жалеет меня и молчит.

— Три вещи я люблю, — говорю я ей. — Я люблю желанный сон, что приснился мне однажды, я люблю тебя и этот клочок земли.

— А что ты больше всего любишь?

— Сон.

Снова тихо. Эзоп узнал Еву, он склонил голову набок и смотрит на нее. Я почти шепчу:

— Сегодня я повстречал одну девушку, она шла рука об руку со своим милым. Девушка показывала на меня глазами и едва удерживалась от смеха, пока я проходил мимо них.

— Над чем же она смеялась?

— Не знаю. Верно, надо мной. И почему ты спрашиваешь?

— А ты ее узнал?

— Да, я поклонился.

— А она тебя узнала?

— Нет, она прикинулась, будто меня не узнает... Но зачем ты меня выпытываешь? Это гадко. Все равно я не назову ее имени.

Пауза.

Я снова шепчу:

— Над чем было смеяться? Она ветреница; но над чем было смеяться? Господи, ну что я ей сделал?

Ева отвечает:

— Это гадко смеяться над тобой.

— Нет, не гадко! — кричу я. — Не смей на нее наговаривать, она никогда ничего не делает гадкого, она совершенно права, что надо мной посмеялась. О, проклятье, да замолчи же ты, и оставь меня в покое, слышишь!

И Ева испуганно умолкает. Я смотрю на нее и тотчас жалею о своих грубых словах, я бросаюсь перед ней на колени и ломаю руки.

— Иди домой, Ева. Больше всего я люблю тебя, неужели бы я стал любить какой-то сон, сама посуди? Я просто пошутил, а люблю я тебя. Только теперь иди домой, я приду к тебе завтра; помни, я ведь твой, смотри не забудь об этом. Доброй ночи.

И Ева идет домой.

Третья ночь, самая трудная. И хоть бы чуть приморозило! Но нет, никакого мороза, воздух еще держит дневное тепло, ночь словно парное болото. Я разложил костер...

— Ева, бывает, тебя тащат за волосы, а ты радуешься. Странно устроен человек. Тебя тащат за волосы по горам и долинам, а если кто спросит, что случилось, ты ответишь вне себя от во-

сторга: «Меня тащат за волосы!» И если спросят: «Помочь тебе, освободить?» — ты ответишь: «Нет». А если спросят: «Смотри, выдержишь ли?» — ты ответишь: «Да, выдержу, потому, что люблю руку, которая тащит меня...» Ты знаешь, Ева, что такое надежда?

— Мне кажется, знаю.

— Видишь ли, Ева, надежда очень странная вещь, да, удивительная это вещь — надежда. Выходишь утром на дорогу и надеешься встретить человека, которого любишь. И что же? Встречаешь? Нет. Отчего же? Да оттого, что человек этот в то утро занят и находится совсем в другом месте... В горах я повстречался со старым слепым лопарем. Пятьдесят восемь лет уже он не видит белого света, сейчас ему восьмой десяток. Ему представляется, что со зрением у него дело идет на лад, что он видит все лучше и лучше. И если ничего не случится, он через несколько лет будет различать солнце. Волосы у него еще черные, а глаза белые, как снег. Пока мы курили у него в землянке, он рассказал мне обо всем, что перевидал до того, как ослеп. Он силен и здоров, у него ничего не болит, он живуч и не теряет надежды. Когда я уходил, он вышел со мною и стал тыкать пальцем в разные стороны. «Вон там север, — говорил он, — а там юг. Ты пойдешь сначала вон туда, потом немного спустишься и повернешь туда». «Совершенно верно», — ответил я. И тогда лопарь рассмеялся и сказал: «А ведь я не знал этого лет сорок — пятьдесят назад, глаза мои поправляются, я вижу все лучше и лучше». И он согнулся и заполз в свою землянку, свое земное прибежище. И снова сел у огня, полный надежды, что если ничего не случится, через несколько лет он будет различать солнце... Ева, поразительная это вещь — надежда. Вот я, например, все надеюсь, что забуду человека, которого не встретил нынче утром.

— Как странно ты говоришь.

— Уже третья железная ночь. Обещаю тебе, Ева, завтра я стану совсем другим человеком. А теперь я побуду один, ладно? Завтра ты меня не узнаешь, я буду смеяться и целовать тебя, девочка моя хорошая. Подумай, ведь всего одна ночь, и я стану

другим человеком, всего несколько часов, и я стану другим. Доброй ночи, Ева.

— Доброй ночи.

Я ложусь поближе к костру и смотрю на огонь. Еловая шишка падает с ветки, падает один сухой сучок, потом другой. Ночь как бескрайная глубина. Я закрываю глаза. Скоро меня одолевает, меня проникает тишина, я уже не могу себя от нее отделить. Я гляжу на полумесяц, он висит в небе белой скорлупой, он возбуждает во мне нежность, я чувствую, как краснею.

— Месяц, — говорю я тихо и нежно, — месяц! — И сердце мое рвется к нему и замирает. Так проходит несколько минут. Поднимается ветер, странный, нездешний, незнакомое дыханье. Что это? Я озираюсь — нигде никого. Ветер зовет меня, душа моя согласно откликается на зов, меня словно поднимают, я будто отрываюсь от самого себя, меня прижимают к невидимой груди. Слезы выступают мне на глаза, я дрожу. Бог стоит где-то рядышком и смотрит на меня. Так проходит еще несколько минут. Я оборачиваюсь, странное дыханье исчезло, и я вижу словно спину уходящего духа, он неслышно ступает по лесу, прочь, прочь...

Я еще недолго борюсь с тяжким дурманом, я оглушен, обессилен, скоро я засыпаю.

Когда я проснулся, ночь уже миновала. Ах, как же я последнее время был жалок, ходил будто в горячке, того и ждал, что меня свалит какая-нибудь болезнь. Все для меня переворотилось вверх дном, все виделось в дурном свете, меня мучила такая тоска.

Теперь с этим покончено.

XXVII

Осень. Лето прошло; оно исчезло так же внезапно, как и настало; до чего же быстро оно кончилось. Стоят холодные дни, я охочусь, рыбачу и пою песни в лесу. А выпадают дни, когда с моря поднимается густой туман и все затягивает дымной тьмой.

В один такой день вот что со мной случилось. Я долго бродил по лесу, забрел в соседний приход и вышел прямо к дому доктора. У него были гости, дамы, которых я уже видел раньше; все — молодежь, танцевали, веселились, словно разрезвившиеся жеребята.

Подъехала коляска, стала у забора; в коляске сидела Эдварда. При виде меня ее передернуло. «Я пойду», — сказал я тихонько. Но доктор меня удержал. Эдварда сперва тяготилась моим присутствием, и когда я что-нибудь говорил, опускала глаза, потом она несколько освоилась и даже предложила мне два или три незначительных вопроса. Она была странно бледна, холодный серый туман пал на ее лицо. Она так и не вышла из коляски.

— Я с поручением, — сказала она и засмеялась. — Я сейчас только из церкви, вас никого там не было; сказали, что вы все тут. Я уж сколько часов проездила, все вас искала. У нас завтра соберется небольшое общество по случаю отъезда барона, он едет на той неделе, — и мне велено всех вас звать. И танцы будут. Так завтра вечером.

Все кланяются и благодарят.

Потом она обращается ко мне:

— Смотрите же, будьте непременно. Не вздумайте в последнюю минуту прислать записку с извинениями.

Больше никому она ничего такого не говорила. Вскоре она уехала.

Я был так тронут ее внезапным дружелюбием, я так обрадовался, мне захотелось спрятаться подальше от людских глаз. Скоро я распростился с доктором и его гостями и пошел домой. До чего же она была ко мне хороша, до чего хороша! Как же мне теперь отблагодарить ее? У меня ослабли руки, по ним прошелся сладкий холодок. Ах ты, Господи, меня шатает от радости, — думал я, — я даже не могу сжать руку в кулак, у меня слезы на глазах, что же это такое, Господи? Лишь поздно вечером я добрался до дому. Я выбрал путь мимо пристани и спросил у одного рыбака, не ждут ли завтра почтового парохода. Но нет, почтового парохода ждали только на другой неделе. Я поспешил к

себе и взялся осматривать лучший свой костюм. Я почистил его, привел в порядок, в нескольких местах он прохудился, я плакал и штопал дыры.

Покончив с костюмом, я прилег на нары. Мой покой длится не более минуты, в голове мелькает внезапная мысль, я вскакиваю и убито стою посреди комнаты.

— Да ведь это новая ее выходка! — шепчу я. — Меня бы и не пригласили, не окажись я случайно рядом, когда приглашали других. К тому же она яснее ясного дала мне понять, что приходить мне не следует, что я должен послать записку с извинениями...

Всю ночь я не спал, а когда настало утро, пошел в лес, вознобе, в горячке, шатаясь от бессонницы. Так-так, в Сирилунне нынче гости! Ну и что же? Я и не пойду, и записку посылать не буду. Господин Мак человек мыслящий, вот он и устраивает праздник в честь барона; а я не пойду, слышите вы, не пойду!..

Густой туман навалился на горы и долины, изморось осела на одежде, затрудняла шаг, лицо у меня окоченело. Порывами налетал ветер и колыхал спящий туман, вверх — вниз, вверх — вниз.

Шло к вечеру, темнело. Туман все застил, по солнцу нельзя было идти. Не один час проплутал я на пути к дому; да и куда мне было спешить? Я преспокойно сбивался с дороги и выходил к незнакомым местам. Наконец я снимаю ружье, прислоняю его к сосне и смотрю на компас. Я тщательно определяю направление и иду. Сейчас часов восемь или девять.

И вот что со мной случилось.

Полчаса спустя сквозь туман я слышу музыку, спустя еще несколько минут я уже понимаю, где нахожусь. Я стою прямо против дома господина Мака. Неужто мой компас привел меня как раз в то место, которого я избегал? Знакомый голос окликает меня, это голос доктора. И меня вводят в дом.

Ах, видно, ружейный ствол повлиял на компас и отклонил стрелку. Такой случай был со мной потом еще однажды, уже в этом году. Я не знаю, что и подумать. Может быть, это просто судьба?

XXVIII

Весь вечер меня не покидало горькое чувство, что не следовало мне сюда приходить. Моего появления почти не заметили, все были слишком заняты друг другом. Эдварда едва поздоровалась со мной. Что я напрасно явился, я тотчас понял, однако же не мог встать и уйти и потому стал пить и напился пьян.

Господин Мак все улыбался и был весьма любезен, он облачился во фрак и выглядел превосходно. Он показывался во всех комнатах, сновал среди полусотни гостей, иногда даже пускался танцевать, шутил и смеялся. Глаза у него блестели таинственно.

Музыка и голоса оглашали весь дом. В пяти комнатах толпились гости, танцы шли еще и в большой зале. Когда я пришел, уже отужинали. Служанки бегали туда-сюда, разносили стаканы вина, блестящие кофейники, сигары, трубки, пирожное и фрукты. Господин Мак не поскупился. В люстры воткнули особенно толстые свечи, отлитые для такого случая; и новые лампы тоже зажгли.

Ева помогала на кухне, я заметил ее в приоткрытую дверь. Подумать только, и Ева тут.

Барона окружили вниманием, хоть держался он тихо, скромно и нисколько не выставлялся. Он тоже надел фрак, полы как лежали в чемодане, так и измялись на сгибах. Он был занят одной только Эдвардой, глаз с нее не сводил, чокался с нею и адресовался к ней «фрекен», так же точно как к дочери пробста и приходского доктора. Я не мог побороть свою неприязнь, и едва на него взгляну, тотчас отворачивался с унылой и глупой миной. Когда он ко мне обращался, я отвечал отрывисто и, ответив, поджимал губы.

Да, вот еще что мне запомнилось из того вечера. Я болтал с одной светловолосой барышней и что-то такое сказал ей или рассказал какую-то историю, и она засмеялась. Вряд ли история была особенно забавна; но, верно, я, расхрабрившись от выпитого, как-то ловко ее рассказал; сейчас, во всяком случае, я совершенно не могу вспомнить, в чем там было дело. Словом,

не важно. Когда же я оглянулся, за моей спиной оказалась Эдварда. Она бросила на меня благосклонный взгляд.

Потом я заметил, как она увлекла светловолосую барышню в сторону, чтобы выведать, что я говорил. И сказать не могу, до чего меня ободрил взгляд Эдварды, после того как я целый вечер неприкаянно ходил из комнаты в комнату; у меня сразу отлегло от сердца, я со всеми заговаривал и был довольно удачен. Насколько помню, я не совершал никаких огрехов...

Я стоял на крыльце. В прихожей показалась Ева, она что-то несла. Она увидела меня, вышла на крыльцо, быстро погладила меня по руке, улыбнулась и тотчас исчезла. Мы не сказали друг другу ни слова. Когда и я пошел было в комнаты, я увидел Эдварду, она стояла в прихожей и смотрела на меня. Стояла и смотрела прямо на меня. Она тоже не сказала ни слова. Я пошел в залу.

— Представьте, лейтенант Глан развлекается тем, что назначает прислуге свиданья на крыльце, — вдруг громко сказала Эдварда. Она стояла в дверях. Многие ее слышали. Она смеялась, словно отпустила веселую шутку, но лицо у нее было совершенно белое.

Я не стал ничего отвечать, я пробормотал только:

— Это случайность, она просто вышла, и мы столкнулись.

Прошло какое-то время, верно, не меньше часа. Одна дама опрокинула стакан на платье. Только Эдварда это увидела, она тотчас же закричала:

— Что там такое? Не иначе, как Глан опять виноват.

Я не был виноват, я стоял в другом конце залы, когда опрокинули стакан. И я снова принялся пить и держался поближе к двери, чтоб не мешать танцующим.

Дамы по-прежнему толпились вокруг барона, он выражал сожаление, что уже упаковал свои коллекции и не может им показать, например, взморник из Белого моря, глины с Курхольмов или чрезвычайно интересные окаменелости с морского дна. Дамы любопытно поглядывали на его запонки, на пятизубые баронские короны. Тут уж и доктор померк, даже его забавное присловье «чтоб мне ни дна, ни покрышки» и то не имело успе-

ха. Зато стоило заговорить Эдварде, он был начеку, поправлял ее, подпускал тонкие шпильки, словом, не давал ей спуску, и все это с видом невозмутимого превосходства.

Она сказала:

— ...пока меня не поглотит долина забвенья.

И доктор спросил:

— Что, что?

— Долина забвенья. Так ведь говорят?

— Я слышал о реке забвенья. Вы, полагаю, ее имели в виду?

Потом она сказала о ком-то, что он что-то охраняет как...

— Цербер, — перебил доктор.

— Ну да, как Цербер, — ответила она.

Но доктор не унимался:

— Скажите мне спасибо, что я вас выручил. Уверен, что вы собирались упомянуть Аргуса.

Барон вскинул брови и изумленно глянул на него сквозь толстые стекла своих очков. Он, верно, еще не слыхивал подобного вздора. Но доктор и внимания на него не обратил. Что ему барон!

Я все стою у двери. Танцы в самом разгаре. Мне посчастливилось вступить в беседу с молоденькой приходской учительницей. Мы говорили о войне, о Крымской кампании, о событиях во Франции, об императорстве Наполеона, о его поддержке туркам; она летом читала газеты и могла порассказать мне новости. Наконец мы садимся на диван и продолжаем разговор.

Мимо идет Эдварда, она останавливается возле нас. Вдруг она говорит:

— Извините, господин лейтенант, что я застигла вашу милость на крыльце. Больше это не повторится.

И опять она смеется и не смотрит на меня.

— Йомфру Эдварда, перестаньте же, — сказал я.

Она назвала меня «ваша милость», это не к добру, и лицо у нее было злое. Я вспомнил доктора и надменно пожал плечами, как это бы сделал он. Она сказала:

— Но отчего вы не на кухне? Ева там. Думаю, и вашей милости следовало бы отправиться туда.

И она посмотрела на меня с ненавистью.

Я мало бывал в гостях и в тех редких случаях, когда бывал, никогда еще не встречал такого тона. Я сказал:

— А вы не боитесь, что вас поймут превратно, йомфру Эдварда?

— А что такое? Всякое бывает. Но что такое?

— Вы порой выражаетесь весьма необдуманно. Сейчас, например, мне почудилось, будто вы просто-напросто гоните меня на кухню, но это, конечно, недоразумение. Я ведь знаю, что вы не позволите себе такой грубости.

Она отходит на несколько шагов. Я вижу по ней, что она думает над тем, что я сказал. Она поворачивается, снова подходит к нам, она говорит, задыхаясь:

— Никакого недоразумения, господин лейтенант, вы поняли меня правильно, я гоню вашу милость на кухню.

— Эдварда! — вскрикивает перепуганная учительница.

И я опять повел разговор о войне, о Крымской кампании, но мысли мои бродили далеко от тех мест. Хмель прошел, осталась тяжесть, земля уплывала у меня из-под ног, я снова, как — увы! — столько уже раз прежде, потерял власть над собой. Я встаю с дивана и хочу уйти. Меня удерживает доктор.

— Я только что выслушал панегирик в вашу честь.

— Панегирик? И от кого же?

— От Эдварды. Вон она еще стоит в дальнем углу и бросает на вас пламенные взоры. Никогда не забуду. У нее были влюбленные глаза, и она громко объявила, что от вас без ума.

— Что ж, это приятно, — ответил я, смеясь. Ах, у меня в голове уже все перемешалось.

Я подошел к барону, нагнулся к нему, словно хотел ему что-то сказать, и, когда наклонился совсем близко, плюнул ему в ухо. Он оторопел и самым идиотским образом уставился на меня. Потом я видел, как он докладывал о происшедшем Эдварде и как она огорчилась. Она, конечно, вспомнила о своем башмачке, который я швырнул в воду, о чашках и стаканах, которые я имел несчастье перебить, обо всех прочих моих преступлениях против хорошего тона; ясно, что все это всплыло в

ее памяти. Мне сделалось стыдно, все было кончено, со всех сторон я встречал испуганные и недоуменные взгляды, я проскользнул к дверям и покинул Сирилунн, не откланявшись, не поблагодарив.

XXIX

Барон едет. Ну что ж! Я заряжу ружье, поднимусь в горы и громко выстрелю в честь него и Эдварды. Я просверлю глубокую дыру в скале, я заложу туда мину и взорву гору в честь него и Эдварды. И огромная глыба сорвется и рухнет в море, когда мимо пройдет пароход барона. Я знаю такое местечко, ложбину в скале, по ней уже не раз падали камни и проложили прямой путь к морю. Глубоко внизу там лодочный причал.

— Два бура, — говорю я кузнецу.

И кузнец вытачивает мне два бура...

Еву заставили ездить от мельницы к пристани на лошади господина Мака. Она делает мужскую работу, перевозит мешки с зерном и мукой. Я встречаю ее; как ярко она на меня глядит, как хороша. Господи, как нежно сияет ее улыбка. Каждый вечер я ее видел.

— Ты так улыбаешься, Ева, у тебя словно и нет никаких забот, девочка моя любимая.

— Ты говоришь мне — моя любимая! Я простая, темная женщина, но я буду тебе верна. Я буду тебе верна, даже если мне придется умереть за это. Господин Мак с каждым днем все строже и строже, только я об этом и не думаю, он кричит на меня, а я не отвечаю. Вчера он схватил меня за руку и стал весь серый от злости. Одно меня заботит.

— Что же тебя заботит, Ева?

— Господин Мак грозит тебе. Вчера он мне говорит: «Ага, у тебя все лейтенант на уме!» А я ответила: «Да, я его люблю». Тогда он сказал: «Погоди, я его отсюда спроважу!» Так и сказал.

— Ничего, пусть его грозится... Ева, можно я погляжу на твои ножки? Они все такие же крошечные? Закрой глаза, а я погляжу!

И она закрывает глаза и бросается мне на шею. Она вся дрожит. Я несу ее в лес. Лошадь стоит и ждет.

XXX

Я сижу в горах и закладываю мину. Как стекло, ясен осенний воздух. Ровно и четко падают удары молотка, Эзоп удивленно глядит на меня. Сердце у меня то и дело радостно обрывается; ведь никто-то, никто не знает, что я тут, один в горах.

Улетели перелетные птицы; счастливый путь и добро пожаловать назад! Только и остались что синицы да немного славок по кустам и над обрывом: пипп-пипп! Как же все переменилось, серые скалы в кровавых пятнах березовой листвы, редкие колокольчики и головки иван-чая высовываются из вереска, и качаются, и тихо шелестят песенку: тс! А над ними над всеми, вытянув шею, высматривая добычу, летит орлан.

Вот уже и вечер, я кладу буры и молоток под камень, теперь можно передохнуть. Все спит, с севера кверху ползет луна, горы бросают огромные тени. Полнолуние, луна словно огненный остров, словно круглая медная загадка, а я плутаю вокруг да около и дивлюсь на нее. Эзоп вскакивает, он чем-то встревожен.

— Чего тебе, Эзоп? Что до меня, я устал от своей заботы, я хочу забыть ее, утопить. Лежи смирно, Эзоп, слушайся, хватит с меня беспокойства. Знаешь, Ева спрашивает: «Ты хоть иногда думаешь обо мне?» Я отвечаю: «Только о тебе, Ева». Она опять спрашивает: «А ты радуешься, когда думаешь обо мне?» Я отвечаю: «Да, да, радуюсь, всегда радуюсь». Потом Ева говорит: «У тебя седеют волосы». И я отвечаю: «Да, седеют понемножку». «Они седеют от грустных мыслей?» И на это я отвечаю: «Может быть». И тогда Ева говорит: «Значит, ты думаешь не только обо мне...» Эзоп, лежи смирно, лучше я тебе еще кое-что расскажу...

Но Эзоп стоит и внюхивается, глядя в долину, он повизгивает и тянет меня зубами за куртку. Когда я наконец встаю, он бросается вниз со всех ног. В небе над лесом стоит зарево, я ус-

коряю шаг, вот уже я вижу костер, огромное пламя. Я стою и смотрю, делаю еще несколько шагов и все смотрю, смотрю — горит моя сторожка.

XXXI

Пожар был делом рук господина Мака, я тотчас это понял. Пропали мои звериные шкуры, мои птичьи крылья и чучело орла; все сгорело. Ну что ж? Две ночи я провел под открытым небом, однако же не пошел проситься на ночлег в Сирилунн. Потом я занял заброшенную рыбачью хибарку у пристани, а щели заткнул сухим мхом. Я спал на охапке красного вереска, я принес его с гор. Снова у меня был кров.

Эдварда прислала ко мне сказать, что узнала о моей беде и предлагает мне от имени своего отца поместиться в Сирилунне. Вот как? Эдварда тронута? Эдварда великодушна? Я ничего не ответил. Слава Богу, у меня снова есть крыша над головой и я могу себе позволить никак не отвечать на приглашение Эдварды. Я встретил ее на дороге вместе с бароном, они шли рука об руку, я поглядел им обоим в лицо и, проходя, поклонился. Она остановилась и спросила:

— Вы не хотите жить у нас, господин лейтенант?

— Я уже отделал свое новое жилье, — ответил я и тоже остановился.

Эдварда смотрела на меня, она с трудом переводила дух.

— А ведь мы бы вас не обеспокоили, — сказала она.

Во мне шевельнулась благодарность, но я не смог выговорить ни слова.

Барон, не торопясь, двинулся дальше.

— Может быть, вы не хотите больше меня видеть? — спрашивает она.

— Спасибо вам, йомфру Эдварда, что предложили мне приют, когда сгорела моя сторожка, — сказал я. — Это тем более великодушно, что едва ли на то была воля вашего отца. — И я глубоким поклоном поблагодарил ее за приглашение.

— Господи Боже, да вы совсем не хотите меня видеть, Глан? — выговорила она вдруг.

Барон уже звал ее.

— Вас барон зовет, — сказал я, снова снял картуз и низко поклонился.

И я пошел в горы, к своей мине. Ничем, ничем меня уже не вывести из себя. Я встретил Еву.

— Видишь! — крикнул я. — Господину Маку никак меня не спровадить. Он сжег мою сторожку, а у меня уже новый дом...

В руках у нее кисть и ведро с дегтем.

— А это еще что, Ева?

Господин Мак поставил лодку у причала под горой и приказал Еве смолить ее. Он следит за каждым ее шагом, надо его слушаться.

— Почему же там? Почему не на пристани?

— Так велел господин Мак...

— Ева, Ева, любимая, тебя сделали рабой, а ты не сетуешь. Вот видишь, ты опять улыбнулась, и у тебя все лицо загорелось от улыбки, хоть ты и раба.

Возле мины меня ждала неожиданность. Здесь кто-то побывал, я разглядел следы на гальке и опознал отпечатки длинных остроносых башмаков господина Мака. Что он тут вынюхивает? — подумал я и огляделся. Нигде ничего. И хоть бы во мне шевельнулось какое подозренье!

Я принялся стучать по буру, сам не ведая, что творю.

XXXII

Пришел почтовый пароход, он привез мне мундир, он заберет барона и все его ящики с водорослями и раковинами. Теперь его грузят у пристани сельдью и ворванью, к вечеру он уйдет.

Я беру ружье и побольше пороха набиваю в оба ствола. Сделав это, я сам себе подмигиваю. Я иду в горы и закладываю порох; я снова подмигиваю. Ну вот, все готово. Я лег и стал ждать.

Я ждал не один час. Все время я слышал, как пароход ходит ходуном у шпиля. Уже смерклось. Наконец свисток, груз принят, судно отходит. Ждать осталось всего несколько минут. Луна еще не взошла, и я как безумный вглядывался в сумерки.

Лишь только из-за выступа чуть-чуть показался нос, я поджег фитиль и отскочил подальше. Проходит минута. Вдруг раздается взрыв, взвиваются осколки, гора дрожит, и каменная глыба, грохоча, летит в пропасть. Гулко гремят горы. Я хватаюсь за ружье и стреляю из одного ствола; эхо отвечает раскатистым залпом. Через мгновенье я разряжаю второй ствол. Воздух дрожал от моего салюта, эхо множило его и посылало далеко-далеко, словно все горы громким хором кричали вслед уходящему пароходу. Немного спустя воздух стихает, эхо молчит, и опять на земле тишь. Пароход исчезает во мраке.

Я все еще весь дрожу, я беру под мышку ружье и буры и спускаюсь; у меня подгибаются ноги. Я выбрал самый короткий путь, я иду по дымному следу, оставленному обвалом. Эзоп все время трясет мордой и чихает от гари.

Когда я спустился к причалу, я увидел такое, что всего меня перевернуло; сорвавшейся глыбой раздавило лодку, и Ева, Ева лежала рядом, вся разбитая, разодранная, сплющенная, и нижняя часть тела ее была изувечена до неузнаваемости. Ева умерла на месте.

XXXIII

Что же тут еще писать? За много дней я ни разу не выстрелил, еды у меня не было, да я и не ел, я сидел в своей берлоге. Еву отвезли в церковь на белой лодке господина Мака, я берегом прошел к могиле.

Ева умерла. Ты помнишь ее девичью головку, причесанную, как у монахини? Она подходила тихо-тихо, складывала вязанку и улыбалась. А видел ты, как загоралось от улыбки ее лицо? Тихо, Эзоп, мне вспомнилось одно странное преданье, это было

во времена прапрадедов, во времена Изелины, когда священником был Стаммер.

Девушка сидела в каменной башне. Она любила одного господина. Отчего? Спроси у росы, спроси у ночной звезды, спроси у создателя жизни; а больше никто тебе не ответит. Тот господин был хорош с нею, он любил ее; но время шло, и в один прекрасный день он увидел другую, и чувства его переменились.

Словно юноша, любил он ту девушку. Он говорил ей: «Ты моя ласточка», он говорил: «Ты моя радость» — и как горячо она обнимала его... Он сказал: «Отдай мне свое сердце!» И она отдала. Он говорил: «Можно, я попрошу тебя кой о чем, любимая?» И, не помня себя, она отвечала: «Да». Все отдавала она ему, а он ее не благодарил.

Другую любил он, словно раб, словно безумец и нищий. Отчего? Спроси пыль на дороге, спроси у ветра в листве, спроси непостижимого создателя жизни; а больше никто не ответит. Она не дала ему ничего, нет, ничего она не дала ему, а он ее благодарил. Она сказала: «Отдай мне свой покой и свой разум!» И он опечалился только, что она не попросила у него и жизни.

А девушку заточили в башню...

— Что ты делаешь, девушка? Чему улыбаешься?

— Я вспоминаю, что было десять лет назад. Я тогда встретила его.

— Ты все его помнишь?

— Я все его помню.

А время идет...

— Что ты делаешь, девушка? И чему улыбаешься?

— Я вышиваю на скатерти его имя.

— Чье имя? Того, кто запер тебя?

— Да, того, кого я встретила двадцать лет назад.

— Ты все его помнишь?

— Я помню его, как и прежде.

А время идет.

— Что ты делаешь, узница?

— Я старюсь, глаза мои больше не видят шитья, я соскребаю со стены известку. Из этой известки я вылеплю кувшин ему в подарок.

— О ком ты?

— О своем любимом, о том, кто запер меня в башне.

— Не тому ли ты улыбаешься, что он тебя запер?

— Я думаю, что он скажет. «Поглядите-ка, — он скажет, — моя девушка послала мне кувшин, за тридцать лет она меня не забыла».

А время идет...

— Как, узница, ты сидишь сложа руки и улыбаешься?

— Я старюсь, я старюсь, глаза мои ослепли, я могу только думать.

— О том, кого ты встретила сорок лет назад?

— О том, кого я встретила, когда была молодая. Может, с той поры и прошло сорок лет.

— Да разве ты не знаешь, что он умер? Ты бледнеешь, старая, не отвечаешь, губы твои побелели, ты не дышишь...

Вот видишь, какое странное преданье о девушке в башне. Постой-ка, Эзоп, вот еще что я забыл: однажды она услыхала в саду голос своего любимого, и она упала на колени, и покраснела. Ей тогда было сорок лет...

Я хороню тебя, Ева, я смиренно целую песок на твоей могиле. Густая, алая нежность заливает меня, как я о тебе подумаю, словно благодать сходит на меня, как я вспомню твою улыбку. Ты отдавала все, ты все отдавала, и тебе это было нисколько не трудно, потому что ты была проста, и ты была щедра, и ты любила. А иной даже лишнего взгляда жалко, и вот о такой-то все мои мысли. Отчего? Спроси у двенадцати месяцев, у корабля в море, спроси у непостижимого создателя наших сердец...

XXXIV

Меня спросили, не бросил ли я охоту?

— Эзоп один в лесу, он гонит зайца.

Я ответил:

— Подстрелите его за меня.

Дни шли; меня навестил господин Мак, глаза у него ввалились, лицо стало серое. Я думал: точно ли я умею читать в душах людей или это мне только так кажется? Сам не знаю.

Господин Мак заговорил про обвал, про катастрофу. Это несчастный случай, печальное стечение обстоятельств, моей вины тут никакой.

Я сказал:

— Если кому-то любой ценой хотелось разлучить меня с Евой, он своего добился. Будь он проклят!

Господин Мак глянул на меня исподлобья. Он что-то пробормотал о богатых похоронах. Ничего, мол, не пожалели.

Я сидел и восхищался его самообладанием.

Он отказался от возмещения за лодку, разбитую моим взрывом.

— Вот как! — сказал я. — Вы, в самом деле, не желаете брать денег за лодку и за ведро с дегтем, за кисть?

— Милейший господин лейтенант, — ответил он. — Как такое могло прийти вам в голову!

И в глазах его была ненависть.

Три недели не видал я Эдварды. Хотя нет, один раз я ее встретил в лавке, когда пришел купить хлеба, она стояла за прилавком и перебирала материи. В лавке, кроме нее, были только два приказчика.

Я громко поздоровался, и она подняла глаза, но не ответила. Я решил при ней не спрашивать хлеба, я повернулся к приказчикам и спросил пороха и дроби. Пока мне отвешивали то и другое, я смотрел на нее.

Серое, совсем уже короткое ей платьице, петли залохматились; тяжело дышала маленькая грудь.

Как выросла она за лето! Лоб задумчивый, выгнутые, высокие брови — будто две загадки на ее лице, и все движенья у нее стали словно более степенны. Я смотрел ей на руки, особенное выраженье длинных тонких пальцев ударило меня по сердцу, я вздрогнул. Она все перебирала материи.

Как же я хотел, чтоб Эзоп подбежал к ней, узнал ее, я бы тотчас окликнул его и попросил бы у нее извинения; интересно, что бы она ответила?

— Пожалуйте, — говорит приказчик.

Я заплатил, взял покупку и простился. Она подняла глаза, но и на этот раз не ответила. Ладно! — подумал я, верно, она уже невеста барона. И я ушел без хлеба.

Выйдя из лавки, я бросил взгляд на окно. Никто не смотрел мне вслед.

XXXV

Потом как-то ночью выпал снег, и в моем жилье стало холодно. Тут был очаг, на котором я готовил еду, но дрова горели плохо и от стен нещадно дуло, хоть я и заделал их, как мог. Осень миновала, дни стали совсем короткие. Первый снег, правда, стаял на солнце, и опять земля лежала голая; но ночами пошли холода, и вода промерзала. И вся трава, вся мошкара погибли.

Люди непонятно затихли, примолкли, задумались, и глаза у них теперь не такие синие и ждут зимы. Уж не слышно больше выкриков с островов, где сушат рыбу, все тихо в гавани, все приготовилось к полярной вечной ночи, когда солнце спит в море. Глухо, глухо всплескивает весло одинокой лодки.

В лодке девушка.

— Где ты была, красавица?

— Нигде.

— Нигде? Послушай, а ведь я тебя знаю, это тебя я встретил летом.

Она пристала к берегу, вышла и привязала лодку.

— Ты напевала, ты вязала чулок, я встретил тебя однажды ночью.

Она слегка краснеет и смеется смущенно.

— Зайди ко мне, красавица, а я погляжу на тебя. Я вспомнил, тебя же зовут Генриетой.

Но она молчит и идет мимо. Ее прихватило зимой, чувства ее уснули.

Солнце уже ушло в море.

XXXVI

И я в первый раз надел мундир и отправился в Сирилунн. Сердце у меня колотилось.

Мне вспомнилось все, с того самого первого дня, когда Эдварда бросилась ко мне на шею и у всех на глазах поцеловала; и уж сколько месяцев она швыряется мной, как захочет, — из-за нее у меня поседели волосы. Сам виноват? Да, видно, не туда завела меня моя звезда, совсем не туда. Я подумал: а ведь упади я сейчас перед ней на колени, открой ей тайну своего сердца, как бы она злорадствовала! Верно, она предложила бы мне сесть, велела бы принести вина, поднесла бы его к губам и сказала: «Господин лейтенант, благодарю вас за то время, что вы провели со мной вместе, я никогда о нем не забуду!» Но только я обрадуюсь и обнадежусь, она, не пригубив, отставит стакан. И даже не станет делать вида, будто пьет, нет, нарочно покажет, что к вину и не притронулась. В этом она вся.

Ну ничего, скоро уж пробьет последний час!

Я шел по дороге и додумывал свои думы: мундир должен произвести на нее впечатление, галуны совсем новые, красивые. Сабля будет звенеть по полу. Я радостно вздрагиваю и шепчу про себя: «Кто его знает, чем еще все это кончится!» Я поднимаю голову, иду, отбивая такт рукой. Довольно унижаться, где моя гордость! Да и что мне за дело наконец, как она себя поведет, с меня довольно! Прошу прощенья, дева красоты, что я к вам не посватался...

Господин Мак встретил меня во дворе, глаза у него еще больше ввалились, лицо стало совсем серое.

— Едете? Ну что же. Вам напоследок не очень-то сладко пришлось; вот и сторожка у вас сгорела. — И господин Мак улыбнулся.

Мне вдруг подумалось, что передо мной умнейший человек на свете.

— Заходите, господин лейтенант. Эдварда дома. Ну так прощайте. Впрочем, мы еще увидимся на пристани, когда будет отправляться пароход. — Он зашагал прочь, задумавшись, ссутулясь, насвистывая.

Эдварда сидела в гостиной, она читала. Когда я вошел, она на мгновенье оторопела при виде моего мундира, она смотрела на меня, склонив голову, как птица, и даже залилась краской. Рот у нее приоткрылся.

— Я пришел проститься, — выдавил я наконец.

Она тотчас встала, и я увидел, что слова мои оказали на нее свое действие.

— Глан, вы едете? Уже?

— Как только придет пароход. — И тут я хватаю ее за руку, за обе руки, на меня находит бессмысленный восторг, я вскрикиваю: — Эдварда! — И не отрываясь смотрю ей в лицо.

И тотчас она делается холодна, холодна и упряма. Все во мне раздражает ее, она выпрямляется, и вот уже я стою перед ней, словно милостыни прошу. Я выпустил ее руки, дал ей отойти. Помню, я еще долго так стоял и твердил, ни о чем не думая: «Эдварда! Эдварда!» И когда она спросила: «Да, что такое?» — ничего ей не мог объяснить.

— Значит, вы едете! — повторила она. — Кто же явится на будущий год?

— Другой, — ответил я. — Сторожку-то отстроят.

Пауза. Она уже снова взялась за книгу.

— Вы уж извините, что отца нет дома, — сказала она. — Но я передам ему, что вы заходили проститься.

На это я ей ничего не стал отвечать. Я опять подошел, взял ее за руку и сказал:

— Прощайте же, Эдварда.

— Прощайте, — ответила она.

Я отворил дверь, будто собрался идти. Она уже склонилась над книгой и читала, она в самом деле читала, она перелисты-

вала страницы. Никаких, никаких чувств не вызвало в ней наше прощанье.

Я кашлянул.

Она оглянулась и сказала недоуменно:

— Как, вы еще не ушли? А я думала, вы ушли.

Конечно, Бог его знает, но нет, мне не почудилось, она и правда уж очень изумилась, она потеряла власть над собой и удивилась чересчур, и я подумал, что она, может быть, все время знала, что я стою у нее за спиной.

— Ну, мне пора, — сказал я.

Тут она встала и подошла ко мне.

— Знаете, я бы хотела что-нибудь от вас на память, — сказала она. — Я думала вас кой о чем попросить, да боюсь, что это слишком. Не могли бы вы оставить мне Эзопа?

Я не раздумывал, я ответил «да».

— Так приведите его завтра, ладно? — сказала она.

Я ушел.

Я взглянул на окна. Никого.

Итак, все кончено...

Последняя ночь. Я думал, думал, я считал часы; когда настало утро, я в последний раз приготовил еду. День был холодный.

Почему она попросила, чтоб я сам привел ей пса? Хотела поговорить со мной, что-то мне сказать напоследок? Я уже больше ничего, ничего от нее не жду. И как станет она обращаться с Эзопом? Эзоп, Эзоп, она тебя замучит! Из-за меня она будет сечь тебя плеткой, будет и ласкать, но сечь будет непременно, за дело и без дела, и вконец тебя испортит...

Я подозвал Эзопа, потрепал его по загривку, прижал его голову к своей и взялся за ружье. Эзоп начал радостно повизгивать, он решил, что мы идем на охоту. Я снова прижал его голову к своей, приставил дуло ему к затылку и спустил курок.

Я нанял человека снести Эдварде труп Эзопа.

XXXVII

Пароход отходил вечером.

Я отправился на пристань, поклажу мою уже снесли на палубу. Господин Мак пожал мне руку и ободрил меня тем, что погодка великолепная, приятнейшая погодка, он и сам бы не прочь прогуляться морем по такой погодке. Пришел доктор, с ним Эдварда; у меня задрожали колени.

— Вот, решили проводить вас, — сказал доктор.

И я поблагодарил.

Эдварда взглянула мне прямо в лицо и сказала:

— Я должна поблагодарить вашу милость за собаку. — Она сжала рот; губы у нее побелели. Опять она назвала меня «ваша милость».

— Когда отходит пароход? — спросил у кого-то доктор.

— Через полчаса.

Я молчал.

Эдварда беспокойно озиралась.

— Доктор, не пойти ли нам домой? — спросила она. — Я все сделала, что было моим долгом.

— Вы исполнили свой долг, — сказал доктор.

Она жалостно улыбнулась на привычную поправку и ответила:

— Я ведь так почти и сказала?

— Нет, — отрезал он.

Я взглянул на него. Как суров и тверд маленький человечек; он составил план и следует ему до последнего. А ну как все равно проиграет? Но он и тогда не покажет виду, по его лицу никогда ничего не поймешь.

Темнело.

— Так прощайте, — сказал я. — И спасибо за все, за все.

Эдварда смотрела на меня, не говоря ни слова. Потом она отвернулась и уже не отрывала глаз от парохода.

Я сошел в лодку. Эдварда стояла на мостках. Когда я поднялся на палубу, доктор крикнул: «Прощайте!» Я взглянул на

берег, Эдварда тотчас повернулась и торопливо пошла прочь, домой, далеко позади оставив доктора. И скрылась из глаз.

Сердце у меня разрывалось от тоски...

Пароход тронулся; я еще видел вывеску господина Мака: «Продажа соли и бочонков». Но скоро ее размыло. Взошел месяц, зажглись звезды, все кругом обстали горы, и я видел бескрайние леса. Вон там мельница, там, там была моя сторожка; высокий серый камень остался один на пепелище. Изелина, Ева...

На горы и долины ложится полярная ночь.

XXXVIII

Я написал все это, чтобы скоротать время. Вспомнил то северное лето, когда я нередко считал часы, а время все равно неслось незаметно, и вот развеялся. Теперь-то все иначе, теперь дни стоят на месте.

Мне ведь выпадает столько приятных минут, а время все равно стоит, просто понять не могу, почему оно стоит. Я в отставке, я свободен, как птица, сам себе хозяин, все прекрасно, я видаюсь с людьми, разъезжаю в каретах, а то, бывает, прищурю один глаз и пишу по небу пальцем, я щекочу луну под подбородком, и, по-моему, она хохочет, глупая, заливается от радости, когда я ее щекочу. И все вокруг улыбается. Или ко мне съезжаются гости, и вечер проходит под веселое щелканье пробок.

Что до Эдварды, я о ней совершенно не думаю. Да и как тут не забыть, ведь прошло столько времени? И у меня наконец есть гордость. И если меня спросят, не мучит ли меня что, я твердо отвечу: нет, ничего меня не мучит...

Кора лежит и смотрит на меня. Раньше был Эзоп, а теперь вот Кора лежит и смотрит на меня. Тикают часы на камине, за открытыми окнами шумит город. В дверь стучат, и посыльный протягивает мне письмо. Письмо запечатано короной. Я знаю, от кого оно, тотчас понимаю, или просто все это уже снилось мне когда-то бессонной ночью? Но в письме ничего, ни слова, только два зеленых пера.

Меня леденит страх, мне делается холодно. Два зеленых пера! — говорю я сам себе. Ну, да все равно! Но отчего же мне так холодно? Все этот проклятый сквозняк.

И я закрываю окна.

Вот тебе и два пера! — думаю я далее; кажется, я узнаю их, они напоминают мне об одной шутке, о небольшом происшествии, каких так много было со мной на Севере; что ж, любопытно взглянуть. И вдруг мне кажется, будто я вижу лицо, и слышу голос, и голос говорит:

— Пожалуйте, господин лейтенант, я возвращаю вашей милости эти перья!

Я возвращаю вашей милости эти перья...

Кора, да лежи ты смирно, слышишь, не то я тебя прикончу! Тепло, какая несносная жара; с чего это я вздумал закрывать окна! Снова окна настежь, настежь двери, сюда, мои веселые друзья, входите! Эй, посыльный, зови ко мне побольше, побольше гостей...

И день проходит, а время все равно стоит на месте.

Ну вот я и написал все это для собственного удовольствия и позабавился, как мог. Ничто не мучит, не гнетет меня, мне бы только уехать, куда — и сам не знаю, но подальше, может быть, в Африку, в Индию. Потому что я могу жить только совсем один, в лесу.

СМЕРТЬ ГЛАНА
Записки 1861 года

I

Семейство Глан может сколько заблагорассудится объявлять в газетах о пропавшем лейтенанте Томасе Глане; он не отыщется. Он умер, и я даже знаю, при каких обстоятельствах он умер.

Собственно говоря, меня и не удивляет упорство, с каким его семья продолжает розыски, потому что Томас Глан был человек в известном смысле необыкновенный, и его вообще любили. Да, тут уж надо отдать ему должное, хоть мне лично Глан до сих пор противен и я вспоминаю о нем с ненавистью. Он обладал привлекательнейшей внешностью, молодостью и свойством кружить головы. Взглянет он на тебя этим горячим взглядом зверя, и так и чувствуешь его власть над собою, я и то ее чувствовал. Одна дама якобы говорила: «Когда он смотрит на меня, я делаюсь сама не своя; как будто он до меня дотрагивается».

Но у Томаса Глана были свои недостатки, и раз я его ненавижу, то мне и нет никакого расчета их утаивать. Временами он бывал до того прост, несерьезен, ну прямо как дитя малое, и до такой же степени покладист, может, оттого слабый пол и льнул к нему, кто знает? Он часами с ними болтал, хохотал над разными их глупостями, а им только того и надо. Или он сказал, например, как-то про одного очень полного человека, что тот словно наложил жиру в штаны, и сам же хохотал над своей остротой, а я так устыдился бы, случись мне сказать что-

нибудь подобное. Потом, когда мы поселились под одной крышей, он лишний раз яснее ясного показал, до чего он глуп: вошла ко мне утром хозяйка и спросила, что принести на завтрак, а я второпях и ответь: одно ломтик хлеба с яйцом. Томас Глан сидел как раз в моей комнате, он-то жил на чердаке, под самой крышей, — и давай хохотать над моей оговоркой, просто в восторг от нее пришел. Так и повторял «одно ломтик хлеба с яйцом», покуда я эдак удивленно на него не глянул и тем заставил умолкнуть.

Возможно, я в дальнейшем припомню и остальные его жалкие черточки, и в таком случае непременно к ним вернусь, поскольку он мой враг и щадить мне его нечего. К чему тут благородничать? Правда, должен сказать, дурачился он только, когда бывал пьян. Но само-то по себе пьянство разве не отвратительный порок?

Когда я с ним познакомился осенью 1859 года, он был в возрасте тридцати двух лет, мы ровесники. Он ходил тогда с окладистой бородой и носил вязаные рубахи, непомерно открытые у ворота, а часто вдобавок не застегивал верхнюю пуговицу. Шея его сначала показалась мне необычайно красивой, но потом, когда он понемножку нажил во мне злейшего врага, я разглядел, что шея у него ничуть не лучше моей, просто я свою напоказ не выставляю. Повстречался я с ним на пароме, нам было по пути, и мы сразу же уговорились вместе взять телегу, если железной дорогой туда не добраться. Я намеренно не называю места, куда мы ехали, чтоб не наводить на след; но семейство Глан может с чистой совестью прекратить поиски своего родственника, потому что там-то он и умер, на том самом месте, куда мы ехали и которого я не назову.

Вообще-то я слыхал про Томаса Глана еще до того, как его встретил, это имя было мне знакомо. Я слыхал, что он любил некую юную наследницу знатного рода в Северной Норвегии и как-то там ее компрометировал, после чего она с ним порвала. Он же сдуру поклялся, что назло ей себя уморит. Ну, она ему это и предоставила. Ей-то что? Тогда, собственно, и стало известно имя Томаса Глана, он кутил, пил, учинял скандал за сканда-

лом и вышел в отставку. Хорошенький способ мстить за то, что тебе дали по носу!

Про эти его отношения к юной даме ходили, впрочем, и другие слухи, что вовсе он ее не компрометировал, но ее родители, дескать, указали ему на дверь, а она им не противоречила, потому что к ней как раз посватался, не хочется называть имя, ну, словом, один шведский граф. В это мне как-то меньше верится, думаю, что вернее первое, поскольку я ненавижу Томаса Глана и полагаю его способным на все. Так или иначе, сам он о своей знатной даме никогда не заговаривал, а я его не расспрашивал. На что мне?

Тогда на пароме, помнится, мы говорили только о селенье, куда ехали и где прежде ни один из нас не бывал.

— Там как будто есть гостиница, — сказал Глан и сверился по карте. — Если нам повезет, там и поселимся; хозяйка, мне говорили, старая англичанка, вернее, полукровка. Вождь живет в соседнем селенье, у него как будто много жен, иные не старше десяти лет.

Ну, я ничего не знал о том, сколько жен у вождя и есть ли в селенье гостиница, я и промолчал, а Глан улыбнулся, и его улыбка показалась мне тогда прекрасной.

Да, я совсем забыл. И он был не без изъяна при всей своей красоте. Он сам говорил, что на левой ноге у него давняя огнестрельная рана, и как перемена погоды, эта нога всегда ныла.

II

Неделю спустя мы поместились в большой хижине, которую тут именовали гостиницей, у старой полуангличанки. Ох, ну и гостиница! Стены больше глиняные и отчасти деревянные, и дерево все изъедено термитами, ими тут кишмя кишело. Я жил в комнате рядом с залой, с зеленоватым окном на улицу, довольно, положим, мутным и узким, а Глан выбрал какую-то дыру на чердаке, тоже, правда, с окнами, но вообще-то куда темней и хуже. Солнцем накаляло соломенную крышу, и у Глана

день и ночь стояла несносная жара, ко всему прочему, лестницы не было и приходилось карабкаться по приставной развалюхе о четырех ступеньках. Я, однако же, тут совершенно ни при чем. Я предоставил Глану выбирать, я сказал:

— Тут две комнаты, внизу и наверху, — выбирайте!

И Глан осмотрел обе и выбрал верхнюю, возможно, чтобы оставить мне лучшую, согласен; но разве я не испытывал за это признательности? Так что мы квиты.

В самую жару мы не охотились, мы отсиживались дома; жара, надо сказать, была несносная. Ночью мы защищались от насекомых сетками; правда, иной раз летучая мышь сослепу кидалась на сетку и рвала ее в клочья; с Гланом такое случалось нередко, ведь из-за жары он не мог затворять чердачное оконце, а меня Бог миловал. Днем мы лежали на циновках перед хижиной, курили и наблюдали жизнь по соседству. Туземцы темнокожи и толстогубы, у всех застывшие черные глаза и в ушах кольца; ходят они почти голые, только повязка на бедрах из тряпицы или листьев, а у женщин еще и короткие юбочки. Дети все бегают нагишом день и ночь, животы большущие и лоснятся.

— Женщины чересчур жирны, — сказал Глан.

Не спорю, женщины были чересчур жирны, и, возможно, вовсе даже я, а не Глан первым это заметил, словом, не важно; оставляю ему честь такого открытия. И потом не все же они без исключения безобразны, при том что лица в самом деле толсты и вздуты; я, кстати говоря, познакомился с одной полутамилкой, длинноволосой и белозубой, так она была премиленькая и лучше всех. Я наткнулся на нее раз вечером, она лежала на краю рисового поля, в высокой траве, лежала на животе и болтала ногами. Мы с ней столковались, мы расстались уже под утро, и она не пошла домой, а решила сказать родителям, будто ночевала в соседнем селенье. Глан тот вечер провел с двумя какими-то девушками, совсем молоденькими, возможно, не старше десяти лет. И с такими-то он мог дурачиться, пить рисовую водку, — вот вам его вкус!

Дня через два мы отправились на охоту. Мы прошли чайными плантациями, рисовыми полями, лугами, миновали се-

ленье и пошли берегом, мы углубились в лес из чудных, непонятных деревьев. Бамбук, манго, тамаринд, тик, соляное дерево, камедное и бог знает что еще, мы во всем в этом оба мало смыслили. Но вода в реке была очень низкая и так всегда и держится до самых дождей. Мы стреляли диких голубей и кур, а ближе к вечеру видели двух пантер; над головами у нас летали попугаи. Глан стрелял чудо как метко, никогда не промахивался; но у него ведь и ружье было лучше моего, и все равно я тоже много раз чудо как метко попадал. Я, однако, не имею манеры хвастаться, а Глан часто говорил: «Этой я целюсь в голову, а этой попаду в хвост». Так он говорил перед выстрелом, и когда птица падала, оказывалось, что он попал именно в голову или в хвост. Когда мы наткнулись на тех двух пантер, Глану взбрело на ум уложить их из дробовика; но я отговорил его, поскольку уже темнело, а патроны у нас почти все вышли. Вообще же я думаю, ему просто покрасоваться хотелось, вот, мол, я какой храбрец, из дробовика пантер стреляю.

— А жаль, что я не выстрелил, — сказал он мне. — Все ваше несносное благоразумие. И зачем? Хотите долго жить?

— Польщен, если вы считаете, что я благоразумней вас, — ответил я.

— Ну, не будем ссориться из пустяков, — сказал он тут.

Это его слова, не мои; захоти он поссориться, за мной бы дело не стало. Меня уже тогда начало бесить его легкомыслие и эта его неотразимость. Накануне, например, я совершенно спокойно шел с Магги, своей знакомой тамилкой, оба мы были в превосходном расположении духа. Глан сидит подле хижины, он кивает нам и улыбается; Магги увидела его тогда в первый раз и давай меня о нем расспрашивать. И такое он впечатление на нее произвел, что мы вскоре и расстались, разошлись в разные стороны.

Когда я рассказал все Глану, он изобразил дело так, что это, мол, все мои выдумки. Но я ему все запомнил. Ведь улыбался-то он не мне, когда мы шли мимо хижины, он улыбался Магги.

— Что это она все жует? — спросил он меня.

— Не знаю, — ответил я. — Верно, на то ей и зубы, чтоб жевать.

Эка новость, я и сам знал, что Магги все жует, я сразу обратил на это внимание. Но она не жевала бетель, зубы у нее были и без того белее белого, нет, она имела обыкновение жевать что ни попадя — сунет в рот и жует, будто это вкусно. Что угодно жевала — деньги, клочки бумаги, птичьи перья. Ну и что тут зазорного? Все равно она оставалась первой местной красавицей. Просто Глан мне завидовал. Ясное дело.

На другой вечер, правда, мы с Магги помирились и про Глана больше не говорили.

III

Прошла неделя, мы каждый день ходили на охоту и настреляли уйму дичи. Раз утром, едва мы вошли в лес, Глан схватил меня за руку и шепнул: «Стойте!» Тут же он вскидывает ружье и стреляет. Оказывается, он убил молодого леопарда. Я бы тоже мог его убить, да Глан захватил эту честь себе и выстрелил раньше. «Ну и хвастаться же будет!» — подумал я. Мы подошли к зверю, пуля уложила его на месте, разорвала левый бок и засела в спине.

Я не выношу, когда меня хватают за руку, потому я сказал:

— Я бы тоже мог так выстрелить.

Глан посмотрел на меня.

Я повторяю:

— Вы что, сомневаетесь, что я бы мог так выстрелить?

Глан опять не отвечает. Он лишний раз выказывает ребячество и опять стреляет в мертвого зверя, уже в голову. Я смотрю на него в совершенном недоумении.

— Вот, — поясняет он. — Мне неловко, что я попал ему в бок.

Видите ли, его тщеславию мало такого простого выстрела, вечно ему надо выставиться. Вот глупость! Но мне-то какое дело, я не собирался его уличать.

Вечером, когда мы вернулись с убитым леопардом, нас окружили туземцы. Глан, правда, сказал только, что мы подстрелили его утром, и больше не распространялся. Тут же была и Магги.

— А кто его убил? — спросила она.

— Сама видишь, тут две раны, мы убили его еще утром. — И он перевернул тушу и показал ей обе раны, на боку и в голове.

— Вот тут прошла моя пуля, — сказал он и показал на дырку в боку; из-за его глупости получалось, будто я попал в голову. Я не удостоил поправлять его, к чему? Потом Глан стал потчевать туземцев рисовой водкой и поил всех, кому не лень.

— Значит, они вместе его убили, — тихонько проговорила Магги, но смотрела она все время на одного Глана.

Я отвел ее в сторонку и сказал:

— Что ты все на него смотришь? А меня не видишь, что ли?

— Вижу, — ответила она. — Послушай, я сегодня приду.

Как раз на другой день Глан и получил то письмо. Это я о письме, которое пришло пароходом, а потом сто восемьдесят миль кружило по суше. Письмо было надписано женской рукой, и я смекнул, что, верно, оно от его прежней подруги, высокопоставленной дамы. Прочтя письмо, Глан нервически расхохотался и дал посыльному на чай за то, что тот его доставил. Скоро, однако, он снова примолк, помрачнел и весь день сидел сложа руки и уставясь в одну точку. Вечером он напился пьян в компании со старым туземным карлой и его сынком, он и меня обнимал и все требовал, чтобы я тоже выпил.

— С чего это вы сегодня так любезны? — спросил я.

Тут он громко засмеялся и сказал:

— Забрались мы с вами в эту самую Индию и охотимся, а? Ну, не смехотворно ли? Так выпьемте же за все царства мира и за всех хорошеньких женщин, замужних и незамужних, близких и дальних. Ха-ха! Подумайте! Мужняя жена — и предлагается мужчине, мужняя жена!

— Графиня! — сказал я едко. Я сказал это очень едко и попал в самую точку. Он оскалился, как собака, потому я и говорю с уверенностью, что попал в самую точку. Потом он вдруг нахмурился, у него задергались веки, видно, спохватился, не слишком ли много выболтал, будто кому нужна его несчастная тайна. Но тут как раз к нашей хижине подбежало несколько ребятишек с криками:

— Тигры! Ой, тигры!

У самой околицы, в кустах, как идти к реке, тигр схватил ребенка.

Глану, недаром он раскис и вдобавок напился, этого было достаточно, он тотчас схватил винтовку и бросился к кустарнику, даже головы не покрыл. Интересно, однако, узнать, отчего он взял все же винтовку, а не дробовик, раз уж он такой храбрый? Ему пришлось переходить реку вброд, что небезопасно, правда, река-то, надо сказать, перед дождями почти совсем пересохла. Скоро я услыхал два выстрела и следом за ними третий. Три выстрела по одному зверю! — подумал я; двумя выстрелами можно уложить льва, а здесь ведь тигр всего-навсего! Но и три выстрела были напрасны, ребенок был разодран в клочья и почти съеден, когда подоспел Глан; не будь он так пьян, он бы и не пытался его спасать.

Всю ночь он прокутил в соседней хижине с одной вдовой и двумя ее дочками; уж не знаю, с кем именно из них.

Два дня потом Глан и часа не был трезв, и собутыльников нашлось предостаточно. Он зазывал и меня, он уже не соображал, что говорит, и заявил, будто я к нему ревную.

— Вас ослепляет ревность, — говорит.

Ревность! Это я-то ревную!

— Помилуйте, — говорю, — я ревную! Да с чего бы я стал ревновать!

— Нет, нет, конечно, вы не ревнуете, — ответил он. — Кстати, я сегодня видел Магги, она жевала, как всегда.

Я прикусил язык и отошел.

IV

Мы снова стали ходить на охоту. Глан чувствовал, что виноват передо мной, и попросил у меня прощения.

— А вообще-то мне все надоело до смерти, — сказал он. — Хорошо бы вы как-нибудь промахнулись и всадили мне пулю в затылок.

«Небось снова письмо графини ему покоя не дает», — подумал я и ответил:

— Что посеешь, то и пожнешь.

С каждым днем он делался все мрачней и тише, пить он перестал, но и не говорил ни слова; щеки у него ввалились.

Однажды я вдруг услыхал смех и болтовню у себя под окном, выглянул, а там Глан, опять с самой беззаботной миной громко разговаривает с Магги. Все свои чары в ход пустил. Видно, она шла прямо из дому, а он ее подстерег. Стоят и любезничают под самым моим окном, и хоть бы что!

Я прямо-таки затрясся, схватил ружье, взвел курок, но тут же опустил ружье. Я вышел, взял Магги за руку, мы молча пошли по поселку; Глан тотчас скрылся в хижине.

— Опять ты с ним говорила, зачем? — спросил я у Магги.

Она не отвечала.

Мне стало тошно, сердце колотилось безумно, я едва переводил дух. Никогда еще не видал я Магги такой красивой, я и белой девушки такой красивой никогда не видал, и я совершенно забыл, что она тамилка, я вообще ни о чем, кроме нее, уже не помнил.

— Скажи, — попросил я, — почему ты с ним говорила?

— Он мне нравится, — ответила она.

— Он тебе нравится больше меня?

— Да.

Ну вот, пожалуйста, он ей нравится больше меня, а чем я хуже? Ведь как я всегда к ней был добр, вечно совал ей деньги и подарки, а он?

— Он над тобой смеется, говорит, что ты жуешь, — сказал я.

Она было не поняла, но я растолковал ей, что вот у нее привычка все совать в рот и жевать, а Глан из-за этого над ней насмехается. Наконец мне удалось произвести на нее некоторое впечатление.

— Послушай, Магги, — сказал я далее, — ты будешь моей навеки, хочешь? Я все обдумал: ты поедешь со мной, когда я буду уезжать, я возьму тебя в жены, слышишь, и мы поедем ко мне на родину и там будем жить. Ну как?

Это тоже произвело на нее впечатление. Магти развеселилась и всю прогулку болтала без умолку. Глана она упомянула только раз, она спросила:

— А Глан тоже с нами поедет?

— Нет, — ответил я, — он не поедет с нами. Ты жалеешь?

— Нет-нет, — быстро ответила она. — Я рада.

Больше она о нем не говорила, и я успокоился. И когда я ее позвал к себе, она пошла.

Часа через два, когда я остался один, я вскарабкался к Глану и постучал в тонкую тростниковую дверцу. Он был дома. Я сказал:

— Я пришел предупредить вас, что завтра нам, пожалуй, не стоит идти на охоту.

— Отчего же? — спросил Глан.

— Оттого, что я за себя не ручаюсь, я могу вдруг промахнуться и всадить вам пулю в затылок.

Глан не отвечал, и я спустился к себе. Ему бы в самый раз не идти со мной на охоту после такого предупреждения; и потом зачем он, спрашивается, торчал с Магти у меня под окном, да еще громко с ней любезничал? И вообще, почему бы ему не уехать на родину, если в письме его и правда звали? Так нет же. Он ходил как потерянный, и все сжимал зубы, и вскрикивал: «Ни за что! Ни за что! Лучше пусть меня четвертуют!»

И вот утром — это после такого-то предупреждения! — Глан стоит подле моей постели и кричит:

— Пора, пора, старина! Погодка отличная! Как раз для охоты! А насчет вчерашнего, так это вы чепуху городили.

Еще не пробило и четырех, но я тотчас вскочил и собрался, вольно же ему было так небрежничать моим предупреждением. Я заряжал ружье у него на глазах, а он стоял и смотрел. Вдобавок ко всему никакой такой не было отличной погодки, напротив, накрапывало, так что он в буквальном смысле слова надо мной издевался. Но я не стал ничего говорить.

Весь день мы плутали по лесу, каждый со своими мыслями. Мы так ничего и не подстрелили, то и дело упускали дичь, нас ведь не охота занимала, а совсем другое. Начиная с полудня Глан

пошел несколько впереди меня, чтобы мне было сподручней, или уж не знаю что. Шел перед самым дулом моего ружья, но я и эту издевку снес. Мы воротились без происшествий. Я думал: ничего, может, теперь немного окоротит себя и отстанет от Магги!

— Сегодня был самый длинный день в моей жизни, — сказал Глан вечером, когда мы подошли к хижине.

Больше мы не сказали друг другу ни слова.

В последующие дни он был в самом мрачном духе, возможно, все из-за письма.

— Я больше не могу, нет, я больше не могу! — вскрикивал он по ночам; на весь дом было слышно. В своей угрюмости он дошел до того, что не отвечал даже на самые любезные расспросы нашей хозяйки, и он стал стонать во сне.

«Да, не чиста у него совесть! — думал я. — И чего же это он домой-то не едет! Ясно, тут мешала гордыня, как же это он вернется, когда его прогнали!»

Я виделся с Магги всякий вечер, а Глан с нею больше не заговаривал. Я заметил, что она перестала жевать, она совсем теперь не жевала, и я этому радовался и думал: она уже не жует, одним недостатком меньше, и я ее за это вдвойне люблю! Раз она спросила о Глане. Осторожно так спросила: он не заболел? Не уехал?

— Если он не сдох и не уехал, — ответил я, — то уж, непременно, валяется дома. Мне это решительно безразлично. Он мне осточертел.

Но когда мы подошли к дому, мы увидали Глана, он лежал на циновке, заложив руки под голову и уставясь в небо.

— Да вон он, кстати, и лежит, — сказал я.

Магги тотчас подбежала к нему, я даже не успел ее удержать, и сказала радостно:

— Я больше не жую, смотри! Ни перьев, ни денег, ни бумажек не жую!

Тот едва глянул на нее и опять уставился в небо, а мы с Магги ушли. Когда я принялся укорять ее за то, что она нарушила обещание и опять заговорила с Гланом, она ответила, что, дескать, просто хотела его осадить.

— А, это пожалуйста, — сказал я. — Но ты разве из-за него перестала жевать?

Она не отвечала. Это еще что такое — не отвечать?

— Говори же, из-за него или нет?

— Нет, нет, — ответила она, — это я из-за тебя.

Ну, так я и думал. И зачем бы она стала что-то делать ради Глана?

Вечером Магги обещала прийти ко мне, и она пришла.

V

Она пришла в десять часов, я услыхал ее голос. Она вела за руку ребенка и громко ему что-то говорила. Зачем она привела ребенка и зачем не входит в дом? Я слежу за ней, и мне начинает казаться, что этот ее громкий разговор с ребенком попросту сигнал, а еще я замечаю, что она не отрывает глаз от чердака, от Гланова оконца. Кивнул он ей, что ли, или рукой помахал, заслышав снизу ее голос? Одно ясно — когда говоришь с ребенком, не к чему задирать голову кверху — такое-то уж я могу понять.

У меня появилось желание выскочить и схватить ее за руку, но она уже отпустила ребенка, тот так и остался стоять, а сама вошла в нашу дверь. Ну вот наконец-то, сейчас я ее отчитаю.

И вот я слышу, как Магги входит в дверь, ошибки быть не может, она уже почти у моей комнаты. Но вместо того чтоб войти ко мне, она поднимается по лесенке наверх, я это слышу, она карабкается на чердак, в каморку Глана, о, я это очень даже слышу. Я распахиваю свою дверь настежь, но Магги уже поднялась. За ней захлопывается тростниковая дверца, и больше я не слышу ничего. Это все было в десять часов.

Я вхожу к себе, беру ружье, сажусь и заряжаю его, хоть дело уже к ночи. В полночь я поднимаюсь наверх и подслушиваю у Глана под дверью, я слышу, что там Магги, что они поладили, и я снова спускаюсь. В час я снова поднимаюсь, но все уже тихо. Я жду под дверью, когда же они проснутся. Три часа, четыре. В пять они проснулись. «Хорошо же», — подумал я, и больше я

ни о чем не думал, только о том, что вот, мол, они проснулись и как это хорошо. Но тут донесся шум из комнаты хозяйки, и, опасаясь быть застигнутым, я поспешил вниз. Глан и Магги проснулись, мне бы еще послушать, но вот пришлось уйти.

Внизу я подумал: «Тут она прошла, она задела за мою дверь плечом, но она ее не открыла, она поднялась по лесенке, вон она, эта лесенка, четыре приступочки, и она по ним ступала». Постель моя была не смята, и я не стал ложиться, я сел у окна и занялся ружьем. Сердце у меня не билось, оно дрожало.

Через полчаса я снова слышу шаги Магги по ступенькам. Я приникаю к окну и вижу, как она выходит из дому. На ней была ситцевая юбочка, которая даже и до колен-то не доходила, а на плечах шерстяной шарф Глана. Больше на ней ничего не было, а юбочка вся измялась. Она шла медленно, она всегда так ходила, и даже не оглянулась на мое окно. Так и ушла.

Скоро вниз сошел Глан, с винтовкой, в полном снаряженье для охоты и мрачный. Мне он не поклонился. Одет он был как-то особенно тщательно и нарядно. «Нарядился, как жених», — подумал я.

Я тут же схватился и пошел за ним, и мы оба молчали. Первых двух курочек мы нещадно разорвали в клочья, потому что стреляли из винтовок, но все же кое-как зажарили их под деревом и съели, и все это молча. Так подошло к полудню.

Глан крикнул:

— А вы точно зарядили? Вдруг на что нападем!

— Я зарядил! — крикнул я в ответ.

Тут он на мгновенье исчез за кустами. О, с каким бы счастьем я пристрелил его сейчас, как собаку! Но куда спешить, пусть его походит с такими вот мыслями, ведь он отлично же понимал, что у меня на уме, оттого и спросил, зарядил ли я. И хоть бы сегодня, хоть сегодня не носился со своей гордыней, ведь как нарядился, и новую рубашку надел; и физиономия в высшей степени высокомерная.

В час дня, злой, бледный, он смотрит мне в лицо и говорит:

— Нет, это невыносимо! Да проверьте вы наконец, заряжено ли у вас, есть ли там патроны?

— Лучше потрудитесь проверить собственное ружье, — ответил я. Но я ведь прекрасно знал, отчего он все спрашивает про мое ружье.

И он снова отошел в сторону. Я достаточно ясно указал ему его место, и он притих и повесил голову.

Час спустя я подстрелил голубя и снова зарядил ружье. Пока я заряжаю, Глан стоит за деревом и смотрит, смотрит, действительно ли я зарядил, и вскоре после этого он громко и отчетливо затягивает псалом и даже, представьте, свадебный. «Поет свадебный псалом, нарядился, — думал я, — видно, считает, что сегодня он особенно неотразим». И он пошел прямо передо мной, свесив голову, тихим шагом, и все пел. Он опять шел прямо перед самым моим дулом, видно, думал — ну вот сейчас, сейчас это должно произойти, оттого я и пою свадебный псалом! Но ничего, однако, не произошло, и, когда он кончил, ему пришлось-таки оглянуться.

— Этак мы сегодня немного настреляем, — сказал он и улыбнулся, извиняясь передо мной за то, что пел на охоте. И даже тут улыбка его была прекрасна, словно бы сквозь слезы, а губы у него в самом деле дергались, хоть, конечно, и здесь была рисовка — вот, мол, улыбаюсь в такой решающий час.

Я ему не баба, и он отлично понял, что меня такими штучками не проймешь, он стал нервничать, кружил вокруг меня, то справа зайдет, то слева, а то остановится и поджидает. В пять часов я вдруг услыхал выстрел, и над левым моим ухом просвистела пуля. Я поднял глаза, Глан стоял в нескольких шагах и смотрел на меня не отрываясь, его ружье дымилось. Что ж, он хочет, что ли, пристрелить меня? Я сказал:

— Вы промахнулись, вы плохо стали стрелять.

Но он стрелял отнюдь не плохо, он не промахивался никогда, просто ему хотелось взбесить меня.

— О черт, так отомстите же! — крикнул он в ответ.

— Всему свое время, — сказал я и стиснул зубы.

Так мы стоим и смотрим друг на друга, и вдруг Глан пожимает плечами и кричит мне: «Трус!»

Ах, вот как, он еще будет меня называть трусом! Я вскинул ружье, прицелился ему прямо в лицо и выстрелил.

Что посеешь, то и пожнешь...

И нечего семейству Глан продолжать розыски этого человека. Меня давно бесит дурацкое уведомление о таком-то и таком-то вознаграждении за сведения о покойнике. Томас Глан умер от несчастного случая, от шальной пули на охоте в Индии. Суд занес его имя и дату кончины в протокол, протокол подшили в папку, и в этом протоколе значится, что он умер, — слышите вы! — умер, и умер именно от шальной пули.

ВИКТОРИЯ

© Перевод. Ю. Яхнина, наследники, 2009

I

Сын мельника шел и думал. Это был широкоплечий подросток лет четырнадцати, загоревший на солнце и на ветру, и великий мастер придумывать всякую всячину.

Когда он вырастет, он будет делать спички. Вот это ремесло, опасное не на шутку: перепачкаешь пальцы серой, и ни один смельчак не решится протянуть тебе руку. Да и приятели станут уважать за то, что ты искусен в таком страшном деле.

В лесу он наведался к своим птицам. Все они были его старыми друзьями, он знал, где они вьют гнезда, понимал их язык и отвечал им на разные голоса. Частенько он кормил их хлебными шариками из муки, смолотой на мельнице его отца.

Деревья, что росли вдоль тропинки, тоже были его старыми знакомцами. Весной он собирал древесный сок, а зимой по-отечески заботился о них и стряхивал снег с ветвей, чтобы они не гнулись. Даже на самом верху, в заброшенной каменоломне, не было камня, с которым он не был бы накоротке: он высекал на них буквы, а потом расставлял камни: тот, что в середине, — пастор, а вокруг — прихожане. Да и вообще каких только чудес не видела старая каменоломня.

Он свернул в сторону и спустился к плотине. Крутилось мельничное колесо, стоял невообразимый грохот. Но он привык бродить здесь, разговаривая вслух с самим собой. Казалось, каждая жемчужинка пены живет своей особой жизнью и может кое о чем порассказать, а от запруды река падала вниз со-

вершенно отвесно, будто это развесили для просушки нити блестящей пряжи. Пониже плотины в реке водилась рыба; он не раз закидывал там свою удочку.

Когда он вырастет, он станет водолазом. Водолазом, и никем другим. С палубы корабля он спустится в морскую пучину и окажется в неведомой стране, где волны колышут диковинные леса, а на самом дне высится дворец из коралла. Принцесса поманит его из окна и скажет: «Войдите!»

И тут он услышал, что кто-то его зовет. Это отец кричал ему: «Юханнес!»

— За тобой присылали из Замка. Надо отвезти молодых господ на остров!

Юханнес быстро зашагал к Замку. На долю мельникова сына выпала неожиданная великая милость.

Господская усадьба и в самом деле была похожа на маленький замок, на одинокий сказочный дворец среди зелени. Полукруглые окна шли по стенам и скатам крыши деревянного дома, выкрашенного белой краской, а когда к хозяевам приезжали гости, на круглой башенке развевался флаг. Усадьбу в народе прозвали Замком. По одну сторону от нее тянулся залив, по другую густые леса, а далеко-далеко виднелись маленькие крестьянские хутора.

Юханнес встретил молодых господ на молу и помог им разместиться в лодке. Он знал их давно — это были дети владельца Замка и их друзья из города. Все они надели высокие болотные сапоги, и когда причалили к острову, только Викторию, обутую в маленькие туфельки — ей и минуло-то всего десять лет, — надо было перенести на руках.

— Можно, я тебя перенесу? — спросил Юханнес.

— Я сам перенесу, — заявил Отто, молодой человек, приехавший из города, — ему уже пора было конфирмоваться. Он взял Викторию на руки.

Юханнес смотрел, как Отто перенес ее на пригорок подальше от берега, и слышал, как она сказала: «Спасибо». Потом Отто приказал:

— А ты, как тебя там зовут, присмотришь за лодкой.

— Его зовут Юханнес, — объяснила Виктория. — Правда, пусть он присмотрит за лодкой.

Юханнес остался один. А молодые господа, взяв в руки корзины, пошли в глубь острова собирать птичьи яйца. Юханнес постоял в размышлении, ему очень хотелось пойти вместе со всеми, ведь лодку можно попросту втащить на берег. Думаете, тяжело? Ничуть не бывало. Юханнес изо всех сил толкнул лодку, и нос ее оказался на берегу.

Он слышал, как молодые господа, смеясь и болтая, уходят все дальше. Ну и ладно, счастливого пути. А все-таки могли бы взять его с собой. Он показал бы им гнезда — таинственные впадины, спрятанные в горах, где живут хищные птицы с пушком на клюве. Однажды Юханнес даже повстречал там горностая.

Юханнес столкнул лодку на воду и стал грести вокруг острова. Он отплыл уже довольно далеко, когда услышал окрик:

— Греби обратно! Ты распугиваешь птиц.

— Я хотел показать вам нору горностая, — объяснил Юханнес, и в голосе его прозвучал вопрос. — А то, хотите, выкурим из гнезда змею? — предложил он немного погодя. — У меня с собой спички.

Но никто не отозвался. Юханнес повернул и стал грести обратно, к тому месту, где они причалили. Там он втащил лодку на берег.

Когда он вырастет, он купит у султана остров и никого к нему не подпустит. Корабль с пушками на борту будет охранять его владения. «Государь, — доложат ему рабы, — какое-то судно наскочило на риф, там молодые люди, они погибнут». — «Пусть гибнут», — ответит он. «Государь, они молят о помощи, мы еще можем их спасти, среди них молодая женщина в белом платье». «Спасите их!» — прикажет он громовым голосом. И вот после многих лет разлуки он вновь видит детей владельца Замка, а Виктория бросается к его ногам и благодарит за спасение. «Не стоит благодарности, я только выполнил свой долг, — отвечает он. — Гуляйте же свободно по моим владениям». И он гостеприимно распахнет двери своего замка для молодых господ и

прикажет подать угощенье на золотых блюдах, и триста темнокожих рабынь будут всю ночь танцевать и петь для них. Потом молодые господа соберутся уезжать, но Виктория не захочет ехать с ними, она, рыдая, падет перед ним ниц — ведь она любит его. «Позвольте мне остаться, государь, не гоните меня, пусть я стану одной из ваших рабынь...»

Замирая от волнения, Юханнес быстро зашагал в глубь острова. Решено, он спасет детей хозяина Замка. Как знать — а вдруг они заблудились? Вдруг Виктория провалилась в расселину между камнями и не может оттуда выбраться? Юханнесу стоит только протянуть руку, и он ее спасет.

Но молодые господа посмотрели на Юханнеса с удивлением. Как же это он бросил лодку?

— Ты отвечаешь мне за лодку, — заявил Отто.

— Хотите, я покажу вам малинник? — предложил Юханнес.

Пауза. Только Виктория спросила:

— Малинник? А где он?

Но молодой горожанин быстро нашелся и заявил:

— Сейчас нам некогда.

Юханнес сказал:

— И еще я знаю, где можно набрать ракушек.

Снова пауза.

— А жемчужины в них есть? — спросил Отто.

— Ой, а вдруг и вправду там жемчужины! — воскликнула Виктория.

Нет, за это Юханнес поручиться не мог, а вот ракушки лежат на белом песчаном дне далеко от берега; надо отплыть на лодке и потом нырнуть.

Но эту затею подняли на смех, Отто фыркнул:

— Тоже водолаз нашелся, нечего сказать!

Юханнес тяжело перевел дух.

— Хотите, я заберусь вон на ту скалу и сброшу вниз громадный валун? — предложил он.

— Зачем?

— Просто так. А вы будете смотреть.

Но и эта затея не пришлась по вкусу молодым господам, и пристыженный Юханнес замолчал. Потом он пошел искать птичьи яйца в стороне от всех, на другом конце острова.

Когда вся компания снова собралась у лодки, оказалось, что Юханнес набрал гораздо больше яиц, чем все остальные. Он бережно нес их в шапке.

— Как это ты ухитрился набрать столько яиц? — спросил горожанин Отто.

— Да я же знаю, где птичьи гнезда, — радостно объяснил Юханнес. — Я положу эти яйца вместе с твоими, Виктория.

— Не смей! — крикнул Отто. — С какой это стати?

Все уставились на Отто.

— Кто может поручиться, что шапка чистая?

Юханнес ничего не сказал в ответ. Но радость его померкла. Он повернулся и побрел назад, к скалам, унося яйца в шапке.

— Что это с ним? Куда он? — нетерпеливо спросил Отто.

— Куда ты, Юханнес? — крикнула Виктория и побежала за ним вдогонку.

Он остановился и тихо ответил:

— Положу яйца обратно в гнезда.

Они постояли, глядя друг на друга.

— А после обеда я пойду в каменоломню, — сказал он.

Она промолчала.

— Хочешь, я покажу тебе пещеру?

— Ой, боюсь, — испугалась она. — Ты и сам говорил, что там очень темно.

Тогда, несмотря на все свое горе, Юханнес улыбнулся и храбро сказал:

— Ничего, ведь с тобой буду я.

В старой каменоломне Юханнес любил играть с малолетства.

С дороги было слышно, как он что-то мастерит наверху и разговаривает вслух сам с собой; иногда он воображал, будто он священник, и читал проповеди.

Каменоломня была давно заброшена, камни поросли мхом, и уже не видно было тех мест, где когда-то сверлили буром и

закладывали взрывчатку. Зато в самой глубине была таинственная пещера, которую сын мельника расчистил от камней и искусно разукрасил, — здесь жила самая храбрая в мире шайка разбойников, и он был ее главарем.

Вот он звонит в серебряный колокольчик. Вбегает крошечный человечек, карлик, в шапочке с брильянтовой пряжкой. Это прислужник. Он кланяется до самой земли. «Когда придет принцесса Виктория, введите ее сюда», — громко приказывает Юханнес. Карлик снова кланяется до земли и исчезает. Развалясь на мягком диване, Юханнес предается раздумью. Он усадит гостью на почетное место и прикажет подать ей изысканные яства на серебряных и золотых блюдах; освещать пещеру будет пылающий костер, а в глубине за тяжелым пологом из золотой парчи ей приготовят ложе, и двенадцать рыцарей будут охранять ее покой...

Юханнес вскочил, на четвереньках выбрался из пещеры и прислушался. Внизу на тропинке шуршали листья.

— Виктория! — окликает он.

— Я! — раздается в ответ.

Он спускается ей навстречу.

— Ой, мне страшно! — говорит она.

Он пожимает плечами и отвечает:

— Да ведь я только что там был. Я прямо оттуда.

Они входят в пещеру. Движением руки он приглашает ее сесть на камень и говорит:

— Вот на этом самом камне сидел великан.

— Тс-с, молчи, не рассказывай дальше! А ты испугался?

— Нет.

— Но ты говорил, что у него только один глаз, а один глаз бывает у троллей.

Юханнес задумывается.

— У него было два глаза, но на один он ничего не видит, это он сам мне сказал.

— А еще он что сказал? Нет, не надо, не рассказывай!

— Он спросил, не соглашусь ли я поступить к нему на службу.

— Боже сохрани! Ты, конечно, не согласился?

— Не то чтобы согласился, но и наотрез не отказался.

— Ты с ума сошел! Неужели ты хочешь, чтобы тебя заточили в пещеру?

— Сам не знаю. На земле тоже ничего хорошего нет.

Пауза.

— С тех пор как приехали эти гости из города, ты только с ними и водишься, — говорит он.

Пауза.

Юханнес продолжает свое:

— А ведь я сильнее их всех, я в два счета перенес бы тебя на берег. И вообще, я могу продержать тебя на руках целый час. Смотри!

Он взял ее на руки и поднял. Она обхватила его за шею.

— Ты устал, отпусти.

Он поставил ее на землю.

— Но ведь Отто тоже сильный. Он даже дрался со взрослыми, — говорит она.

Юханнес переспрашивает с сомнением:

— Со взрослыми?

— Да. В городе.

Пауза. Юханнес размышляет.

— Ну раз так, говорить не о чем, — решает он. — Я знаю, что мне теперь делать.

— Что же?

— Наймусь в услужение к великану.

— Ой! Ты с ума сошел! — вскрикивает Виктория.

— А что тут такого! Мне теперь все равно. Пойду и наймусь.

Виктория обдумывает, как выйти из положения.

— А может, он вообще больше не придет?

— Придет, — отвечает Юханнес.

— Сюда? — быстро спрашивает она.

— Сюда.

Виктория вскакивает и пробирается к выходу.

— Лучше уйдем отсюда!

— Спешить некуда! — говорит Юханнес, хотя он и сам побледнел. — Великан придет не раньше ночи. Ровно в полночь.

Виктория успокоилась и готова занять прежнее место на камне. Но Юханнесу уже нелегко совладать с чудовищем, которое он сам вызвал, — в пещере оставаться опасно.

— Если хочешь, давай уйдем, — предлагает он. — Там наверху есть камень, а на нем твое имя. Я тебе его покажу.

Они на четвереньках выбираются из пещеры и находят камень. Виктория горда и счастлива. А растроганный Юханнес со слезами на глазах говорит:

— Когда меня здесь не будет, ты посмотришь на этот камень и вспомнишь обо мне. Помянешь меня добрым словом.

— Обязательно, — обещает Виктория. — Но ведь ты вернешься?

— Как знать. Может, и не вернусь.

Они идут по дороге к дому. Юханнес чуть не плачет.

— Ну что же, прощай! — говорит Виктория.

— Пожалуй, я провожу тебя еще немного.

Как бессердечно и поспешно она попрощалась с ним, — Юханнес обижен, его самолюбие задето. Он круто останавливается и говорит, не скрывая справедливого гнева:

— Одно я скажу тебе, Виктория. Никто никогда не будет так хорошо относиться к тебе, как я. Никто.

— Отто тоже ко мне хорошо относится, — возражает она.

— Вот как! Ну и водись с ним на здоровье, — отвечает он.

Они молча проходят несколько шагов.

— А обо мне не беспокойся. Я буду жить припеваючи. Ты еще не знаешь, что мне обещано в награду.

— Не знаю. А что тебе обещано?

— Полцарства. Это раз.

— Да ну! Неужели полцарства!

— И принцесса в придачу.

Виктория остановилась.

— Скажи, ведь это неправда?

— Так обещал великан.

Пауза.

— Интересно, какая она из себя? — тихонько говорит Виктория.

— Боже мой, да она прекрасней всех на свете. Кто этого не знает.

Виктория побеждена.

— А ты хочешь жениться на принцессе? — спрашивает она.

— Конечно, — отвечает он. — Почему бы нет? — Но, видя, что Виктория не на шутку огорчилась, добавляет: — Впрочем, может статься, я разок-другой загляну на землю. Приеду как-нибудь в гости.

— Только не бери ее с собой, не надо, — просит Виктория. — На что она тебе здесь?

— Пожалуй, я приеду один.

— Обещай мне это, ладно?

— Хорошо, обещаю. Но не все ли тебе равно? Ясное дело, тебе совершенно все равно.

— Зачем ты так говоришь? — возражает Виктория. — Уж наверное она любит тебя меньше, чем я.

Сердце сладко замирает у него в груди. Он счастлив и так смущен ее словами, что готов сквозь землю провалиться. Он не смеет взглянуть на нее и отводит глаза. А потом подбирает с земли прутик и, содрав с него кору, похлестывает себя им по руке. Наконец в полном смятении начинает насвистывать.

— Пожалуй, мне пора домой, — говорит он.

— До свиданья, — отвечает она и протягивает ему руку.

II

Сын мельника уехал в город. Он долго не возвращался домой, он ходил в школу, изучал разные науки, вырос, стал большим и сильным, и верхняя губа у него покрылась пушком. До города было далеко, поездка в оба конца стоила дорого; бережливый мельник много лет подряд держал сына в городе зимой и летом. И Юханнес целыми днями сидел над книгами.

И вот он стал взрослым, ему исполнилось восемнадцать, потом двадцать лет.

Однажды весенним днем он сошел с парохода на берег. Над Замком развевался флаг в честь хозяйского сына. Дитлеф приехал домой на каникулы тем же пароходом, за ним на пристань прислали коляску. Юханнес поклонился владельцу Замка, его жене и Виктории. Как выросла и повзрослела Виктория! Она не ответила на его поклон.

Он еще раз снял шапку и услышал, как она спросила брата:

— Кто это поздоровался с нами, Дитлеф?

— Да это же Юханнес, сын мельника, — ответил брат.

Виктория снова посмотрела в его сторону, но Юханнесу было неловко здороваться еще раз. И карета уехала.

А Юханнес зашагал домой.

Господи, до чего же маленький и смешной у них дом! Юханнес не мог пройти под притолокой, не согнувшись. Родители встретили его праздничным угощением. Он был взволнован до глубины души. Здесь все было полно дорогих и трогательных воспоминаний, добрые старики отец и мать по очереди протянули ему руку и поздравили с возвращением.

В тот же вечер Юханнес пошел бродить по окрестностям, осмотрел все вокруг, побывал на мельнице, в каменоломне и у запруды, где он когда-то удил рыбу. С грустью прислушивался он к голосам знакомых птиц, которые уже вили гнезда на деревьях, и даже сделал крюк, чтобы поглядеть на громадный муравейник в лесу. Муравьи исчезли, муравейник вымер. Юханнес поворошил кучу, но не нашел в ней следов жизни. Гуляя по лесу, он заметил, что лес, принадлежащий владельцу Замка, сильно поредел.

— Ну как, узнаешь родные места? — пошутил отец. — Нашел дроздов, своих старых знакомцев?

— Узнаю, но не все. Лес порублен.

— Лес не наш, а хозяйский, — ответил отец. — Не нам считать чужие деревья. Нужда в деньгах случается у всякого, а хозяину Замка денег нужно много.

Дни шли своей чередой, светлые, отрадные дни, сладкие часы наедине с милыми воспоминаниями детства — когда все

зовет тебя вернуться к земле и чистому небу, на деревенский простор и в горы.

Юханнес шел по дороге к Замку. Утром его ужалила оса, и верхняя губа у него распухла; если ему встретится кто-нибудь из господ, он поклонится и тотчас пройдет мимо. Но он никого не встретил. В саду перед Замком он увидел даму и, поравнявшись с ней, низко поклонился, а потом пошел дальше. Это была хозяйка Замка. Проходя мимо Замка, Юханнес и сейчас еще чувствовал, что сердце у него бьется, как в былые дни. Большой дом с его бесчисленными окнами и суровый, надменный владелец Замка и поныне внушали ему почтение.

Юханнес свернул к пристани.

Тут он вдруг увидел Дитлефа с Викторией. Юханнеса взяла досада — еще, чего доброго, подумают, что он нарочно старается попасться им на глаза. Вдобавок у него распухла губа. Он замедлил шаги в сомнении, идти ли ему дальше, и все-таки пошел. Еще издали он поклонился им и, пока они шли ему навстречу, держал шапку в руке. Оба молча кивнули в ответ и медленно прошли своей дорогой. Виктория посмотрела на него в упор; по ее лицу скользнула тень.

Юханнес продолжал свой путь к пристани, но им овладела тревога, даже походка выдавала его смятение. Подумать только, как выросла Виктория, совсем взрослая девушка, и как хороша! Ее брови почти сходятся на переносице и похожи на две изящные бархатные полоски. Глаза потемнели, стали темно-синими.

На обратном пути Юханнес свернул на тропинку, которая шла лесом далеко от Замка. Никто не сможет его попрекнуть, будто он преследует по пятам детей владельца Замка. Он поднялся на холм, облюбовал удобный камень и сел. Птицы пели исступленно и страстно, зазывали и манили друг друга, переносили прутики в клювах. В воздухе стоял приторный запах чернозема, распускающихся почек и гниющего дерева.

Но нежданно-негаданно Юханнесу опять пришлось увидеть Викторию — она шла прямо к холму, где он сидел, с противоположной стороны.

Бессильная досада овладела Юханнесом — оказаться бы где-нибудь за тридевять земель; уж на этот раз она непременно подумает, что он ищет с ней встречи. Здороваться с ней снова или нет? Может, лучше сделать вид, будто он ее не заметил, тем более что у него распухла губа.

Но когда Виктория поравнялась с ним, он встал и снял шапку. Она улыбнулась, кивнула.

— Добрый вечер. С приездом, — сказала она.

Ему показалось, что губы ее снова чуть дрогнули, но она быстро овладела собой.

— Этому трудно поверить, — стал объяснять он, — но я не знал, что ты пошла в эту сторону.

— Конечно, вы не могли этого знать, — ответила она. — Мне вдруг взбрело в голову пойти этой тропинкой.

Ай-яй-яй! А он-то сказал ей ты!

— Вы надолго? — спросила она.

— До конца каникул.

Он с трудом подбирал слова, она оказалась вдруг совсем чужой. Зачем вообще она с ним заговорила?

— Дитлеф рассказывает, что у вас большие способности, Юханнес. Вы так хорошо учитесь. И еще он говорит, что вы пишете стихи. Это правда?

Он ответил коротко и нехотя:

— Что тут особенного. Стихи все пишут.

Наверное, сейчас она уйдет, потому что она замолчала.

— Такая досада, меня сегодня ужалила оса, — опять заговорил он, показав на свою губу. — Вот почему губа так распухла.

— Вы слишком долго не приезжали домой, здешние осы вас больше не узнают.

Его ужалила оса, а ей и горя мало. Что ж, понятно. Стоит себе, вертит на плече красный зонтик с золоченной ручкой, а до других ей дела нет. А ведь он не раз, бывало, таскал эту благородную гордую барышню на руках.

— Я и сам не узнаю здешних ос, — ответил он. — Хотя когда-то они были моими друзьями.

Но она не поняла глубокого смысла его слов и не ответила. А смысл-то ведь был ох какой глубокий.

— Я многого здесь не узнаю. Даже лес и тот повырублен.

Ее лицо затуманилось.

— Тогда, наверное, вам не захочется писать здесь стихи, — сказала она. — А вдруг вам вздумалось бы однажды посвятить стихотворение мне! Да нет, что я говорю! Видите, как мало я смыслю в этих вещах.

Задетый, он молча опустил глаза в землю. Она прикидывается любезной, а сама потешается над ним, роняет высокомерные слова и ждет, какое они произведут впечатление. И напрасно — все эти годы Юханнес не тратил времени зря и не только марал бумагу, он прочел больше книг, чем некоторые другие.

— Ну что ж, мы, верно, еще увидимся. До свидания.

Он снял шапку и ушел, ничего не ответив.

Знала бы она, что ей одной, и никому другому, посвящал он свои стихотворения, все до единого, даже то, которое обращено к ночи, и то, которое о болотном огоньке. Но она никогда этого не узнает.

В воскресенье за Юханнесом явился Дитлеф звать его на остров. «Опять мне придется сидеть на веслах», — подумал Юханнес, но согласился. Несмотря на воскресный день, гуляющих на пристани было немного. Стояла тишина, на небе ярко сияло солнце. Потом вдруг раздались звуки музыки, они доносились с моря, с далеких островов — это почтовый пароход описывал большую дугу, подходя к пристани; на палубе играла музыка.

Юханнес отвязал лодку и сел на весла. В этот ослепительный день он был в каком-то приподнятом и умиленном настроении, а музыка, доносившаяся с парохода, ткала в воздухе узор из цветов и золотых колосьев.

Но почему мешкает Дитлеф? Он стоит на берегу и смотрит на пароход и на его пассажиров, словно кого-то ждет. «Нечего мне сидеть на веслах, сойду-ка я на берег», — подумал Юханнес и стал поворачивать.

И тут перед его глазами мелькнуло что-то белое, он услышал всплеск. Отчаянный многоголосый крик раздался с паро-

хода, а те, кто был на берегу, неотрывно глядели и показывали пальцами туда, где скрылось белое видение. Музыка смолкла.

Юханнес немедля бросился на помощь. Он действовал, повинуясь только инстинкту, без раздумий, без колебаний. Он не слышал, как на палубе кричала мать: «Моя девочка, моя дочь!» Он никого не видел. Не теряя времени, он прыгнул с лодки в воду и нырнул.

Несколько мгновений его не было видно, только в том месте, где он исчез, по воде шли круги, и все понимали: он ищет. Вопли на пароходе не умолкали.

Вот он вынырнул снова, чуть подальше, в нескольких саженях от того места, где стряслась беда. Ему кричали, тыкали пальцами: «Нет, там, сюда, сюда!»

Он снова скрылся под водой.

Снова мучительное ожидание, неумолкающий горестный вопль женщины, какой-то мужчина на палубе в отчаянии ломает руки. Скинув куртку и башмаки, в воду с палубы бросился еще один человек — штурман. Он тщательно обыскивал то место, где девочка пошла ко дну, и теперь все надеялись только на него.

Но тут над водой снова показалась голова Юханнеса, еще дальше, чем прежде, намного саженей дальше. Шапку Юханнес потерял, его голова лоснилась на солнце, точно голова тюленя. Видно было, что ему трудно, что-то мешает ему плыть, одна рука у него занята. А через мгновение он уже держал свою ношу в зубах — это была утопленница. На берегу и на палубе раздались возгласы изумления, должно быть, и штурман услышал эти крики, потому что, вынырнув из воды, огляделся вокруг.

Наконец Юханнес добрался до лодки, которую отнесло в сторону; он положил в нее девочку, а потом забрался и сам; все это заняло у него не больше минуты. С берега видели, как он склонился над девочкой, разорвал ей на спине платье, потом схватил весла и стал что есть силы грести к пароходу. Когда утопленницу втащили на палубу, на пароходе прогремело многократное ликующее «ура!».

— Как вам пришло в голову искать ее так далеко? — спросили Юханнеса.

Он ответил:

— Я знаю здешнее дно. Тут течение. Я помнил об этом.

Какой-то господин пробивается сквозь толпу пассажиров к самому борту, он бледен как смерть, судорожно улыбается, в глазах у него стоят слезы.

— Поднимитесь на палубу, пожалуйста! — кричит он. — Я хочу поблагодарить вас. Мы вам так обязаны. Только на минутку.

И бледный как смерть господин снова скрывается в толпе.

С парохода в лодку сбросили трап, и Юханнес поднялся на палубу.

Он пробыл там недолго, сообщил свое имя и адрес, какая-то женщина прижимала его, насквозь промокшего, к груди, бледный, растерянный мужчина совал ему в руку свои часы. Юханнес зашел в каюту, где двое хлопотали над утопленницей, они сказали: «Она вот-вот придет в себя, сердце уже бьется».

Юханнес посмотрел на пострадавшую — белокурая девочка в коротком платьице, разорванном на спине. Кто-то нахлобучил на Юханнеса шапку, его проводили к лодке.

Он совершенно не помнил, как оказался на берегу, как вытащил из воды лодку. Он только слышал, как еще раз прокричали «ура», и, когда пароход двинулся дальше, на борту грянула веселая музыка.

Волны блаженства сладким холодком пробегали по его телу, он улыбался, беззвучно шевеля губами.

— Выходит, наша прогулка сегодня не состоится, — сказал Дитлеф. Вид у него был недовольный.

Появилась Виктория, она шагнула вперед и быстро сказала:

— Ты сошел с ума, ему надо идти домой и переодеться.

— Экая важность — в девятнадцать-то лет!

Юханнес зашагал домой. В его ушах еще звенела музыка и крики «ура», возбуждение подгоняло его. Миновав свой дом, он прошел лесом к старой каменоломне: «Тут он облюбовал себе местечко на самом припеке. От его одежды шел пар. Он сел. Но

блаженная, необузданная тревога не дала ему усидеть на месте. Счастье переполняло его. Упав на колени, он в горячих слезах возблагодарил Бога за этот день. Виктория стояла на берегу, она слышала крики «ура!». «Ступайте домой и переоденьтесь в сухое», — сказала она.

Он сел, снова и снова смеясь ликующим смехом. Она видела, как он совершил этот поступок, этот подвиг, она с гордостью следила за ним, когда он спасал утопленницу. Виктория, Виктория! Знаешь ли ты, как безраздельно я принадлежу тебе каждую минуту своей жизни! Я готов быть твоим слугой, твоим рабом, сметать все препятствия на твоем пути. Я готов целовать твои крошечные туфельки, впрячься в твою карету, а в морозные дни подбрасывать поленья в твою печь. Золотые поленья в твою печь, Виктория!

Он оглянулся. Никто его не слышит. Он наедине с собой. В руке он держал дорогие часы — они тикали, они шли.

Благодарю, благодарю тебя, Боже, за этот день! Он провел рукой по мшистым камням, по валежнику. Виктория не улыбнулась ему, нет, это не в ее обычае. Она просто стояла на пристани, и легкий румянец проступил на ее щеках. Может, если бы он подарил ей часы, она согласилась бы их принять.

Солнце садилось, жара спадала. Он только теперь почувствовал, что вымок, и, легче перышка, помчался домой.

В Замок съехались гости, знакомые из города, там были танцы и веселье. И целую неделю на круглой башне днем и ночью развевался флаг.

Пора было убирать сено, но на лошадях катались веселые гости, и сено осталось в поле. А кое-где косить даже и не начинали, батракам пришлось стать кучерами и гребцами, и трава засыхала на корню.

А в желтой гостиной, не умолкая, играла музыка...

В такие дни старый мельник останавливал мельницу и запирал свой дом. Он был научен горьким опытом: городские гости уже не раз, бывало, являлись к нему веселой гурьбой и портили забавы ради мешка с зерном. Ночи стояли теплые и светлые, — как тут удержаться от проделок. Когда богач-камергер

был молод, он однажды явился на мельницу, в руках у него была лохань, а в ней муравьиная куча, он взял да и сбросил ее на жернова. Сам камергер уже давно состарился, но Отто, его сын, по-прежнему наезжает в гости к хозяевам Замка, а он горазд на всякие выдумки. Чего только о нем не рассказывают...

Вот из лесу донеслись крики и стук копыт. Это молодые гости верхами на разгоряченных и потных лошадях. Всадники подскакали к дому мельника и застучали хлыстами в дверь. Притолка была совсем низкая, а им, поди ж ты, приспичило въехать в дом верхами.

— Здравствуйте! Здравствуйте! — загалдели они. — Мы приехали к вам в гости.

И мельник приниженно смеялся над их затеей.

Молодые люди спешились, привязали лошадей и пустили мельницу в ход.

— В ковше нет зерна! — закричал мельник. — Вы сломаете мельницу!

Но в грохочущем шуме жерновов никто не расслышал его голоса.

— Юханнес! — завопил мельник во всю силу своих легких.

С каменоломни спустился Юханнес.

— Они сотрут в порошок мои жернова! — крикнул мельник, указывая на гостей.

Юханнес медленным шагом направился к гостям. Он был страшно бледен, на его висках набухли жилы. Он узнал камергерского сына Отто, который носил теперь кадетскую форму; с ним было еще двое молодых людей. Один из них улыбнулся и поздоровался с Юханнесом — он не хотел ссориться.

Юханнес не стал кричать или грозить, но продолжал двигаться вперед. Он шел прямо на Отто. И тут он увидел двух всадниц, выехавших из леса, — одна из них была Виктория, в зеленой амазонке, на белой кобыле, принадлежащей хозяину Замка. Виктория не спешилась, но придержала лошадь и обвела всех вопросительным взглядом.

Юханнес круто повернул в сторону, поднялся на плотину и открыл затвор; грохот мало-помалу стих, мельница остановилась.

Отто крикнул:

— Эй, не трогай! Ты зачем ее остановил? Не трогай, говорю тебе.

— Это ты пустил мельницу? — спросила Виктория.

— Я, — смеясь, ответил Отто. — Почему она стоит?

— Потому что в ней пусто, — задыхаясь, ответил Юханнес. — Понятно? Пусто.

— В ней пусто. Слышишь? — повторила Виктория.

— Откуда мне было знать? — возразил Отто со смехом. — А позвольте тогда спросить: почему в ней пусто? Разве зерно не засыпано?

— Ладно! По коням! — перебил один из приятелей Отто, чтобы положить конец спору.

Они вскочили на коней. Перед тем как уехать, один из молодых людей извинился перед Юханнесом.

Виктория уезжала последней. Отъехав на несколько шагов, она повернула коня и возвратилась.

— Будьте так добры, извинитесь за нас перед вашим отцом, — попросила она.

— Кадет мог бы и сам извиниться, — ответил Юханнес.

— Ну да, вы правы, но все же... Он такой выдумщик... Я, кажется, давно не видела вас, Юханнес.

Он поднял на нее взгляд, не веря своим ушам, — уж не ослышался ли он? Неужели она забыла воскресенье — великий день его торжества?

Он ответил:

— Я видел вас в воскресенье на пристани.

— Ах да, — сразу же отозвалась она. — Как хорошо, что вам удалось помочь штурману. Ведь девочку нашли?

Он ответил коротко, с обидой:

— Да. Девочку мы нашли.

— А может, — продолжала она, точно эта мысль только сейчас пришла ей в голову, — может, вы один... Впрочем, не все ли равно. Я надеюсь, вы передадите извинения вашему отцу. Спокойной ночи.

Она с улыбкой кивнула ему и, подобрав поводья, ускакала.

Когда Виктория скрылась из виду, Юханнес, взволнованный и оскорбленный, тоже пошел в лес. И вдруг увидел — у дерева стоит Виктория, совсем одна. Она рыдает, прижавшись к стволу.

Может, она упала? Ушиблась?

Он подошел к ней и спросил:

— Что с вами?

Она шагнула к нему, протянула руки, глаза ее сияли. Но тут же она остановилась, руки ее повисли, она ответила:

— Ничего со мной не случилось, я пустила лошадь вперед и пошла пешком... Юханнес, не смотрите так на меня. Там, у плотины, вы стояли и смотрели на меня. Чего вы хотите?

— Чего я хочу? Не понимаю... — еле выговорил он.

— Какая у вас рука, — сказала она, положив свою руку на его запястье. — Какая у вас широкая рука вот здесь, в запястье. И как вы загорели — совсем смуглый.

Он рванулся, хотел взять ее за руку. Но она, подобрав подол платья, сказала:

— Нет, нет, со мной ничего не случилось. Я просто хотела пройтись. Спокойной ночи.

III

Юханнес снова уехал в город. И потекли дни и годы, долгое, напряженное время, заполненное трудом и мечтаниями, учением и строками стихов. Счастье ему улыбнулось, он написал стихотворение об Эсфири — «еврейской девушке, которая стала королевой персиян», и это произведение напечатали и даже заплатили гонорар. А другое стихотворение «Любовные странствия», написанное им от имени монаха Венда, принесло ему известность.

Что такое любовь? Это шелест ветра в розовых кустах, нет — это пламя, рдеющее в крови. Любовь — это адская музыка, и под звуки ее пускаются в пляс даже сердца стариков. Она, точно маргаритка, распускается с наступлением ночи, и точно ане-

мон, от легкого дуновения свертывает свои лепестки и умирает, если к ней прикоснешься.

Вот что такое любовь.

Она может погубить человека, возродить его к жизни и вновь выжечь на нем свое клеймо; сегодня она благосклонна ко мне, завтра к тебе, а послезавтра уже к другому, потому что она быстротечна. Но она может наложить на тебя неизгладимую печать и пылать, не затухая, до твоего смертного часа, потому что она — навеки. Так что же такое любовь?

О, любовь — это летняя ночь со звездами и ароматом земли. Но почему же она побуждает юношу искать уединенных тропок и лишает покоя старика в его одинокой каморке? Ах, любовь, ты превращаешь человеческое сердце в цветущий сад и грязную свалку, в роскошный и бесстыдный сад, где свалены таинственные и непотребные отбросы.

Не она ли заставляет монаха красться ночью в запертые ворота сада и через окно глядеть на спящих? Не она ли насылает безумие на послушницу и помрачает разум принцессы? Это она клонит голову короля до земли, так что волосы его метут дорожную пыль, и он бормочет непристойные слова, и смеется, и высовывает язык.

Вот какова любовь.

Но нет, она бывает еще совсем другая, и ее не сравнить ни с чем в мире. Весенняя ночь спустилась на землю, и юноша увидел перед собой очи — два ока. Он глядел в них — и не мог наглядеться. И поцеловал девичьи уста, и тогда ему показалось, будто в сердце его встретились два светильника: солнце и звезда. Девичьи руки обвили его, и больше он ничего в мире не видел и не слышал.

Любовь — это первое слово создателя, первая осиявшая его мысль. Когда он сказал: «Да будет свет!» — родилась любовь. Все, что он сотворил, было прекрасно, ни одно свое творение не хотел бы он вернуть в небытие. И любовь стала источником всего земного и владычицей всего земного, но на всем ее пути — цветы и кровь, цветы и кровь.

* * *

Сентябрьский день.

Эта глухая улочка — излюбленное место его прогулок. Юханнес бродит по ней взад и вперед, точно по своей комнате, потому что никогда не встречает прохожих, а по обе стороны улицы тянутся сады, где стоят деревья, одетые красной и желтой листвой.

Как могла Виктория очутиться на этой улице? Что привело ее сюда? Он не ошибся, это в самом деле она, и вчера вечером, когда он выглянул в окно, должно быть, это тоже была она.

Его сердце громко застучало. Он знал, что Виктория в городе, он слышал об этом. Но сын мельника не вхож в тот круг, где она бывает. Да и с Дитлефом он тоже не водит знакомства.

Взяв себя в руки, он пошел навстречу даме. Узнала она его или нет? Величаво и задумчиво идет она своей дорогой, горделиво неся головку на стройной шее.

Он поклонился.

— Здравствуйте! — тихо ответила она.

Но она не выказала намерения остановиться, и он молча прошел мимо. Ноги у него подгибались. В конце короткой улицы он по привычке повернул обратно. «Я буду смотреть на тротуар и не подниму глаз», — подумал он. Только пройдя шагов десять, он поднял глаза.

Она остановилась у какой-то витрины.

Что ему делать — свернуть в ближайший переулок? Почему она здесь стоит? Это неказистая витрина бедной лавчонки, где громоздятся положенные крест-накрест куски красного мыла, какая-то крупа в банке да погашенные почтовые марки.

Пожалуй, он пройдет еще десяток шагов, а потом повернет обратно.

И вдруг она посмотрела на него и пошла навстречу. Она шла быстрыми шагами, точно разом набралась смелости, а заговорив, с трудом перевела дыхание. И улыбка ее была какая-то напряженная.

— Здравствуйте! Как забавно, что я вас встретила.

Господи, что делалось с его сердцем, оно не билось, оно дрожало. Он хотел что-то сказать, но не мог и только пошевелил

губами. От ее одежды, от ее желтого платья, а может, от ее дыхания исходил едва уловимый аромат. В эту минуту он еще не успел рассмотреть ее лицо, только узнал нежную линию плеч и увидел длинную, узкую кисть на ручке зонтика. Это была ее правая рука. На пальце было кольцо.

В первые мгновения он этого не понял и не осознал беды. Просто рука ее была невыразимо прекрасна.

— Я уже целую неделю в городе, — продолжала она. — Но вас я не видела. То есть нет, видела однажды на улице, и кто-то мне сказал, что это вы. Вы так возмужали.

Он пробормотал:

— Я знал, что вы в городе. Вы долго пробудете здесь?

— Несколько дней. Нет, недолго. Мне надо возвращаться домой.

— Спасибо вам за то, что мне посчастливилось увидеть вас, — сказал он.

Пауза.

— Вообще-то я заблудилась, — сказала она наконец. — Я живу в семье камергера. Куда ведет эта улица?

— Если позволите, я провожу вас.

Они пошли вдвоем.

— А Отто сейчас дома? — спросил он первое, что пришло ему в голову.

— Дома, — коротко ответила она.

Из какой-то подворотни вышли несколько мужчин, они тащили пианино и загородили тротуар. Виктория отшатнулась влево, на миг прижавшись плечом к своему спутнику. Юханнес посмотрел на нее.

— Извините, — проговорила она.

От ее прикосновения по всему его телу разлилась блаженная истома, ее дыхание на мгновение коснулось его щеки.

— Я вижу, у вас кольцо, — сказал он и улыбнулся с равнодушным видом. — Вас можно поздравить?

Что она ответит? Он глядел на нее, он затаил дыхание.

— А вы? — спросила она. — Разве вы не обзавелись кольцом? Ах да, в самом деле... А кто-то говорил... Теперь о вас так много рассказывают и в газетах пишут.

— Я напечатал несколько стихотворений, — ответил он. — Но вы, наверное, их не читали.

— А разве это не была целая книжка? Мне казалось...

— Да, была еще и небольшая книжка.

Они вышли к какому-то скверику, и, хотя ее ждали в доме камергера, она не спешила, она села на скамью. Он остановился перед ней.

Вдруг она протянула ему руку и сказала:

— Сядьте тоже.

И только когда он сел, выпустила его руку.

«Теперь или никогда!» — подумал он. Он снова попытался заговорить насмешливым и равнодушным тоном, улыбнулся, поглядел в пространство. Ну же, смелее.

— Что ж это такое, вы обручены, а мне, своему старому соседу, об этом ни слова!

Она задумалась.

— Я не об этом хотела говорить с вами сегодня, — сказала она.

Сразу сделавшись серьезным, он тихо отозвался:

— Да я и так уже все понял.

Пауза.

Он продолжал:

— Я всегда знал, что как бы я ни старался... все равно, не я... Я всего лишь сын мельника, а вы... Ну да ничего не поделаешь. Я даже сам не понимаю, как у меня хватает смелости сидеть с вами рядом, да еще заводить такой разговор. Я бы должен стоять перед вами или, вернее, пасть перед вами на колени. Так было бы правильнее. А я сижу... Должно быть, годы, что я не жил дома, сделали свое. Я как-то осмелел. Я ведь знаю, что я уже не ребенок, знаю, что вы не можете бросить меня в тюрьму, даже если захотите. Вот почему я осмелел. Только не сердитесь на меня, уж лучше я помолчу.

— Нет, говорите. Скажите все, что хотели сказать.

— Можно? Все, что хотел? Но тогда и ваше кольцо не будет мне помехой.

— Да, — тихо сказала она. — Пусть оно не будет вам помехой.

— Правда? В самом деле? Благослови вас Бог, Виктория, неужели я не ослышался? — Он вскочил с места и наклонился, чтобы видеть ее лицо. — Разве кольцо ничего не значит?

— Сядьте.

Он снова сел.

— О, если бы вы знали, как неотступно я думал о вас все это время. Господи! Да разве хоть на одно мгновение в мое сердце закралась какая-нибудь другая мысль! Кого бы я ни встречал, с кем бы ни знакомился, на свете существовали лишь вы одна. И думал я все время только одно: Виктория всех лучше и всех прекрасней, и я знаком с ней! И при этом я думал всегда — *фрекен* Виктория. О, я прекрасно понимал, что я от вас дальше, чем кто бы то ни было, но я был знаком с вами — а для меня это вовсе не такая уж малость, — знал, где вы живете. А вдруг вы изредка вспоминаете обо мне? Конечно, вы обо мне не вспоминали, но часто по вечерам, сидя в своей комнате, я думал: а вдруг вспоминаете. И я был наверху блаженства и писал вам стихи, фрекен Виктория, на все свои деньги покупал вам цветы, приносил их домой и ставил в воду. Все мои стихи посвящены вам, кроме нескольких, но те не напечатаны. Но вы, наверное, не читали и тех, что напечатаны. Теперь я взялся за большую книгу. О Господи, как я благодарен вам, ведь я так полон вами, в этом все мое счастье. Каждую минуту я слышал или видел что-нибудь, что напоминало мне о вас, и днем и ночью. Я написал ваше имя на потолке, я лежу и смотрю на него. Но девушка, которая у меня прибирает, его не видит — я написал его маленькими буквами, только для себя. И в этом для меня особая радость.

Она отвернулась, вынула из-за корсажа листок бумаги.

— Посмотрите, — сказала она, прерывисто дыша. — Я вырезала их и спрятала. Зачем скрывать — я перечитываю их по вечерам. В первый раз мне показал их папа, и я подошла к окну, чтобы их прочесть. — Где же они? Никак не найду, — сказала я, разворачивая газету. Но на самом деле я их увидела сразу и успела прочитать. И я была так счастлива.

Листок бумаги пропитался ароматом ее кожи, она развернула листок и показала ему, это было одно из его первых сти-

хотворений, четыре коротких строфы, обращенные к ней, наезднице на белом коне. Это было признание из глубины сердца, бесхитростное и взволнованное, порыв, который невозможно сдержать, каждая строчка источала его, как звезды — свет.

— Да, — проговорил он, — это написал я. Это было давно, стояла ночь, я писал стихи, а за моим окном громко шелестели тополя. Как, вы прячете их снова? Спасибо! Вы их спрятали снова. О! — прошептал он в смятении, и голос его был едва слышен. — Подумать только, вы сидите так близко от меня. Я касаюсь рукой вашей руки, от вас веет теплом. Часто, когда я думал о вас в одиночестве, я холодел от волнения. А сейчас мне тепло. Когда я в последний раз приезжал домой, вы были прекрасны, но сейчас вы еще прекраснее. Глаза, брови или улыбка — нет, не знаю, все вместе, просто вы сами.

Она улыбалась и смотрела на него из-под полуопущенных век, за длинными ресницами темнела глубокая синь. Щеки ее порозовели. Казалось, она вся лучится радостью, бессознательным движением руки она вторила его словам.

— Спасибо, — сказала она.

— Нет, не благодарите меня, Виктория, — ответил он. Вся его душа рвалась к ней, ему хотелось говорить еще и еще, это были какие-то сумбурные возгласы, он был как пьяный. — Но если я хоть немножко дорог вам, Виктория... Этого не может быть, но скажите, что дорог, даже если это неправда. Пожалуйста! О, тогда даю вам слово, я чего-нибудь добьюсь, добьюсь многого, почти недостижимого. Вы даже не представляете себе, чего я могу добиться. Иногда я чувствую, что во мне огромный запас нерастраченных сил. Часто они рвутся наружу, ночью я встаю и расхаживаю взад и вперед по комнате, потому что видения обступают меня. За стеной в постели лежит сосед, я мешаю ему спать, он стучит мне в стенку. На рассвете он приходит ко мне и бранится. Но что мне за дело до него, ведь я так долго мечтал о вас, что мне начинает казаться, будто вы рядом со мной. Я подхожу к окну и пою, брезжит рассвет, шумят тополя. «Доброй ночи!» — говорю я утру. Но это я говорю вам. Теперь она спит, думаю я, доброй ночи. Благослови ее Бог! И

сам ложусь спать. И так ночь за ночью. И все же я никогда не представлял, что вы так прекрасны. Теперь, когда вы уедете, я буду вспоминать вас такой, какая вы сейчас. Я буду так явственно видеть вас...

— А вы не приедете домой?

— Нет. Я еще не закончил работу. Что это я, приеду, конечно, приеду. Сию же минуту. Я еще не закончил работу, но я сделаю все, что вы захотите. А вы иногда гуляете возле Замка по саду? А вечерами выходите из дому? Тогда я мог бы посмотреть на вас, поздороваться с вами, о большем я не мечтаю. Но если я хоть немножко дорог вам, не противен вам, не гадок, скажите мне... Доставьте мне эту радость... Знаете, есть такая пальма, талипотовая пальма, она цветет один раз в жизни, а живет она до семидесяти лет. Но цветет она раз в жизни. Вот и я теперь расцвел. Да, да, я добуду денег и поеду домой. Я продам все, что уже написал, я пишу сейчас большую книгу, вот ее я и продам, продам завтра же все, что уже написано. Мне заплатят довольно много денег. А вы хотите, чтобы я приехал домой?

— Да.

— Спасибо, спасибо вам! Простите меня, если я питаю слишком смелые надежды, — это такое блаженство верить в несбыточное. Сегодня самый счастливый день в моей жизни...

Он снял шляпу и положил ее рядом с собой.

Виктория оглянулась, в конце улицы показалась какая-то дама, а чуть подальше — женщина с корзиной. Виктория встрепенулась, посмотрела на свои часы.

— Вам пора? — спросил он. — Скажите мне что-нибудь, прежде чем уйдете, дайте мне услышать... Я люблю вас, вот я сказал вам это. От вашего ответа зависит... Я весь в вашей власти... Ответьте же мне!

Пауза.

Он поник головой.

— Нет, не говорите, — попросил он.

— Не здесь, — сказала она. — Я отвечу вам там, у дома.

Они пошли по улице.

— Говорят, что вы женитесь на этой девочке, на девушке, которую вы спасли. Как ее зовут?

— Вы имеете в виду Камиллу?

— Да, Камиллу Сейер. Говорят, что вы женитесь на ней.

— Ах, вот как. Почему вы спросили об этом? Ведь она еще ребенок. Я бывал у них в доме, это большой и богатый дом, настоящий замок вроде вашего. Я бывал там не раз. Но она еще ребенок.

— Ей пятнадцать лет. Я ее видела, встречалась с ней у знакомых. Она очень понравилась мне. Она прелестна!

— Я не собираюсь жениться на ней, — сказал он.

— Вот как.

Он посмотрел на нее. По его лицу прошла тень.

— Почему вы заговорили о ней? Вы хотите привлечь мое внимание к другой?

Она ускорила шаги и не ответила на его вопрос. Вот и дом камергера. Она схватила его за руку и повлекла за собой в парадное, по ступеням лестницы.

— Я не хочу заходить, — сказал он с удивлением.

Она нажала кнопку звонка, повернулась к нему, ее грудь вздымалась.

— Я люблю вас, — сказала она. — Понимаете? Люблю вас.

И вдруг поспешно потянула его вниз — три ступеньки, четыре, — обвила его руками и поцеловала. Он чувствовал, что она вся дрожит.

— Я люблю вас, — повторила она.

Наверху отворилась дверь. Она высвободилась из его объятий и побежала вверх по лестнице.

IV

Время близится к рассвету, занимается заря, синеватое знобкое сентябрьское утро.

В саду негромко шелестят тополя. Окно распахивается, из него высовывается человек и что-то напевает. Он без пид-

жака — полуодетый безумец, нынче ночью он захмелел от счастья.

Вдруг он оглядывается — в дверь постучали. «Войдите», — кричит он. Входит сосед.

— Доброе утро, — говорит он соседу.

Сосед — пожилой человек, бледный и раздраженный, в руке у него лампа, потому что рассвет только чуть брезжит.

— Я еще раз заявляю вам, господин Меллер, господин Юханнес Меллер, вы ведете себя совершенно неприлично, — раздраженно бурчит он.

— Вы правы, — отвечает Юханнес. — Вы совершенно правы. Понимаете, я кое-что написал, это вышло само собой, поглядите, вот видите, все это я написал за ночь, сегодня мне выпала счастливая ночь. Но теперь я кончил. Я открыл окно и стал напевать.

— Вы стали орать, — поправляет сосед. — Разве можно так надрывать глотку? Да еще среди ночи.

Юханнес хватает бумаги, разбросанные по столу, целый ворох листков, больших и маленьких.

— Поглядите! — восклицает он. — Никогда в жизни мне еще не писалось так легко. Точно все вокруг озарилось молнией. Я видел однажды, как молния бежала по телеграфному проводу, словно огненная лента. Вот и во мне вспыхнула сегодня такая же молния. Что мне было делать? Я уверен, вы не будете сердиться, если узнаете, как все получилось. Я сидел здесь и писал, я ни разу не встал со стула, я все время помнил о вас и сидел не шелохнувшись. А потом наступил момент, когда я забыл про все, грудь мою распирало, может, я тогда и встал, может, я и ночью вставал и даже прошелся по комнате. Я был так счастлив.

— Как раз ночью-то я ничего особенного не слышал, — говорит сосед. — Но открывать окно в этакую рань, да еще вопить во весь голос — форменное безобразие.

— Вы правы. Конечно, безобразие. Но я ведь вам объяснил, как это вышло. Понимаете, я пережил необыкновенную ночь. Вчера в моей жизни произошло огромное событие. Я шел по

улице и встретил свое счастье, слышите — встретил свою звезду и свое счастье. Понимаете? И она поцеловала меня. У нее такие алые губы, я люблю ее, она поцеловала меня и ее поцелуй опьянил меня. Вас охватывал когда-нибудь такой трепет, что вы не могли вымолвить ни слова? Я не мог вымолвить ни слова, а сердце стучало так, что я весь дрожал. Я прибежал домой и мгновенно уснул; уснул прямо на стуле. К вечеру я проснулся. В моей душе все кружилось от восторга, я начал писать. Что я писал? Вот это! Какое-то великолепное, небывалое состояние овладело мною, я был в раю, моя душа раскрылась, точно под лучами солнца, ангел поднес мне вино, я выпил его; это было хмельное вино, и пил я его из гранатовой чаши. Разве я мог слышать бой часов? Разве мог видеть, что моя лампа погасла? Дай вам Бог понять меня! Я опять пережил все сначала: я снова шел по улице с моей возлюбленной, и прохожие глядели ей вслед. Мы вошли в парк, мы встретили короля, на радостях я снял шляпу и поклонился ему до земли, а король поглядел вслед моей возлюбленной, потому что она стройна и прекрасна. Мы снова вернулись в город, и все школьники глядели ей вслед, потому что она молода и на ней светлое платье. Мы очутились возле красного каменного дома и вошли в него. Я поднялся за нею по ступенькам и хотел преклонить перед ней колена. И тут она обвила меня руками и поцеловала. Это случилось со мной вчера вечером, совсем недавно. Хотите знать, что я написал? Я написал нескончаемый гимн радости и счастью. Мне казалось, будто счастье во всей своей смеющейся наготе лежит передо мной и протягивает ко мне руки.

— Не о чем мне с вами больше толковать, — отчаявшись, сердито говорит сосед. — Но я вас предупредил, и это в последний раз.

Юханнес останавливает его у дверей.

— Погодите минутку. Если бы вы только видели — сейчас ваше лицо было как бы освещено солнцем. Вот сейчас, когда вы обернулись, эта лампа, ее свет лег солнечным пятном на ваш лоб. И я увидел, что вы больше не сердитесь. Все верно, я открыл окно и пел слишком громко. Я был счастлив и по-братски

любил всех вокруг. Так иногда случается. Рассудок молчит. Я должен бы сообразить, что вы еще спите...

— Весь город еще спит.

— Ну да, ведь еще рано. Я хочу вам кое-что подарить. Вы примете от меня этот подарок? Это серебряный портсигар, мне самому его подарили. Подарила девочка, которую я когда-то спас. Пожалуйста. В него входит двадцать сигарет. Не хотите? Ах, вы не курите! А вы научитесь. Можно, я зайду к вам утром попросить прощения? Мне так хочется что-нибудь сделать, извиниться перед вами...

— Спокойной ночи.

— Спокойной ночи. Сейчас я лягу. Обещаю вам. Вы не услышите больше ни звука из моей комнаты. А впредь я буду следить за собой.

Сосед ушел.

Юханнес вдруг снова распахнул дверь и крикнул ему вслед:

— Да, ведь я же уезжаю. Я вам больше не буду мешать, я завтра уезжаю. Я совсем забыл об этом.

Он не уехал. Разные причины задержали его: надо было закончить кое-какие дела, что-то купить, с кем-то расплатиться, так прошел еще один день и настал вечер. Он метался по городу словно в чаду.

Наконец он позвонил у двери камергера.

— Фрекен Виктория дома?

— Виктория куда-то отлучилась.

Он объяснил, что они с фрекен Викторией земляки, он просто хотел заглянуть на минутку, если она дома, взял на себя смелость заглянуть на минутку. Ему хотелось послать весточку своим. Ну что ж, ничего не поделаешь.

И он отправился бродить по городу. Вдруг он встретит ее, вдруг увидит, может, она сидит в карете. Он бродил целый вечер. Он ее увидел у театра, поклонился ей, улыбнулся и поклонился, она ответила на его поклон. Он хотел подойти ближе — их разделяло всего несколько шагов, — но тут заметил, что она

не одна, с ней Отто, сын камергера. На нем была форма лейтенанта.

Юханнес подумал: «Сейчас она подаст мне какой-нибудь знак, может, незаметно посмотрит в мою сторону». Но она поспешила в театральный подъезд, вся покраснев и опустив голову, точно желала спрятаться.

Что, если попытаться увидеть ее в театре? Он купил билет и вошел в подъезд.

Он знал, где находится ложа камергера, — ну да, у этих богачей собственная ложа. В ложе сидела Виктория, нарядная и прекрасная. Она смотрела по сторонам, но в его сторону она не взглянула. Ни разу.

Во время антракта он подстерег ее в фойе. Он снова поклонился ей. Она поглядела на него с некоторым удивлением и кивнула.

— Прохладительное подают там, — сказал Отто, указав куда-то вперед.

Они прошли дальше, Юханнес смотрел им вслед. Странная пелена затуманила его взгляд. На него ворчали, его толкали, он машинально просил извинения и продолжал стоять на месте. Она ушла.

Когда она появилась снова, он низко поклонился ей и пробормотал!

— Извините, фрекен...

Отто ответил на поклон и, прищурившись, смерил его взглядом.

— Это Юханнес, — представила она. — Помнишь его? Вы, наверное, хотели узнать новости о родных, — продолжала она, и лицо ее было прекрасно и спокойно. — Толком я не знаю, но думаю, что все здоровы. Да, да, здоровы. Я передам привет вашим родителям.

— Спасибо. Вы скоро возвращаетесь домой, фрекен?

— На днях. Так я передам привет.

Она кивнула и ушла.

Юханнес снова проводил ее взглядом, пока она не исчезла, потом вышел из театра. Он бесцельно бродил по улицам, тяже-

ло и уныло шагал взад и вперед, он старался убить время. В десять часов он стоял перед домом камергера. Скоро кончится спектакль, и она приедет. Вдруг ему удастся открыть ей дверцу кареты и, сняв шляпу, поклониться, открыть дверцу кареты и поклониться до земли.

Наконец спустя полчаса она приехала. Удобно ли торчать у самых ворот и снова напоминать о себе? Быстро, не оглядываясь, он перешел на другую сторону улицы. Он слышал, как открылись ворота камергерского дома, как карета въехала во двор и ворота закрылись снова. Тогда он обернулся.

Целый час он расхаживал взад и вперед возле дома. Он никого не ждал и не строил никаких планов. Вдруг дверь отворяется, и на улицу выходит Виктория. Шляпы на ней нет, она просто набросила на плечи шаль. Она улыбается испуганной, смущенной улыбкой и спрашивает, чтобы начать разговор:

— Вы гуляете и о чем-то думаете?

— Думаю? Нет, — отвечает он. — Просто гуляю.

— Я увидела, что вы ходите взад и вперед, и решила... Я увидела вас из окна. Мне надо сейчас же вернуться.

— Спасибо, что вы вышли, Виктория. Еще минуту назад я был в таком отчаянии, а теперь все прошло. Не сердитесь, что я поздоровался с вами в театре. Я сделал еще большую глупость, я заходил сюда, я надеялся увидеть вас и узнать, что вы хотели сказать, что вы имели в виду.

— Но вы же сами знаете, — отвечает она. — Позавчера я сказала вам так много, вы не могли неправильно понять меня.

— И все-таки я не могу поверить.

— Не будем больше говорить об этом. Я сказала много, даже слишком много, и сейчас я нехорошо поступаю по отношению к ним. Я люблю вас, я не солгала позавчера и сейчас не лгу, но нас разделяет слишком многое. Я очень привязана к вам, мне так приятно разговаривать с вами, приятнее, чем с кем-нибудь другим, но... Мне нельзя дольше здесь оставаться, нас могут увидеть из окна. Юханнес, есть причины, которых вы не знаете, поэтому никогда не просите меня больше говорить вам, что я

имела в виду. Я думала об этом день и ночь, я сказала вам правду. Но это невозможно.

— Что невозможно?

— Все. Все вообще. Юханнес, избавьте меня от необходимости быть гордой за нас обоих.

— Извольте. Я избавлю вас! Но стало быть, позавчера вы просто дурачили меня. Выходит, я случайно попался вам на улице, вы были в хорошем настроении, и вот...

Она повернулась, собираясь уйти.

— А может, я в чем-то провинился? — спросил он. Его лицо побледнело до неузнаваемости. — Иначе как я мог потерять вашу... За эти два дня и две ночи я, наверное, совершил какой-то дурной поступок.

— Нет, дело совсем не в том. Просто я все обдумала. Неужели вы не подумали о том же? Поймите, это всегда было невозможно. Я привязана к вам, ценю вас...

— И уважаю.

Она смотрит на него и, оскорбленная его улыбкой, продолжает с еще большей горячностью:

— Боже мой, неужели вы сами не понимаете, что папа вам откажет? Зачем вы принуждаете меня говорить вам это? Вы ведь сами понимаете. К чему бы это привело? Разве не так?

Пауза.

— Так, — говорит он.

— И вообще, — продолжает она, — есть столько причин... Нет, в самом деле, вы не должны больше преследовать меня, вы меня так напугали в театре. Не надо.

— Не буду, — говорит он.

Она берет его за руку.

— Может, вы ненадолго приедете домой? Я была бы так рада. Какая у вас горячая рука, а я вся дрожу. Мне пора идти. Спокойной ночи.

— Спокойной ночи, — отвечает он.

Холодная и серая улица тянулась по городу словно песчаный пояс, словно путь, которому нет конца. Юханнесу встретился мальчик, он продавал старые, увядшие розы. Юханнес

окликнул мальчика, взял у него розу и дал ему монету — пять крон золотом, щедрая плата, а сам пошел дальше. Вот стайка ребят играет возле подворотни. Мальчик лет десяти неподвижно сидит и смотрит на них; голубыми старческими глазами он следит за игрой, щеки у него впалые, подбородок квадратный, а на голове полотняная шапочка. Вернее — это подкладка шапки, она заменяет мальчику парик. Болезнь волос навсегда обезобразила его голову. Наверное, и душа его совсем зачахла от болезни.

Все это невольно приметил Юханнес, хотя он не мог бы сказать, в какой части города находится и куда идет. А тут еще стал накрапывать дождь, но он ничего не почувствовал и не раскрыл зонта, хотя носил его с собой весь день.

Наконец он очутился в сквере и сел на скамью. Дождь все усиливался, он машинально раскрыл зонт и продолжал сидеть. Вскоре им овладела неодолимая сонливость, мысли плавали в каком-то тумане, он закрыл глаза и задремал.

Немного погодя он проснулся, его разбудил громкий голос прохожего. Он встал и побрел дальше. В голове у него прояснилось, он вспомнил все, что произошло, все мелочи, даже то, что заплатил пять крон за одну розу. Он представил себе, как обрадовался мальчуган, когда среди своих грошей обнаружил эту удивительную монету — не какие-нибудь двадцать пять эре, а пять крон золотом. Господи помилуй!

А стайку детей, наверное, прогнал дождь, и они продолжают играть уже в подворотне, играют в «классы» и в шары. А десятилетний старичок-уродец все сидит и смотрит. Кто знает, может, он глядит и чему-то радуется, может, в каморке на заднем дворе у него есть кукла, картонный паяц или волчок. Может, не все в жизни для него потеряно, и в его зачахшей душе теплится надежда.

Вот впереди показалась изящная, стройная дама. Юханнес вздрогнул, остановился. Нет, он ее не знает. Она вышла из бокового переулка и пошла дальше, у нее нет зонтика, хотя дождь льет ливмя. Он нагнал ее, взглянул на нее и прошел мимо. Как она изящна и молода! Она промокла, она простудится, а он не

смеет подойти к ней. Он взял и закрыл свой зонт — промокнуть, так уж обоим. Когда он вернулся домой, было за полночь.

На столе лежало письмо, приглашение. Супруги Сейер будут рады видеть его у себя завтра вечером. Он встретит у них кое-кого из знакомых и, между прочим, угадайте кого? Викторию, дочь хозяина Замка. Искренне ваши — такие-то.

Юханнес уснул прямо на стуле. Часа через два он проснулся, его знобило. Еще не до конца стряхнув с себя сон, дрожа от озноба, измученный горестями минувшего дня, он сел к столу, чтобы ответить на письмо, на приглашение, которое он не хотел принять.

Он написал ответ и собрался было отнести его вниз в почтовый ящик. Но вдруг сообразил, что и Виктория тоже приглашена к Сейерам. Вот как, она не сказала об этом ни слова, боялась, что и он туда придет, она не желала встречаться с ним при посторонних.

Он порвал письмо в клочки и написал новое — спасибо, буду. Рука его дрожит от волнения, странная горькая отрада наполняет его грудь. Почему бы ему не пойти? Чего ради ему прятаться? Довольно!

Все чувства его в смятении. Одним махом срывает он пригоршню листков с календаря, забежав сразу на целую неделю вперед. Он воображает, будто получил какое-то радостное известие, он на седьмом небе от счастья, ему хочется насладиться этим мгновением, вот сейчас он закурит трубку, развалится на стуле и будет блаженствовать. Но трубка засорилась, он тщетно ищет нож или шило, чтобы ее прочистить, и вдруг выламывает стрелку часов, которые висят в углу. Приятно смотреть на искалеченные часы. «Ха-ха!» — смеется он про себя и шарит по комнате, ищет, чего бы еще сломать.

Время идет. В конце концов, как был в промокшей одежде, он бросается на постель и засыпает.

Когда он проснулся, уже давно рассвело. Дождь все шел, на улице стояли лужи. В голове его царил сумбур, обрывки снов спутались с воспоминаниями о вчерашнем. Лихорадки он не чувствовал, наоборот, жар утих, на него веяло прохладой, слов-

но он всю ночь бродил по сырому лесу и теперь очутился вблизи воды.

В дверь стучат, посыльный приносит письмо. Он распечатывает конверт, смотрит, читает, с трудом начинает вникать в смысл. Это от Виктории, записка на клочке бумаги: она совсем забыла ему сказать, что сегодня вечером приглашена к Сейерам; ей хотелось бы увидеть его там, объяснить все как следует, просить, чтобы он забыл ее и перенес удар как подобает мужчине. Простите за плохую бумагу. Искренне ваша — такая-то.

Он вышел из дому, где-то наскоро поел, вернулся к себе и тут наконец написал Сейерам ответ — сегодня он прийти не может, но хотел бы воспользоваться их приглашением в другой раз — ну хотя бы завтра вечером.

Письмо он отправил с посыльным.

V

Наступила осень, Виктория уехала, а на маленькой глухой улочке стояли все те же дома и было все так же тихо. В комнате Юханнеса по ночам горел свет. Он загорался вечером со звездами и гас, когда уже занимался день. Юханнес работал не разгибая спины, он писал свою большую книгу.

Шли недели и месяцы, он сидел взаперти, ни с кем не встречался, у Сейеров больше не бывал. Воображение часто играло с ним злые шутки, вплетая в его книгу не идущие к делу были и небылицы, и написанное потом приходилось вымарывать и бросать в печь. Это очень затягивало работу. Внезапный шум в ночной тишине, грохот колес по улице давал мыслям неожиданный толчок и уводил их в сторону.

По улице несется карета.

— Эй! С дороги!

Но зачем? Зачем остерегаться этой кареты? Она пролетела мимо, теперь она уже, верно, за углом. А там, быть может, стоит человек без пальто, без шапки, стоит, наклонясь вперед, подставив голову под удар, он хочет, чтобы карета на него налете-

ла, изувечила, убила. Человек хочет умереть, ну что ж, это его дело. Он уже давно не застегивает пуговиц на рубахе и не зашнуровывает по утрам ботинки, все на нем нараспашку, худая грудь обнажена; он хочет умереть... А вот этот человек лежит на смертном одре, он написал другу письмо, записку, просьбу. Человек умер, а письмо осталось, в нем число и подпись, прописные и строчные буквы, а тот, кто его писал, час спустя умер. Как странно! Подписывая свое имя, он даже сделал обычный росчерк, и через час умер... А вот другой человек. Он лежит один в своей маленькой комнатушке, стены в ней выкрашены синей краской и обшиты деревянными панелями. Ну и что? Да ничего. Именно ему одному в целом мире предстоит сейчас умереть. Об этом он и думает, думает до изнеможения. Уже вечер, часы на стене показывают восемь, он смотрит на часы и не понимает, почему они не бьют. Часы не бьют. А вот уже и восемь с минутами, часы продолжают тикать, но не бьют. Бедняга, он теряет сознание, часы *пробили,* а он не слышал. На стене висит портрет его матери, — раз! — он проткнул портрет пальцем — на что ему теперь этот портрет, для чего беречь портрет, когда ему самому крышка? Его мутнеющий взгляд упал на стол, на горшок с цветами, он протянул руку, рассчитанным, неторопливым движением сбросил горшок со стола на пол; и горшок разбился вдребезги. Для чего беречь цветы? Потом он выбросил в окно свой янтарный мундштук. К чему он теперь? Ведь это ясно как день — нет смысла, чтобы мундштук лежал здесь, когда он сам будет в могиле. Через неделю человек умер...

Юханнес встает и начинает расхаживать по комнате. Сосед за стеной просыпается, храп прекратился, слышится вздох и тоскливый стон. Юханнес на цыпочках идет к столу и снова садится. Под окном в тополях шелестит ветер, Юханнес вздрагивает. Листья на старых тополях облетели, и деревья похожи на несчастных калек; узловатые ветви постукивают в стену дома, издавая надтреснутый звук, точно рассохшаяся деревянная колотушка, которая все тарахтит и тарахтит.

Глядя на свои листки, Юханнес перечитывает написанное. Так и есть, опять воображение завело его бог весть куда. При

чем тут смерть и летящая мимо карета? Ведь он описывает сад, зеленый цветущий сад в своем родном краю, сад возле Замка. Вот о чем он пишет. Сад сейчас мертв и одет снегом, и все же Юханнес описывает сад и описывает не зиму и снег, а весну, благоухание и свежий ветерок. Вечер. Вода в заливе глубокая и недвижная, точно расплавленный свинец; благоухает сирень, живая изгородь вся усыпана почками и зелеными листьями, и воздух так тих, что слышно, как на другом берегу залива поет птица. В садовой аллее стоит Виктория, она одна, в белом платье, и ей двадцать лет. Она стоит в саду. Она одна. Она выше самых высоких розовых кустов, она смотрит на залив, на леса и спящие вдали скалы; она точно белоснежный дух в зелени сада. Внизу на дороге слышны шаги, она подходит к спрятанной в зелени беседке и, облокотясь на ограду, глядит вниз. Путник на дороге снимает шляпу и кланяется почти до земли. Она отвечает на его поклон. Пришелец озирается, на дороге ни души, он делает несколько шагов к ограде. Отпрянув назад, она кричит: «Нет, нет!» — и машет рукой. «Виктория, — говорит он ей, — то, что вы сказали мне однажды, святая правда, я не должен был мечтать о вас, потому что это невозможно». «Конечно, — отвечает она. — Но тогда чего же вы хотите?» Он подходит совсем близко, их разделяет только ограда, и он говорит ей в ответ: «Чего я хочу? Я хочу постоять здесь всего одну минуту. В последний раз. Я хочу подойти к вам как можно ближе; вот я стою совсем рядом с вами». Она молчит. Минута проходит. «Спокойной ночи», — говорит он и снова снимает шляпу, почти подметая ею землю. «Спокойной ночи», — отвечает она. И он уходит, не оглядываясь...

При чем же тут смерть? Скомкав исписанный листок, Юханнес бросает его в печь. Там уже лежат и другие листки, обреченные огню, — летучие брызги воображения, которое вышло из берегов. И он снова пишет о путнике на дороге, о страннике, который поклонился и сказал «прощайте», когда минута свидания истекла. А в саду осталась юная девушка в белой одежде, и ей было двадцать лет. Она не хотела стать его женой, о нет, ни

в коем случае. Но все же он постоял у стены того дома, где жила она. Вот как ему однажды посчастливилось.

И опять потекли недели и месяцы, и наступила весна. Снег уже сошел, и воздух был весь напоен гулом, словно от солнца до луны заструилась полая вода. Прилетели ласточки, а за городом в лесу засуетились четвероногие, загомозились птицы, говорящие на чужеземном языке. Свежим пряным запахом потянуло от земли.

Юханнес всю зиму просидел за работой. День и ночь, отбивая ритм, бились о стену дома сухие ветви тополей, но теперь, с приходом весны, ветры улеглись и колотушка умолкла.

Распахнув окно, Юханнес выглядывает на улицу. Уже все стихло, хотя до полуночи еще далеко, в безоблачном небе мерцают звезды, все сулит на завтра ясный и теплый день. Он прислушивается к городскому шуму, который сливается с неумолчным отдаленным гулом. Вдруг раздался пронзительный паровозный свисток, это сигнал ночного поезда, он похож на одинокий крик петуха в ночной тишине. Пора приниматься за работу, всю зиму этот паровозный свисток звучал для него, как призывный гонг.

Юханнес закрывает окно и снова садится за стол. Он отбрасывает в сторону книги, которые читал, придвигает бумагу, берет перо.

Большая книга почти дописана, не хватает только последней главы — прощального привета с уходящего вдаль корабля, но и она уже сложилась у него в голове.

В придорожном трактире сидит человек, он здесь мимоездом, он держит путь в далекие-далекие края. Волосы и борода у него седые, прожитые годы оставили на нем свой след, и хотя он еще строен и полон сил, выглядит он старше своих лет. На дворе его ждет экипаж, лошади отдыхают, кучер весел и доволен — седок накормил его и поднес ему вина. А когда незнакомец вписал свое имя в книгу постояльцев, хозяин узнал его, склонился в поклоне и принял его с большим почетом. «Кто живет теперь в Замке?» — спрашивает приезжий. «Капитан, —

отвечает хозяин, — он очень богат, а хозяйка Замка, его жена, добра ко всем». «Ко всем? — спрашивает про себя гость со странной улыбкой. — Стало быть, и ко мне тоже?» Гость садится и пишет что-то на бумаге, потом перечитывает написанное — это стихи, торжественные и сдержанные, но в них много горьких слов. А потом приезжий рвет листок, сидит и продолжает рвать листок на мелкие-мелкие клочки. Но тут в дверь стучат, и входит женщина в желтом платье. Она откидывает вуаль, это хозяйка Замка, фру Виктория. У нее осанка королевы. Гость вскакивает, и кажется, будто его угрюмое лицо озарилось вдруг изнутри. «Вы так добры ко всем, — с горечью говорит он ей, — вот и ко мне вы пришли». Она не отвечает, она стоит и молча смотрит на него, лицо ее заливает густая краска. «Что вам угодно? — спрашивает он с прежней горечью. — Не затем ли вы пришли, чтобы напомнить мне о прошлом? Но знайте, мы видимся в последний раз, благородная госпожа, потому что я уезжаю навсегда». Молодая хозяйка Замка по-прежнему молчит, но губы у нее дрожат. «Неужели вам мало того, — снова спрашивает он, — что однажды я признался вам в своем безумии? Ну что ж, я признаюсь еще раз: я отдал вам свое сердце, но я вас не достоин. Теперь вы довольны? — И он продолжает, волнуясь все больше: — Вы отвергли меня и вышли за другого, я был деревенщина, медведь, варвар, который по молодости лет забрел в королевский заповедник». Тут гость упал на стул и, рыдая, стал молить: «Уходите! Простите меня и ступайте своей дорогой!» Краска сбежала со щек хозяйки Замка. И она сказала медленно, выговаривая каждое слово: «Я люблю вас; поймите же наконец: люблю вас одного. Прощайте!» И тут молодая женщина закрыла лицо руками и быстро вышла из комнаты...

Отложив перо, Юханнес откидывается на спинку стула. Итак, точка, конец. Вот лежит его книга, все исписанные им страницы, труд девяти месяцев. На душе у него легко и радостно — работа доведена до конца. Но пока он сидит, уставившись в окно, за которым брезжит рассвет, в его мозгу все еще напряженно бьется мысль, и фантазия работает неутомимо. Он полон неиз-

бытого возбуждения, его сознание похоже на заросший сад, полный несобранных плодов и жарких испарений земли.

Каким-то таинственным образом перенесся он в глубокую мертвую долину, где нет ничего живого. Только издали доносятся звуки органа. Он подходит ближе к органу, осматривает его, орган истекает кровью, он продолжает играть, а из его боковой стенки сочится кровь. Он идет дальше и приходит на площадь. Она пуста, ни единого деревца, ни звука — площадь пустынна. Но на песке видны следы башмаков, а в воздухе еще звучат отголоски последних сказанных здесь слов, так недавно ушли отсюда люди. Странное чувство охватывает его, отзвуки слов, висящие в воздухе над площадью, пугают его, обступают его, давят. Он отгоняет их, они надвигаются снова, да это вовсе не слова, это старички, пляшущие старички, теперь он их ясно видит. Почему они пляшут и почему пляшут так уныло? Ледяным холодом веет от этого старческого хоровода, старички его не видят, они слепы, он окликает их, но они не слышат, они мертвы. Он бредет дальше на восток, к солнцу, и подходит к горе. «Это ты стоишь у подножья горы?» — спрашивает его чей-то голос. «Да, — отвечает он, — это я стою у подножья горы». И слышит: «Гора, у которой ты стоишь, это моя нога. Я лежу в оковах на самом краю Земли, приди и освободи меня!» И он пускается в путь, он бредет на край Земли. На мосту его подстерегает какой-то человек, у каждого, кто проходит по мосту, он отбирает тень. Человек сделан из мускуса. Ледяной страх охватывает его при виде мускусного человека, который хочет отнять у него тень. Он плюет в него, грозит ему кулаками, но стражник неколебимо стоит и ждет. «Обернись», — кричит ему кто-то сзади. Он оборачивается и видит голову, которая катится по дороге, указывая ему путь. Это человечья голова, время от времени она беззвучно смеется. Он идет следом за головой. Голова катится день и ночь, а он все идет за ней следом; у берега моря голова вдруг проваливается в землю и исчезает. А он бросается в воду, ныряет. И вот он стоит у исполинских дверей, и его встречает огромная лающая рыба. У нее лошадиная грива, а все повадки собачьи. Позади рыбы стоит Виктория. Он протя-

гивает к ней руки, на Виктории нет одежды, она улыбается ему, вихрь развевает ее волосы. Тогда он громко зовет ее, он сам слышит свой крик и просыпается.

Юханнес встает и подходит к окну. Уже почти совсем рассвело, в маленьком зеркале, висящем на оконном переплете, он видит, что веки у него покраснели. Загасив лампу, в тусклом свете утра он еще раз перечитывает последнюю страницу своей книги и ложится спать.

В тот же вечер Юханнес расплатился за комнату, отнес рукопись издателю и уехал из города. Он отправился за границу — никто не знал куда.

VI

Большая книга вышла в свет — целое царство, маленький мир изменчивых настроений, голосов и картин. Книгу покупали, читали, откладывали в сторону. Прошло еще несколько месяцев. К осени Юханнес выпустил новую книгу. И что же? Теперь его имя было у всех на устах, к нему пришел успех, новая книга была написана на чужбине, вдали от привычной обстановки, она была крепкая, как выдержанное вино.

«Дорогой читатель, перед тобой повесть о Дидерике и Изелине. Повесть, написанная в счастливое время, в пору пустячных горестей, когда любая ноша кажется легкой, написанная от полноты души повесть о Дидерике, которого Господь поразил любовью».

Юханнес жил за границей, никто не знал где. И прошло больше года, прежде чем это стало известно.

— Никак, стучат в дверь? — говорит однажды вечером старый мельник.

И оба они с женой умолкают и прислушиваются.

— Да нет никого, — говорит жена. — Уже десять часов, вот-вот стемнеет.

Проходит несколько минут.

В дверь стучат — на этот раз громко и решительно, словно набрались наконец храбрости. Мельник открывает дверь. На пороге стоит дочь хозяина Замка.

— Не бойтесь, это я, — говорит она, а сама робко улыбается. Она входит в комнату, ей предлагают стул, но она не садится. На плечах у нее только теплый платок, а обута она в открытые туфли, хотя весна еще не настала и на дорогах слякоть.

— Я хотела вас предупредить, весной сюда приедет лейтенант, — говорит она. — Лейтенант — мой жених. Наверное, он будет стрелять вальдшнепов. Вот я и хотела вас предупредить, чтобы вы не пугались.

Мельник и его жена удивленно смотрят на Викторию — не в обычае хозяев Замка предупреждать, когда их гости вздумают стрелять дичь в лесу и на лугах. Они смиренно благодарят ее: «Спасибо за вашу доброту».

Виктория повернулась к двери.

— Я только за этим и пришла. Подумала, вы люди пожилые, будет лучше, если я скажу заранее.

Мельник отвечает:

— Спасибо, что побеспокоились о нас, фрекен! Не промочила ли фрекен туфельки?

— Нет, на дороге сухо, — коротко говорит она. — Да и вообще я хотела пройтись. Спокойной ночи.

— Спокойной ночи.

Она поднимает щеколду и открывает дверь, но вдруг, обернувшись на пороге, спрашивает:

— Да, а что Юханнес? У вас не было от него вестей?

— Нет, не было. Спасибо на добром слове, фрекен. Не было.

— Наверное, он скоро приедет. Я думала, может, он вас известил.

— Нет, он не писал нам с прошлой весны. Должно быть, он за границей.

— Ну да, я знаю, что он за границей. Ему там хорошо. Он сам пишет в книге — для него настала пора пустячных горестей. Стало быть, ему хорошо.

— Ох, дай-то Господи! Мы его ждем. Только не пишет он нам, да и никому не пишет. А мы ждем.

— Стало быть, ему лучше там, где он сейчас, раз у него пустячные горести. Ему виднее. Я просто хотела узнать, не приедет ли он весной. Еще раз спокойной ночи.

— Спокойной ночи.

Мельник с женой провожают ее за порог и глядят ей вслед, а она, высоко подняв голову, идет в своих открытых туфельках по раскисшей дороге к Замку, обходя грязные лужи.

А два дня спустя приходит письмо от Юханнеса. Он вернется домой примерно через месяц, вот только закончит еще одну книгу. Все это долгое время дела его шли хорошо, скоро он завершит свою новую работу. В ней он дал волю своему воображению...

Мельник идет в Замок. На дороге он подобрал платок с меткой Виктории, она обронила платок позавчера вечером.

Барышня наверху, но горничная предлагает доложить. Что ему угодно?

Спасибо, ничего, он лучше подождет.

Наконец дочь хозяина спускается вниз.

— Вы хотели меня видеть? — спрашивает она и открывает дверь в соседнюю комнату.

Мельник подходит к ней ближе, протягивает носовой платок и говорит:

— А еще мы получили письмо от Юханнеса.

Радость озаряет ее лицо на мгновение, на одно короткое мгновение. Она отвечает:

— Спасибо, это и в самом деле мой платок.

— Он возвращается домой, — продолжает мельник почти шепотом.

Она принимает равнодушный вид.

— Говорите погромче, мельник. Кто возвращается? — спрашивает она.

— Юханнес.

— Юханнес? Ну и что же?

— Да нет, я просто... Мы подумали, что надо бы вам сказать. Мы тут с женой толковали, вот она и подумала... Позавчера вы справлялись, не приедет ли он весной. Так вот, стало быть, приедет.

— Вы, наверное, рады? — спрашивает дочь хозяина. — Когда же он приедет?

— Через месяц.

— Вот как. Это все?

— Ну да. Просто мы подумали, коли вы спросили... И все. Больше ничего.

Мельник опять понизил голос.

Она провожает его до дверей. В коридоре они сталкиваются с ее отцом, и она роняет мимоходом громко и равнодушно:

— Знаешь, мельник говорит, что Юханнес скоро вернется домой. Помнишь Юханнеса?

А мельник, выйдя за ворота Замка, божится про себя, что ни за что на свете не будет больше таким простофилей и не станет слушать жену, когда ей померещится, будто она знает, что у кого на душе. Так он ей напрямик все и выложит.

VII

Эту стройную рябину у мельничной запруды он хотел когда-то срезать на удилище. Прошло много лет, и рябина стала толще его руки. Он оглядел ее с удивлением и пошел дальше.

Выше по течению реки стеной стояли все те же буйные заросли папоротника, целая чаща, скот протоптал здесь тропинки, и листья папоротника сомкнулись над ними. Юханнес, как в детстве, пробивал себе дорогу сквозь заросли, раздвигая их руками и ощупью переставляя ноги. Насекомые и ящерицы прыскали во все стороны от шагов великана.

Наверху у развалин каменоломни цвели анемоны, фиалки и терновник. Он нарвал цветов, родные запахи вернули его к минувшим дням. Вдали синели холмы соседней деревни, на другом берегу залива куковала кукушка.

Он опустился на камень, посидел немного и начал напевать. Внизу на тропинке послышались шаги.

Был вечер, солнце село, но зной еще трепетал в воздухе. Леса, холмы и залив дышали безграничным покоем. По тропинке к каменоломне шла женщина. Это была Виктория. На руке у нее висела корзина.

Юханнес встал и поклонился, собираясь уйти.

— Я не хотела вам мешать, — сказала она. — Я хотела нарвать тут цветов.

Он не ответил. Ему не пришло в голову, что в ее собственном саду сколько угодно цветов.

— Я взяла с собой корзину, — продолжала она. — Но может быть, я ничего и не найду. Это для гостей, к столу. У нас будут гости.

— Вот анемоны и фиалки, — сказал он. — А повыше растет хмель. Но для хмеля, пожалуй, еще слишком рано.

— А вы побледнели с тех пор, как я вас видела, — заметила она. — Это было два года назад. Мне говорили, что вы уезжали. Я читала ваши книги.

Он по-прежнему не отвечал. Ему подумалось, что, пожалуй, следует сказать: «До свидания, фрекен», — и уйти. От того места, где он стоял, был всего один шаг до соседнего камня и еще один шаг до тропинки, где остановилась она, — отсюда уже легко спуститься с холма. Но она преграждала ему путь. На ней было желтое платье и красная шляпа, она была загадочна и прекрасна; шея ее была обнажена.

— Я мешаю вам пройти, — пробормотал он и спустился чуть ниже. Он сдерживал себя, стараясь не выдать своего волнения.

Теперь их разделял всего один шаг. Но она и не думала посторониться. Взгляды их встретились. Вдруг она залилась краской, опустила глаза и шагнула в сторону; на лице ее появилась растерянность, хотя она улыбалась.

Он прошел мимо нее и остановился, его поразила ее печальная улыбка, сердце вновь рванулось к ней, и он сказал первое, что пришло в голову:

— Вы, наверное, часто бывали в городе с тех пор? С тех пор как... Теперь я вспомнил, где в прежние годы было много цветов, — на холме, вокруг вашего флагштока.

Она обернулась к нему, и он с удивлением заметил, что она взволнована и побледнела.

— Пожалуйста, приходите к нам, — сказала она. — Приходите, когда будут гости. Мы ждем гостей, — продолжала она, и лицо ее стал снова заливать румянец. — Кое-кто приедет из города. Это будет в ближайшие дни, но я еще дам вам знать, когда. Отвечайте же, вы согласны?

Он не отвечал. Ему не место среди ее гостей, он им не компания.

— Прошу вас, не отказывайтесь. Вы не будете скучать, я все обдумала, я приготовила для вас сюрприз.

Пауза.

— Вы меня уже не удивите никакими сюрпризами.

Она прикусила губу; скорбная улыбка опять скользнула по ее лицу.

— Чего вы от меня хотите? — спросила она почти беззвучно.

— Я ничего не хочу от вас, фрекен Виктория. Я просто сидел здесь на камне, я готов уйти.

— А я бродила по лесу, целый день бродила по лесу и вот забрела сюда. Я могла пойти вдоль реки, другой дорогой, тогда бы я не оказалась здесь, как раз когда...

— Милая фрекен, этот лес ваш, а не мой.

— Я когда-то причинила вам зло, Юханнес, я хотела все исправить, загладить свою вину. Я и вправду приготовила вам сюрприз и думаю... надеюсь, что вы будете рады. Больше я ничего сказать не могу. Но я прошу вас прийти к нам.

— Если это доставит вам удовольствие, я приду.

— Придете?

— Да, спасибо за приглашение.

Спустившись по тропинке в лес, он обернулся. Она села на камень, корзина стояла рядом. Юханнес не пошел домой, а стал ходить взад и вперед по дороге. Тысячи мыслей роились в его мозгу. Сюрприз? Она сама сказала это, сказала минуту назад, и

голос ее дрожал. Тревожная радость вспыхивает в нем, сердце гулко колотится о ребра, ему кажется, что у него выросли крылья. Может быть, не случайно она и сегодня надела желтое платье? Он успел поглядеть на ее руку, в прошлый раз он видел на ней кольцо, — сегодня кольца не было.

Прошел час. Испарения леса и земли окутывали его, проникали в легкие, в сердце. Он сел и откинулся назад, сцепив на затылке руки и прислушиваясь к голосу кукушки на другом берегу. Воздух был напоен страстным пением птиц.

Вот и опять все началось сызнова. Когда она показалась возле каменоломни в своем желтом платье и красной, как кровь, шляпе, она была похожа на летнюю бабочку, которая перелетала с камня на камень. И вдруг она остановилась перед ним. «Я не хотела вам мешать», — сказала она и улыбнулась, и ее улыбающиеся губы были красны, и все лицо ее озарилось, и глаза рассыпали звезды. На шее у нее появились тонкие голубые жилки, а несколько веснушек под глазами придавали коже теплый оттенок. Ей было теперь двадцать лет.

Сюрприз? Что она имеет в виду? Может, хочет показать ему его книги — выложит перед ним два-три томика и порадует его тем, что купила их и даже разрезала. Вот, прошу, маленький знак внимания и утешения. Не побрезгуйте моим скромным подаянием!

Он порывисто вскочил и замер. Виктория шла обратно, ее корзина была пуста.

— Вы не нашли цветов? — спросил он, думая о своем.

— Да нет. Я и не искала, я просто посидела на камне...

— Кстати, я хотел вам сказать, — заговорил он, — пожалуйста, не думайте, будто вы причинили мне зло. Вам нечего заглаживать и незачем утешать меня.

— Не в том дело, — сказала она растерянно. Потом сообразила что-то, поглядела на него и задумалась. — Совсем не в том. Мне просто казалось, что тогда... Я не хотела, чтобы вы затаили на меня обиду из-за того, что произошло в тот раз.

— Я не таю на вас обиды.

Она подумала еще немного. И вдруг резко выпрямилась.

— Ну что ж, тем лучше, — сказала она. — А мне вперед наука. Не такое уж это было для вас горе. И довольно об этом.

— Будь по-вашему. А мои горести вам безразличны теперь, как и прежде.

— До свидания, — говорит она. — До свидания.

— До свидания, — говорит он.

И они уходят, каждый своей дорогой. Он остановился и обернулся. Вот она идет. Он протянул руки и зашептал ей вслед, еле слышно повторяя нежные слова: «Я не таю на вас обиды, нет, не таю. Я люблю вас по-прежнему, люблю вас...» И вдруг крикнул: «Виктория!»

Она услышала, вздрогнула и обернулась, но не остановилась.

Прошло несколько дней. Юханнес совсем потерял покой, он не работал, не спал и почти весь день проводил в лесу. Както раз он поднялся на большой, поросший сосною холм, где стоял замковый флагшток: флаг был поднят. На круглой башне Замка тоже развевался флаг.

Странное волнение охватило его. В Замок приедут гости, там будет праздник.

День был жаркий, среди притихших от зноя холмов, точно жилка, билась река. К берегу приближался пароход, оставляя за собой на воде белый пенистый веер. Со двора Замка выехали четыре коляски и стали спускаться к пристани.

Пароход причалил, господа и дамы сошли на берег и разместились в экипажах. С башни Замка раздались выстрелы, там стояли двое мужчин с охотничьими ружьями, они заряжали их и стреляли, заряжали и стреляли. На двадцать первом выстреле экипажи въехали в ворота Замка, и стрельба прекратилась.

Так и есть, в Замке будет праздник, приезжих встречают флагами и салютом. В экипажах сидели какие-то военные, может, среди них и Отто, лейтенант.

Юханнес спустился с холма и пошел к дому. Его нагнал человек из Замка. Человек нес в шапке письмо, письмо от фрекен Виктории, она ждет ответа.

Юханнес с бьющимся сердцем прочел письмо. Виктория все-таки настаивала на своем приглашении, она обращалась к Юхан-

несу с задушевными словами и просила его прийти. Именно на сегодняшний праздник она и хотела его пригласить. Передайте ответ через посыльного.

Вот какое нежданное-негаданное счастье выпало Юханнесу, кровь бросилась ему в лицо, он ответил посыльному, что придет, спасибо — придет сию же минуту.

— Вот вам, возьмите!

Он сунул посыльному до смешного щедрые чаевые и помчался домой переодеваться.

VIII

В первый раз в своей жизни он переступил порог Замка и поднялся по лестнице во второй этаж. В гостиной жужжали голоса, сердце его лихорадочно билось, он постучал в дверь и вошел.

Хозяйка Замка, молодая еще женщина, вышла к нему навстречу, приветливо поздоровалась и пожала ему руку. Очень приятно — она помнит его еще вот таким... а теперь он большой... Казалось, хозяйка Замка хочет сказать что-то еще, она задержала руку Юханнеса в своей и испытующе поглядела на него.

Хозяин Замка тоже подошел к Юханнесу и протянул ему руку. Жена права — он теперь большой. И дело не только в возрасте. Он теперь известный человек. Очень рад...

Юханнеса представили гостям, камергеру, который был при всех орденах, его супруге-камергерше, владельцу соседнего имения, лейтенанту Отто. Виктория не показывалась.

Прошло некоторое время. Вошла Виктория, бледная и смущенная; она вела за руку молоденькую девушку. Они обошли всю залу, со всеми поздоровались и каждому сказали несколько слов. Потом остановились перед Юханнесом.

Виктория с улыбкой обратилась к нему:

— А вот и Камилла, разве это не сюрприз? Ведь вы знакомы.

Она постояла, глядя на них обоих, потом вышла из гостиной.

В первую минуту от неожиданности у Юханнеса просто язык прилип к гортани. Так вот он, сюрприз — Виктория по

доброте душевной нашла себе заместительницу. Прошу вас, любезные друзья. Совет вам да любовь! Весна в цвету, солнышко сияет. Если угодно, распахните окна, потому что сад полон ароматов и на вершинах берез уже возятся скворцы. Ну, что же вы молчите? Улыбнитесь друг другу!

— Конечно, мы знакомы, — без смущения объявила Камилла. — В этих местах вы когда-то вытащили меня из воды.

Она была юная, светлая, веселая, на ней было розовое платье, ей минуло семнадцать лет. Овладев собой, Юханнес стал смеяться и шутить. Но, слушая ее радостный щебет, он и в самом деле мало-помалу оживился, они долго болтали вдвоем, сердце его стало биться ровнее. Она сохранила милую детскую привычку склонять голову набок, прислушиваясь к тому, что он говорит. Он узнал ее — сюрприза не получилось.

Виктория снова вошла в залу, взяла под руку лейтенанта, подвела его к Юханнесу и сказала:

— Вы узнаете Отто, моего жениха? Вы, верно, его помните?

Мужчины помнили друг друга. Они обменялись подобающими случаю словами и поклонами и разошлись. Юханнес и Виктория остались наедине. Он спросил:

— Это и был ваш сюрприз?

— Да, — ответила она нетерпеливо и с досадой, — я сделала все, что в моих силах, больше я ничего сделать не могу. Не дуйтесь же, а лучше поблагодарите меня. Я видела, что вы обрадовались.

— Благодарю вас. Да, я обрадовался.

Безысходное отчаяние охватило Юханнеса, вся кровь отхлынула от его лица. Что верно, то верно: она причинила ему когда-то зло, но зато с какой щедростью она теперь вознаградила его, загладила свою вину. Он благодарен ей от всей души.

— Я вижу, сегодня вы надели кольцо, — глухо сказал он. — Не снимайте же его больше.

Пауза.

— Больше не сниму, — ответила она.

Они в упор взглянули друг на друга. Его губы дрожали, он кивком указал на лейтенанта и сказал хрипло и грубо:

— У вас хороший вкус, фрекен Виктория. Красивый мужчина. А в эполетах у него и плечи широкие.

Она ответила очень спокойно:

— Нет, он вовсе не красив. Но зато он хорошо воспитан. А это тоже кое-что значит.

— Это камешек в мой огород. Спасибо! — Он громко рассмеялся и развязно добавил: — И карманы у него набиты деньгами, а это и подавно имеет значение.

Она сразу отошла от него.

Он как неприкаянный слонялся по гостиной. Камилла что-то ему рассказывала, о чем-то спрашивала, он не слушал и не отвечал. Она опять что-то сказала, даже дотронулась до его руки и повторила свой вопрос, тщетно добиваясь ответа.

— О чем он только думает! — смеясь, воскликнула она. — Все думает и думает!

— Ему хочется побыть одному, — отозвалась Виктория. — Он и меня прогнал. — Но вдруг она подошла вплотную к Юханнесу и, повысив голос, добавила: — Наверное, вы обдумываете, как лучше извиниться передо мной. Не трудитесь. Наоборот, это я должна просить прощения, что так поздно пригласила вас. Это большая оплошность с моей стороны. Но я спохватилась в последнюю минуту, я совсем о вас забыла. Впрочем, надеюсь, вы меня извините, мне было просто не до вас.

Он оторопело уставился на нее. Камилла удивленно переводила взгляд с одного на другого. Виктория стояла перед ним, спокойная, бледная, и на ее лице было написано удовлетворение. Она отомстила.

— Таковы уж нынешние мужчины, — заговорила она снова, обращаясь к Камилле. — Нельзя требовать от них слишком многого. Там сидит мой жених и рассуждает об охоте на лося, а тут стоит поэт и думает о своем... Скажите же что-нибудь, о поэт!

Он вздрогнул, жилы на его висках набухли.

— Ах вот как. Вы просите меня что-нибудь сказать. Извольте.

— О нет, не трудитесь.

И она хотела отойти.

— Чтобы приступить прямо к делу, — начал он с расстановкой и улыбаясь, хотя голос его дрожал, — чтобы не ходить вокруг да около, скажите, не были ли вы недавно влюблены, фрекен Виктория?

На несколько секунд воцарилась мертвая тишина, все трое слышали, как бьются их сердца. Испуганная Камилла поспешила ответить:

— Ну конечно же, Виктория влюблена в своего жениха. Они ведь недавно обручились, разве вы не знаете?

Двери в столовую распахнулись.

Юханнес нашел свое место за столом и остановился возле него. Стол ходил ходуном перед его глазами, он видел множество каких-то лиц и слышал гул голосов.

— Прошу вас, садитесь, это ваше место, — дружелюбно сказала хозяйка. — Пора бы уж и всем сесть за стол.

— Извините, — раздался вдруг за спиной Юханнеса голос Виктории.

Он посторонился.

Она взяла карточку Юханнеса и переложила ее ближе к концу стола, на семь приборов ближе к концу стола, по соседству с пожилым человеком, который когда-то был домашним учителем в Замке и слыл охотником выпить. Карточку, лежавшую возле этого прибора, Виктория положила туда, откуда взяла карточку Юханнеса, и только тогда села на свое место.

Юханнес все видел. Смущенная хозяйка поспешно захлопотала на другом конце стола, избегая его взгляда.

В смятении и замешательстве Юханнес побрел к своему новому месту; а то, которое предназначалось ему вначале, занял приехавший из города приятель Дитлефа, молодой человек с брильянтовыми запонками на рубашке. По его левую руку сидела Виктория, по правую Камилла.

Обед начался.

Старый учитель помнил Юханнеса еще ребенком, они разговорились. Учитель рассказывал, что и он когда-то в молодости писал стихи, рукописи хранятся у него до сих пор, при слу-

чае он покажет их Юханнесу. А сегодня его пригласили в Замок на семейное торжество, чтобы он принял участие в общей радости по случаю помолвки Виктории. Хозяева Замка по старой дружбе приготовили ему этот сюрприз.

— Я не читал ваших книг, — сказал он Юханнесу. — Когда мне приходит охота почитать, я читаю свои собственные произведения. В ящике моего стола лежат рассказы и стихи. Когда я умру, они будут изданы. Пусть читающая публика узнает, что я был за человек. Да о чем толковать, мы, писатели старого закала, не чета нынешней молодежи, мы не спешили предавать гласности свои творения. Ваше здоровье!

Трапеза продолжается. Хозяин Замка стучит по своему бокалу и встает. На его худом, надменном лице волнение — как видно, он очень счастлив. Юханнес низко опускает голову. Его бокал пуст, никто не налил ему вина; он сам наполняет бокал до краев и опять склоняется над столом. Вот оно!

Хозяин говорит долго и красноречиво, радостные возгласы встречают его речь — помолвка оглашена. Со всех концов стола на дочь хозяина Замка и на сына камергера сыплются поздравления.

Юханнес осушил свой бокал.

Через несколько минут его смятение улеглось, к нему вернулось самообладание; шампанское ласковым теплом разлилось по его жилам. Он слышит, как слово берет камергер, как снова раздаются крики «ура», «браво» и звон бокалов. Один раз он бросает взгляд на Викторию — она бледна и как будто подавлена, она не поднимает глаз. Зато Камилла кивает ему и улыбается, и он отвечает ей кивком.

А его сосед, учитель, продолжает свое:

— Как отрадно, как отрадно видеть, что эта чета соединится брачными узами. Мне судьба судила иначе. В юные годы я был студентом — большие виды на будущее, редкий талант! Отец родом из почтенной семьи, дом — полная чаша, куча денег, кораблей не счесть. Так что, смею сказать, виды на будущее у меня были отличные! Она тоже была молода, из хорошей семьи. И что же? Прихожу я к ней, открываю свое сердце. Нет, говорит

она. Можете вы это понять? Нет, говорит, не хочу. Ну что ж, я сделал все, что мог, — я продолжал учиться, перенес удар, как подобает мужчине. А тут для отца настали плохие времена, кораблекрушения, векселя, — короче, он обанкротился. Что делаю я? Переношу и этот удар как подобает мужчине. Но зато ее словно подменили. Она возвращается в наш город, является ко мне. Как вы думаете, что ей от меня понадобилось? Я обеднел, стал учителем, все надежды на будущее рухнули, мои стихи валяются в ящике письменного стола — и вот она пришла ко мне и теперь она согласна. Согласна! — Учитель посмотрел на Юханнеса и спросил: — Можете вы ее понять?

— Но тут уж вы сами не согласились?

— А разве я *мог* согласиться, скажите на милость? Я был нищ, нищ и наг, жалованье учителя, в трубке дешевый табак, да и то по воскресным дням. Что мне было делать? Я не мог причинить ей такое зло. Но ответьте мне: можете вы ее понять?

— А что с ней сталось потом?

— Черт возьми, вы не отвечаете на мой вопрос. Она вышла замуж за капитана. Год спустя. За артиллерийского капитана. Ваше здоровье!

— Говорят, есть женщины, которые всегда ищут кого-то, кто нуждается в их жалости. Пока мужчина счастлив, они его ненавидят и чувствуют себя лишними, а вот стоит ему попасть в беду и сломиться, они заявляют: я твоя.

— Но почему она отказывала мне в счастливые дни? У меня были виды на будущее не хуже, чем у наследного принца.

— Кто ее знает. Стало быть, она ждала, пока вы склоните голову.

— Но я не склонил головы. Ни разу. Я сохранил свою гордость и отказал ей. Что вы на это скажете?

Юханнес молчал.

— А может, вы и правы, — продолжал старый учитель. — Клянусь Господом Богом и его небесным воинством, вы правы, — воскликнул он вдруг и снова выпил. — В конце концов она вышла за старика капитана, нянчится с ним, кормит его с ложеч-

ки, как младенца, и верховодит у него в доме. У артиллерийского капитана!

Юханнес поднял глаза. Виктория, сжимая в руке бокал, смотрела прямо на него. Потом она высоко подняла бокал. Он встрепенулся и тоже схватил свой бокал. Рука его дрожала.

Тогда она засмеялась и громко обратилась к его соседу. Этим соседом был старый учитель.

Пристыженный Юханнес опустил бокал на стол, растерянно и беспомощно улыбнулся. Все гости глядели на него.

Старый учитель был растроган до слез любезным вниманием своей ученицы. Он торопливо осушил свой бокал.

— И вот я дожил до старости, — продолжал он, — и брожу по свету одинокий и безвестный. Так мне судила судьба. Ни одна душа не знает, что таится в моей груди, но ни одна душа не слыхала, чтобы я роптал. Да зачем далеко ходить — наблюдали ли вы горлинку? Знаете ли вы, что эта великая печальница никогда не станет пить из чистого, прозрачного ручейка, пока не замутит его?

— Нет, я не знал об этом.

— Жаль. Тем не менее это так. Вот и я вроде нее. Я не получил в жены ту, которую хотел; однако и у меня есть в жизни свои радости. Но я нарочно стараюсь их замутить. Всегда стараюсь их замутить. Зато потом мне не грозят разочарования. Взгляните, вот сидит Виктория. Она только что выпила за мое здоровье. Я был ее учителем, теперь она выходит замуж, и я радуюсь этому, радуюсь от всего сердца, как если бы она была моей родной дочерью. Может, когда-нибудь я буду учить ее детей. Да, что ни говори — жизнь полна радостей. Но кстати, знаете, вы тут рассуждали о женской жалости... чем больше я думаю об этом, тем больше чувствую, что вы правы... Ей-богу, правы... Простите, одну минутку.

Он вскочил, схватил свой бокал и направился к Виктории. Он уже не совсем твердо держался на ногах и шел, согнувшись в три погибели.

Застольные речи сменяли одна другую, говорил лейтенант, потом владелец соседнего имения поднял свой бокал за жен-

щин, за хозяйку дома. И вдруг встал молодой человек с брильянтовыми запонками и назвал имя Юханнеса. Он, мол, получил разрешение говорить не только от собственного имени — он хочет приветствовать молодого поэта от молодого поколения. Это была искренняя благодарность сверстников, прочувствованные слова, исполненные признательности и восхищения.

Юханнес не верил своим ушам. Он шепнул учителю:

— Это он обо мне?

— Да. Он меня опередил. Я сам собирался поднять за вас бокал. Виктория еще утром просила меня об этом.

— *Кто* вас просил?

Учитель поглядел на него в упор.

— Никто, — ответил он.

Во время речи взгляды всех гостей обратились к Юханнесу, даже хозяин Замка кивнул ему, а госпожа камергерша стала его разглядывать в лорнет. По окончании речи все выпили.

— Ну что же, отвечайте ему, — заявил старый учитель. — Он поднял за вас бокал. А полагалось бы это сделать старшему собрату по перу. Впрочем, я отнюдь не разделяю его мнения о вас. Отнюдь не разделяю.

Юханнес смотрел в ту сторону, где сидела Виктория. Это она попросила молодого человека с брильянтовыми запонками поднять за него бокал — зачем? Сначала она обратилась с этой просьбой к другому, еще рано утром ее занимала эта мысль — почему? А теперь она сидит, потупив глаза, и на лице ее ничего нельзя прочесть.

И вдруг глубокое волнение затуманило его глаза, ему захотелось броситься перед ней на колени и благодарить ее, благодарить без конца. Так он и сделает, когда все встанут из-за стола.

Камилла, сияя улыбкой, без конца болтала со своими соседями. Она была довольна — за все свои семнадцать лет она не изведала ничего, кроме радостей. Она несколько раз подряд кивала Юханнесу, знаками призывая его встать.

Он встал.

Он произнес краткую речь глубоким, взволнованным голосом. На празднестве, которым этот дом отмечает радостное се-

мейное событие, даже его — человека постороннего — извлекли из безвестности. Ему хочется поблагодарить того, кому первому пришла в голову эта любезная мысль, а затем и того, кто обратил к нему такие дружеские слова. Но он не может также не высказать своей благодарности всем собравшимся за то, что они благосклонно выслушали похвалы ему — постороннему. Ведь единственная причина, по которой он присутствует на этом торжестве, — это то, что он сын соседа, живущего в лесу, неподалеку от Замка...

— Верно! — крикнула вдруг Виктория, сверкнув глазами.

Все повернулись к ней, ее лицо пылало, грудь вздымалась. Юханнес осекся. Воцарилось тягостное молчание.

— Виктория! — удивленно произнес хозяин Замка.

— Продолжайте! — снова крикнула она. — Итак, это единственная причина. Но говорите же дальше. — И вдруг глаза ее погасли, она беспомощно улыбнулась и покачала головой. Потом, обернувшись к отцу, пояснила: — Я нарочно так умаляю... Ведь он сам умаляет себя. Но я не хотела перебивать...

Услышав ее объяснения, Юханнес сразу нашелся. Сердце его стучало очень громко. Он заметил, что хозяйка Замка смотрит на Викторию со слезами и с бесконечной жалостью во взгляде.

— Фрекен Виктория права, — сказал он. Он и вправду напрасно умаляет себя. Она любезно напомнила ему, что для детей хозяина Замка он не только соседский сын, но и товарищ детских игр. Это и дает ему право присутствовать здесь сегодня. Спасибо фрекен Виктории — она права. Здешние края — его родина. Леса вокруг Замка когда-то составляли весь его мир, а за ними скрывались неведомые страны, жизнь, полная приключений. В те годы Виктория и Дитлеф часто приглашали его, когда затевалась какая-нибудь прогулка или игра, — и это было самым ярким впечатлением его детских лет. Позже, вспоминая об этом, он понял, что эти часы сыграли в его жизни роль, о которой никто не подозревает, и если слова, сказанные здесь, справедливы и в его книгах вспыхивает порой какая-то искра, то высекают ее воспоминания; это отблеск счастья, которым двое друзей одарили его в детстве. Вот почему в том, что он создал,

немалая доля принадлежит им. Он присоединяется ко всем добрым пожеланиям по случаю помолвки и еще от себя хочет поблагодарить обоих наследников Замка за счастливые дни детства, когда ничто — ни время, ни обстоятельства — еще не разделяло их, за счастливый, короткий летний день...

Застольная речь — во всяком случае, нечто похожее на речь. Не слишком удачная, но и не такая уж плохая, гости осушили бокалы, ужин шел своим чередом, разговоры возобновились. Дитлеф сухо заметил матери:

— Выходит, это я писал за него книги, а я-то и не подозревал. Забавно!

Но хозяйка Замка не поддержала шутки. Она чокнулась со своими детьми и сказала:

— Поблагодарите его, непременно поблагодарите. Его легко понять, ребенком он был так одинок... Что ты делаешь, Виктория?

— Хочу попросить служанку передать ему в знак благодарности эту ветку сирени. Разве нельзя?

— Нельзя, — отрезал лейтенант.

После обеда гости разбрелись кто куда — кто по комнатам, кто на веранду, а некоторые даже в сад. Юханнес спустился в гостиную, выходящую окнами в сад. Здесь уже сошлись несколько курильщиков, соседский помещик и еще какой-то господин, вполголоса рассказывавший о денежных делах хозяина Замка. Усадьба запущена, ограда развалилась, лес вырублен; ходят слухи, что хозяину трудно будет выплатить непомерно большую страховку за недвижимое и движимое имущество.

— А во сколько они застрахованы?

Помещик назвал сумму, громадную сумму.

— Впрочем, хозяева Замка никогда не стеснялись в расходах и сорили деньгами. Во что, например, обошелся сегодняшний обед! Но нынче, как видно, закрома опустели — опустела даже знаменитая шкатулка с драгоценностями хозяйки, зато денежки зятя должны восстановить былое великолепие.

— А он богат?

— О-о! У него денег куры не клюют.

Юханнес снова встал и вышел в сад. Цвела сирень, аромат лучинника и жасмина, нарциссов и ландышей хлынул ему навстречу. Он нашел укромный уголок возле самой ограды и устроился на камне; кусты защищали его от посторонних глаз. Он был измучен всем, что ему пришлось пережить, он смертельно устал, мысли его путались; он подумал, что надо бы пойти домой, но вяло и тупо продолжал сидеть на месте. И тут он услышал приглушенный говор на дорожке, кто-то приближался к нему, он узнал голос Виктории. Юханнес затаил дыхание и прислушался, в листве блеснул мундир лейтенанта. Жених с невестой прогуливаются вдвоем.

— Сдается мне, тут что-то не так, — говорит лейтенант. — Ты ловишь каждое его слово, волнуешься, вскрикиваешь. Что все это значит?

Она остановилась перед ним и вскинула голову.

— Хочешь знать? — спрашивает она.

— Да.

Она молчит.

— Впрочем, если это ничего не значит, мне все равно, — продолжает он. — Можешь не говорить.

Она поникла головой.

— Это ничего не значит, — говорит она.

Они идут дальше. Передернув эполетами, лейтенант громко заявляет:

— Тогда пусть поостережется. А то как бы рука офицера не прошлась по его физиономии.

И они уходят в сторону беседки.

Юханнес долго сидел на камне, все такой же вялый и подавленный. Все стало ему безразлично. У лейтенанта зародились подозрения, и невеста немедля развеяла их. Она сказала все, что полагается говорить в подобных случаях, успокоила офицерское сердце и пошла дальше своей дорогой вместе с женихом. А над их головами в ветвях щебетали скворцы. Ну что ж. Дай им Бог долгой жизни... За обедом Юханнес произнес застольную речь в ее честь, растоптав свое сердце; нелегко

ему было замять ее неуместную выходку, а она даже «спасибо» не сказала. Схватила свой бокал и осушила до дна. Ваше здоровье, глядите, мол, как изящно я пью... Кстати сказать, приходилось ли вам смотреть сбоку на женщину, когда она пьет? Пьет хоть из чашки, хоть из стакана, хоть из чего угодно. Поглядите на нее сбоку. Кривляется так, что смотреть тошно. Вытягивает губки, еле касается напитка, а если, не дай Бог, вы в это время посмотрите на ее руку, она себе места не находит. Вообще не советую вам смотреть на руку женщины. Она этого не выносит, сразу просит пощады. То прижмет руку к груди, то положит ее по-другому, покрасивее, и все ради того, чтобы скрыть морщинку, или кривизну пальца, или какой-нибудь не совсем изящный ноготок. Под конец она не выдержит и непременно спросит вне себя от ярости: «На что вы так смотрите?..» Однажды она поцеловала его, однажды летом. Много воды утекло с тех пор, — да полно, было ли это? И как это случилось? Кажется, они сидели на скамье, долго разговаривали, а потом пошли по улице, и он шел так близко, что даже касался ее руки. А у двери она поцеловала его. «Я люблю вас», — сказала она. А теперь она прошла мимо с другим, может, они все еще сидят в беседке. Лейтенант заявил, что намерен дать ему пощечину. Юханнес отлично все слышал, он не спал, но он не двинулся с места, не выступил вперед. Рука офицера, заявил тот. А-а, не все ли равно!..

Поднявшись с камня, Юханнес побрел к беседке. Она была пуста. С террасы его звала Камилла: в гостиной подан кофе. Юханнес пошел на ее зов. Жених с невестой сидели в гостиной, были тут и другие гости. Юханнесу подали чашку, он взял ее и устроился поодаль.

Камилла завела с ним разговор. Лицо ее так сияло, и она так доверчиво глядела на него, что он не мог устоять и разговорился сам, отвечал на ее вопросы и смеялся. Где он пропадал? В саду? Не может быть, она искала его в саду и не нашла. Тут что-то не так — в саду его не было.

— Виктория, он был в саду? — спрашивает она.

— Я его не видела, — отвечает Виктория.

Лейтенант хмуро косится на свою невесту и, чтобы предостеречь ее, нарочито громко спрашивает соседа-помещика:

— Мне помнится, вы приглашали меня в свое поместье поохотиться на вальдшнепов?

— Конечно, конечно, — отвечает помещик, — милости прошу.

Лейтенант бросает взгляд на Викторию. Она сидит в прежней позе, молчит и даже не пытается уговорить его не ездить на охоту. Лейтенант хмурится все сильнее и нервно теребит свои усики.

Камилла снова спрашивает о чем-то Викторию.

Лейтенант вдруг вскакивает и говорит помещику:

— Решено, я еду с вами нынче же вечером.

И с этими словами выходит из гостиной.

За ним выходит помещик и кое-кто из гостей.

Наступает короткое молчание.

И вдруг дверь распахивается, и снова появляется лейтенант. Он необычайно возбужден.

— Ты что-нибудь забыл? — спрашивает Виктория, вставая.

Он как-то странно пританцовывает возле двери, точно не может устоять на месте, а потом идет прямо к Юханнесу и, размахивая рукой, будто ненароком ударяет его по лицу. Потом бегом возвращается назад и опять пританцовывает на пороге.

— Поаккуратнее, вы попали мне в глаз, — говорит Юханнес с сиплым смешком.

— Ошибаетесь, — заявляет лейтенант. — Я вам дал пощечину. Вы поняли? Поняли?

Юханнес вынул платок, отер им глаз и сказал:

— Никакой пощечины вы мне не дали. Вы отлично знаете, что я могу одной рукой согнуть вас пополам и сунуть в карман.

И тут же встал.

Поспешно открыв дверь, лейтенант выбежал из гостиной.

— А вот и дал! — крикнул он из коридора. — Мужлан! — И с грохотом захлопнул дверь.

Юханнес сел.

Стоя на прежнем месте, посреди комнаты, Виктория смотрела на него. Она была бледна как смерть.

— Он ударил вас? — с величайшим изумлением спросила Камилла.

— По неловкости. Он попал мне в глаз. Видите?

— Господи, глаз весь покраснел, это кровь. Нет, нет, не трите, дайте я его промою. У вас очень грубый носовой платок, уберите его, лучше я своим. Слыханное ли это дело! Прямо в глаз!

Виктория тоже протянула Юханнесу свой платок. Она не произнесла ни слова. Потом медленно подошла к стеклянной двери и остановилась возле нее, спиной к гостиной, глядя в сад. Свой платок она порвала на узкие полоски. А еще через несколько минут она открыла дверь и молча вышла из гостиной.

IX

На мельницу пришла Камилла, веселая и беззаботная. Она была одна. Без церемоний вошла она в маленький домик и сказала, улыбаясь:

— Извините, что я без стука. Река так шумит, что я подумала, вы все равно не услышите. — Она огляделась по сторонам и воскликнула: — Ой, как здесь чудесно! Просто чудесно! А где Юханнес? Я знакомая Юханнеса. Как его глаз?

Ей подали стул, она села.

Юханнеса позвали с мельницы. Глаз у него весь заплыл.

— Меня никто не посылал, — были первые слова Камиллы. — Мне самой захотелось сюда прийти. Вам надо по-прежнему прикладывать к глазу холодные примочки.

— Обойдется и так, — возразил он. — Благослови вас Бог за вашу доброту. Что привело вас сюда? Хотите посмотреть мельницу? Спасибо, что пришли. — Он обнял свою мать, подвел ее к Камилле и сказал. — А это моя мать.

Они спустились к мельнице. Старый мельник сорвал с головы шапку, низко поклонился и что-то сказал. Камилла не расслышала, но улыбнулась и на всякий случай ответила:

— Спасибо, спасибо! Мне очень хотелось посмотреть мельницу.

Грохот напугал ее, она схватила Юханнеса за руку и, широко раскрыв глаза, переводила настороженный взгляд с Юханнеса на его отца, словно ожидала от них объяснений. Она была как глухая. Множество колес и других мельничных приспособлений привело ее в изумление, она смеялась, в восторге дергала Юханнеса за руку и расспрашивала то об одном, то о другом. Мельницу остановили и снова пустили в ход, чтобы Камилла могла посмотреть, как это делается.

Еще долго после того, как они ушли с мельницы, Камилла продолжала говорить забавно громким голосом, словно шум колес все еще стоял у нее в ушах.

Юханнес провожал ее до Замка.

— Просто в голове не укладывается, что он посмел вас ударить, — недоумевала она. — А потом в один миг собрался и уехал на охоту с помещиком. Ужасно неприятное происшествие. Виктория всю ночь не сомкнула глаз.

— Отоспится днем, — ответил Юханнес. — Когда вы собираетесь домой?

— Завтра. А когда вы вернетесь в город?

— Осенью. Могу я увидеть вас сегодня еще раз?

Она воскликнула:

— Ну конечно! Вы рассказывали мне, что у вас есть пещера, покажите ее мне.

— Я зайду за вами, — сказал он.

На обратном пути он долго сидел на камне, погрузившись в раздумье. Радостная надежда крепла в его душе.

В полдень он явился к Замку, но в дом не вошел, а послал известить Камиллу о своем приходе. Когда он ее ждал, в окне второго этажа на мгновение показалась Виктория; она внимательно посмотрела на Юханнеса, повернулась и скрылась в комнате.

Вышла Камилла, Юханнес повел ее в каменоломню и к пещере. У него было на редкость спокойное, радостное настроение, молодая девушка прогоняла его тоску, ее легкие, безмятежные слова порхали в воздухе, точно рассыпая благословения. Сегодня Юханнеса охраняли добрые духи...

— Помните, Камилла, когда-то вы подарили мне кинжал. Он был в серебряных ножнах. Я положил его в шкатулку с безделушками, потому что не знал, что с ним делать.

— А с ним и вправду нечего делать. Ну и что было потом?

— А потом я его потерял.

— Подумайте, вот невезение. Впрочем, не беда, может, мне удастся найти другой такой же. Я постараюсь.

Они повернули к дому.

— А помните, вы когда-то подарили мне медальон? Такую массивную штуку из золота. И на внутренней стороне вы написали несколько дружеских слов.

— Как же, помню.

— В прошлом году за границей я отдал ваш медальон, Камилла.

— Да что вы! Неужели отдали? А почему?

— Я отдал его на память одному молодому другу. Он был русский. Он на коленях благодарил меня за этот подарок.

— Неужели он так обрадовался? Господи, ну конечно же, он страшно обрадовался, раз он упал на колени! Я подарю вам другой медальон, и уж этот останется у вас.

Они вышли на дорогу, которая вела от Замка к мельнице.

Юханнес остановился и сказал:

— Вот у этого кустарника со мной как-то раз приключилась забавная история. В ту пору я часто бродил здесь один, был тихий летний вечер. Я прилег за кустами, думая о своем. И вдруг на дороге показались двое. Дама остановилась. Ее спутник спросил: «Почему вы остановились?» Ответа он не получил и спросил снова: «Что с вами?» — «Ничего, — ответила она. — Но вы не должны так смотреть на меня». «Но ведь я ничего дурного не делаю — только смотрю на вас», — возразил он. «Да, — сказала она, — я знаю, что вы меня любите, но поймите, папа вам откажет: это невозможно». Он шепнул: «Вы правы, это невозможно». И тогда она сказала: «Какая у вас широкая рука! Какое широкое запястье», — и с этими словами положила руку на его запястье.

Пауза.

— А дальше что? — спросила Камилла.

— Не знаю, — ответил Юханнес. — Но почему она сказала эти слова насчет его запястья?

— Может, у него были красивые запястья. И они были прикрыты белой сорочкой. О, я, кажется, понимаю, в чем дело. Наверное, она тоже его любила.

— Камилла, — сказал он, — а если бы я очень любил вас и готов был ждать несколько лет... Я просто спрашиваю... Одним словом, я недостоин вас, но все-таки, как вам кажется, согласитесь вы стать моей женой, если я попрошу вас об этом через год или два?

Пауза.

Камилла вдруг залилась краской, смутилась и, стиснув руки, стала раскачиваться взад и вперед. Он привлек ее к себе и спросил:

— Как вам кажется? Вы согласитесь?

— Да, — ответила она и упала в его объятья.

День спустя Юханнес пришел за Камиллой, чтобы проводить ее на пристань. Он поцеловал ее маленькие руки, детские и невинные, — сердце его переполняли радость и благодарность.

Виктории с ней не было.

— Почему тебя никто не провожает?

В смятении глядя на Юханнеса, Камилла рассказала, что в Замке случилось ужасное несчастье. Утром пришла телеграмма, хозяин побелел как мертвец, старый камергер и его жена заплакали навзрыд. Вчера вечером на охоте убит Отто.

Юханнес схватил Камиллу за руку.

— Убит? Лейтенант?

— Да. Тело везут сюда. Какой ужас!

Они пошли дальше, погрузившись каждый в свои мысли; только людная пристань, пароход, крики матросов заставили их очнуться. Камилла застенчиво протянула руку Юханнесу, он поцеловал ее и сказал:

— Камилла, я недостоин тебя, во всех отношениях недостоин. Но если ты согласна выйти за меня, я приложу все силы, чтобы ты была счастлива.

— Я согласна. Я всегда этого хотела, всегда-всегда.

— На днях я вернусь в город, — сказал он. — Через неделю мы увидимся.

Она поднялась на палубу. Он помахал ей рукой и продолжал махать, пока она не скрылась из виду. Повернувшись, чтобы идти к дому, он увидел Викторию, она тоже держала в руке платок и махала Камилле.

— Я немного запоздала, — сказала она.

Он не ответил. Да и что было отвечать? Выразить сочувствие по случаю ее утраты, поздравить ее, пожать ей руку? Ее голос был совершенно беззвучен, и на лице глубокая растерянность, — видно было, что она пережила сильное потрясение.

Пристань опустела.

— Глаз у вас все еще красный, — сказала она и тут же пошла прочь. Потом оглянулась.

Он все еще стоял на месте.

Тогда она вдруг вернулась и шагнула к нему.

— Отто умер, — резко сказала она, и глаза ее сверкнули. — Вы молчите, вы так уверены в себе. А он был во сто крат лучше вас, слышите? А знаете, как он умер? Его застрелили, его голову разнесло на куски, его маленькую, глупую голову. Он был во сто крат...

Она разрыдалась и в отчаянии поспешила прочь.

Поздним вечером в дом мельника постучали. Юханнес открыл дверь и выглянул — на пороге стояла Виктория, она сделала ему знак. Он вышел к ней. Она схватила его за руку и повлекла по дороге; рука ее была холодна как лед.

— Присядьте, — сказал он. — Присядьте и отдохните, вы так измучены.

Они сели.

Она прошептала:

— Что вы должны думать обо мне! Ни на одно мгновение я не оставляю вас в покое.

— Вы очень несчастны, — ответил он. — Послушайте меня, Виктория, успокойтесь. Не могу ли я вам чем-нибудь помочь?

— Ради всего святого, простите мне мои сегодняшние слова! — взмолилась она. — Я и вправду очень несчастна, несчастна уже много лет. Я сказала, что он во сто крат лучше вас, это неправда, простите меня! Он умер, и он был моим женихом, только и всего. Вы думаете, я дала согласие по доброй воле? Посмотрите сюда, Юханнес, — это мое обручальное кольцо, я получила его давно, очень, очень давно, и вот я бросаю его, бросила! — И она бросила кольцо в кусты; оба услышали, как оно упало. — Этого хотел папа. Папа беден, он совершенно разорен, а Отто рано или поздно получил бы очень много денег. «Ты должна», — сказал мне папа. «Не хочу», — отвечала я. «Подумай о своих родителях, подумай о Замке, о нашем родовом имении, о моей чести». — «Хорошо, я согласна, — ответила я. — Я согласна, но подождите три года». Папа поблагодарил меня и согласился ждать, и Отто ждал, все ждали, но меня заставили надеть обручальное кольцо. Время шло, я видела, что меня ничто не спасет. «Чего еще ждать? Пусть мой муж приедет», — сказала я папе. «Благослови тебя Бог», — ответил он и снова стал благодарить меня за то, что я дала согласие. И вот приехал Отто. Я не пошла на пристань его встречать, я стояла у окна в своей комнате и видела, как он подъехал к Замку. Тогда я бросилась к маме и упала перед ней на колени. «Что с тобой, дитя мое?» — спрашивает она. «Не могу, — отвечаю я ей. — Не могу выйти за него, он приехал, он стоит внизу, лучше застрахуйте мою жизнь, и я утоплюсь в заливе или у плотины, это для меня легче». Мама побледнела как смерть и заплакала от жалости ко мне. Пришел папа. «Ну что же ты, дорогая Виктория, ты должна сойти вниз и встретить жениха», — говорит он. «Не могу, не могу», — повторяю я и снова прошу его, чтобы он сжалился надо мной и застраховал мою жизнь. Папа не ответил ни слова, сел на стул и задумался, а руки у него трясутся. Когда я это увидела, я сказала: «Приведи моего мужа, я согласна».

Голос Виктории прервался. Она вся дрожала. Юханнес взял ее другую руку и стал греть в своих.

— Спасибо, — говорит она. — Пожалуйста, Юханнес, сожмите мою руку покрепче. Пожалуйста, сожмите покрепче! Госпо-

ди, какие у вас теплые руки! Как я вам благодарна. Только простите мне те слова на пристани.

— Я давно их забыл. Хотите, я принесу вам платок?

— Нет, спасибо. Не пойму, почему я дрожу, хотя голова у меня так и горит. Юханнес, я должна просить у вас прощения за многое...

— Нет, нет, не надо. Ну вот, вы немножко успокоились. Посидите тихо.

— За столом вы подняли за меня бокал, вы произнесли застольную речь. Я себя не помнила с той самой минуты, как вы встали, и до той, пока вы не сели. Я слышала только звук вашего голоса. Он звучал как орга́н, и я страдала от того, что он так волнует меня. Папа спросил, почему я крикнула вам что-то и прервала вас, он был очень недоволен. Но мама ни о чем меня не спросила, она поняла. Я давным-давно во всем открылась маме, а два года назад, когда вернулась из города, опять ей все рассказала. Это было в тот раз, что мы с вами встретились.

— Не надо говорить об этом.

— Хорошо, но только простите меня, будьте милосердны! Как мне теперь быть? Папа сейчас дома, он расхаживает взад и вперед по своему кабинету, для него это страшный удар. Завтра воскресенье, он распорядился, чтобы отпустили всех слуг, за весь день он больше не отдал ни одного распоряжения. Лицо у него стало серое, и он все время молчит, так на него подействовала смерть зятя. Я рассказала маме, что хочу пойти к вам. «Завтра утром мы с тобой обе должны поехать в город с камергером и его женой», — сказала она. «Я иду к Юханнесу», — говорю я ей снова. «У папы нет денег, нам втроем здесь больше жить не придется, он останется в Замке один», — отвечает она и все время старается переменить тему. Тогда я пошла к двери. Мама посмотрела на меня. «Я иду к нему», — сказала я в последний раз. Мама подошла ко мне, поцеловала и сказала: «Ну что же, благослови вас Господь».

Юханнес выпустил руки Виктории из своих и сказал:

— Ну вот вы и согрелись.

— Большое спасибо, да, да, теперь мне совсем тепло... «Благослови вас Господь», — сказала мама. Я призналась маме во всем, она давно знает. «Кого же ты все-таки любишь, дитя мое?» — спросила она. «И ты еще спрашиваешь, — ответила я. — Я люблю Юханнеса, его одного я любила всю жизнь, его одного... его одного...»

Он шевельнулся.

— Уже поздно. Дома, верно, беспокоятся о вас.

— Нет, — ответила она. — Они знают, что я люблю вас, Юханнес, вы, наверное, и сами почувствовали, что они знают. Но я так тосковала о вас все эти годы, что никому, никому на свете этого не понять. Я бродила по этой дороге и думала: «Лучше я буду держаться опушки леса, потому что он тоже больше любил ходить по лесу». Так я и делала. А в тот день, когда я узнала, что вы приехали, я надела светлое платье, желтое платье, я просто захворала от тревоги и ожидания и все бродила из комнаты в комнату. «Ты вся сияешь сегодня!» — сказала мама. А я ходила и твердила самой себе: «Он вернулся! Он здесь, и он прекрасен, и то и другое — правда!» А на другой день я не выдержала, снова надела светлое платье и пошла в каменоломню, чтобы увидеть вас. Помните? И я вас увидела, только я сказала вам, что собираю цветы, а я вовсе не за тем туда пришла... Вы уже не обрадовались мне, но все равно спасибо за то, что я вас увидела. С нашей последней встречи прошло больше двух лет. У вас в руке была ветка, вы сидели и размахивали ею, а когда вы ушли, я подняла ветку, спрятала ее и унесла домой...

— Виктория, — сказал он дрожащим голосом. — Никогда больше не надо так говорить.

— Не надо, — с испугом сказала она, схватив его руку. — Не надо. Вам неприятно. — Она в волнении погладила его по руке. — Да и как я могла надеяться что вам это будет приятно. Я причинила вам столько зла. Но может быть, пройдет время, и вы меня простите.

— Я давным-давно вас простил. Дело не в том.

— А в чем же?

Пауза.

— У меня есть невеста, — ответил он.

X

На другой день, в воскресенье, хозяин Замка собственной персоной явился к мельнику и попросил его прийти в полдень в Замок, чтобы отвезти на пристань к пароходу тело лейтенанта Отто. Мельник озадаченно уставился на него. Тогда хозяин Замка коротко пояснил, что отпустил работников, они ушли в церковь, и дома никого из прислуги не осталось.

Как видно, хозяин Замка провел бессонную ночь, он был похож на выходца с того света и вдобавок не брит. Но он, по обыкновению, вертел в руках тросточку и держался прямо.

Надев свою лучшую пару, мельник отправился в Замок. Он запряг лошадей, а перенести тело в коляску ему помог сам хозяин Замка. Все это было проделано тихо, даже как-то таинственно, без свидетелей.

Мельник поехал к пристани. Следом за коляской шли камергер, его жена и хозяйка Замка с Викторией. Все четверо шли пешком. Хозяин Замка еще долго стоял на лестнице и махал им рукой. Ветер трепал его седые волосы.

Когда тело подняли на пароход, провожающие тоже взошли на палубу. Хозяйка Замка крикнула мельнику, чтобы он кланялся хозяину, и Виктория попросила о том же.

Пароход отчалил. Мельник долго глядел ему вслед. Был сильный ветер, море волновалось, только четверть часа спустя пароход скрылся за островами. И мельник отправился восвояси.

Он отвел лошадей в конюшню, задал им корм и решил наведаться в Замок — передать хозяину привет от жены и дочери. Но дверь на кухню оказалась заперта. Он обошел дом вокруг, чтобы войти через парадную дверь, но и она была на запоре. «Сейчас полдень, должно быть, хозяин спит», — подумал мельник. Но, поскольку он был человек обязательный и хотел исполнить свое обещание, он спустился в бывшую людскую в надежде кого-нибудь встретить и передать хозяину поклон от родных. В людской не было ни души. Он снова вышел во двор, побродил вокруг и наконец заглянул в девичью. Но и тут никого не оказалось. Замок словно вымер.

Мельник совсем уже собрался уйти, как вдруг заметил мерцанье свечи в подвале Замка. Он остановился. Сквозь маленькие зарешеченные оконца он явственно увидел человека, который спускался в подвал, неся в одной руке свечу, а в другой обитый красным шелком стул. Это был хозяин Замка. Он был выбрит и одет во фрак, точно на бал. «Постучу-ка я ему в окно и передам привет от жены», — подумал мельник, но так и застыл на месте.

Хозяин Замка посветил вокруг и огляделся по сторонам. Он вытащил откуда-то мешок не то с сеном, не то с соломой и положил поперек у самого порога. Потом полил его чем-то из лейки. Потом снес к двери ящики, солому и складную садовую лестницу и тоже их полил; мельник обратил внимание на то, что при этом он старается не испачкать руки и одежду. Наконец он взял огарок свечи и поставил его на мешок, аккуратно обложив соломой. А потом хозяин Замка сел на стул.

Мельник, все больше изумляясь, следил за этими приготовлениями, не в силах оторвать глаз от подвального оконца. Зловещее подозрение закралось ему в душу. Хозяин Замка неподвижно сидел на стуле, глядя, как понемногу оплывает свеча; руки у него были сложены на коленях. Мельник видел, как он стряхнул пылинку с рукава своего черного фрака и снова сложил руки.

И тут у старого мельника вырвался испуганный вопль.

Повернув голову, хозяин Замка посмотрел в окно. Потом вдруг вскочил, подошел к окну и прильнул к нему. В его глазах была невыразимая мука. Рот его искривился, он с немой угрозой поднес к стеклу сжатые кулаки, потом стал грозить уже только одной рукой, а сам все отступал в глубину подвала. Вдруг он наткнулся на стул, огарок опрокинулся. И в то же мгновение вспыхнуло огромное пламя.

Мельник с криком бросился прочь. Сначала он в страхе метался по двору, не зная, что делать, потом обежал дом вокруг. Потом кинулся к подвальному оконцу, выбил стекло и стал звать хозяина; потом, наклонившись, стал трясти железные прутья, согнул их, выломал.

И тут он услышал голос из подвала, голос без слов, стон, точно с того света; дважды повторился этот стон, и мельник вне себя от ужаса отскочил от окна и бросился бежать к своему дому. Оглянуться он не смел.

Через несколько минут, когда они с Юханнесом примчались в усадьбу, весь Замок — большой старинный деревянный дом — был охвачен ярким пламенем. Прибежали еще несколько человек с пристани, но и они уже ничем не могли помочь. Все сгорело дотла.

А мельник хранил мертвое молчание.

XI

Знаете ли вы, что такое любовь? Это просто ветер, который прошелестит в розовых кустах и стихнет. Но бывает любовь — точно неизгладимая печать, она не стирается всю жизнь, не стирается до самой могилы. И ту и другую любовь создал Господь, и на его глазах любовь длилась вечно и любовь умирала.

По дороге идут две матери и беседуют между собой. Первая одета в нарядное голубое платье, потому что ее возлюбленный вернулся из дальних странствий. Другая одета в траур. У нее было три дочери, две смуглые, одна белокурая, и белокурая умерла. С тех пор прошло уже десять лет, целых десять лет, а мать все носит траур по умершей.

— Какой чудесный сегодня день! — всплескивает руками та, которая одета в голубое платье. — Меня опьяняет тепло, меня опьяняет любовь, я переполнена счастьем. Я готова раздеться донага прямо здесь, посреди дороги, и протянуть руки к солнцу, и принять его поцелуй.

Но та, которая одета в траур, молчит, она не улыбается и не отвечает.

— Неужели ты все еще оплакиваешь свою девочку? — в простоте душевной спрашивает женщина в голубом. — Ведь прошло уже десять лет, как она умерла.

Женщина в черном отвечает:

— Да. Теперь ей было бы пятнадцать.

Тогда та, которая в голубом, говорит в утешение:

— Но ведь у тебя есть еще две дочери, и они живы!

— Да, но они обе смуглянки, — рыдает та, что в трауре. — А моя покойная девочка была белокурая.

И обе матери уходят, каждая своей дорогой, унося каждая свою любовь...

Но у каждой из дочерей-смуглянок тоже была своя любовь, и любили они одного и того же человека.

Он пришел к старшей сестре и сказал:

— Я пришел просить у вас совета, потому что я люблю вашу сестру. Вчера я изменил ей, она застигла меня в тот миг, когда я целовал в коридоре вашу служанку. Она вскрикнула — это был даже не крик, а стон — и исчезла. Что мне теперь делать? Я люблю вашу сестру, ради всего святого поговорите с ней, помогите мне!

Старшая побледнела и схватилась за сердце, но потом улыбнулась, точно благословляя его, и ответила:

— Я вам помогу.

На другой день он пришел к младшей сестре, бросился к ее ногам и признался в своей любви. Она смерила его взглядом и ответила:

— Вы просите милостыню, но я, к сожалению, не могу подать вам больше десяти крон. Ступайте к моей сестре, она богаче меня.

И с этими словами она вышла, надменно вскинув голову.

Но, очутившись в своей комнате, она бросилась на пол и ломала руки от любви.

Зима, на улице холод, туман, пыль и ветер. Юханнес опять в городе, в своей старой комнатушке, ветви тополей постукивают в стену деревянного дома, из окна которого он не раз любовался рассветом. Сейчас солнца не видно.

Все это время работа отвлекала его, он исписал груду бумаги, за зиму она стала еще больше. Какие только истории не разыгрывались в царстве его фантазии — бесконечная ночь, озаренная пламенем солнца.

Но день на день не приходился, бывали хорошие дни, а бывали и дурные, порой в самый разгар работы какая-то мысль, чьи-то глаза, слово, сказанное давным-давно, могли вдруг всплыть в его памяти и погасить вдохновение. И тогда он вскакивал и начинал расхаживать из угла в угол; он часто так расхаживал, на полу комнаты пролегла светлая дорожка, и она становилась светлее день ото дня...

Сегодня, когда я не могу работать, не могу думать, не могу уйти от воспоминаний, я попробую описать то, что пережил однажды ночью. Дорогой читатель, у меня сегодня на редкость тяжелый день. Идет снег, на улице ни души, все уныло, и на сердце у меня безысходная тоска. Я прошелся по улице, потом часами ходил по комнате, чтобы хоть немного успокоиться; но вот уже дело к вечеру, а мне все не лучше. В моей груди впору бы пылать огню, а я холоден и бледен, как догоревший день. Дорогой читатель, вот в таком состоянии души я попробую описать светлую и упоительную ночь. Работа успокаивает меня, — как знать, может, пройдет несколько часов, и радость вернется ко мне...

В дверь стучат, и в комнату входит Камилла Сейер, его юная невеста, с которой он тайно обручен. Юханнес откладывает перо и встает. Они улыбаются, здороваются друг с другом.

— Что же ты не спрашиваешь меня про бал? — без всяких вступлений говорит она, бросаясь на стул. — Я не пропустила ни одного танца. Бал продолжался до трех часов. Я танцевала с Ричмондом.

— Большое спасибо, что ты пришла, Камилла. Мне так горько и грустно, а ты такая веселая, наверное, это поможет мне развеяться. В каком же платье ты была на балу?

— Конечно, в красном. Господи, я ничего не помню, но, кажется, я очень много болтала и смеялась. Было так весело. Я была в красном платье, руки открыты — ну просто по самые плечи. А Ричмонд служит при посольстве в Лондоне.

— Вот как.

— Отец и мать у него англичане, но родился он здесь. Что у тебя с глазами? Они совсем красные. Ты плакал?

— Нет, — отвечает он, смеясь. — Я слишком пристально вглядывался в свои сказки, а там очень яркое солнце. Камилла, будь хорошей девочкой и перестань рвать листок бумаги, который ты и без того уже порвала.

— О Господи, я задумалась. Не сердись, Юханнес.

— Пустяки, это просто кое-какие наброски. Но постой-ка: в волосах у тебя, наверное, была роза.

— Еще бы, красная роза, почти черная. А знаешь, Юханнес, наш медовый месяц мы можем провести в Лондоне. Там вовсе не так уж плохо, как говорят. Это выдумки, будто там всегда туман.

— Откуда ты знаешь?

— От Ричмонда, он рассказывал мне об этом нынче ночью, а он-то уж знает. Ты ведь знаком с Ричмондом?

— Нет, не знаком. Когда-то он произнес тост в мою честь, у него еще были брильянтовые запонки на рубашке. Вот и все, что я помню о нем.

— Он просто прелесть. Представляешь, он подошел ко мне, поклонился и сказал: «Вы, наверное, меня не помните, фрекен!..» А знаешь, я подарила ему розу.

— Розу? Какую розу?

— Которая была у меня в волосах. Я отдала ему.

— Да ты, я вижу, влюбилась в Ричмонда.

Вся зардевшись, она стала пылко защищаться:

— Ничего подобного, ни капельки. Если человек тебе нравится и ты хорошо к нему относишься, это вовсе не значит... Фу, Юханнес, ты сошел с ума! Больше я ни разу в жизни не назову его имени.

— Господь с тобой, Камилла, я вовсе не хотел... Не думай, пожалуйста... Наоборот, я хочу поблагодарить его за то, что он тебя развлекал.

— Этого еще недоставало — попробуй только! Я никогда в жизни не скажу ему больше ни слова.

Пауза.

— Ну, ну, не будем больше говорить об этом. Ты уже уходишь?

— Да, мне пора. Как подвигается твоя работа? Мама об этом справлялась. Представь себе, я так давно не видела Викторию, а сейчас ее встретила.

— Сейчас?

— По дороге к тебе. Она мне улыбнулась. Боже, как она исхудала! Послушай, ты скоро собираешься домой?

— Да, скоро, — отвечает он, вскочив. Его лицо залилось краской. — Может, даже в ближайшие дни. Только я должен сначала кое-что дописать, я как раз придумал одну вещь, завершение моих сказок. О да, я должен, должен это написать! Вообрази себе, что ты смотришь на землю с птичьего полета — она похожа на прекрасную и диковинную папскую мантию. В ее складках бродят люди, они бродят парами, вечереет, все тихо, это час любви. Я назову свою книгу: «Из рода в род». Мне кажется, это будет грандиозная картина: я часто видел ее перед своим мысленным взором, и каждый раз мне казалось, что моя грудь разверзнется и примет в свои объятия всю землю. Вот они — люди, животные, птицы, и для каждого из них наступает час любви, Камилла. Все вокруг напоено страстным ожиданием, в глазах разгорается пламя, грудь трепещет. Землю заливает нежный румянец, стыдливый румянец всех обнаженных сердец, и ночь окрашивается этим алым румянцем. Только где-то вдали высится огромный спящий утес, он ничего не видел, ничего не слышал. А наутро Господь озаряет все вокруг лучами своего жаркого солнца. Книга будет называться: «Из рода в род».

— Вот как.

— Да. И когда я ее закончу, я приеду. Большое спасибо, что ты пришла меня проведать, Камилла. И забудь все, что я сказал. Я не имел в виду ничего дурного.

— А я и так забыла. Но я никогда больше не назову его имени. Никогда.

На другое утро Камилла приходит снова. Она бледна, взволнованна, просто сама не своя.

— Что с тобой? — спрашивает он.

— Со мной? Ничего, — торопливо отвечает она. — А люблю я *тебя*. Пожалуйста, не думай, будто со мной что-то случилось

и я тебя не люблю. Но знаешь, что я решила: в Лондон мы не поедем. Что там хорошего? Этот болтун сам не знает, что говорит, туманы там гораздо чаще, чем он уверяет. Почему ты на меня так смотришь? Я ведь не назвала его имени. Лгунишка этакий, он наврал мне с три короба. Ни в какой Лондон мы не поедем.

Юханнес смотрит на нее, вглядывается пристальней.

— Хорошо, мы не поедем в Лондон, — задумчиво произносит он.

— Вот и отлично! Значит, решено. А ты уже написал эту книгу — «Из рода в род»? Боже, как это интересно. Закончи ее поскорей, Юханнес, и приходи к нам. Час любви, так ведь ты говорил? И чудесная папская мантия со складками, и алый румянец ночи, видишь, как хорошо я помню все, что ты рассказывал. В последнее время я стала реже у тебя бывать, но теперь я буду приходить каждый день и справляться, когда ты кончишь работу.

— Я кончу скоро, — отвечает он, не сводя с нее взгляда.

— А сегодня я взяла твои книги и снесла к себе в комнату. Я хочу их перечитать, мне это ничуть не скучно, я перечитаю их с удовольствием. Послушай, Юханнес, будь так добр, проводи меня до дому, не знаю, хорошо ли мне идти одной. Не знаю, вдруг кто-нибудь ждет меня на улице, расхаживает по улице и ждет. Я почти уверена... — И вдруг она начинает плакать и, запинаясь, шепчет: — Я назвала его лгунишкой, это так гадко с моей стороны. Мне очень тяжело, что я его так назвала. Он мне не лгал, наоборот, он все время... У нас во вторник будут гости, но он не придет, а ты приходи, слышишь? Обещаешь? И все-таки я не должна была говорить о нем дурно. Я не знаю, что ты обо мне подумаешь...

Он ответил:

— Кажется, я начинаю понимать, что с тобой.

Она бросается к нему на шею, прижимается к его груди, дрожащая и растерянная.

— Но ведь тебя я тоже люблю! — восклицает она. — Поверь мне. Я люблю не только его, до этого дело не дошло. Когда в

прошлом году ты посватался ко мне, я была так счастлива, а теперь появился он. Ничего не понимаю. Неужели я такая гадкая, Юханнес? Пожалуй, я люблю его чуточку больше, чем тебя, я тут ничего не могу поделать, — это просто нахлынуло на меня. Господи, с тех пор как я его увидела, я не сплю уже много ночей и люблю его все больше и больше. Что мне делать? Ты ведь гораздо старше меня, ты должен посоветовать. Он проводил меня сюда и теперь стоит и ждет, чтобы проводить домой, и замерз, наверное. Ты меня презираешь, Юханнес? Я его не поцеловала, нет, нет, поверь мне; я только дала ему розу. Почему ты не отвечаешь, Юханнес? Ты должен сказать, что мне делать, потому что больше я так не могу.

Юханнес сидит не шевелясь и слушает. Потом говорит:

— Мне нечего тебе ответить.

— Спасибо, дорогой Юханнес, спасибо, что ты не сердишься на меня, — говорит она, отерев слезы. — Только ты знай, что тебя я тоже люблю. Боже, я теперь стану приходить к тебе гораздо чаще и буду делать все, что ты захочешь. Просто его я люблю больше. Но я не хотела этого. Я не виновата.

Он молча встал и, надев шляпу, сказал:

— Пойдем?

Они спустились по лестнице.

На улице стоял Ричмонд. Это был черноволосый молодой человек с карими глазами, в которых светились молодость и радость жизни. Щеки его разрумянились на морозе.

— Вы замерзли? — спросила Камилла, кинувшись к нему.

Голос ее звенел от волнения. Потом она метнулась назад к Юханнесу и, взяв его под руку, добавила:

— Прости, что я не спросила, не замерз ли ты. Ты ведь не надел пальто. Хочешь, я схожу за ним? Не хочешь? Ну тогда хоть застегни куртку.

И она застегнула ему куртку.

Юханнес протянул руку Ричмонду. Мысли его были далеко, словно то, что сейчас происходило, не имело к нему никакого отношения. С неопределенной улыбкой он пробормотал:

— Очень рад снова встретиться с вами.

На лице Ричмонда не было ни смущения, ни притворства. Он обрадовался Юханнесу как старому знакомому и, сняв шляпу, вежливо поклонился.

— Недавно я видел одну из ваших книг на витрине книжной лавки в Лондоне, — сказал он. — Она переведена на английский. Было так приятно увидеть ее — словно привет с родины.

Камилла шла между ними, то и дело переводя взгляд с одного на другого. Наконец она сказала:

— Так ты приходи во вторник, Юханнес. Ой, прости, что я все о своем, — добавила она со смехом. Но тут же, в раскаянии повернувшись к Ричмонду, пригласила и его. — Будут только самые близкие, Виктория с матерью тоже приглашены, а всего придет человек десять.

Юханнес вдруг остановился и сказал:

— Пожалуй, мне пора домой.

— Значит, до вторника, — ответила Камилла.

Ричмонд схватил руку Юханнеса и с чувством ее пожал.

И счастливые молодые люди продолжали свой путь вдвоем.

XII

Женщина в голубом платье вне себя от волнения, каждую минуту она ждет из сада условленного сигнала, а в дом войти нельзя, пока не ушел ее муж. Ах, уж этот муж, этот муж, сорокалетний, да вдобавок плешивый! Какая зловещая мысль согнала нынче вечером краску с его щек и пригвоздила к стулу, на котором он сидит, сидит неподвижно, упорно, уткнувшись в газету?

Она места себе не может найти — вот пробило одиннадцать. Детей она уже давно отослала спать, а муж все не уходит. Что, если раздастся условленный сигнал, заветный ключик откроет дверь — и мужчины столкнутся лицом к лицу и глянут друг другу в глаза! Она не смела додумать эту мысль до конца.

Забившись в самый темный угол комнаты, она ломала себе руки и, наконец, не выдержав, сказала:

— Уже одиннадцать часов. Если ты собираешься в клуб, тебе пора.

Муж сразу же вскочил, побледнев еще сильнее, и вышел из комнаты, вышел из дому.

За оградой сада он остановился и услышал тихий свист. Заскрипели шаги по гравию, в садовую калитку вставили ключ, повернули, а немного погодя на занавесях в гостиной появились две тени.

И свист, и шаги, и две тени на занавесях — все было ему давно знакомо.

Он отправился в клуб. Клуб открыт, в окнах горит свет; но он не заходит. Полчаса расхаживает он по улицам и вдоль своего сада, бесконечные полчаса. «Подожду еще немного!» — думает он и тянет еще четверть часа. Наконец он входит в сад, поднимается по лестнице и звонит в дверь собственного дома.

Служанка приоткрыла дверь и, выглянув в щелку, сказала:

— Хозяйка уже давно...

Но тут она осеклась, увидев, кто стоит перед ней.

— Легла, разумеется, — подхватил хозяин. — Передайте, пожалуйста, хозяйке, что ее муж вернулся домой.

Девушка уходит. Она стучит к хозяйке и говорит через закрытую дверь:

— Меня просили передать, что хозяин вернулся домой.

Хозяйка спрашивает из-за двери:

— Что ты сказала: хозяин вернулся? Кто просил передать?

— Сам хозяин. Он стоит на площадке.

Из комнаты хозяйки слышится беспомощный крик; потом торопливый шепот, дверь открылась и захлопнулась, потом все стихло.

Хозяин вошел в дом. Жена встретила его ни жива ни мертва.

— Клуб был закрыт, — поспешно объяснил он из жалости. — Я предупредил служанку, чтобы не напугать тебя.

Она рухнула на стул — она успокоилась, она счастлива, она спасена. В этом блаженном состоянии духа доброта взяла в ней верх, и она спросила мужа, как он себя чувствует:

— Ты так бледен. Тебе нездоровится, милый?

— Я не болен, — ответил он.

— Может, что-нибудь случилось? Ты как-то странно кривишь лицо.

Муж ответил:

— Это я улыбаюсь. Такая у меня улыбка. Отныне я хочу улыбаться на свой особый лад.

Она вслушивается в отрывистые, хриплые слова и не может понять их смысла. Что он хочет сказать?

И вдруг он сжимает ее в объятьях, как в тисках, с чудовищной силой и шепчет ей прямо в лицо:

— А что, если мы наставим рога ему... тому, кто ушел... что, если мы наставим ему рога?

Она вскрикивает и зовет горничную. С коротким сухим смешком он выпускает жену и, широко разинув рот, хлопает себя по ляжкам.

Наутро доброе сердце опять побеждает в женщине, и она говорит мужу:

— Вчера вечером у тебя был странный припадок, я вижу, он прошел, но ты все еще бледен.

— Да, — отвечает он. — В моем возрасте потуги на остроумие обходятся дорого. Я никогда больше не буду острить.

О самой разной любви рассказал монах Венд, а потом поведал еще об одной и добавил:

— Упоительней этой любви нет ничего на свете!

Новобрачные возвратились домой, долгое свадебное путешествие пришло к концу, и вот они зажили вдвоем.

Падучая звезда скатилась по небу над крышей их дома.

Летом молодые люди гуляли, тесно прижавшись друг к другу. Они собирали желтые, красные и голубые цветы и дарили их друг другу, они смотрели, как трава колеблется на ветру, слушали, как в лесу поют птицы, и в каждом их слове была ласка. А зимой они катались на санях с колокольчиками, и небо было синее, а далеко в вышине по вечным просторам проносились звезды.

Так прошло много, много лет. У молодой четы родилось трое детей, но сердца их по-прежнему принадлежали друг другу, как в день первого поцелуя.

И вот муж захворал, болезнь надолго приковала гордого человека к постели и подвергла суровому испытанию терпение его жены. А когда он наконец выздоровел и встал с постели, он не узнал себя: болезнь обезобразила его, у него выпали все волосы.

Горькие мысли одолели его. И однажды он сказал жене:

— Ты, верно, меня больше не любишь?

Но жена залилась румянцем, обвила его шею руками и, поцеловав с той же страстью, что в дни их весны, ответила:

— Я люблю тебя, люблю, как прежде. Я никогда не забуду, что твой выбор пал на меня, а не на другую, и ты мне подарил счастье.

И она пошла в свою комнату и остригла свои белокурые локоны, чтобы быть похожей на мужа, которого она любила.

И снова прошло много, много лет, молодая чета состарилась, а дети их стали взрослыми. Как прежде, супруги делили друг с другом все радости; летом они бродили по полям и смотрели, как колышется трава, а зимой, закутавшись в шубы, катались на санях под звездным небом. И сердца их были все так же пылки и счастливы, точно они испили волшебного вина.

Но вот жену разбил паралич. Старая женщина больше не могла ходить, ее приходилось возить в кресле на колесах, и это делал муж. Она невыразимо страдала от своего недуга, и горе провело на ее лице глубокие морщины.

Однажды она сказала:

— Лучше бы мне умереть. Я жалка, я безобразна, а твое лицо прекрасно. Ты не можешь меня целовать и не можешь любить меня, как прежде.

Но муж, вспыхнув от волнения, обнял ее и сказал:

— Нет, мое счастье, я люблю тебя больше жизни, люблю, как в первый день, как в первый миг, когда ты подарила мне розу. Ты помнишь? Ты протянула мне розу и посмотрела на меня своими прекрасными глазами; роза благоухала так же, как ты, а ты покраснела так же, как она, и я был опьянен тобою. Но теперь я

люблю тебя еще больше, ты прекраснее, чем в дни нашей молодости, и я всем сердцем благодарю и благословляю тебя за каждый день, что ты была со мной.

И он пошел в свою комнату и плеснул себе в лицо серной кислотой, чтобы изуродовать себя, а потом сказал жене:

— По несчастью, мне брызнула в лицо серная кислота, мои щеки в ожогах, теперь ты, наверное, разлюбишь меня.

— О мой жених, мой возлюбленный! — прошептала старая женщина, целуя ему руки. — Ты прекраснее всех на земле, мое сердце и сегодня трепещет от звуков твоего голоса, и я буду любить тебя до самой смерти.

XIII

Юханнес встретил на улице Камиллу; она была с матерью, отцом и молодым Ричмондом; остановив карету, они приветливо окликнули Юханнеса.

Камилла схватила его за руку и сказала:

— Ты не пришел к нам. А знаешь, какой у нас был бал! Тебя ждали до последней минуты, а ты не пришел.

— Я был занят, — ответил он.

— Не сердись, что я с тех пор не навестила тебя, — продолжала она. — Я непременно зайду в самые ближайшие дни, вот только Ричмонд уедет. Ах, какой у нас был бал! Виктории стало дурно, ее увезли домой, ты слыхал об этом? На днях я ее навещу. Наверное, ей уже лучше, а скорее всего она совсем поправилась. Я подарила Ричмонду медальон, почти в точности такой, как твой. Послушай, Юханнес, дай мне слово, что будешь следить за печкой в своей комнате. Когда ты пишешь, ты обо всем забываешь, и у тебя холодно, как в погребе. Ты должен вызывать горничную.

— Хорошо, я буду вызывать горничную, — ответил он.

Фру Сейер тоже обратилась к Юханнесу, расспрашивая о работе. Как подвигается «Из рода в род»? Она с нетерпением ждет его очередной книги.

Юханнес вежливо ответил на все вопросы и низко поклонился. Карета тронулась. Что ему за дело до всего этого — до этой кареты, до этих людей, до этой болтовни! На душе у него вдруг стало пусто и холодно, и это чувство не покидало его до самого дома. На улице у его дверей прохаживался человек. Это был старый знакомый Юханнеса, бывший учитель из Замка.

Юханнес поздоровался с ним.

Учитель был одет в теплое, длинное, аккуратно вычищенное пальто, и вид у него был решительный и молодцеватый.

— Перед вами ваш друг и коллега, — объявил он. — Дайте мне руку, молодой человек. Последнее время Господь Бог вел меня неисповедимыми путями — я обзавелся семьей, у меня дом, маленький садик, жена. На свете еще случаются чудеса. Что вы можете возразить на это?

Юханнес с изумлением посмотрел на учителя.

— Стало быть, ничего? Так вот, понимаете, я давал уроки ее сыну. У нее сын от первого брака, она была замужем, само собой, она вдова. Итак, я женился на вдове. Вы вправе заметить, что не это пророчили мне в колыбели, и, однако, я женился на вдове. Наш отпрыск, стало быть, прижит ею в первом браке. Ну, словом, ходил я туда, поглядывал на сад, на вдову и предавался длительным раздумьям на сию тему. И вдруг на тебе — все это предлагают мне. «Н-да, не это пророчили тебе в колыбели», — говорю я себе, — и прочее в этом же духе, и, однако, решаюсь, даю свое согласие, ибо, кто знает, может, именно это и было написано мне на роду. Так вот оно и вышло.

— Поздравляю, — сказал Юханнес.

— Стоп! Ни слова более! Я знаю, что вы намерены сказать. А как же та, первая, намерены вы сказать, неужели вы забыли вечную любовь своей юности? Именно это вы и хотели сказать. Но позвольте и мне, в свою очередь, спросить вас, высокочтимый друг, что сталось с моей первой и единственной любовью? Разве она не вышла за артиллерийского капитана? И еще один маленький вопрос: случалось ли вам хоть однажды, хоть однажды в жизни видеть, чтобы мужчина получил в жены ту, которую хотел? Мне не случалось. Слышал я рассказ об одном че-

ловеке, Господь внял его мольбам и дал ему в жены его первую и единственную любовь. Но добром это не кончилось. Почему? — спросите вы снова, и я вам отвечу: — По той простой причине, что она вскоре умерла — *вскоре,* поняли, ха-ха-ха! И ведь так всегда. Никто не получает в жены ту, которую хотел, а уж если свершится чудо и он ее все-таки получит, она тотчас умирает. Вот какую злую шутку играет с нами судьба. И человек вынужден искать себе другую любовь, и уж тут старается не прогадать. Не умирать же ему от этой замены. Уверяю вас, так устроено природой — люди могут вытерпеть и не такое. Взять хотя бы меня.

Юханнес сказал:

— Я вижу, вы довольны жизнью.

— Вполне, насколько это возможно. Внемлите, зрите, осязайте! Разве безбрежное море тяжелых забот оставило след на моей особе? Я обут, одет, у меня есть дом и кров, супруга и дети — я имею в виду отпрыска. Вот это я и хотел сказать. А что до моих стихов, я вам отвечу без обиняков. О, мой юный коллега, я старше вас и, пожалуй, несколько щедрее одарен природой. И однако, мои стихи лежат в ящике письменного стола. Они будут изданы после моей смерти. «Стало быть, вам от них никакого проку», — скажете вы. И снова ошибетесь, ибо в настоящее время я услаждаю ими свою семью. Вечерами, при свете лампы, я открываю ящик стола, достаю свои стихи и читаю их вслух жене и отпрыску. Ей сорок лет, ему двенадцать, оба в восторге. Кстати, если вы при случае заглянете к нам, вас угостят ужином и грогом. Считайте, что вы приглашены. Да хранит вас Бог.

Он протянул Юханнесу руку. И вдруг спросил:

— А про Викторию слыхали?

— Про Викторию? Нет. То есть я слышал только, что...

— Неужели вы не замечали, как она тает, и тени у нее под глазами становятся все черней?

— Я не видел ее с прошлой весны. Разве она все еще больна?

— Да, — ответил учитель с неожиданной решимостью и притопнул ногой.

— Мне только недавно сказали... Нет, я не видел, что она тает, я не встречал ее. И что же, она опасно больна?

— Очень. Может быть, она уже умерла. Понимаете?

Юханнес растерянно посмотрел на учителя, на свою дверь, словно не зная, уйти ему или остаться, опять на учителя, на его длиннополое пальто, на его шляпу: потом улыбнулся жалкой, страдальческой улыбкой, как человек, врасплох застигнутый бедой.

А старый учитель продолжал угрожающим тоном:

— Еще один пример, попробуйте это отрицать. Она тоже не вышла за того, за кого хотела, за того, кто был ее суженым, можно сказать, с детских лет, за молодого, прекрасного лейтенанта. Однажды вечером он отправился на охоту, шальная пуля угодила ему в лоб — и череп разлетелся на куски. И вот он лежит бездыханный — жертва шутки, которую Господу Богу было угодно с ним сыграть. Виктория, его невеста, начинает таять, змея гложет и точит ее сердце, и все это на глазах у нас, ее друзей. А несколько дней назад она отправляется в гости к неким Сейерам. Кстати, она говорила мне, что и вас там ждали, но вы не пришли. Так вот на том балу она ни минуты не сидела на месте, воспоминания о женихе вдруг нахлынули на нее, и она, наперекор всему, оживилась и танцевала весь вечер напролет, танцевала словно одержимая. А потом упала, пол возле нее окрасился кровью, ее подняли, унесли, отправили в экипаже домой. Она протянула недолго. — Учитель подошел вплотную к Юханнесу и решительно сказал: — Виктория умерла.

Юханнес, как слепой, начал шарить перед собой руками.

— Умерла? Когда? Не может быть! Виктория умерла?

— Умерла, — ответил учитель. — Умерла сегодня утром, вернее, в полдень. — Он сунул руку в карман и вытащил толстый конверт. — А это письмо она просила передать вам. Вот оно. «Когда я умру», — сказала она. Она умерла. Я вручаю вам письмо. Моя миссия окончена.

И, не прощаясь, не сказав больше ни слова, учитель повернулся, неторопливо зашагал вниз по улице и исчез.

А Юханнес остался стоять с письмом в руке. Виктория умерла. Он снова и снова громко произносил ее имя ничего не выражающим, тусклым голосом. Он посмотрел на письмо — знакомый почерк; большие и маленькие буквы, и строчки ровные, а та, что написала их, умерла!

Он вошел в парадное, поднялся по лестнице, отыскал в связке нужный ключ и отпер дверь. В комнате было темно и холодно. Он сел у окна и в свете догорающего дня стал читать письмо Виктории.

«Дорогой Юханнес, — писала она. — Когда вы будете читать это письмо, меня уже не будет в живых! Как странно — я вас больше не стыжусь и пишу вам снова, будто между нами нет никаких преград. Прежде, когда я была здорова, я скорей согласилась бы страдать все дни и ночи, чем написать вам еще раз; но теперь жизнь покидает меня, и все изменилось. Чужие люди видели, как у меня пошла горлом кровь, врач осмотрел меня и сказал, что у меня осталась только часть одного легкого, чего же мне теперь стыдиться.

Я лежу в постели и думаю о последних словах, которые сказала вам. Это было вечером в лесу. Тогда я не знала, что это мои последние слова, обращенные к вам, не то я простилась бы с вами и поблагодарила бы вас. А теперь я вас больше не увижу и горько сожалею, что не бросилась тогда перед вами на колени, не поцеловала ваши ноги и землю, по которой вы ступали, и не сказала вам, как безгранично я любила вас. Я лежала здесь и вчера и сегодня и все мечтала хоть немного окрепнуть, чтобы снова вернуться домой, пойти в лес и отыскать то место, где мы сидели с вами, когда вы держали мои руки в своих; тогда я могла бы лечь на землю, отыскать на ней ваши следы и покрыть поцелуями вереск. Но я не вернусь домой, если только мне не станет чуточку получше, как надеется мама.

Дорогой Юханнес! Мне так трудно привыкнуть к мысли, что вся моя земная доля была — родиться и любить вас, и вот я уже прощаюсь с жизнью. Очень странно лежать здесь и ждать своего дня и часа. Шаг за шагом я ухожу от жизни, от людей, от улич-

ной суеты; и весны я уже больше никогда не увижу, а все эти дома, улицы, деревья в парке будут жить как ни в чем не бывало. Сегодня мне разрешили недолго посидеть в кровати и посмотреть в окно. На углу встретились двое, они поздоровались, взялись за руки, о чем-то говорили между собой и смеялись, а мне было так странно, что вот я лежу, и вижу это, и должна умереть. Я подумала: эти двое внизу не знают, что я лежу и жду своего смертного часа, но, если бы даже знали, они все равно поздоровались бы друг с другом и так же весело болтали. Вчера ночью, когда было совсем темно, мне почудилось, что мой последний час уже пробил, сердце вдруг остановилось, и мне показалось, будто я слышу издали шепот вечности. Но в следующую минуту я очнулась, ко мне вновь вернулось дыхание. Это чувство невозможно описать. Мама думает, что мне просто вспомнился шум реки и водопада у нас дома.

Господи Боже мой, вы должны знать, как я любила вас, Юханнес! Я не могла вам это показать, многое мешало мне и больше всего — мой собственный характер. Папа тоже бывал жесток к самому себе, а я его дочь. Но теперь, когда я умираю и ничего уже не поправишь, я пишу, чтобы сказать вам это. Я сама удивляюсь, зачем я это делаю, ведь вам все равно, особенно теперь, когда меня не станет; но все-таки мне хочется быть с вами рядом до последней минуты, чтобы хоть не чувствовать себя более одинокой, чем прежде. Я словно вижу, как вы читаете мое письмо, вижу все ваши движения, ваши плечи, ваши руки, вижу, как вы держите письмо перед собой и читаете. И вот уже мы не так далеки друг от друга, думаю я. Я не могу послать за вами, на это у меня нет права. Мама еще два дня назад хотела послать за вами, но я решила лучше написать. И к тому же я хочу, чтобы вы помнили меня такой, какой я была прежде, пока не заболела. Я помню, что вы... (тут несколько слов было зачеркнуто)... мои глаза и брови; но и они не такие, как прежде. Вот и поэтому мне не хочется, чтобы вы приходили. И еще я прошу вас — не смотрите на меня в гробу. Наверное, я не так уж сильно изменюсь, только стану бледнее, и на мне будет желтое платье, и все же вам будет тяжело, если вы придете посмотреть на меня.

Много раз я принималась за это письмо и все-таки не сказала вам и тысячной доли того, что хотела. Мне так страшно, я не хочу умирать, в глубине души я все еще уповаю на Бога, вдруг мне станет немного лучше, и я проживу хотя бы до весны. Тогда дни станут светлее и на деревьях распустятся листья. Если я выздоровею, я никогда больше не буду поступать с вами дурно, Юханнес. Сколько слез я пролила, думая об этом! Ах, как мне хотелось выйти на улицу, погладить камни мостовой, постоять возле каждого крыльца и поблагодарить каждую ступеньку, и быть доброй со всеми. А мне самой пусть будет как угодно плохо — только бы жить. Я никогда не проронила бы ни одной жалобы и, если бы кто-нибудь ударил меня, улыбалась бы, и благодарила, и славила Бога, только бы жить. Ведь я еще совсем не жила, я ничего ни для кого не сделала, и эта непрожитая жизнь с минуты на минуту должна оборваться. Если бы вы знали, как мне тяжело умирать, может, вы сделали бы что-нибудь, сделали бы все, что в ваших силах. Конечно, вы ничего не можете сделать, но я подумала: а что, если бы вы и все люди на земле помолились за меня, чтобы Господь продлил мою жизнь, и Господь внял бы вашей молитве? О, как бы я была благодарна, я никому никогда не причинила бы больше зла и с улыбкой приняла бы все, что выпадет мне на долю, — только бы жить.

Мама сидит возле меня и плачет. Она просидела здесь целую ночь и все оплакивала меня. Это немного утешает меня, смягчает горечь разлуки. И еще я сегодня думала: а что бы вы сделали, если бы в один прекрасный день я надела нарядное платье и подошла бы к вам прямо на улице, но не для того, чтобы сказать вам что-то обидное, а чтобы протянуть вам розу, которую я купила бы заранее. Но потом я сразу же вспомнила, что никогда больше не смогу поступать так, как мне хочется, потому что теперь уж мне не станет лучше, пока я не умру. Я теперь часто плачу, лежу и плачу, долго и безутешно. Если не всхлипывать, то в груди не больно. Юханнес, милый, милый друг, мой единственный возлюбленный на земле, приди ко мне и побудь со мною, когда начнет темнеть. Я не буду плакать, я буду улыбаться изо всех моих сил от счастья, что ты пришел.

Но где же моя гордость, где мое мужество! Я больше не дочь своего отца; это все оттого, что у меня совсем не осталось сил. Я долго страдала, Юханнес, еще задолго до этих последних дней. Я страдала, когда вы уезжали за границу, а с тех пор, как весной мы переехали в город, каждый день был для меня неизбывной мукой. Раньше я никогда не знала, как бесконечно долго может тянуться ночь. За это время я два раза видела вас на улице; однажды вы, напевая, прошли мимо, но меня не заметили. Я надеялась встретить вас у Сейеров, но вы не пришли. Я не заговорила бы с вами, не подошла бы к вам, я была бы благодарна вам за то, что мне посчастливилось увидеть вас хоть издали. Но вы не пришли. Я подумала, что, может быть, вы не пришли из-за меня. В одиннадцать часов я начала танцевать, потому что не в силах была ждать дольше. Да, Юханнес, я любила вас, любила только вас всю свою жизнь. Это пишет вам Виктория, и Бог за моей спиной читает эти слова.

А теперь я должна проститься с вами, стало почти совсем темно, я ничего не вижу. Прощайте, Юханнес, благодарю вас за каждый прожитый мною день. Отлетая от земли, я до последней секунды буду благодарить вас и весь долгий путь шептать про себя ваше имя. Будьте счастливы и простите мне зло, которое я вам причинила, и то, что я не успела пасть перед вами на колени и вымолить у вас прощение. Я делаю это сейчас в сердце своем. Будьте же счастливы, Юханнес, и прощайте навеки. Еще раз спасибо за все, за все, за каждый день и час. Больше нет сил.

Ваша *Виктория*.

Зажгли лампу, и стало гораздо светлее. Я снова была в забытьи и унеслась далеко от земли. Слава Богу, на этот раз мне было не так страшно, как прежде, я даже слышала тихую музыку, а главное — не было темно. Как я благодарна. Силы оставляют меня. Прощай, мой любимый...»

ПЛОДЫ ЗЕМЛИ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

Длинная, длинная тропинка стелется по болотам и уходит в леса — кто проложил ее? Мужчина, первый попавший сюда человек. До него здесь тропинки не было. Потом, одно за другим, прошли по неясным следам на мочажинах и болотах животные, и следы стали отчетливее, а там, один за другим, пронюхали о тропинке лопари и стали ходить по ней, когда им нужно было перебраться с горы на гору, чтоб проведать своих оленей. Так и образовалась тропинка чрез обширную пустошь, никому не принадлежавшую, бесхозяйную землю.

Человек идет на север. Он несет мешок, в нем съестные припасы да кое-какие инструменты. Человек крепок и груб, у него рыжая, жесткая, словно железная, борода и мелкие рубцы на лице и руках; где он заполучил эти шрамы — на работе или в бою? Может быть, он бежал от наказания и скрывается, может быть, он философ, ищет покоя и тишины, но как бы то ни было, он идет — человек среди этой огромной пустыни! Он все идет и идет, вокруг не слышно ни птиц, ни зверей, изредка бормочет он про себя какое-нибудь слово; «О-ох, Господи!» — говорит он. Миновав болота и выйдя на приветливую открытую полянку в лесу, он опускает на землю мешок и принимается бродить кругом, исследуя местность, немного погодя возвращается, вскидывает мешок на спину и идет дальше. Так продолжается весь день, он следит время по солнцу, спускается ночь, и он бросается в вереск, положив под голову руку.

Проходит несколько часов, и он снова отправляется в дорогу. «О-ох, Господи!» — он идет прямо на север, следит время по

солнцу, закусывает сухой лепешкой с козьим сыром, пьет воду из ручья и продолжает свой путь. И этот день тоже уходит на странствие, потому что в лесу много уютных полянок и все их надо исследовать. Чего он ищет? Места, земли? Должно быть, он выходец из города, глаза у него начеку, и он внимательно глядит вокруг, иногда взбирается на пригорок и что-то высматривает. Вот и опять садится солнце.

Он шагает по западному склону длинной балки, поросшей смешанным лесом, здесь и лиственный лес, и луговинки, так тянется часами, темнеет, но вот он слышит тихое журчанье речки, и это слабое журчанье подбадривает его, как присутствие чего-то живого. Поднявшись на возвышенность, он видит внизу погруженную в сумерки долину, а дальше к югу — небо. Он укладывается спать.

Утром перед ним расстилается вольный ландшафт: лес и луговина, — он спускается в дол по зеленому откосу, далеко внизу видит излучину речки и зайца, который одним махом перескакивает через нее. Человек кивает головой, будто так и нужно, чтобы речка была не шире заячьего прыжка. Сидевшая на яйцах куропатка внезапно срывается у него из-под ног и сердито клохчет, человек снова кивает, оттого, что здесь есть звери и птицы — это тоже хорошо! Он бродит по чернике и бруснике, по зубчатолистым кустикам седмичника и мелким папоротникам; останавливается то тут, то там, ковыряет железкой землю и находит в одном месте чернозем, в другом — болото, удобренное многовековым листопадом и древесным перегноем. Человек кивает головой: здесь он поселится, да, так он и сделает, поселится здесь! Два дня ходит он по окрестностям, но вечерами возвращается к тому же откосу. Ночи спит на подстилке из лапника; он уже так освоился здесь, что даже устроил себе постель из лапника под выступом горы.

Самое трудное было найти место, не чье-нибудь, но его; и теперь дни стали заполняться работой. Он принялся срезать бересту в окрестных лесах, пока в деревьях еще бродил сок, клал бересту под гнет и сушил, а когда накапливалась большая куча, относил в село за много миль и продавал на постройки. Домой

же, к откосу, приносил новые мешки с припасами и инструментом, муку, свинину, котел, лопату, ходил по тропинке туда и обратно, и все носил и носил. Прирожденный носильщик, он сновал по лесу, как паром между берегами; казалось, ему нравится выпавший на его долю жребий: много ходить и много носить, будто без ноши на спине жизнь была ленива и совсем ему не по душе.

Однажды он пришел, как всегда, с тяжелой ношей и, кроме того, притащил на веревке двух коз и молодого козла. Он радовался, глядя на своих коз, словно то были коровы, и ласкал их. Проходил мимо первый чужой человек, бродячий лопарь, увидел коз и понял, что попал к человеку, осевшему здесь.

— Ты насовсем тут останешься? — сказал он.

— Да, — ответил человек.

— Как тебя зовут?

— Исаак. Нет ли среди твоих знакомых работницы для меня?

— Нет. Но я поговорю там, куда иду.

— Поговори! Скажи, что у меня есть скотина, а ходить за ней некому.

Стало быть, Исаак; лопарь скажет и это, поселенец не беглый, он назвал свое имя. Он — беглый? Так его мигом бы отыскали. Он просто неутомимый работник, запасал на зиму корм для своих коз, начал расчищать землю, разделывать поля, оттаскивал камни, складывал из камней ограду. К осени он смастерил себе жилье, землянку из дерна, она была теплая, не пропускала воду, она выдержит бурю и не сгорит в огне. Он может войти в это жилище, затворить дверь и сидеть там у себя, может стоять полновластным хозяином на пороге, когда кто-нибудь проходит мимо. Землянка разделена на две половины, в одном конце жил он сам, в другом — скотина, в глубине, под выступом скалы, он устроил сеновал. Все было под рукой.

Идут мимо еще двое лопарей, отец с сыном, они останавливаются, опершись обеими руками на свои длинные посохи, и смотрят на землянку, на расчищенное место, слышат козьи колокольчики на косогоре.

— Здравствуй, — говорят они, — видать, знатные люди пожаловали в эти края! — Лопари ведь всегда льстят.

— Не знаете ли вы работницы для меня? — отвечает Исаак. У него только одно это на уме.

— Работницы? Нет. Но мы поговорим.

— Будьте так добры! Скажите, что у меня есть дом, и земля, и скотина, но нет работницы, так и скажите.

Он и сам искал работницу всякий раз, когда относил в село бересту, но так и не нашел. Одна вдова да две пожилые девицы посмотрели на него, а пойти с ним не решились; отчего так вышло, Исаак не понимал. Неужели не понимал? Кому охота служить у одинокого мужчины в дальних местах, за много верст от людей, в целом дне пути от ближайшего жилья! Да и сам мужчина-то вовсе не отличался красотой или приятностью, совсем даже наоборот, а уж когда говорить начинал, то совсем не походил на тенора с возведенными к небесам глазами, а был звероват и груб голосом.

Приходилось, значит, оставаться одному.

Зимой он мастерил большие деревянные корыта, продавал их в селе и носил домой, в снег и вьюгу, мешки с едой и всяким инструментом; трудные были дни, он чуть ли не примерзал к ноше. Так как он держал скотину и ходил за нею сам, то оставлять ее надолго он не мог — и что же он тогда придумал? Голь на выдумку хитра, ум у Исаака был сильный и свежий, он упражнял его все больше и больше. Во-первых, перед уходом из дому он выпускал коз на волю, чтоб они подкормились ветками в лесу. Но придумал и другое: вешал у реки большую деревянную посудину так, что вода, капая по капле, наполняла ее за четырнадцать часов. Полная до краев, посудина под тяжестью воды опускалась, а при этом тянула веревку, соединенную с сеновалом, там открывался люк, и падали три вязки сена: животные получали корм.

Вот как он действовал.

Остроумная выдумка, прямо-таки Божье внушение, и человек выпутался из беды. Все шло хорошо до поздней осени, но вот выпал снег, потом зарядил дождь, и опять пошел снег, снег шел не переставая, механизм стал давать сбой, посудина наполнялась талым снегом, и люк открывался прежде времени. Че-

ловек прикрыл посудину, некоторое время все опять было ладно, но когда наступила зима, водная капель замерзла, и приспособление перестало работать.

Тогда козам, как и самому человеку, пришлось обходиться без еды.

Тяжелые дни, человеку надо бы иметь помощника, но помощника не было, и все-таки он не растерялся. Продолжал работать и обустраивать свой дом, прорезал в землянке окно, вставил два стекла, в его жизни это был замечательный и радостный день — не надо зажигать очаг, и так все видно, можно сидеть в доме и мастерить деревянные корыта при дневном свете. Все шло к лучшему, ох, Господи! Он никогда не молился по молитвеннику, но мыслями часто обращался к Богу, без этого никак нельзя было обойтись. Звездное небо, шелест в лесу, одиночество, глубокие снега, земные и горние силы — все это по многу раз на дню возбуждало в нем глубокие и набожные мысли; он был грешен и богобоязнен, по воскресеньям умывался в честь праздника, но трудился, как и всегда по будням.

Пришла весна, он обработал свой маленький участок и посадил картошку. Скота прибавилось, обе козы принесли по паре козлят, с взрослыми и молодняком стало у него семь коз. Он расширил хлев с запасом на будущее и вставил окно на две створки. Становилось светлее и лучше во всех смыслах.

И вот однажды явилась помощница. Она долго бродила взад-вперед по косогору, не отваживаясь подойти; уже завечерело, когда она насмелилась, пришла все-таки — крупная, кареглазая, дородная и сильная, с большими руками, в лопарских комагах, хотя и не лопарка, и с мешком из телячьей кожи за спиной. На вид, пожалуй, в летах, этак, не в обиду будь сказано, под тридцать.

Чего ей было бояться? Она поклонилась и торопливо промолвила:

— Мне надо за перевал, оттого я и пошла этой дорогой.

— А-а, — сказал мужчина. Он не все понял, она говорила невнятно и вдобавок отворачивала лицо.

— Да, — сказала она. — А путь страсть какой дальний!

— Верно, — ответил он. — Так ты за перевал?

— Да.

— Зачем тебе туда?

— У меня там родня.

— Вот как, у тебя там родня. Как тебя зовут?

— Ингер. А тебя?

— Исаак.

— Вот как, Исаак. Значит, ты здесь живешь?

— Да, здесь вот и живу, сама видишь.

— Пожалуй, тут не плохо, — сказала она одобрительно.

Он был малый не промах и живо смекнул, что пришла она по чьему-нибудь сказу, пожалуй, вышла из дому третьего дня и прямехонько сюда. Может, прослышала, что ему нужна работница.

— Зайди, дай отдых ногам, — сказал он.

Они вошли в землянку, поели ее припасов и попили его козьего молока; потом она сварила кофе, который принесла с собой в склянке. И перед сном они угостились кофе. Он лег, а ночью в нем вспыхнуло желанье, и он взял ее.

Утром она не ушла, не ушла и днем, суетилась по двору, подоила коз, вычистила мелким песком кастрюли и навела в доме чистоту. Она так и не ушла. Ее звали Ингер. Его звали Исаак.

И вот началась для одинокого мужчины новая жизнь.

Правда, жена его говорила невнятно и упорно отворачивалась от людей, стесняясь своей заячьей губы, но не ему на это жаловаться. Не будь этого обезображенного рта, она бы, верно, никогда не пришла к нему, заячья губа была его счастьем. А сам-то он разве уж совсем без порока? Бородатый, коренастый, Исаак походил на страшный мельничный жернов, а мимо окна носился ровно смерч. И у кого еще была такая строгость в лице! Того и гляди рассвирепеет, что твой Варавва. Хорошо, что Ингер от него не убежала.

Она не убежала. Когда он уходил и возвращался домой, Ингер встречала его у землянки, обе составляли одно — землянка и она.

Ему прибавилось заботы о лишнем человеке, но забота оправдывалась: он мог больше бывать вне дома, больше ходить по

округе. Во-первых, рядом была река, отличная река, мало того что красивая с виду, так еще глубокая и быстрая, не какая-нибудь маленькая речонка, текла она, должно быть, из большого озера в горах. Он добыл рыболовные снасти, обследовал реку вверх по теченью и однажды вечером вернулся домой с ведром гольцов и горных форелей. Ингер встретила его с изумлением, она была поражена, не знала, что и подумать, она всплеснула руками и сказала:

— Господи Боже милостивый! Ну уж и ты! — Она отлично заметила, что ему нравятся ее похвалы и он гордится ими, а потому прибавила еще несколько лестных слов: мол, никогда она ничего подобного не видала. И как это он умудрился!

И в других отношениях Ингер была тоже хоть куда. Правда, ума в голове у нее не бог весть сколько, однако ж у кого-то из родных остались две ее овцы с ягнятами, и она привела их. Сейчас это было самое что ни на есть нужное в землянке — овцы с шерстью и ягнятами, целых четыре штуки; скота становилось все больше и больше, вот уж поистине задачка, и диво, до чего быстро он рос в числе! В другой раз Ингер принесла кое-что из платья и всякой мелочи: зеркало, нитку красивых стеклянных бус, чесалки для шерсти и прялку. Ну, если этак и дальше пойдет, скоро вся землянка будет набита от пола до потолка, им самим места не хватит! Исаак, ясное дело, радовался этим земным благам, но, по своей обычной молчаливости, был и на этот раз скуп на слова; шмыгнул к порогу, глянул, какова погода, и шмыгнул обратно. Да, можно сказать, ему здорово повезло, и он чувствовал все большую и большую влюбленность, влечение, или как это там ни назвать.

— Довольно уж тебе хлопотать! — сказал он.

— У меня в одном месте осталось еще больше этого. А еще у меня есть дядя Сиверт, слыхал про него?

— Нет.

— А он богач. Общинный казначей в нашем селе.

От любви умный глупеет — Исааку захотелось на свой лад сделать ей что-нибудь приятное, и он явно перестарался.

— Вот что я тебе скажу, — сказал он, — не ходи-ка ты окучивать картошку. Я сам займусь этим вечером, как приду домой.

С этими словами он взял топор и ушел в лес.

Она слышала удары его топора в лесу, совсем недалеко от дома, и по треску догадывалась, что он валит крупные деревья. Послушав некоторое время, она пошла на поле и принялась окучивать картошку. Глупый от любви умнеет.

Вечером он вернулся, волоча за собой на веревке огромное бревно. Грубый и простодушный, Исаак шумно возился с бревном, топотал и кашлял, лишь бы она вышла и подивилась на него.

— Да ты совсем спятил! — и в самом деле воскликнула она, идя ему навстречу. — Человек ты или нет?!

Он не ответил. Чего там! Невелика штука справиться с бревном, стоит ли и говорить об этом!

— А на что тебе эта лесина? — спросила она.

— Да и сам не знаю, — небрежно ответил он.

И тут он увидел, что она уже успела окучить картошку и, стало быть, в усердии почти сравнялась с ним. Это ему не понравилось, он отвязал веревку от бревна и пошел с ней куда-то.

— Опять уходишь? — спросила она.

— Да, — сердито ответил он.

Он вернулся со вторым бревном, но на этот раз не пыхтел и не шумел, а подтащил его, как вол, к землянке и положил на землю.

За лето он перетаскал к землянке много бревен.

II

Однажды Ингер опять собрала припасов в свою телячью сумку и сказала:

— Пойду проведать своих.

— А-а, — молвил Исаак.

— Да, надо потолковать с ними кое о чем.

Исаак не сразу пошел проводить ее, а порядочно помедлил. Когда же он наконец вышел за дверь, отнюдь не выдавая своим видом любопытства и тяжелых предчувствий, Ингер уже едва виднелась на опушке леса.

— А ты вернешься? — крикнул он, не в силах совладать с собою.

— Неужто не вернусь! — отозвалась она. — Придумаешь тоже!

— А-а.

И вот он опять остался один, о-ох, Господи! Не ему, полному сил и жадному на работу, расхаживать по землянке и зря топтаться на месте, и он принялся за дело: стал ворочать бревна, обтесывать лесины с обеих сторон. Проработал до вечера, потом подоил коз и лег спать.

Пусто и тихо в землянке, тяжким молчанием веет от дерновых стен и земляного пола, глубоко и серьезно ощущает он свое одиночество. Но прялка и чесальные доски стоят на своем месте, и бусы на нитке лежат, аккуратно припрятанные на полке под потолком. Ингер ничего не унесла с собою. Но на Исаака по дурости напал в белую летнюю ночь страх темноты, и ему чудится, что бог знает кто крадется под окном. Часа в два, судя по свету, он встал и позавтракал, уплел огромный горшок каши на весь день, чтобы не тратить время на новую стряпню. И до вечера поднимал целину, вприбавок к картофельному полю.

Три дня он вперемежку тесал бревна и копал землю — авось Ингер придет завтра. Не дурно бы припасти рыбы к ее возвращению, вот он и решил пойти к ней навстречу не прямиком через скалы, а кружным путем, мимо рыбалки. Он забрался в незнакомые места в скалах, тут и там высились серые горы и темно-бурые горы и валялись мелкие камни, тяжелые, словно из свинца или меди. В этих темных камнях, наверно, много добра, может, и золото есть, и серебро, он в этом ничего не смыслил, и ему было все равно. Он спустился к реке, рыба хорошо клевала ночью под звенящим комарами небом, опять набралось целое ведро гольцов и форелей, пусть-ка Ингер посмотрит! Возвращаясь утром тем же кружным путем, каким и пришел, он прихватил с собой два тяжелых камня со скалы, они были коричневые, с темно-синими крапинками, и очень тяжелые.

Ингер не вернулась. Пошли уже четвертые сутки. Он подоил коз, как в те времена, когда жил с ними один и некому было

этим заняться, потом отправился к каменной россыпи и натаскал во двор большие кучи камней для ограды. У него было много грандиозных планов.

На пятый вечер он лег спать с подозрением на сердце, впрочем, ведь прялка и чесальные доски остались дома, да и бусы тоже! По-прежнему пусто в землянке, ни звука, часы тянутся бесконечно медленно, и когда со двора послышался какой-то топот, он подумал, что это ему только почудилось.

— О-ох, Господи! — вздохнул он в своей заброшенности, а такие слова Исаак никогда не произносил просто так.

Однако топот послышался снова, а немного спустя под окнами что-то промелькнуло, что-то такое с рогами, что-то живое. Он вскочил, метнулся к двери и увидел призрак.

— Бог или сатана! — пробормотал он, а такие слова Исаак произносил только в крайности. Он увидел корову, Ингер и корову, обе исчезли в хлеву.

Если б он не стоял в эту минуту на пороге и не слышал собственными ушами, как Ингер тихонько разговаривает в хлеву с коровой, он ни за что бы не поверил самому себе, но вот ведь стоит же он! В ту же секунду его охватило дурное предчувствие: спаси ее Господь, что ни говори, она необыкновенная, ну просто замечательная женщина, но что чересчур, то уж чересчур. Прялка и чесальные доски — куда ни шло, бусы уж больно красивые, ну да Бог уж и с ними! Но корова, которую она нашла, может быть, где-нибудь на дороге или в загоне, — ведь хозяин непременно хватится ее и обязательно разыщет.

Ингер вышла из хлева и сказала, горделиво улыбаясь:

— А я привела свою корову!

— А-а, — ответил он.

— Меня не было так долго, потому что с ней нельзя быстро идти по горам. Она стельная.

— Так ты привела корову? — спросил он.

— Да, — ответила она, чувствуя потребность поговорить от сознания своего богатства. — Не думаешь же ты, что я вру! — прибавила она.

Исаак опасался самого худшего, но остерегся высказать свои подозрения и проговорил только:

— Поди поешь.

— Ты видел ее? Разве не красавица?

— Замечательная. Откуда она у тебя? — спросил он со всем равнодушием, на какое был способен.

— Ее зовут Златорожка. И чего это ты вздумал класть ограду? Уморишь себя работой, тем оно и кончится. Пойдем же, поглядим корову!

Они пошли в хлев, Исаак был в одном нижнем белье, но это ничего не значило. Они со всем тщанием осмотрели корову: все отметины, голову, вымя, крестец, бока — коричневая с белым, тощая.

Исаак осторожно спросил:

— Как думаешь, сколько ей лет?

— Сколько? — отозвалась Ингер. — Аккурат пошел четвертый год. Я сама ее выхаживала, и все, кто ее ни смотрел, говорили, что сроду не видали такого умного теленка. Как по-твоему, хватит у нас для нее корму?

Исаак начинал верить в то, во что ему так хотелось верить, и заявил:

— Что касаемо до корма, так корма для нее хватит!

Они вернулись в землянку, поели, попили, посидели. Улеглись спать, разговаривали о корове, о великом событии:

— Разве не красивая корова? Скоро у нее будет второй теленок. А зовут ее Златорожка. Ты спишь, Исаак?

— Нет.

— Слышь-ка, она сразу меня признала и пошла за мной, словно ягненок. Мы с ней часок поспали ночью в горах.

— А-а.

— Придется все лето держать ее на привязи, а то ведь убежит, потому что корова — она корова и есть.

— Где же она была раньше? — спросил наконец Исаак.

— У моих родных. Они не хотели отдавать ее, а ребятишки заплакали, когда я ее повела со двора.

Не может того быть, чтоб Ингер умела так замечательно лгать! Значит, она говорила правду, и корова — ее собственная. Теперь на усадьбе, во дворе, стало одним важным обзаведеньем

больше, все у них теперь есть, можно сказать — ни в чем недохватки! Ох уж эта Ингер, он любил ее, и она отвечала ему взаимностью, они были неприхотливы, жили в век деревянных ложек и были счастливы. «Пора спать!» — думали они. И засыпали. Наутро просыпались для нового дня, и тут всегда находилось у них то одно, то другое, над чем помаяться, и горе, и радость шли рядом, такова уж жизнь.

Взять хотя бы, для примера, эти бревна — не попробовать ли сложить из них дом? Теперь, бывая в селе, Исаак смотрел в оба и, надумав план постройки, решил поставить сруб. А разве это ему не до зарезу нужно? Во дворе прибавились овцы, прибавилась корова, коз стало много и будет еще больше, скотина уже не помещается в своем отделении в землянке, надо же найти какой-нибудь выход. И уж лучше приняться за дело сейчас, покамест цветет картошка и не начался сенокос. Ингер кое в чем ему пособит.

Ночью Исаак просыпается и встает с постели, Ингер после своего путешествия спит как убитая. Он снова идет в хлев. На сей раз он разговаривает с коровой по-другому, слова не переходят в приторную лесть, он тихонько оглаживает ее, осматривая во всех местах, нет ли где метки, тавра, нанесенного неведомым хозяином. Никакой метки он не находит и уходит из хлева с облегчением.

Вот лежат бревна. Он начинает подкатывать их, поднимает на каменную кладку, ладит проемы для окон, большой для горницы и маленький для клети. Очень это трудно, он весь уходит в работу, позабывая о времени. Над крышей землянки появился дымок, вышла Ингер и позвала его завтракать.

— Что это ты затеваешь? — спросила она.

— Ты уж встала? — ответил Исаак.

Ох уж этот Исаак, до чего скрытный! Но ему нравится, что она спрашивает, проявляет любопытство и обращает внимание на его затеи. Поев, он не сразу уходит, задержавшись немножко в землянке. Чего он ждет?

— Да что же это я сижу! — говорит он, вставая, и прибавляет: — Дел-то ведь хоть отбавляй!

— Дом, что ли, строишь? — спрашивает она. — Неужто не можешь ответить?

Он отвечает из милости, он преисполнен великой гордости оттого, что строит дом и сам со всем справляется, потому и отвечает:

— Ты ведь видишь, что строю.

— Ну да. Так, так.

— Как же не строить? — говорит Исаак. — Вот ты привела ведь корову, надо же ей хлев.

Бедняжка Ингер, Бог не наделил ее таким умом, каким наделил Исаака, свое творение. Да и было это все еще до того, как она узнала его как следует, научилась понимать его манеру говорить. Ингер сказала:

— Но ведь ты же строишь не хлев?

— Нет, — ответил он.

— Похоже больше, что ты строишь избу.

— По-твоему, так? — сказал он и взглянул на нее с напускным равнодушием, словно удивленный ее мыслью.

— Да. А скотине останется землянка?

Он подумал с минуту.

— Пожалуй, так оно будет лучше!

— Вот видишь, — победоносно проговорила Ингер, — меня тоже не так-то уж просто провести!

— Верно. А что ты скажешь насчет клети при горнице?

— Клеть? Тогда у нас будет совсем как у людей. Ох, если б все так вышло!

Так оно и вышло. Исаак строил дом, рубил углы и вязал венцы, одновременно складывал очаг из подходящих камней, но эта работа ладилась плохо, и временами он бывал недоволен собой. Когда начался сенокос, ему пришлось оставить стройку, ходить по косогорам и косить траву, огромными копнами приволакивая потом домой сено. Однажды дождливым днем Исаак сказал, что ему надо сходить в село.

— Зачем тебе туда?

— Да я и сам хорошенько не знаю.

Он ушел и пропадал двое суток, вернулся с кухонной плитой — словно тяжелогруженая баржа, проплыл он через лес с плитой на спине.

— Да ты просто себя не жалеешь! — воскликнула Ингер.

Исаак разобрал очаг, который так не подходил к новому дому, и поставил на его место плиту.

— Не у всех есть такие плиты, — сказала Ингер. — Господи, помилуй нас, грешных!

Сенокос продолжался. Исаак только и знал, что таскать сено, потому что лесная трава далеко не то, что луговая, а гораздо хуже. Поработать на стройке удавалось только в дождливые дни, она продвигалась медленно; к августу, когда все сено было уже убрано, новый дом был доведен едва до половины. В сентябре Исаак сказал, что так дальше не пойдет.

— Сбегай-ка в село и приведи на подмогу работника, — велел он Ингер.

Ингер в последнее время что-то раздалась вширь и уже не могла бегать, но, конечно же, тотчас собралась в дорогу.

Но муж ее вдруг передумал, он снова впал в гордыню, решив, что все сделает сам.

— Незачем беспокоить людей, — сказал он. — Я и один управлюсь.

— Не сдюжишь ты.

— Поможешь мне поднять бревна.

В начале октября Ингер объявила:

— Больше мне невмоготу!

Что за досада, нужно ведь непременно поднять стропила, чтоб успеть покрыть дом до осенних дождей, а времени оставалось всего ничего. Что такое стряслось с Ингер? Уж не захворала ли? Изредка она варила козий сыр, но большей частью ее хватало только на то, чтобы по нескольку раз на дню переносить с места на место прикол Златорожки.

— В следующий раз, как пойдешь в село, принеси большую корзину, или ящик, или что-нибудь такое, — как-то попросила Ингер.

— На что тебе? — спросил Исаак.

— Нужно, — ответила Ингер.

Он поднял стропила на веревке, Ингер только подпихивала их одной рукой, но уже само ее присутствие как будто помогало. Дело шло медленно, и хотя крыша была совсем невысокая, но балки чересчур большие и толстые для маленького домика.

Некоторое время держалась ясная осенняя погода, Ингер одна выкопала всю картошку, а Исаак успел покрыть избу до начала затяжных дождей. Козы уже переселились на ночь в землянку к людям, и это не мешало, ничего не мешало, люди не жаловались. Исаак опять собрался в село.

— Принеси же мне большую корзину или ящик! — смиренным тоном снова попросила Ингер.

— Мне надо захватить несколько оконных стекол, которые я заказал, — сказал Исаак, — да еще две крашеные двери, — добавил он важно.

— Ну раз так, придется обойтись без корзины.

— Да на что она тебе?

— На что? Да где же у тебя глаза!

Исаак ушел из дому в глубоком раздумье и вернулся через двое суток, притащив окно, дверь для горницы и дверь для клети, а сверх того, на груди у него висел ящик для Ингер, а в ящике — разные съестные припасы. Ингер сказала:

— Дотаскаешься ты когда-нибудь до смерти!

— Ха, до смерти? — Исаак был сейчас настолько далек от недавних мыслей о смерти, что вынул из кармана аптечный пузырек с нефтью и дал Ингер с наставлением усердно лечиться ею, чтоб поправиться. А к тому же теперь у него были окна и крашеные двери, которыми можно заняться, и он тотчас бросился их прилаживать. Ну что за двери: подержанные, правда, но заново выкрашенные красной и белой краской, они глядели в доме, словно картинки.

Они перебрались в новый дом, а скотина расселилась по всей землянке; одну овцу с ягненком оставили при корове, чтоб той было не так скучно.

Да, много чего достигли поселенцы в этих пустынных краях, просто чудо как много.

III

Пока земля не промерзла, Исаак выбирал из нее камни и очищал от корней, ровнял луг на будущий год; когда ударил мороз, он стал ходить в лес и усердно рубил дрова.

— На что тебе столько дров? — спрашивала Ингер.

— Сам не знаю, — отвечал Исаак, но прекрасно все знал.

Густой нетронутый лес подходил вплотную к строениям, не позволяя расширить площадь под сенокос, а кроме того, Исаак рассчитывал тем или иным способом доставить дрова зимой в село и продать тем, у кого их не будет. Задумка была толковая, Исаак верил в успех, продолжая расчищать лес и рубить его на дрова. Ингер частенько приходила посмотреть, как он работает, а он делал вид, будто ему все равно и вовсе он в ней не нуждается, но она понимала, что доставляет ему удовольствие. Изредка они перебрасывались несколькими словами.

— Неужто тебе нечего больше делать, кроме как приходить сюда и мерзнуть? — говорил Исаак.

— Мне не холодно, — отвечала Ингер, — а вот ты губишь свое здоровье.

— На-ка надень мою куртку, вон она лежит!

— И надела бы, да некогда мне тут рассиживаться, когда Златорожка собралась телиться.

— Златорожка собралась телиться?

— А ты не слышишь, что ли? Как по-твоему, оставить нам теленка?

— По мне, делай как хочешь, я не знаю.

— Не след нам есть теленка! Ведь тогда у нас останется только одна корова.

— А я и не думал, что ты за то, чтоб мы съели теленка, — отвечал Исаак.

Одинокие люди, некрасивые и грубые, но сколько доброты друг к другу, к животным, к земле!

И вот Златорожка отелилась. Знаменательный день в безлюдной глуши, огромная благодать и счастье. Златорожке дали вкусного мучного пойла, и Исаак сказал:

— Муки не жалей! — хотя притащил ее из села на собственном горбу.

Рядом с коровой лежал хорошенький теленочек, красавица телочка, тоже красно-пегая, забавно удивленная чудом, которое только что пережила. Через два года она сама станет матерью.

— Из этой телки выйдет чертовски красивая корова, — сказала Ингер, — а я даже не знаю, как бы ее назвать. — Ингер была ну чистое дитя, смекалки у нее всегда недоставало.

— Как назвать? — повторил Исаак. — Сколько ни ищи, а лучше клички, чем Сребророжка, не найдешь.

Выпал первый снег. Как только установился санный путь, Исаак отправился по деревням, ничего, по своему обыкновению, не объяснив Ингер. Вернулся он с большущим сюрпризом — с лошадью и санями!

— Сдается мне, ты не иначе как колдуешь, — сказала Ингер, — ведь не отнял же ты у кого-то лошадь?

— Отнял.

— Может, нашел?

Если б только Исаак мог сказать: моя лошадь, наша! Но он всего лишь взял лошадь на время, чтобы свезти на ней дрова.

Исаак возил в село дрова и возвращался с припасами, мукой, селедкой. А однажды привез в санях быка; он купил его баснословно дешево, потому что в селе уже началась бескормица. Бык был худой, косматый, да и голосом не вышел, но не урод и от хорошего корма должен был оправиться. Племенной бык. Ингер сказала:

— И чего только ты не притащишь!

Да, Исаак притаскивал все, что можно: доски и тес, которые выменял на бревна, точильный камень, вафельницу, всякие снасти и инструменты, и все это в обмен на дрова. Ингер пыжилась от свалившегося на нее богатства, каждый раз приговаривая:

— Никак еще что-то привез? Теперь у нас есть бык и все-все, что только можно придумать!

И однажды Исаак ответил:

— Больше ничего возить не стану!

Запасов у них теперь хватит на долгое время, они стали зажиточными людьми. Что-то затеет Исаак весной? Сотни раз

вышагивал он зимой за своими дровяными возами и вот что надумал: он расчистит место за косогором, вырубит там весь лес, наготовит дров, оставит их сохнуть на лето и зимой будет накладывать на возы вдвое больше дров, чем теперь. Расчет был безошибочный. Сотни раз думал Исаак и о другом — о Златорожке, откуда она взялась, чья была раньше? Нигде не сыскать другой такой жены, как Ингер; бедовая бабенка, податливая и на все согласная; но ведь в один прекрасный день придет кто-нибудь, отберет Златорожку и уведет на веревке. А это может кончиться очень плохо. «Ведь не отнял же ты у кого-то лошадь?» — спросила Ингер. «Может, нашел?» — спросила она. Вот какая была ее первая мысль, она-то не сразу ему поверила, а ему что делать? Вот о чем он все время думал. Да и он хорош, взял да и купил быка для Златорожки, для краденой-то, глядишь, коровы!

А тут подошло время возвращать лошадь. Жалко было, лошадка была маленькая, мохнатая и очень им полюбилась.

— Как-никак, а ты переделал много дел, — сказала Ингер в утешение.

— Время-то идет к весне, когда лошадь мне особенно нужна, — ответил Исаак, — у меня для нее столько работы!

Утром он тихонько выехал из дому с последним возом дров и вернулся только на третий день. Когда он пешком приплелся домой, то уже со двора услышал доносившийся из избы какой-то странный звук и остановился на минутку. Детский плач — о-ох, Господи, что уж тут поделаешь, но все равно, это страшно и удивительно, а Ингер ни словом ни о чем не обмолвилась.

Он вошел, и первое, что бросилось ему в глаза, так это ящик, тот самый знаменитый ящик, который он притащил домой на своей груди; теперь он свисал на двух веревках с потолка, превратившись в люльку для ребеночка. Ингер возилась, полуодетая, по хозяйству, правда, она уже успела подоить корову и коз.

Когда ребенок перестал кричать, Исаак спросил:

— Ты справилась?

— Да, справилась.

— Так.

— Он родился к вечеру, как ты уехал.

— Так.

— Только я хотела было прибраться и повесить люльку, чтоб все было готово, да насилу успела, потом сразу начались боли.

— Отчего ж ты меня не предупредила?

— Да разве ж я знала когда! Это мальчик.

— А-а, значит, мальчик.

— Никак не придумаю, как его назвать, — сказала Ингер.

Исаак увидел маленькое красненькое личико, правильное, без заячьей губы, и головку, густо поросшую волосами. Настоящий здоровый мужичок, вполне соответствующий своему званию и положению в ящике. Исаак был сам не свой, размяк, расчувствовался, перед мельничным жерновом было чудо, оно зародилось когда-то в священном тумане и в жизнь явилось с крошечным личиком, как загадка. Дни и годы превратят это чудо в человека.

— Пойди поешь, — сказала Ингер...

Исаак расчищает лес и рубит деревья на дрова. Теперь не то что вначале, теперь у него есть пила, он пилит дрова, и поленницы растут на глазах, он строит из них улицу, целый город. Ингер теперь больше привязана к дому и не может так часто навещать мужа за работой, зато сам Исаак частенько наведывается домой. Надо же, этакий смешной маленький мальчишка в ящике! Исааку и в голову не приходит позаботиться о нем, к тому же он пока как есть чурбачок, пусть себе лежит-полеживает! Но разве он не человек, не может он безучастно слышать крик, да еще такой жалобный.

— Нет, нет, не бери его! — говорит Ингер. — У тебя небось руки в смоле! — говорит она.

— У меня руки в смоле? Ты с ума сошла! — отвечает Исаак. — Смолы у меня на руках не было с тех пор, как я поставил этот дом. Дай сюда мальчишку, я его уйму!

— Не надо, он сейчас сам замолчит...

В мае из-за гор к новоселам, поселившимся в глуши, приходит гостья из родни Ингер, она пришла издалека, и принимают ее радушно. Она говорит:

— Пришла посмотреть, как-то живется Златорожке, с тех пор как она ушла от нас!

— А об тебе-то, маленьком, никто и не спросит! — жалобно говорит Ингер малютке.

— Ну-ка, погляжу, какой он у тебя. Вижу, вижу, мальчишка. Лучше некуда! Подумать только, если б год тому назад мне сказали, Ингер, что я разыщу тебя здесь — с мужем, ребенком, с домом и достатком!

— Обо мне и говорить не стоит. Это все он, он взял меня такою, как я была!

— А вы повенчались? Ах, так вы еще не повенчаны!

— Повенчаемся, когда придет время крестить этого мальца, — говорит Ингер. — Мы бы уж давно повенчались, да все как-то недосуг было. Что скажешь, Исаак?

— Повенчаться-то... ну, понятно.

— Ты не сможешь, Олина, снова прийти к нам в перерыве между полевыми работами присмотреть за скотиной, пока мы съездим? — спрашивает Ингер.

— Отчего же, — обещает гостья.

— Мы тебя отблагодарим.

— Да уж знаю, знаю... Гляжу, вы опять затеяли что-то строить. И что? Неужто вам все мало?

Ингер пользуется случаем и говорит:

— Спроси его сама, мне он не говорит.

— Что я строю? — отвечает Исаак. — Так, пустяковину. На всякий случай сарай строю, вдруг понадобится. А что это ты помянула Златорожку, хочешь посмотреть ее? — спрашивает он гостью.

Они идут в хлев, показывают Олине корову и телку, а бык — бык просто чудо, гостья только головой качает, глядя на скотину и на хлев, — ну надо же, лучше не сыщешь, а уж чистота в хлеву ну прямо замечательная.

— Я-то знаю, что до ласки и заботливого обхождения со скотиной на Ингер во всем можно положиться! — говорит женщина.

Исаак спрашивает:

— Стало быть, Златорожка раньше жила у тебя?

— Как же, еще телушкой! Правда, не у меня самой, а у моего сына, ну, да ведь это все равно. У нас и посейчас в хлеву живет ее мать!

Давненько не доводилось Исааку слышать более отрадные слова, и на душе у него становится легче, он знает теперь, что Златорожка принадлежит Ингер и ему по праву. И то сказать, он уж было нашел печальный выход из своих сомнений: зарезать по осени Златорожку, выскоблить кожу, закопать рога в землю и таким образом изгладить всякие следы существования коровы Златорожки в этом мире. Теперь нужда в этом отпала. Он преисполняется гордостью за Ингер.

— Говоришь, чистюля? Другой такой чистюли не сыскать во всем свете! Просто удивительно, как мне повезло, что я раздобыл себе такую работящую жену!

— Да разве иного можно было ожидать! — отвечает Олина.

Эта пришедшая из-за гор женщина по имени Олина, скромная, с негромким голосом, толковая женщина, пробыла у них несколько дней, для спанья ей отвели клеть. Когда она собралась домой, Ингер дала ей немножко шерсти от своих овец, а она почему-то спрятала узелок от Исаака.

Ребенок, Исаак и его жена — мир опять стал прежним, деньденьской в работе, много маленьких и больших радостей: Златорожка хорошо доится, козы принесли козлят и тоже дают много молока, Ингер наварила огромное количество белых и красных сыров и поставила их созревать. Она задумала наделать столько сыров, чтоб купить на них ткацкий станок, — ох уж эта Ингер — и ткать-то она умеет!

Исаак строил сарайчик, у него, видать, тоже был свой план. Он сколотил из двойных досок пристройку к землянке, проделал в ней дверь и оконце в четыре стекла, настлал крышу из горбыля и стал ждать, пока просохнет земля и можно будет нарезать дерну. Все только самое необходимое и нужное — ни пола, ни струганых стен, но зато Исаак смастерил стойло, словно бы для коня, и сколотил ясли.

Май был на исходе. Солнце обсушило пригорки. Исаак покрыл свой сарай дерном — теперь он был полностью готов. И

вот однажды утром Исаак наелся на сутки вперед, захватил с собой еще еды, вскинул на плечо мотыгу с лопатой и отправился в село.

— Принеси мне четыре локтя ситцу! — крикнула Ингер ему вдогонку.

— На что он тебе? — отозвался Исаак.

Похоже было, он ушел навсегда; каждый день Ингер смотрела на небо, определяла направление ветра, словно ждала моряка, по ночам выходила во двор и прислушивалась, подумывала даже взять ребенка и пойти разыскивать мужа. Наконец он вернулся с лошадью и повозкой.

— Тпр-ру! — громко сказал Исаак, подъехав к самым дверям, и хотя лошадь была смирная и весело заржала, словно почуяв в землянке знакомых, Исаак крикнул в горницу:

— Выйди-ка, подержи лошадь!

Ингер выскочила во двор.

— Что это? — воскликнула она. — Ах, Исаак, неужто ты опять взял ее взаймы! Да где ж ты пропадал столько времени? Ведь нынче пошел шестой день, как тебя нет.

— Где ж мне быть? Пришлось походить по многим местам, прежде чем достал телегу. Подержи-ка лошадь, говорят тебе!

— Телегу? Да ведь не купил же ты ее?!

Исаак нем, Исаак весь точно налит немотой. Он принимается вытаскивать из телеги плуг и борону, гвозди, съестные припасы, лом и мешок с ячменем.

— Как ребенок? — спрашивает он.

— Ребенку ничего не делается. Так ты, выходит, купил телегу. А я-то только и знаю, что надрываюсь ради ткацкого станка, — говорит она шутливо, обрадовавшись донельзя, что он снова дома.

Исаак опять долго молчит, весь уйдя в свои мысли: куда девать привезенные товары и орудия; по всему видать, не так-то легко найти для них место на дворе. Но когда Ингер перестала выспрашивать его и пустилась вместо того разговаривать с лошадью, Исаак нарушил молчание.

— Ты когда-нибудь видала крестьянский двор без лошади и телеги, без плуга и бороны и без всего, что к ним полагается? А

раз уж ты хочешь знать, так я купил и лошадь, и телегу, и все, что в ней лежит, — ответил он.

Ингер только покачала головой да сказала:

— Спаси тебя Христос и помилуй!

А Исаак, он теперь уже не чувствовал себя маленьким и жалким, он словно бы рассчитался с женой за Златорожку, и рассчитался сполна, по-барски: пожалуйте, вот вам от нас — лошадку, да еще за наличные денежки! Его просто обуревала жажда деятельности: он снова схватился за плуг, поднял его с земли, отнес к стене избы и поставил там. Ведь здесь он распоряжается! Потом вытащил из телеги борону, лом, новенькие, только что купленные вилы, все драгоценные земледельческие орудия, истинное сокровище для новосела. Ну что ж, полное обзаведенье, теперь у него есть все, что нужно.

— Гм. Добудем как-нибудь и ткацкий станок, — сказал он, — было б у меня здоровье. Вот тебе ситец, никакого другого, кроме синего, не было.

Он прямо удержу не знал, так и расточал дары. Словно приехал из города.

Ингер говорит:

— Жалко, Олина не видала всего этого, когда была здесь.

Сущая чепуха и женское тщеславие, муж только хмыкнул в ответ на ее слова. Но, конечно, и он тоже ничего не имел против, чтоб Олина увидела все это великолепие.

Заплакал ребенок.

— Ступай к парнишке, — сказал Исаак, — лошадь уж успокоилась.

Он распрягает и ведет лошадь в конюшню — ставит свою собственную лошадь в конюшню! Он кормит, и гладит, и ласкает ее. Сколько он задолжал за лошадь и телегу? Все, всю сумму, за ним огромный долг, но к осени он обязательно расплатится. У него есть на это дрова, немножко прошлогодней бересты и, наконец, порядочный запас хороших бревен. За этим дело не станет. Позже, когда волнение и задор чуть поулеглись в его душе, он пережил много часов горьких опасений и забот, теперь ведь все зависело от лета и осени, от урожая.

Дни уходили на крестьянскую работу, сплошь на крестьянскую работу, он расчистил новые небольшие участки от корней и камней, вспахал, унавозил, заборонил, взмотыжил их и, растирая комья руками, ногами, ухаживая за землей всеми возможными способами, превратил поля в бархатный ковер. Подождал еще день-другой — показалось, как будто собирался дождь, — и посеял ячмень.

Многие сотни лет предки его сеяли ячмень; это было таинство, с благоговением совершаемое в тихий и теплый безветренный вечер, лучше всего непременно к мелкому дождичку и как можно скорее после весеннего пролета диких гусей. Картофель — овощ новый, в нем не было ничего мистического, ничего от религии, его могли сажать и женщины и дети; эти земляные яблоки, вывезенные, как и кофе, из чужих краев, — вкусные и сытные, но сродни репе. Ячмень же — это хлеб, есть ячмень или нет ячменя — это жизнь или смерть. Исаак шагал с непокрытой головой, призывая имя Иисуса, и сеял; он был похож на чурбан с руками, но душой был ровно младенец. Старательно и нежно кидал он в землю пригоршню, был кроток и смиренен. Ведь прорастут эти ячменные глазки и превратятся в колосья с множеством зерен, и это происходит повсюду на земле, где сеют ячмень. В Иудее, в Америке, в долине Гудбрандсдаль — как же огромен мир, а крошечный кусочек земли, который засевает Исаак, — в центре всего сущего. Лучистым потоком сыпался ячмень из его ладони, небо, облачное и доброе, предвещало долгий моросящий дождь.

IV

Отсеялись, время шло к сенокосу, а женщина Олина все не появлялась.

В полевых работах наступил перерыв, Исаак приготовил к сенокосу две косы и двое граблей, приделал к телеге высокие борта, чтоб возить сено, смастерил полозья и кой-какие принадлежности для саней на зиму. Много наделал полезных дел.

А что до двух полок на стене в горнице, так он и их смастерил, и теперь на них можно было класть разные вещи — и календарь, который он наконец купил, и мутовки, и не бывшие в употреблении поварешки. Ингер утверждала, что эти две полки сущая благодать!

Ингер все казалось благодатью. Вот и Златорожка не порывалась больше убежать, а преспокойно поживала себе с теленком и быком и целыми днями ходила по лесу. Вот и козы нагуляли жиру и чуть что не волочат тяжелое вымя по земле. Ингер сшила длинную рубашку из синего ситца и такой же чепчик, чудо какой хорошенький, это был крестильный наряд. Сам мальчуган лежал тут же и следил глазками за работой; мальчик был хоть куда, и когда она наконец решила назвать его Элесеусом, то и Исаак спорить не стал. Когда рубашка была готова, оказалось, что она на целых два локтя длиннее, чем надо, а каждый локоть ситца стоил денег, но что ж поделаешь, ребенок-то был первенький.

— Если твои бусы когда и могут пригодиться, так именно в этот раз! — сказал Исаак.

Ингер уже и сама о них подумала, о бусах-то, недаром же она была мать и, как все матери, глупая и гордая. На шейку мальчугану бусы не наденешь, но если нашить их на чепчик, будет очень красиво. Так она и сделала.

А Олина все не шла.

Не будь скотины, можно было бы уехать всем вместе и вернуться через три-четыре дня с окрещенным младенцем. А не будь этого самого венчания, Ингер могла бы поехать и вовсе одна.

— Не отложить ли нам пока венчание? — сказал Исаак.

Ингер ответила:

— Раньше десяти — двенадцати лет Элесеуса одного дома не оставишь и скотину ему не поручишь!

Ну, значит, надо Исааку что-нибудь придумать. Собственно, все началось как-то без начала, может быть, венчание столь же необходимо, как и крестины, почем он знает. Погода стала поворачивать на засуху, на настоящую знойную сушь; если скоро не выпадет дождь, всходы погибнут, но на все воля Господ-

ня. Исаак собрался ехать в деревню, за кем-нибудь. Опять надо было проехать много миль.

И вся эта суматоха ради венчания и крестин! Поистине, у людей, живущих на земле, много хлопот, маленьких и больших.

Но тут пришла Олина...

Теперь они были повенчаны, ребенок окрещен. Они даже позаботились сначала повенчаться, чтоб ребенка записали законным. А сушь продолжалась, солнце жгло маленькие ячменные поля, жгло бархатные ковры муравы, а за что? На все воля Господня. Исаак скосил свои лужки, травы с них набралось совсем немного, хотя весной он их и унавозил; он выкосил косогоры и дальние луговины, он не уставал косить, сушить и возить домой сено, потому что у него была лошадь и большое стадо. А в середине июля пришлось скосить на зеленый корм и ячмень, больше он ни на что не годился. Так что теперь оставалась одна надежда на картофель!

Как же обстояло дело с картофелем? Вправду ли он только и есть что особый сорт чужеземного кофе и без него можно обойтись? О, картофель замечательный плод, он выдерживает засуху, выдерживает сырость, а сам знай растет. Ему любая погода нипочем, он удивительно вынослив, если же за ним мало-мальски поухаживать, так он отплачивает в сам-пятнадцать. Ведь кровь у картофеля не та, что у винограда, а вот мясо как у каштана, его можно и варить, и жарить, оно на все годится. Если у человека нет хлеба, но есть картофель, он не будет голодать. Картофель можно печь в горячей золе и есть за ужином, можно сварить в воде и подать на завтрак. А каких приправ он требует? Да почти что никаких, картофель неприхотлив; кринки молока да одной селедки для него довольно. Богачи едят его с маслом, бедняки окунают в блюдечко с солью; Исаак же по воскресеньям поедал его, запивая вкусным Златорожкиным молоком. Презираемый всеми, благословенный картофель!

Но теперь дело оборачивалось плохо и для картофеля.

Не счесть, сколько раз за день Исаак поглядывал на небо. Небо было синее. По вечерам частенько смахивало на дождик. Исаак входил в избу и говорил:

— Сдается, будет-таки дождь!

Часа через два-три всякая надежда опять исчезала.

Засуха продолжалась уже семь недель, жара стояла невыносимая, картошка всю эту пору цвела сильным цветом, поражавшим своей неестественной красотой. Поля издали казались покрытыми снегом. Чем все кончится? По календарю ничего нельзя было узнать, теперешние календари ведь не чета прежним, толку от них никакого. Опять вроде бы собрался дождик. Исаак вошел в дом и сказал Ингер:

— С Божьей помощью, нынче ночью будет дождь!

— Разве на то похоже?

— Да. И лошадь мотает головой над кормушкой.

Ингер выглянула в дверь и сказала:

— Ну что ж, увидим!

Упало несколько капель. Часы текли, они поужинали, а когда Исаак ночью вышел на двор, небо было синее.

— Ах ты Господи! — сказала Ингер. — Но зато к завтрему и последний ягель твой просохнет, — прибавила она, пытаясь его утешить.

Да, Исаак насобирал много ягеля самого отборного сорта. Это был драгоценный корм, он сушил его, как сено, и накрывал в лесу берестой. Оставалась неубранной только одна небольшая кучка, оттого он и ответил Ингер с таким глубоким отчаянием и безучастностью:

— Все равно не стану убирать его, хоть бы он и просох!

— Не говори глупостей-то! — сказала Ингер.

На следующий день он и в самом деле не стал убирать ягель, раз так было сказано, — не убрал, и все тут. Пусть себе лежит, дождя все равно нету, пусть себе лежит с Богом! Свезет как-нибудь перед Рождеством, если солнце не спалит его до тех пор!

Столь сильна и глубока была охватившая его обида, что сидеть на пороге, смотреть на свою землю и ощущать себя ее собственником казалось бессмысленным. Вон горят безумным цветом и сохнут картофельные поля, так пусть же и ягель лежит, где лежал, сделайте одолжение! Но Исаак при всем своем простодушии таил какую-никакую хитренькую мыслишку, может,

он делал расчет на то, чтоб подразнить синее небо перед новолунием?

К вечеру опять стал как будто собираться дождь.

— Убрал бы ягель-то, — сказала Ингер.

— Зачем? — спросил Исаак, словно бы донельзя удивленный.

— Тебе бы все шутки шутить, а ведь, глядишь, дождь пойдет.

— Неужто не понимаешь, что в нынешнем году не будет дождя?

Однако ночью за окном вдруг сильно потемнело, похоже стало, будто по нему что-то потекло, намочив его. Что бы это могло быть? Ингер проснулась и сказала:

— Вот и дождь, глянь-ка на стекла!

Исаак только хмыкнул.

— Дождь? Никакой это не дождь. Не понимаю, о чем ты? — ответил он.

— Хватит уж прикидываться! — сказала Ингер.

Исаак и в самом деле прикидывался. И обманывал только самого себя. Да, это был дождь, самый настоящий большой дождь, но, хорошенько промочив Исааков ягель, он перестал. Небо опять было синее.

— Ведь я же говорил, что не будет дождя, — упрямо и не без злорадства сказал Исаак.

Для картофеля этот дождь был все равно что ничего; дни приходили и уходили, а небо по-прежнему оставалось синим. Тогда Исаак взялся за дровни и, смирив свое сердце, покорно и усердно принялся строгать полозья да оглобли, о-ох, Господи! Да, дни приходили и уходили, ребенок рос, Ингер сбивала масло и варила сыр, в сущности, не так уж оно было и страшно, один год неурожая работящим людям в деревне можно пережить. А когда миновали девять недель, дождь полил на славу, зарядил на целые сутки, шестнадцать часов кряду лил как из ведра, небеса разверзлись. Будь это недели две назад, Исаак сказал бы: «Слишком поздно!» Теперь же он заметил Ингер:

— Вот увидишь, он немножко поправит картошку!

— Еще бы, — успокоительно сказала Ингер, — он все поправит!

И правда, все будто ожило, дождь поливал каждый день, отава зазеленела точно по волшебству. А картошка все цвела, даже сильнее, чем раньше, и на ней выросли крупные ягоды; это-то, положим, было правильно, но кто знает, что с ней делается в земле. Исаак не решался посмотреть. И вот однажды Ингер пришла с двумя десятками мелких картофелин, собранных с одного куста.

— А ей расти еще пять недель! — сказала Ингер.

Ох уж эта Ингер, всегда-то она утешит и скажет ласковые слова своим заячьим ртом. Да и говорила-то она плохо, сильно шепелявя и произнося слова с шипением, словно открывался клапан, из которого выпускали пар; но слушать ее утешения в эдакой глуши было всегда приятно. И характер у нее был жизнерадостный.

— Сделал бы еще одну кровать! — сказала она Исааку.

— Ну, — отозвался он.

— Ладно, ладно, это не к спеху, но все ж таки сделай.

Они начали рыть картошку и выкопали всю к Михайлову дню, по старинному обычаю. Год вышел средний, хороший год, опять оказалось, что картошка не так уж требовательна к погоде, а растет, несмотря ни на что, и может выдержать что угодно. Конечно, не сравнить с настоящим средним годом, с добрым годом, когда дождей выпадает сколько надо, но ничего не поделаешь. Однажды мимо проходил лопарь и подивился, как много собрали новоселы картошки.

— В деревнях она уродилась куда как хуже, — сказал он.

У Исаака опять выдалось до наступления заморозков несколько недель на работу в поле. Скотина свободно ходила на воле и паслась, где ей вздумается. Исааку было приятно работать, слушая звон колокольчиков; правда, подчас это отвлекало его, потому что бык стал совсем баловной и то и дело раскидывал кучи ягеля, а козы куда только не карабкались за кормом, залезая даже на крышу землянки.

Маленькие и большие заботы.

Однажды Исаак слышит сердитый крик: стоя на пороге с ребенком на руках, Ингер показывает пальцем на быка и на

молоденькую телку Сребророжку, которые милуются неподалеку. Исаак бросает мотыгу и бежит к ним, но поздно, беда уже случилась.

— Ишь ты, дрянь, раненько начала, всего-то год от роду, на полгода раньше положенного, чертовка эдакая!

Исаак уводит ее в хлев, но все равно — уже поздно.

— Да, да, — говорит Ингер, — но, с другой стороны, оно и к лучшему, а то, глядишь, обе коровы отелились бы по осени.

Ох уж эта Ингер, голова у нее не очень светлая, но, может быть, она и знала, что делала, выпуская утром Сребророжку вместе с быком.

Пришла зима. Ингер чесала шерсть и пряла, Исаак возил дрова, огромные возы сухих дров; весь долг был выплачен, лошадь и телега, луг и борона — все стало его собственностью. Он уезжал, захватив приготовленные Ингер козьи сыры, а возвращался то с нитками, ткацким станком, мотовилом, веретеном, то с мукой и разными припасами, то с досками, тесом и гвоздями, а однажды привез лампу.

— Провалиться мне на месте, ты прямо колдун! — сказала Ингер, хотя давно уже догадывалась, что лампа вот-вот появится в доме.

Они зажигали ее по вечерам и чувствовали себя как в раю, а маленький Элесеус, наверное, думал, что это солнце.

— Посмотри, как он дивится! — говорил Исаак.

Ингер стала прясть при лампе.

Исаак привез холста на рубахи и новые комаги для Ингер. Она просила привезти разных красок для шерстяной пряжи, он и их привез. А однажды он вернулся из села с часами. Что такое? Часы! Ингер стояла как оглушенная, в течение нескольких минут не в силах вымолвить ни слова. Осторожно и бережно Исаак повесил часы на стену, поставил наугад стрелки, подтянул гири и пустил бой. Ребенок повернул глазки на гулкий звук, потом перевел их на мать.

— Да уж, можешь подивиться! — взволнованно сказала она, взяв мальчика на руки. Ведь из всех благ в здешнем уединенье ничто не могло сравниться со стенными часами, которые идут себе всю темную зиму, звонко отбивая каждый час.

Но вот все дрова свезены, Исаак опять стал уходить в лес и валить деревья, прокладывая улицы и строя дровяной город на будущую зиму. Он отходил все дальше и дальше от дома, высокий склон горы стоял уже почти совсем лысый, можно было приступать к его обработке, и теперь Исаак уже не вырубал делянки дочиста, а валил только самые старые деревья с сухими верхушками.

Разумеется, он давно понял, зачем Ингер упомянула про кровать, надо было поторопиться и не откладывать этого дела в долгий ящик. Однажды, вернувшись темным вечером домой из лесу, он узнал новость: семья прибавилась, опять мальчик, Ингер лежала в постели. И хитра же эта Ингер, утром-то все выпроваживала его в село. «Ты бы промял немножко лошадь, — сказала она, — а то знай себе долбит копытом стойло». — «Недосуг мне такой ерундой заниматься», — ответил Исаак и ушел. Теперь-то он понял, что она просто хотела выпроводить его из дому; почему бы это? Он бы и дома пригодился.

— Почему ты никогда заранее не предупредишь? — спросил он.

— Приготовь себе постель в клети, будешь там ночевать, — ответила она.

Впрочем, приготовить постель — это еще полдела, нужно ведь и постельное белье. У них же было одно-единственное меховое одеяло, а нового не сделать до осени, когда они будут колоть барашков, но даже и тогда из двух-трех овчин вряд ли выйдет целое одеяло. Исаак здорово мерз по ночам, он пробовал зарываться в стог сена под выступом скалы, пробовал спать в хлеву у коров, чувствуя себя заброшенным и одиноким. Счастье, что стоял май, потом придет июнь, июль...

Удивительно, сколько уже сделано тут, в глуши: жилье для людей, и скотный двор, и возделанные поля — и все это за три года. А Исаак опять что-то строит? Да, новый сарай, кладовую, пристройку к избе. Весь дом сотрясался и ходил ходуном, когда он вгонял в стену восьмидюймовые гвозди. Время от времени в дверях появлялась Ингер, прося его пожалеть ребят. Ну что ж что ребята, поболтай с ними, спой им что-нибудь, дай

Элесеусу крышку от ведерка, пусть тоже постучит! Больших гвоздей осталось вбить не так уж много, вот только сюда, в эти пазы, они будут держать всю пристройку. А там пойдут уж только доски и двухдюймовые гвозди, пустяковая работа.

Хочешь — не хочешь, а без этого не обойтись. Ведь вот, бочки с сельдями, и мука, и все припасы хранятся в конюшне, чтоб не оставлять их под открытым небом, но свинина после этого отзывается навозом, так что без кладовой никак нельзя. А мальчуганы пусть привыкают к ударам молотка по стене. Элесеус, правда, стал какой-то худенький и бледный, зато второй сосал чисто Божий ангел, и когда не кричал, то спал. Замечательный парнишка. Исаак не перечил, когда Ингер решила назвать его Сивертом; пожалуй, так всего лучше, хотя сам он наметил было другое имя — Якоб. В иных случаях Ингер рассуждала правильно: Элесеуса назвали в честь священника из ее села, что ж, благородное имя, а Сивертом звали дядю Ингер, общинного казначея, того самого, что был холостяк, богатей и не имел наследников. Чего уж лучше, как назвать ребенка по имени этого дяди?

Опять наступил весенний перерыв в работах, все сущее на земле готовилось к встрече Троицы. Когда у Ингер был только один Элесеус, она никак не могла выбрать время, чтоб помочь мужу, — первенец поглощал все ее внимание; теперь, когда детей стало двое, она расчищала землю и делала многое другое: часами сажала картошку, посеяла морковь и репу. Такую жену не скоро найдешь. А вдобавок, разве она не ткала? Она пользовалась каждой минутой, чтоб сбегать в клеть и спустить пару шпулек, чтоб вышла полушерстяная пряжа для нижнего белья на зиму. А потом окрасила ее и наткала синего и красного холста себе и ребятам, подбавила еще цветных ниток и сделала тюфяк Исааку. Все необходимые да полезные вещи, к тому же и прочные!

Ну что ж, семья новоселов крепко стала на ноги, и если урожай выдастся хороший, им и вовсе можно будет позавидовать. Чего еще не хватает? Конечно же, сеновала и овина с молотильным током, но это цель на будущее, и они ее выполнят, как и остальные цели, дай только время! Вот и маленькая Сребророжка отелилась, козы принесли козлят, овцы — ягнят; моло-

дяжник так и кишел на пастбище. А что же люди? Элесеус уже бойко разгуливал на собственных ножках, а маленького Сиверта окрестили. Ингер? Должно быть, опять тяжелая, уж очень раздобрела. Что для нее родить еще одного ребенка? Ничего — то бишь очень много; милые малютки, она гордилась своими детьми, давая понять, что не всем Бог дает таких больших и красивых детей. Ингер усердно наверстывала молодость. У нее было обезображенное лицо, молодые годы она прожила отщепенкой, парни не смотрели на нее, хотя она умела и плясать и работать, они пренебрегали ее лаской, отворачивались, — теперь настало ее время, она развернулась, зацвела пышным цветом и носила детей. Сам Исаак, хозяин, остался тем же серьезным и угрюмым, но ему везло, и он был доволен. До прихода Ингер он жил тяжкой и тусклой жизнью, знал только картошку да козье молоко; теперь у него было все, что мог пожелать человек в его положении.

Снова пришла засуха, снова неурожай. Лопарь Ос-Андерс, проходивший мимо со своей собакой, рассказывал, что народ в деревнях скосил ячмень на корм скоту.

— Да неужто? Стало быть, совсем уж плохо? — спросила Ингер.

— Да. Но у них был хороший улов сельдей. Дядя твой Сиверт здорово нажился.

— У него и раньше кое-что было! И в котелке и в печке!

— Точь-в-точь как и у тебя, Ингер!

— Да, слава Богу, не на что пожаловаться. Что же про меня говорят дома?

Ос-Андерс качает головой: у него и слов нет, чтоб передать, льстит он.

— Если хочешь кружку парного молока, так скажи, — говорит Ингер.

— Не беспокойся! Вот разве чуточку собаке.

Появилось молоко, появился корм для собаки. Лопарь услышал музыку из горницы и насторожился:

— Что это?

— Это бьют наши часы, — отвечает Ингер, едва не лопаясь от гордости.

Лопарь опять покачал головой и сказал:

— У вас есть дом, и конь, и деньги, скажи мне, чего у вас нет!

— Да мы уж и не знаем, как благодарить Бога.

— Олина велела тебе кланяться.

— А-а! Как она поживает?

— Ничего. А где твой муж?

— Пашет.

— Говорят, он так и не купил землю? — бросает лопарь.

— Не купил? Кто это говорит?

— Люди говорят.

— Да у кого ж ее было покупать? Ведь она общая.

— Да, да.

— А поту он сколько положил на эту землю!

— Они говорят, это государственная земля.

Ингер ничего не поняла и сказала:

— Ну, может быть. Уж не Олина ли это говорит?

— Не помню кто, — ответил лопарь, шныряя по сторонам лукавыми глазами.

Ингер удивлялась, что он ничего не выпрашивает, обычно-то Ос-Андерс всегда что-нибудь выпрашивал, как все лопари; они вечно клянчат. Ос-Андерс сидит, ковыряет в своей глиняной трубке и раскуривает ее. Вот это трубка, он дымит так, что его старое сморщенное лицо выглядит словно таинственный рунический камень.

— Нет смысла спрашивать, твои ли это дети, — подлизывается он. — Они ведь похожи на тебя. Вылитая ты, когда была маленькая!

Ингер была в детстве урод и страшилище — разумеется, глупо его слушать, но она все равно вспыхивает от гордости. Даже лопарь может обрадовать материнское сердце.

— Если б мешок твой был поменьше набит, я бы дала тебе кой-чего, — говорит она.

— Нет, не беспокойся!

Ингер с ребенком уходит в дом, а Элесеус остается с лопарем. Они отлично ладят друг с другом, в мешке у лопаря лежит что-то чудное, мохнатое, мальчик хочет потрогать. Собака воз-

ле повизгивает и взлаивает. Когда Ингер выходит с припасами, она слегка вскрикивает и садится на пороге.

— Что это у тебя? — спрашивает она.

— Ничего. Заяц.

— Я видела.

— Парнишка твой захотел посмотреть. Собака подняла его сегодня и прикончила.

— Вот тебе еда! — говорит Ингер.

V

По старинному опыту известно, что неурожаи следуют один за другим по меньшей мере два года подряд. Исаак набрался терпения и примирился с судьбой. Ячмень сгорел, укос был посредственный, но картошка как будто опять выправлялась, так что хоть и плохо было, но до голода еще далеко. Исаак же вдобавок припас дрова да бревна для стройки, которые можно было свезти в село, а так как по всему побережью хорошо ловилась сельдь, то денег на покупку дров у людей было вдоволь. Уж не перст ли Провидения, что ячмень не уродился? Где бы он стал молотить его без овина и гумна? Пусть хоть перст Провидения, в конце концов, не беда.

Другое дело, что появились новые тревоги. Что такое сказанул Ингер летом какой-то лопарь — что он не купил землю? Разве надо ее покупать? Зачем? Земля лежала себе полеживала, лес стоял-постаивал, он обработал ее, построил жилье в непроходимой глуши, кормил свою семью и свою скотину, никому не был должен и работал, работал без устали. Бывая в селе, он много раз собирался потолковать с ленсманом, но все откладывал разговор; ленсмана не очень хвалили, а Исаак был не так чтобы речист. Что он ему скажет, когда придет, как объяснит, в чем дело?

Однажды зимой ленсман сам приехал к новоселам, он привез с собой еще другого человека и пропасть бумаг в портфеле, — и был это сам ленсман Гейслер. Он увидел большой открытый

бугор, очищенный от леса и ровно круглившийся под снегом, подумал, что все пространство также обработано, и сказал:

— Да ведь это большая усадьба, ты что же, думаешь, такую штуку можно получить задаром?

Вот оно! У Исаака сердце захолонуло от страха, и он ничего не ответил.

— Тебе бы следовало приехать ко мне и купить землю, — сказал ленсман.

— Хорошо.

Ленсман говорил об оценке, размежевании, обложении, государственном налоге, — и чем больше уяснял Исаак суть дела, тем слова ленсмана казались ему все менее и менее фантастическими. Ленсман обратился к своему спутнику и сказал:

— Ну, землемер, как велики угодья?

Но ответа он ждать не стал и записал площадь участка наугад. Спросил Исаака, сколько он привез возов сена и сколько накопал мер картофеля. А как же быть с межеваньем? Ведь в лесу по пояс в сугробах межеванье не проведешь, а летом сюда не добраться. Во сколько сам Исаак определяет лес и выгон?

Этого Исаак не знал; до сих пор он считал своим все, что видел. Ленсман сказал, что казна требует определить границы надела.

— Чем больше у тебя участок, тем дороже он стоит, — сказал он.

— Так.

— Да. И дадут тебе не все, сколько ты охватишь глазом, а по твоей потребности.

— Так.

Ингер принесла молока, и ленсман с землемером выпили его. Она принесла еще молока. Это ленсман-то строгий? Он даже погладил Элесеуса по голове и сказал:

— Он играет в камешки? Дай-ка мне их посмотреть. Что это? Какие тяжелые, должно быть, в них содержится какой-нибудь металл.

— Таких в горах очень много, — сказал Исаак.

Ленсман вернулся к делу.

— Наверно, тебе всего дороже земля, что идет на юг и на запад? — спросил он Исаака. — Скажем, четверть мили на юг?

— Целых четверть мили! — воскликнул его спутник.

— Не две же сотни локтей обрабатывать, — оборвал ленсман.

Исаак спросил:

— А что стоит четверть мили?

Ленсман ответил:

— Не знаю, да этого и никто не знает. Я назначу невысокую цену, ведь это глушь, за много миль от жилья и никаких средств сообщения.

— Да, но целых четверть мили! — опять вмешался землемер.

Ленсман записал четверть мили на юг и спросил:

— А в сторону гор?

— Тут надо бы дотянуть до воды. До большого озера, — ответил Исаак.

Ленсман записал.

— А к северу?

— Туда не так важно, — ответил Исаак. — Там болото и нет хорошего леса.

Ленсман записал по своему усмотрению восьмую мили.

— А на восток?

— Тоже все равно. Там сплошь горы до самой Швеции.

Ленсман записал и это.

А после этого он с минуту что-то подсчитывал и потом сказал:

— Владенье, разумеется, получилось большое, и, находись оно возле села, ни у кого бы не хватило средств на его покупку. Я назначу за все про все сто далеров. Как ты считаешь? — спросил он землемера.

Тот ответил:

— Да разве это цена!

— Сто далеров! — воскликнула Ингер. — Не бери такого большого участка, Исаак!

— Не буду, — сказал Исаак.

— Вот и я говорю! — подхватил землемер. — Что вы станете делать с таким большим участком?

Ленсман сказал:

— Обрабатывать.

Он сидел и старательно писал, изредка в горнице раздавался плач ребенка, а ему, должно быть, не хотелось переписывать все сызнова, и так ведь попадет домой не раньше ночи, да нет, не раньше утра! Он решительно сложил бумаги в портфель.

— Иди запрягай! — сказал он землемеру. Потом повернулся к Исааку и заявил: — Честно говоря, следовало бы отвести тебе это место даром, да еще приплатить за твои труды. Я так и напишу в своем докладе. А там посмотрим, сколько с тебя возьмет казна.

Исаак — одному Богу известно, как он к этому отнесся. Он, похоже, ничего не имел против того, чтобы участок и его непомерные труды оценили высоко. Должно быть, он вовсе не считал невозможным выплатить со временем сто далеров, потому ничего и не ответил; он будет работать как и раньше, будет возделывать землю и превращать сухостой и валежник в дрова. Верхоглядом Исаак не был, на случайности не рассчитывал, он просто работал.

Ингер поблагодарила ленсмана и попросила его заступиться за них перед казной.

— Конечно. Но я ведь ничего не решаю, я только сообщаю свое мнение. Сколько лет вашему младшему?

— Ровно полгода.

— Мальчик или девочка?

— Мальчик.

Ленсман был не строгий, но беспечный и не очень добросовестный. Своего землемера и судебного пристава Бреде Ольсена он и слушать не стал, важную сделку провел кое-как, крупное дело, решающее судьбу Исаака и его жены и судьбу их потомков, быть может, в бесчисленных поколениях, он закрепил письменно наобум, знай только писал. Но к новоселам он отнесся очень ласково, достал из кармана новенькую серебряную монету и вложил в ладошку маленькому Сиверту, потом кивнул головой и пошел к саням.

Вдруг он спросил:

— Как называется это место?

— Как называется?

— Ну да. Какое у него название? Надо записать название.

Об этом никто и не подумал. Ингер и Исаак только переглянулись.

— Селланро? — проговорил ленсман. Слово это просто вдруг пришло ему в голову, вряд ли даже оно вообще подходило для названия, но он повторил: — Селланро! — кивнул головой и уехал.

Все наугад — границы, цена, название...

Несколько недель спустя, приехавши в село, Исаак узнал, что у ленсмана Гейслера не все благополучно — подняли вопрос о каких-то деньгах, в которых он не смог отчитаться, и его вызывали к амтману. Вот как бывает неладно: случается, люди ковыляют по жизни на авось, пока не наткнутся на тех, что ходят с открытыми глазами!

Однажды Исаак отправился в село с одним из последних возов с дровами, а на обратном пути домой подвез на своих санях ленсмана Гейслера. Ленсман вышел из лесу с небольшим чемоданчиком в руке и сказал:

— Подвези-ка меня!

Некоторое время ехали молча. Только раз ленсман достал из кармана бутылку и хлебнул из нее, предложив и Исааку, но тот отказался.

— Боюсь, не застудить бы живот, — сказал ленсман.

Потом он заговорил о земельных делах Исаака:

— Я сразу же отослал все бумаги и дал благожелательный отзыв. Селланро — красивое название. Собственно, тебе следовало бы отвести участок бесплатно, но если б я так написал, казна непременно бы заартачилась и сама назначила цену. Я назначил пятьдесят далеров.

— Так. Разве вы написали не сто далеров?

Ленсман сдвинул брови, припоминая.

— Насколько мне помнится, я написал пятьдесят далеров.

— Куда вы сейчас едете? — спросил Исаак.

— В Вестерботтен, в семью моей жены.

— Трудно будет добираться туда в эту пору года.

— Как-нибудь доберусь. Ты не проводишь меня немножко?

— Отчего ж. Одному плохо.

Они приехали в усадьбу к Исааку, и ленсман переночевал у них в клети. Наутро он снова хлебнул глоток из бутылки и сказал:

— Я непременно расстрою себе желудок этой поездкой!

Он был такой же, как и в прошлый свой приезд, ласково-властный, но беспечный, ничуть не озабоченный своей судьбой; может, впрочем, она была и не так уж печальна. Когда Исаак, набравшись храбрости, сказал, что обработал не весь бугор, а только небольшую его часть, несколько маленьких полосок, ленсман дал удивительный ответ:

— Я это прекрасно понял, когда был здесь в прошлый раз и писал бумаги. А возница мой, Бреде, тот ничего не понял, болван этакий. У них в министерстве есть таблица. И если такое малое количество возов сена и мер картофеля приходится на такой большой участок, какой я показал, то по таблице выходит, что земля тут скверная, дешевая. Я сыграл тебе на руку и готов лишиться Царства Небесного за это плутовство. Нам бы надо иметь тридцать две тысячи таких молодцов, как ты. — Ленсман мотнул головой и обратился к Ингер: — Сколько времени младшему?

— Девять месяцев.

— Ага. Мальчик?

— Да.

— Но ты не теряй времени и как можно скорей покончи со всеми формальностями, — продолжал ленсман, обращаясь к Исааку. — Один человек хочет купить землю на полдороге от тебя до села, и тогда твой участок поднимется в цене. Ты купи землю вперед него, а там пусть себе поднимается. Так по крайней мере тебе хоть что-нибудь достанется за твои труды. Ты ведь первый тронул эту глушь.

Поблагодарив его за совет, хозяева поинтересовались, не сам ли он оформит сделку. Он ответил, что сделал все, что мог, остальное зависит от казны.

— Я еду в Вестерботтен и уже не вернусь обратно, — равнодушно заметил он.

Он дал Ингер один орт, а это было совсем не мало.

— Не забудь свезти немножко убоины моей семье, когда поедешь в село, — сказал он, — телятины или баранины, что будет. Жена тебе заплатит. Да прихвати с собой кой-когда головки две-три козьего сыру, дети мои его очень любят.

Исаак проводил его через перевал, на вершине горы лежал твердый наст, так что идти было не трудно. Исаак получил за это целый далер.

Так и ушел ленсман Гейслер и не вернулся больше в село. И Бог с ним, говорили люди, человек-то он ненадежный, как есть пройдоха. И не то чтобы знаний было мало, вовсе нет, вполне был образованный, но уж слишком широко размахивался и не церемонился с чужими деньгами. Оказалось, что Гейслер сбежал из села, получив строгое письмо от амтмана Плейма, но семье его ничего не сделали, и она еще долго продолжала спокойно жить в селе — жена и трое детей. Впрочем, недостающие деньги вскорости были присланы из Швеции, родные ленсмана перестали считаться заложниками, но по-прежнему жили на старом месте, потому что им так нравилось.

Для Исаака и Ингер этот самый Гейслер оказался вовсе не плохим человеком, наоборот. Бог весть каков-то еще будет новый ленсман, может, всю сделку с участком придется переделывать наново!

Амтман прислал в село одного из своих конторщиков, он и стал новым ленсманом — мужчина лет за сорок, сын фогта по фамилии Хейердал. По бедности он не смог стать студентом и чиновником, а пятнадцать лет просидел писарем в конторе амтмана. Не имея средств жениться, он остался холостяком; амтман Плейм получил его в наследство от своего предшественника и платил ему такое же нищенское жалованье, как и тот: Хейердал получал свое жалованье и без устали писал. Безропотный и усталый, он был, однако ж, надежен, честен, да и работник отличный, в меру своих способностей и знаний. А сделавшись ленсманом, он начал проникаться чувством собственного достоинства.

Исаак набрался храбрости и пошел к нему.

— Дело Селланро — да, вот оно, вернулось недавно из министерства. Они там запрашивают разные сведения, ведь этот ваш Гейслер все запутал, — сказал ленсман. — Королевское министерство желает знать, нет ли на твоем участке больших, богатых морошкой болот? Есть ли строевой лес? Нет ли руды и разных металлов в окрестных горах? В деле упоминается большое горное озеро, водится ли в нем рыба? Правда, Гейслер привел кое-какие данные, но он ведь такой человек, что на него нельзя положиться, приходится все проверять заново. Я при первой же возможности приеду к тебе в Селланро, все осмотрю и произведу оценку. Сколько туда миль? Министерство требует настоящего межеванья, и, разумеется, надо нам его провести.

— Раньше второй половины лета ничего не получится, — сказал Исаак.

— Как-нибудь уж сделаем. Нельзя оттягивать ответ министерству до конца лета. На днях приеду. Заодно и продам от имени казны пахотный участок еще одному человеку.

— Не тому ли, что хочет купить участок на полдороге от меня?

— Не знаю, может, и ему. Он здешний, состоит у меня землемером и приставом. Он просил разрешения на покупку еще у Гейслера, но Гейслер отказал, объяснив свой отказ тем, что тот не способен обработать даже и двухсот локтей! Тогда этот человек написал самому амтману, и теперь дело переслали для отзыва ко мне. Уж этот мне Гейслер!

Ленсман Хейердал приехал к новоселам вместе с оценщиком Бреде; они промокли, пробираясь через болота, и уж совсем вымокли, когда отправились межевать границы по талому весеннему снегу в горах. В первый день ленсман проявил большое усердие, но на второй был утомлен, рассеян и по большей части не поднимался в гору, оставаясь внизу, только покрикивал да показывал Бреде, что делать. Уже и речи не было о том, чтоб «исходить горы вдоль и поперек», а морошковые болота, объяснил он, они самым тщательным образом обследуют на обратном пути.

Министерство указало выяснить много вопросов, должно быть, опять по какой-нибудь таблице. Единственный толковый вопрос был о лесе. На участке Исаака действительно рос строе-

вой лес, но продажного строевого леса не было, разве что он годился для домашнего употребления. Но даже и будь здесь настоящий строевой лес, кто повезет его на продажу за столько миль? Разве что такой мельничный жернов вроде Исаака, который всю зиму возил в село бревна, получая в обмен доски и тес.

Оказалось, что этот замечательный Гейслер представил доклад, которым никак нельзя было пренебречь. И вот новый ленсман изо всех сил старался поймать его на чем-нибудь и найти хоть какую ошибку, но в конце концов махнул на все рукой. Он только чаще, чем Гейслер, советовался со своим землемером и оценщиком, во всем полагаясь на его слова, а оценщик, должно быть, переменил свое отношение и усвоил себе другую точку зрения с тех пор, как сам сделался покупателем казенных земель.

— И что ты думаешь о цене? — спросил ленсман.

— Пятьдесят далеров за глаза для всякого, кто захочет купить, — ответил оценщик.

Ленсман изложил это решение красивыми словами. Гейслер писал: «Владельцу земли придется платить ежегодный налог, и он не видит для себя возможности заплатить в качестве покупной цены больше пятидесяти далеров, с рассрочкой на десять лет. Казна вольна или согласиться на его предложение, или лишить его земли и плодов его труда». Хейердал написал: «Покупщик почтительно ходатайствует пред высоким министерством о разрешении сохранить за собой землю, которая не принадлежит ему, но в которую он вложил значительный труд, за цену 50 (пятьдесят) далеров, выплачиваемую по благоусмотрению министерства».

— Думаю, мне удастся сохранить за тобой участок, — сказал ленсман Хейердал Исааку.

VI

Сегодня старого быка уведут со двора. Он превратился в сущее чудовище, да и содержать его стало чересчур дорого; Исаак решил отвести его в село, сбыть кому-нибудь и купить вместо него подходящего молодого бычка.

А затеяла все это Ингер, и Ингер, конечно, знала, что делала, выпроваживая Исаака из дому именно сегодня.

— Коли уж идти, так нынче, — сказала она. — Бык откормлен, весной на кормленую убоину хорошая цена, можно отправить его в город, а там дают страсть какие цены.

— Да, да, — ответил Исаак.

— Вот только не кинулся бы он на тебя дорогой.

На это Исаак ничего не ответил.

— Впрочем, он целую неделю пасся на воле, огляделся и приобвык чуток.

Исаак промолчал. Но заткнул за пояс большой нож и вывел из хлева быка.

Вот это бык так бык, здоровенный, страшный, бока так и трясутся на ходу. Ноги короткие; на бегу ломает грудью кустарники, чисто паровоз. Шея мощная до безобразия, в этой шее живет слоновья сила.

— Только бы он на тебя не кинулся, — сказала Ингер.

Исаак ответил, помолчав:

— Ну что ж, тогда заколю его дорогой и отнесу в село мясо.

Ингер садится на крыльце. Ее мучают боли, лицо горит, но до ухода Исаака она держится на ногах; но вот он скрылся в лесу с быком, и Ингер громко стонет. Маленький Элесеус спрашивает:

— Маме больно?

— Да, очень.

Он подражает матери, хватается за спину и стонет. Малютка Сиверт спит.

Ингер ведет Элесеуса в горницу, усаживает на пол, дает игрушек, а сама ложится в постель. Пришел ее час. Она все время в полном сознании, следит за Элесеусом, бросает взгляд на стену, смотрит, который час. Она не кричит, почти не шевелится; в утробе у нее идет борьба, и внезапно бремя выскальзывает наружу. Почти в ту же минуту она слышит незнакомый крик, тоненький жалобный голосок, и, не в силах сохранять спокойствие, встает и смотрит на постель. Что же она видит? Лицо ее мгновенно становится серым, теряя всякое выражение, всякий

смысл. Из груди вырывается стон, какой-то неестественный, нечеловеческий, похожий на рвущийся из нутра вой.

Она опускается на постель. Проходит минута, но покой не наступает, слабый писк на постели становится громче, она снова встает и смотрит: о Господи, хуже не придумаешь, никакой милости — ребенок в довершение всего девочка!

Исаак, должно быть, успел отойти от дому всего на полмили, едва ли миновал час после его ухода со двора. Десяти минут хватило на то, чтоб произвести дитя на свет и убить...

Исаак вернулся домой на третий день, ведя на привязи тощего молодого бычка, едва передвигавшего ноги; оттого так много времени ушло на дорогу.

— Ну как, все обошлось? — спросила Ингер, еще очень слабая и больная.

Все обошлось сносно. Бык вконец взбесился на последней полмиле от села, Исааку пришлось привязать его и сбегать за подмогой. Когда он вернулся, бык порвал привязь, и его целый час не могли найти. Ну да все устроилось, торговец, скупавший мясо для города, дал хорошую цену.

— А вот и новый бык, — сказал Исаак, — пусть дети подойдут и посмотрят!

Все с тем же неизменным интересом к каждому новому животному, Ингер осмотрела быка, ощупала его, спросила о цене; маленького Сиверта посадили ему на спину.

— А мне жалко старого быка, — сказала Ингер, — он был такой гладкий и умный. Хоть бы уж они зарезали его как следует!

Шли дни, заполненные обычной работой по хозяйству, скотина гуляла на воле, в пустом хлеву прорастал в ящиках и лукошках картофель, предназначенный для посадки. В этом году Исаак посеял ячменя больше прежнего и приложил все усердие, чтоб хорошенько запахать его в землю, разбил грядки для моркови и репы, а Ингер посеяла семена. Все шло по-старому.

Какое-то время Ингер носила на животе торбу с сеном, чтоб казаться толще, постепенно она уменьшала количество сена, а там и вовсе бросила торбу. В один из дней Исаак наконец заметил перемену и с удивлением спросил:

— Что же это, разве нынче ничего не будет?

— Нет, — ответила она, — не будет.

— Да ну. Отчего же?

— Так уж вышло. Неужто ты надумал распахать все, сколько глаз хватает?

— Скинула, что ли? — спросил он.

— Да.

— Так. А сама-то не хвораешь?

— Нет. Я все думаю, хорошо бы нам завести свинью.

Неповоротливый умом, Исаак ответил спустя минуту:

— Да, свинью... я и сам подумываю о ней каждую весну. Но покамест у нас не будет много картошки да ячменя, нам ее не прокормить. Посмотрим, что Бог даст нынче.

— А уж как бы хорошо иметь свинью!

— Да.

Дни проходят, побрызгивает дождь, нивы и луг чудесно зеленеют, нынче будет урожай! Мелкие и крупные события сменяют одно другое, это — еда, сон и работа, это — воскресенья с умыванием лица и расчесыванием волос. Исаак сидит в новой красной рубахе, вытканной и сшитой Ингер. Но вот размеренная жизнь потревожена крупным происшествием: где-то в скалах затерялась овца с ягненком, остальные овцы вернулись вечером домой, и Ингер сейчас же хватилась двух пропавших; Исаак отправляется на поиски. И первая мысль Исаака: раз уж случилась беда, хорошо, что случилась она в воскресенье и ему не нужно отрываться от работы. Он ищет много часов, выгон огромный, он ходит и ходит; дома все в волненье, мать коротко успокаивает детей: две овцы пропали, тише вы! Все охвачены тревогой, вся маленькая семья, даже коровы и те понимают, что происходит что-то необычное, и тревожно мычат, так как Ингер время от времени выходит во двор и громким голосом кричит в сторону леса, хотя скоро уж ночь. Это целое событие в глуши, несчастье для всей округи. Уложив детей спать, Ингер тоже отправляется на поиски. Изредка она аукает, но не получает ответа, должно быть, Исаак зашел очень далеко.

Господи, куда ж это подевались овцы, что с ними приключилось? Уж не медведь ли их задрал? А может, волк забежал из

Швеции или Финляндии? Да ничего подобного. Когда Исаак находит наконец овцу, оказывается, что она завязла в расщелине, у нее переломана нога и распорото вымя. Похоже, она попала в расщелину много часов назад, потому что, хотя и поранена довольно сильно, выщипала траву кругом себя до самой земли. Исаак вытаскивает овцу из расщелины, и она сразу начинает щипать траву. Ягненок тут же принимается сосать мать, и раненому вымени сущее лекарство, что оно опрастывается.

Исаак набирает камней и заваливает опасную расщелину, предательскую расщелину; не будет она больше ломать овцам ноги! Он снимает с себя ременные подтяжки, обвязывает ими овцу, туго притянув порванное вымя. Потом вскидывает овцу на плечо и идет домой. Ягненок бежит следом.

А дальше? Лучинки и просмоленные тряпицы. Через несколько дней овца начинает лягаться больной ногой, потому что рана затягивается, излом срастается. Так все и налаживается — до какого-нибудь нового происшествия.

Будничная жизнь, события, целиком занимающие новоселов. О, это вовсе не мелочи, это судьба, сама жизнь, от этого зависит счастье, радость, благополучие.

В промежутке между полевыми работами Исаак обтесывает новые бревна, — наверное, опять что-то задумал. Кроме того, он выламывает подходящие камни и приносит во двор; натаскав достаточно камней, складывает их грядкой. Будь это год назад или около того, Ингер заинтересовалась бы и стала бы добиваться, что такое затевает муж, но теперь она большей частью занимается своим делом и вопросов не задает. Ингер работает так же усердно, как и прежде, держит в порядке дом, детей и скотину, но она начала петь, чего раньше за ней не водилось; учит Элесеуса вечерним молитвам, этого раньше тоже не было. Исааку не хватает ее вопросов, ее любопытство и похвалы давали ему счастье и сознание своей необыкновенности, теперь она проходит мимо и не замечает, как он убивается на работе. «Должно быть, она все-таки расстроилась в последний раз!» — думает он.

Опять приходит в гости Олина. Будь все как в прошлом году, ее встретили бы с радостью, нынче не то. Ингер с первой же

минуты встречает ее недружелюбно; неизвестно по какой причине, но Ингер относится к ней враждебно.

— А я-то думала, опять попаду кстати, — деликатно замечает Олина.

— Как так?

— Да ведь надо бы крестить третьего. Разве нет?

— Нет, — отвечает Ингер, — ради этого тебе не стоило беспокоиться.

— Вот оно что!

Олина принимается расхваливать мальчиков, как они выросли, какие стали хорошенькие, Исаака, который распахал столько земли и опять как будто что-то строит, — просто чудеса, другого такого двора и не найти!

— Скажи ты мне, что ж такое он строит?

— Не знаю, спроси у него сама.

— Нет, — говорит Олина, — неудобно мне. Я только хотела посмотреть, как вы все здесь поживаете, потому что это для меня большая радость. Ну, про Златорожку-то я не стану и спрашивать и поминать, она попала куда следовало!

Некоторое время проходит в дружной болтовне, и Ингер уже не так сердита. Когда часы на стене начинают отбивать свои гулкие удары, на глазах у Олины выступают слезы, в жизни она не слышала такого боя — чисто орган в церкви! Ингер снова преисполняется щедростью и великодушием к своей бедной родственнице и говорит:

— Пойдем в клеть, покажу тебе свою тканину!

Олина проводит у них весь день. Она разговаривает с Исааком и расхваливает все его дела.

— Я слыхала, ты откупил по миле во все стороны, неужто нельзя было получить задаром? Кто это тебе позавидовал?

Исаак слышит похвалы, которых ему так недоставало, и опять чувствует себя человеком.

— Я у правительства откупил землю, — отвечает он.

— Ну да, ну да, только оно могло бы и не обдирать тебя, это самое правительство! Что это ты строишь?

— Сам не знаю. Так, пустяки.

— И все-то ты строишь! У тебя и двери крашеные, и часы с боем на стене, должно быть, надумал построить чистую избу?

— Будет тебе чепуху городить! — отвечает Исаак. Но он польщен и говорит Ингер: — Сварила бы каши на сливках для гостьи.

— Нету сливок-то, — отвечает Ингер, — я только что сбила из них масло.

— Вовсе это и не чепуха, да ведь я женщина простая, вот мне и интересно, — спешит вставить Олина. — А если это не чистая изба, тогда, значит, огромный домище — для всего твоего добра. У тебя ведь и поля, и луга, и все остальное течет молоком и медом, чисто в Библии.

Исаак спрашивает:

— А в ваших местах какие виды на урожай?

— Да ничего себе. Только бы Господь не спалил его и нынче, ох, грехи мои тяжкие! Все в Его воле и власти. Но такого замечательного урожая, как у вас, в наших местах и в помине нет, куда там!

Ингер расспрашивает про остальную родню, в особенности про дядю Сиверта, общинного казначея, он гордость семьи, у него и сети, и невода, он уж и сам не знает, что ему делать со всеми своими богатствами. Во время этого разговора Исаак отходит все дальше на задний план, о его новых строительных затеях и вовсе позабывают. Под конец он не выдерживает и говорит:

— Раз уж тебе непременно хочется знать, Олина, так я хочу построить небольшой овин с гумном.

— Так я и думала! — отвечает Олина. — Люди, которые с умом, всегда все наперед обдумывают и все в голове держат. Речь, понятно, не о горшке и не о кружке, которые не ты выдумал. Стало быть, говоришь, овин с гумном?

Исаак — он что взрослый ребенок, ему не устоять перед лестью Олины, и он сразу попадается на удочку.

— Что касаемо до нового строения, то в нем будет гумно, так я себе наметил в мыслях, — говорит он.

— Гумно! — восторженно произносит Олина и качает головой.

— На что же нам ячмень в поле, когда его нельзя обмолотить?

— Вот это самое я и говорю: ты все обмозговываешь в голове.

Ингер опять нахмурилась, беседа мужа с гостьей, видимо, раздражает ее, она неожиданно говорит:

— Каши на сливках? Где же я тебе возьму сливок? Уж не в речке ли?

Олина чует опасность.

— Ингер, милая, Господь с тобой, о чем это ты? Какая еще каша на сливках? Ты и не поминай про нее! Это мне-то, которая побирается по дворам!

Исаак сидит некоторое время молча, потом говорит:

— И чего же это я расселся, мне ведь надо камни ломать для стены!

— Да уж, немало камней надо на такую стену!

— Камней-то? — отвечает Исаак. — Да сколько ни таскай, все вроде как мало!

Исаак уходит, и между женщинами снова воцаряется согласие, у них столько разговоров о деревенских делах, только часы знай бегут. Вечером Олине показывают, как выросло стадо — две коровы, да бык, да два теленка, да множество коз и овец.

— Где ж этому конец?! — вопрошает Олина, возводя глаза к небу.

Она остается у них ночевать.

А на следующий день уходит. Ей опять дают с собой узелок, и поскольку Исаак работает на каменоломне, она делает небольшой крюк, чтоб не попасться ему на глаза.

Через два часа Олина возвращается в усадьбу; войдя в горницу, она спрашивает:

— А где Исаак?

Ингер занята стиркой. Она знает, что Олине не миновать было пройти мимо Исаака и детей в каменоломне, и сразу чует беду.

— Исаак? На что тебе Исаак?

— Как на что! Да ведь я с ним не попрощалась.

Молчание. Олина вдруг бессильно опускается на скамью, словно ноги ее не держат. Еще чуть-чуть, и она грохнется в обмо-

рок — по всему видать, ей не терпится сообщить что-то из ряда вон выходящее.

Не в силах сдерживаться, Ингер поворачивает к ней полное бешенства и страха лицо.

— Ос-Андерс принес мне от тебя поклон, — говорит она. — Нечего сказать, хороший поклон!

— А что?

— Зайца.

— Да ну! — с удивительной кротостью роняет Олина.

— Не вздумай отпираться! — кричит Ингер, дико сверкая глазами. — Не то заткну тебе глотку вальком! Вот тебе!

Неужели ударила? То-то и оно. И когда Олина от первого удара не падает, а, наоборот, вскакивает и кричит:

— Берегись! Я знаю, что́ я про тебя знаю! — Ингер снова колотит Олину вальком и валит ее на пол, подминая под себя и давя коленками.

— Ты что же, решила убить меня? — спрашивает Олина. Прямо над собой она видит ужасный рот с заячьей губой, над ней нависла высокая крепкая женщина с тяжелым вальком в руке. Тело у Олины горит от ударов, она вся в крови, но продолжает визжать и не думает сдаваться: — Не иначе как ты решила убить меня!

— Да, решила, — отвечает Ингер и опять бьет ее. — Вот тебе! Забью до смерти!

Она совершенно уверена: Олина знает ее тайну, а остальное ей безразлично.

— Вот тебе по рылу!

— По рылу? Это у тебя рыло! — стонет Олина. — Сам Господь вырезал на твоем лице крест!

Справиться с Олиной трудно, очень трудно, Ингер поневоле останавливается, ее удары ни к чему не приводят, они только утомляют ее. Но она продолжает грозить Олине, тычет вальком прямо ей в глаза, она еще задаст ей, так задаст, что она и своих не узнает!

— Куда подевался мой косарь, вот я сейчас покажу тебе!

Она встает, словно в поисках ножа, но яростный запал уже прошел, и она только с ожесточением ругается. Олина подни-

мается с пола и садится на скамейку, она вся в крови, лицо желто-синее, распухшее; откинув с лица волосы, она оправляет на голове платок, отплевывается; губы у нее вздулись.

— Тварь ты этакая! — говорит она.

— Рыщешь по лесу, вынюхиваешь, — кричит Ингер, — вот на что ты потратила это время, все-таки разыскала могилку. Но лучше бы ты заодно вырыла могилу и для себя.

— Ну, уж теперь погоди! — отвечает Олина, пылая жаждой мести. — Больше я тебе ничего не скажу, но уж не видать тебе горницы с клетью и часов с музыкой!

— Это не в твоей власти!

— А уж об этом мы с Олиной позаботимся!

Обе женщины кричат что есть мочи. Олина не так груба и голосиста, о нет, она почти кротка в своей жестокой злости, но въедлива и страшна:

— Куда это мой узелок подевался, не иначе как оставила его в лесу. Можешь взять назад свою шерсть, не хочу я ее брать!

— А-а, ты, может, думаешь, что я ее украла?

— Ты сама знаешь, что сделала!

Они опять кричат. Ингер считает необходимым уточнить, с которой из своих овец она настригла эту шерсть, Олина спрашивает кротко и ласково:

— Пускай так, но почем мне знать, откуда у тебя взялась эта первая овца?

Ингер называет место и человека, у которого паслись ее первые овцы с ягнятами.

— Заткнула бы лучше свою пасть! — грозит она.

— Ха-ха-ха, — усмехается Олина. У нее на все готов ответ, и она не сдается: — Мою пасть? Вспомни-ка лучше про свою! — Она тычет пальцем в уродливое лицо Ингер, обзывая ее пугалом для Бога и людей. Ингер вся кипит от ярости и, так как Олина толстая, обзывает ее в ответ жирной тетехой.

— Эдакая подлая жирнюга! Ты еще получишь от меня благодарность за зайца, которого ты мне послала!

— За зайца! Да пусть это будет самый большой мой грех! Какой он был, этот заяц?

— Какой бывает заяц?

— Аккурат как ты. Точь-в-точь. Не надо бы тебе смотреть на зайцев.

— Убирайся! — кричит Ингер. — Это ты подослала Ос-Андерса с зайцем. Я упеку тебя на каторгу!

— На каторгу! Ты и в самом деле упомянула каторгу?

— Ты завидуешь мне во всем, прямо лопаешься от зависти, — продолжает Ингер. — Ты глаз не сомкнула с тех пор, как я вышла замуж и заполучила Исаака и все, что у меня есть! Господи Боже, Отец Небесный, и чего тебе от меня надо? Разве я виновата, что твои дети нигде не могут устроиться и никуда не годятся? Невмоготу тебе видеть, что мои дети здоровы, красивы и имена у них благороднее, чем у твоих, и разве моя в том вина, что они красивее и лицом и телом, чем твои!

Если что и могло взбесить Олину, так именно эти слова. У нее было много детей, вышли они такие, какие уродились, но она превозносила и расхваливала их, приписывая им достоинства, каких они вовсе не имели, и скрывая их недостатки.

— Что это ты мелешь? — ответила она Ингер. — Другая бы от стыда давно провалилась сквозь землю! Мои дети, да они супротив твоих — все равно что светлые ангелы Божьи. И ты еще смеешь говорить о моих детях? Сызмала все семеро были созданья Божьи, а теперь все уже большие и взрослые. Не твоя это забота!

— А твоя Лиза разве не угодила в тюрьму? — спрашивает Ингер.

— Она ничего не сделала плохого, она была невинна, как цветок, — отвечает Олина. — К тому же она замужем в Бергене и, не в пример тебе, ходит в шляпке!

— А что произошло с твоим Нильсом?

— Очень мне надо отвечать тебе. У тебя-то вон один лежит в лесу, что ты с ним сделала? Убила!

— Замолчи и убирайся вон! — вопит Ингер и опять бросается на Олину.

Но Олина не прячется, даже не встает. Эта неустрашимость, смахивающая на ожесточение, снова парализует Ингер, и она только говорит:

— Придется мне, видать, разыскать косарь!

— Не трудись, — советует Олина. — Я и сама уйду. Но коли уж ты дошла до того, что выгоняешь своих родичей, то кто ты после этого — просто тварь!

— Ступай, ступай уж!

Но Олина не уходит. Женщины еще долго бранятся, и всякий раз, как часы бьют полный час или половину, Олина язвительно улыбается, приводя тем самым Ингер в бешенство. В конце концов обе несколько успокаиваются, и Олина собирается уходить.

— Путь у меня длинный и ночь впереди, — говорит она. — Вот жалость-то, надо было мне захватить с собой еды из дому.

Ингер ничего на это не отвечает, она пришла в себя и наливает воды в чашку.

— На, оботрись, если хочешь! — говорит она Олине.

Олина понимает, что перед уходом надо привести себя в порядок, но, не зная, где у нее кровь, обтирает не те места. Ингер стоит молча, глядя на нее.

— Вот здесь, и на виске тоже! — говорит она. — Нет, на другом, ведь я же показываю!

— Почем мне знать, на какой висок ты показываешь! — отвечает Олина.

— И на губах тоже. Да ты что, никак, боишься воды? — спрашивает Ингер.

Кончается тем, что Ингер собственноручно умывает избитую противницу и швыряет ей полотенце.

— Что это я хотела сказать, — совершенно мирным тоном начинает Олина, утираясь. — Как-то Исаак и дети перенесут это?

— Разве он знает? — спрашивает Ингер.

— Неужто нет! Он подошел и увидел.

— И что сказал?

— Что он мог сказать! Лишился языка, как и я.

Молчание.

— Это ты во всем виновата! — жалобно вскрикивает Ингер и разражается слезами.

— Дай Бог, чтоб у меня не было других грехов.

— Я спрошу у Ос-Андерса, можешь быть уверена!

— Спроси, спроси!

Они беседуют вполне спокойно, и, кажется, у Олины немного поубавилось жажды мести. Она политик высокого класса и привыкла находить нужные решения, теперь она выказывает даже некоторое сострадание: если дело это выплывет наружу, очень жалко будет Исаака и детей.

— Да, — говорит Ингер и плачет еще сильнее. — Я все думаю и думаю об этом днем и ночью.

Олина тут же выступает в роли спасительницы, предлагая свою помощь. На все то время, что Ингер будет сидеть в тюрьме, она поселится в усадьбе.

Ингер уже не плачет, она разом прислушивается, обдумывая это предложение.

— Да не будешь ты смотреть за детьми.

— Это я-то не буду смотреть за детьми? Да что ты ерунду городишь!

— Прямо уж ерунду!

— Если у меня к чему и лежит сердце, так именно к детям.

— Да, к твоим собственным, — говорит Ингер, — а уж как ты станешь обращаться с моими? Как подумаю, что ты послала мне зайца, чтоб погубить меня, то одно только и могу сказать: ты большая грешница.

— Кто? Я? — спрашивает Олина. — Это ты про меня говоришь?

— Да, про тебя, — отвечает Ингер и опять плачет. — Ты поступила со мной как самая последняя тварь, и я тебе не верю. А кроме того, если будешь жить здесь, кончится тем, что ты уворуешь всю нашу шерсть. И все сыры пойдут на твою семью, а не на мою.

— Сама ты тварь! — говорит Олина.

Ингер плачет, то и дело вытирая глаза, изредка произносит фразу-другую. Олине, конечно, не след навязываться, она может и дальше жить у своего сына Нильса. Но когда Ингер посадят в тюрьму, Исааку и невинным малюткам придется несладко. Олина же не прочь пожить здесь и присмотреть за ними. Она изображает все в радужных красках, вовсе не так уж все и плохо.

— Пока суть да дело, подумай об этом, — говорит она.

Ингер убита. Она не переставая плачет и качает головой, не поднимая глаз от пола. Как лунатик, выходит она в кладовку и выносит гостье узелок с припасами.

— Да нет, не беспокойся, — говорит Олина.

— Не идти же тебе голодной через перевал, — отвечает Ингер.

Когда Олина уходит, Ингер бредет к двери, выглядывает во двор, прислушивается. Нет, от каменоломни не доносится ни звука. Она подходит ближе и слышит, как дети играют в камешки. Исаак сидит, зажав между колен лом, опираясь на него как на посох. Так и сидит.

Ингер крадется на опушку леса. В одном месте неподалеку она врыла в землю маленький крест, крест повален, а там, где он стоял, дерн приподнят и земля разрыта. Она садится и руками снова сгребает землю. Так и сидит.

Она пришла сюда из любопытства, взглянуть, как сильно раскопала Олина могилку, а сидит потому, что скотина еще не вернулась с пастбища домой. Она плачет и качает головой, уставясь в землю.

VII

Дни идут.

Погода стоит чудесная: то светит солнце, то перепадают дожди, по погоде и всходы. Новоселы почти закончили с покосом и собрали пропасть сена, для него не хватает уже места, они складывают сено под скальными выступами, в конюшне, под домом, освобождают сарай от всего, что в нем есть, набивая и его до крыши. Ингер работает на равных с мужем с утра до позднего вечера. Если случается быть дождю, Исаак пользуется всяким перерывом, чтобы поскорее подвести новый сарай под крышу и, главное, закончить южную стенку, чтобы убрать в сарай все сено. Дело подвигается быстро, авось он скоро с ним управится!

Случившаяся великая беда — да, она не забылась, деяние совершено, и последствий не избежать. Все хорошее большей

частью проходит бесследно, все злое всегда влечет за собой последствия. Исаак с самого начала отнесся к происшедшему очень разумно, он только и сказал жене:

— Как же ты это сделала?

На это Ингер ничего не ответила.

Немного спустя Исаак опять заговорил:

— Ты что же, задушила его?

— Да, — сказала Ингер.

— Зря ты это сделала.

— Да, — ответила она.

— И не пойму я, зачем ты это сделала?

— Она была вылитая я, — ответила Ингер.

— Как это?

— Такой же рот.

Исаак долго думал.

— Вон оно что, — промолвил он.

В тот день они больше об этом не говорили, и оттого, что дни проходили так же спокойно, как раньше, да к тому же столько накосили сена, которое надо было убрать, да ожидался такой же необыкновенный урожай, преступление мало-помалу отходило в их мыслях на задний план. Но все время оно висело над ними и над их кровом. Им не приходилось рассчитывать на молчание Олины, слишком уж оно было ненадежно. Но даже если б Олина и смолчала, заговорили бы другие, обрели бы дар слова немые свидетели — стены в избе, деревья вокруг маленькой могилки в лесу; Ос-Андерс возьмет да и намекнет об этом кое-кому, сама Ингер выдаст себя во сне или наяву. Они приготовились к самому худшему.

А что же было Исааку делать, как не принять все случившееся разумно? Он понимал теперь, почему Ингер каждый раз старалась остаться одна во время родов, одна пережить великий страх за рождение нормального ребенка, одна встретить опасность. Трижды проделывала она это. Исаак качал головой и жалел ее за злую долю. Бедняжка Ингер! Он узнал о посылке с зайцем, которую принес ей лопарь, и оправдал Ингер. Все это привело к великой нежности между ними, к сумасшедшей любви, опасность сблизила их; она была полна к нему грубоватой

ласки, а он безумствовал и никак не мог насытиться ею, это онто, мельничный жернов, чурбан! Она ходила в лопарских комагах, но лопарского в ней ничего не было, она не походила на маленьких, сморщенных лопарок, а наоборот, была стройная и высокая. Сейчас, в летнюю пору, она ходила босая, высоко обнажив икры, и от этих голых икр Исаак не мог оторвать глаз.

Все лето она продолжала распевать псалмы и учить Элесеуса молитвам, но стала совсем не по-христиански ненавидеть всех лопарей и без стеснения выпроваживала тех, что проходили мимо их жилья.

— Может, вас подослал кто-нибудь, опять у вас, чего доброго, в мешке сидит заяц, ступайте себе мимо!

— Заяц? Какой такой заяц?

— Ты разве не слыхал, какую штуку выкинул Ос-Андерс?

— Нет.

— Ладно уж, я скажу тебе: он принес сюда зайца, когда я ходила тяжелая.

— Слыханное ли дело! Что ж, тебе вышел от этого какой-нибудь вред?

— Не твоя забота, ступай себе дальше. Вот возьми поесть и уходи подобру-поздорову!

— Не найдется ли у тебя кусочка кожи подложить под комаги?

— Нет. А вот жердью тебя угощу, если не уйдешь!

Лопарь, он клянчит тихо и смиренно, но если ему отказать, он копит в сердце зло и мстит. Однажды мимо хутора проходили двое лопарей с двумя детьми. Послали они детей в избу попросить подаяния, те вернулись ни с чем, объяснив, что в избе никого нет. Все семейство постояло немножко возле дома, побормотало что-то по-лопарски, потом мужчина сам отправился посмотреть. Он долго не возвращался. Следом за ним пошла жена, потом дети, все они набились в избу, лопоча по-лопарски. Муж сунул голову в клеть, но и там никого не было. Начали бить часы, и все семейство как завороженное замерло на месте.

Почуяв, должно быть, во дворе чужих, Ингер поспешно сбежала с косогора, а увидев, что это лопари, и лопари совсем ей незнакомые, напрямик их спросила:

— Чего вам здесь надо? Разве вы не видели, что в доме никого нет?

— Как же, — говорит лопарь.

Ингер продолжает:

— Ступайте прочь!

Семейство медленно и неохотно пятится к выходу.

— Мы остановились послушать твои часы, — говорит мужчина, — они так замечательно играют.

— Не найдется ли у тебя ломтика хлеба для нас? — просит жена.

— Откуда вы? — спрашивает Ингер.

— Из-за озера, с той стороны. Всю ночь шли.

— А куда идете?

— За перевал.

Ингер идет и отбирает им съестного; когда она возвращается, жена принимается клянчить лоскуток на шапку, моток шерсти, кусочек сыру, все-то ей нужно! Ингер некогда, Исаак с детьми остались на сенокосе.

— Ступайте себе, — говорит она.

Женщина льстит:

— Мы видели твою скотину на пастбище, вот это скотина, чисто звезды на небе!

— Замечательная! — подхватывает и муж. — Не будет ли у тебя парочки старых комаг?

Ингер запирает дверь в избу и возвращается на косогор. Тогда мужчина кричит что-то, а она притворяется, будто не расслышала, и продолжает идти, но на самом-то деле она все хорошо расслышала.

— Правда ли, что ты покупаешь зайцев?

Как тут было не понять? Лопарь, может, задал вопрос и без всякой задней мысли, просто слыхал от кого-нибудь про зайца, а может, спросил и со зла; но для Ингер, во всяком случае, это было не иначе как предупреждение. Предостережение судьбы...

Дни шли. Новоселы были люди здравые, пусть будет что будет, они делали свою работу и ждали. Они жили тесно, бок о бок, как звери в лесу, спали, ели; вот уж и новой картошки от-

ведали, и она оказалась крупной и рассыпчатой. Удар — почему же они медлят нанести удар? Стоял конец августа, скоро сентябрь, неужели они благополучно проживут и зиму? Они были все время начеку, каждый вечер они вместе заползали в свою берлогу, радуясь, что день прошел и ничего не случилось. Так время проползло до октября, когда к ним приехал ленсман, а с ним человек с портфелем. Через их порог шагнул закон.

Дознание заняло довольно много времени, Ингер допрашивали с глазу на глаз, она ничего не отрицала, могилу в лесу разрыли, труп вынули, забрали для вскрытия. Крошечный трупик был обернут в крестильное платьице Элесеуса, на голове — расшитый бусинками чепчик!

Исаак снова обрел дар речи.

— Ну вот, теперь-то уж нам будет хуже некуда, — сказал он. — А я одно говорю: зря ты это сделала.

— Да, — ответила Ингер.

— Как же ты на это пошла?

Ингер молчала.

— И как у тебя рука поднялась!

— Она была точь-в-точь как я. Тогда я свернула ей лицо на сторону.

Исаак покачал головой.

— Она сразу и померла, — продолжала Ингер и зарыдала.

Исаак помолчал.

— Ну, ну, теперь поздно плакать, — сказал он.

— У нее были темные волосики на затылке, — всхлипывала Ингер.

На этом все и кончилось.

И опять пошли дни. Ингер не арестовали, начальство отнеслось к ней милостиво, ленсман Хейердал допрашивал ее, как стал бы допрашивать всякого другого, и только сказал:

— Печально, что случаются такие вещи!

На вопрос Ингер, кто на нее донес, ленсман ответил, что никто в отдельности, но слышал он об этом деле с разных сторон от многих. Не выдала ли она себя сама какому-нибудь лопарю?

Ингер: да, она рассказывала каким-то лопарям, как Ос-Андерс пришел к ней середь лета с зайцем, и от этого у ребенка,

которого она носила под сердцем, сделалась заячья губа. А не Олина ли послала зайца?

Ленсман этого не знал. Но если даже и так, он все равно не стал бы заносить в протокол пример такого невежества и суеверия.

— Моя мать тоже увидала зайца, когда меня носила, — сказала Ингер...

Овин был готов, он вышел большим, с сеновалами по обоим концам и гумном посредине. Сарай и прочие временные склады очистили, а сено снесли в овин, ячмень сжали, высушили на жердинах и тоже свезли в овин, Ингер повыдергала морковь и репу. Все было убрано. Теперь только бы жить да радоваться, у новоселов всего припасено вдоволь, Исаак опять принялся распахивать до заморозков новь, увеличивая ячменное поле, — настоящий он был пахарь; но в ноябре Ингер сказала:

— Сейчас ей бы исполнилось полгодика, и она бы уже всех нас узнавала!

— Теперь уж ничего с этим не поделаешь, — отвечал Исаак.

Зимой Исаак молотил ячмень в новом овине, а Ингер долгими часами, пока дети играли на сеновале, работала с ним рядом, орудуя цепом не хуже его. Зерно выдалось крупное и полновесное. К новому году установился отличный санный путь. Исаак начал возить дрова в село, у него были уже постоянные покупатели, хорошо плативши за дрова летней сушки. Однажды он сговорился с Ингер взять поеного бычка от Златорожки и свезти его вместе с козьим сыром мадам Гейслер. Мадам пришла в восторг и спросила, сколько все это стоит.

— Ничего, — отвечал Исаак. — Ленсман заплатил за все.

— Благослови его Господь, неужели заплатил! — сказала мадам Гейслер и совсем растрогалась. Она послала Элесеусу и Сиверту книжек с картинками, игрушек и печенья. Когда Исаак вернулся домой и Ингер увидела подарки, она отвернулась и заплакала.

— Что с тобой? — спросил Исаак.

— Ничего. Вскорости ей был бы годик, и она бы уж все понимала! — отвечала Ингер.

— Да, но ты ведь знаешь, какая она уродилась, — сказал Исаак, желая ее утешить. — А кроме того, может, все еще и обойдется. Я разузнал, где сейчас Гейслер.

Ингер подняла голову.

— Разве он может помочь?

— Не знаю.

Потом Исаак повез ячмень на мельницу, смолол его и вернулся домой с мукой. А там опять принялся за рубку леса, заготавливая дрова на будущий год. Жизнь его проходила в смене одной работы на другую в зависимости от времен года, от земли к лесу и от леса опять к земле. Миновало уже шесть лет, как Исаак работал на своем хуторе, а Ингер — пять, все могло бы быть хорошо, если б так продолжалось и дальше. Но этому не суждено было быть. Ингер ткала и ходила за скотом, она также усердно пела псалмы, но, Господи, по части пения она была что колокол без языка.

Как только установился путь, ее вызвали в село для допроса. Исааку пришлось остаться дома. Пока он оставался один, он надумал съездить в Швецию и разыскать Гейслера, может, добрый ленсман опять пожалеет жителей Селланро. Но когда Ингер вернулась, оказалось, что она уже обо всем разузнала, справилась и насчет приговора: согласно параграфу первому, ей полагается пожизненное заключение. Да, она встала в самом святилище правосудия и откровенно во всем призналась, двое свидетелей из деревенских смотрели на нее жалостливо, а судья допрашивал очень ласково; но все равно ей было не устоять перед светлыми головами законников. Высокопоставленные судейские господа такие искусники, они знают всякие параграфы, выучили их наизусть и все помнят, вот какие у них светлые головы. Но и они не без здравого смысла, даже и не без сердца. Ингер не могла пожаловаться на правосудие; она не рассказала про зайца, но когда, вся в слезах, призналась, что пожалела свое уродливое дитя и потому лишила его жизни, судья тихонько и серьезно кивнул головой.

— Но у тебя самой заячья губа, — сказал он, — а ведь ты же хорошо устроилась?

— Да, слава Богу, — ответила Ингер. И ничего не рассказала о тайных страданиях, пережитых в детстве и юности.

Но судья все-таки, должно быть, кое-что понял, он сам был хромоногий и не мог танцевать.

— Приговор... право, не знаю! — сказал он. — Собственно, полагается пожизненное заключение. И я не знаю, можем ли мы понизить срок и насколько, вторую ли взять нам ступень или третью — с пятнадцати лет до двенадцати или с двенадцати до девяти. Сейчас заседает комиссия по смягчению уложения о наказаниях, пока еще решения не принято. Но будем надеяться на лучшее, — сказал он.

Ингер вернулась домой в тупом спокойствии, арестовать ее признали ненужным. Прошел месяц-другой, и вот однажды вечером Исаак, вернувшись с рыбной ловли, узнал, что в Селланро побывали ленсман и новый пристав. Ингер встретила Исаака радостно и расхвалила его, хотя рыбы он принес совсем мало.

— Что это я хотел сказать, у нас тут были гости? — спросил он.

— Гости? Ты о ком?

— Я вижу свежие следы перед домом. Кто-то ходил тут в сапогах.

— Никого чужих не было, кроме ленсмана и еще одного с ним.

— Так. Чего же им было нужно?

— Сам знаешь.

— Они приезжали за тобой?

— Ну вот, за мной! Они просто привезли приговор. И скажу тебе, Исаак, Господь милостив к нам, все вышло не так, как я боялась.

— Ну, — в волнении проговорил Исаак, — значит, не так уж надолго?

— Да, всего несколько лет.

— Сколько же?

— Тебе, наверно, покажется, что много, но я-то благодарна Господу на всю жизнь!

Ингер так и не сказала, на сколько ее приговорили. Позже вечером Исаак спросил, когда за ней приедут, но она не знала или не хотела сказать. Она опять стала задумчива и все повторяла, что не представляет себе, как все пойдет без нее, навер-

ное, придется все-таки взять Олину. Исаак тоже ничего другого не мог придумать. Да, кстати, куда же девалась Олина? Против обыкновения она в этом году не наведалась в Селланро. Неужто она всерьез решила не показываться у них после того, как все им расстроила? Наступил перерыв в работах, но Олина не объявлялась. Ждет, поди, чтоб за ней послали! Небось все равно придет побираться, тварь этакая!

Наконец Олина явилась. Господи, вот ведь человек, пришла как ни в чем не бывало, словно ничего и не произошло, сказала даже, что принесла Элесеусу пару чулок с каемкой.

— Захотелось мне посмотреть, как вы тут поживаете за перевалом, — заявила она.

Оказалось, она к ним надолго, а мешок со своими пожитками опять оставила в лесу.

Вечером Ингер отвела мужа в сторонку и сказала:

— Ты, кажется, хотел попробовать разыскать Гейслера? Сейчас-то аккурат самое время.

— Да, — ответил Исаак, — раз Олина здесь, могу пойти завтра же с утра.

Ингер очень обрадовалась.

— Да захвати с собой все деньги, какие у тебя есть.

— Ты разве не можешь их спрятать?

— Нет.

Ингер сейчас же приготовила большую торбу с едой, а Исаак встал среди ночи и собрался в путь. Ингер проводила его на крыльцо и не плакала, не жаловалась, а только сказала:

— Дело в том, что за мной могут приехать в любой день.

— Ты что-нибудь знаешь?

— Откуда мне знать! Глядишь, это и не сейчас еще будет. Только бы ты нашел этого Гейслера, он, верно, что-нибудь присоветует!

Что теперь мог сделать Гейслер? Ничего. Но Исаак пошел.

Да, только... только Ингер наверняка кое-что знала, может, она же сама и позаботилась послать за Олиной. Когда Исаак вернулся из Швеции, Ингер уже увезли. При детях осталась Олина.

Для Исаака это была тяжелая весть.

— Она уехала? — громко спросил он.

— Да, — ответила Олина.

— В какой день это было?

— На другой день после того, как ты ушел.

Исаак понял, что Ингер снова решила остаться одна в решительную для нее минуту, оттого-то и велела ему взять с собой все деньги. Ох, а Ингер и самой, наверно, понадобилась бы кое-какая мелочь в дальнюю дорогу!

Но вышло так, что мальчуганы сейчас же занялись маленьким желтеньким поросенком, которого Исаак привез с собой. Впрочем, больше ничего он и не привез! Имевшийся у него адрес Гейслера устарел, Гейслера в Швеции не было, он вернулся в Норвегию и жил в Тронхейме. А поросенка Исаак нес на руках всю дорогу из Швеции, кормил его молоком из бутылки и клал спать к себе на грудь; ему хотелось порадовать Ингер, и вот теперь с ним играют и забавляются Элесеус и Сиверт. Это несколько развеселило Исаака. Вдобавок Олина сказала: ленсман просил передать ему, что казна согласилась наконец продать Исааку Селланро и ему надо только прийти к ленсману в контору и заплатить деньги. Это было хорошее известие, оно вывело Исаака из его тяжкого уныния. Несмотря на страшную усталость, он положил в торбу припасов и сейчас же отправился в село. Наверное, в нем тлела маленькая надежда, что он еще успеет захватить там Ингер.

Сорвалось, Ингер уехала на восемь лет. На душе у Исаака стало пусто и мрачно, он едва слышал, что говорил ленсман: печально, что случаются такие вещи. Он надеется, что Ингер это послужит хорошим уроком, она изменится, исправится и не будет больше убивать своих детей!

Ленсман Хейердал в прошлом году женился. Жена его не хотела быть матерью, решив не иметь детей, благодарю покорно! У нее их и не было.

— Наконец-то мы можем покончить с делом Селланро, — сказал ленсман. — Королевское министерство согласилось на продажу приблизительно на тех условиях, что я предложил.

— Так, — сказал Исаак.

— Тянулось оно долго, но меня утешает, что мои труды не пропали даром. Все, что я изложил, прошло почти точка в точку.

— Точка в точку, — повторил Исаак и кивнул головой.

— Вот купчая, тебе остается затвердить ее на первом же заседании суда.

— Ладно, — сказал Исаак. — А сколько мне придется платить?

— Десять далеров в год. В этот пункт министерство внесло маленькое изменение — десять далеров в год вместо пяти. Не знаю, как ты к этому отнесешься.

— Только бы мне справиться, — сказал Исаак.

— Срок — десять лет.

Исаак испуганно поглядел на него.

— Иначе министерство не соглашается, — сказал ленсман. — Да это, в сущности, вовсе и не цена за такой большой участок, обработанный и обустроенный, как у тебя.

Десять далеров на этот год у Исаака имелись, он выручил их за дрова и за козий сыр, который сделала Ингер. Он уплатил деньги, и еще немножко осталось.

— Прямо счастье для тебя, что министерство не проведало о преступлении твоей жены, — сказал ленсман, — а не то, может статься, передало бы участок кому-нибудь другому.

— Так, — сказал Исаак и спросил: — Стало быть, она и впрямь на восемь лет уехала?

— Да, тут уж ничего не поделаешь, правосудие должно совершиться. Впрочем, приговор ей вынесли мягче мягкого. Теперь тебе остается одно: проведи четкие границы между своим участком и казной. Выруби лес и кустарник по прямой линии по тем вехам, что я расставил и отметил в протоколе. Дрова пойдут в твою пользу. Я приеду немного погодя посмотреть.

Исаак отправился домой.

VIII

Быстро ли идут годы? Да, для того, кто состарился.

Исаак не был стар и немощен, для него годы тянулись долго. Он работал на своей усадьбе, предоставив железной своей бороде расти, как ей заблагорассудится.

Временами череду однообразных дней в этом пустынном уголке нарушал мимохожий лопарь или какое-нибудь происшествие с одним из домашних животных, потом все снова шло по-старому. Однажды к ним пожаловала целая толпа мужчин, они сделали привал в Селланро, поели, попили молока, расспросили Исаака и Олину о тропинке через горы, сказав, что идут проводить телеграфную линию, а в другой раз приехал Гейслер — сам Гейслер. Он беспрепятственно пришел из села в сопровождении двух людей, нагруженных горным инструментом, заступами и мотыгами.

Ох уж этот Гейслер! Он был все такой же, как раньше, нисколько не изменился, поздоровался, поговорил с детьми, вошел в избу, опять вышел, оглядел землю, заглянул на скотный двор, на сеновал.

— Превосходно! — сказал он. — У тебя еще сохранились те камешки, Исаак?

— Какие камешки? — переспросил Исаак.

— Те мелкие тяжелые камни, с которыми твой мальчуган играл в тот раз, когда я был здесь?

Камни оказались в кладовке, они лежали вместо гирек на мышеловках, их тотчас принесли. Ленсман и двое чужаков стали их рассматривать и обсуждать, постукивали по ним, взвешивали на руке.

— Медная лазурь! — сказали они.

— Можешь пойти с нами в горы и показать, где ты нашел эти камни? — спросил ленсман.

Все вместе отправились в горы, и хоть идти было недалеко, они все-таки проходили там несколько дней, взрывая в поисках металлоносных жил скалы. Домой вернулись с двумя торбами, битком набитыми каменной мелочью.

Исааку удалось заодно поговорить с Гейслером обо всех своих обстоятельствах, о покупке участка, который обошелся в сто далеров вместо пятидесяти.

— Ну, это не играет никакой роли, — легкомысленно бросил Гейслер. — У тебя в горах ценностей, может быть, на тысячи.

— Ну! — сказал Исаак.

— Только ты как можно скорее затверди купчую.

— Ладно.

— А не то, понимаешь, казна начнет с тобой тяжбу.

Исаак понял.

— Но самая большая беда у меня с Ингер, — сказал он.

— Да, — отозвался Гейслер и непривычно для себя надолго задумался. — Пожалуй, можно бы добиться пересмотра дела. Если все как следует прояснить, ей, глядишь, немножко сбавят наказание. А то можно подать прошение о помиловании, и тогда мы добьемся того же, но только скорее.

— Вы так считаете?

— Но просить о помиловании еще рано. Надо, чтоб прошло некоторое время. Что это я хотел сказать? Ах да, ты ведь отвез моей семье мяса и козьего сыра — сколько я тебе должен?

— Нисколько, вы и так уже мне много заплатили.

— Я?

— Вы ведь так помогли нам.

— Ну нет, — отрезал Гейслер и выложил на стол несколько далеров. — Возьми! — сказал он.

Этот человек ничего не хотел брать задаром, и денег у него опять было как будто вдоволь, бумажник был набит бумажками. Бог весть, так ли уж у него все замечательно.

— Она пишет, что живется ей хорошо, — продолжал Исаак, весь в мыслях о своем.

— А-а, твоя жена-то?

— Да. А с тех пор, как у нее родилась девочка... у нее ведь родилась большая и здоровенькая девочка...

— Превосходно!

— Да, с тех пор все помогают ей и, говорит, относятся к ней хорошо.

Гейслер сказал:

— Я пошлю эти камешки специалистам и узнаю, что в них есть. Если в них окажется много меди, ты получишь много денег.

— Так, — кивнул Исаак. — А через сколько времени, по-вашему, можно подать прошение о помиловании?

— Немного погодя. Я напишу за тебя. Скоро опять приеду. Ты сказал, твоя жена родила уже после того, как уехала отсюда?

— Да.

— Значит, ее увезли беременной. А этого делать они не имели права.

— Так.

— Это лишний повод, чтоб выпустить ее через некоторое время.

— Вот хорошо-то было бы! — с благодарностью проговорил Исаак.

Исаак не знал, что властям уже пришлось сочинить много длинных бумаг по поводу беременности его жены. В положенное время ее не арестовали по месту жительства по двум причинам: за неимением в селе арестного дома и из мягкосердия. Последствия оказались неожиданными. Когда за Ингер все же приехали, никто не осведомился о ее состоянии, и сама она тоже ничего не сказала. Может, она промолчала умышленно, чтоб иметь при себе ребенка в предстоящие тяжелые годы: если она будет хорошо вести себя, наверно, ей позволят когда-никогда с ним повидаться. А может, она просто отупела и равнодушно примирилась с тем, чтобы ее увезли, несмотря на ее положение...

Исаак трудился не покладая рук — корчевал пни, пахал землю, прорубил в лесу границы между своим участком и казной, дров опять набралось на целый год. Но так как при нем уже не было Ингер, ради которой стоило бы стараться, то он лез из кожи больше по привычке, чем ради удовольствия. Он пропустил уже два судебных заседания, так и не засвидетельствовав купчей, — не лежало у него к этому сердце, — и только нынче осенью наконец собрался это сделать. Не так уж все хорошо было у него. Терпеливый и упорный — все верно, но он был терпелив и упорен, потому что так уж привык жить. Он снимал козьи и телячьи шкуры, вымачивал их в реке, обкладывал корой, выделывал на изготовку обуви. Зимой уже с первой молотьбы он отбирал семена для будущей весны — пусть это будет сделано, куда как лучше, когда все сделано вовремя, он был человек порядка. Но жизнь его стала серой и одинокой, о-ох, Господи, как был, так и есть — бобыль бобылем.

Что за радость ему теперь сидеть по воскресеньям в нарядной красной рубахе, в горнице, когда не для кого стало наря-

жаться! Воскресенья тянулись дольше всех дней, они осуждали его на праздность и печальные мысли, ему ничего не оставалось, как только бродить по усадьбе, соображая, что еще осталось сделать. Всякий раз он брал с собой мальчуганов, неся одного из них на руках. Приятно было слушать их болтовню и отвечать на их вопросы.

Старуху Олину он держал при себе, потому что никого другого больше не было. Что и говорить, иметь в доме Олину было вовсе не так уж плохо, она чесала шерсть и пряла, вязала чулки и варежки и тоже варила козий сыр; но рука у нее была несчастливая и работала она без любви, потому что ничто из того, к чему она прикасалась, ей не принадлежало. Вот, например, купил как-то Исаак у торговца, еще при Ингер, очень хорошенькую коробочку, она стояла на полке, затейливая глиняная коробочка с собачьей головой на крышке, должно быть, табакерка; сняла как-то Олина крышку с коробочки и уронила на пол. Ингер отсадила в ящик несколько отводков фуксии, прикрыв их стеклом; Олина подняла стекло и положила опять на место, но как-то неловко и слишком плотно, — на следующий день все отводки погибли. Исааку, верно, неприятно было глядеть на все это, он, должно быть, и скривился, а так как с виду он и без того был не особенно кроткий, то, пожалуй, выражение лица у него стало не очень-то доброе. Но Олину так просто не возьмешь.

— Не нарочно ведь! — буркнула она.

— Знаю, — ответил Исаак, — но ты бы лучше не трогала.

— Больше я не прикоснусь к ее цветам, — сказала Олина. Но они уже все равно погибли.

И почему это лопари стали теперь захаживать в Селланро гораздо чаще, чем прежде? Ос-Андерс — какие такие у него тут дела, неужто он не может просто пройти мимо? За одно лето он дважды ходил через перевал, а ведь у Ос-Андерса не было оленей, за которыми надо присматривать, он кормился подаянием и жил из милости у других лопарей. Стоило ему появиться на хуторе, как Олина тотчас бросала работу и принималась сплетничать с ним о знакомых сельчанах, а когда он уходил, мешок у него бывал туго набит всякой всячиной. Исаак угрюмо молчал два года.

Но вот Олине опять понадобились новые ботинки, и тут уж он не стал молчать. Была осень, Олина же каждый день трепала ботинки, вместо того чтоб ходить в комагах или деревянных башмаках. Исаак сказал:

— Нынче хорошая погода. Гм! — Это для начала.

— Да, — ответила Олина.

— Послушай-ка, Элесеус, разве утром на полке было не десять сыров? — спросил Исаак.

— Да, десять, — ответил Элесеус.

— А сейчас только девять.

Элесеус снова пересчитал сыры, задумался ненадолго и вдруг вспомнил:

— Ну да, а еще тот, что унес Ос-Андерс, вот и будет десять.

В горнице воцарилось молчание. Маленький Сиверт тоже принялся считать и повторил за братом:

— Вот и будет десять.

Снова воцарилось молчание. Олине ничего не оставалось, как объясниться:

— И что из того, что я дала ему крошечный сырок? А детям еще рано соваться не в свои дела. Теперь-то понятно, в кого они уродились! И уж точно, что не в тебя, Исаак.

На этот намек никак нельзя было не ответить.

— Дети такие, как надо. А вот ты скажи мне, какие такие благодеяния оказал Ос-Андерс мне и моей семье?

— Благодеяния? — переспрашивает Олина.

— Да.

— Он-то, Ос-Андерс? — говорит она.

— Да. За что это я должен давать ему козьи сыры?

Но Олина уже пришла в себя и дает следующий ответ:

— Господь с тобой, Исаак! Да разве это я привадила Ос-Андерса? Помереть мне на этом месте, если я когда с ним заговаривала!

Блестяще. Исаак вынужден сдаться, как и много раз прежде. Олина же и не думает сдаваться!

— А коли я должна ходить на зиму глядя босая и не иметь божеской обутки на ноги, то ты мне так и скажи. Я говорила

тебе про ботинки и три и четыре недели назад, но их и в помине нет, а я как ходила босая, так и хожу.

— А что такое приключилось с твоими деревянными башмаками, что ты их не носишь? — спрашивает Исаак.

— Что с ними приключилось? — недоумевает Олина.

— Да, позволь спросить.

— С деревянными башмаками?

— Да.

— Ты вот не заговариваешь о том, что я чешу шерсть и пряду, и хожу за скотиной, и держу детей в чистоте, об этом ты не заговариваешь! А ведь и жена твоя, которая попала в тюрьму, даже та, кажись, не ходила босиком по снегу.

— Она ходила в деревянных башмаках, — ответил Исаак. — А когда шла в церковь или к приличным людям, надевала комаги, — сказал он.

— Да, да, — отозвалась Олина, — этак ведь куда роскошней!

— Вот-вот. А летом вкладывала в комаги сухую осоку. Ты же круглый год расхаживаешь в чулках и ботинках!

Олина сказала:

— Что до этого, так мои деревянные башмаки, наверное, скоро вконец износятся. Вот уж не думала, что стану стаптывать такие хорошие башмаки ради чужих дел. — Она говорила тихим елейным голосом, глаза у нее были полузакрыты, а вид ласковый и коварный. — Эта твоя Ингер, — продолжала она, — мы ее звали подкидышем, — она только и знала, что терлась около моих детей и научилась кой-чему за все те годы. И вот теперь нам за это благодарность. Моя дочь в Бергене ходит в шляпке, может, и Ингер тоже поехала на юг, в Тронхейм, чтоб купить себе шляпку, хе-хе.

Исаак встал, намереваясь уйти. Но Олина уже дала волю своему сердцу, всей своей годами копившейся черной злобе, вся она была словно воплощение тьмы и мрака; ни у одной из ее дочерей, заявила она, лицо не разорвано, словно у мечущего пламя хищного зверя, вот и вышли они честные и добропорядочные. Не все ведь так хватко умеют убивать детей!

— Поосторожнее! — крикнул Исаак и, чтоб прояснить свою мысль, прибавил: — Экая чертова баба!

Но Олина и не собиралась осторожничать, ха-ха-ха! Олина ухмыльнулась, закатила глаза к потолку, давая понять, какое это, в сущности, безобразие — ходить себе как ни в чем не бывало с заячьей губой средь других людей. Надо же иметь совесть!

Исаак был несказанно рад, когда ему удалось наконец вырваться из дома. И что же ему оставалось делать, как не купить Олине ботинки? Один в этой лесной глухомани, он не мог, как другие равные богам счастливцы, скрестить руки на груди и заявить служанке: «Уйди!» Столь ему необходимая, она была в полной безопасности, что бы ни сказала и что бы ни сделала.

Ночи стоят прохладные и лунные, болота застывают так, что при необходимости могут выдержать и человека, за день солнце опять растапливает их, и они снова становятся непроходимыми. В одну из таких холодных ночей Исаак отправляется в село заказать Олине ботинки. Он несет с собой два козьих сыра для мадам Гейслер.

На полдороге к селу уже поселился новый сосед. Должно быть, человек со средствами: дом ему строили плотники из села, и вдобавок он нанял работника вспахать полоску песчаной земли под картошку; сам он работал мало, а то и вовсе не работал. Это был Бреде Ольсен, подручный ленсмана и пристав, к которому обращались всякий раз, когда надо было послать за доктором или когда жена пастора собиралась заколоть свинью. Ему еще не исполнилось и тридцати, а кормить приходилось четверых детей, не считая жены, которая и сама-то была не лучше ребенка. Да, средств у Бреде было, верно, не очень много, не много наживешь, служа всем затычкой да разъезжая по округе и составляя описи за недоимки; и вот он решил заняться земледелием. Под дом свой на хуторе он взял ссуду в банке. Участок его назывался Брейдаблик, это жена ленсмана Хейердала придумала такое красивое название.

Исаак быстро проходит мимо, не завернув к соседу, но окно в доме облеплено детскими лицами, хотя еще совсем рано. Исаак торопится, ему хочется следующей ночью дойти до этого же места. Человеку в глуши много есть о чем подумать и ко много-

му приходится приспосабливаться. Сейчас у него на уме не столько работа, как он скучает по мальчуганам, оставшимся дома с Олиной.

Дорогой он вспоминает, как впервые появился в этих местах. Время идет своей чередой, последние два года тянулись долго; много чего было хорошего в Селланро, кое-чего было и плохого, о-ох, Господи! Вот, стало быть, и еще один хуторок появился в тутошней глуши, Исаак признал это место, одно из тех удобных мест, которые он сам отыскал тогда на своем пути, но в конце концов прошел мимо. Оно ближе к селу, это правда, но лес здесь не так хорош; местность ровная, но болотистая; землю легко поднять, но трудно копать. Вспаханное болото еще ведь не поле! И что это значит, неужто Бреде не думает устроить навес сбоку сеновала для инструмента и повозок? Исаак заметил, что телега стоит посреди двора, под открытым небом.

С сапожником он обо всем договорился, а мадам Гейслер, оказывается, уехала, поэтому сыры он продал торговцу. Вечером он отправляется домой. Мороз все крепчает, так что идти легко, но на душе у Исаака тяжело. Бог весть когда теперь придет Гейслер, раз и жена его уехала, может, вовсе никогда не вернется. Ингер нету, а время идет.

На обратном пути он тоже не заходит к Бреде, нет, он делает крюк и обходит Брейдаблик стороной. Ему не хочется ни с кем говорить, только бы идти. «А телега-то у Бреде все еще стоит на дворе, пожалуй, так и останется на зиму!» — думает он. Ну да, каждому свое! Вот у него самого, у Исаака, и телега есть, и навес для нее, а лучше ли ему от этого? Дом у него только наполовину дом, был когда-то целым, а теперь только половина осталась.

Когда среди дня он наконец издали видит свой дом на откосе, на душе у него светлеет, хотя он устал и измучен после двух суток пути: дом стоит как стоял, из трубы вьется дым, оба мальчика играют на дворе; едва завидев его, они бегут ему навстречу. Он входит в избу, в горнице сидят два лопаря, Олина в удивлении встает со скамейки.

— Что это? Ты уж вернулся? — говорит она. Она варит кофе на плите. Кофе? Кофе!

Исаак и раньше замечал: когда к ним приходил Ос-Андерс или другие лопари, Олина варила кофе в маленькой Ингеровой кастрюльке. Она варит его и тогда, когда Исаак работает в лесу или в поле, если же он неожиданно приходит домой и видит это, она молчит. Но он знает, что всякий раз у него становится одним козьим сыром или мотком шерсти меньше. И потому у него хватает мудрости не поднимать руку на Олину за ее низость. В общем, Исаак старается быть все добрее и добрее, ради чего бы он это ни делал — то ли ради мира в доме, то ли в надежде, что Бог за это скорее возвратит ему Ингер. Он склонен к раздумьям и предрассудкам, даже его крестьянское лукавство искренне и простодушно. Осенью оказалось, что дерновая крыша в конюшне начала протекать над лошадью; Исаак пожевал-пожевал свою железную бороду, а потом улыбнулся, словно сообразив, в чем штука, и заложил крышу тесинами. У него не вырвалось ни одного сердитого слова. Другой пример: кладовая, в которой он держал съестные припасы, стояла на высоких каменных подпорках по углам. Мелкие птицы залетали в нее сквозь большие отверстия в каменной кладке и метались, не находя выхода. Олина жаловалась, что воробьи клюют провизию, портят и пачкают сало. Исаак сказал:

— Плохо, что птицы залетают, а вылететь не могут! — И в разгар спешной работы наломал камней и заложил отверстия.

Бог знает, что он думал при этом, может, надеялся, что Ингер скорее вернется к нему, если он будет совершать добрые поступки.

IX

Годы идут.

Опять приехал в Селланро инженер с бригадиром и двумя рабочими, и опять они собирались вести через горы телеграфную линию. Судя по всему, теперь линия пройдет чуть выше усадьбы, в лесу предполагалось прорубить широкую просеку,

ну что ж, это неплохо, здесь станет не так пустынно, мир ярким светом ворвался и сюда.

Инженер сказал:

— Тут будет центральный пункт между двух долин, тебе, может быть, предложат надзор за линией по обе стороны.

— Так, — сказал Исаак.

— Получать будешь двадцать пять далеров в год.

— Так, — сказал Исаак, — а что мне за это придется делать?

— Держать линию в порядке, чинить провода, если они порвутся, корчевать кусты, которые растут на линии. У тебя на стене будет висеть маленькая машинка, которая показывает, когда надо выходить на линию. И тогда бросай все свои занятия и иди.

Исаак призадумался.

— Я мог бы взять эту работу на зиму, — сказал он.

— На весь год, — возразил инженер, — разумеется, на весь год, и на зиму и на лето.

Исаак заявил:

— Весной, летом и осенью у меня полно работы на земле, ни на что другое времени нет.

Инженер добрую минуту смотрел на него, а после задал удивительный вопрос:

— Да разве ты на этом больше выгадаешь?

— Выгадаю? — переспросил Исаак.

— Разве ты больше заработаешь на земле за те дни, когда будешь обходить линию?

— Вот уж этого я не знаю, — ответил Исаак. — Только ведь живу-то я здесь ради земли. У меня большая семья, много скотины, всех надо прокормить. Мы живем землей.

— Ну что ж, — сказал инженер, — я могу предложить это место кому-нибудь другому.

Угроза эта, видимо, принесла Исааку большое облегчение, ему вовсе не хотелось обижать важного барина, и он поспешил объяснить:

— У меня ведь лошадь и пять коров, да еще бык. Два десятка овец и шестнадцать коз. Скотина дает нам пищу, и шерсть, и кожи, надо же ее кормить.

— Ясно, — коротко кивнул инженер.

— Да-да. Вот я и не знаю, как добуду ей корм, если в самую страду придется за телеграфом смотреть.

Инженер сказал:

— Не будем больше говорить об этом. Поручим надзор вашему соседу, Бреде Ольсену, он, наверное, с радостью согласится. — Инженер повернулся к своим спутникам: — Идемте дальше, ребята!

Олина по тону разговора верно поняла, что Исаак заупрямился, сделал глупость, и обрадовалась.

— Что это ты сказал, Исаак: шестнадцать коз? А ведь их сейчас только пятнадцать.

Исаак посмотрел на нее. И Олина тоже посмотрела прямо ему в глаза.

— Разве коз не шестнадцать? — спросил он.

— Нет, — ответила она и беспомощно взглянула на присутствующих, как бы подчеркивая его бестолковость.

— Так, — тихонько протянул Исаак. Он закусил зубами бороду и стал грызть ее.

Инженер и его спутники ушли.

Вздумай Исаак выразить Олине свое неудовольствие или, чего доброго, искалечить ее, то ему представлялся удобный случай, о, замечательный случай, они были в горнице одни, мальчики побежали провожать приезжих. Исаак стоял посреди комнаты, Олина сидела возле печки. Исаак дважды откашлялся, показывая, что собирается заговорить. Но он молчал, проявив этим свою душевную силу. Неужто он не знает собственных коз как свои пять пальцев? С ума сошла эта баба, что ли! И как это может пропасть из хлева хоть одна животина, когда он самолично ухаживает за ними и ежедневно со всеми разговаривает, со всеми шестнадцатью козами наперечет! Значит, Олина наверняка стащила одну козу, когда вчера сюда приходила женщина из Брейдаблика.

— Гм! — сказал Исаак, едва удерживаясь от искушения сказать что-нибудь еще. Что же сделала Олина? Может, и не прямое убийство, но не очень далеко от того. Для Исаака пропажа шестнадцатой козы была вопросом страшной серьезности.

Но не мог же он век стоять посреди горницы и молчать. Вот он и сказал:

— Гм. Так сейчас всего пятнадцать коз?

— Да, — кротко ответила Олина. — Посчитай сам, у меня больше пятнадцати не набирается.

Вот теперь, в эту самую минуту, он смог бы это сделать: протянуть руку и значительно изменить фигуру Олины одним хорошим тычком. Мог. Но не стал, а вместо этого храбро произнес, идя к двери:

— Сейчас я больше ничего не скажу! — И с этими словами вышел из комнаты с таким видом, как будто в следующий раз за этим дело не станет.

— Элесеус! — крикнул он.

Где Элесеус, куда подевались оба парнишки? Отец хотел обратиться к ним с вопросом, они уже большие мальчики, могли видеть, что делается в доме. Он обнаружил их под овином, они забились в самую глубину, снаружи их не видать, и выдали себя лишь боязливым шепотом. И вот они выползли на свет, словно два преступника.

Оказалось, что Элесеус нашел огрызок цветного карандаша, забытый инженером, а когда побежал отдать его, взрослые, широко шагавшие мужчины, были уже далеко в лесу; Элесеус остановился. У него явилась мысль, что, пожалуй, недурно бы оставить карандаш себе. Он кликнул маленького Сиверта, чтоб вместе решить это дело, и оба заползли со своей добычей под овин. Ну что за карандашик! — замечательное событие в их жизни, просто чудо! Они набрали щепок и исписали их значками, а карандаш писал с одного конца красным, с другого — синим; ребятишки писали поочередно. Когда отец стал настойчиво и громко звать их, Элесеус прошептал:

— Небось вернулись за карандашом! — Радость сразу померкла, ее точно вымело из души, их маленькие сердечки сильно забились, застучали. Братья выползли наружу. Элесеус протянул отцу руку с карандашом: вот он, они его не сломали, но лучше бы он никогда не попадался им на глаза!

Никакого инженера во дворе не оказалось. Сердца их опять успокоились, после пережитого волнения они вновь ощутили райское блаженство.

— Здесь вчера была женщина, — сказал отец.

— Да, а что?

— Соседка снизу. Вы видали, как она уходила?

— Да-а!

— Была с ней коза?

— Нет, — сказали мальчики. — Коза?

— С ней была коза, когда она уходила домой?

— Нет. Какая коза?

Исаак погрузился в размышления.

Вечером, когда скотина вернулась с пастбища, он пересчитал коз, их оказалось шестнадцать. Он пересчитал их снова, он пересчитывал их пять раз — коз было шестнадцать. Ни одна не пропала.

Исаак вздохнул с облегчением. Как же это понимать? Олина, тварь этакая, должно быть, не умеет считать до шестнадцати.

Он с досадой сказал ей:

— Что ты болтаешь и путаешь, ведь коз-то шестнадцать!

— Разве шестнадцать? — невинно спросила она.

— Да.

— Ну-у. Так, так.

— Нечего сказать, хорошо ты считаешь!

Олина ответила тихо и обиженно:

— Раз все козы налицо, значит, слава Богу, Олина ни одной не съела. Я рада за нее!

Она удивила его этой загадкой и успокоила. Больше он скотину не пересчитывал, ему даже в голову не пришло пересчитать овец. Выходит, Олина вовсе не так уж плоха; как-никак она ведет его дом и хозяйство, ходит за его скотиной, она просто очень глупа и вредит только самой себе, а не ему. Бог с ней, пусть живет, что с нее взять. Но серой и безрадостной казалась жизнь Исааку.

Прошли годы. На крыше избы выросла трава, даже крыша овина, которая была на несколько лет моложе, стояла зеленая.

Лесные мыши давно уже пробрались в кладовую. На хуторе развелось много синиц и других мелких пташек, на бугре жили тетерки, налетели даже грачи и вороны. А самое удивительное случилось прошлым летом: вдруг прилетели чайки с побережья, прилетели за много миль с моря и опустились на землю, на этом участке в глуши! Вот какую известность приобрел на белом свете хуторок! А как по-вашему, какие мысли зашевелились у Элесеуса и маленького Сиверта, когда они увидели чаек? Птицы были незнакомые, из далеких-далеких краев, их было немного, но все-таки шесть штук, беленькие, одна в одну, они расхаживали пешочком по земле, изредка пощипывая травку.

— Отец, зачем они сюда прилетели? — спросили ребятишки.

— Оттого, что почуяли на море грозу, — отвечал отец.

Вот ведь какие они загадочные и непонятные, эти чайки!

А сколько других полезных и хороших знаний преподал Исаак своим детям. Они уже настолько выросли, что пора было отдать их в школу, но школа находилась за много миль в селе, и до нее было не добраться. Исаак сам учил мальчиков азбуке по воскресеньям, за большим он и не гнался, нет, этот прирожденный землепашец за наукой не гнался, поэтому катехизис и священная история спокойненько лежали на полке, рядом с козьими сырами. Исаак, должно быть, полагал, что книжная неученость составляет до известной степени силу человека, и потому предоставлял детям расти свободно. Оба они были его радостью и благословением; Исаак часто вспоминал, какие они были крошечные и как мать не позволяла ему брать их на руки, потому что руки у него в смоле. Ха, смола, что может быть чище ее? Деготь, козье молоко или, скажем, костный мозг тоже здоровые и превосходные вещи, но смола, сосновая смола, — тут и толковать не о чем!

И вот дети блаженствовали, живя в грязи и невежестве, но в редкие дни, когда им случалось помыться, они были прехорошенькие, а маленький Сиверт был еще и крепыш. Элесеус, тот вышел потоньше и посерьезнее.

— А откуда чайкам знать, что собирается гроза? — спросил он.

— Они чуют погоду, — отвечал отец. — Но уж если на то пошло, никто так не чует погоду, как муха, — сказал он. — Бог ее

знает, что с ней делается в непогоду, ревматизм, что ли, разыгрывается, или головокружение начинается, или еще что. И муху никогда не надо отгонять, а то она еще хуже пристанет, — сказал он. — Запомните, ребятки. Овод — тот другого нрава, он сам помирает. Овод, он так: появится ни с того ни с сего в какой-нибудь день летом, потом так же ни с того ни с сего и пропадет.

— Куда же он девается? — спросил Элесеус.

— Куда девается? Сало в нем свернется, он упадет и не может подняться!

Каждый день приносил им новые познания: прыгая с высоких камней, язык надо отводить подальше в рот, а не держать между зубами. Когда они вырастут и захотят, чтоб в церкви от них хорошо пахло, пусть потрутся листком пижмы, что растет на бугре. Отец был полон премудрости. Он рассказывал детям про камни и про кремень, про то, что белый камень тверже серого; когда же он нашел кремень, пришлось разыскать губу — нарост на дереве, — сварить ее в щелоке и сделать трут. А уж потом он высек детям из кремня огонь. Он учил их и про луну: когда ее можно взять левой рукой, она, стало быть, на прибыли, а когда можно взять правой рукой — на ущербе, — запомните, ребятки! Изредка случалось, что Исаак заносился чересчур высоко и говорил мудреные, непонятные слова: так однажды он принялся разглагольствовать насчет того, что верблюду труднее попасть на небо, чем человеку пролезть в игольное ушко. В другой раз, поучая их о славе ангелов, он сказал, что каблуки у них подбиты звездами вместо сапожных гвоздей. Школьный учитель в селе, наверное, посмеялся бы над незлобивой и простодушной наукой, удовлетворявшей хуторян, но фантазии детей Исаака она давала крепкую и здоровую пищу. Они воспитывались и образовывались для своего собственного тесного мира — что же могло быть лучше? Осенью, когда кололи скотину, мальчики преисполнялись любопытства, страха и печали за животных, которых ожидала смерть. Исаак держал животину одной рукой, а другой — закалывал, Олина же спускала кровь. Вот из хлева вывели старого козла, такого умного и бородатого, ребятишки стояли в уголке и смотрели.

— Чертовски холодный нынче ветер, — сказал Элесеус, высморкался пальцами и вытер глаза.

Маленький Сиверт не стал скрывать слез и, не в силах сдержаться, закричал:

— Ой, бедненький старенький козлик!

Когда козла закололи, Исаак подошел к детям и преподал им следующее наставление:

— Никогда не надо жалеть вслух убойную скотину. Она от этого только труднее помирает. Запомните!

Так шли годы, и вот снова наступила весна.

Ингер опять прислала письмо, что живется ей хорошо и она многому научилась в тюрьме. Девчоночка уже большая, и зовут ее Леопольдина, по тому дню, в какой она родилась, пятнадцатого ноября. Она все умеет делать, особенно же мастерица на вязанье и шитье, замечательно это у нее выходит, и по материи и по канве.

Удивительнее всего в этом последнем письме было то, что Ингер написала его сама. Исаак на эти дела был не мастер, ему пришлось сходить в село к торговцу, чтобы тот прочитал ему письмо; но уж после этого письмо накрепко засело у него в голове, и, придя домой, он знал его наизусть.

И вот он с величайшей торжественностью сел за стол, разложил перед собой письмо и стал читать его детям. Пусть Олина увидит, что он умеет читать по писаному, впрочем, к ней он не обратился ни с одним словом. Кончив читать, он сказал:

— Ну вот, слышите, Элесеус и Сиверт, ваша мать сама написала это письмо и научилась делать столько разных вещей. А маленькая сестричка ваша знает больше, чем все мы вместе взятые. Запомните!

Дети сидели и молча дивились.

— Вот это знатно! — промолвила Олина.

Что она хотела сказать? Уж не сомневалась ли в правдивости Ингер? Или не доверяла его чтению? Не стоит допытываться настоящего мнения Олины, сидевшей с кротким выражением на лице и говорившей загадками. Исаак решил не обращать на нее внимания.

— А когда ваша мама вернется домой, вы тоже научитесь писать, — сказал он мальчикам.

Олина перевесила одежду, сушившуюся у печки, переставила котел, опять перевесила одежду. И все время сосредоточенно о чем-то думала.

— Раз уж у вас здесь в лесу пошло такое знатное житье, ты бы принес в дом полфунта кофейку, — сказала она Исааку.

— Кофейку? — невольно вырвалось у Исаака.

Олина спокойно ответила:

— До сих пор я сама покупала понемножку на собственные деньги.

Кофе, который был для Исаака все равно что мечта, сказка, радуга! Олина, понятно, пустословила, он не сердился на нее; но в конце концов он задним числом вспомнил Олинины проделки с лопарями и сказал с досадой:

— Это чтоб я-то покупал тебе кофе! Да никак ты сказала, полфунта? Говорила бы уж — фунт. Этого еще недоставало!

— Будет тебе, Исаак! У брата моего Нильса пьют кофе, и у соседа Бреде в Брейдаблике тоже.

— Да, оттого, что у них нет молока, и в помине не водится.

— Уж как там ни на есть. А только раз уж ты такой ученый и читаешь по писаному без запиночки — так ты должен знать, что кофе пьют в каждом доме.

— Тварь! — сказал Исаак.

Олина опустилась на лавку, отнюдь не собираясь молчать.

— А что до Ингер, — сказала она, — раз уж я осмеливаюсь вымолвить такое святое слово...

— Можешь говорить, что хочешь. Мне все равно.

— Она вернется домой и всему научилась. Чего доброго, завела себе жемчужное ожерелье и шляпку с перьями?

— Да уж наверное.

— Ну что ж, — сказала Олина, — так пусть тогда хоть немножко отблагодарит меня за все, чего достигла.

— Тебя? — спросил Исаак. Он был в недоуменье.

Олина смиренно ответила:

— Потому что это я, в меру слабых сил своих, помогла выпроводить ее отсюда.

Исаак в ответ не мог вымолвить ни звука, все слова замерли у него на языке, он только сидел, уставясь в одну точку. Уж не ослышался ли он? Олина же сидела как ни в чем не бывало. Да, в словесном бою Исаак явно терпел поражение.

Он вышел, потемнев лицом. Олина, эта тварь, питающаяся злобой и жиреющая от нее. «Эх, жалко, я не убил ее в первый же год! — подумал он и сам себя испугался. — Вот был бы молодец-то», — продолжал он думать. Молодец — он? Ничего страшнее нельзя себе и представить.

И тут происходит нечто в высшей степени забавное: он идет в хлев и считает коз. Они стоят, рядом с ними их козлята, и все налицо. Он считает коров, свинью, четырнадцать кур, двух телят.

— А про овец-то я и позабыл! — говорит он себе вслух, пересчитывая овец, и делает вид, будто ему очень важно узнать, все ли овцы целы. Исаак отлично знает, что одна овца исчезла, знает давно, зачем же разыгрывать комедию? А произошло вот что: Олина в свое время сбила его с толку, наврав, будто пропала коза, хотя козы были все целы; он тогда разбушевался, но что проку? Он никогда ничего не добивался в спорах с Олиной. Осенью, собираясь колоть скотину, он сразу заметил, что одной суягной овцы нету, но у него не хватило храбрости тогда же потребовать от Олины отчета. Не собрался он и позже.

Но сегодня он мрачен, исполнен мрачен, Олина донельзя взбесила его. Он опять считает овец, тычет указательным пальцем в каждую овцу и считает вслух — пусть Олина послушает, если стоит за дверью. И громко говорит разные скверные вещи про Олину: надо же, придумала совсем новый способ кормить овец, да такой, что одна суягная овца и вовсе пропала, вот какая дармоедка и воровка! О, пусть себе Олина стоит за дверью, пусть как следует наберется страху.

Он выходит из хлева, идет в конюшню и считает лошадь, оттуда направляется к дому — он пойдет домой и все ей скажет! Но Олина, должно быть, приметила кое-что в окошко, она тихонько выходит из дверей и, держа в руках лоханку, семенит к хлеву.

— Куда ты девала лопоухую суягную овцу? — спрашивает Исаак.

— Суягную овцу? — переспрашивает Олина.

— Будь она на месте, у нее было бы теперь два ягненка, куда ты их девала? Она всегда приносила по два ягненка. Стало быть, я из-за тебя потерял трех овец, понятно?

Олина стоит пораженная, уничтоженная обвинением, она качает головой, ноги точно тают под ней, так что она, того и гляди, упадет и расшибется. Голова ее все это время лихорадочно работает, изворотливость всегда выручала ее, всегда приносила ей барыш, не изменит она ей и теперь.

— Я краду коз, и я краду овец, — тихо говорит она. — Вот только не знаю, что я с ними делаю? Съедаю, наверно.

— Да уж, черт тебя знает, что ты с ними делаешь.

— Стало быть, ты так плохо кормишь меня, Исаак, что мне ничего не остается, как красть? Но я хоть в глаза, хоть за глаза скажу, что за все эти годы мне не было нужды красть.

— А куда же ты девала овцу? Ос-Андерсу отдала, что ли?

— Ос-Андерсу! — Олина ставит наземь лоханку и молитвенно складывает руки. — Да спаси меня Господь от греха! О какой овце с ягненком ты толкуешь? Не о яловой ли козе, еще лопоухая такая?

— Тварь! — бросает Исаак и поворачивается уходить.

— Ну не чудак ли ты, Исаак! Всего-то у тебя вдоволь, и скотины во дворе, что звезд на небе, а тебе все мало! Почем я знаю, какую овцу и каких двух ягнят ты с меня спрашиваешь? Благодарил бы лучше Бога за Его милосердие до тысячного колена. Вот пройдет лето да самая малость зимы, и опять овцы пойдут ягниться, и у тебя станет втрое больше, чем сейчас!

Ох уж эта Олина!

Исаак уходит, ворча, словно медведь. «И болван же я был, что не убил ее в тот первый день! — думает он, по-всякому ругая себя. — Вот простофиля-то, дурак эдакий! Ну да и сейчас еще не поздно, только подожди, только зайди в хлев! Нынче вечером, пожалуй, уж не стоит с ней возиться, а завтра посмотрим. Три овцы пропали! Говорит — кофейку!»

X

На следующий день произошло весьма крупное событие: на хутор явились гости, явился Гейслер. Болота еще не просохли, но Гейслер не обращал внимания на дорогу, он пришел пешком, в богатейших сапогах с длинными голенищами и широкими лакированными отворотами; перчатки на нем были желтые, а сам он — страсть какой нарядный; человек из села нес его багаж.

Пришел он, собственно, затем, чтоб купить у Исаака горный участок, медную жилу, — какую им назначить за нее цену? А кстати, принес и поклон от Ингер — молодец баба, все ее там полюбили; он приехал из Тронхейма и сам говорил с ней.

— Ну, Исаак, много же ты здесь наработал!

— Да не без того. Так вы говорили с Ингер?

— Что это там у тебя? Ты поставил мельницу и сам мелешь себе муку? Великолепно. А целины-то сколько поднял с тех пор, что я здесь не был.

— Так с ней все благополучно?

— Да, благополучно. С твоей женой-то? Сейчас расскажу! Пойдем в клеть.

— Нет, там не прибрано! — говорит Олина, по многим причинам не желая их туда пускать.

Они вошли в клеть и затворили за собой дверь, Олина осталась в горнице, так ничего и не услыхав.

Ленсман Гейслер сел, хлопнул себя изо всех сил по коленкам и стал решать Исаакову судьбу.

— Надеюсь, ты еще не продал свою медную скалу? — спросил он.

— Нет.

— Отлично. Я покупаю ее. С Ингер я говорил, и не с ней одной. Ее, наверное, скоро освободят, дело сейчас у короля.

— У короля!

— У короля. Я был у твоей жены, разумеется, меня пустили без всяких затруднений, мы долго разговаривали: «Ну, Ингер, говорю, ведь ты хорошо поживаешь, вправду хорошо?» — «Да, пожаловаться не на что». — «А по дому скучаешь?» — «Да уж

не без того». — «Ты скоро попадешь домой», — говорю. И вот что я скажу тебе, Исаак, она молодец баба, никаких слез, наоборот, она улыбалась и смеялась — кстати, ей сделали операцию и теперь у нее нормальный рот. «Прощай, — сказал я ей, — ты здесь недолго останешься, вот тебе мое слово!» Я пошел к директору, еще бы недоставало, чтоб он меня не принял! «У вас, — говорю, — есть тут одна женщина, которую надо выпустить и поскорее отправить домой, Ингер Селланро». — «Ингер? — сказал он. — Да, хорошая женщина, я, — говорит, — был бы рад оставить ее еще на двадцать лет». — «Ну, из этого ничего не выйдет, — сказал я, — она и так пробыла у вас чересчур долго». — «Чересчур долго? — спросил он. — Разве вы знаете ее дело?» — «Я знаю дело как нельзя лучше, — отвечал я, — я был у них ленсманом». — «Пожалуйста, садитесь, — сказал он тогда (еще бы!). — Мы стараемся сделать, что можно, для Ингер и ее девочки, — сказал директор. — Так она, стало быть, из ваших мест? Мы помогли ей приобрести швейную машину, сделали помощницей заведующей мастерской и многому научили ее: домоводству, ткацкому ремеслу, красильному, шитью, кройке. Так вы говорите, она пробыла здесь слишком долго?» У меня был готов на это ответ, но я решил подождать и сказал только: «Да, дело ее велось неправильно, оно должно быть пересмотрено; теперь, после пересмотра уголовного уложения, ее, может быть, и совсем оправдали бы. Ей послали зайца, когда она была беременна». — «Зайца?» — спросил директор. «Зайца, — ответил я, — и ребенок родился с заячьей губой». Директор улыбнулся и сказал: «Ах вот как. И вы полагаете, что на этот момент было обращено недостаточно внимания?» — «Да, — сказал я, — об этом моменте совсем даже и не упоминалось». — «Но ведь это не так уж и важно?» — «Для нее это оказалось довольно важно». — «Неужели вы думаете, что заяц может творить чудеса?» — спросил он. Я отвечал: «Может ли заяц творить чудеса или нет, об этом я с господином директором спорить не стану. Вопрос в том, какое влияние мог оказать вид зайца при данных обстоятельствах на женщину с заячьей губой — на жертву». Он подумал с минуту, потом сказал: «Да, но наше дело здесь только принять

приговоренных, мы не проверяем приговор. Согласно приговору, Ингер пробыла у нас не дольше, чем полагалось».

Тут я заговорил о чем следовало: «В самом приговоре о заключении Ингер Селланро допущена ошибка». — «Ошибка?» — «Во-первых, ее не следовало увозить в том состоянии, в каком она находилась». Директор удивленно посмотрел на меня. «Ах так, — сказал он. — Однако ведь не нам же, в тюрьме, разбирать это». — «Во-вторых, — сказал я, — она не должна была целых два месяца отбывать наказание в полной мере, пока тюремное начальство не обнаружило ее состояние». Это попало в точку, директор молчал долго. «У вас есть доверенность на ведение дела этой женщины?» — спросил он. «Да», — сказал я. «Как я уже говорил, мы довольны Ингер и обращаемся с нею соответственно, — заговорил директор и опять стал перечислять, чему они ее научили. — Мы, — говорит, — научили ее даже читать и писать». И дочку ее тоже, мол, пристроили у кого-то, и так далее. Я разъяснил, какова обстановка в семье Ингер: двое малышей, наемная работница для ухода за ними, и так далее. «У меня есть заявление от ее мужа, — сказал я, — оно будет приложено или к заявлению о пересмотре дела, или к ходатайству о помиловании». — «Я бы хотел взглянуть на это заявление», — сказал директор. «Я принесу его завтра в присутственные часы», — ответил я.

Исаак сидел и слушал, это было поразительно, какое-то приключение, случившееся в чужом краю. Он глаз не отрывал от губ Гейслера.

Гейслер продолжал рассказывать:

— Я пошел к себе в гостиницу и написал заявление, как будто от тебя, и подписался: Исаак Селланро. Но ты не думай, будто я написал хоть одно слово насчет того, что они неправильно поступали в тюрьме. Даже и не намекнул. На следующий день я отнес документ. «Пожалуйста, садитесь!» — сейчас же сказал директор. Прочитал мое заявление, изредка кивая головой, и в конце концов сказал: «Прекрасно. Но для пересмотра дела оно не годится». — «Годится, вместе с дополнительным заявлением, которое у меня тоже есть», — сказал я и опять попал в точку. Директор поспешно сказал: «Я со вчерашнего дня все думаю об

этом деле и нахожу достаточно оснований для возбуждения ходатайства за Ингер». — «Которое вы, господин директор, при случае поддержите?» — спросил я. «Я дам отзыв, хороший отзыв». Тогда я поклонился и сказал: «В таком случае помилование обеспечено. Благодарю вас от имени несчастного мужа и покинутой семьи». — «Я думаю, нам незачем запрашивать дополнительные сведения из ее родных мест, — сказал директор, — вы ведь все знаете?» Я отлично понял, почему ему было важно, чтобы все происходило, так сказать, втихомолку, и ответил: «Сведения с места только затянут вопрос». Вот тебе и вся история, Исаак. — Гейслер посмотрел на часы. — А теперь к делу! Ты можешь проводить меня к медной скале?

Исаак, камень и чурбан по натуре, не мог так мгновенно поменять тему разговора и, весь полный мыслей и изумления, снова принялся за расспросы. Он услышал, что ходатайство направлено королю и будет рассматриваться на одном из ближайших заседаний государственного совета.

— Чудеса! — проговорил он.

Они отправились в горы, Гейслер, его провожатый и Исаак, и пробыли там несколько часов; за это короткое время Гейслер прошел по ходу медной жилы, прихватил еще порядочный кусок и наметил вехами границы участка, который собирался купить. Он был торопыга. Но отнюдь не дурак, быстрые суждения его были на редкость уверенны.

Вернувшись на хутор — опять с мешком образцов, — он достал письменные принадлежности и сел писать. Но занимался не только писанием, а по временам и болтал.

— Да, Исаак, очень уж больших денег ты пока не получишь, но сотню-другую далеров я тебе дам! — Он опять принялся за писанину. — Напомни мне посмотреть твою мельницу перед уходом, — сказал он. Потом заметил синие и красные линии на ткацком станке и спросил: — Кто это нарисовал?

А это Элесеус изобразил лошадь и козла; за неимением бумаги он намалевал их карандашом на станке и на других деревянных вещах. Гейслер сказал:

— Недурно сделано! — и дал Элесеусу мелкую монетку.

Гейслер пописал еще немножко, потом сказал:

— Должно быть, здесь скоро появятся новые хуторяне?

На это его провожатый заметил:

— Уже начали появляться.

— Кто же?

— Да вот хоть бы первый, в Брейдаблике, как его называют, Бреде из Брейдаблика.

— Ах этот! — презрительно фыркнул Гейслер.

— Он самый, а уж после него купили участки еще несколько человек.

— Были бы толковые люди! — сказал Гейслер. И, увидев в комнате двух ребятишек, притянул к себе маленького Сиверта, дав и ему монетку. Удивительный человек этот Гейслер! Только вот глаза у него, видно, стали побаливать, края век словно красным инеем подернуты. Так бывает от бессонных ночей, а еще и от крепких напитков. Но не похоже, чтоб он был чем-то удручен; болтая о том о сем, он, вероятно, все время думал о лежавшем перед ним документе, потому что вдруг схватил перо и приписал несколько строчек.

Но вот он как будто бы кончил. И обернулся к Исааку:

— Как я уже сказал, богачом ты от этой сделки не станешь. Но со временем, может, получишь и побольше. Мы так и запишем, что со временем ты получишь еще кое-что. А две сотни твои уже сейчас.

Исаак не особенно ясно понимал, что да как, но двести далеров — это, что ни говори, опять-таки чудо и огромная сумма. Он собирался получить ее только на бумаге, а вовсе не наличными, но пусть уж будет так; у Исаака было совсем другое на уме, и он спросил:

— Значит, вы думаете, ее помилуют?

— Твою жену? Будь в здешнем селе телеграф, — ответил Гейслер, — я запросил бы Тронхейм, может, ее уже и выпустили.

Исаак слышал кое-что о телеграфе — этакая чудная штука, проволока, протянутая на высоких столбах, что-то такое совсем потустороннее, — у него шевельнулось недоверие к словам Гейслера, и он возразил:

— А вдруг король откажет?

Тогда Гейслер ответил:

— В таком случае я пошлю дополнительное заявление, в котором будет сказано все. И тогда уж твою жену непременно освободят. Можешь не сомневаться.

Затем он прочитал написанное соглашение на продажу участка: двести далеров немедленно и в дальнейшем порядочный процент при разработке или возможном сбыте медной руды.

— Подпиши вот здесь! — сказал Гейслер.

Исаак охотно подписал бы бумагу, но писака он был плохой, всю свою жизнь резал буквы только на дереве. А тут еще рядом стояла эта противная Олина, глядя на него во все глаза; он взял перо — чертовски легонькая штучка, — повернул как надо и подписал — подписал свое имя. Затем Гейслер приписал еще что-то, должно быть, разъяснение к его подписи, а провожатый Гейслера расписался в качестве свидетеля.

Готово.

Но Олина по-прежнему недвижно стояла позади, собственно, она точно окаменела на месте. Что такое происходит?

— Подавай на стол, Олина! — сказал Исаак, пожалуй, немного громче обычного, оттого что писал на бумаге. — Уж чем богаты, тем и рады, — сказал он Гейслеру.

— Очень вкусно пахнет мясом и похлебкой, — сказал Гейслер. — Ну, смотри, Исаак, вот деньги! — Гейслер достал бумажник, большой и толстый, вынул из него две пачки кредиток, пересчитал и положил на стол. — Пересчитай сам!

Молчание. Тишина.

— Исаак! — окликнул Гейслер.

— А-а. Ну да, ну да, — ответил Исаак и пробормотал в крайнем смущении: — У меня и в расчете такого не было после всего, что вы для нас сделали...

— Здесь должно быть десять десяток, а здесь двадцать пятерок, — отрезал Гейслер. — Надеюсь, со временем тебе доведется получить больше.

Наконец Олина пришла в себя. Чудо совершилось. Она подала на стол.

На следующее утро Гейслер сходил на реку и осмотрел мельницу. Все тут было маленькое и сделано очень грубо, словно мельница предназначалась для гномов, но крепкое и пригодное для людей. Исаак провел своего гостя немного дальше, вверх по реке, и показал еще один порог, на котором он уже немножко поработал, здесь он собирался устроить маленькую лесопилку — если Господь даст здоровья.

— Только ведь очень уж далеко отсюда до школы, — сказал он, — придется устроить ребятишек в селе.

Беспечный Гейслер не усмотрел в этом особого неудобства:

— Как раз сейчас тут появятся все больше и больше новоселов, так что, наверно, со временем будет образован школьный округ.

— Ну, это-то уж произойдет, когда мои ребята вырастут.

— А если даже и устроить их у кого-нибудь в селе? Свезешь туда мальчуганов и провизии и будешь брать их домой через три, через шесть недель, разве это тебе трудно?

— Нет, — ответил Исаак.

Ну да, ничего ему не трудно, если вернется Ингер. Дом и земля, еда и всякая красота — все у него есть, и большие деньги есть, и железное мужицкое здоровье.

После отъезда Гейслера Исаак начал обдумывать разные далеко идущие планы. Потому что этот Гейслер — дай ему Господь здоровья! — на прощанье сказал такие обнадеживающие слова, он, мол, пришлет Исааку весточку с первой же оказией — как только доберется до телеграфа.

— Недельки через две справься в почтовой конторе, — сказал он.

Уже одно это было просто замечательно, и Исаак перво-наперво стал мастерить сиденье для телеги. Правда-правда, такое сиденье, которое можно будет снимать, когда придет время возить удобрения, и снова устанавливать для поездок. Готовое сиденье оказалось таким уж белым и новеньким, что придется покрасить его в более темный цвет. А впрочем, сколько у него еще всяких других дел! Покраска всех построек на усадьбе. И разве он не думал годами о большом сарае с помостом для сена? И

разве не мечтал поскорее закончить лесопилку, обнести оградой весь участок, построить на озере лодку? О чем только он не думал! Но сколько бы он ни трудился, все равно не хватало времени. Не успеешь оглянуться, пришло воскресенье, а чуть погодя, глядишь, — снова воскресенье.

Но усадьбу он покрасит непременно — строения стояли такие серые и голые, словно раздетые. Время было. Полевые работы еще не начались, весна не установилась, мелкий скот гулял на воле, но мерзлота покуда не оттаяла.

Он берет с собой несколько дюжин яиц на продажу, отправляется в село и возвращается с краской. Ее хватило на одну постройку, на овин, он вышел красный. Он приносит еще краски — желтой охры для избы.

— Видать, так и есть, как я говорила, страсть как важно здесь будет! — что ни день бормочет Олина. Да, Олина отлично понимает, что ее житью в Селланро скоро придет конец, в ней достаточно упрямства и стойкости, чтоб перенести это, но горечи это не отбавляло. Что до Исаака, то он вовсе перестал обращать на нее внимание, хотя напоследок она крала что ни попадя. Исаак даже подарил ей годовалого барана, ведь, в сущности, она довольно долго прожила у него, получая совсем небольшую плату. Впрочем, Олина и к детям относилась неплохо, не то что она была строга и справедлива, но зато умела ладить с ними, выслушивала их, когда они к ней обращались, почти ни в чем им не перечила. Если они приходили к ней, когда она варила сыр, она давала им попробовать, если в воскресенье приставали, чтоб не умываться, она позволяла.

Загрунтовав постройки, Исаак опять отправился в село и набрал краски, сколько мог унести, а было это немало. Он трижды прокрасил все стены и побелил окна и углы. Когда теперь, возвращаясь из села, он глядел на свою усадьбу, ему казалось, что перед ним какой-то волшебный замок. Дремучая глушь сделалась неузнаваемой, благодать осенила ее, жизнь восстала из долгого сна, здесь поселились люди, вокруг домов играли дети. До самых синих гор стоит большой, ласковый лес.

В последний раз, когда Исаак пришел за краской, торговец передал ему синий конверт с гербом, взяв за него пять скил-

лингов. Это была телеграмма, пересланная дальше по почте, и была она от ленсмана Гейслера. Благословен будь этот Гейслер, вот ведь удивительный человек! В телеграмме было всего несколько слов: «Ингер на свободе, скоро приедет. Гейслер». Лавка завертелась в глазах Исаака, а прилавок и люди уплыли куда-то далеко-далеко. Он больше почувствовал, чем услышал свои слова:

— Благодарение и слава Тебе, Господи!

— А ведь она, пожалуй, может приехать уже завтра, — сказал торговец, — если успела вовремя выехать из Тронхейма.

— Ага, — сказал Исаак.

Он подождал до завтра. Ялик, привозивший почту с пароходной пристани, вернулся, но Ингер в нем не было.

— Значит, раньше будущей недели не жди, — сказал торговец.

Отчасти то, что у Исаака оставалось так много времени впереди, было совсем неплохо, ведь столько еще всего надо переделать. Не может же он обо всем позабыть и забросить свою землю! Он возвращается домой и принимается вывозить на поля навоз. С этим делом быстро покончено. Тогда он принимается пробивать ломом землю в полях, день за днем следя за оттаиванием почвы. Солнце большое и яркое, снег сошел, все вокруг зеленеет, вот уже и крупный скот выпущен на волю. В один прекрасный день Исаак принимается за пахоту, а несколько дней спустя сеет ячмень и сажает картошку. Ребятишки тоже сажают картошку, они словно ангелы, у них маленькие благословенные ручонки, и они легко обгоняют отца. Потом Исаак моет на реке телегу и прилаживает к ней сиденье. Он объясняет мальчуганам, что собирается в село.

— Ты разве не пешком пойдешь?

— Нет. Я нынче решил съездить на лошади и с телегой.

— А нам нельзя с тобой?

— Будьте умники и оставайтесь покамест дома. Нынче приедет ваша мама и научит вас разным штукам.

Элесеусу охота учиться, и он спрашивает:

— Когда ты писал на бумаге, как это у тебя получалось?

— Да никак, — отвечает отец, — рука была словно привязанная.

— А оно не хочет раскатиться, как по льду?

— Кто?

— Да перо, которым пишешь?

— А-а, ну да! Только надо научиться управлять им.

Маленький Сиверт был другого склада и не интересовался перьями, ему бы только посидеть в телеге, да опробовать новое сиденье, да помахать кнутом на воображаемую лошадь и промчаться на ней во всю прыть. Поэтому-то отец посадил обоих мальчиков на телегу, и они проехали с ним порядочный кусок по дороге.

XI

Исаак едет не останавливаясь, пока не доезжает до ржавчика, тут он делает остановку. Ржавчик — дно у него черное, маленькая лужица воды неподвижна. Исаак знает, на что она годится, наверно, ни разу в жизни не пользовался он никаким другим зеркалом, кроме как таким вот ржавчиком. Что ж, сегодня на нем нарядная красная рубаха, он достает ножницы и подстригает себе бороду. Экий фат, этот мельничный жернов, неужто он и впрямь решил прифрантиться и расстаться со своей пятилетней железной бородой? Он стрижет ее, стрижет, время от времени посматривая в зеркало. Что и говорить, можно было бы все это проделать и дома, но он стеснялся Олины, довольно уж и того, что под носом у нее он надел красную рубаху. Он стрижет и стрижет, клочья бороды падают на зеркало. Но вот лошадь начинает проявлять беспокойство, ему приходится прервать свой туалет, посчитав его законченным. И — что ж! — он и впрямь чувствует себя моложе — черт его знает, отчего это, но он и впрямь стал как будто стройнее. Он снова отправляется в путь.

На следующий день приходит почтовый пароход. Исаак встречает его, стоя на утесе, возле пристани торговца, но Ингер не видно. Господи, пассажиров много, и взрослых, и детей, а Ингер

нету. Он держится поодаль, присев на утес, теперь сидеть здесь уже незачем, и он идет к пароходу. С борта на берег продолжают выгружать ящики, бочонки, на берег сходят пассажиры, выносят почту, но Исаак не видит своих. Зато он видит женщину с маленькой девочкой, стоящих у двери в трюм, но женщина эта красивее, чем Ингер, хотя и Ингер вовсе не безобразна. Господи, да ведь это же и есть Ингер! «Гм!» — произнес Исаак и устремился наверх. Они поздоровались, она сказала «здравствуй» и протянула ему руку, немножко озябшая, бледная и усталая от морской болезни и путешествия, а Исаак только стоял молча и наконец выговорил:

— Н-да, погода-то какая хорошая!

— Я тебя видела, но не хотела выставляться, — сказала Ингер. — Ты сегодня приехал в село? — спросила она.

— Да. Гм!

— Дома все здоровы?

— Да, спасибо.

— А это Леопольдина, она гораздо лучше меня перенесла дорогу. Это твой папа, поздоровайся с папой, Леопольдина.

— Гм! — буркнул Исаак, чувствовавший себя так, словно был чужой промежду них.

Ингер сказала:

— Вон видишь швейную машинку, это моя. И еще у меня есть сундук.

Исаак отправился, отправился более чем охотно за сундуком, матросы помогли ему найти его, но за машинкой Ингер пришлось пойти самой. Это был красивый ящик незнакомой формы, с круглым верхом и ручкой — швейная машинка в этих-то местах! Исаак навьючил на себя сундук и машинку и посмотрел на свою семью.

— Я скоренько сбегаю наверх, отнесу все это, а потом вернусь за ней, — сказал он.

— За кем? — улыбаясь, спросила Ингер. — Ты думаешь, такая большая девочка не умеет ходить сама?

Они пошли в гору, к лошади и телеге.

— У тебя новая лошадь? — сказала Ингер. — И телега с сиденьем?

— Само собой. Да, что я хотел сказать: не хочешь ли закусить немножко? Я захватил с собой.

— Уж когда выедем из села, — ответила она. — Как по-твоему, Леопольдина, сможешь сидеть одна?

Но отец воспротивился:

— Нет, чего доброго, упадет под колеса. Садись рядом с ней и правь сама.

Они поехали в телеге, а Исаак пошел сзади.

Он шел и смотрел на женщину и девочку, сидевших в телеге. Вот Ингер и приехала, чужая с виду и по платью, красивая, заячьей губы больше нет, остался только красный рубчик на верхней губе. Она уже не шепелявит, это самое замечательное, говорит совсем чисто. Бахромчатый, серый с красным, шерстяной платок удивительно идет к ее темным волосам. Она обернулась к нему и сказала:

— Хорошо, если б ты прихватил с собой одеяло, вечером ребенку будет, пожалуй, холодно.

— Пусть она наденет мою куртку, — сказал Исаак, — а когда въедем в лес, так там у меня припрятано одеяло.

— Значит, одеяло у тебя в лесу?

— Да. Я не взял его сразу с собой, на случай если вы сегодня не приедете.

— Так что ты мне сказал? Мальчики, значит, тоже здоровы?

— Да, спасибо.

— Наверно, очень выросли?

— Да, не без того. Нынче сами сажали картошку.

— Ох ты, — сказала мать, улыбаясь, и покачала головой, — неужто они уже умеют сажать картошку?

— Элесеус мне по этих пор, а Сиверт вот по этих, — сказал Исаак, показывая на себе.

Маленькая Леопольдина попросила есть. И что за красивенькая малютка, чисто божья коровка, что прилетела в телегу! Она говорила нараспев, на непонятном тронхеймском наречии, кое-что отцу приходилось даже переводить. Лицом она вышла в мальчиков, карие глаза и овальные щечки, какие все трое унаследовали от матери; дети пошли в мать, и слава Богу! Исаак

немножко стесняется своей маленькой дочки, стесняется ее маленьких башмачков, длинных тоненьких ножек в шерстяных чулках, короткого платьица; здороваясь с незнакомым папой, она присела и подала ему крошечную ручку. Въехали в лес и сделали привал, все принялись за еду, лошади задали корму. Леопольдина бегала по вереску с куском хлеба в руке.

— Ты не очень изменился, — сказала Ингер, глядя на мужа.

Исаак отвернулся и ответил:

— Это тебе так кажется. А вот ты стала страх какая красивая!

— Ха-ха-ха, ну нет, я уж теперь старуха, — сказала она шутливо.

Что уж тут говорить, Исаак все еще чувствовал себя неуверенно, скованно, точно стыдился чего-то. Сколько лет его жене? Наверное, не меньше тридцати — конечно, не может быть ей больше, никак не может. И хотя Исаак сидел, держа в руке кусок хлеба, он сорвал веточку вереска и стал его жевать.

— Чего это ты вереск ешь! — смеясь, воскликнула Ингер.

Исаак отбросил вереск, сунул в рот кусок хлеба, встал и, отойдя к лошади, поднял ей передние ноги с земли. Ингер с изумлением взирала на эту сцену — лошадь покорно стояла на задних ногах.

— Зачем ты это? — спросила она.

— Она такая смирная, — сказал он про лошадь и опустил ее ноги на землю. Для чего он это сделал? Должно быть, не смог с собой совладать. А может, хотел скрыть этим свое смущение.

Потом двинулись дальше, и некоторое время все трое шли пешком. Впереди показался новый хутор.

— Что это такое? — спросила Ингер.

— Это участок, который купил Бреде.

— Бреде?

— Называется Брейдаблик. Сплошь болота, леса почти совсем нет.

Они еще поговорили об этом, проходя мимо Брейдаблика. Исаак заметил, что телега Бреде так и стоит под открытым небом.

Но вот девочка захотела спать, и отец бережно поднял ее на руки. Они все шли и шли, Леопольдина скоро заснула, и тогда Ингер сказала:

— Давай завернем ее в одеяло и положим в телегу, пусть спит, сколько хочет.

— Ее там растрясет, — возражает отец и продолжает нести девочку дальше.

Пустошь кончается, они снова въезжают в лес, и Ингер говорит: «Тпру!» Она останавливает лошадь, берет ребенка у Исаака и просит его передвинуть сундук и швейную машинку, чтобы Леопольдину можно было положить на дно телеги.

— Ничего ее не растрясет, что за глупости!

Исаак устраивает все как надо, закутывает дочку в одеяло и подкладывает ей под голову свою куртку. И снова они едут дальше.

Муж и жена идут и говорят о том о сем. Солнце долго не садится, погода теплая.

— Олина — где она спит? — спрашивает Ингер.

— В клети.

— А! А мальчики?

— В горнице, в своих постелях. В горнице две кровати, как и тогда, когда ты уезжала.

— Я иду и все смотрю на тебя, ты точь-в-точь такой же, как был, — говорит Ингер. — А ведь небось столько всего перетаскал на этих своих плечах, и, гляди, не ослабели.

— Не-ет. А я вот хотел спросить: выходит, тебе сносно жилось все эти годы? — с волнением задал вопрос Исаак.

Ингер ответила, что да, жаловаться не приходится.

Разговор между ними пошел более доверительный, Исаак осведомился, не устала ли она, не лучше ли ей ехать в телеге.

— Нет, спасибо, — сказала она. — Не пойму только, что это со мной сделалось: после морской болезни я все время точно голодная.

— Хочешь поесть?

— Да. Если это не очень нас задержит.

Ох уж эта Ингер, она, верно, вовсе не была голодна, а просто хотела покормить Исаака, ведь он в последний привал так толком и не поел, принявшись жевать веточку вереска.

И так как вечер был светлый и теплый, а ехать им еще было с добрую милю, они опять принялись закусывать.

Ингер вынула из сундука сверток и сказала:

— Я тут привезла кое-чего мальчикам. Зайдем за кусты, а то солнце прямо в глаза.

Они зашли за кусты, и она показала ему подарки: красивые подтяжки с пряжками для мальчиков, тетрадки с прописями, обоим по карандашу, обоим по перочинному ножичку. Себе она везла замечательную книгу.

— Ты только посмотри, это молитвенник, и здесь написано мое имя. Подарок директора на память.

Исаак восхищался каждой вещью. Она показала несколько маленьких воротничков Леопольдины и протянула Исааку черный, блестящий, как шелк, шарф.

— Это мне? — спросил он.

— Да, тебе.

Исаак осторожно взял шарф в руки и погладил.

— Красивый, правда?

— Очень! В таком можно объездить весь свет! — Пальцы у него стали какие-то чудные, так и прилипли к этому чудесному шелку.

Вот уже и показывать больше нечего, но, складывая подарки, Ингер села на землю, вытянув вперед ноги, так что стали видны ее чулки с красными каемками.

— Гм. Должно быть, это городские чулки? — спросил Исаак.

— Да. Они из городской пряжи, да только я сама их связала — на спицах. Они очень длинные, выше колена, вот посмотри...

Немного погодя она услышала свой собственный шепот:

— А ты... ты все такой же... как был!

Чуть позже они снова отправились в путь, Ингер сидит в телеге, держа в руках вожжи.

— Я привезла с собой пакетик кофе, — говорит она, — только нынче вечером тебе не придется его попробовать, он не жареный.

— Ничего! — отвечает он.

Через час солнце село, становится свежо, Ингер слезает с телеги и идет пешком. Они плотнее укутывают Леопольдину одеялом и улыбаются тому, что она так долго спит. Муж и жена тихонько переговариваются на ходу. Как приятно слушать Ингер, никто не говорит чище, чем она сейчас!

— Разве у нас теперь не четыре коровы? — спрашивает она.

— Что ты, больше, — гордо отвечает он, — у нас их восемь.

— Восемь коров!

— Да, вместе с быком.

— А масло продаете?

— Как же. И яйца.

— У нас и куры есть?

— Само собой. И свинья.

Порой удивление Ингер столь велико, что в растерянности она на минутку останавливает лошадь: «Тпру!» Гордость переполняет Исаака, и он старается изо всех сил еще больше ее огорошить.

— А Гейслер-то, — говорит он, — помнишь Гейслера? Он был у нас недавно.

— И что же?

— Купил у меня медную гору.

— Да ну? Что это за медная гора?

— Из меди. Она вон там, наверху, на северной стороне озера.

— А-а. Наверно, ты не много за нее получил?

— Как бы не так! Не такой он человек, чтобы не заплатить как следует.

— Сколько ж он тебе дал?

— Гм. Не поверишь — целых двести далеров.

— И ты их получил? — восклицает Ингер и опять останавливается на минутку: — Тпру!

— Получил. И за участок все выплатил давным-давно, — сказал Исаак.

— Нет, ты прямо как есть волшебник!

Поистине приятно было удивлять Ингер и превращать ее в богачку; поэтому Исаак прибавил, что у них нет никаких дол-

гов, ни торговцу, ни кому другому. И у него припрятаны не только Гейслеровы двести далеров, но еще и сверх того, еще целых сто шестьдесят далеров. Так что он уж и не знает, как им благодарить Бога.

Они снова заговорили о Гейслере, Ингер рассказала, как он потрудился для ее освобождения. Прошло это не так-то гладко: он долго приставал к директору, много раз был у него, писал даже кому-то из государственных советников или каким-то другим начальникам, и все это за спиной у директора, а когда директор узнал, то, как и можно было ожидать, очень рассердился. Но Гейслер его не испугался и потребовал нового разбирательства, нового суда и все такое. Тут уж королю пришлось подписать прошение.

Бывший ленсман Гейслер всегда по-доброму относился к двум этим людям, и они часто задавались вопросом, за что бы это; все, что он делал, он делал за простую благодарность, а это было непонятно. Ингер разговаривала с ним в Тронхейме, но все равно не разобралась в нем.

— Он никого другого в селе не хочет знать, кроме нас, — объяснила она.

— Он сам сказал?

— Да. Он зол на здешнее село. Я, говорит, еще им покажу — селу-то!

— Ну-ну.

— И они, говорит, еще пожалеют, что остались без меня.

Они выехали на опушку и увидели впереди свой дом. Построек на усадьбе стало больше, чем прежде, и все они были красиво выкрашены; с трудом узнавая знакомые места, Ингер резко осадила лошадь.

— Да ведь это же не... Это все не у нас! — воскликнула она.

Маленькая Леопольдина наконец проснулась, она хорошо выспалась, ее спустили на землю, и она пошла рядом с ними.

— Мы туда едем? — спросила она.

— Да. Красиво, правда?

На дворе возле дома двигались маленькие фигурки, это были Элесеус и Сиверт, поджидавшие приезжих; увидя их, они по-

бежали им навстречу. Ингер так озябла, такой на нее напал кашель и насморк, что это отозвалось даже на глазах и они наполнились влагой.

— На пароходе так простужаешься, видал, что делается с глазами от сырости и холода!

А мальчики, подбежав ближе, вдруг остановились, в изумлении уставившись на приезжих. Мать свою они совсем позабыли, маленькую сестренку и вовсе никогда не видали. Но папа — его они узнали, только когда он подошел совсем близко. Он остриг свою длинную бороду.

XII

Теперь опять все хорошо.

Исаак сеет овес, боронит его, заглаживает катком. Маленькая Леопольдина прибегает и просит покатать ее на катке. Вот выдумала, — покататься на катке! — она такая маленькая и ничего еще не понимает, братья-то ее хорошо знают, что на папином катке нет сиденья.

Но папе приятно, что к нему пришла маленькая Леопольдина и что она такая доверчивая, он разговаривает с ней и просит поосторожнее ходить по полю, чтоб не набрать в башмачки земли.

— Гляди-ка, да на тебе сегодня голубенькое платьице? Покажи-ка, верно, верно, голубенькое! И поясок и все такое. Ты помнишь большой пароход, на котором приехала? А машины видела? Ну а теперь иди домой к мальчикам. Займитесь чем-нибудь.

После отъезда Олины Ингер впряглась в свою прежнюю работу по дому и на скотном дворе. Она, пожалуй, несколько перебарщивает, стремясь навести в доме чистоту и порядок и показать, что она хочет все переделать по-своему, но ведь и впрямь просто замечательно, какая во всем произошла перемена, даже стекла в землянке у скотины начисто вымыты и аккуратно подметены стойла.

Но так было только в первые дни, в первую неделю, потом пыл у нее понемножку начал остывать. По правде говоря, все это великолепие на скотном дворе никому было не нужно, а потраченное время можно было использовать куда как лучше: Ингер так многому научилась в городе, вот и следовало извлечь выгоду из этой науки. Она снова взялась за прялку и ткацкий станок — что правда, то правда, она стала еще мастеровитее и проворнее, чем прежде, чересчур даже проворна, — куда там! — особенно когда на нее смотрел Исаак; он никак не мог взять в толк, как это человек может так быстро перебирать пальцами, длинными, красивыми пальцами на большой руке. Но в самый разгар работы Ингер вдруг бросала ее и бралась за другую. Впрочем, в ее домашнем хозяйстве дел теперь стало гораздо больше, чем прежде, только успевай вертеться, может, она стала менее терпелива, в ней как будто поселилось какое-то беспокойство, терзая и подгоняя ее.

Вот взять хоть бы цветы, которые она привезла с собой, луковицы и отводки, маленькие растеньица, о которых тоже надо было позаботиться. Окошка стало мало, подоконник слишком узок для цветочных горшков, да и горшков-то не было. Исааку пришлось смастерить ей маленькие ящички для бегоний, фуксий и роз. А кроме того, одного окошка и вообще мало — что такое одно окно для целой горницы!

— И вот еще что, — сказала Ингер, — у меня нет утюга. Мне нужен утюг, чтоб приглаживать швы, когда я шью белье и платье, а то настоящего шва не сделаешь; хоть какой-нибудь утюг да нужен.

Исаак обещал поехать в село и дать заказ кузнецу выковать замечательный утюг. Да, Исаак был готов сделать все, что она ни попросит, готов был исполнять все требования Ингер, потому что он понял: она многому научилась и стала совсем другая. И речь у нее тоже стала другая, лучше, благороднее. Она уже не кричит ему, как прежде: «Иди поешь!» Теперь она говорит: «Пожалуйста, пойди покушай!» Все переменилось. В прежние времена он, бывало, скажет самое большее «ладно» и продолжает работать еще с добрый час, прежде чем пойдет есть. Теперь он

отвечает: «Спасибо!» — и идет сейчас же. От любви умный глупеет, иногда Исаак отвечает: «Спасибо, спасибо!» Ну, конечно, все переменилось, и не слишком ли уж по-благородному стали они жить? Когда Исаак говорит «навоз» или называет вещи обычными для землепашца словами, Ингер, «ради детей», поправляет: «Удобрение».

Она заботилась о детях, учила их всему и во всем помогала: крошка Леопольдина преуспевала в вязанье крючком, а мальчуганы — в письме и школьных науках, стало быть, они не придут в сельскую школу неподготовленными. Особенно прилежным оказался Элесеус, маленький же Сиверт занятиями не интересовался, попросту сказать, он был шалопай и проказник, а однажды даже осмелился отвинтить что-то с маминой швейной машины и настругать стружек со стульев и со стола подаренным перочинным ножом. Ему пригрозили отнять перочинный нож.

Кроме того, в распоряжении детей были все животные на хуторе, а у Элесеуса вдобавок имелся еще и цветной карандаш. Он очень его берег и неохотно давал брату, но с течением времени все стены в доме покрылись рисунками, а карандаш укорачивался с угрожающей быстротой. В конце концов Элесеусу пришлось посадить Сиверта на голодный паек, выдавая ему карандаш только на один рисунок по воскресеньям. Это решение никак не совпадало с желаниями Сиверта, но не такой был Элесеус человек, чтоб с ним можно было торговаться. Не то чтобы он был сильнее, просто руки у него были длиннее и в драке он был увертливее.

А Сиверт-то! То он нашел в лесу выводок куропаток, однажды с гордостью рассказал про какую-то чудную мышиную нору, а в другой раз — про форель в реке ростом с человека, но это были чистые выдумки, Сиверту ничего не стоило выдать черное за белое, впрочем, в остальном он был славный малый. Когда у кошки появились котята, не кто другой, как он, приносил ей молоко, потому что на Элесеуса она только и знала, что фыркать, и Сиверту не надоедало подолгу стоять и глядеть в ящик, в этот домик, населенный котятами с крошечными лапками.

А куры, которых он наблюдал день за днем, и петух с конской гривой и ярким опереньем, куры, которые разгуливали по двору, переговариваясь между собой и поклевывая песок, или вдруг принимались истошно вопить, снеся яйцо.

И еще был старый баран. Маленькому Сиверту, который знал теперь куда больше прежнего, все равно никогда было не сказать про барана: «Господи, да у него же совсем римский нос!» Ну не мог он сказать такое. Зато Сиверт мог сказать другое: он знал барана еще с тех пор, как тот был ягненком, он понимал его, составляя с ним одно целое, был ему родным, равным с ним. Однажды он пережил незабываемую минуту, ощутив в душе какое-то мистическое первобытное чувство: баран щипал траву, вдруг он поднял голову и, перестав жевать, уставился куда-то вдаль. Сиверт невольно посмотрел в том же направлении — нет, ничего примечательного. И тут он сам ощутил в душе что-то необыкновенное. «Словно в Эдемский сад заглянул!» — подумал он.

Были еще коровы, которых на каждого из детей приходилось по две, большие, медлительные животные, такие добродушные и ласковые, что маленьким человечкам ничего не стоило в любую минуту подойти к ним и погладить. Была свинья, белая и очень опрятная при хорошем уходе, прислушивающаяся ко всем звукам, помешанная на еде чудачка, пугливая, как девчонка. И был козел — в Селланро всегда жил старый козел, когда один помирал, его место занимал другой. Где еще увидишь такое козлиное выражение, какое бывает у козла! Как раз нынче под его присмотром было очень много коз, но иногда ему надоедала и прискучивала вся эта компания, и тогда он укладывался на землю, задумчивый и долгобородый, настоящий праотец Авраам. А потом вдруг снова вскакивал и мекал на коз. От него всегда шел резкий, острый запах.

Повседневная жизнь на хуторе идет своим чередом. Когда редкий путник, пробираясь через горы, проходит мимо и спрашивает: «И хорошо ли вы тут поживаете?» — Исаак отвечает и Ингер отвечает: «Да, спасибо тебе на спросе!»

Исаак все работает и работает, по всем своим делам он сверяется с календарем, следит за фазами луны, сообразуется со

сменами времен года, работает. Он проложил довольно большой кусок дороги на спуске к низине, так что может теперь ездить в село на лошади с телегой, но по-прежнему чаще ходит пешком, неся на себе козий сыр или кожи, кору, бересту, масло, яйца, и продает все эти товары, а вместо них покупает другие. Летом он ездит в село нечасто еще и потому, что от Брейдаблика дорога совсем плохая. Он не раз просил Бреде Ольсена подправить дорогу, и Бреде обещал, но так и не сдержал слова. А больше просить Исаак не хочет, предпочитая таскать тюки на собственном горбу. Ингер тогда говорит: «Диву даюсь, что ты за человек, как ты все это выносишь!» А он выносит все. Сапоги у него такой фантастической величины и тяжести, с подметками, подбитыми таким толстым железом, да еще с ремнями к ним, приколоченными заклепками, — уже одно то, что человек мог ходить в таких сапогах, казалось чудом.

В один из своих походов в село он встречает на болоте несколько партий рабочих, они складывают кучки из камней и ставят телеграфные столбы. В основном это жители здешнего села, Бреде Ольсен тоже с ними, хотя он выселился на хутор и должен бы заниматься землепашеством. «И как это он все успевает!» — думает, наверно, Исаак.

Старший из рабочих спрашивает Исаака, не продаст ли он бревен на телеграфные столбы. Нет. Даже за хорошую цену? Нет. Исаак стал немножко сообразительнее, научился разговаривать с людьми. Если он продаст столбы, у него прибавится немножко денег, несколько лишних далеров, но у него не будет леса, так какая же ему от того выгода? Подходит сам инженер и повторяет предложение, но Исаак отказывается.

— У нас и у самих есть столбы, — говорит инженер, — но удобнее взять их из твоего леса, чтоб не возить издалека.

— Мне и для себя не хватает бревен, — говорит Исаак, — я собираюсь построить небольшую лесопилку, а то у меня ни амбара нет, ни других служб.

Тут в разговор вмешивается Бреде Ольсен и говорит:

— Будь ты такой, как я, Исаак, ты бы продал столбы.

Уж на что Исаак терпелив, но тут он посмотрел в упор на Бреде и ответил:

— Еще бы!

— Как так? — спросил Бреде.

— Но ведь я не такой, как ты, — сказал Исаак.

Кто-то из рабочих рассмеялся, услышав этот ответ.

Ну да, у Исаака были особые причины немножко осадить соседа — не далее как сегодня он видел пасущихся на брейдабликском поле трех овец и одну сейчас же признал, ту самую, лопоухую, что утащила Олина.

«Пусть себе Бреде оставит мою овцу, — думал он, возвращаясь домой, — пусть Бреде с женой станут богаче на одну овцу!»

А лесопилку он тоже все время держал в мыслях, это правда, и даже привез домой по последнему зимнему пути большую дисковую пилу и принадлежности к ней, которые торговец выписал для него из Тронхейма. Теперь эти машинные части лежали в сарае, смазанные льняным маслом для предохранения от ржавчины. Часть бревен, необходимых для сооружения запруды, он тоже привез и мог хоть сейчас начать строительство, но все время откладывал. Он и сам не понимал почему: то ли стал уставать, то ли сдавать? Для других в этом не было бы ничего удивительного, ему же самому казалось невероятным. Голова, что ли, у него ослабела? Раньше его не пугала никакая работа, но, должно быть, он немного изменился с тех пор, как построил мельницу на таком большом водопаде. Можно, конечно, взять помощника из села, но ему хотелось опять попробовать самому — начать на днях, Ингер подсобит.

Он сказал об этом Ингер:

— Гм. Не выберешь ли ты как-нибудь часок-другой подсобить мне на лесопилке?

Ингер подумала.

— Конечно, если будет время. Так ты решил строить лесопилку?

— Да, есть у меня такая задумка. В голове-то я уже все обмозговал.

— Ее строить труднее, чем мельницу?

— Куда труднее. В десять раз труднее, — похвастал он. — Господи помилуй, тут ведь все надо приладить, до самой малюсенькой черточки, а пила — та должна пройти точно по середине.

— Как-то ты с этим справишься? — рассеянно сказала Ингер.

Исаак обиделся на эти ее слова и сказал:

— Надо попробовать.

— А нельзя найти какого-нибудь мастеровитого человека, чтоб помог тебе? — спросила она.

— Нет.

— Так ведь не справишься! — сказала она и отвернулась.

Исаак медленно, словно медведь лапу, поднял руку и провел по волосам.

— Вот этого-то я и боюсь, — сказал он, — боюсь, что не справлюсь, затем и прошу тебя помочь, потому что ты-то это понимаешь.

Тут медведь правда попал в точку, но только это ни к чему не привело. Ингер вскинула голову, сердито хлопнула себя по бедрам и наотрез отказалась работать на лесопилке.

— Так, — сказал Исаак.

— Уж не прикажешь ли ты мне мокнуть в реке и терять здоровье? А кто станет шить на машинке, ходить за скотиной, заниматься хозяйством и все такое?

— Ну, ладно, ладно, — согласился Исаак.

А и помощь-то ему требовалась всего на четыре угловых столба да на два средних по обеим продольным стенам — вот и все! Неужто Ингер превратилась в такую неженку от долгого житья в городе?

А все дело было в том, что Ингер очень сильно изменилась и уже не столько думала о благе своих ближних, сколько о самой себе.

Она освоила чесальные доски, прялку и ткацкий станок, но гораздо больше любила шить на машинке; когда же кузнец выковал для нее утюг, она оказалась вполне вооруженной, чтобы заняться шитьем. То была ее профессия. Для начала она сшила несколько платьиц Леопольдине. Исааку они очень понравились, и он принялся на все лады расхваливать их, пожалуй, даже чуть чрезмерно. Ингер дала понять, что это сущие пустяки по сравнению с тем, на что она способна.

— Только очень уж они короткие, — сказал Исаак.

— В городе аккурат такие носят, — сказала Ингер, — ты в этом ничего не понимаешь.

Исаак, стало быть, вмешался куда не следовало и потому намекнул, что неплохо бы купить какой-нибудь материи для нее самой, для самой Ингер.

— На пальто? — спросила Ингер.

— Да, или на что хочешь.

Ингер согласилась на материю для пальто и объяснила, какую ей хочется.

Но когда она сшила пальто, надо же было кому-нибудь показать его, и потому, когда мальчиков повезли в школу, она отправилась в село вместе с ними. Путешествие это оказалось не вовсе бесполезным, оно оставило свои следы.

Во-первых, когда они проезжали мимо Брейдаблика, хозяйка Брейдаблика вышла из дома с детьми посмотреть на проезжающих. В телеге сидели, словно господа, Ингер и оба мальчика, мальчики ехали в школу, а на Ингер было надето пальто. При виде этого в сердце хозяйки Брейдаблика впилась змея: без пальто она бы еще и обошлась, слава Богу, ума хватит, но у нее самой были дети, взрослая девочка Барбру, следующий за нею Хельге и Катрина — все школьного возраста. Само собой, двое старших ходили прежде в сельскую школу, но когда семья переселилась на болота, в этот отдаленный Брейдаблик, дети опять превратились в язычников.

— А ты захватила с собой еду для ребят? — спросила хозяйка.

— Еду-то? Не видишь разве сундук? Это мой дорожный сундук, я привезла его с собой домой, так вот, в нем доверху еды.

— Чего же ты взяла?

— Чего взяла? Свинины и мяса на варево, масла, хлеба и сыра на завтраки.

— Ну и богато живете! — сказала хозяйка, а ее худенькие, бледные детишки слушали, раскрыв рот, обо всех этих яствах.

— У кого же ты их поселишь? — спросила хозяйка.

— У кузнеца.

— Так, — промолвила хозяйка. — Мои тоже скоро отправятся в школу, но они-то будут жить у ленсмана.

— Вот как, — сказала Ингер.

— Да, а не то у доктора или у священника. Ведь мой Бреде на короткой ноге со всеми важными господами.

Тут Ингер оправила пальто, наивыгоднейшим образом выпустив черную шелковую бахрому.

— Откуда у тебя это пальто? — спросила хозяйка. — Привезла из города?

— Сама сшила.

— Вот я и говорю: вы там, в глуши, того и гляди, лопнете от богатства.

Всю дорогу Ингер переполняло чувство радости и гордости, а въехав в село, она, быть может, уж слишком явно выказала свое превосходство; во всяком случае, супругу ленсмана Хейердала весьма раздосадовало, что она явилась в село в пальто: не иначе как хозяйка Селланро забыла, кто она такая, забыла, откуда приехала после шестилетнего отсутствия. Как бы то ни было, Ингер продемонстрировала свое пальто, и ни жена торговца, ни кузнецова жена, ни учительша не имели ничего против, чтоб заиметь такое же, но решили пока повременить.

А вскоре у Ингер не стало отбоя от гостей. Несколько женщин пришли из-за перевала любопытства ради; должно быть, Олина ненароком упомянула о ней, разговаривая с той или другой; женщины приносили разные новости из родного села Ингер, а взамен получали угощение и разрешение полюбоваться швейной машинкой. Потом появились две молоденькие девушки из прибрежного села, а за ними еще две, посоветоваться с Ингер: стояла осень, они скопили денег на обновы, не расскажет ли им Ингер, какие теперь на свете моды, а может, и скроит что-нибудь из их материи. Ингер оживлялась от этих визитов, прямо расцветала, она была приветлива, благожелательна и, будучи большой мастерицей, кроила без всяких выкроек; иногда она прямо тут же тачала длинные швы на машинке, ничего не беря за это, и, отдавая девушке раскроенную материю, шутливо говорила: «Ну вот, а пуговицы уж пришьешь сама!»

Поздней осенью Ингер получила приглашение приехать в село, пошить на начальство. Пришлось отказаться: у нее семья,

и скотина, и разные домашние дела, а прислуги нет. Чего у нее нет? Прислуги!

Она сказала Исааку:

— Будь у меня помощница, я бы шила гораздо больше.

Исаак не понял:

— Помощница?

— Ну да, помощница в доме, служанка.

Тут у Исаака, должно быть, пошли круги перед глазами, потому что он усмехнулся в свою железную бороду, приняв ее слова за шутку.

— Да уж, самая пора нанять служанку! — сказал он.

— В городе они у всех хозяек есть, — ответила Ингер.

— Ну-ну, — промолвил Исаак.

По правде сказать, ему было не до веселья и радости, он был не в духе оттого, что начал строить лесопилку, а дело у него не клеилось: не мог он одной рукой держать столб, а другой орудовать ватерпасом и одновременно укреплять поперечины. Но с тех пор как мальчики возвратились из школы, дело явно пошло на лад, ребятишки оказались на редкость полезны, при этом Сиверт был молодчина по части вбивания гвоздей, Элесеус же ловчее действовал шнуром. После недельной работы Исааку и мальчуганам удалось-таки установить столбы и надежно укрепить их толстыми, как балка, поперечинами. Самая трудная работа была позади.

Лесопилка ладилась, да и все другое ладилось. Но по вечерам Исаак начал чувствовать усталость. Ведь надо было не только ставить лесопилку, на нем лежали и все другие дела по хутору. Сено свезли в амбар, ячмень же еще наливался на корню, скоро придет время уборки, а там, глядишь, и картошка поспеет. Впрочем, Исааку здорово помогали мальчики. Он их не благодарил, такое не в обычае было у таких, как он и ему подобных, но он был ими очень доволен. Иногда в разгар рабочего дня им случалось присесть передохнуть, и тогда, разговаривая с ними, отец, казалось, всерьез советовался с сыновьями, за какие дела им приняться раньше, а какие отложить. Эти минуты преисполняли ребятишек гордостью, и они на-

учились, чтоб не ошибиться, хорошенько думать перед тем, как сказать свое слово.

— Неладно будет, если не подведем лесопилку под крышу до осенней мокроты, — говорил Исаак.

Если б только Ингер была такая, как в прежние времена! Но Ингер, должно быть, как и можно было ожидать, сдала здоровьем после столь долгого пребывания в заключении. Что характер ее изменился — это само собой, но она стала как-то уж очень рассеянна и легкомысленна, пустая душой. Про ребенка, которого она убила, однажды сказала: «Я была порядочная дура, ведь губу-то ей можно было бы зашить, напрасно я ее задушила!» И ни разу не сходила на могилку в лесу, где когда-то уминала руками землю и поставила крест.

Но Ингер вовсе не была чудовище, она продолжала относиться с большой любовью к другим своим детям, заботилась о них, обшивала, просиживала ночи напролет за починкой их платья и белья. Она мечтала вывести их в люди.

И вот ячмень убрали, картошку выкопали. Пришла зима. Да, а лесопилку этой осенью так и не удалось подвести под крышу, но ничего не поделаешь, не помирать же из-за этого! Сделается летом.

XIII

А зимой пошла обычная работа: возка дров, починка орудий, инвентаря и сбруи, Ингер занималась хозяйством и шила. Мальчики опять надолго уехали в село, в школу. Они уже несколько зим пользовались одной парой лыж на двоих; пока они жили дома, все было в порядке: один терпеливо ждал, пока другой отбегает свое, или же один становился на лыжи позади другого. Да, они отлично ладили, они не знали иных радостей, они еще не были испорчены. Но в селе условия жизни побогаче, у всех в школе были свои лыжи, оказалось, даже у ребятишек из Брейдаблика у каждого по собственной паре лыж. Так что Исааку пришлось сделать новую пару для Элесеуса, а старая досталась Сиверту.

Исаак сделал больше: он одел мальчуганов и купил им неизносимые сапоги. А после этого пошел к торговцу и заказал ему кольцо.

— Кольцо? — спросил торговец.

— Да, кольцо, носить на пальце. Я так зазнался, что хочу подарить своей жене кольцо на палец.

— Какое же, серебряное или золотое, а то, может, медное, только позолоченное?

— Серебряное.

Торговец долго думал.

— Раз уж на то пошло, Исаак, и ты решил подарить своей жене кольцо, — подари уж золотое, чтоб не стыдно было носить.

— Что?! — громко проговорил Исаак. Но в глубине души он, конечно же, и сам думал о золотом кольце.

Они во всех подробностях обговорили покупку, столковавшись на определенном размере. Исаак тяжело сопел, качал головой и сетовал на слишком высокую цену, но торговец стоял на своем, заявив, что, кроме золотого, другого кольца он и выписывать не станет. Весь обратный путь домой Исаак, в сущности, радуясь своему решению, не переставал ужасаться расходам, в какие вводит любовь.

Зима стояла ровная, снежная, и когда к Новому году установился санный путь, из села начали возить на болота телеграфные столбы и складывать их на определенном расстоянии друг от друга. В каждую подводу было впряжено несколько лошадей, они везли столбы мимо Брейдаблика, мимо Селланро; а потом они встретились с другими такими же подводами, шедшими с другой стороны перевала, и вся линия оказалась завершенной.

Так шла жизнь, день за днем, без крупных событий. Да и что могло случиться? Весной начались работы по установке телеграфных столбов; без Бреде Ольсена не обошлось и тут, хотя ему бы в самую пору заняться весенними работами на собственном участке. «И как это он всюду успевает!» — снова подумал Исаак.

Самому Исааку едва хватало времени, чтоб поесть да поспать, он едва-едва управился с весенними делами, правда, земли у него теперь было обработано довольно много.

В оставшееся до покоса время он подвел-таки лесопилку под крышу и мог теперь приняться за установку механизма. Что и говорить, лесопилка вовсе не была чудом искусства, но построена была прочно и основательно и дело свое делала справно, лесопилка действовала, лесопилка пилила; не раз бывая на лесопилке в селе, Исаак там хорошенько все высмотрел, переняв все хорошее. Получилась славная крошечная лесопилка, но он был доволен ею, вырубил на двери год и поставил свое тавро.

А летом в Селланро произошло все-таки что-то не совсем обыкновенное.

Рабочие, проводившие телеграф, забрались так далеко в глушь, что однажды вечером передний их отряд вышел к хутору и попросился переночевать. Их устроили на ночь в овине. Дни шли, подходили другие партии, всем рабочим давали приют в Селланро, они уходили все дальше и дальше от хутора, но по-прежнему возвращались ночевать в овин. Как-то субботним вечером приехал для расчета с рабочими инженер.

Когда Элесеус увидел инженера, у него от страха сердце ушло в пятки, и он поспешно шмыгнул за дверь, только бы его не спросили про карандаш. И надо же так случиться, что и Сиверта нет дома и не у кого искать поддержки! Элесеус, словно призрак, крался вдоль стены и, наткнувшись наконец на мать, послал ее за Сивертом. Другого выхода не было.

Сиверт отнесся к делу гораздо спокойнее, впрочем, главная-то вина лежала не на нем. Братья уселись в сторонке, подальше от дома, и Элесеус сказал:

— Если б ты взял это на себя!

— Я? — сказал Сиверт.

— Ты гораздо младше, тебе он ничего не сделает.

Сиверт подумал-подумал, понял, что брат угодил в переделку, и ему польстило, что Элесеус в нем нуждается.

— Я мог бы, пожалуй, пособить тебе, — сказал он покровительственно.

— Ну пожалуйста! — воскликнул Элесеус и протянул брату огрызок карандаша. — Возьми его насовсем! — сказал он.

Они пошли было домой вместе, но Элесеус сказал, что у него есть еще дела на лесопилке, вернее, на мельнице, надо кое-что

посмотреть, а на это потребуется время, вряд ли он управится раньше чем через час. Сиверт пошел один.

В горнице сидел инженер и рассчитывался с рабочими бумажками и серебряными монетами, а покончив с расчетом, налил из кринки в стакан молока, которым угостила его Ингер, и очень благодарил ее. Потом поболтал с маленькой Леопольдиной, а увидев на стенах рисунки, поинтересовался, кто их нарисовал.

— Не ты ли? — спросил он Сиверта. Инженер, наверно, хотел выразить таким образом свою благодарность за гостеприимство и порадовать мать, расхвалив рисунки. Ингер объяснила толково и ясно, что ребятишки рисовали вдвоем, оба брата. Бумаги у них не было, и пока она не вернулась домой и не привезла им ее, они корябали на стенах. А у нее не хватает духу смыть их малеванье.

— И не надо, — сказал инженер. — Бумага? — и выложил на стол много-много больших листов. — Вот, рисуйте себе на здоровье до следующего моего приезда. А как насчет карандашей?

Сиверт протянул ему свой огрызок, показывая, что от карандаша остался совсем маленький кусочек. Инженер дал ему новый, неочиненный цветной карандаш.

— Рисуй себе на здоровье! Только пусть лучше лошадь будет у тебя красная, а козел синий. Ты ведь не видал синих лошадей, верно?

Потом инженер уехал.

В тот же вечер из села пришел человек с коробом, продал рабочим несколько бутылок и ушел. А после его ухода в Селланро стало уже не так тихо, заиграла гармоника, все громко заговорили, запели, а потом немножко и поплясали. Один из рабочих пригласил на танец Ингер, а Ингер — вот и пойми ее! — Ингер легонько усмехнулась и прошлась с ним несколько кругов. После этого ее стали приглашать и другие, и она порядочно повертелась.

Кто ее поймет, эту Ингер! Должно быть, то был первый счастливый танец в ее жизни, ее домогались, ее добивались тридцать мужчин, она была среди них одна-единственная, у нее не было

соперниц. А как они поднимали и кружили ее, эти здоровенные телеграфисты! Почему и не потанцевать? Элесеус и Сиверт спали крепким сном в клети под шум и крики, разносившиеся по всей усадьбе, а маленькая Леопольдина не спала, с изумлением глядя на прыжки матери.

Исаак сразу после ужина ушел на поле, а когда вернулся домой, решив ложиться спать, ему поднесли из бутылки, и он тоже выпил глоток-другой. Он сидел и смотрел на танцы, держа на коленях Леопольдину.

— Попляши, попляши! — добродушно сказал он Ингер. — Ног тут много!

Но вскоре музыкант перестал играть, и танцы кончились. Рабочие собрались в село на остаток ночи и весь завтрашний день, с тем чтоб вернуться только в понедельник утром. Вскоре в Селланро все стихло, все ушли, только двое-трое пожилых мужчин остались и пошли укладываться в овин.

Исаак поискал Ингер, чтоб уложить Леопольдину, а не найдя ее, сам внес девочку в дом и уложил спать. И тоже лег.

Среди ночи он проснулся, Ингер рядом не было. «На скотном дворе она, что ли?» — подумал он, встал и отправился на скотный двор.

— Ингер? — позвал он. Никакого ответа. Коровы повернули головы и посмотрели на него, все было спокойно. По старой привычке он пересчитал скотину, пересчитал овец и коз, одну суягную овцу всегда было трудно загнать в хлев, вот и опять она осталась на воле.

— Ингер? — позвал он. Опять никакого ответа. «Не ушла же она с ними в село?» — подумал он.

Летняя ночь была светлая и теплая, Исаак посидел немножко на крыльце, потом встал и пошел в лес искать овцу. А нашел Ингер. Ингер здесь? Ингер и с ней мужчина. Они сидели на вереске, она вертела его фуражку на указательном пальце, они разговаривали, ее, должно быть, опять домогались.

Исаак тихонько подошел к ним сзади, Ингер обернулась и, увидев его, казалось, обессилела и, выронив фуражку, повалилась наперед грудью.

— Гм. Ты знаешь, что суягная овца опять пропала? — сказал Исаак. — Да нет, где тебе знать, — прибавил он.

Молодой телеграфист поднял свою фуражку и бочком пошел прочь.

— Пойду догоню остальных, — проговорил он. — Доброй ночи, — добавил он, уходя. Никто не ответил.

— Так вот ты где! — сказал Исаак. — Здесь и будешь сидеть?

Он пошел к дому. Ингер поднялась на колени, встала на ноги и поплелась за ним, так они и шли гуськом, муж впереди, жена сзади. Пришли домой.

Ингер тем временем опамятовалась, нашла себе оправдание.

— Я как раз и пошла за овцой, — сказала она, — увидела, что ее нет. А тут случился этот парень, помог мне искать. Мы и минутки не посидели, как ты пришел. Куда ж ты сейчас-то?

— Я? Надо же найти животину.

— Да нет, ты ложись. Если уж кому искать, так мне. А ты ложись, тебе надо отдохнуть. Впрочем, овца может остаться и на воле, так ведь и раньше не раз случалось.

— Ну да, чтоб ее сожрали звери! — сказал Исаак и вышел.

— Нет же, не ходи! — крикнула она, догоняя его. — Тебе надо отдохнуть. Я пойду сама.

Исаак дал уговорить себя. Но он и слышать не хотел, чтоб Ингер пошла искать овцу. Оба вернулись в дом.

Ингер кинулась посмотреть на детей, сходила в клеть взглянуть на мальчиков и вела себя так, будто уходила из дома за самым законным делом, пытаясь даже подластиться к Исааку, словно ожидала этим вечером ласки горячее обычной, — ведь объяснила же она ему все как на духу. Но нет, благодарим покорно, Исаака не так-то легко повернуть куда хочешь, ему бы было куда легче, если б она погрузилась в печаль, не зная, куда деваться от раскаянья. Куда легче! Грош цена тому, что она съежилась в лесу, что ей стало чуточку не по себе, когда он наткнулся на нее, — грош цена, раз все так скоро прошло!

На следующий день, в воскресенье, он нисколько не помягчел, ушел из дому, отправившись на лесопилку, потом на мельницу, потом в поле, сначала с детьми, потом один. Когда Ингер

попыталась присоединиться к ним, Исаак тотчас пошел в другую сторону.

— Мне на реку надо, посмотреть кое-что, — сказал он. Какая-то боль грызла его, но он переносил ее в мрачном молчании, не показывая гнева. Исаак был человек гордый, как Израиль, например, — взысканный и обманутый, но все же верующий.

В понедельник атмосфера на хуторе несколько разрядилась, а с днями впечатление от досадной субботней ночи постепенно начало сглаживаться. Время многое исправляет, плевками и грязью, едой и сном оно залечивает все раны. У Исаака же ничего особенно страшного не случилось, он даже не был твердо уверен, что его обидели, а кроме того, у него было много другого, о чем подумать: вот-вот наступит пора сенокоса. А в-седьмых и последних, проводка телеграфной линии скоро подойдет к концу, и на хуторе вновь воцарится мир и тишина. Широкая, светлая просека пересекала лиственный лес, столбы с натянутыми проводами шли по ней вплоть до самого горного перевала.

В следующий субботний расчет, который был последним, Исаак по своей воле и желанию устроил так, чтоб не быть дома. Он понес в село масло и сыр и вернулся только в ночь на понедельник. К тому времени все рабочие уже покинули овин, почти все, у него на глазах последний выходил со двора с мешком за спиной, почти последний. Что не все обстоит благополучно, Исаак понял по деревянному сундучку, по-прежнему стоявшему в овине; где его владелец, он не знал, да и не хотел знать, но фуражка с козырьком досадной уликой лежала на сундучке.

Исаак вышвырнул сундучок на двор, вслед за ним швырнул фуражку и запер овин. Потом пошел в конюшню и выглянул в окно. «Пусть сундук стоит там, — должно быть, думает он, — и пусть фуражка валяется там, мне все равно, чьи они, но его, сволочь эдакую, я не желаю знать». Но когда он придет за корзинкой, Исаак выйдет на двор, схватит его легонько за руку и накостыляет как следует. А уж как проводить его со двора, об этом он тоже позаботится!

С этими мыслями Исаак отошел от окна в конюшне, направился в хлев и выглянул оттуда, не находя покоя. Сундучок был

обвязан веревкой, у бедняги не было даже замка для него, а веревка ослабла — не слишком ли круто Исаак обошелся с сундуком? Как уж так получилось, только он не чувствовал больше уверенности, что поступил правильно. В эту свою последнюю поездку в село он видел новую борону, которую выписал из города, о, чудо что за машина, ну чистая икона, ее только-только доставили на место. Лишь бы на нее было ниспослано благословение Божие. Может быть, как раз в эту минуту высшая сила, направляющая стопы человека, смотрит на Исаака, решая, заслуживает он благословения или нет. Высшие силы всегда занимали Исаака, ему и самому довелось однажды собственными глазами увидеть в лесу Бога, и было это удивительно и странно.

Исаак вышел во двор и остановился над сундуком. Подумал немного, сдвинул набекрень шапку и поскреб голову, и вид у него при этом был как у развязного, отважного испанца. Но тут он, должно быть, подумал: «Вот я стою, и никакой я не замечательный и выдающийся человек, а просто собака, и больше ничего!» Обвязав сундук покрепче веревкой и подняв с земли фуражку, он отнес их обратно в овин. Ну, вот все и сделано.

Когда он выходил из овина и спускался к мельнице, прочь от дома, прочь от всего, Ингер не стояла у окна в горнице. Ну что ж, пусть ее стоит где хочет, а впрочем, она небось лежит в постели, где ей и быть? В прежние времена, в первые безгрешные годы их житья на новом месте, тогда Ингер не знала покоя, не ложилась спать, пока он не возвратится домой из села, и всегда встречала его. Нынче все не так, нынче все стало по-другому. Взять хотя бы тот случай, когда он подарил ей кольцо, — хуже и не придумаешь! По скромности своей Исаак не стал говорить ей, что кольцо золотое.

— Ничего в нем особенного, так себе, пустяк, но ты все же надень его на палец, померяй!

— Оно золотое? — спросила она.

— Да, только не очень толстое, — сказал он. Ей бы ответить: «Ну что ты!» — а она вместо этого сказала:

— Верно, совсем не толстое.

— Ну и носи его вроде как травинку, — сказал он уныло.

Но Ингер была все же благодарна ему за кольцо, носила его на правой руке, кольцо поблескивало на пальце, когда она шила; изредка она давала его померить деревенским девушкам и покрасоваться в нем час-другой, когда они приходили к ней за советом. Неужто Исаак не понял тогда, как гордится Ингер кольцом!..

Но до чего же тоскливо сидеть одному на мельнице, всю долгую ночь слушая шум водопада. Исаак не сделал ничего худого, чего ему прятаться? Он вышел с мельницы и пошел полем домой, в избу...

И тут Исаак сконфузился, воистину обрадовался и сконфузился. В горнице сидел Бреде Ольсен, их сосед, не кто другой, как он, — сидел и пил кофе! Ингер вовсе и не спала, оба сидели, разговаривали и пили кофе.

— А вот и Исаак! — ласково сказала Ингер, встала и налила и ему кофе.

— Добрый вечер! — сказал Бреде и был также очень любезен.

Исаак сразу приметил, что Бреде хорошо кутнул на прощанье с рабочими, тянувшими телеграф, видно было, что он не выспался, но это ничего не меняло, он улыбался и был ласков. Разумеется, он прихвастнул: собственно говоря, ему некогда возиться с этой телеграфной работой, у него ведь на руках хутор; но никак нельзя было отказаться, до того пристал к нему инженер. А кончилось все тем, что Бреде пришлось согласиться и взять место инспектора на линии. Не ради платы, конечно, Бреде мог намного больше заработать в селе, но не пристало ему упрямиться. И вот теперь у него на стене висит маленькая блестящая машинка, довольно занятная машинка, что твой телеграф!

Исаак при всем желании не мог злиться на этого хвастунишку и лентяя, к тому же уж очень полегчало у него на душе оттого, что он застал нынче у себя дома соседа, а не чужого человека. Исааку были присущи мужицкая уравновешенность, несложные мужицкие чувства, мужицкая устойчивость и медлительность, он поддакивал Бреде и, покачивая головой, слушал его легковесную болтовню.

— Не нальешь ли еще чашечку кофе для Бреде? — спросил он Ингер. И Ингер налила ему еще кофе.

Ингер рассказала им про инженера, какой он необыкновенно добрый человек, он просмотрел рисунки и тетрадки мальчиков и сказал, что возьмет Элесеуса к себе.

— Возьмет к себе? — переспросил Исаак.

— Да, в город. Хочет, чтоб он писал у него, так ему понравились его рисунки и писанье, что он порешил сделать его конторщиком в своей конторе.

— Вот что! — сказал Исаак.

— А ты как думаешь? Ему уж пора конфирмоваться. По-моему, это здорово.

— По-моему, тоже! — сказал Бреде. — И настолько-то я знаю инженера: ежели он сказал такое слово, то так и сделает.

— Нам не обойтись здесь без Элесеуса, — сказал Исаак.

После этих слов стало как-то тихо и скучно. Да, с Исааком трудно столковаться.

— А если мальчик захочет уехать? — сказала наконец Ингер. — И если у него хватит ума, чтобы выбиться в люди?

Снова тишина. Но тут Бреде сказал, улыбнувшись:

— Инженер, верно, хотел взять и кого-нибудь из моих! У меня их много. Но старшая у меня Барбру, а она девочка.

— Барбру у вас умница, — из вежливости заметила Ингер.

— Да уж, в грязь лицом не ударит, — сказал и Бреде, — Барбру толковая и расторопная девушка, теперь она поступит к ленсману и будет у них жить.

— Она поступит к ленсману?

— Да, пришлось согласиться! Жена ленсмана все равно бы не отстала.

Давно наступило утро, и Бреде собрался уходить.

— У меня в вашем овине сундучок и фуражка, если только парни не утащили с собой, — пошутил он.

XIV

А время шло.

И, разумеется, Элесеус уехал в город, Ингер поставила на своем. Сначала он пробыл там год, конфирмовался, а после этого

прочно обосновался в конторе у инженера, все больше и больше преуспевая в писанье бумаг. А что за письма посылал он домой, то черными чернилами напишет, то красными, чисто картины! А уж какие складные, какие речистые! Изредка он просил денег, просил помочь ему: то ему нужно купить часы с цепочкой, чтобы не просыпать по утрам и не опаздывать в контору, то деньги нужны на трубку и табак, как у всех молодых конторщиков; то на что-то такое, что он называл «карманными деньгами»; то на вечернюю школу, где он обучался черчению, гимнастике и другим предметам, необходимым в его профессии и положении. В общем, содержать Элесеуса на службе в городе стоило недешево.

— Карманные деньги? — спросил Исаак. — Это что же — деньги, которые носят в кармане?

— Должно быть, так, — ответила Ингер, — должно быть, для того, чтоб не оказаться совсем уж без гроша. Да и не так это много — время от времени один далер.

— Вот-вот, аккурат так: далер нынче, далер завтра, — сердито ответил Исаак. Но сердился он больше оттого, что скучал без Элесеуса и хотел, чтоб он был дома. — Этак выйдет много далеров, — продолжал он. — У меня на это не хватит средств, напиши ему, что больше он ничего не получит.

— Да ладно уж, — оскорбленно проговорила Ингер.

— Сиверт-то небось никаких карманных денег не получает! — сказал Исаак.

Ингер ответила:

— Ты не бывал в городе и не понимаешь: Сиверту не нужны карманные деньги. Вдобавок Сиверта не придется жалеть, когда помрет дядя Сиверт.

— Откуда тебе знать?

— А вот знаю.

И в известном смысле это было верно — дядя Сиверт объявил, что его наследником будет маленький Сиверт. Дядя Сиверт много наслушался об успехах и положении Элесеуса в городе и, сердито покачав головой и поджав губы, поклялся, что племянник, которому дано имя в его честь, в честь дяди Сиверта, не останется внакладе! Но что, собственно, было за душой у

дяди Сиверта? Правда ли, что, кроме разоренной усадьбы и рыболовных снастей, было у него и много денег и всякие другие богатства, как все считали? Никто этого не знал. К тому же дядя Сиверт отличался непомерным своенравием, ему вынь да положь, чтоб Сиверт переехал к нему жить. Это для дяди Сиверта было вопросом чести: раз инженер взял Элесеуса, он возьмет Сиверта. Но как Сиверту уехать из дома? Просто невозможно. Он был единственным помощником отца. А кроме того, мальчик и сам не имел большого желания жить у дяди, у знаменитого на всю округу общинного казначея; однажды он было попробовал, но вскоре вернулся домой. Он тоже уже конфирмовался, сильно вытянулся, на щеках у него появился темный пушок, а руки стали большие и мозолистые. Работал он как взрослый мужчина.

Исааку никогда бы не построить нового сарая без помощи Сиверта, а теперь вот сарай стоит, с помостом, отдушинами и всем, что полагается, — большой, ничуть не меньше, чем у священника. Разумеется, построен он из простых жердин, обшитых досками, но сколочен очень прочно, с железными скобами по углам, и обшит дюймовыми досками, напиленными на собственной лесопилке. Сиверт загнал в него не один гвоздь, поднял не одно здоровущее бревно для стропил, чуть не падая под его тяжестью. Сиверт любил работать бок о бок с отцом, он был весь в отца. Ничуть не избалованный, Сиверт, собираясь в церковь, как и в детстве, шел на бугор и натирал себе лицо и руки для хорошего запаха листком пижмы. Зато у Леопольдины появились в последнее время разные причуды, как и можно было ожидать от девушки и единственной дочери. Нынешним летом она вдруг заявила, что не может есть за ужином кашу без патоки, ну вот никак не может! И работница она была никудышная.

Ингер не отказалась от мысли о служанке, каждую весну она заговаривала об этом, и каждый раз Исаак оставался непреклонен. Сколько бы накроила она материи, нашила, наткала бы тонкого холста, вышила бы туфель, если б у нее было больше времени! И в сущности, Исаак уже был менее несговорчив, чем прежде, хотя все-таки еще продолжал ворчать. Хо-хо, в тот первый раз он произнес длиннющую отповедь, не по справедливо-

сти и разуму и не от гордости, а, к сожалению, от слабости, от злости. Но теперь он, казалось, понемножку сдавался, стыдясь самого себя.

— Если и нужна мне в дом помощница, то именно сейчас, — сказала Ингер. — Потом Леопольдина подрастет и сможет сама многое делать.

— Помощница? — спросил Исаак. — На что тебе помощница?

— На что мне помощница? У тебя-то у самого разве нет помощника? А Сиверт?

Что Исаак мог ответить на такое неразумие? Он ответил:

— Коли у тебя в хозяйстве будет девка, значит, вы вдвоем вспашете, скосите и уберете весь урожай на хуторе. А мы с Сивертом займемся тогда своими делами.

— Уж там видно будет, — ответила Ингер, — но сейчас я могла бы нанять Барбру, она писала об этом домой.

— Какую такую Барбру? — спросил Исаак. — Барбру Бреде?

— Да. Она в Бергене.

— Не хочу я видеть у нас эту Барбру Бреде, — сказал он. И прибавил: — Нанимай любую другую.

Стало быть, от любой другой он не отказывался.

К Барбру из Брейдаблика Исаак не питал ни малейшего доверия, она была легкомысленна и непостоянна, как и ее отец, — а может, как и мать, — ненадежная ветрогонка. У ленсмана она недолго задержалась, всего год; конфирмовавшись, перешла к торговцу и у него прожила тоже год. Потом вдарилась в религию, и когда в село явились члены Армии спасения, она вступила в ее ряды; ей дали красную повязку на рукав и гитару. В таком наряде она уехала в Берген на яхте торговца, и было это в прошлом году. А недавно она прислала домой свою фотографию, Исаак ее видел: незнакомая барышня с завитыми волосами и длинной часовой цепочкой на груди. Родители гордились своей Барбру и показывали карточку всем, кто заходил в Брейдаблик; удивительно, какая она стала важная, но красной повязки на рукаве и гитары в руках у нее уже не было.

— Я брал карточку, показывал жене ленсмана, так она не узнала Барбру, — сказал Бреде.

— Она останется жить в Бергене? — подозрительно спросил Исаак.

— Она останется в Бергене, сколько захочет, — отвечал Бреде. — Если только не поедет в Христианию, — прибавил он. — Что ей делать дома? Сейчас она получила новое место и состоит домоправительницей у двух богатых холостяков-конторщиков. Жалованье получает большущее.

— Сколько же? — спросил Исаак.

— Так уж точно она в письме не говорит. Но очень большое, как я понял, ежели сравнивать с тем, сколько платят у нас в селе; да еще подарки к Рождеству и разные другие подарки, и у нее за это ничего не вычитают.

— Так, — сказал Исаак.

— А ты не взял бы ее в работницы?

— Я? — вырвалось у Исаака.

— Да нет, хе-хе, я просто так спросил, Барбру останется жить там, где живет сейчас. Что это я хотел сказать? Да! Ты никакого беспорядка не заметил на телеграфе по дороге сюда?

— На телеграфе? Нет.

— С тех пор как я взял его под свой присмотр, на линии и вправду не найдешь беспорядка. Да и машинка специальная не зря на стене висит, сразу предупредит, ежели что неблагополучно. Как-нибудь схожу на линию, осмотрю. У меня и без того дел невпроворот, одному никак не справиться. Но раз уж я состою инспектором и занимаю общественную должность, придется делать эту работу, покуда хватит сил.

Исаак спросил:

— А ты не думаешь отказаться?

— Не знаю, — ответил Бреде, — я пока не решил. Ко мне все пристают, чтоб я перебирался назад в село.

— Кто же к тебе пристает? — спросил Исаак.

— Да все. Ленсман хочет взять меня в приставы, доктор тянет в кучера, а пасторша не раз готова была обратиться за помощью, будь до нас не так далеко. А правда, Исаак, что ты получил за свою гору такие большие деньги, как говорят?

— Да, что правда, то правда, — ответил Исаак.

— На что она Гейслеру? Гора-то ведь здесь, у нас. Чудно как-то. Да и сколько лет уж прошло.

Исаак и сам нередко задумывался над этой загадкой, говорил с ленсманом, спрашивал адрес Гейслера, чтоб написать ему. Дело и впрямь было мудреное.

— Ничего я не знаю, — сказал Исаак.

Бреде не скрывал, что интересуется этой сделкой.

— Говорят, на казенной земле не одна твоя гора такая, — сказал он, — в других тоже могут быть разные сокровища, а мы-то ходим, точно бессловесные животные, и ничего этого не видим. Я решил как-нибудь забраться в горы и поизучать их.

— Да ты разве знаешь толк в горах и в породах камней? — спросил Исаак.

— Маленько разбираюсь, да и порасспросил кое-кого. Так или эдак, а надо что-нибудь придумать, не прокормиться мне на хуторе со всем семейством. Никак это не возможно. Ты совсем другое дело, тебе достался весь лес и вся хорошая земля. А здесь одно болото.

— Болото — земля хорошая, — сухо сказал Исаак. — У меня у самого болото.

— Да его ни в жисть не осушишь, — ответил Бреде.

Но осушить болото не такое уж и невозможное дело. Нынче по дороге к низине Исаак видел, как расчищают новые участки — два внизу, против села, а один значительно выше, между Брейдаблйком и Селланро. Значит, и тут пошла работа; когда Исаак поселился в этих местах, здесь царило полное безлюдье. Три этих новосела были нездешние, но, должно быть, люди толковые; они начали не с займа денег под постройку дома, а приехали, пожили немного, покопались в земле и опять уехали, словно умерли. Вот как по-настоящему надо браться за дело: рыть, пахать, сеять. Ближайшим соседом Исаака был Аксель Стрём, толковый парень, холостой, уроженец Хельгеланна, он брал у Исаака плуг — распахать свое болото — и только на второй год построил сенной сарай да землянку для себя и двухтрех голов скота. Хутор его назывался Монеланн — Лунный, — очень уж красиво светила на него луна. У него не было в доме

женщины, и он так и не смог найти на лето работницу — больно далеко от села, — но делал все на редкость правильно. Не начинать же, как Бреде, с постройки избы, а потом приехать с семьей и кучей ребят на хутор, не имея ни земли, ни скотины, чтобы прокормиться? Да что понимает Бреде Ольсен в осушке болот и распашке целины!

Вот убивать время на всякую ерунду — на это Бреде Ольсен мастер! Заехал однажды в Селланро, ну как же, он собрался в горы, искать по поручению кого-то драгоценные металлы! Вечером вернулся, сказал, что ничего определенного не нашел, обнаружил только кое-какие признаки, сказал и кивнул. Скоро опять поедет, а заодно обследует склоны гор, что смотрят в сторону Швеции.

И верно, Бреде пошел снова в горы. Должно быть, ему понравилось это занятие, а свалил все на телеграф, мол, надо объехать линию. Тем временем его жена с ребятишками копались на земле или оставляли все на волю Божию. Исааку надоели его приходы, и как только появлялся Бреде, он уходил из дома, оставляя Ингер с Бреде разговаривать одних. О чем им было говорить? Бреде часто наведывался в село и знал все новости о важных господах, Ингер, в свою очередь, могла немало порассказать ему о своем знаменитом путешествии в Тронхейм и о тамошней жизни. За те годы, что она пробыла вдали от дома, Ингер стала страсть как болтлива, заводя разговоры с кем ни попадя. Да, это уже совсем не та наивная и справедливая Ингер, что прежде.

Женщины и девушки постоянно заходили в Селланро, то скроить платье, то стачать длинный шов на машинке, и Ингер хорошо их принимала. Снова повадилась приходить и Олина, не утерпела-таки, появлялась и весной и осенью, мягкая, как масло, и насквозь фальшивая.

— Захотелось поглядеть, как вы тут поживаете, — говорила она каждый раз. — Да и соскучилась очень по ребятишкам, страсть как я их полюбила, одно слово — ангелочки. Теперь-то они взрослые парни, но вот ведь чудное дело, никак не могу позабыть, какие они были маленькие и как я за ними ходила. А вы

все строите и строите, не иначе как целый город решили построить! У вас не будет колокола на новом сарае, как в усадьбе у священника?

Однажды Олина привела с собой еще одну женщину, и втроем с Ингер они отлично провели вместе целый день. Чем больше народу собиралось вокруг Ингер, тем лучше она кроила и шила, споро орудуя ножницами и утюгом. Все это напоминало ей о днях, проведенных в тюрьме, где было так много женщин. Ингер не скрывала, где она набралась умения и мастерства — в Тронхейме. Выходило так, будто она там не наказание отбывала, а прожила те годы в учении, обучаясь портняжному делу, ткачеству, красильному делу, письму, и все это дал ей Тронхейм. Она говорила о тюрьме как о родном доме, полном людей, — тут тебе и начальство, и надзирательницы, и сторожа; когда она вернулась домой, она почувствовала себя словно в пустыне, ей было тяжело навсегда лишиться общества, к которому она так привыкла. Она даже прикидывалась иногда, будто простужается, потому что совсем отвыкла от холодного сырого воздуха, даже год спустя после возвращения она боялась выходить из дома в ветер и дождь. Для того-то и была ей нужна помощница — для работы вне дома.

— Да Господи ты Боже мой, — сказала Олина, — тебе ли не держать работницу, раз у тебя есть средства, к тому же ты такая ученая и у тебя такой большой дом!

Кому не приятно, когда тебя так хорошо понимают, и Ингер ей не перечила. Она шила с такой быстротой, что кольцо так и сверкало у нее на руке.

— Вот видишь, — сказала Олина другой женщине, — разве не правду я тебе говорила, что у Ингер золотое кольцо?

— Хотите посмотреть? — спросила Ингер и сняла с пальца кольцо. Олина взяла кольцо и принялась рассматривать его, словно не веря своим глазам, ну чистая обезьяна, разглядывающая орех. Потом сказала, отыскав пробу:

— Ну да, все так и есть, как я говорила про то, сколько у Ингер богатств и денег!

Вторая женщина благоговейно взяла кольцо, подобострастно ухмыльнувшись.

— Надень его, если хочешь, — сказала Ингер, — надень, ему ничего не сделается!

Ингер была сама доброта и радушие. Она принялась рассказывать им про Тронхеймский собор и начала так:

— Неужто вы не видали собора в Тронхейме? Ах да, вы ведь не были в Тронхейме! — И, словно собор был ее собственностью, она кинулась на его защиту, хвасталась им, назвала его высоту и размеры — не собор, а просто сказка! Семь священников служат в нем зараз, и один не слышит другого. — Стало быть, вы не видали и колодца святого Олафа. Он находится в самом соборе, и колодец этот бездонный. Когда мы туда ходили, то каждый раз брали с собой по камешку и бросали в колодец, и он никогда не доставал до дна.

— Никогда не доставал до дна! — прошептали женщины, качая головой.

— А кроме колодца, чего только в этом соборе нет, — восторженно продолжала Ингер, — вот хотя бы серебряная рака. Рака святого Олафа. А мраморная церковь, маленькая церковка из чистейшего мрамора, датчане отняли ее у нас во время войны...

Женщины собрались уходить. Олина отозвала Ингер в сторонку, повела за собой в кладовую, где — она знала — лежат все сыры, и затворила за собой дверь.

— Чего тебе нужно? — спросила Ингер.

Олина зашептала:

— Ос-Андерс не посмеет больше приходить сюда. Я ему не велела.

— Ну что ж, — сказала Ингер.

— Я сказала: пусть только попробует, после того, что он тебе устроил!

— Да, да, — сказала Ингер. — Но он уже был здесь много раз, и пусть себе приходит, я его не боюсь!

— Твоя правда, — сказала Олина, — но я знаю, что знаю, и если хочешь, донесу на него.

— Ну что ж, — сказала Ингер. — Нет, не беспокойся!

Но ей было приятно, что Олина на ее стороне, и обошлось ей это в маленькую головку сыра; Олина же так и рассыпалась в благодарностях.

— Я всегда говорила и говорю: Ингер не раздумывает ни минуты, когда дело идет о подарке, тут уж она дает обеими руками! Конечно, чего тебе бояться Ос-Андерса, но я все-таки запретила ему показываться тебе на глаза. Уж такую-то малость я могла для тебя сделать!

Тогда Ингер сказала:

— Да что из того, если б он и пришел. Он больше не может мне навредить.

Олина насторожила уши.

— Ты разве узнала какое-нибудь средство против этого?

— У меня больше не будет детей, — ответила Ингер.

Обе были на равной ноге, и у обеих оказались равные козыри: кому, как не Олине, было знать, что лопарь Ос-Андерс помер еще в прошлом году...

Но почему у Ингер не будет больше детей? С мужем она нельзя сказать чтоб не ладила, они жили вовсе не как кошка с собакой, наоборот, хотя у каждого были свои особенности, ссорились они редко и всегда ненадолго, потом опять все шло похорошему. Иной раз Ингер вдруг становилась такою же, как в былые дни, и работала на скотном дворе так же усердно, как прежде, словно, уходя ненадолго в себя, черпала свежие силы. В такие дни Исаак смотрел на жену благодарными глазами, и будь он из тех, кому не терпится выложить свои мысли, он сказал бы в знак признательности: «Что такое? Гм. Да ты с ума сошла!» — или что-нибудь в этом роде. Но он, как правило, слишком долго молчал, каждый раз запаздывая со своей похвалой. Потому, должно быть, Ингер и не старалась постоянно проявлять такое свое трудолюбие.

Ей было за пятьдесят, и она вполне могла бы иметь детей, на вид же ей было не дать, пожалуй, и сорока. Всему-то она научилась в заведении — уж не научилась ли она каким-нибудь фокусам и насчет себя самой? Она вернулась, научившись стольким премудростям от общения с другими убийцами, а может, и наслушавшись кой-чего и от господ, от смотрителя, докторов. Однажды она рассказала Исааку, что один молодой врач высказался о ее злодеянии следующим образом: «Зачем наказывать

кого-то за убийство детей, будь они даже здоровые, даже нормальные? Ведь они не больше как кусок мяса».

Исаак спросил:

— Он, верно, был зверь зверем?

— Это он-то! — воскликнула Ингер и рассказала, как он был ласков к ней, как именно он пригласил другого доктора сделать ей операцию и благодаря ему она сделалась человеком. Теперь у нее остался только рубец.

Да, теперь у нее только рубец, и она стала совсем красивой женщиной, высокая и статная, смуглая, с густыми волосами, летом по большей части босая, в высоко подоткнутой юбке, с обнаженными икрами ног. Исаак их видел, да и кто их не видел.

Ссориться они не ссорились. Исаак был на это не способен, да и жена его стала уж чересчур скора на ответ. На хорошую, основательную ссору этому чурбану, этому мельничному жернову требовалось много времени, она забивала его и так и этак словами, и он не находился с ответом, к тому же он любил ее, он очень сильно любил ее. Да и не так уж часто приходилось ему отбиваться, Ингер не было никакой нужды нападать на него, он был во многих отношениях превосходным мужем, и ей ничего не оставалось, как оставить его в покое. На что ей было жаловаться? По совести, Исаак был не худший из мужей, могла бы вполне заполучить кой-кого и похуже. Чуток поизносился? Ну да, конечно, сказывались некоторые признаки усталости, но это ничего не значило. Он был, как и она, полон по-прежнему здоровьем и неиспользованными запасами сил, и в осень их совместной жизни вносил свою долю ласки с не меньшим, если не с большим сердечным жаром, чем она.

Но были ли в нем какой-либо особый блеск и красота? Нет. И в этом она превзошла его. Порой Ингер приходило на ум, что ей доводилось видеть мужчин и пошикарнее, в красивом платье и с тросточками, господ с носовыми платками и крахмальными воротничками; ох уж эти городские господа! Поэтому она обращалась с Исааком так, как и полагалось обращаться с человеком вроде него, так сказать, в меру его заслуг, не более того: он был мужик мужиком, лесной житель; и теперь-то уж она знала: будь

у нее от рождения нормальный рот, она никогда бы за него не вышла. Да, уж тогда-то она вышла бы за другого! Дом, который она получила, жизнь в лесной глухомани, уготованная ей Исааком, — все это, в сущности, лишь сносное существование, во всяком случае, она вполне могла выйти замуж в своем родном селе и общаться с людьми, а не жить, словно дикарь, в этой темной глуши. Она познала другую жизнь и многое повидала.

Не удивительно ли, как меняются взгляды людей! Ингер уже не могла от души радоваться красивому теленку или всплескивать от изумления руками, когда Исаак приносил домой с горного озера большущее ведро, полное рыбы, — нет, она шесть лет прожила в ином мире. Ушли в прошлое и те деньки, когда она так ласково и так заботливо звала его обедать. «Что ж ты не идешь есть?» — говорила она теперь. Разве так обращаются с мужем? Вначале он лишь дивился этой перемене, ее грубому и сварливому тону и отвечал: «Я же не знал, что обед готов». Но она утверждала, что ему положено это знать по солнцу, и тогда он вовсе перестал ей возражать и что-либо говорить по этому поводу.

Но однажды он поймал ее и сполна использовал этот случай: произошло это в тот раз, когда она вздумала украсть у него деньги. Не потому, что он был так уж скуп, но потому, что это были его деньги, и никаких сомнений на этот счет у него не было. Дело чуть не кончилось для нее большой бедой, мог ведь Исаак ее и покалечить. А Ингер вовсе и не была такой уж испорченной безбожницей, и деньги были нужны ей для Элесеуса, все для того же Элесеуса, который сидел в городе и снова выпрашивал себе далер. Неужто ему так и жить средь благородных господ без гроша в кармане? Или у нее не материнское сердце? Вот она и попросила денег у его отца, а когда он не дал, взяла их сама. Как уж это вышло наружу, подозревал ли ее Исаак или обнаружил пропажу случайно — но только ее проделка открылась, как она в ту же секунду почувствовала, что ее схватили, подняли с пола и швырнули наземь. Такого с ней еще никогда не бывало, на нее обрушилась лавина. В руках Исаака и в помине не было ни слабости, ни усталости. Ингер застонала, голова ее бессильно повисла, и, вся дрожа, она протянула ему далер.

Исаак и тут не стал ничего объяснять, хотя на сей раз Ингер не мешала ему говорить, он почти выдохнул то, что хотел сказать:

— Чертова баба, тебе больше не место в доме!

Он был неузнаваем. Должно быть, дал волю давно копившемуся раздражению.

То был печальный день, миновала долгая ночь, и наступил еще один такой же день. Исаак ушел и дома не ночевал, хотя ему обязательно надо было свезти в сарай просохшее сено; Сиверт ушел с отцом. Ингер осталась с Леопольдиной, коровами, козами, но она чувствовала себя совсем одинокой, почти все время плакала, недоуменно качая головой; такое сильное душевное волнение она пережила лишь один раз в жизни, теперь она вспомнила тот один раз, а случился он, когда она придушила своего крошечного ребеночка.

Куда подевались Исаак с сыном? Они и не думали зря терять время; украв сутки или около того от сенокосной поры, они построили на озере лодку. Вышла изрядно неуклюжая, неприглядная посудина, но прочная и крепкая, как все, что они делали, зато теперь у них была лодка и они могли ловить рыбу неводом.

Они вернулись домой, а сено лежало все такое же сухое. Они доверились небу — и выгадали, остались в барышах. Сиверт сказал:

— А мама-то, видать, убирала сено.

Отец повел глазом на луг и заметил:

— Ага.

Исаак сразу увидел, что большая часть сена исчезла, Ингер, верно, ушла сейчас в дом полдневать. И правильно сделала, что убрала сено, хоть он обругал и поколотил ее вчера. А сено-то тяжелое, большетравное, ей здорово досталось, да еще пришлось выдоить всех коров и коз.

— Ступай поешь, — сказал он Сиверту.

— А ты?

— Не хочу.

Почти сразу как Сиверт вошел в избу, Ингер вышла за дверь и, смиренно остановившись на пороге, сказала:

— Будь добр, зайди в избу и поешь тоже.

В ответ Исаак проворчал что-то невразумительное. Но кротость Ингер в последнее время стала явлением таким редким, что Исаак заколебался в своем упорстве.

— Если б ты вколотил два зубца в мои вилы, я б скопнила и больше, — сказала она. Она обращалась со своей просьбой к хозяину двора, к главе семьи, и была благодарна, когда он не ответил ей язвительным отказом.

— Ты и без того довольно наработала, — проговорил он.

— Да куда там.

— Некогда мне сейчас приколачивать тебе зубцы к вилам, видишь, собирается дождь!

И сам принялся копнить сено.

Должно быть, ему хотелось избавить ее от работы: несколько минут, потраченные на починку вил, наверстались бы в десять раз, если б Ингер пришла ему помочь. А Ингер все-таки пришла со сломанными вилами и копнила так споро, что только успевай поворачиваться; приехал Сиверт с подводой, все втроем они навалились на работу, пот лил с них ручьем, и воз за возом отправлялся на сеновал. Любо-дорого посмотреть! Исаак же снова раздумался о высшей силе, направляющей все наши шаги, от кражи далера до уборки целой кучи сена. А вдобавок на озере стоит лодка, после долгих лет размышлений и сборов стоит теперь готовенькая лодка на озере.

— О-ох, Господи, — вздохнул Исаак.

XV

В общем, вечер вышел замечательный, поворотный пункт. Ингер, казалось, выбившаяся на долгое время из колеи, теперь снова вернулась на свое прежнее место, и всего-то для этого понадобилось поднять ее с пола. Ни один из них не вспоминал об этом происшествии, Исаак потом даже устыдился за этот далер: и деньги-то всего никакие и все равно с ними пришлось расстаться, ведь в конце концов он отдал его Элесеусу. К тому

же разве этот далер не принадлежал столько же Ингер, сколько и ему? Пришло время и Исааку проявить смирение и покорность.

Да, всякие бывали времена, Ингер, видать, опять поменяла свои взгляды на жизнь, опять переменилась, отказалась малопомалу от своих благородных замашек и снова сделалась серьезной и заботливой женой и хозяйкой. Подумать только, что мужской кулак может сотворить такие чудеса! А и как же иначе, дело-то касалось сильной и работящей женщины, которую изнежило долгое пребывание в искусственной атмосфере, — жизнь столкнула ее с мужчиной, слишком твердо стоявшим на ногах. Он ведь ни на минуту не покинул своего исконного места на земле, своей почвы. Его не сдвинешь.

Да, всякие бывали времена; на следующий год опять случилась засуха, исподволь подтачивая ростки и людскую бодрость. Ячмень сох на корню, картошка — изумительная картошка! — та не сохла, а цвела, цвела. Луга стали серого цвета, картошка же цвела. Высшая сила управляла всем, но луга стали серого цвета.

И вот однажды явился Гейслер, бывший ленсман Гейслер наконец-то явился опять. Удивительно, право, что он не помер, а опять вынырнул. Зачем бы это?

На сей раз Гейслер не хвастал крупными затеями, покупкой горных участков и документами. Наоборот, он был довольно-таки плохо одет, борода и волосы на голове поседели, веки были красные. И вещей за ним теперь уж никто не нес, даже никакого чемоданчика, под мышкой у него был только портфель.

— Здравствуйте, — сказал Гейслер.

— Добрый день, — ответил Исаак и ответила Ингер. — Вот какие к нам пожаловали гости!

Гейслер кивнул головой.

— Спасибо вам за последнюю встречу в Тронхейме! — сказала наособицу Ингер.

Исаак тоже кивнул и сказал:

— Да, спасибо за это от нас обоих!

Но не в привычках Гейслера было впадать в сентиментальность, и он сказал:

— Я иду через перевал в Швецию.

Хотя хуторяне были подавлены из-за засухи, визит Гейслера порадовал их, они радушно угостили его, им было очень приятно как следует принять его, он сделал им так много добра.

Сам Гейслер нисколько не был подавлен, он сейчас же начал рассуждать обо всех проблемах, осматривал землю, кивал головой, по-прежнему держался прямо и гордо, словно у него в кармане лежало много сотен далеров. Он принес с собой бодрость и оживление, и не потому только, что говорил громким голосом, а потому, что говорил весело и возбужденно.

— Великолепное местечко это Селланро! — сказал он. — А теперь за тобой сюда, в глушь, потянулись и другие, я насчитал целых пять усадеб. Есть и еще, кроме этих, Исаак?

— Всего семь, две не видно с дороги.

— Семь дворов, скажем, пятьдесят человек. Придет время, и тут будет густо заселенный район. У вас еще нет здесь школьного округа и школы?

— Есть.

— Да, я слыхал. Школа на усадьбе Бреде, потому что она находится почти в центре. Подумать только, Бреде — и вдруг хуторянин-землепашец! — сказал он и зевнул. — Про тебя я все знаю, Исаак, ты — основа всего. Это меня радует. Ты и лесопилку завел?

— Да, уж какая вышла. Но мне большая подмога. Я распилил на ней не одно бревно и для нижних соседей.

— И правильно сделал!

— Вот бы узнать, что вы о ней скажете, если вас не затруднит дойти до нее.

Гейслер кивнул, словно подтверждая, что он знаток и в этом деле: ладно, он осмотрит лесопилку, осмотрит все, что тут сделано. Он спросил:

— У тебя было два сына, где же другой? В городе? В конторе? Гм! А этот с виду молодчина. Тебя как зовут?

— Сиверт.

— А того?

— Элесеус.

— В конторе у какого-то инженера? Чему он там научится? Разве что помирать с голоду. Мог бы поступить и ко мне, — сказал Гейслер.

— Да, — из вежливости ответил Исаак. Ему было жаль Гейслера, ведь не похоже на то, чтоб он мог держать помощника, пожалуй, и одному-то ему приходится трудновато, вон и пиджак у него изрядно-таки протерся на локтях, и на рукавах бахрома.

— Не хотите ли надеть сухие носки? — спросила Ингер, протягивая ему пару своих новых носков, из тех что она связала еще в лучшую свою пору, тоненькие, с каемкой.

— Нет, спасибо, — кратко сказал Гейслер, хотя, конечно, ноги у него были совсем мокрые. — Куда как лучше было бы ему поступить ко мне, — сказал он, имея в виду Элесеуса. — У меня нашлось бы для него дело, — прибавил он, вынув из кармана маленькую серебряную табакерку и повертев ее в руках. Наверно, это был единственный предмет роскоши, оставшийся у него от прошлого.

Но он не мог долго сосредоточиться на чем-нибудь одном: сунув табакерку обратно в карман, он завел разговор о другом.

— Послушай-ка, неужто это луг такой серый? Я было подумал, это тень. Почему горит земля? Пойдем со мной, Сиверт!

Он тут же вскочил из-за стола, обернулся в дверях, поблагодарил Ингер за еду и исчез. Сиверт последовал за ним.

Они направились к реке, Гейслер все время упорно высматривал что-то.

— Здесь! — сказал он, остановившись. И пояснил: — Не годится, чтоб земля пересыхала, когда до реки рукой подать и можно взять воду! К завтрашнему дню луг должен позеленеть!

Изумленный Сиверт сказал:

— Да.

— Вот отсюда прорoешь наискосок канавку, земля тут ровная, а дальше мы проведем желоб. Раз у вас есть лесопилка, наверняка есть и длинные доски? Отлично! Сходи за лопатой и мотыгой и начинай копать, а я вернусь и хорошенько размечу линию.

Он опять побежал на усадьбу, в башмаках у него хлюпало, так сильно он промок. Исаака он засадил мастерить желоба, ве-

лев сделать как можно больше, их придется проложить там, где не поднять воду в канаву; Исаак попробовал было возразить, что вода, пожалуй, не дойдет до луга, очень уж далеко, сухая земля выпьет ее, прежде чем она достигнет спаленных засухой мест. Гейслер объяснил, что, конечно, это сделается не сразу, какое-то время земля будет впитывать воду, но немного погодя вода пройдет дальше.

— Завтра в этот час поля и луг зазеленеют!

— Так, — сказал Исаак и изо всех сил принялся колдовать над желобами.

Гейслер побежал обратно к Сиверту.

— Хорошо, — сказал он, — валяй так и дальше, я сразу понял, что ты молодчина! Линия пройдет вот по этим вешкам. Если на пути попадется большой камень — веди канаву вбок, но в той же плоскости. Понимаешь: на такой же высоте.

И опять к Исааку:

— Один желоб у тебя готов, а нам понадобится, может, штук шесть; продолжай дальше, Исаак, завтра все должно зазеленеть, твой урожай спасен.

Гейслер сел на бугорок, хлопнул себя обеими руками по коленкам и заболтал, восторженно перескакивая с одной мысли на другую.

— У тебя есть смола, есть пакля? Удивительно, все-то у тебя есть! Ведь вначале-то желоба будут протекать, потом замокнут и не будут пропускать воду, как бутылки. Говоришь, у тебя есть смола и пакля, потому что ты строил лодку? Где ж твоя лодка? На озере? Надо мне посмотреть и ее!

Чего только он не наобещал. Гейслер и всегда-то подвижный был господин, а сейчас стал, пожалуй, еще легче на подъем, всякое дело он желал делать с наскоку. Ну а уж на этот раз он носился как ветер. И нужно признать, что-что, а приказывать он умел. Разумеется, он был не лишен склонности к преувеличениям, поля и луг никак не могли зазеленеть раньше чем через день-другой, но Гейслер был все-таки молодец, умел видеть и делать нужные выводы, и если урожай в Селланро был спасен, так действительно только благодаря этому странному человеку.

— Сколько ты наготовил желобов? Мало. Чем больше желобов, тем лучше побежит вода. Сколотишь десять или двенадцать желобов в десять локтей, тогда хватит. Говоришь, у тебя есть несколько досок длиной в двенадцать локтей? Пусти их в ход, они окупятся осенью.

Не успокоившись на этом, он вскочил и помчался снова к Сиверту.

— Великолепно, Сиверт, все идет отлично, твой отец сколачивает желоба, у нас их будет больше, чем я мечтал. Ступай, тащи их сюда, сейчас начнем!

Весь день шла горячка, такой гонки и такого непривычного темпа Сиверту еще никогда не приходилось выдерживать — они едва выкроили время пойти закусить. И вот вода побежала! Кое-где пришлось прорыть канавку поглубже, кое-где опустить или приподнять желоб, но вода бежала! До позднего вечера трое мужчин ходили по полю, подправляя то одно, то другое, целиком поглощенные своим занятием, но когда влага начала просачиваться в землю на самых засохших участках, сердца новоселов затрепетали от радости.

— Я позабыл свои часы — который час? — спросил Гейслер. — Завтра в это время все будет зеленое! — сказал он.

Сиверт и ночью встал посмотреть на свои канавки. И встретил отца на поле, вставшего за тем же делом. О Господи, то-то было волнений и переживаний!

Но на следующий день Гейслер был вялый и долго не вставал с постели — весь его пыл прошел. Он был не в силах даже дойти до озера и посмотреть лодку и уж только от стыда сходил взглянуть на лесопилку. Даже и к оросительным канавкам не проявил он прежнего горячего интереса; увидев, что ни луг, ни поле за ночь не позеленели, он утратил всякую бодрость, он уже не думал о том, что вода все бежит и бежит, растекаясь все дальше и дальше по земле. Он ограничился только тем, что сказал:

— Может статься, что толк от этого ты увидишь не раньше чем послезавтра. Но не унывай.

Среди дня притащился Бреде Ольсен и принес с собой образцы камней, которые хотел показать Гейслеру.

— Сдается мне, это что-то прямо удивительное, — сказал Бреде.

Гейслер даже не удосужился посмотреть на его камни.

— Так-то ты занимаешься земледелием — бродишь кругом в погоне за сокровищами? — язвительно спросил он.

Бреде, не пожелав, видимо, выслушивать замечаний от своего бывшего ленсмана, за словом в карман не полез и, перейдя на ты, сказал:

— Я тебя не уважаю!

— Ты ведь только и делаешь день-деньской, что болтаешься по округе, — сказал Гейслер.

— А ты-то сам, — ответил Бреде, — ты-то сам чем занят? Ах да, у тебя же есть в горах своя собственная скала, которая никому не нужна, а только занимает место. Хе-хе, прямо слово, настоящий хозяин!

— Шел бы ты отсюда! — сказал Гейслер.

Бреде и впрямь не задержался; вскинув свой мешок на спину и не попрощавшись, он зашагал по направлению к дому.

Гейслер же сел за стол и принялся просматривать какие-то бумаги, основательно над ними задумавшись. Похоже было, что он разохотился, решив удостовериться, как обстоят дела с медной скалой, с контрактом, с анализом: это же почти чистая медь, медная лазурь, надо что-то делать, а не вешать голову!

— Собственно, я приехал затем, чтобы все наладить, — сказал он Исааку. — Я рассчитываю очень скоро подрядить большую партию рабочих и начать разработку. Что ты об этом скажешь?

Исааку опять стало его жалко, и он ничего не ответил.

— Для тебя это тоже не безразлично. Хочешь не хочешь, а здесь появится много народа, и будет страшный шум и грохот от взрывов, не знаю, понравится ли тебе это. С другой стороны, в округе забурлит жизнь, все придет в движение и тебе будет легко сбывать свои продукты. Сможешь запрашивать за них сколько вздумается.

— Так, — сказал Исаак.

— Не говоря уже о том, что ты будешь получать большой процент с горной добычи. А это большие деньги, Исаак.

Исаак отвечал:

— Я и так уже получил от вас слишком много.

На следующее утро Гейслер покинул усадьбу и зашагал в восточном направлении, к Швеции. На предложение Исаака проводить его он ответил кратким: «Нет, спасибо». До смерти жалко было смотреть, как он уходит, бедный и одинокий. Ингер наготовила ему пропасть самых замечательных припасов, напекла даже вафель, но и этого ей показалось мало; она хотела дать ему еще кувшинчик сливок и побольше яиц, но он наотрез отказался. Так что Ингер даже немножко обиделась.

Гейслеру, конечно же, нелегко было покидать Селланро, против обыкновения ничего не заплатив, и он прикинулся, будто заплатил, будто и в самом деле выложил крупную купюру, сказав Леопольдине:

— Поди-ка сюда, я дам тебе одну интересную штучку!

И протянул ей свою табакерку, серебряную табакерку.

— Вымой ее и держи в ней булавки, — сказал он. — А если не пригодится, так стоит мне только добраться домой, я пришлю тебе что-нибудь другое, там у меня пропасть всякого добра...

Оросительные же канавки продолжали действовать и после ухода Гейслера — ночью и днем, неделю за неделей; это они заставили поля позеленеть, заставили картофель отцвести, заставили ячмень набрать колос.

С низины стали приходить новоселы посмотреть на чудо, пришел Аксель Стрём, сосед из Лунного, тот, что был неженат и не имел работницы, но справлялся сам, пришел и он. Он в тот день был в хорошем расположении духа и рассказал, что ему обещали подыскать на лето девушку, — стало быть, придет конец его мукам! Он не уточнил, кто эта девушка, Исаак тоже не спросил; а обещали ему Барбру Бреде, и обойдется ему это лишь в стоимость телеграммы в Берген. Ничего не поделаешь, Аксель выложил деньги на телеграмму, хотя человек он был куда какой расчетливый, попросту говоря, скуповатый.

А выманил Акселя нынче к соседу водопровод, он осмотрел его из конца в конец и страшно заинтересовался. На его участке не было большой реки, зато имелся ручей, не было у него и

досок для желобов, но он решил прокопать все ходы в земле, так тоже можно. Пока еще на его низменном участке дела обстоят не так уж плохо, но если засуха затянется, придется и ему подумать об орошении. Осмотрев все, он стал прощаться. Его пригласили в дом, но он отказался за недосугом, он решил нынче же вечером начать копать канаву. И ушел.

Хозяин, не чета Бреде.

А Бреде, ну и побегал же он по болотам, рассказывая о водопроводе и других чудесах, которые завелись в Селланро.

— Не к добру это так уж усердствовать с землей, — твердил он. — Вон Исаак-то до чего дошел — стал прокладывать оросительные канавы!

При всем своем терпении Исаак частенько мечтал избавиться от этого человека, разносившего по округе сплетни про Селланро. Бреде все сваливал на телеграф, мол, покуда он общественное должностное лицо, его обязанность — содержать линию в порядке. Но телеграфное начальство уже не раз делало ему выговоры за упущения в работе, снова и снова предлагая это место Исааку. Бреде был занят вовсе не телеграфом, весь уйдя в мысли о горных металлах, это сделалось у него своего рода болезнью, навязчивой идеей.

Теперь частенько случалось, что он приходил в Селланро, хвастаясь, будто нашел сокровище, и, кивая головой, говорил:

— Не буду распространяться, но и утаивать не стану: я нашел ну просто что-то необыкновенное!

Он попусту растрачивал время и силы. Вернувшись усталый домой, он бросал на пол мешок с образчиками камней, тяжко отдувался после дневных трудов и объявлял, что никто не бьется так из-за куска хлеба, как он. Он посадил немножко картофеля на кислом болоте, и если скашивал крапиву, буйно разросшуюся вокруг его избы, то называл это земледелием. Он занялся не своим делом, чего уж тут было ждать хорошего. Вот уже и дерновая крыша на избе осела, ступеньки на кухню прогнили от сырости, точильный камень валялся на земле, телега вечно стояла под открытым небом.

И при этом Бреде было по-своему хорошо. Ибо все эти мелочи ничуть не тяготили его. Когда дети, играя, катали точиль-

ный камень по траве, отец взирал на это с полным благодушием, а иногда и сам помогал им. Легкомысленный и ленивый по натуре, лишенный всякой серьезности, но и мрачности, слабохарактерный, безответственный, он все же как-то умудрялся добывать кой-какое пропитание и худо-бедно перебивался вместе с семейством. Но не будет же торговец вечно кормить Бреде и его семью, он уже не раз повторял это, а теперь объявил об этом окончательно и бесповоротно. Бреде и сам это понимал, пообещав положить этому конец: он продаст свой участок, глядишь, хорошо на этом заработает и рассчитается с торговцем!

Да пусть он на этом и потеряет, он все равно продаст участок — на что ему земля! Он рвался обратно в село, рвался к беспечности, сплетням и мелочной лавочке вместо того, чтоб обрести покой здесь, в глуши, и работать, позабыв большой мир. А ему ли позабыть рождественские праздники, или Семнадцатое мая, или базары в муниципалитете! Он любил поговорить с людьми, потолковать о новостях, а с кем потолкуешь в здешних болотах? Правда, Ингер из Селланро одно время явно проявляла к нему некоторую склонность, но теперь она переменилась, опять стала мрачная и неразговорчивая. К тому же она сидела в тюрьме, и для него, человека общественного, компания совсем неподходящая!

Да, он сам себя устранил, покинув село. Теперь он с завистью видел, что ленсман нашел себе другого пристава, а доктор — другого кучера; он бежал от людей, нуждавшихся в нем, и сейчас, когда его под рукой не было, они спокойно обходились и без него. А ведь какой он пристав и какой кучер! Если по совести, так за ним, за Бреде, не грех бы и прислать лошадь, чтоб отвезти его обратно в село!

Теперь о Барбру. Почему он надумал пристроить ее в Селланро? Эта затея пришла ему на ум после совещания с женой. Если все пойдет как надо, Селланро откроет будущее для девушки, а может быть, свет забрезжит и для всей семьи Бреде. Вести хозяйство у двух конторщиков в Бергене, конечно, неплохо, но бог весть что она за это в конце концов получит; Барбру красивая и из себя статная, пожалуй, дома у нее больше шансов хорошо устроиться. В Селланро-то как-никак двое парней.

Когда Бреде понял, что этот план не удастся, он придумал другой. Собственно говоря, невелика честь — породниться с Ингер, побывавшей в тюрьме, а парни есть не в одном Селланро, вот хотя бы Аксель Стрём. У него двор и землянка, человек он работящий и бережливый, и скотины и добра порядком наберется, но ни жены, ни работницы пока нет.

— Я тебе вот что скажу: будет у тебя Барбру, никаких других помощников тебе и не понадобится! — сказал Бреде Акселю. — Погляди-ка на ее карточку! — сказал он.

Прошло две-три недели, и Барбру и впрямь приехала, а Аксель немножко запоздал с сенокосом, приходилось ночью косить сено, а днем сгребать, и все делать одному — и тут на́ тебе, приехала Барбру! Сущий подарок! Оказалось к тому же, что Барбру умеет работать: она перемыла всю посуду, выстирала белье, сварила обед, подоила коров, а потом пришла и на сенокос, даже помогла таскать сено на сеновал, и тут поспела; Аксель решил определить ей хорошее жалованье и оставить ее на усадьбе.

Оказалось, она не только на фотографии красивая. Прямая и тоненькая, с чуть хрипловатым голосом, Барбру во многом обнаружила зрелость и опытность, уж никак не желторотый птенчик. Но отчего у нее такое узенькое и худое лицо?

— Мне бы узнать тебя с виду, — сказал он, — но на карточке ты совсем не такая.

— Это с дороги, — отвечала она, — да еще и от городского воздуха.

Прошло совсем немного времени, и Барбру опять округлела, похорошела и сказала:

— Сам понимаешь, такая дорога и такой городской воздух красоты не прибавят! — Она намекнула и на соблазны в Бергене — вот где надо смотреть в оба! И пока они сидели и болтали, она попросила его подписаться на газету, бергенскую газету, чтоб ей следить за новостями на свете. Она привыкла к чтению, к театру и музыке, а здесь так скучно.

На радостях, что ему так повезло с работницей, Аксель Стрём подписался на газету и смотрел сквозь пальцы на то, что члены

семейства Бреде частенько заглядывали к нему на хутор, пили и ели. Он хотел поощрить свою работницу. А что могло быть приятнее воскресных вечеров, когда Барбру перебирала струны гитары, напевая своим хрипловатым голосом; Аксель приходил в умиление от незнакомых, красивых песен, от того, что кто-то и в самом деле живет и поет у него на хуторе.

За лето он узнал ее и с некоторых других сторон, но в основном все же остался доволен. Случались и у нее капризы, порой она была дерзка на язык, пожалуй, даже чересчур дерзка. И в тот субботний вечер, когда Акселю непременно нужно было сходить в мелочную лавку в селе, Барбру уж никак не следовало бросить землянку и скотину и уйти как ни в чем не бывало. А причиной всему была маленькая ссора. И куда же она ушла? Да просто домой, в Брейдаблик, но все-таки...

Вернувшись ночью домой, Аксель не обнаружил в землянке Барбру; он наведался к скотине, поел сам и лег спать. Утром пришла Барбру.

— Захотелось поглядеть, каково это жить в доме с деревянным полом, — сказала она довольно язвительно.

На это Аксель ничего путного ответить не мог, ведь у него-то была простая землянка с земляным полом, а ответил только, что лесу у него достаточно, так что когда-нибудь будет и у него изба с деревянным полом! Тогда она словно бы раскаялась — ведь она была совсем не злая — и, несмотря на воскресенье, пошла в лес за свежими можжевеловыми ветками и выстлала ими земляной пол.

Но раз уж она проявила такую старательность и доброту, то и Акселю пришлось вытащить красивый головной платок, который он купил ей вчера вечером: вообще-то он намеревался припрятать его и добиться за него чего-нибудь посущественнее. Платок ей понравился, она сейчас же повязала его на голову и даже спросила, идет ли он ей. Ну конечно же, он очень ей шел, да надень она на голову хоть его кожаную сумку — и та к ней пошла бы!

Тогда она засмеялась и, желая отплатить ему такою же любезностью, сказала:

— Я, пожалуй, и в церковь, и к причастию пойду в этом платке, а не в шляпке. В Бергене мы ведь все ходили в шляпках, кроме разве простых служанок, только что из деревни.

Всего лишь дружеские отношения.

А когда Аксель достал газету, которую принес с почты, Барбру села читать о том, что творится на свете; о налете на ювелирный магазин на Страндгатен, о драке, которую учинили цыгане, о детском трупике, выловленном из морского залива в городе. Он был зашит в старую рубашку с отрезанными рукавами.

— И кто же это выбросил ребеночка? — сказала Барбру. По старой привычке она прочитала и рыночные цены.

Лето шло.

XVI

В Селланро большие перемены.

Да, тут почти ничего не узнать против того, что было вначале. Теперь здесь чего только не понастроено: и дом, и лесопилка, и мельница, глухое безлюдье превратилось в обитаемую землю. А впереди предстояли еще бóльшие изменения. Но примечательнее всего была, наверно, Ингер, так она переменилась и такая опять стала работящая.

Прошлогодний кризис не сразу поборол ее легкомыслие, на первых порах еще случались рецидивы, она то и дело ловила себя на желании поговорить о тюрьме и о Тронхеймском соборе. О, маленькие, невинные штучки: кольцо Ингер сняла с руки, а высоко подоткнутые юбки спустила пониже. Она сделалась задумчива, на усадьбе стало тише, визитов поубавилось, незнакомые девушки и женщины из села приходили реже, потому что она перестала заниматься ими. Живя в глуши, не очень-то повеселишься. Радость не развлечение.

В глуши на каждое время года приходятся свои чудеса, но есть такие, что постоянны и неизменны: тягучий, беспредельный звук, идущий с небес и от земли, бескрайняя даль со всех сторон, лесная тьма, доброта деревьев. На всем печать суровос-

ти и мягкости, помыслить и поразмышлять о чем-то здесь невозможно. К северу от Селланро лежало крошечное озерцо, лужица величиной с аквариум. В нем плавала крошечная рыбья молодь, никогда не выраставшая, там она жила и умирала, ни на что не годясь, Господи, решительно ни на что. Однажды вечером Ингер остановилась возле этой лужицы, прислушиваясь к коровьим колокольчикам, но ничего не услыхала, потому что все было мертво, услыхала только песню, доносившуюся из аквариума. Она была такая нежная, едва слышная, далекая-далекая. Ее пели эти крошечные рыбки.

Каждую осень и весну обитатели Селланро радовались, глядя на караваны диких гусей, тянувшихся над этим глухим краем, и слушая их крики в небесном пространстве, звучавшие словно людская речь. И казалось им тогда, будто мир замер на ту минуту, пока гуси не исчезали из виду. Не чувствовали ли люди в этот миг, что все их существо охватила какая-то слабость? Они снова принимались за работу, но сначала глубоко переводили дух, словно услышав чей-то призыв из дальнего далека.

Великие чудеса окружали их во все времена года: зимою — звезды, зимою же часто — северное сияние, небесный свод из крыльев, фейерверк у Господа Бога. Время от времени, не часто, не постоянно, а лишь время от времени, слышали они гром. В особенности осенью, кругом тьма, люди и животные настраивались на торжественный лад, скот, возвращавшийся с пастбища домой, сбивался в кучку и не двигался. К чему он прислушивался? Ждал ли конца? И чего ждали люди в поле, склонив головы под громовыми ударами?

Весна — вот это благо, это — стремительность, и безумие, и восторг; но осень! Она порождала боязнь темноты и настраивала на молитвенный лад, всем чудились призраки и слышались таинственные голоса. В осенний день, случалось, люди выходили из дома и принимались чего-то искать: мужчины искали хорошее дерево на вырубку, а женщины — скотину, которая бегала сломя голову по лесу, наевшись грибов. Домой возвращались с множеством тайн на душе. А что, если они наступили нечаянно на крота и накрепко притоптали заднюю его часть к

тропинке, так что ему уже не оторвать туловища от земли? А что, если наткнулись на гнездо горной куропатки, вызвав гнев разъяренной самки? Даже большие мухоморы не лишены значения, человек не зря смотрит на них. Мухомор не цветет и не двигается, но в нем есть что-то властное, он чудовище, он похож на вытащенное из груди легкое, что живет и дышит вне тела.

В конце концов сломилась и Ингер; придавленная глухим безлюдьем, она ударилась в религиозность. Можно ли было этого избежать? Никому в глуши не дано этого миновать, здесь людям присущи не только земные стремления и мысли о бренности жизни, но и благочестие, и богобоязненность, и суеверие. Ингер наверняка считала, что у нее больше, чем у других, причин ожидать небесной кары и кара эта непременно воспоследует; знала ведь, что Бог обходит и озирает по вечерам свой пустынный край, а глаза у него такие зоркие, ее-то уж он найдет! В повседневной своей жизни ей не так уж много удавалось исправить; конечно, она могла запрятать золотое кольцо на самое дно сундука и написать Элесеусу, чтоб и он тоже постарался исправиться; но, кроме этого, ничего больше не оставалось, как побольше работать и не щадить себя. Еще одно она могла сделать: одеваться в скромные платья и только по воскресеньям повязывать на шею узенькую голубую шелковую ленточку, чтоб отметить праздник. Эта ненастоящая и ненужная бедность явилась выражением своего рода философии — философии самоунижения, стоицизма. Голубая шелковая ленточка была старенькая, Ингер спорола ее с шапочки, которая стала мала Леопольдине, местами она выгорела и, по совести сказать, порядочно запачкалась — Ингер носила ее теперь как смиренное украшение по праздникам. Ну да, она перебарщивала, подражая убогой нищете бедных хижин, она притворялась несчастной, — а разве заслуга ее была бы больше, если б она одевалась так же бедно из нужды? Оставим ее в покое, она имеет право на покой!

Она усердствовала сверх меры и делала больше положенного. В усадьбе было двое мужчин, но Ингер ждала, пока они уходили, и сама пилила дрова. К чему эти мученья, эта епитимья? Маленький простой человек с весьма заурядными способ-

ностями, кому в стране будет дело до ее жизни или смерти? Только здесь, в глуши, она что-то из себя представляет. Только здесь она занимает высокое положение, во всяком случае выше всех, и ей казалось, что она достойна всех кар, какие на себя налагала. Муж сказал ей:

— Мы с Сивертом поговорили, и мы не хотим, чтоб ты пилила за нас дрова и мучила себя.

— Я делаю это ради своей совести, — ответила она.

Совесть? Это опять навело Исаака на размышления; он был человек в летах, тугодум, но слова его, когда до них доходило дело, были веские и основательные. Совесть, это, должно быть, что-то очень сильное, раз она опять совсем перевернула Ингер. Как бы то ни было, но обращение Ингер в другую веру подействовало и на него, она заразила своего мужа, он стал задумчив и кроток. Зима выдалась унылая и тягостная. Исаак искал уединения, искал убежища. Чтобы сберечь свой лес, он купил несколько делянок хорошего строевого леса в казенном лесу на склоне, обращенном к Швеции. Начав валить эти деревья, он решил не брать помощника, он хотел быть один, а Сиверту велел оставаться дома и следить, чтобы мать не изводила себя.

И вот в короткие зимние дни Исаак затемно уходил в лес и затемно возвращался обратно; не всегда на небе светили луна и звезды, порой его собственные утренние следы заносило снегом, и он с трудом находил дорогу. А однажды вечером с ним произошло что-то необыкновенное.

Он уже прошел бóльшую часть пути, на откосе в ярком лунном свете уже виднелся его хутор, такой красивый и чистенький, но маленький и почти вросший в землю: так сильно занесло его снегом. Вот и опять он наготовил бревен, то-то удивятся Ингер и дети, когда узнают, на что они ему понадобились, какую чудесную постройку он задумал. Он сел в снег немножко отдохнуть, чтоб прийти домой не очень усталым.

Как тихо вокруг, да благословит Бог эту тишину и богатство мыслей, оно только ко благу! Но Исаак ведь недаром новосел, он и сейчас прикидывает взглядом, сколько земли ему еще предстоит расчистить, он мысленно отбрасывает в сторону

большие камни, приняв твердое решение осушить еще один участок. Вон там неподалеку — он это знает — на его земле протянулся широкий болотистый участок, в нем пропасть руды, на каждой лужице там непременно металлическая пленка, вот его-то он и осушит. Он глазом делит поле на квадраты; у него свои планы и соображения насчет этих квадратов, он сделает их ярко-зелеными и плодоносными. Да, обработанное поле — большая благодать, оно олицетворяет для него и право, и порядок, доставляет наслаждение...

Он встал, не сразу сообразив, где он. Гм? Что случилось? Ничего, он просто немножко отдохнул. Но что-то стоит перед ним, какое-то существо, дух, серый шелк — нет, ничего. Ему стало не по себе, он сделал маленький, неуверенный шаг вперед — прямо на него был обращен чей-то пристальный взгляд, два широко раскрытых глаза. Одновременно вблизи зашелестели осины. А ведь всякий знает, как неприятно и жутко шелестят осины, — во всяком случае, Исааку никогда не доводилось слышать такого противного шелеста, и он почувствовал, как его пронизывает дрожь. Он протянул вперед руку, и, пожалуй, более беспомощного движения рукой ему еще никогда не приходилось делать.

Но что же это такое перед ним, что-то живое или нет? Исаак в любой день мог поклясться, что высшая сила существует, один раз он даже ее видел, но то, что он видит сейчас, не похоже на Бога. Уж не таков ли видом Святой Дух? Но в таком случае зачем он тут, средь чистого поля, — два глаза, взгляд, и только? Уж не затем ли, чтоб взять его с собой, унести его душу? Ну что ж, пускай, когда-нибудь ведь это все равно должно случиться, а он обретет блаженство и попадет на небо.

Исаак с волнением ждал, что будет дальше, его бил озноб, от призрака веяло холодом, морозом, не иначе это дьявол. Тут Исаак попал, так сказать, на знакомую почву; почему бы ему и не быть дьяволом, но только что же ему здесь надо? И почему он вцепился в Исаака? Ведь он сидел, мысленно распахивая землю, — не это же его рассердило? Никакого греха Исаак за собой не знал, просто он шел из леса домой, усталый и голод-

ный работяга шел в Селланро, ничего плохого на уме у него не было...

Он сделал еще один шаг вперед, маленький шажок, и тотчас попятился назад. Видение не исчезало. Исаак нахмурился, словно хотел сказать: тут что-то не так. Дьявол так дьявол, но высшей власти у него нет. Лютер чуть не убил его однажды, да и многим другим удавалось прогнать его крестным знамением и именем Иисуса. Не то чтобы Исаак бросал вызов опасности и издевался над ней, но он раздумал умирать и обретать блаженство, как уже было решил перед тем; сделав два шага по направлению к призраку, он перекрестился и крикнул:

— Именем Господа Иисуса!

Но что такое? Услыхав свой крик, он сразу очнулся и увидел вдалеке на откосе Селланро. Осины перестали шелестеть. Оба глаза исчезли.

Он не стал мешкать на пути домой и шутить с опасностью. Но уже стоя на пороге избы, громко и облегченно крякнул и вошел в горницу, полный гордости, как настоящий мужчина, да-да, как человек, многое повидавший.

Ингер вздрогнула и спросила, почему он так страшно бледен.

Он не стал таиться и рассказал, что встретил дьявола.

— Где? — спросила она.

— Вон там. Прямо против нас.

Ингер не выказала никакого неудовольствия. Она, правда, и не похвалила его, но в выражении ее лица не было ничего похожего на гнев или пренебрежение. Наоборот, в последние дни настроение у Ингер немного улучшилось, она стала ласковее, хоть и неизвестно отчего; сейчас она только спросила:

— Это и правда был дьявол?

Исаак кивнул, подтвердив, что, насколько он может судить, — да, дьявол.

— Как же ты от него отделался?

— Я пошел прямо на него во имя Иисуса, — ответил Исаак.

Ингер подавленно покачала головой, и прошло порядочно времени, прежде чем она собралась подать ужин.

— Во всяком случае, один ты больше в лес не пойдешь! — сказала она.

Она встревожилась за него, это обрадовало Исаака. Он притворился, будто нисколько не испугался и никаких провожатых в лесу ему не нужно, но он только притворялся, чтобы жуткое его приключение не перепугало без надобности Ингер. Он ведь мужчина, глава семьи, всем им защитник.

Ингер сразу раскусила его.

— Ну, конечно, ты не хочешь пугать меня, но вперед ты будешь брать с собой Сиверта.

Исаак только хмыкнул.

— Не ровен час, захвораешь или ослабеешь в лесу, сдается мне, ты и впрямь не совсем здоров в последнее время.

Исаак опять хмыкнул.

Нездоров? Немного устал, измотался — это да. Но нездоров? Пусть Ингер не смешит его, он всегда был здоров и сейчас здоров, он ест, спит, работает, ему ли жаловаться на свое несокрушимое здоровье. Однажды на него упало дерево и сорвало ему ухо; не особенно досадуя, он поднял ухо, прижал его к месту шапкой на несколько дней и ночей, оно и приросло. Когда он чувствовал недомогание, он пил отвар из солодкового корня на горячем молоке и потел, а еще принимал самое испытанное средство — лакрицу, которую покупал у торговца. Если случалось сильно порезать руку, он давал крови сойти, присыпал рану солью, и она в несколько дней заживала. Доктора в Селланро никогда не приглашали.

Нет, Исаак не был болен. А происшествие с дьяволом может случиться и с самым здоровым человеком. У Исаака не было чувства, что этот страшный случай нанес ему вред, наоборот, он словно придал ему силы. По мере того как подвигалась зима и время неудержимо близилось к весне, он, мужчина и глава семьи, чувствовал себя почти героем: «Я знаю толк в этих вещах, только держитесь меня, при нужде я могу даже и вызвать духов!»

А в общем, дни стали длиннее и светлее, миновала Пасха, бревна уже лежали во дворе, все вокруг сияло, люди вздохнули свободно после долгой зимы.

Ингер опять первая потянулась к солнышку, она уже давно пребывала в хорошем настроении. Отчего бы это? Ха, причина

тому была основательная: она опять затяжелела, опять ждала ребенка. Все в ее жизни заровнялось, не осталось ни одной трещины. То было величайшее милосердие после всех ее согрешений, счастье сопровождало ее, счастье ее прямо преследовало! Исаак и тот однажды заметил кое-что и спросил:

— Сдается мне, у тебя опять что-то будет, как же это так?

— Да, слава Богу, наверное, будет! — ответила она.

Оба были одинаково удивлены. Разумеется, Ингер была еще не так стара, Исааку она вообще ни для чего не казалась старой, но все равно, опять ребенок, да, да! Леопольдина несколько раз в год уезжала в школу в Брейдаблик, в доме не было малюток, да и Леопольдина-то уже стала совсем большая.

Спустя несколько дней Исаак, что-то про себя решив, отправился в село. Ушел он в субботу вечером, чтобы вернуться утром в понедельник. Он не стал рассказывать, за чем идет, вернулся же с работницей. Ее звали Йенсина.

— Что это ты выдумал? — сказала Ингер. — Она мне не нужна.

Исаак ответил, что теперь-то она ей и нужна.

Во всяком случае, с его стороны это была такая хорошая и добросердечная выдумка, что Ингер совсем растрогалась. Новая работница была дочерью кузнеца, она проживет у них лето, а там видно будет.

— А кроме того, — сказал Исаак, — я послал телеграмму Элесеусу и велел ему приехать.

Внутри у нее что-то дрогнуло — материнское сердце. Телеграмму! Исаак хочет совсем доконать ее своей добротой! Она ведь так горевала, что Элесеус живет в городе, в распутном городе, писала ему о Боге, о том, что отец начинает сдавать, а участок становится все больше и больше. Сиверт всюду не поспевает, да к тому же он когда-нибудь получит наследство после дяди Сиверта, — все это она написала ему и однажды даже послала денег на дорогу. Но Элесеус стал совсем городским жителем и вовсе не стремился возвращаться к крестьянской жизни; он отвечал: что ему делать дома? Неужто он будет работать по хозяйству, забыв про свою ученость и знания? «По правде сказать, у меня к тому нет никакой охоты, — писал он. — Если же

ты пришлешь мне холста на белье, то избавишь меня от необходимости влезать в долги». Понятное дело, мать послала холста, удивительно часто посылала она в город холст на белье; но в те дни, когда в ней пробудилось религиозное чувство, пелена спала у ней с глаз, и она поняла, что холст Элесеус продает, а деньги тратит совсем на другое.

Отец тоже понял это. Он никогда и словом не обмолвился об этом, он знал, что Элесеус у матери — любимчик и что она плачет об нем и кручинится; но двурядная тканина исчезала кусок за куском, и он сообразил наконец, что ни одному человеку в мире не сносить за свою жизнь столько белья. Здраво все обдумав, Исаак решил, что должен вмешаться, снова став мужчиной и главой семьи. Правда, упросить торговца послать телеграмму обошлось в копеечку, но зато телеграмма наверняка подействует должным образом на сына, а кроме того, Исааку и самому было приятно прийти домой и рассказать Ингер, что в город послана телеграмма. На обратном пути ему пришлось тащить на спине еще и сундучок своей новой работницы, но он был полон такой же гордости и таинственности, как и в тот раз, когда возвращался домой с золотым кольцом...

Чудесное настало время, Ингер прямо не знала, что бы ей такое еще сделать хорошего и полезного, и говорила мужу, как когда-то прежде: «Как это ты со всем справляешься!» Или: «Ты совсем изведешься!» Или же: «Ну уж нет, иди-ка скорей домой и перекуси, я напекла тебе вафель!» Чтоб порадовать его, она спросила:

— Любопытно, для чего ты припас эти бревна и что затеваешь строить?

— И сам еще хорошенько не знаю, — напыжившись, ответил он.

Все пошло как в былые, давние времена. А после того, как родился ребенок и оказалось, что это девочка, крупная девочка, хорошенькая и с правильным личиком, — после этого надо быть камнем или же собакой, чтоб не возблагодарить Бога. Но что же он собирался строить? Вот уж будет теперь Олине о чем порассказать, побегав по соседям: пристройку к избе, еще одну

избу. И то сказать, народу в Селланро стало куда как много: взяли работницу, да ждут домой Элесеуса, да прибавилась еще новенькая девчоночка — старая изба будет теперь вместо клети, больше она ни на что и не годится.

И конечно же, в один прекрасный день ему пришлось все рассказать Ингер, ей и так уже не терпелось все выведать; и хотя Ингер скорее всего уже и знала тайну от Сиверта — они частенько шушукались друг с дружкой, — она все-таки страшно удивилась, всплеснула руками и сказала:

— А не врешь?

Весь сияя от внутреннего довольства, он ответил:

— Ты столько натащила новых ребят в усадьбу, надо же мне о них позаботиться!

Мужчины каждый день уходили ломать камень для каменной стены новой избы. Каждый старался перещеголять другого, один молодой и крепкий — налитые мышцы, глаза, быстро определяющие места для удара и быстро отыскивающие подходящий камень; другой — пожилой, медлительный, длиннорукий, с чудовищной силой наваливающийся на лом. Наломав большую кучу, они давали себе передышку, ведя неспешную беседу.

— Да, — сказал сын.

— Интересно, сколько он просит.

— Ага.

— А ты не слыхал?

— Нет. Слыхал, что двести.

Отец подумал с минуту и сказал:

— Как по-твоему, сгодится этот камень на фундамент?

— Смотря по тому, собьем ли мы с него эту вот горбушку, — ответил Сиверт и, поднявшись с земли, протянул отцу молот, а сам принялся колотить по камню кувалдой. Он раскраснелся и вспотел, вытягивался во весь рост и с размаху опускал кувалду, снова выпрямлялся и снова опускал кувалду, и так двадцать раз подряд.

Он не щадил ни инструмента, ни себя, работа была тяжелая, рубашка у него вылезла из штанов, живот обнажился, каж-

дый раз, чтоб размахнуться посильнее, он приподымался на цыпочки. Двадцать ударов.

— Давай посмотрим! — крикнул отец.

Сын остановился и спросил:

— Есть трещина?

Они легли на землю и осмотрели камень, осмотрели этого сумасброда, эту скотину, — нет, трещины не было!

— Давай я попробую молотом, — сказал отец, вставая.

Эта работа еще труднее, вся на силе, молот разогрелся, сталь зазубрилась, рукоятка расшаталась.

— Рукоятка соскочит, — сказал Исаак и остановился. — Больше не могу. Сил не хватает. — Хотя сам он, конечно же, не думал, что сил у него не хватает.

И отец, этот кряжистый, непритязательный, полный терпения и доброты человек, предоставил сыну нанести последние удары и расколоть камень.

— Вот он и раскололся надвое. Пришлось-таки тебе с ним повозиться! — сказал отец. — Гм. А из Брейдаблика-то ведь может выйти толк.

— И мне так кажется, — сказал сын.

— Ежели осушить да распахать болото.

— Да избу подправить.

— Ну, понятно, избу подправить. Работы там будет невпроворот, что и говорить. Не слышал, мать не собиралась на праздник в церковь?

— Вроде собиралась.

— Та-ак. Надо посмотреть как следует, не найдется ли где хорошая приступка для новой избы. Нигде не видал?

— Нет, — сказал Сиверт.

Они опять принялись за работу.

Дня через два оба пришли к решению, что камней на стену хватит. Был вечер пятницы, они сели передохнуть и опять разговорились.

— Как по-твоему, — сказал отец, — не прикинуть ли нам насчет Брейдаблика?

— Зачем? — спросил сын. — На что он нам?

— Да сам не знаю. Там школа, и расположен он как раз посередке.

— И что из того? — спросил сын.

— Сам не знаю, потому что нам-то он ни к чему.

— Ты уже думал об этом? — спросил сын.

Отец ответил:

— Нет. Разве что Элесеус согласится на нем поработать.

— Элесеус?

— Да уж не знаю.

Оба надолго замолкают. Отец начинает собирать инструменты, собираясь домой.

— Разве что так, — говорит наконец Сиверт. — Ты бы поговорил с ним.

Отец заканчивает сборы и говорит:

— Ну вот, и сегодня мы не нашли хорошей приступки для новой избы.

На следующий день суббота, им надо выйти из дома спозаранку, чтоб успеть перебраться с ребенком через перевал. Работницу Йенсину берут с собой, так что одна крестная мать уже есть, других восприемников придется поискать по ту сторону перевала, среди родных Ингер.

Ингер страх как разрядилась, она сшила себе нарядное ситцевое платье с белой оторочкой у ворота и обшлагов. Ребенок весь в белом, по подолу рубашечки продернута новая голубая шелковая ленточка, да и малютка-то тоже совсем особенная, все время только и знает что улыбается и лепечет что-то свое, прислушиваясь к бою часов в горнице. Отец все никак не мог выбрать ей имя. Право назвать ее оставалось за ним, и он намеревался поставить на своем — вы только слушайте меня! Он колебался между именами Якобина и Ребекка, оба в некотором роде были близки к его имени, а кончилось тем, что он пошел к Ингер и робко спросил:

— Гм. Что ты скажешь насчет Ребекки?

— Ну что ж, хорошо, — ответила Ингер.

Услышав это, Исаак почувствовал себя героем и решительно заявил:

— Если ее как-нибудь называть, так только Ребеккой! Я буду не я, ежели не так!

И, разумеется, он пожелал тоже отправиться в церковь — помочь нести ребенка и вообще для порядка. У Ребекки да чтобы не было провожатых! Он подстриг бороду и надел, как в молодые годы, красную рубаху; стояла несусветная жара, но у него был новый зимний костюм, и он нарядился в него. Впрочем, Исаак был не такой человек, чтоб превыше всего ставить расточительность и красоту, поэтому он надел в дорогу огромные сапожищи.

Сиверт и Леопольдина остались дома присматривать за стадом.

Озеро переплыли на лодке, и это было большим облегчением против прежнего, когда приходилось обходить его кругом. На самой середине озера, когда Ингер стала кормить девочку грудью, Исаак увидел, как у нее в вырезе платья блеснуло что-то на тесемочке, — что бы это такое было? В церкви он заметил у нее на пальце золотое кольцо. Ох уж эта Ингер, не могла-таки утерпеть!

XVII

Элесеус приехал домой.

Он пробыл в отсутствии несколько лет и стал ростом выше отца, руки у него были длинные и белые, а усы маленькие и темные. Он не чванился, а явно старался держаться просто и ласково; мать дивилась и радовалась. Его поместили в каморке вместе с Сивертом, братья ладили между собой, устраивали друг другу разные каверзы — и оба потом весело смеялись. Но, разумеется, Элесеусу пришлось помогать строить новую избу, и тут он скоро утомлялся и совсем раскисал, потому что не привык к физической работе. Совсем плохо стало, когда Сиверт отошел от работы и оставил ее на тех двоих — тогда помощи отцу все равно что и не было.

А куда же девался Сиверт? Да вот, явилась в один прекрасный день из-за перевала Олина гонцом от дяди Сиверта и сооб-

щила, что он лежит при смерти! Как тут было Сиверту-младшему не пойти? Вот так положение, и не придумать было времени неудобнее, чтоб оторвать Сиверта от работы, но делать нечего.

Олина сказала:

— Уж как мне некогда было идти, уж так некогда, да что поделаешь, привязалась я ко всем здешним детям и к Сиверту, вот мне и захотелось помочь ему получить наследство.

— Выходит, дядя Сиверт очень болен?

— Господи, да он тает с каждым днем!

— Он лежит?

— Лежит? Не смейтесь над смертью перед престолом Всевышнего! Дяде Сиверту уж не придется больше попрыгать и побегать в этом мире!

Из этого ответа им следовало заключить, что дела у дяди Сиверта совсем плохи, и Ингер настояла, чтоб Сиверт-младший сейчас же отправлялся в путь.

А дядя-то Сиверт, этот шутник и бездельник, вовсе и не лежал при смерти, он даже и не все время лежал в постели. Придя к нему, Сиверт-младший нашел в его маленькой усадьбе страшный беспорядок и запустение, даже и весенние работы не были проведены должным образом, даже зимний навоз не вывезен на поля; смерти же пока вроде бы не предвиделось. Дяде Сиверту было уже за семьдесят, он очень исхудал, бродил полуодетый по горнице и часто прикладывался отдохнуть, он явно нуждался в помощнике для разных дел, скажем, для починки сельдяных сетей, которые висели в сарае и ветшали; но от конца он был настолько далек, что преисправно ел соленую рыбу и курил носогрейку.

Пробыв в усадьбе с полчаса и ознакомившись с положением дел, Сиверт собрался обратно домой.

— Домой? — сказал старик.

— Мы строим избу, отцу больше некому помочь.

— А Элесеус-то разве не дома? — спросил старик.

— Дома, да только он совсем непривычный к такой работе.

— Тогда зачем же ты пришел?

Сиверт рассказал, с какой вестью пришла к ним Олина.

— При смерти? — спросил старик. — Так она решила, что я при смерти? Черт возьми!

— Ха-ха-ха-ха, — засмеялся Сиверт.

Старик сердито посмотрел на него и сказал:

— Смеешься над умирающим, а ведь Сивертом тебя назвали в мою честь.

Сиверт был слишком молод, чтоб вешать голову, дядя и всегда-то не больно его интересовал, и теперь он стремился поскорее попасть домой.

— Значит, и ты поверил, что я лежу при смерти, потому и прибежал? — сказал старик.

— Олина так сказала, — отвечал Сиверт.

Помолчав с минуту, дядя продолжил:

— Если ты починишь мои сети в сарае, я тебе кое-что покажу.

— Ну, — сказал Сиверт, — а что?

— Не твое это дело, — отрезал старик и опять улегся в постель.

Переговоры грозили затянуться, и Сиверт прямо весь извертелся от нетерпения. Он вышел на двор и оглянулся по сторонам: все было запущено, неприглядно, руки не поднимались браться за какую-нибудь работу.

Когда он вернулся в горницу, дядя уже встал и сидел у печки.

— Видишь? — сказал он, указывая на дубовый сундучок, стоявший на полу между его ногами. Это был сундучок для хранения денег. Собственно, это был обыкновенный винный погребец с многими отделениями для бутылок, из тех, какие начальство и разные господа в старину брали с собой в дорогу; теперь бутылок в нем не было, старый общинный казначей держал в нем деньги и счета. Ох уж этот погребец! Ходили слухи, будто в нем хранятся все богатства мира, сельчане не раз говорили: «Вот бы мне те денежки, что лежат в сундучке у Сиверта!»

Дядя Сиверт вынул из сундучка какую-то бумагу и торжественно проговорил:

— Ты ведь умеешь читать по писаному? Прочитай этот документ.

Сиверт-младший был не большой мастер читать по писаному, отнюдь нет, но он все-таки прочитал, что назначается наследником всего дядина имущества.

— А теперь можешь поступать как хочешь! — сказал старик и убрал бумагу обратно в ларец.

Сиверт не особенно растрогался: в сущности, документ сказал лишь то, что он знал и раньше, он еще с самого раннего детства только и слышал, что со временем получит наследство после дяди. Другое дело, если б он увидел в сундучке какие-нибудь драгоценности.

— Наверное, в сундучке много всяких диковинок, — сказал он.

— Да уж больше, чем ты думаешь! — сухо отвечал старик.

Донельзя разочарованный и раздосадованный поведением племянника, он запер сундучок и снова улегся в постель. И уже оттуда сообщал племяннику разные новости:

— Я был уполномоченным от села и распоряжался общинными деньгами больше тридцати лет, и мне нет надобности выпрашивать у кого-нибудь помощь. От кого это Олина узнала, что я при смерти? Как будто я не могу послать трех человек за доктором, ежели захочу! Не воображайте, что меня надуете! А ты, Сиверт, неужто не можешь подождать, покуда я умру? Я только вот что тебе скажу: документ ты прочитал, он лежит у меня в погребце, больше я ничего не скажу. Но если ты от меня уйдешь, так передай Элесеусу, пусть он придет. Его при крещении не нарекли в мою честь, и он не носит мое земное имя — но все равно, пусть придет!

Несмотря на угрожающий тон старика, Сиверт взвесил его слова и сказал:

— Я передам твою просьбу Элесеусу!

Когда Сиверт вернулся домой, Олина все еще была в Селланро. Она успела за это время сделать не малый кончик, побывала на хуторе у Акселя Стрёма и Барбру и пришла полная сплетен и тайн.

— А Барбру-то потолстела, — зашептала она, — уж не значит ли это что-нибудь? Только никому, смотри, не передавай. Ты уже вернулся, Сиверт? Ну, стало быть, не о чем и спрашивать, дядя твой упокоился? Что ж, он был уже старый человек, на краю могилы. Что... Да ну! Так он не умер? Слава тебе Господи,

вот чудеса! Ты говоришь, я все наболтала? Вот уж в чем не грешна, так не грешна: откуда ж мне было знать, что дядя твой обманывает Бога? Он тает на глазах, вот и все, что я сказала, и я готова подтвердить свои слова под присягой. Что ты говоришь, Сиверт? Разве твой дядя не лежит в постели, скрестив руки на груди, и не хрипит, и не говорит, что только лежит и мучается?

Спорить с Олиной было бесполезно, она забивала противника словами и выматывала душу. Услышав, что дядя Сиверт требует к себе Элесеуса, она ухватилась за это обстоятельство, повернув и его в свою пользу:

— Послушайте теперь сами, что за ерунду я наболтала! Старик Сиверт созывает свою родню и тоскует по своей плоти и крови, видимое дело, это уж перед самым концом! Не отказывай ему, Элесеус, ступай сейчас же и застанешь своего дядю еще в живых! Мне тоже надо в ту сторону, нам по пути.

Но перед уходом из Селланро Олина все-таки отозвала в сторонку Ингер и принялась нашептывать ей что-то еще про Барбру:

— Только не говори никому, но уже есть признаки. Видно, теперь уже все идет к тому, что она сделается хозяйкой на хуторе. Иные люди страсть как высоко метят, хоть сами-то они не больше песчинки с морского берега. Кто бы подумал такое про Барбру! Аксель-то работящий парень, а таких больших угодий да хуторов, как здесь у вас, в нашей стороне не водится, ты и сама это знаешь, ты ведь из нашей деревни и нашего рода. У Барбру в ящике несколько фунтов шерсти, простая зимняя шерсть, я и не думала у ней просить, да и она мне не предлагала, мы только и сказали, что «здравствуй» да «прощай», хотя я знала ее еще девчонкой в ту пору, когда ты уезжала в ученье, а я жила в Селланро...

— Маленькая Ребекка плачет, — сказала Ингер, прервав Олину и сунув ей моток шерсти.

Олина рассыпалась в благодарностях.

— Ну вот, разве я не сказала Барбру, что другой такой щедрой на подарки, как Ингер, нет. Столько всего надает, и никогда о том не пожалеет и не попрекнет. Иди, иди к своему анге-

лочку, в жизни не видывала я ребеночка, так похожего на мать, как твоя Ребекка. А помнишь, как ты раз сказала, что у тебя больше не будет детей? Вот видишь! Да, надо слушать стариков, у которых у самих были дети, потому что пути Господни неисповедимы, — сказала Олина.

И поплелась за Элесеусом по лесу, ссохшаяся от старости, сухонькая, серая и любопытная, неистребимая. Она направлялась к старику Сиверту сказать, что это она — Олина — уговорила Элесеуса пойти к нему.

Элесеуса же не надо было принуждать, уговорить его на это не стоило никакого труда. Он, в сущности, был лучше, чем казался, этот Элесеус, по-своему ловкий парень, добрый и смышленый от природы, только не очень крепкого сложения. На то, что он не особенно сильно стремился из города в деревню, имелись свои причины: он ведь знал, что мать его отбывала наказание за убийство, в городе до этого никому не было дела, а в деревне все это помнили. Недаром же он несколько лет прожил с друзьями, научившими его вдумчивости и деликатности, чего у него прежде не было и в помине. Разве вилка не так же необходима, как нож? Разве не писал он день-деньской слова «кроны» да «эре», а здесь по-прежнему в ходу старинный счет на далеры. И он охотно отправился за перевал, в другой округ, — ведь дома он был вынужден все время держать в узде свое превосходство. Он изо всех сил старался приспособиться к другим, и ему это удавалось, но при этом ему приходилось все время быть настороже. Как, например, в тот день, когда он пришел в Селланро две недели тому назад: хотя лето перевалило уже за половину, он привез с собой свое светло-серое весеннее пальто; вешая его на гвоздь в горнице, он, конечно же, мог бы повернуть наружу шелковую подкладку со своей монограммой; однако он этого не сделал. То же и с его палкой, с тросточкой. Правда, ею служил всего лишь остов дождевого зонта, от которого он отодрал спицы, но он не ходил, помахивая ею, как в городе, — куда там, он нес ее, смирненько прижав к бедру.

Нет, нечего было удивляться, что Элесеус отправился за перевал. Он не годился в плотники, он годился лишь на то, чтобы

писать буквы, на это способны не все и не каждый, но дома никому не дано было оценить его замечательную ученость, кроме разве матери. Он весело шагал по лесу, значительно опередив Олину и решив подождать ее повыше, бежал, как теленок, торопился. Некоторым образом Элесеус удрал из дому тайком, он боялся, что его увидят, а все потому, что захватил с собой весеннее пальто и тросточку. Он надеялся повидать на той стороне людей и себя показать, может, даже попасть в церковь. И вот он радостно мучился на солнцепеке в ненужном весеннем пальто.

На постройке же дома о нем никто не пожалел, наоборот, отец заполучил обратно Сиверта, а Сиверт был во много раз полезнее и мог работать с утра до вечера. Они недолго провозились с избой, это была пристройка, три стены; рубить бревна не было нужды, они пилили их на лесопилке; из верхних обрезков сразу получались стропила для крыши. И вот в один прекрасный день перед их глазами встала готовая изба, красуясь крышей, настланным полом и врезанными окнами. Большего до полевых работ они сделать не успели, обшить избу тесом и покрасить ее придется уже после сева.

И вдруг из-за гор со стороны Швеции явился Гейслер с большой свитой. Свита была верхом, кони лоснятся, седла под седоками желтые, — должно быть, богатые господа, толстые да тяжелые, лошади так и приседают под ними; среди этих важных господ Гейслер шел пешком. Господ было четверо, пятый Гейслер, кроме того, два конюха вели каждый по вьючной лошади.

Всадники спешились во дворе, и Гейслер сказал:

— Вот это Исаак, здешний маркграф. Здравствуй, Исаак! Видишь, я опять приехал, как сказал.

Гейслер был все такой же. Он хоть и пришел пешком, но не видно было, чтоб он чувствовал себя хуже других; поношенное пальто уныло и сиротливо болталось на его исхудалой спине, но выражение лица было властное и надменное. Он сказал:

— Мы с этими господами собираемся немножко побродить по горам, они так раздобрели, что решили чуть поубавить жира.

Господа, впрочем, оказались ласковые и совсем не гордые, они улыбнулись на слова Гейслера и попросили Исаака изви-

нить их за то, что нагрянули на его хутор словно войной. У них есть с собой провизия, так что они не объедят его, но если им дадут ночлег под крышей, они будут очень благодарны. Может быть, они разместятся в новом доме?

После того как гости немножко отдохнули, а Гейслер посидел с Ингер и поболтал с детьми, все они ушли в лес и проходили там до вечера. По временам до усадьбы доносились странные громкие выстрелы в горах, и компания вернулась с мешками, полными новых образцов камней.

— Медная лазурь, — говорили они, кивая на камни. Потом завели длинный ученый разговор и стали рассматривать карту, которую сами же и набросали; среди них один был инженер-горняк, другой — механик, третьего называли губернатором, четвертого — фабрикантом; то и дело слышалось: подвесная дорога, канатная дорога. Гейслер изредка вставлял в разговор однодва слова и каждый раз как будто направлял их беседу, они прислушивались к его словам с большим вниманием.

— Кому принадлежит земля к югу от озера? — спросил Исаака губернатор.

— Казне, — быстро ответил Гейслер. Он не дремал, был все время начеку, в руке он держал документ, который Исаак когда-то подписал своими каракулями. — Я ведь сказал, что казне, а ты опять спрашиваешь! — сказал он. — Решил меня контролировать, так изволь!

Позже вечером Гейслер позвал с собой Исаака в отдельную комнату и сказал:

— Продашь нам медную скалу?

Исаак ответил:

— Да ведь ленсман один раз уже купил у меня скалу и заплатил.

— Верно, — сказал Гейслер, — я купил скалу. Но ведь ты имеешь проценты с продажи или с разработки, так, может, хочешь отказаться от этих процентов?

Исаак не понял, о чем речь, и Гейслеру пришлось объяснить: Исаак не умеет добывать руду, он землепашец, расчищает и распахивает землю; Гейслер тоже не может. Деньги, капитал? О,

сколько угодно! Но у него нет времени, такая уйма дел, он все время в разъездах, должен присматривать за своими имениями на севере и на юге. Вот он и задумал продать скалу этим шведским господам; все они родственники его жены и богатые люди, большие знатоки своего дела, они могут разработать скалу. Теперь понятно?

— Как вы решите, так и я! — заявил Исаак.

Замечательно — такое доверие доставило потрепанному Гейслеру явное удовольствие.

— Уж и не знаю, как тут быть, — сказал он и задумался. Но вдруг, словно все решив, продолжал: — Если ты предоставишь мне свободу действий, я в любом случае сделаю для тебя больше, чем ты сам.

Исаак начал было:

— Гм. Вы уже сделали нам столько добра...

Гейслер нахмурился и оборвал:

— Ладно, ладно!

Утром господа уселись за стол и принялись писать. Писали они о серьезных вещах: во-первых, составили купчую на сорок тысяч крон за горный участок, потом документ, в котором Гейслер отказывался от всех этих денег до единого шиллинга в пользу своей жены и детей. Исаака и Сиверта позвали подписаться под этими бумагами в качестве свидетелей. После этого господа вознамерились откупить у Исаака за сущую безделицу его проценты — за пятьсот крон. Гейслер остановил их.

— Шутки в сторону! — сказал он.

Исаак не очень-то понимал, в чем дело, он уже один раз продал скалу и получил что следовало, вдобавок речь шла о кронах — стало быть, чепуха, не то что далеры. Сиверт же понял гораздо больше, тон переговоров удивил его: здесь, несомненно, решалось семейное дело. Один из господ, к примеру, сказал:

— Дорогой Гейслер, право, неприлично ходить с такими красными глазами!

На что Гейслер резко, но уклончиво ответил:

— Может, и впрямь неприлично. Но в этом мире каждому воздается отнюдь не по заслугам!

Уж не в том ли было дело, что братья и родственники госпожи Гейслер решили купить ее мужа да заодно уж и избавиться от его посещений и его беспокойного родства? Горный же участок, надо полагать, представлял кое-какую ценность, этого никто не отрицал; но находился он на отшибе, господа говорили, что покупают его только затем, чтоб сбыть другим людям, у которых больше возможностей разработать его, чем у них. В этом не было ничего несообразного. Еще они не скрывали, что не знают, сколько выручат за участок в нынешнем его состоянии: если начнется его разработка, то сорок тысяч, может, вовсе и не цена, если же все останется как есть — так это выброшенные деньги. Но как бы то ни было, они порешили совершить выгодную сделку и потому предлагали Исааку за его долю пятьсот крон.

— Я — уполномоченный Исаака, — сказал Гейслер, — и я продам его право не дешевле чем за десять процентов от покупной суммы.

— Четыре тысячи! — воскликнули господа.

— Четыре тысячи, — сказал Гейслер. — Скала была собственностью Исаака, он получает четыре тысячи. Моей собственностью она не была, я получаю сорок тысяч. Так что сделайте милость, обдумайте это!

— Да, но четыре тысячи!

Гейслер встал и сказал:

— В противном случае сделка не состоится!

Они подумали, пошептались, вышли на двор, явно стараясь оттянуть время.

— Седлайте лошадей! — крикнули они конюхам. Один из господ отправился к Ингер и по-княжески рассчитался за кофе, несколько штук яиц и кров. Гейслер похаживал по двору, внешне ко всему равнодушный, но явно не дремал.

— Ну а чем кончилась в прошлом году затея с орошением? — спросил он Сиверта.

— Весь урожай спасли.

— Вижу, вы распахали еще одну мочажину с тех пор, как я был здесь в последний раз?

— Да.

— Надо вам завести вторую лошадь, — сказал Гейслер. Все-то он видел!

— Иди-ка сюда, и давай покончим с делом! — позвал его фабрикант.

Все опять направились в пристройку, и Исааку выплатили его четыре тысячи крон. Гейслеру вручили бумагу, и он сунул ее в карман, словно она ничего не стоила.

— Спрячь ее как следует! — сказали ему господа. — А твоя жена через несколько дней получит банковскую книжку.

Гейслер нахмурился и сказал:

— Хорошо!

Но они еще не до конца развязались с Гейслером. Он и рта не раскрыл, не обратился к ним ни с какой просьбой, он просто стоял, и они видели, как он стоит; может быть, он выговорил сколько-нибудь деньжонок и для себя самого? Когда фабрикант протянул ему пачку кредиток, Гейслер только кивнул и опять сказал:

— Хорошо.

— А теперь давайте выпьем по стаканчику с Гейслером, — сказал фабрикант.

В эту минуту появился Бреде Ольсен. Чего ему тут понадобилось? Бреде, конечно, слышал вчера громоподобные взрывы и смекнул, что в горах что-то происходит. И вот явился и тоже пожелал продать гору. Он прошел мимо Гейслера и обратился к господам: он-де открыл замечательные породы камней, одни как кровь, другие как серебро; он знает каждый самый маленький закоулочек в окрестных горах и ходит по ним, как по собственному дому, он знает, где залегают жилы с тяжелым металлом, — что это может быть за металл?

— Есть у тебя образцы? — спросил горняк.

Да. Только не лучше ли вам самим пойти в горы? Это недалеко. А образцы-то? Как же, много мешков, много ящиков, Бреде не захватил их с собой, но они у него дома, он может сбегать за образцами. Но куда скорее сбегать в горы, если господа согласятся подождать.

Господа покачали головой и уехали. Бреде обиженно посмотрел им вслед. Если надежда на минуту и вспыхнула в нем,

то теперь она погасла, он родился под несчастливой звездой, ничто ему не удавалось. Хорошо еще, характер у него легкий, помогает ему выносить такую жизнь; проводив всадников взглядом, он наконец сказал:

— Скатертью дорожка!

Теперь он опять стал вежлив с Гейслером, прежним своим ленсманом, уже не тыкал его, а поздоровался и заговорил на вы. Гейслер под каким-то предлогом вытащил из кармана и продемонстрировал туго набитый бумажник.

— Не можете ли вы помочь мне, ленсман? — сказал Бреде.

— Ступай домой и осуши свое болото! — ответил Гейслер, не дав ему ни гроша.

— Мне ничего не стоило притащить с собой целый мешок образцов, но разве не лучше было им самим осмотреть горы, раз уж они приехали сюда?

Гейслер пропустил его слова мимо ушей.

— Ты не видел, куда я девал тот документ? — спросил он Исаака. — Он очень важный, стоит много тысяч крон. Ага, вот он, в пачке кредиток!

— Что это были за люди? Просто приехали покататься верхом? — спросил Бреде.

Гейслер, должно быть, очень переволновался, и теперь, видно, наступила реакция. Но все-таки у него еще достало сил и охоты на кое-какие дела: позвав с собой Сиверта, он отправился в горы, а там разостлал на земле большой лист бумаги и начертил карту местности с южной стороны озера — зачем-то она ему понадобилась. Когда через несколько часов они вернулись на хутор, Бреде еще сидел там, но Гейслер не стал отвечать на его расспросы, он устал и только махнул рукой.

Он проспал без просыпу до раннего утра и встал вместе с солнцем, свежий и бодрый.

— Селланро! — сказал он, вышел на двор и огляделся по сторонам.

— Все эти деньги, что я получил, — сказал Исаак, — неужто они мои?

— Э, сущая безделица! — ответил Гейслер. — Разве ты не понимаешь, что должен был получить еще больше? Собствен-

но, согласно нашему договору, тебе следовало получить их от меня, но, как видишь, все вышло иначе. Сколько тебе дали? Всего тысячу далеров, по старому счету. Я вот стою и думаю, что надо бы тебе завести вторую лошадь.

— Хорошо бы.

— У меня есть одна на примете. Теперешний пристав у ленсмана Хейердала совсем забросил свою усадьбу: ему, кажется, больше нравится разъезжать по торгам. Он уже распродал всю скотину, сейчас собирается продать и лошадь.

— Я с ним потолкую, — сказал Исаак.

Гейслер широким жестом обвел рукой лежащую перед ними местность и сказал:

— Все это принадлежит маркграфу! У тебя есть дом, и скот, и обработанная земля, тебе не грозит голод!

— Да, — отвечал Исаак, — у нас есть все, что создал Господь!

Гейслер побродил по двору, потом вдруг отправился к Ингер.

— Не дашь ли ты мне и на этот раз немножко провизии? — спросил он. — Несколько вафель, без масла и сыра, в них и так много сдобы. Нет, нет, поступай как я говорю, ничего другого я не возьму.

И он опять вышел. Похоже, его одолевали тревожные мысли, он пошел в пристройку и сел писать. Верно, он все продумал заранее, потому что писал очень недолго.

— Это заявление в казну, — важно сказал он Исааку. — В министерство внутренних дел, — добавил он. — У меня ведь столько всяких забот.

Взяв узелок с провизией и простившись со всеми, он как будто вдруг что-то вспомнил:

— Да, вот что, когда я уходил от вас в последний раз, я, должно быть, позабыл — вынул кредитку из бумажника, а потом взял да и положил ее в жилетный карман. Там и нашел ее. У меня ведь столько забот. — С этими словами он сунул что-то в руку Ингер и ушел.

Да, так и ушел Гейслер, с виду довольно бодрый и бравый. Он нисколько не опустился и умер нескоро, он приходил в Селланро еще раз и умер только много лет спустя. Когда он

уходил с хутора, об нем скучали; Исаак думал было посоветоваться с ним насчет Брейдаблика, но как-то не вышло. Да Гейслер, наверное, и отсоветовал бы ему покупать этот участок — совсем еще не обработанную землю для конторщика вроде Элесеуса.

XVIII

А дядя Сиверт все-таки помер. Элесеусу пришлось прожить у него три недели, но под конец старик таки помер. Элесеус распорядился похоронами и проявил в этом деле большую расторопность, выпросив у соседей несколько горшков фуксий и флаг, который вывесил, приспустив на флагштоке, и купив черной саржи для штор. Послали за Исааком и Ингер, и они приехали на похороны. Элесеус выступал в роли хозяина, устроив угощение для всех приглашенных, а когда покойника выносили, даже произнес над гробом несколько прочувствованных слов, так что мать его от гордости и умиления полезла за носовым платком. Все сошло блестяще.

На обратном пути домой Элесеусу ничего не оставалось, как нести у всех на виду свое весеннее пальто, тросточку же он спрятал в один из рукавов. Все шло хорошо, пока они не стали переправляться в лодке через озеро, тут отец нечаянно наступил на пальто, и послышался треск.

— Что это? — спросил он.

— Да так, ничего, — ответил Элесеус.

Но сломанную палку он не выбросил и по возвращении домой стал придумывать, как бы ее починить.

— Может, скрепить ее как-нибудь? — сказал Сиверт, большой шутник. — Глянь-ка, если приладить с обеих сторон по здоровой щепке да обмотать просмоленными нитками.

— Вот я тебя самого обмотаю просмоленными нитками, — ответил Элесеус.

— Ха-ха-ха. Ты небось был бы рад обмотать палку красной подвязкой?

— Ха-ха-ха, — засмеялся и Элесеус, но потом пошел к матери, выпросил у нее старый наперсток, спилил донышко и приладил его аккуратным ободком на свою тросточку. О, не такие уж бестолковые были длинные белые руки Элесеуса.

Братья постоянно дразнили друг друга.

— Как по-твоему, получу я то, что осталось после дяди Сиверта? — спросил Элесеус.

— Получишь ли? А чего там осталось? — спросил Сиверт.

— Ха-ха, тебе бы прежде всего узнать — чего, скупердяй ты этакий!

— По мне, так возьми все! — сказал Сиверт.

— Там от пяти до десяти тысяч.

— Далеров? — воскликнул Сиверт. Он не мог удержаться от удивления.

Элесеус никогда не считал деньги на далеры, но на этот раз так было выгоднее, и он кивнул головой. И оставил Сиверта в этом убеждении до следующего дня.

Потом опять вернулся к той же теме.

— Жалеешь, наверно, о своем вчерашнем подарке? — сказал он.

— Дурак ты! — ответил Сиверт, но пять тысяч далеров как-никак — пять тысяч далеров, а не какая-нибудь мелочь; если брат не жулик и не цыган, он должен отдать ему половину.

— Скажу тебе одно, — заявил наконец Элесеус, — сдается мне, я не разжирею с этого наследства.

Сиверт с удивлением посмотрел на него:

— Неужто?

— Да, не очень-то, не очень-то я с него разжирею!

Как-никак, а Элесеус научился разбираться в счетах; свой сундучок, знаменитый винный погребец, дядя Сиверт показал и ему, попросив просмотреть все бумаги, проверить итоги и подсчитать кассу. Дядя Сиверт не приставил своего племянника к работе на земле или к починке сетей в амбаре, он задурманил ему голову страшным хаосом цифр и всяких отчетных статей. Если какой-нибудь налогоплательщик десять лет назад заплатил причитавшийся с него налог козой или несколькими пуда-

ми вяленой трески, то коза или треска не значились в ведомости, но старик Сиверт, порывшись в своей памяти, говорил: «Этот заплатил!» — «Ну, тогда эту цифру мы вычеркнем», — говорил Элесеус.

В этом деле Элесеус оказался самым что ни на есть подходящим человеком, он был ласков и то и дело подбадривал старика, уверяя, что состояние его вполне хорошее. Они отлично ладили друг с другом, даже шутили понемножку. Случалось, Элесеус делал глупости, но ведь тем же отличался и старик Сиверт. Так, они взяли да и состряпали документы в пользу не только Сиверта-младшего, но и в пользу села, той общины, которой старик отдал тридцать лет службы. То-то были славные денечки! «Лучше тебя, Элесеус, мне никого не найти», — говорил дядя Сиверт. Как-то посреди лета он послал купить баранью тушу — рыбу ему приносили свежего улова с моря, Элесеусу он приказал платить из ларца. Жилось хорошо. Им удалось залучить к себе Олину, никого лучше им было не найти для участия в пирушке, а также для распространения слухов о последних славных днях старика Сиверта. Удовольствие было обоюдное. «Сдается мне, нам следует позаботиться и об Олине, — сказал дядя Сиверт, — она вдова и с малым достатком. Тебе, Сиверту-младшему и так много достанется». Элесеусу это стоило сущую ерунду: своей опытной рукой он накарябал несколько строк в добавление к последней воле старика, и Олина тоже очутилась в числе наследников.

«Я позабочусь о тебе, — сказал ей старик Сиверт. — В случае, если я не поправлюсь и не задержусь на этой земле, я постараюсь, чтоб ты не пропала с голоду». Олина воскликнула, что она от изумления лишилась дара слова, но слова все-таки нашлись, она была растрогана, плакала и благодарила; никто бы не сумел так, как она, найти связь между земным даром и, например, «великим воздаянием небесным на том свете». Нет, дара слова она не лишилась.

А Элесеус? Если вначале он, может, и отнесся со всей душой к положению дяди, то со временем он начал задумываться. Он попробовал было намекнуть: «Ведь касса-то не то чтобы в

полном порядке». — «Ничего, кое-что и после меня останется!» — ответил старик. «Наверно, у тебя есть деньги в каких-нибудь банках?» — спросил Элесеус, потому что ходили такие слухи. «Ну, там видно будет, — сказал старик. — А сети, а усадьба с постройками, а стадо рыжих да белых коров! Что за ерунду ты несешь, браток!»

Элесеусу было невдомек, сколько могут стоить сети, но стадо он видел своими глазами: все оно состояло из одной коровы. Корова была рыжая с белым. Дядя Сиверт, должно быть, бредил. Да и в счетах старика Элесеус не очень-то разобрался, в них была порядочная каша, особенно с того года, когда счет перешел с далеров на кроны; общинный казначей частенько засчитывал мелкие кроны в полные далеры. Не диво, что он воображал себя богачом! Элесеус опасался, что, когда все разберется, вряд ли от наследства много останется, да пожалуй, что и ничего. Может, и вовсе ничего.

Что ж, Сиверт мог с легким сердцем обещать ему то, что останется после дяди.

Братья частенько подшучивали над этим, Сиверт и не думал расстраиваться, наоборот, он бы, наверное, куда больше угрызался, если б и в самом деле проморгал пять тысяч далеров. Он прекрасно понимал, что его назвали в честь дяди из чистого расчета, сам он ничего от дяди не заслужил. Потому он и уговаривал Элесеуса принять наследство.

— Оно твое, понятное дело; давай заключим письменный уговор! — сказал он. — Я разрешаю тебе разбогатеть. Смотри не упускай случая!

Вдвоем им было весело. Сиверт больше всех помогал Элесеусу вынести жизнь дома; без него многое было бы гораздо мрачнее.

А тут на Элесеуса опять словно нашла порча, три недели безделья за перевалом не принесли ему пользы, он ходил там в церковь и франтил, встречаясь с девушками. Дома, в Селланро, никого не было, новая служанка Йенсина не в счет, простая работница, она больше подходила Сиверту.

— Вот бы посмотреть, какая стала Барбру из Брейдаблика с тех пор, как выросла, — сказал он.

— Сходи к Акселю Стрёму и посмотри! — ответил Сиверт.

Однажды в воскресенье Элесеус так и сделал. Он ведь побывал на людях, набрался бодрости и веселья, разохотился, его приход внес оживление в землянку Акселя. Да и Барбру была не из таких, чтоб ею стоило пренебречь; во всяком случае, в их глуши она была единственная, она играла на гитаре и бойко разговаривала, к тому же и пахло от нее не пижмою, а настоящими духами, одеколоном. Элесеус, со своей стороны, дал понять, что приехал домой только на побывку, в отпуск, скоро его опять потребуют в контору. Да, как-никак, а приятно побывать дома, на старом пепелище, к тому же теперь ему одному отвели всю светелку. Но, конечно, это не город!

— Да, что и говорить, деревня городу не чета! — поддержала Барбру.

Аксель совсем стушевался перед этими двумя горожанами, ему стало скучно, и он пошел посмотреть на землю. Они остались на свободе, и Элесеус совсем развернулся. Он рассказал, что побывал в соседнем селе и похоронил своего дядю, не забыв добавить и о том, что держал речь над гробом.

Уходя, он попросил Барбру проводить его немножко. Ну уж нет, извините!

— Разве в городе принято, чтоб дамы провожали кавалеров? — спросила она.

Элесеус покраснел, поняв, что обидел ее.

А в следующее воскресенье снова отправился в Лунное, захватив на этот раз с собой тросточку. Как и в прошлый раз, они весело болтали, и опять Аксель остался ни при чем.

— У твоего отца большая усадьба, и он страсть как застроился, — сказал он.

— Да, он и сейчас строит. Отцу-то что! — ответил Элесеус и прибавил, чтоб порисоваться: — Вот нам, беднякам, хуже!

— Как так?

— А разве вы не слыхали? Недавно к нему наведались шведские миллионеры и купили медную скалу.

— Да что ты! Так он получил много денег?

— Ужасно много. Не подумай, что я хвастаю, но они заплатили кучу денег. Да, так что я хотел сказать? Ты говоришь:

строит? Я вижу, у тебя тоже приготовлены бревна, сам-то ты когда будешь строиться?

Барбру ответила за него:

— Никогда!

Никогда! — это уж слишком сильно сказано. Аксель наломал камней еще прошлой осенью, зимой перевез их на хутор, в этом году в промежутках между полевыми работами сложил фундамент с подвалом и всем, что положено, осталось только сколотить сруб. Он рассчитывал подвести избу под крышу нынче осенью и собирался попросить Сиверта прийти на несколько дней помочь ему, — что скажет на это Элесеус?

— Ну что ж. Но можешь взять и меня, — с улыбкой сказал Элесеус.

— Вас? — почтительно спросил Аксель, вдруг переходя на вы. — У вас дар на другое.

Как приятно быть признанным даже и в глуши!

— Боюсь только, что руки мои не очень к этому пригодны, — жеманно сказал Элесеус.

— Покажи-ка! — промолвила Барбру и взяла его руку.

Аксель опять выключился из разговора и вышел; они снова остались одни. Они были ровесники, вместе учились в школе, вместе играли, целовались и бегали, теперь они с чувством бесконечного превосходства освежали свои детские воспоминания, и Барбру немножко кокетничала. Понятно, Элесеус совсем не то что важные конторщики в Бергене, в очках и с золотыми часами, но здесь, в глуши, и он барин, этого у него не отнимешь! Она вынула и показала ему свою бергенскую фотографию, вот какая она была тогда, а теперь...

— А чем же ты теперь-то плоха? — спросил он.

— По-твоему, я не очень подурнела?

— Подурнела! Вот что я тебе скажу: по-моему, ты стала вдвое красивее, во всяком случае, округлилась. Подурнела? Нет, подумать только!

— Правда, на мне красивое платье, с вырезом у шеи на спине? И серебряная цепочка, видишь? Она стоила очень дорого, мне подарил ее один из конторщиков, у которых я служила. Но

потом я ее потеряла. Не то что потеряла, а мне понадобились деньги на дорогу домой.

Элесеус спросил:

— Можно мне взять эту карточку?

— Взять? А что ты мне дашь за нее?

Элесеус отлично знал, что на это ответить, но не посмел.

— Я тоже снимусь, как приеду в город, и пришлю тебе свою, — сказал он.

Она спрятала карточку и сказала:

— Нет, у меня только одна эта и осталась.

Черный мрак заволок его юное сердце, и он протянул руку за карточкой.

— Так дай мне за нее что-нибудь сейчас! — смеясь сказала она. Он обнял ее и крепко-крепко расцеловал.

Стеснения между ними как не бывало, Элесеус расцвел и превзошел самого себя. Они любезничали, шутили, смеялись, и он предложил перейти с ней на ты.

— Когда ты взяла меня за руку, ты была словно прекрасный лебедь, — сказал он.

— Ну да, вот ты скоро уедешь в город и никогда больше сюда не вернешься, — ответила Барбру.

— Неужели ты так плохо думаешь обо мне? — спросил он.

— А разве у тебя никого нет, кто бы тебя там задержал?

— Нет. Между нами говоря, я ни с кем не помолвлен, — сказал он.

— Как же! Уж наверняка помолвлен.

— Нет, говорю тебе, это истинный факт.

Они долго любезничали, Элесеус окончательно влюбился.

— Я буду писать тебе, — сказал он. — Можно?

— Да, — ответила она.

— Не хочу быть назойливым и делать это без разрешения. — Вдруг его охватила ревность, и он спросил: — Я слышал, ты помолвлена с Акселем, это правда?

— Это с Акселем-то! — сказала она так презрительно, что он тотчас успокоился. — Он зря старается! — сказала она. Но тут же раскаялась и прибавила: — Но сам по себе он ничего, Ак-

сель-то. И газету для меня выписал, и подарки часто делает, этого у него не отнимешь.

— Боже сохрани! — согласился Элесеус. — Он может быть самым выдающимся и замечательным человеком в своем роде, но суть не в этом.

Однако при мысли об Акселе Барбру, должно быть, забеспокоилась, она встала и сказала Элесеусу:

— А сейчас тебе пора уходить, потому что мне надо на скотный двор!

В следующее воскресенье Элесеус пошел к ней значительно позднее, чем прежде, и захватил с собой письмо. Вот это было письмецо! Целая неделя восторга и головоломной работы; он выносил его, вызубрил наизусть: «Фрекен Барбру Бредесен, вот уже два или три раза я имел невыразимое счастье видеть тебя...»

Вечер был поздний, Барбру, наверное, уже освободилась от работы на скотном дворе, а может, даже и легла спать. Не беда, так даже лучше.

Но Барбру не спала, сидела в землянке. И по всему было видно, что у нее нет ни малейшего желания любезничать с ним, ни капельки, у Элесеуса составилось впечатление, что Аксель прибрал ее к рукам, а может, и предостерег ее.

— Пожалуйста, вот письмо, которое я тебе обещал!

— Спасибо! — сказала она, распечатала письмо и прочла без видимой радости. — Хотела бы я уметь так хорошо писать, как ты!

Он был разочарован. Что он сделал? Что с ней? А где Аксель? Ушел. Может, ему надоели эти настойчивые воскресные визиты и захотелось уйти из дому, а может, нашлось неотложное дело, потому что он ушел в село еще вчера. Нету его.

— Что ты сидишь в душной землянке в такой чудесный вечер? Пойдем погуляем! — сказал Элесеус.

— Я дожидаюсь Акселя, — ответила она.

— Акселя? Ты что, не можешь жить без Акселя?

— Могу, но ведь надо же его покормить, когда он вернется.

Время шло, пропадало даром, близости между ними не устанавливалось, Барбру продолжала капризничать. Он попро-

бовал было снова рассказать ей о соседнем селе и снова не забыл упомянуть про свою речь над гробом.

— Я и сказал-то всего несколько слов, но у некоторых на глаза навернулись слезы.

— Да ну, — проворчала она.

— А в воскресенье был в церкви.

— Что тебе там понадобилось?

— Понадобилось? Просто пошел посмотреть. Священник, по моему скромному мнению, проповедует неважно, у него нет никаких хороших приемов.

Время шло.

— Как по-твоему, что подумает Аксель, если застанет тебя здесь и нынче вечером? — сказала вдруг Барбру.

О, если б она ударила его прямо в грудь, он был бы ошеломлен не менее. Неужели она забыла их прошлое свидание? Разве у них не было условлено, что он придет сегодня вечером? Он страшно огорчился и пробормотал:

— Я могу ведь и уйти!

Она, по-видимому, нисколько не испугалась.

— Что я тебе сделал? — спросил он дрожащим голосом. Он был очень огорчен, он страдал.

— Сделал? Мне? Да ничего ты мне не сделал.

— Так что же с тобой сегодня случилось?

— Со мной? Ха-ха-ха. А впрочем, я не удивлюсь, если Аксель разозлится.

— Я уйду! — повторил Элесеус. Но она и на этот раз не испугалась, она не обращала ни малейшего внимания на то, что он сидел, борясь со своими чувствами. Упрямая, как осел.

Мало-помалу в нем стало подниматься раздражение, и поначалу он выразил его довольно тонко: она, мол, не самая приятная представительница женского пола! Однако и это не помогло — о, лучше бы он молчал и терпел, — она сделалась только еще хуже. Но и он не стал лучше.

— Знал бы, что ты такая, не пришел бы сегодня, — сказал он.

— И что из того? — ответила она. — Не проветрил бы свою палку, только и всего.

Да, Барбру побывала в Бергене, она видала настоящие тросточки, потому и могла позволить себе так язвительно спросить, каким это ободранным зонтиком он помахивает.

Он и это стерпел.

— Наверное, ты хочешь взять обратно свою карточку? — сказал он.

Если не подействует и это, значит, не подействует ничто, ничего хуже этого и представить себе нельзя в деревне — взять подарок обратно!

— Мне все равно, — уклончиво ответила она.

— Отлично, — дерзко заявил он, — я пришлю ее тебе при первой же оказии. Тогда отдай мне мое письмо!

Он встал.

Ну что ж, она отдала ему письмо, но тут у нее выступили на глазах слезы, да-да, она переменилась: служанка растрогалась, дружок покидал ее, прости навек!

— Не уходи, — сказала она, — мне нет дела до того, что подумает Аксель.

Но тут уж он решил воспользоваться своим преимуществом и стал прощаться.

— Покорно благодарю, — сказал он. — Когда дама ведет себя так, как ты, я удаляюсь.

Он тихонько вышел из землянки и направился домой, посвистывая, помахивая тросточкой и держась молодцом. Черт возьми! Через минутку из землянки вышла и Барбру, дважды окликнув его. Он остановился, отчего же не остановиться, но был как раненый лев. Она с покаянным видом уселась посреди вереска, вертя в руке веточку, понемножку и он начал смягчаться, попросив поцелуя — мол, напоследок, на прощанье. Нет, она не хотела.

— Ах, будь такая же очаровательная, как в прошлый раз! — умолял он, обхаживая ее со всех сторон и напирая все решительнее, чтоб скорее добиться своего.

Но она не пожелала быть очаровательной, а встала. И стояла как истукан. Тогда он молча кивнул и пошел прочь.

Когда он скрылся, из-за кустов вдруг вынырнул Аксель. Барбру вздрогнула и спросила:

— Разве ты пришел сверху?

— Нет, я пришел снизу, — ответил он. — Но я видел, как вы вдвоем здесь прохлаждались.

— Ах, видел! Ну и что, радость тебе от этого?! — вдруг выкрикнула она со злостью. И продолжала не менее капризно: — Чего ты шныряешь повсюду и вынюхиваешь? Какое тебе дело!

Аксель тоже был не в кротком настроении.

— Он и нынче был здесь?

— Ну и что? Чего тебе от него надо?

— Чего мне от него надо? Ты лучше скажи, чего тебе от него надо? Постыдилась бы!

— Стыдиться? Долго молчали, да звонко заговорили! — ответила Барбру старинным присловьем. — Я не обязана сиднем сидеть в твоей землянке, точно памятник, так и знай! Чего мне стыдиться? Как найдешь себе другую экономку, я сейчас же уеду. Попридержи лучше язык, сделай милость. Вот тебе мой ответ. Сейчас я пойду, дам тебе поесть и сварю кофе, а потом могу делать все, что мне угодно.

Домой они пришли в полной ссоре.

Да, Аксель и Барбру не всегда жили дружно. Она прожила у него уже года два, изредка между ними случались ссоры, большей частью из-за того, что Барбру хотела уехать. Он упрашивал ее остаться навсегда, переехать к нему совсем, разделить с ним по-настоящему землянку и жизнь; он ведь знал, как плохо остаться одному без помощницы, — и она не раз обещала согласиться, в минуты нежности она даже не могла себе представить, что не останется. Но стоило им поссориться, и она сейчас же грозилась уехать. Если уж не насовсем, то хотя бы ненадолго в город, полечить зубы, они все выболели. Уехать, уехать! Необходимо было удержать Барбру, надеть на нее узду.

Узду? Она смеялась над любою уздой.

— Значит, ты и теперь хочешь уехать? — сказал он.

— А что? — спросила она.

— И ты можешь уехать?

— Почему же не могу? Думаешь, мне некуда податься, раз дело идет к зиме? Да я могу получить место в Бергене в любое время.

Тогда Аксель сказал довольно твердо:

— Теперь уж не может быть, как раньше. Разве ты не ждешь ребенка?

— Ребенка? Нет. О каком таком ребенке ты говоришь?

Аксель вытаращил на нее глаза. Не в своем, что ли, уме эта Барбру?

Другое дело, что он сам — Аксель — проявил, должно быть, слишком большое нетерпение: надев на нее узду, он начал держаться чересчур уверенно, вот уж впрямь ума палата, зря он так часто ей перечил, вызывая лишь раздражение, и уж совсем незачем было приказывать ей сажать по весне картошку, в крайности мог бы справиться и один. Успеет проявить свою власть после свадьбы, а до тех пор надо действовать умно и уступать.

А тут, как назло, вышла эта незадача с Элесеусом, с конторщиком, который припутался со своей тросточкой и своими благородными речами. Разве это достойное поведение для помолвленной девушки, да еще в ее положении! Можно ли представить себе что-нибудь хуже! До сих пор Аксель не имел соперника в здешней глуши, и вдруг положение резко переменилось.

— Вот тебе последние газеты, — сказал он. — И еще одна вещичка, которую я раздобыл для тебя. Глянь-ка, может, и понравится.

Она осталась холодна, хотя оба сидели за столом, потягивая с блюдечка обжигающе горячий кофе. Она ответила с ледяной холодностью:

— Бьюсь об заклад, что это золотое кольцо, которое ты обещал мне целый год с лишним.

Тут она хватила через край, это действительно было кольцо, но не золотое — такого он ей никогда не обещал, это она сейчас выдумала, — а серебряное, с двумя вызолоченными на нем руками, значит, тоже хорошее, и с пробой. Но, увы, эта ее злополучная поездка в Берген! Барбру видела там настоящие обручальные кольца, попробуй-ка втереть ей очки!

— Можешь оставить его себе, — сказала она.

— Да чем же оно плохо?

— Плохо? Ничем оно не плохо, — ответила она и, встав, принялась убирать со стола.

— Для начала сгодится и такое, — сказал он, — соберемся с деньгами, куплю другое.

Она промолчала.

И все же в этот вечер Барбру была злюка злюкой. Неужто за новое серебряное кольцо не стоило хоть сказать спасибо? Должно быть, щеголь конторщик перевернул все ее мысли. Аксель не мог удержаться, чтоб не сказать:

— Да расскажи ты мне, зачем этот Элесеус сюда бегает? Чего он от тебя добивается?

— Добивается от меня?

— Ну да, неужто он не понимает, в каком ты положении? Неужто не видит по тебе?

Барбру круто повернулась к нему и сказала:

— Ага, ты, стало быть, думаешь, что привязал меня к себе, да не тут-то было, вот увидишь!

— Ну?! — сказал Аксель.

— Да-да. Увидишь, что я уеду!

Аксель только усмехнулся на это и даже не очень широко и открыто, чтоб не задеть ее. Потом сказал, словно успокаивая маленького ребенка:

— Ну, будь же умницей, Барбру. Мы ведь с тобой все знаем!

И разумеется, поздно ночью кончилось тем, что Барбру повеселела и даже заснула с серебряным кольцом на пальце.

Все опять пошло на лад.

Для этих двоих в землянке пошло на лад, но с Элесеусом дело обстояло куда как хуже, он никак не мог пережить нанесенную обиду. Не имея понятия об истерических срывах, он решил, что его обманули по чистой злобе, Барбру из Брейдаблика вела себя слишком уж дерзко, пусть она хоть десять раз побывала в Бергене!

Фотографию Барбру он вернул ей: однажды ночью он сам отнес ее в Лунное и просунул на сеновал, где спала Барбру. Он вовсе не хотел делать это в грубой или невежливой форме, поэтому долго перед тем возился с дверью, чтоб разбудить Барбру, а когда она приподнялась на локте и спросила: «Что же, ты нынче и дороги не найдешь?» — то интимный характер этого вопроса кольнул его, как иголка или шпага, но он не закричал, а

только молча бросил карточку на пол. И пошел своей дорогой. Пошел? Собственно, он прошел всего несколько шагов, а потом побежал, он был донельзя взволнован и расстроен, сердце бешено колотилось в груди. Чуть отбежав от дома, он остановился у кустов и оглянулся назад — нет, она не вышла. А у него-то еще теплилась надежда! Если б она была хоть чуточку к нему добрее! Но какого черта он бежит, раз она не гонится в отчаянии за ним по пятам, в одной рубашке и юбке, убитая тем, что наделала своим чисто интимным вопросом, предназначенным вовсе не для него.

Он шел домой без палки, он уже не насвистывал, нет, он уже не был молодцом. Кинжал в груди — не безделица.

На том все и кончилось?

Как-то в воскресенье он опять отправился в Лунное, только затем, чтоб бросить взгляд на усадьбу. С болезненным и чудовищным терпением лежал он в кустах, прислушиваясь и глядя в сторону землянки. Когда там наконец обозначилась какая-то жизнь, то словно затем лишь, чтоб совсем доконать его: Аксель и Барбру вышли из землянки и вместе направились в хлев. Они были очень ласковы друг с другом, переживая блаженные минуты, они шли обнявшись, он, видать, собрался помочь ей в хлеву. Скажите пожалуйста!

Элесеус смотрел на парочку, и ему казалось, что все потеряно, все пропало. А может, думал: вот она идет рука об руку с Акселем Стрёмом; и как же она докатилась до этого, я не знаю, ведь еще совсем недавно она обнимала меня! Они скрылись в хлеву.

Ну и ладно! Наплевать! Неужто он станет лежать в кустах, забыв обо всем на свете? Этого еще недоставало — уткнуться носом в траву и забыть о самом себе. Да кто она такая? Уж он-то, во всяком случае, есть то, что он есть. Наплевать, еще раз наплевать!

Он вскочил на ноги. Отряхнул вереск и сор со штанов, выпрямился, постоял немного. Гнев его и гордыня разрешились странной выходкой: впав в отчаяние, он запел весьма неприличную песенку. И когда он нарочито громко пел самые непристойные куплеты, на лице у него застыло какое-то странное выражение.

XIX

Исаак вернулся из села с новой лошадью.

Ну да, так уж вышло, что он купил лошадь у пристава, и хоть была она, как и сказал Гейслер, заморенная, но стоила двести сорок крон, то есть шестьдесят далеров. Цены на лошадей стали нынче совсем несообразные; когда Исаак был ребенком, самую лучшую лошадь можно было купить за пятьдесят далеров.

Почему же тогда ему самому не вырастить лошадь? Он не раз думал об этом, представляя себе, как будет выхаживать породистого жеребенка, — да только его пришлось бы дожидаться год, а то и два. Это хорошо для тех, у кого есть время на передышку в землепашестве, кто может не распахивать целину на болоте, пока у него не заведется лошадь, чтоб свозить на ней урожай. Пристав так и сказал:

— Мне кормить лошадь ни к чему; то сено, какое у меня есть, мои бабы перетаскают на себе, пока я езжу по делам службы!

Новая лошадь была давней, многолетней мечтой Исаака, и внушил ему мысль о покупке вовсе не Гейслер. Потому он в меру своих возможностей и подготовился к этому событию: лишнее стойло в конюшне, лишняя привязь на лето; телега и сани у него уже есть, к осени сделает еще одни. И про самое важное, про корм, он, конечно, не забыл: зачем он последнее болото еще в прошлом году распахал, как не затем, чтоб иметь запас на зиму и для лошади, не урезая при этом корма коровам? И вот теперь болото засеяно травами. Аккурат для стельных коров.

Да, все-то он хорошо обдумал. У Ингер снова был, как и встарь, повод изумляться и всплескивать руками.

Исаак привез из села новости: Брейдаблик продается, об этом объявляли у церкви. Небольшой урожай, который там собрали, кое-какое сено да картошка тоже идут в продажу, а заодно и скотина, несколько голов коз и овец.

— Неужто он хочет весь распродаться и остаться голышом? — воскликнула Ингер. — И куда он подается?

— В село.

Так оно и было, Бреде перебирался в село. Поначалу он, правда, попробовал устроиться на житье у Акселя Стрёма, у которого по-прежнему жила Барбру. Но попытка его окончилась неудачей. Бреде ни за что на свете не хотел портить отношений между дочерью и Акселем, так что остерегся проявлять назойливость, и все же эта незадача опрокинула все его расчеты. Ведь Аксель к осени хотел поставить новую избу, и если они с Барбру переберутся туда, отчего бы Бреде с семьей не поселиться в землянке? Но нет. В том-то и дело, что Бреде мыслил не по-хозяйски, он не понимал, что Аксель решил выселиться потому, что землянка нужна ему для скотины, которой заметно прибавилось, — землянку предполагалось превратить в хлев. Даже когда ему все объяснили, Бреде не мог взять в толк эти соображения.

— Ведь люди как-никак важнее скотины, — сказал он. Аксель же думал совсем по-другому:

— Скотина важнее, а люди всегда найдут себе пристанище на зиму.

Тут вмешалась Барбру:

— Вот как, скотина тебе важнее нас, людей? Хорошо, что я это узнала!

В самом деле, Аксель восстановил против себя все семейство тем, что не нашел для него у себя места. Но он не сдался. Ведь он был отнюдь не глуп и не прост, наоборот, он становился все скупее и скупее; он отлично знал, что этот переезд означает для него несколько лишних ртов, которые ему же и придется кормить.

Бреде успокоил дочь, намекнув, что и сам предпочитает переехать в село; ему невмоготу жить в этой глухомани, сказал он, оттого-то он и решил продать землю.

В сущности же, продавал усадьбу вовсе не Бреде Ольсен, а банк и торговец продавали Брейдаблик за долги, и только для виду продажа совершалась от имени Бреде. Бреде казалось, что этим он спасается от позора. И когда его встретил Исаак, Бреде вовсе не выглядел подавленным, утешаясь тем, что по-прежнему оставался смотрителем телеграфной линии, что давало верный доход, а со временем наверняка добьется и прежнего свое-

го положения в селе и опять станет нужным человеком и правой рукой ленсмана. Разумеется, Бреде был в какой-то степени расстроен, ведь как-никак, а приходилось расставаться с местом, где он прожил много лет, где он трудился и которое полюбил! Но добрый Бреде никогда не позволял себе впадать в уныние. Эта черта была в нем самая лучшая, более всего подкупающая людей. В один прекрасный день ему взбрело в голову осесть на земле, опыт оказался неудачным, но он с такой же легкостью действовал и в других вопросах, и выходило успешнее: почем знать, может быть, образцы камней, которые у него хранятся, станут началом огромного дела! А взять хотя бы Барбру, которую он пристроил в Лунное, она ведь уже никогда не расстанется с Акселем Стрёмом, за это он готов поручиться, это всякому видно.

Нет, все еще не так плохо, пока у него есть здоровье и он может работать на себя и на своих близких! — говорил Бреде Ольсен. К тому же дети уже подросли настолько, что могут уехать и позаботиться о себе сами. Вот Хельге, к примеру, нанялся на лов сельдей, а Катрина поступает к доктору. Так что с ними остались только двое младших — ну и, правда, третий на подходе.

Исаак привез из села и еще одну новость: у жены ленсмана родился ребенок. Ингер сразу заинтересовалась: мальчик или девочка?

— Этого не слыхал, — ответил Исаак.

У ленсманши родился ребенок — а не она ли постоянно выступала в женском кружке против непомерного числа детей у бедняков. «Дайте женщинам право голоса и возможность распоряжаться собственной судьбой!» — говорила она. А теперь и сама попалась. «Да, — сказала кому-то пасторша, — я ли не распоряжалась собой, ха-ха-ха, а вот ведь, все-таки не ушла от своей судьбы!» Эта острота о госпоже Хейердал ходила по всей деревне и многим была понятна; Ингер, может быть, тоже ее поняла, один только Исаак ничего не понял.

Исаак понимал, как надо работать, как вести хозяйство. Он стал теперь богатым человеком, владел большим участком с отличной усадьбой, но крупные деньги, которые случай дал ему в руки, он употребил не лучшим образом: он их спрятал. Его ве-

рой была земля. Живи Исаак в селе, широкий мир, может статься, повлиял бы и на него, там было столько соблазнов, столько замечательных возможностей, он тоже накупил бы ненужной дребедени и ходил бы по будням в красной праздничной рубахе. Здесь, в глуши, он был застрахован от всяких излишеств, он жил на чистом воздухе, умывался по воскресеньям и купался, когда бывал на горном озере. А тысяча далеров — ну что ж, это Божий дар, отчего не спрятать их все до последнего скиллинга? Куда их иначе девать-то? Исааку хватало на необходимые повседневные расходы только от продажи того, что ему давали скот и земля.

Элесеус, этот понимал больше, он посоветовал отцу положить деньги в банк. Может, так было и разумнее, но как бы то ни было, а Исаак все откладывал и скорее всего вовсе никогда бы на это не решился. Не то чтобы Исаак всегда пренебрегал советами сына, Элесеус был далеко не глуп, он доказал это впоследствии. Нынче, во время сенокоса, он попробовал косить — да, тут он был не большой мастер, ему приходилось держаться поближе к Сиверту, чтоб тот при надобности отбивал его косу; зато у Элесеуса были длинные руки и сено он сгребал и копнил так, что любо-дорого было смотреть. Сиверт, Элесеус, Леопольдина и работница Йенсина копнили сено после первого покоса, Элесеус себя не щадил, работая граблями так усердно, что ладони у него сплошь покрылись волдырями и пришлось замотать их тряпками. Недели две он ел без всякого аппетита, но работать не бросил. Что-то, должно быть, стряслось с парнем, похоже, ему пошла на пользу некоторая неудача в известном любовном деле, должно быть, и ему довелось изведать вечной скорби и разочарования в жизни. А тут еще он докурил последний табак, привезенный из города, что в других обстоятельствах могло бы заставить иного конторщика хлопнуть дверью и произнести крепкое словцо о том о сем, но нет, Элесеус стойко перенес и это испытание, даже осанка у него стала уверенней, одно слово — настоящий мужчина. И что же выдумал шутник Сиверт, чтоб подразнить его? Когда братья, лежа на камнях у реки, пили воду, Сиверт имел неосторожность предложить брату насушить какого-то замечательного моху на курево.

— Или, может, покуришь его сырым? — добавил он.

— Вот я тебе покажу курево! — ответил Элесеус и, схватив брата за голову, окунул по самые плечи в воду. — Ха, получил! — Сиверт так и пошел домой с мокрыми волосами.

«Сдается мне, Элесеус помаленьку становится настоящим человеком!» — думал иногда Исаак, видя сына за работой.

— Гм. Как по-твоему, Элесеус останется дома? — спросил он Ингер.

Она посмотрела на него с любопытством и осторожностью.

— Трудно сказать. Нет, не останется.

— А ты говорила с ним?

— Нет. Разве что немножко. Но мне так кажется.

— Ну а если у него будет свой клочок земли?

— Как так?

— Станет он на нем работать?

— Нет.

— Выходит, ты, значит, спрашивала?

— Спрашивала? Неужто не видишь, как он изменился? Я не понимаю его!

— Нечего его хаять, — беспристрастно сказал Исаак. — Я вижу одно: он отлично справляется с работой.

— Это да, — послушно согласилась Ингер.

— Не пойму, чего ты нападаешь на парня! — с досадой воскликнул Исаак. — Он день ото дня работает все лучше, что ж тебе еще надо?

Ингер пробормотала:

— Он не такой, как был. Ты бы порасспросил его о жилетках.

— О жилетках? О каких жилетках?

— Он сказывает, что летом ходил по городу в белых жилетках.

Исаак подумал немного, но так ничего и не понял.

— А разве ему нельзя дать белую жилетку? — спросил он. — Парень ведь имеет право на белую жилетку. — Исаак был в недоумении: все это, ясное дело, бабьи глупости; и вообще непонятно, в чем тут суть, и потому он решил просто перескочить через эту тему: — Как по-твоему, может, посадить его на участок Бреде?

— Кого? — спросила Ингер.

— Да Элесеуса.

— В Брейдаблик? — спросила Ингер. — И не думай!

Дело в том, что она уже обсудила этот план с Элесеусом, а узнала его от Сиверта, который не вытерпел и проболтался. Впрочем, с какой стати Сиверту было умалчивать про этот план, отец-то, поди, и сообщил его лишь затем, чтобы иметь возможность его обсудить. Не первый раз он использовал Сиверта как посредника. И что же ответил Элесеус? То же, что и раньше, то же, что писал в своих письмах из города: «Нет, я не хочу забрасывать науку и снова превращаться в ничтожество!» Вот что он ответил. Мать стала приводить ему разные разумные доводы, но Элесеус на все отвечал отказом, объяснив, что у него другие жизненные планы. У молодого сердца свои тайны, вероятно, после того, что случилось, ему казалось невозможным стать соседом Барбру. Кто его знает. С видом превосходства он возражал матери: он может получить в городе место получше того, что у него было, может поступить в конторщики к амтману или в помощники к судье, а там, глядишь, еще пойдет и выше, через несколько лет он, может статься, сделается ленсманом, или смотрителем маяка, или устроится на службу в таможню. Перед ученым человеком открывается много возможностей.

Как бы то ни было, ему удалось убедить мать, увлечь ее своими планами, да она и сама еще не очень твердо стояла на ногах, внешний мир до сих пор имел над нею большую власть. Зимой она еще время от времени читала тот замечательный молитвенник, который ей подарили при выходе из тюрьмы в Тронхейме, — но теперь-то! Неужто Элесеус и вправду может стать ленсманом?

— А почему бы и нет, — ответил Элесеус. — Кто такой Хейердал, как не самый обыкновенный старик канцелярист из конторы амтмана?

Огромные перспективы. Мать была готова упрашивать Элесеуса не менять жизнь, не губить себя. Что такому человеку делать в эдакой глуши!

Но почему же тогда Элесеус вдруг вздумал так усердно работать на отцовской земле? Бог весть, может, у него и были кой-

какие задние мысли. Наверное, примешивалось и чувство мужичьей чести, не хотелось отставать от других; да и не мешало подружиться с отцом на случай отъезда из дома; по правде сказать, у него остались в городе кое-какие должишки и хорошо бы их заплатить, это откроет ему новый большой кредит. Дело-то шло не о какой-нибудь сотне крон, а кое о чем посущественнее.

Элесеус был далеко не глуп, наоборот, по-своему он был довольно хитрый. Он видел, как приехал отец, и отлично знал, что в эту минуту он сидит в горнице у окошка и смотрит на поляну. И если Элесеус как раз сейчас приналяжет на работу, то скорей всего выгадает, а уж повредить это никому не повредит.

Была в Элесеусе какая-то червоточина — какая-то вздорность и затаенное лукавство; не то что он был злой, но чуть сумасбродный. Распустился, что ли, за последние годы на свободе? Что могла теперь сделать для него мать? Одно-единственное — оказать ему поддержку. Могла дать увлечь себя сыновними видами на блестящее будущее и замолвить за него словечко отцу, это она вполне могла.

Но Исаака в конце концов рассердило ее нежелание поддержать его, ведь план насчет Брейдаблика, по его мнению, был вовсе не так плох. Нынче, по дороге домой, он даже остановил лошадь и наспех осмотрел заброшенный участок: в хороших руках из него мог получиться толк.

— Почему же мне об этом не думать? — спросил он Ингер. — Мне жалко Элесеуса, я хочу помочь ему устроиться.

— Коли тебе жалко Элесеуса, так не поминай больше про Брейдаблик! — ответила она.

— Вон ты как!

— Да, потому что в голове у него мыслей побольше, чем у нас с тобой.

Исаак и сам не вполне уверен в своей правоте и потому говорить решительно и твердо не может; но его злит, что он так неосторожно выдал свой план, оттого и не хочет теперь от него отступиться.

— Он сделает так, как я хочу! — заявляет вдруг он. И угрожающе возвышает голос, на случай если Ингер не расслыша-

ла: — Да смотри, сколько твоей душе угодно, на меня, но больше я ничего не скажу. Там школа, сам участок находится в самой середке округа, и все такое, и какие это у него мысли в голове? С таким сыном, как он, того и гляди, помрешь с голоду, по-твоему, это лучше? И вот я спрашиваю, как это получилось, что моя собственная плоть и кровь может пойти против... против моей собственной плоти и крови?

Исаак умолк. Он понимал, что чем больше говорит, тем меньше это помогает делу. Он хотел было переменить праздничное платье, в каком ездил в село, но раздумал и остался в чем был — какая от того польза?

— Попробуй поговори с Элесеусом, — сказал он.

Ингер ответила:

— Лучше сам поговори. Меня он не послушает.

Ну конечно, Исаак — всему голова, он и сам это знает, пусть только Элесеус попробует пикнуть! Но, опасаясь, быть может, поражения, Исаак уклончиво говорит:

— Конечно, могу, могу и сам поговорить. Но, кроме этих дел, мне ведь приходится и о многом другом думать.

— Вот как? — изумленно спрашивает Ингер.

Исаак снова уходит, правда, недалеко, в самый конец своего участка, но, во всяком случае, уходит. Он скрывает какой-то секрет, он хочет спрятаться. А дело вот в чем: он ведь привез из села и третью новость, она куда важнее всех остальных, неизмеримо важнее, он спрятал ее на опушке леса. Вот она стоит, закутанная в мешковину и бумагу, он раскутывает ее, оказывается, это большая машина. Красная с синим, чудесная, с множеством зубцов и ножей, с рукоятками, колесиками, винтами, — косилка. Разумеется, и новая лошадь не случайно приведена именно сегодня — ради косилки.

Он стоит и с невероятным напряжением припоминает с начала и до конца описание, которое ему прочитал торговец; укрепляет в одном месте стальную пружину, в другом подвигает шкворень, потом смазывает каждое колесцо, каждое отверстие, тщательно осматривает весь механизм. Никогда прежде не доводилось Исааку переживать такую минуту. Взять в руки перо

и написать на документе свою фамилию — это тоже большой риск, это тоже непросто. Все равно что подогнать множество кривых ножей у бороны для обработки целины. Или установить большую циркулярную пилу на лесопилке так, чтобы она проходила точка в точку по центру, не отклоняясь ни на запад, ни на восток, и не отскочила, чего доброго, к потолку! Но косилка — этакая махина из стальных прутьев, и крюков, и всяких приспособлений, и сотен винтов, — да швейная машина Ингер против нее сущая пустяковина!

И вот Исаак сам впрягается в косилку и пробует машину. Вот она, великая минута. Потому-то он и решил остаться один на один с машиной и сам выступить в роли лошади. Вдруг машину плохо собрали и она не станет работать, с треском развалившись на куски! Но этого не случилось, машина стала резать траву. Да и как же иначе, Исаак проторчал здесь не один час, изучая ее. Вон уже и солнце закатилось. Он снова впрягается в косилку, и снова машина режет траву. Попробовала бы не резать, этого еще не хватало!

Когда после жаркого дня на землю пала обильная роса и сыновья стали отбивать косы, готовясь к завтрашней работе, Исаак подошел к дому.

— Повесьте на сегодня косы, — сказал он. — Возьмите новую лошадь и отведите на опушку!

Исаак не пошел в избу и не стал есть, хотя все уже поужинали, а покрутился по двору и опять ушел.

— Запрягать телегу? — крикнул вдогонку Сиверт.

— Нет, — ответил отец и не останавливаясь пошел дальше.

Он был до того преисполнен тайны и гордости и выступал с такой многозначительностью, что даже как-то приседал на каждом шагу. Если он шел на смерть и погибель, то тогда он проявлял истинную храбрость, ибо в руках у него не было ничего для защиты.

Когда сыновья, придя с лошадью, увидели косилку, они так и застыли. Это была первая косилка в здешних местах, первая в селе, красная с синим, она радовала человеческий глаз. Отец, глава дома, бросил равнодушным, самым обыкновенным голосом:

— Запрягайте!

Они запрягли лошадь в косилку.

И вот косилка трогается, отец правит лошадью. Брр! — бурчит машина, срезая траву, сыновья улыбаясь бегут следом, просто так, ничего не делая. Отец останавливается и оглядывается назад.

— Ничего, но надо бы почище!

Он подвинчивает несколько винтов, чтоб опустить ножи ближе к земле, и снова трогается, проверяя, как работает косилка. Нет, ряд получается неровный, нехороший, ножи подскакивают, отец перебрасывается с сыновьями несколькими словами, Элесеус берет описание машины и читает его.

— Здесь сказано, что, когда пускаешь машину в ход, надо сесть на сиденье, тогда она устойчивее, — говорит он.

— Ну да, — говорит отец. — Я и сам знаю, — отвечает он, — я ведь все изучил.

Он садится на сиденье и едет, машина идет устойчивее. Вдруг она перестает косить, все ножи разом останавливаются. Тпру! Что такое? Отец соскакивает с сиденья, высокомерия как не бывало, перепуганный и растерянный, он склоняется над машиной. Отец и сыновья внимательно осматривают ее: что-то не так, в руках у Элесеуса описание.

— Гляди-ка, вон в траве валяется маленький болтик! — кричит Сиверт, поднимая болтик с земли.

— Как хорошо, что ты нашел его, — говорит отец, словно только этого болтика и не хватало для полного порядка. — Я как раз его и искал.

Но они никак не могут найти для него отверстие, куда, к черту, девалось отверстие для болтика?

— Вот оно! — говорит Элесеус и показывает отверстие.

Должно быть, Элесеус чувствует свое превосходство, ведь для всех очевидно, что он хорошо разбирается в книжном описании, он излишне долго ищет отверстие для болта, потом говорит:

— Судя по рисунку, болт надо вставить сюда!

— Ясное дело, сюда, — говорит отец, — здесь он и был. — И чтоб придать себе форсу, велит Сиверту поискать, нет ли в тра-

ве других болтов. — Должен быть еще один, — говорит он с таким важным видом, словно помнит их все наизусть. — Больше нет? Ну, стало быть, теперь все в порядке!

И снова собирается трогать.

— Да нет, не так! — кричит Элесеус. Он стоит, в руках у него описание с рисунком, в руках у него закон, его никак не объедешь. — Вот эта пружинка должна быть наверху.

— А? — спрашивает отец.

— У тебя она внизу, ты привинтил ее снизу. Это стальная пружинка, она должна быть наверху, а то болт опять выскочит и ножи остановятся. Вот тут на рисунке видно.

— Я не захватил очков и потому не вижу рисунка, — говорит отец значительно смиреннее. — Возьми и привинти пружину как надо. Но только сделай это как следует! Не будь так далеко, я сходил бы за очками.

Теперь все в порядке, отец опять залезает на сиденье. Элесеус кричит вслед:

— Езжай побыстрее, тогда ножи режут лучше! Тут так написано.

Исаак едет и едет, и все идет хорошо. Брр! — бурчит машина. Она оставляет за собой широкий ряд подрезанной травы, трава ложится ровно, как по ниточке, готовая к сушке и уборке. Вот его увидали из дома, и все женщины выходят к ним, Ингер несет на руках маленькую Ребекку, хотя та давно уж выучилась ходить. Вот они подходят и останавливаются тесной кучкой, четыре женщины впиваются, широко раскрыв глаза, в чудовище. О, какой сильный, какой гордый сидит Исаак на высоком сиденье, в праздничном платье, в куртке и шляпе, хотя пот льет с него ручьем. Он огибает четыре угла, объезжает большую поляну, поворачивает, возвращается обратно, косит траву, проезжает мимо женщин, а те ничего не понимают, словно с луны свалились, машина же бурчит: брр!

Но вот Исаак останавливается и слезает с косилки. Ему хочется послушать, что говорят люди, которые стоят на земле, что-то они скажут. Он слышит приглушенные возгласы, они не хотят ему мешать, эти люди не хотят ему мешать в его большом

деле, но задают друг другу робкие вопросы, и эти вопросы он слышит. Из желания ободрить их и быть для всех ласковым, отечески-заботливым главою семейства Исаак говорит:

— Ну вот, я скошу сегодня этот участок, а уж вы завтра скопните сено!

— Неужто ты даже ужинать не пойдешь? — спрашивает Ингер, совсем подавленная.

— Нет. У меня сейчас другие заботы! — отвечает он. Потом начинает смазывать машину, давая им понять, что дело это не простое, настоящая наука. И снова принимается косить траву. В конце концов женщины уходят домой.

Счастливый Исаак! Счастливые обитатели Селланро!

Он уверен, что очень скоро к нему нагрянут соседи, Аксель Стрём интересуется всеми новинками, наверно, завтра же придет. А Бреде из Брейдаблика — тот способен примчаться еще нынче ночью. Исаак не прочь объяснить им устройство косилки и показать, как ею управлять. Он скажет, что такой ровный и гладкий ряд не под силу никакой косе и никакому человеку. Но сколько стоит такая первоклассная, синяя с красным, косилка — лучше и не говорить!

Счастливый Исаак!

Когда он в третий раз останавливает машину и смазывает ее, из кармана у него выпадают очки. И хуже всего, что это происходит на глазах у ребят. Уж не вмешательство ли это высших сил, напоминание о том, чтоб он поменьше гордился. Ведь очки все время были при нем, на обратном пути домой он то и дело надевает их, пытаясь разобрать описание, но так ничего и не понял; пришлось вмешаться Элесеусу. О-ох, Господи, хорошо быть ученым! В наказание себе Исаак решает отказаться от мысли сделать из Элесеуса землепашца в здешней глуши, он больше не станет об этом и заикаться. И вовсе не из-за этой злополучной незадачи с очками; наоборот, проказник Сиверт не удержался, потянул Элесеуса за рукав и сказал:

— Ну что ж, пошли! Придем домой да сожжем свои косы, отец за нас покосит!

Шутка пришлась как нельзя более кстати.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I

Селланро уже не пустынное место, здесь живут семь человек, детей и взрослых. А за короткое время сенокоса появлялось немало и чужих, приходивших посмотреть косилку; из них первый, разумеется, Бреде, но пришел и Аксель Стрём, и соседи снизу, почти что от самого села. А с той стороны, из-за перевала, пришла Олина. Ничто ее не брало.

Олина и в этот раз явилась не без новостей, она никогда не приходила с пустыми руками: наконец-то старика Сиверта обревизовали, и после него не осталось никакого состояния! Как есть ничего!

Тут Олина поджала губы и поочередно обвела всех глазами: что такое, неужто никто в горнице не издал горестный вздох? Неужто потолок не обрушился?

Первым улыбнулся Элесеус.

— Как же так? Ведь тебя вроде бы назвали в честь дяди Сиверта? — вполголоса спрашивает он.

Сиверт-младший отвечает погромче:

— Да. Но все, что после него останется, я подарил тебе.

— Сколько там было?

— От пяти до десяти тысяч.

— Далеров? — восклицает Элесеус и задорно смотрит на Сиверта.

Олина, судя по всему, считает, что сейчас не время шутить, ее саму ведь обошли по всем статьям, но все же у гроба старика Сиверта она горевала изо всех своих слабых сил, обливаясь горючими слезами. Элесеус ведь отлично знал, что написал:

столько-то и столько-то Олине — опора и поддержка в старости. Куда же девалась опора? Сломали, как палку коленом!

Бедняжка Олина, маленькое наследство ей совсем не помешало бы, оно бы стало единственным золотым лучиком в ее жизни! Судьба не баловала ее. Да, она поднаторела в злобе, она привыкла перебиваться со дня на день разными уловками и мелким плутовством, она сильна лишь своим умением распускать сплетни и вселять страх перед своим языком! Но уже ничто не сделает ее хуже, а наследство тем паче. Всю свою жизнь она тяжко трудилась, рожала детей, обучала их тем немногим премудростям, которые сама знала, клянчила для них, может, даже и крала, но всегда заботилась о них — при всей своей бедности она была хорошей матерью. Ловкая и способная, не хуже иного политика, она работала не покладая рук ради себя и своих близких, жила, руководствуясь лишь сиюминутными интересами, и берегла свою шкуру, зарабатывая на этом — где головку сыра, где горсточку шерсти — и живя и ожидая смерти в постоянной готовности к бою. Олина... Может, старик Сиверт на какое-то мгновенье вспомнил ее такой, какой она была когда-то — молодая, красивая, румяная, но теперь она стара и безобразна, сущий портрет разрушения, ей давно пора было умереть. Где ее похоронят? У нее нет откупленного места на кладбище, скорее всего ее закопают рядом с останками чужих, незнакомых людей, там она и упокоится. Олина... Родилась и умерла. Когда-то была молода. Это ее-то наследство! Теперь, на краю могилы? Ну да, единственный золотой лучик, и руки батрачки передохнули бы хоть на минутку. Справедливость восторжествовала бы, настигнув ее своей запоздалой наградой — за то, что она клянчила для своих детей, может, даже и крала, но всегда заботилась о них. Мгновенье — и в душе ее снова воцарится тьма, искоса глядя вокруг и шаря пальцами, она спросит: «Сколько? А не больше?» И опять будет права. Много раз становилась она матерью, дав жизнь нескольким человеческим существам, это стоит большой награды.

Все лопнуло. Судя по проверке Элесеуса, в отчетных бумагах старика Сиверта не все было в порядке, но усадьба и коро-

ва, сарай и невода кое-как покрыли недостачу в кассе. И в том, что все обошлось более-менее благополучно, отчасти заслуга Олины, она была так заинтересована в том, чтобы ей хоть что-то отошло, что постаралась вспомнить о кое-каких позабытых статьях прихода и расхода, известных только ей, старой сплетнице, или же о таких, которые ревизия умышленно пропускала, не желая опорочить уважаемых односельчан. Пройдоха Олина! Она и теперь ругала почем зря не самого старика Сиверта, который, конечно же, завещал ей деньги от доброго сердца, и после него остался бы кругленький капиталец, если бы не двое молодчиков из общинного управления, объегоривших ее.

— Но когда-нибудь все это дойдет до ушей Всеведущего! — с угрозой сказала Олина.

Удивительно, она не видела ничего забавного в том, что ее упомянули в завещании, как ни говори, а ей оказали честь, в завещании не упоминался никто из ей подобных!

Обитатели Селланро приняли несчастье спокойно, отчасти они к тому же были к нему готовы. Ингер, правда, не переставала недоумевать.

— И это брат Сиверт? Который всю свою жизнь был таким богачом! — сказала она.

— Он и предстал бы правым и богатым пред Агнцем и Престолом, но его ограбили! — ответила Олина.

Исаак собрался в поле, и Олина сказала:

— Жалко, ты уходишь, Исаак, значит, я не увижу косилку. Ты ведь завел косилку, правда?

— Правда.

— Да, так и говорят. И будто косит она скорее сотни косцов. Чего ты только не заведешь, Исаак, с твоими-то средствами и золотом! Священник у нас тоже завел новый плуг о двух лемехах, но что против тебя наш священник! Так я и скажу ему прямо в глаза.

— Сиверт покажет тебе машину в работе, он управляется с ней гораздо лучше меня, — сказал Исаак и пошел.

Исаак ушел. В Брейдаблике назначен аукцион как раз в полдень, и ему надо туда попасть — пока он решил только это. Не

то чтобы Исаак все еще думал купить хутор, но аукцион — первый в их местах, и обидно пропустить его.

Подойдя к Лунному и увидев Барбру, он только кланяется и хочет пройти мимо, но Барбру заговаривает с ним и спрашивает, не вниз ли он идет.

— Да, — отвечает он и хочет идти. Ведь продается усадьба, где она провела детство, оттого он и отвечает так кратко.

— Ты на аукцион? — спрашивает она.

— На аукцион? Нет, просто так иду. А где Аксель?

— Аксель-то? Не знаю, право. Пошел на аукцион. Наверное, и он хочет заполучить что-нибудь по дешевке.

Какая толстая стала Барбру и какая заноза — прямо ужас!

Аукцион уже начался, он слышит выкрики ленсмана и видит много народу. Подойдя ближе, он узнает не всех, есть здесь и чужие, но Бреде щеголяет при полном параде, он оживлен и болтлив.

— Здравствуй, Исаак! Гляди-ка, ты тоже оказал мне честь и уважение, пожаловал на мой аукцион? Спасибо тебе. Мы много лет были соседями и добрыми друзьями и никогда не слыхали друг от друга худого слова! — Бреде умиляется. — Чудно подумать, что приходится покидать насиженное место — столько лет жил здесь и душой прикипел, — но что поделаешь, коли так складывается.

— Может, оно и к лучшему обернется, — утешает его Исаак.

— Да, знаешь, — подхватывает Бреде, — я и сам так думаю. Я не жалею, ну вот ни капли. Выгоды я тут никакой не имел, но, наверно, все обернется к лучшему, дети растут и вылетают из гнезда... жена, правда, скоро принесет еще одного, ну да все равно!

И вдруг Бреде ни с того ни с сего говорит:

— Я отказался от телеграфа.

— Что-что? — спрашивает Исаак.

— Я отказался от телеграфа.

— Отказался от телеграфа?

— С Нового года. На что он мне! А если я поступлю на должность и буду разъезжать с ленсманом или доктором, неужто те-

леграфу идти у меня на первом месте? Нет, так нельзя! Это хорошо для тех, у кого много времени; а Бреде не станет бегать из-за какой-то телеграфной линии по горам и долам за пустячную плату, а то и вовсе задаром! Вдобавок я не поладил с управлением, опять оно пристает ко мне.

Ленсман продолжает выкликать цены на хутор, дошло уже до нескольких сот крон, каких и стоит, по общему мнению, участок, поэтому надбавки делают всего по пяти — десяти крон.

— Кажется, это Аксель набавил! — внезапно говорит Бреде и, загоревшись любопытством, бежит к нему. — Ты хочешь купить мой участок? Разве тебе своего мало?

— Я покупаю не для себя, — уклончиво отвечает Аксель.

— Ну-ну, мне-то ведь все равно, я не к тому спросил.

Ленсман поднимает молоток, новая надбавка, сто крон сразу, никто не предлагает больше, ленсман несколько раз повторяет цену, ждет с минуту, держит молоток на весу, потом ударяет.

— За кем цена?

— Аксель Стрём. Не для себя...

Ленсман заносит в протокол: «Аксель Стрём, по поручению».

— Для кого же ты покупаешь? — спрашивает Бреде. — Меня это не касается, а все-таки...

Но тут сидящие за столом ленсмана господа склоняют друг к другу головы, среди них представитель банка, торговец со своим приказчиком, что-то произошло, кредиторы не покрыли своих расходов. Призывают Бреде, и Бреде, легкомысленный и беспечный, только кивает, что согласен.

— Но кто бы поверил, что за усадьбу больше не дадут! — говорит он. И вдруг возвещает во всеуслышание: — Раз уж у нас тут аукцион и я все равно обеспокоил ленсмана, так заодно я продаю все, что у меня еще осталось: телегу, скотину, вилы, точильный камень, мне они больше не понадобятся, распродаюсь в пух и прах!

Мелкие предложения. Жена Бреде, такая же легкомысленная и беспечная, хотя и с огромным животом, тем временем вздумала продавать за столиком кофе; ей нравится разыгрывать из себя торговку, она улыбается и, когда Бреде подходит к ней за чашкой кофе,

шутки ради требует плату и с него. А Бреде и в самом деле вытаскивает из кармана засаленный кошелек и платит.

— Посмотрите-ка на мою супружницу, — обращается он к присутствующим. — Эта не пропадет!

Телега стоит недорого, она слишком долго стояла под открытым небом, но Аксель Стрём под конец набавляет целых пять крон, и телега тоже остается за ним. Больше Аксель ничего не покупает, но все и без того удивляются, как это такой осторожный человек столько всего накупил.

Теперь настала очередь скотины. Сегодня ее не выпускали на пастбище, и зачем Бреде скотина, раз у него нет земли! Коров Бреде не держал. Он начал свое хозяйство с двумя козами, сейчас их у него четыре. Да еще шесть овец. Лошади тоже нет.

Исаак купил хорошо всем известную лопоухую овцу. Когда дети Бреде вывели эту овцу из хлева, Исаак сейчас же стал набавлять на нее цену. Это возбудило внимание, ведь Исаак из Селланро был человек богатый и уважаемый, да и овец ему как будто не требовалось. Жена Бреде приостановила на минуту свою кофейную торговлю и говорит:

— Да, эту овцу стоит купить, Исаак, она старая, но каждый Божий год приносит по два, а то и по три ягненка.

— Знаю, — ответил Исаак и посмотрел на нее, — овца эта мне знакома.

На обратном пути он идет с Акселем Стрёмом, ведя свою овцу на привязи. Аксель неразговорчив, его словно что-то грызет. «У него нет особых причин унывать, — думает, должно быть, Исаак, — зеленя у него хорошие, корма он почти все свез и начал ставить избу. Все у Акселя Стрёма идет своим чередом, не торопко, но верно. Теперь есть и лошадь».

— Ты купил участок Бреде, — сказал Исаак, — будешь его обрабатывать?

— Нет, не буду. Я купил не для себя.

— Угу.

— Как по-твоему, не очень дорого я дал?

— Нет. Там хорошее болото, если им как следует заняться и осушить.

— Я купил его для одного из своих братьев, который живет в Хельгеланне.

— Угу.

— А теперь вот думаю, не поменяться ли мне с ним.

— Поменяться с ним?

— Может, Барбру там будет повеселее.

— Разве что так, — сказал Исаак.

Довольно долго они идут молча. Потом Аксель говорит:

— Ко мне все пристают с телеграфом.

— С телеграфом? Ну-ну. Я и впрямь слыхал, что Бреде от него отказался.

— Ну-ну, — с улыбкой отвечает Аксель, — не совсем так, не Бреде отказался, а ему отказали.

— Эва, — говорит Исаак и про себя оправдывает Бреде, — на телеграф много уходит времени.

— Его оставили только до Нового года, с тем чтоб он исправился.

— Угу.

— Как думаешь, не брать мне это место?

Исаак долго думал, потом ответил:

— Платят-то, поди, негусто, а?

— Обещали прибавить.

— Сколько?

— Вдвое.

— Вдвое? Ну, тогда, по-моему, стоит подумать.

— Но они его немножко удлинили. Просто не знаю, как быть. У меня ведь меньше продажного леса, чем было у тебя, а нужно прикупить кое-что на обзаведенье, а то у меня почти ничего нет. Деньги и наличные требуются постоянно, а скота не так уж и много, чтоб хватало на продажу. Выходит, что для начала надо попытать с годик на телеграфе...

Ни одному из них не пришло в голову, что Бреде может исправиться и место останется за ним.

Когда они добираются до Лунного, оказывается, что и Олина тоже там. Олина — она удивительная, круглая и жирная, ползает, словно червяк, и перевалило-то ей уже за семьдесят, но куда

ей нужно, туда она всегда доберется. Она сидит в землянке и пьет кофе, но, завидя мужчин, бросает все и выходит на двор.

— Здравствуй, Аксель, добро пожаловать с аукциона! Ты ведь не сердишься, что я заглянула к вам с Барбру? Все трудишься, избу строишь и богатеешь! Что это, ты купил овцу, Исаак?

— Да, — отвечает Исаак, — узнаешь ее?

— Узнаю ли? Нет...

— Видишь, она ведь лопоухая.

— Лопоухая — как это? Ну так что ж? Что это я хотела спросить. Так кому ж достался участок Бреде? Я как раз говорила Барбру: кто-то, говорю, будет теперь твоим соседом? А бедняжка Барбру только плачет, и не удивительно; но всемогущий Господь послал ей другой дом в Лунном! Лопоухая, говоришь? За свою жизнь я навидалась лопоухих овец. А уж правду сказать, Исаак, эта твоя машина не для моих старых глаз. Сколько она стоит, я даже и спрашивать не хочу, все равно не сосчитать. Если б ты ее видел, Аксель, ты бы понял, о чем я толкую, ведь это все равно что огненная колесница Ильи-пророка, прости Господи мои прегрешенья...

По окончании уборки сена Элесеус стал собираться обратно в город. Он написал инженеру, что едет, но получил примечательный ответ, что времена пошли трудные, приходится экономить, инженер вынужден упразднить его должность и быть сам своим секретарем.

Вот так черт! Но, собственно говоря, зачем окружному инженеру конторщик? Когда он брал мальчика Элесеуса из дому, он, должно быть, хотел разыграть из себя в этой глуши большую персону, и если кормил и одевал его до конфирмации, так и получал за это помощь по части писарских работ. Теперь мальчик вырос, это все изменило.

«Но, — писал инженер, — если ты приедешь, я постараюсь устроить тебя в другую контору, хотя, пожалуй, это будет и нелегко, здесь полно молодых людей, которые ищут работы. Будь здоров».

Разумеется, Элесеусу хотелось вернуться в город, какие могут быть сомнения? Неужто ему губить себя? Ведь он хотел

выбиться в люди! И Элесеус ничего не сказал домашним об изменившемся положении, зачем, а кроме того, на него напала какая-то вялость, он и промолчал. Жизнь в Селланро оказывала на него свое действие, немудреная и серенькая, но спокойная и усыпляющая, она развивала мечтательность, не за кем было тянуться, незачем рисоваться. Жизнь в городе как бы расколола его надвое и сделала чувствительнее других и слабее, в сущности, он теперь всюду чувствовал себя чужим. Что ему опять начал нравиться запах пижмы — это еще куда ни шло! Но уж никакого смысла не было для крестьянского парня слушать по вечерам, как мать и девушки доят коров и коз, и впадать в такие вот мысли: они доят, слушай хорошенько, ведь это прямо удивительно, каждая отдельная струйка, словно песенка, не похожая ни на духовую музыку в городе, ни на оркестр Армии спасения, ни на пароходный свисток. Струится песенка в подойник...

В Селланро не очень-то привыкли показывать свои чувства, и Элесеус побаивался момента разлуки. Снаряженье у него теперь было хорошее, ему опять дали новой тканины на белье, и отец, выходя из дому во двор, даже передал ему немного денег. Деньги — неужели Исаак в самом деле способен расстаться с деньгами? А как же иначе, ведь Ингер заверила его, что это в последний раз, Элесеус вскорости наверняка пойдет в гору и выбьется на дорогу сам.

— Ну ладно, — сказал Исаак.

Настроение у всех сделалось торжественным, дом притих, на последний ужин всем дали по яйцу всмятку, и Сиверт уже стоял во дворе, готовый проводить брата и нести его вещи. Можно было начинать прощаться.

Элесеус начал с Леопольдины. Она ответила, сказав «прощай», и вела себя отлично. И работница Йенсина, чесавшая шерсть, ответила «прощай», но обе смотрели на него во все глаза, должно быть, потому, что веки у него были что-то краснова-ты. Он протянул руку матери, и она, разумеется, громко заплакала, пренебрегая тем, что он ненавидел слезы.

— Дай тебе Бог всего хорошего! — всхлипнула она.

С отцом вышло всего хуже, это уж точно, и по многим причинам: постаревший, бесконечно заботливый, он носил детей

на руках, рассказывал о чайках и всяких других птицах и зверях, о разных чудесах на земле, и все это было совсем недавно, всего несколько лет назад... Отец стоит у окошка, потом вдруг круто поворачивается, хватает сына за руку и говорит быстро и сердито:

— Ну, прощай! А то вон, гляди, новая лошадь отвязалась! — и, отвернувшись, выбегает из комнаты.

Да ведь это он сам только перед тем отвязал новую лошадь, и проказник Сиверт это отлично понял, потому что посмотрел вслед отцу и улыбнулся. Да к тому же новая лошадь ходила по отаве.

Но вот Элесеус готов.

Мать вышла за ним на крыльцо, опять всхлипнула и сказала:

— Господь с тобой! — и передала ему что-то. — Вот, возьми и не благодари его, он не хочет. Да непременно пиши почаще.

Двести крон.

Элесеус посмотрел вниз на откос: отец изо всех сил старался вбить в землю прикол для привязи и что-то у него никак это не получалось, хотя вбивал он его в мягкий луг.

Братья вышли в поле, дошли до Лунного, Барбру стояла на крыльце и пригласила их зайти:

— Что это, ты уж уезжаешь, Элесеус? Ну, так зайди и выпей хоть чашку кофе!

Они заходят в землянку, и Элесеус уже не так сильно терзается любовью и не собирается выпрыгнуть из окна и принять яду, нет, он кладет свое светлое летнее пальто на колени, стараясь, чтоб шелковая подкладка была на виду, потом приглаживает волосы носовым платком и, наконец, говорит совсем уж по-благородному:

— Ну и погода стоит, прямо классическая!

Барбру тоже не остается в долгу, она играет серебряным кольцом на одной руке и золотым на другой — да, она таки получила золотое кольцо, — и на ней передник, длинный-длинный, до самого пола, от шеи и до ног, так что кажется, будто это не она такая толстая, а кто-то другой. А когда кофе сварился и гости стали пить, она сначала принялась шить белый платочек,

потом немного повязала крючком воротничок и занялась еще каким-то дамским рукодельем. Барбру ничуть не взволнована визитом, вот и хорошо, голос у него совсем естественный. Элесеус может опять пофорсить.

— Куда ты девала Акселя? — спрашивает Сиверт.

— Где-нибудь ходит, — отвечает она и выпрямляется. — Ну, верно, ты уж никогда больше не приедешь в деревню? — спрашивает она Элесеуса.

— Это в высшей степени неправдоподобно, — отвечает он.

— Здесь не место для человека, привыкшего к городу. Хотела бы я уехать с тобой.

— Ты ведь не всерьез?

— Не всерьез? Я попробовала, каково жить в городе и каково жить в деревне, а жила я не в таком городе, как ты, — куда побольше. Как же мне здесь не скучать?

— Я не то хотел сказать, ты ведь жила в самом Бергене! — поспешно говорит Элесеус, очень уж она раздражена.

— Я-то знаю, не будь у меня газеты, я бы уж давно сбежала отсюда, — сказала она.

— А как же Аксель и все прочее? Вот что я имел в виду.

— Ну, насчет Акселя это не мое дело. Тебя-то самого, скажешь, никто не ждет в городе?

Тут уж Элесеусу в самый раз порисоваться немножко; он закрыл глаза и причмокнул, намекая, что, может, в городе его и впрямь кое-кто ждет. О, не будь здесь Сиверта, он использовал бы этот случай совсем по-другому, а теперь ничего не оставалось, как только ответить:

— Что ты болтаешь!

— Ах! — обиженно сказала она и продолжала противным сварливым голосом. — Болтаю, — сказала она. — Да, от нас, в Лунном, иного и ждать нечего, мы люди маленькие.

Элесеуса, впрочем, это ничуть не тронуло, она сильно подурнела лицом, и ее беременность стала наконец заметна даже и для его детских глаз.

— Поиграй нам немножко на гитаре, — попросил он.

— Нет, — отрезала она. — Что я тебе хотела сказать, Сиверт: не придешь ли ты на несколько дней помочь Акселю ставить

новую избу? Может, прямо завтра, когда будешь возвращаться из села?

Сиверт подумал.

— Ладно. Только у меня нет одежи.

— Я сбегаю нынче вечером за твоей рабочей одежей, так что к твоему приходу она здесь будет.

— Ну что ж, — сказал Сиверт, — разве что так.

Барбру необычайно оживилась:

— Вот хорошо бы! А то лето проходит, а избу надо бы покрыть до осенней непогоды. Аксель много раз собирался попросить тебя, да все случая не было. Нет, правда, хорошо бы ты сделал нам такое доброе дело!

— В чем смогу помочь — помогу, — сказал Сиверт.

На том и порешили.

Но тут, по совести, настала очередь Элесеуса обидеться. Он, конечно, понимает: Барбру молодец, что так заботится о себе и Акселе и старается найти помощника для стройки, но уж больно она идет напролом — ведь она здесь еще не хозяйка и не век же тому назад он сам целовал ее, эту самую Барбру. Совсем она бесстыжая, что ли?

— Да, — вдруг говорит он, — я еще приеду к тебе на крестины.

Она метнула на него быстрый взгляд и с досадой ответила:

— На крестины? А еще говоришь, что я болтаю. Впрочем, когда мне понадобится крестный отец, я пошлю за тобой.

Что оставалось Элесеусу, как не улыбнуться смущенно; больше всего ему хотелось в этот момент поскорей убраться из землянки!

— Спасибо за кофе! — сказал Сиверт.

— Да, спасибо за кофе! — повторил Элесеус, но не встал и не поклонился — как же, очень нужно, злючка она, дрянь!

— Покажи-ка! — сказала Барбру. — У тех конторщиков, у кого я жила, тоже были серебряные пластинки на пальто, только побольше, — сказала она. — Ну, так, значит, ты придешь нынче, Сиверт, и переночуешь у нас? Я принесу твою одежу.

На этом и распрощались.

Братья ушли. Элесеус, стало быть, о ней не сожалел, к тому же у него в кармане были две крупных купюры! Братья стара-

лись не затрагивать грустных тем, ни странного прощанья отца, ни слез матери; они обошли Брейдаблик стороной, чтоб их там не задержали, и весело пошутили над этим плутовством. Но когда впереди завиднелось село и Сиверту надо было поворачивать назад, оба слегка приуныли. Сиверт даже сказал:

— А ведь, пожалуй, без тебя будет скучновато!

Элесеус принялся свистеть, и пристально рассматривать свои сапоги, и вытаскивать занозу из пальца, и искать что-то по карманам.

— Бумаги, — сказал он, — куда запропастились мои бумаги?

Но все равно ничего бы из этого не вышло, если б их обоих не выручил Сиверт.

— Счастливо! — крикнул он и, дав брату тумака, помчался прочь. Это помогло, они издали обменялись прощальными словами и зашагали каждый своей дорогой.

Судьба или случай. Элесеус возвращался в город на должность, которой у него уже не было, и тот же особый случай помог Акселю Стрёму заполучить помощника. Они начали ставить избу двадцать первого августа, а через десять дней она была уже и покрыта. Изба-то, правда, получилась небольшая и не больно высокая; только и радости что деревянная, а не земляная, но вот для скотины на зиму выйдет великолепный хлев из того помещения, где до сих пор жили люди.

II

Третьего сентября Барбру исчезла. Совсем-то она не ушла, но ни дома, ни на дворе ее не было.

Аксель прилежно плотничал, стараясь приладить окно и дверь к новой избе, ему было ни до чего; но когда подошло время полудничать, а его никто не позвал к столу, он пошел в землянку. Никого. Он приготовил себе поесть, и пока ел, обратил внимание, что все платья Барбру висят на месте, стало быть, она просто куда-то вышла. Он вернулся к избе и еще некоторое время работал, потом опять заглянул в землянку — нет, никого.

Должно быть, она где-нибудь прилегла отдохнуть. Он отправился на поиски.

— Барбру! — зовет он. Нету. Он ищет кругом построек, обходит кусты по краю участка, ищет долго, пожалуй, с час, зовет — никого. Он находит ее очень далеко, она лежит на земле, скрытая кустами, у ног ее бежит ручей, она простоволосая и босая, к тому же вся спина у нее мокрешенька.

— Чего ты здесь лежишь? — говорит он. — Отчего не откликалась?

— Я не могла, — шепчет она, почти неслышно от хрипоты.

— Что это — ты упала в воду?

— Да. Я поскользнулась. О-ох!

— Тебе нехорошо?

— Да. Все уж позади.

— Позади? — спрашивает он.

— Да. Помоги мне добраться домой.

— А где же?..

— Что?

— А ребенка разве нет?

— Нет. Он был мертвый.

— Мертвый?

— Да.

Аксель медлителен и туго соображает, он стоит не двигаясь.

— Где он?

— Тебе незачем знать, — отвечает она. — Проводи меня домой. Он был мертвый. Я дойду сама, если ты поддержишь меня под руку.

Аксель несет ее домой и сажает на стул. Вода струится с нее.

— Он был мертвый? — спрашивает Аксель.

— Ты же слышал, — отвечает она.

— Куда ты его девала?

— Тебе обязательно надо его понюхать? Ты нашел чего поесть, пока меня не было?

— А зачем ты пошла к ручью?

— Зачем я пошла к ручью? Искала можжевельника.

— Можжевельника?

— Для посуды.

— Там нет можжевельника, — говорит он.

— Ступай работать! — сипло и раздраженно обрывает она. — Зачем я пошла к ручью? Ветки мне нужны были, чистить кастрюли. Я тебя спрашиваю, ты поел?

— Поел? — повторяет он. — Тебе очень плохо?

— Нет.

— По-моему, надо позвать доктора.

— Попробуй только! — отвечает она, встает и начинает искать сухое платье, чтобы переодеться. — Тебе больше не на что швырять деньги?

Аксель возвращается к работе, дело подвигается медленно, но он все-таки понемножку поколачивает и постругивает, чтоб она слышала; в конце концов он прилаживает раму, проконопатив ее мхом.

Вечером Барбру не садится ужинать, а хлопочет по хозяйству, доит коз и корову и только осторожнее обычного переступает через порог. Легла она, как всегда, на сеновале, и в те два раза, что Аксель ночью заходил ее проведать, спала крепко. Ночь она провела спокойно.

На следующее утро она была почти такая же, как всегда, только охрипла до того, что не могла произнести ни слова, и обвязала шею длинным чулком. Они не разговаривали. Дни проходили, происшествие стало забываться, другие события выдвинулись на передний план. Новой избе, собственно, полагалось выстояться и просохнуть, да только прежде ее следовало проконопатить, чтоб не дуло и не протекало, но времени на это взять негде, надо сейчас же перебираться в нее и хлев привести в порядок. Когда с этим покончили и переселение состоялось, подоспела картошка, а там и за ячмень пора браться. Жизнь шла своим чередом.

Но по многим мелким и крупным признакам Аксель понимал, что положение изменилось, Барбру чувствовала себя в Лунном такой же чужой, как и всякая другая работница, ничем с ним не связанная, его власть над ней порвалась со смертью ребенка. Он-то так надеялся, что с рождением ребенка все изме-

нится! Но ребенок родился и умер. В какой-то из дней Барбру даже сняла кольца с руки и вовсе перестала их носить.

— Что это значит? — спросил он.

— Что значит? — ответила она и тряхнула головой.

Но ничего хорошего это не могло означать, разве что коварство и измену с ее стороны.

Он все же отыскал маленький трупик у ручья. Не потому, что очень уж усердно искал, он и так чуть не в точности знал, где это место, но не трогал его. Случаю было угодно, чтоб он не совсем уж напрочь выбросил его из головы, и вот на том месте стали собираться птицы, шумели сороки, каркали вороны, а немного погодя в головокружительной вышине появилась и пара орлов. Как будто сначала одна сорока увидела, как внизу что-то положили, и не хуже человека подняла крик, не в силах удержать про себя этой новости. Тогда и Аксель очнулся от своего равнодушия и только ждал удобного часа, чтоб прокрасться туда. Он нашел тельце, заваленное мхом и ветками, прижатыми двумя камнями: узел, завернутый в большую тряпку. С любопытством и страхом отогнул он материю; глаза закрыты, темные волосы, мальчик, ножки накрест — вот и все, что он увидел. Узел был мокрый, но уже начал просыхать и видом походил на скомканное после стирки белье.

Аксель не мог оставить его вот так, сверху. В глубине души он, должно быть, побаивался за себя и за свою землю; он побежал домой за лопатой и выкопал ямку поглубже, но так как ручей был совсем рядом, в ямку просачивалась вода, пришлось перенести могилку повыше на пригорок. Во время работы страх, что Барбру придет и застанет его, исчез, наоборот, он не на шутку разозлился: пусть приходит, он заставит ее хорошенько завернуть и запеленать ребеночка, все равно, мертворожденный он или нет! Он отлично понимал, что потерял со смертью этого ребенка: ему грозит снова остаться на хуторе без помощницы, и это теперь-то, когда скотины прибавилось больше чем втрое. Сделайте одолжение, очень даже хорошо, если она придет! Но Барбру, наверно, догадалась, чем он занят, во всяком случае, она не появилась, и ему пришлось самому завернуть тельце и поло-

жить его в новую могилку. Сверху он заложил ямку дерном и тщательно убрал все следы, так что ничего не было заметно, кроме маленькой зеленой кочки средь кустов.

Вернувшись домой, он встретил на дворе Барбру.

— Где ты был? — спросила она.

Ожесточение его, видно, уже прошло, он ответил только:

— Нигде. А ты сама где была?

Но Барбру, похоже, уловила какое-то особенное выражение на его лице и, не сказав больше ни слова, скрылась в доме.

Он пошел за нею.

— Отчего это... — начал он и спросил напрямик: — Отчего ты перестала носить свои кольца? Что это значит?

Вероятно, она сочла за благо пойти на маленькую уступку, потому что улыбнулась и ответила:

— Ты такой сердитый, что прямо смешно! Но если тебе хочется, чтобы я снашивала кольца по будням, изволь! — С этими словами она достала кольца и надела на пальцы.

Но при виде глупого довольного выражения на его лице, она дерзко спросила:

— Ты еще чем-нибудь недоволен?

— Ничем я не недоволен, — ответил он. — Будь только такая, какой была раньше, все то время, как пришла. Только это я и хотел сказать.

— Не так-то легко постоянно быть одной и той же.

Он продолжал:

— Когда я покупал участок твоего отца, я думал, ты захочешь жить там: мы могли бы туда переехать. Что ты скажешь?

Ха, тут он проиграл; так и есть — боится потерять помощницу и остаться один на один со скотиной и хозяйством, она отлично это поняла.

— Да, ты уже говорил об этом, — холодно ответила она.

— Но не получил ответа.

— Ответа? — сказала она. — Слушать больше об этом не желаю!

Акселю казалось, что он и так сделал куда как много: разрешил семье Бреде жить в Брейдаблике и, хотя купил вместе с

участком и весь урожай, свез к себе лишь несколько возов сена, а картошку и вовсе всю оставил семье. И хватает же у Барбру совести сердиться! Но ей все нипочем, точно глубоко оскорбленная, она спросила:

— Нам переехать в Брейдаблик, чтобы вся моя семья очутилась на улице?

Не ослышался ли он? Он сидел, открыв рот, потом пробормотал что-то, словно готовясь к пространному ответу, но так ничего и не сказал.

— Разве они не переедут в село? — спросил он.

— Не знаю, — ответила она. — Может, ты им квартиру в селе нанял?

Акселю покуда не хотелось с ней препираться, но не мог он и смолчать, вот и сказал, что она удивляет его, немножко удивляет:

— Ты становишься все злее и сварливее, но ты ведь не всерьез говоришь.

— Что я говорю, я говорю всерьез, — ответила она. — И почему это мои родные не могли переехать сюда, скажи пожалуйста? По крайней мере мать помогала бы мне хоть сколько-нибудь. Но, по-твоему, у меня вовсе не так уж и много работы, чтоб мне нужна была помощница.

В этом, разумеется, была доля правды, но много было и несообразности; ведь семье Бреде пришлось бы жить в землянке, и куда бы тогда Аксель девал скотину? Куда она клонит, неужто совсем ума-разума лишилась?

— Вот что я скажу тебе, — промолвил он, — возьми лучше в помощь работницу.

— Это на зиму-то глядя, когда и без того дел меньше? Нет. Работницу надо было брать, когда в ней была нужда!

Опять она была отчасти права: когда она была беременна и больна, нужно было взять работницу. Но ведь Барбру никогда не мешкала на работе, все время оставалась такой же работящей и проворной, делала все, что нужно, и ни разу не обмолвилась насчет работницы. Но ей нужна была помощь.

— Ничего я не понимаю, — уныло сказал он.

Молчание.

Барбру спросила:

— Я слышала, ты поступишь на телеграф после отца?

— Как? Кто тебе сказал?

— Говорят.

— Да, — сказал Аксель, — может, и поступлю.

— Вот как.

— Почему ты спрашиваешь?

— Потому, — ответила Барбру, — что ты отнял у моего отца дом, а теперь отнимаешь и хлеб.

Молчание.

Но тут уж Аксель не захотел больше уступать.

— Одно я тебе скажу, — воскликнул он, — не стоишь ты всего того, что я делаю для тебя и для твоих родных!

— Ну-ну, — сказала Барбру.

— Да, не стоишь! — крикнул он и хватил кулаком по столу. Потом встал.

— Не воображай, пожалуйста, что тебе удастся запугать меня! — завизжала она и подвинулась ближе к стене.

— Тебя запугаешь! — Он презрительно засопел. — Ну, а теперь я всерьез хочу знать, что ты сделала с ребенком. Ты его утопила?

— Утопила?

— Да. Он был весь мокрый.

— А, так ты его видел? — вскричала она. — Ты ходил... — Она чуть не сказала «понюхать», но не посмела, не такой у него был вид, чтоб с ним можно было сейчас шутить. — Ты ходил смотреть?

— Я видел, что он побывал в воде.

— Да, — сказала она, — как же тебе не видеть. Он родился в воде, я не могла встать, я поскользнулась.

— Поскользнулась, значит.

— Да. И в ту же минуту ребенок родился.

— Так, — сказал он. — Но ты захватила из дому узел. Должно быть, на случай, что поскользнешься?

— Узел? — повторила она.

— Большую белую тряпку, ты разрезала одну из моих рубах.

— Да, — сказала Барбру, — тряпку я с собой взяла, чтоб завязать в нее можжевельник.

— Можжевельник?

— Ну да, можжевельник. Разве я тебе не говорила, что пошла за можжевельником?

— Как же. За вениками.

— Ну да, какая разница...

Но даже и после такой крупной стычки отношения между ними опять наладились, то есть не совсем наладились, а стали сносными, Барбру вела себя разумнее и покладистее, она чуяла опасность. Но жизнь при этом стала в Лунном еще более натянутой и мучительной, ни доверия, ни радости, постоянная настороженность. Жизнь тянулась день за днем, но пока она еще в общем кое-как тянулась, Аксель был доволен. Он взял к себе эту девушку, она была ему нужна, он любил ее и связал с нею свою жизнь, а переделать и себя и жизнь дело нелегкое. Барбру знала все, что касалось его хозяйства: где стоят чашки и котлы, когда понесут козы и коровы, много ли запасено кормов на зиму или в обрез, вот это молоко на сыр, а это — на еду; разве справиться со всем этим чужому человеку, да чужого, пожалуй, еще и не сыскать.

И все же Аксель Стрём не раз подумывал заменить Барбру другой работницей, временами она становилась настоящей ведьмой, и он почти боялся ее. Даже в ту пору, когда он имел несчастье быть с ней счастливым, его зачастую отпугивала ее необычайная жестокость и грубость, но она была красива, случались у нее и ласковые минуты, и тогда она горячо прижимала его к своей груди. Так было раньше, теперь все прошло. Нет, спасибо, она не желает снова попасть в такую же историю! Но переделать себя и жизнь нелегко, ох как нелегко.

— Давай повенчаемся прямо сейчас! — настаивал Аксель.

— Сейчас? — отвечала она. — Нет, сначала я съезжу в город полечить зубы, а то скоро все вывалятся.

Итак, хочешь не хочешь, все оставалось по-старому; Барбру теперь даже не получала жалованья, но имела гораздо больше

прежнего, и каждый раз, когда просила денег и он давал их, она рассыпалась в благодарности, словно за подарок. Впрочем, Акселю непонятно было, на что она может тратить деньги, да и зачем ей деньги в глуши? Копит она их, что ли? Но почему, почему она только и делает, что копит их круглый год?

Акселю непонятно было многое: разве не подарил он ей обручальное кольцо, а вдобавок еще и золотое? После этого последнего крупного подарка между ними и правда надолго установились хорошие отношения, но на веки вечные его не хватило, — куда там! — не покупать же ему постоянно для нее кольца. Словом, нужен он Барбру или нет? Чудные они, эти бабы! Можно подумать, что ее где-то дожидается готовенький муж со скотиной и полным обзаведеньем! С досады на бабьи глупости и капризы Аксель иной раз мог и кулаком по столу стукнуть.

Странное дело, Барбру, похоже, только и думала, что о городской жизни да о Бергене. Ладно. Но зачем же, скажите на милость, было ей приезжать сюда, на север? Телеграмма от отца сама по себе ни за что не сдвинула бы ее с места, наверняка у нее была какая-то другая причина. А теперь вот ходит недовольная с утра до вечера, год за годом. И все ей не так, и котлы-то деревянные, а не жестяные или медные, и горшки-то вместо кастрюль, и вечная дойка вместо прогулок на молочную ферму, и мужичьи сапоги, и серое мыло, и мешок с сеном в изголовье, и ни духового оркестра, ни людей. Разве это жизнь...

После той крупной стычки они ссорились часто, очень часто.

— Долго молчали, да звонко заговорили! — кричала Барбру. — Забыл уже, как обошелся с моим отцом!

Аксель спросил:

— А что я такое сделал?

— Сам знаешь, — отвечала она. — Впрочем, тебе все равно не быть смотрителем.

— Да ну?

— Не поверю, пока не увижу.

— По-твоему, у меня на это ума не хватит?

— Ума-то, может, и хватит, но ведь ты ни читать, ни писать не умеешь, да и газеты в руки никогда не возьмешь.

— Я умею читать и писать для своих надобностей, — сказал он, — а ты просто халда!

— Вот тебе для начала! — крикнула она и швырнула на стол серебряное кольцо.

— Так-так, а другое? — спросил он, выждав с минуту.

— Ну что ж, если ты решил отобрать у меня свои кольца, можешь получить, — сказала она и стала стаскивать с пальца золотое кольцо.

— Не желаю с тобой разговаривать, злюка ты этакая! — заявил он и ушел.

Разумеется, немного времени спустя она опять надела оба кольца.

Дошло до того, что ее уже не утихомиривали даже его подозрения относительно смерти ребенка. Наоборот, она выказывала все больше презрения и высокомерия. Она не то чтобы прямо сознавалась, а говорила:

— Ну и что? Если б я даже и задушила его? Ты живешь здесь, в глуши, и знать не знаешь, что творится в других местах.

Однажды, когда они опять обсуждали этот вопрос, она, видно, решила заставить его перестать относиться к этому чересчур серьезно, что до нее, так она придает детоубийству не больше значения, чем оно того заслуживает. Она знала в Бергене двух девушек, которые убили своих детей; одна угодила на несколько месяцев в тюрьму, потому что по глупости не убила ребенка, а оставила на улице, где он и замерз, другую же оправдали.

— Да, закон теперь вовсе не так бесчеловечно строг, как раньше, — сказала Барбру. — Вдобавок это и не всегда выплывает наружу. Одна девушка, она служила в бергенской гостинице, убила двоих детей, она была из Христиании, ходила в шляпке, да еще с перьями. За последнего ребенка ее посадили на три месяца, а про первого так ничего и не открылось, — рассказывала Барбру.

Аксель слушал и все больше и больше боялся ее. Он пытался понять, хоть немножко разобраться в этой тьме, но, в сущности, она была права: он принимает все чересчур серьезно. Не заслуживает она серьезной мысли с эдакой своей житейской

испорченностью. Ведь детоубийство для нее не было ни заранее обдуманным деянием, ни чем-то из ряда вон выходящим, то было всего лишь проявление моральной нечистоплотности и распущенности, да и чего иного можно ожидать от прислуги? Это и подтвердилось в последующие дни: ни минуты раздумий, ровная и естественная, как прежде, она, как и прежде, погрязла в пустопорожней болтовне: прислуга она и есть прислуга.

— Надо бы мне съездить полечить зубы, — сказала она както. — И мне непременно нужно купить сак, — сказала она.

Сак, короткое пальто чуть пониже талии, был в моде несколько лет назад; Барбру желала иметь сак.

Если уж она принимала все с таким хладнокровием, что другого оставалось Акселю, как тоже не успокоиться? Впрочем, бывало, он переставал подозревать ее, да и сама она никогда ни в чем не сознавалась, напротив, каждый раз отрицала всякую вину, без гнева, без упрямства, но с дьявольским самообладанием — так прислуга, разбив на глазах у всех тарелку, напрочь отрицает это. Прошла неделя-другая, и Аксель все-таки не выдержал. Однажды он внезапно остановился посреди комнаты, и его точно осенило: Господи Боже, да ведь все видели ее положение, видели, что она беременна, вот-вот родит, а теперь она опять похудела — и где же ребенок? А если его станут искать? Когда-нибудь спросят же объяснение! Ведь если ничего худого не было, куда как правильнее было бы похоронить ребенка на кладбище. И не лежал бы он в кустах, не лежал бы в Лунном...

— Нет. Тогда бы я уж точно попала в переплет, — сказала Барбру. — Ребенка бы отрыли, а мне бы учинили допрос. Ни к чему мне все это.

— Только бы потом не вышло хуже, — сказал он.

Барбру благодушно спросила:

— И чего тебе неймется? Пусть себе лежит в кустах! — Улыбнулась и прибавила: — Уж не боишься ли ты, что он придет за тобой? Лучше помалкивай обо всем этом.

— Ну что ты!

— Не утопила же я ребенка? Да он сам захлебнулся в воде, когда я упала. Просто удивительно, чего только ты не выдумаешь! И не узнается это никогда, — сказала она.

— Насчет Ингер из Селланро, говорят, узналось же, — возразил Аксель.

Барбру подумала.

— Мне все равно! — сказала она. — Закон нынче изменился, если бы ты читал газеты, то сам бы увидел. Вон сколько женщин родят детей и избавляются от них, и ничего-то им за это не бывает.

Барбру без обиняков объясняет ему все, обнаруживая при этом большую широту взглядов, недаром она побывала в свете, много видала и слыхала, многому научилась, она знает куда как больше, чем он. У нее было три главных аргумента, которые она постоянно приводила. Во-первых, она этого не делала. Во-вторых, если бы и сделала, все не так страшно. А в-третьих, ничего никогда не узнается.

— Сдается мне, все всегда узнается, — возразил он.

— Хм... нет, вовсе не все! — отвечала она. И для того ли, чтоб ошеломить его, или подбодрить, или же просто из тщеславия и хвастовства, — бросила в него словно разорвавшейся бомбой: — Да я сама сделала кое-что, и никогда про это не узналось.

— Ты? — недоверчиво протянул он. — Что же ты сделала?

— Что сделала? Убила!

Скорее всего она не рассчитывала зайти так далеко, но теперь ничего не оставалось, как идти дальше, ведь он сидел, вытаращив на нее глаза. На этот раз это была даже не огромная, непобедимая наглость, то было просто бахвальство, бравада, ей нужно было поразить его, оставить слово за собой.

— Не веришь? — воскликнула она. — А помнишь детский трупик, который нашли в заливе? Это я его туда бросила!

— Что? — проговорил он.

— Да. Ничего-то ты не помнишь. Мы еще читали про это в газете.

Помолчав, он вскричал:

— Ты просто сумасшедшая!

Но его растерянность, должно быть, только раззадорила ее, придала какую-то странную силу, позволившую ей пуститься в описание подробностей:

— Я положила его в сундучок — он был мертвый, я убила его сразу, как только он родился. И когда мы выехали в залив, я его и выбросила.

Он сидел мрачный и безмолвный, а она продолжала: это было давно, несколько лет назад, когда она приезжала в Лунное. Так что видишь, не все узнается, далеко не все. Как он думает: что было бы, если б узнавалось все, что делают люди? А что творят замужние женщины в городах? Они убивают своих детей еще до того, как те родятся, на то есть специальные доктора. Городские не хотят иметь больше одного, в крайности двоих детей, и тогда доктор просто чуточку открывает им матку. Что-что, а тут уж Аксель может ей поверить, там это не бог весть какая штука.

Аксель спросил:

— Так, значит, и этого, последнего ребенка ты тоже прикончила?

— Нет! — ответила она с величайшим равнодушием. — Да и зачем бы мне это, — сказала она. Но еще раз повторила, что, случись такое, ничего бы страшного не произошло; казалось, мысленно она привыкла к этому вопросу, потому и стала так равнодушна. В первый раз ей, может, и было жутковато и страшно убивать ребенка — а во второй? Она рассматривала самое деяние с какой-то исторической точки зрения: это произошло и это происходит.

Аксель вышел из избы с тяжелой головой. Мысли его были заняты не столько тем, что Барбру убила своего первого ребенка — это его не касалось. И что она вообще имела того ребенка, тоже не его дело, невинность — не про нее сказано, да она никогда и не притворялась, наоборот, не скрывала своей осведомленности и даже научила его некоторым нечистым забавам. Ладно. Но последнего ребенка он отнюдь не желал терять, маленький мальчик, беленькое тельце, завернутое в тряпку. Если она виновата в смерти этого ребенка, значит, она причинила зло ему, Акселю, разорвала связь, имевшую для него большую цену, притом такую, какую ему уже никогда не создать. Но, может, он обвиняет ее понапрасну, может, она и впрямь упала в ручей

и не успела подняться. Но ведь узел-то был при ней, и оторванный кусок рубашки, который она взяла с собой...

Но часы шли, наступил полдень, потом вечер. Аксель улегся в постель, долго лежал без сна, глядя в темноту, наконец заснул и проспал до утра. А там настал новый день, а после него пошли другие.

Барбру была все такая же. Она знала многое о том, что делается на свете, и равнодушно относилась к мелочам, внушавшим деревенским ощущение опасности и страха. С одной стороны, это утешало, — она была проворна за обоих, беспечна за обоих. Да и не было в ней вовсе ничего опасного. Барбру — чудовище? Ничуть не бывало. Красивая девушка, голубоглазая, чуточку курносая, золотые руки! Ей скучно тут, ей ужас как надоели и хутор, и деревянные кадушки, которые сколько ни мой, не отмоешь, надоел, может быть, и сам Аксель, и проклятое затворническое житье, но она не убивала ни одно живое существо и по ночам не стояла над Акселем с занесенным ножом.

Только один раз заговорили они снова о детском трупике в лесу. Аксель опять сказал, что лучше было бы захоронить его на кладбище и засыпать землей, но Барбру, как и прежде, твердила свое: она поступила куда как разумнее. А потом добавила кое-что, из чего он понял, что и она не переставала думать об этом со всей изворотливостью, на какую была способна, напрягая, сидя за вязанием, свой крошечный, жалкий первобытный умишко:

— А если и узнается, я поговорю с ленсманом, я у него служила, госпожа Хейердал мне поможет. Не у всех есть такая заручка, а их и то оправдывают. Да и отец в ладу со всеми властями, и с приставом, и с остальными.

Аксель только головой покачал.

— Не веришь?

— Что, по-твоему, может сделать твой отец?

— Не твоего ума дело! — сердито крикнула она. — Думаешь, погубил его, раз отнял дом и кусок хлеба!

Наверняка она догадывалась, что репутация отца несколько пошатнулась за последнее время и что это может повредить ей самой. Что мог ответить на это Аксель? Молчать. Он был человек миролюбивый и работящий.

III

К началу зимы Аксель Стрём опять остался в Лунном один, Барбру уехала. Да, все было кончено.

Она сказала, что едет в город ненадолго, ведь это не Берген, но и здесь она сидеть не намерена, теряя зубы один за другим, пока они не вывалятся все до единого.

— Сколько же это будет стоить? — спросил Аксель.

— Почем я знаю! — ответила она. — Во всяком случае, тебе это ничего не будет стоить, деньги я сама заработаю.

Она объяснила, почему всего лучше предпринять эту поездку именно теперь: сейчас доятся только две коровы, к весне понесут две другие, да и все козы будут с козлятами, потом начнутся полевые работы, с весны по июнь дел будет по горло.

— Поступай как хочешь, — сказал Аксель.

Ему это ничего не будет стоить, ровным счетом ничего. Но ей все-таки нужно немного денег, самые пустяки — на дорогу и на зубного врача, да еще на сак и разные мелочи, но, если он против, она обойдется и без них.

— Ты и так уже забрала много денег, — сказал он.

— Ну и что, — ответила она. — Они все разошлись.

— Разве ты ничего не скопила?

— Скопила? Можешь поискать в моем сундучке. Я ничего не скопила и в Бергене, а там мне платили гораздо больше.

— У меня нет для тебя денег, — сказал он.

Он не очень-то верил, что она вернется из этой поездки, к тому же она так долго мучила его своими бесконечными капризами, что в конце концов он стал к ней охладевать. На этот раз приличной суммы ей выманить не удалось, но он посмотрел сквозь пальцы на то, что она забрала с собой огромное количество провизии, и отвез ее вместе с ее сундуком к пароходу.

Вот и наступила развязка.

Оно бы ничего — остаться одному на хуторе, он к этому привык, но очень уж связывала скотина, и когда ему приходилось отлучаться из дому, она оставалась без ухода. Торговец посоветовал ему нанять на зиму Олину, она когда-то несколько лет

прожила в Селланро, правда, она уже старая, но по-прежнему все такая же бодрая и работящая. Аксель послал за Олиной, но она не пришла и никакой весточки не прислала.

А пока Аксель заготавливает дрова, обмолачивает свой небольшой урожай ячменя и ходит за скотиной. Кругом одиноко и тихо. Изредка мимо проезжал по пути в село или из села Сиверт из Селланро. Туда он возил дрова, кожи или молочные продукты, оттуда же возвращался почти всегда порожняком, хуторянам из Селланро не было нужды наведываться в лавку.

Изредка мимо Лунного проходил Бреде Ольсен, в последнее время чаще прежнего, — что это так зачастил? Видать, старался показать свою незаменимость на телеграфной линии и таким образом сохранить место за собою. Со времени отъезда Барбру он ни разу не зашел к Акселю, а проходил мимо, и эта его заносчивость не очень-то была уместна, ведь он все еще жил в Брейдаблике, все еще не выселился оттуда. Однажды, когда он намеревался, как всегда, пройти мимо, даже не поздоровавшись, Аксель остановил его и спросил, когда он собирается съехать с хутора.

— Ты как расстался с Барбру? — спросил вместо ответа Бреде. И пошло, слово за слово: — Ты отправил ее без гроша в кармане, она едва-едва добралась до Бергена.

— Выходит, она в Бергене?

— Да, пишет, что наконец-то попала туда, но не тебя ей благодарить за это.

— Вот возьму и сейчас же выселю тебя из Брейдаблика, — сказал Аксель.

— Сделай одолжение! — насмешливо ответил Бреде. — После Нового года мы и сами выселимся, — сказал он и пошел своей дорогой.

Значит, Барбру уехала в Берген, значит, так оно и вышло, как Аксель думал. Он не горевал. Горевать? Чего ради? Ведьма она и есть ведьма, и все же он еще не терял надежды, что она вернется. Черт его поймет! Должно быть, он очень уж привязался к этой женщине, к бездушной хищнице. Но ведь были же у них и хорошие минуты, незабываемые минуты, и только для

того, чтобы она не сбежала в Берген, он и поскупился на деньги при прощанье. А она, выходит, все равно удрала. Правда, вон висят кое-какие ее платьишки да на полке лежит завернутая в бумагу соломенная шляпка с птичьим перышком, но она за ними не вернется. Может, он и горевал немножко. Словно в насмешку, к нему по-прежнему приходила ее газета, и, наверное, будет приходить до Нового года.

Но как бы то ни было, Акселю хватает, о чем другом думать, — надо быть мужчиной.

К весне он собирался сделать пристройку к северной стене новой избы: за зиму надо наготовить бревен и напилить досок. У Акселя не было строевого леса, но в разных местах участка росли поодиночке толстые сосны, и он решил срубить те, что стояли ближе к дороге в Селланро, чтоб сократить провоз до лесопилки.

Однажды утром он особенно сытно накормил скотину, чтоб она выстояла до вечера, запер за собой двери и ушел в лес; кроме топора и котомки с едой, он взял лопату, чтоб отгребать снег. Погода мягкая, вчера была сильная вьюга, но сегодня тихо. Он идет вдоль телеграфной линии, пока не доходит до места, стаскивает куртку и принимается рубить. Срубив дерево, очищает его от сучьев, превращает в бревно, а верхушку и ветки складывает в кучу.

Мимо него в гору поднимается Бреде Ольсен, значит, на линии после вчерашней бури не все в порядке. А может, Бреде пошел и без всякого дела. Больно усерден стал к службе, ха-ха, вот до чего исправился! Мужчины не сказали друг другу ни слова и не поздоровались.

Аксель замечает, что погода меняется, ветер крепчает, но продолжает работать. Время давно уже за полдень, а он еще не ел. Он срубает большую сосну, падая, она задевает его и придавливает к земле. Как это произошло? Не иначе, беда подкарауливала его. Стоит сосна и качается на корню, человек хочет повалить ее в одну сторону, а ветер — в другую, и человек оказывается слабее. Оно бы, может, и обошлось, да земля под снегом неровная, Аксель оступился, шагнул вбок, угодил ногой в расщелину и застрял в ней, придавленный сосной.

Н-да! Оно бы и сейчас еще обошлось, но упал он на редкость неудачно — руки-ноги, правда, вроде целы, а вот выбраться из-под огромной тяжести никак не удавалось. Через некоторое время он с трудом высвободил одну руку, на другой он лежит, до топора не дотянуться. Он оглядывается по сторонам и обдумывает положение, как, должно быть, и всякое другое животное, попавшее в капкан, оглядывается по сторонам, пытается выбраться из-под дерева. «Наверно, немного погодя Бреде пройдет обратно», — думает он, делая передышку.

Поначалу он относится к своему приключению довольно легко и только досадует, что оно ему помешало в работе, за свое здоровье, а тем более за жизнь он ничуть не опасается. Правда, он чувствует, что рука, на которой он лежит, затекла, а застрявшая в расщелине нога стынет и тоже немеет, но это не страшно. Бреде, наверное, скоро придет.

А Бреде нет как нет.

Буря все крепчает, снег сыпет Акселю прямо в лицо. «Смотри-ка, по-настоящему пошло!» — думает он все еще беспечно и будто сам себе подмигивает сквозь пургу: вот, мол, теперь надо смотреть в оба, теперь-то только все и начинается! Немного погодя он издает крик. В бурю слышно недалеко, но крик несется по линии, к Бреде. Аксель лежит и предается бесполезным думам: если б дотянуться до топора, он бы, пожалуй, и высвободился! Хотя бы выпростать руку, она лежит на чем-то остром, на камне, и камень тихонько и вежливо въедается в плоть. Хоть бы убрался этот чертов камень, но никто еще не слыхал, чтоб от камня можно было дождаться любезности.

Время идет, снежная метель разыгралась вовсю, Акселя совсем заносит, он совершенно беспомощен, снег невинно и бездумно ложится на его лицо, сначала тает, потом лицо стынет, и снег таять перестает. Вот теперь-то только все и начинается!

Он дважды громко кричит и прислушивается.

Вот замело и топор, ему видно только часть топорища. Неподалеку висит на дереве его сумка с едой, если б ее достать, он бы съел кусочек, этакий изрядный ломтище! И уж коли он так смел в своих требованиях, то хорошо бы заодно раздобыть и куртку, становится холодно. Он опять громко кричит.

А вон и Бреде. Остановился, смотрит на кричащего человека, стоит какую-то секунду, шаря глазами, словно выискивая, что там происходит.

— Подойди, дай мне топор! — жалобно кричит Аксель.

Бреде отводит глаза, он уже понял, что произошло, но смотрит куда-то вверх, на телеграфный провод, похоже, собирается засвистеть. Спятил он, что ли!

— Подойди, дай мне топор! — повторяет Аксель громче. — Меня деревом придавило!

Бреде исправился и стал очень усерден к службе, он смотрит только на провода и вот-вот начнет свистеть. И обратите внимание, свистеть он будет, пожалуй, весело и мстительно.

— Ты что, хочешь моей смерти, даже топора не подашь?! — кричит Аксель.

Похоже, Бреде обязательно понадобилось спуститься по линии немножко дальше, осмотреть провода и там. Он исчезает в метели.

Н-да. Но уж теперь-то Акселю надо во что бы то ни стало высвободиться и дотянуться до топора! Он напрягает живот и грудь, чтоб приподнять придавившее его огромной тяжестью дерево, толкает его, но добивается только, что его еще больше засыпает снегом. После нескольких тщетных попыток он затихает.

Начинает смеркаться. Бреде ушел, но далеко ли? Не очень далеко. Аксель опять кричит, выкрикивает одним духом:

— Что ж, ты так и оставишь меня валяться тут, убийца? Неужто тебе не дороги твоя душа и вечное блаженство? Ты ведь знаешь, что получишь корову, если поможешь мне, но ты пес, Бреде, ты хочешь погубить меня. Но уж я донесу на тебя, и это так же истинно, как я сейчас лежу здесь, помяни мое слово! Неужто не подойдешь и не дашь мне топор?

Тишина. Аксель опять начинает барахтаться под деревом, ему удается чуть-чуть приподнять его животом, но снег засыпает его еще больше. Он сдается и вздыхает, он устал и ему хочется спать. А в землянке у него мычит скотина, она с утра не поена и не кормлена, Барбру ее уже не кормит, Барбру удрала,

удрала, прихватив оба кольца. Смеркается, ну да, наступает вечер и ночь, но это еще куда бы ни шло, только вот холодно, борода обмерзла, глаза, должно быть, тоже смерзаются, хорошо бы достать куртку с дерева, и — возможно ли! — нога у него совсем занемела до бедра?

— Все в руце Божьей! — говорит он, и кажется, будто он и впрямь может говорить по-божественному, когда захочет. Темнеет, ну что ж, умереть можно и без зажженной лампады! Он стал кротким и добрым, и ради пущего смирения ласково и глупо улыбается непогоде, это Божий снег, невинный снег! Он даже готов не доносить на Бреде.

Он затихает, сонливость все более и более овладевает им, он точно парализован всепрощением, перед его глазами так много белизны, леса и равнины, большие крылья, белые пелены, белые паруса, белое, белое — что это такое? Чепуха, он отлично знает, что это снег, а он лежит на земле, похоронен под деревом, и нет в этом никакого колдовства.

И он опять кричит наудачу, он вопит; глубоко под снегом лежит его сильная, волосатая грудь и из нее несется такой вопль, что его, должно быть, слышно даже в землянке у скотины, он вопит снова и снова.

— Ну не свинья ли ты или зверь, — кричит он Бреде, — ты подумал о том, что делаешь, ты ведь бросил меня на погибель. Неужто ты не можешь подать мне топор, я спрашиваю, тварь ты подлая или человек? Ну да скатертью дорога, если ты и вправду задумал уйти от меня.

Должно быть, он заснул, он совсем окоченел, и жизнь едва теплится в нем, но глаза открыты, скованы льдом, но открыты, он не может моргнуть; выходит, он спал с открытыми глазами? Бог весть, может, он и подремал-то всего минуту, а может, и час, но перед ним стоит Олина. Он слышит, как она спрашивает:

— Иисусе Христе, жив ты или нет? — И опять спрашивает, зачем он тут лежит, с ума сошел он, что ли. Во всяком случае, Олина стоит над ним.

В Олине есть что-то от ищейки, от шакала, она выныривает там, где случается беда, нюх у нее очень острый. Да и как бы

выкарабкалась Олина в жизни, не шныряй она повсюду и не обладай острым нюхом? Она, стало быть, прознала, что Аксель посылал за ней, перебралась в свои семьдесят лет через перевал и пошла к нему. Переждала в тепле в Селланро вчерашнюю бурю, сегодня пришла в Лунное, никого не застала, накормила скотину, постояла на крыльце, послушала, вечером подоила коров, опять послушала — что-то не так.

Но вот Олина слышит крики и кивает головой: Аксель это или духи преисподней? В обоих случаях стоит при этакой тревоге поразнюхать, поискать вечной мудрости Всемогущего в лесу. «А мне он ничего не сделает, потому как я не властна развязать ремень на его обуви».

И вот она стоит над Акселем.

Топор? Олина роется в снегу и не находит топора. Она хочет обойтись без топора и пытается приподнять дерево, но сил у нее как у малого ребенка, ей удается пошевелить только верхние сучья. Она снова принимается искать топор, темно, но она роет снег руками и ногами; Аксель не может показать, он может только сказать, где топор лежал раньше, но там его теперь нет.

— Жаль, что так далеко до Селланро! — говорит Аксель.

Олина начинает искать топор по собственному разумению, Аксель кричит ей, что нет, там его не может быть.

— Ладно, ладно, — ворчит Олина, — я хочу только посмотреть! А это что? — говорит она.

— Неужто нашла? — спрашивает Аксель.

— Да, с помощью Всемогущего! — высокопарно отвечает Олина.

Но Аксель настроен не особенно возвышенно, он допускает, что, может быть, не совсем ясно соображает, он почти что умер. Да и на что Акселю топор? Он не может шевельнуться, Олине пришлось рубить дерево самой. Да, Олина за свою жизнь много поработала топором, не одну вязанку дров нарубила.

Идти Аксель не может, одна нога до бедра совсем онемела, спина промерзла, от сильного колотья он громко вскрикивает, он чувствует себя полуживым, какая-то часть его осталась под деревом.

— Что-то уж очень чудно́, — говорит он, — ничего не понимаю!

Олина понимает и объясняет ему все удивительными словами, ну да, она ведь спасла человека от смерти и знает об этом: Всемогущий пожелал воспользоваться ею как смиренным орудием, не пожелал посылать небесное воинство. Неужто Аксель не видит Его мудрого перста и решения? А если б Он захотел послать червя, пресмыкающегося в земле, то мог послать и его.

— Да, это-то я знаю, — говорит Аксель, — но уж больно чудно́ я себя чувствую!

Чудно́? Надо подождать немножко, подвигаться, согнуться и выпрямиться вот так, помаленьку, руки и ноги у него онемели и затекли, пусть он наденет куртку и согреется. Но никогда она не забудет ангела Господня, который вызвал ее давеча на крыльцо, тут-то она и услыхала крики из лесу. Точно как в райские времена, когда ангелы трубили в трубы на Иерихонских стенах.

Чудеса, да и только. Но под эти речи Аксель приходит в себя, расправляет члены и учится ходить.

Полегоньку они подвигаются к дому, Олина выступает в роли спасительницы и поддерживает Акселя. Дело идет на лад. Пройдя немного, они встречают Бреде.

— Что это? — говорит Бреде. — Ты захворал? Не помочь ли тебе?

Аксель враждебно молчит. Он обещал Господу не мстить Бреде и не доносить на него, но на том и остановился. И чего это Бреде вздумал вернуться? Видел, как Олина пришла в Лунное, и понял, что она услышит крики о помощи?

— Никак это ты, Олина! — словоохотливо начинает Бреде. — Где ты его нашла? Под деревом? Чего только с нами не случается! — восклицает он. — А я ходил осматривать телеграф, вдруг слышу — крики. Уж кто не станет мешкать, так это Бреде, где нужна помощь, я тут как тут. Оказывается, это ты, Аксель! Тебя что, деревом придавило?

— Ты все и видел, и слышал, когда шел вниз, — отвечает Аксель, — но прошел мимо.

— Господи, помилуй меня, грешную! — восклицает Олина, ужасаясь такой черствости.

Бреде оправдывается:

— Я тебя видел? Видеть-то видел. Но ты бы мог позвать меня, отчего ты не позвал? Я отлично тебя видел, но думал, ты прилег отдохнуть.

— Молчи уж! — обрывает Аксель. — Ты хотел, чтоб я там и остался!

Тем временем Олина смекает, что Бреде не должен вмешиваться, это умалит ее собственную необходимость и сделает ее спасительную роль не такой уж безусловной, она не дает Бреде помочь, не дает ему даже понести сумку с провизией или топор. О, в эту минуту Олина всецело на стороне Акселя; а когда впоследствии она придет к Бреде, то, сидя за чашкой кофе, будет полностью на его стороне.

— Дай же мне понести хоть топор и лопату, — настаивает Бреде.

— Нет, — отвечает Олина за Акселя, — он и сам донесет.

Бреде продолжает:

— Мог бы и позвать меня, не такие уж мы враги, чтоб не сказать мне ни слова. Ты звал? Ну? Надо было кричать погромче, не мешало бы сообразить, что на дворе метель. А кроме того, мог бы поманить меня рукой.

— Нечем мне было тебя манить, — отвечал Аксель, — ты видел, что я лежал, точно припечатанный замком.

— Нет, не видел. Экую чепуху ты городишь! Ладно, давай мне твою поклажу, слышишь!

Олина говорит:

— Оставь Акселя в покое. Ему нехорошо.

Но тут, должно быть, заработали мозги и у Акселя. Он ведь много слыхал про старуху Олину и соображает, что в будущем она обойдется очень дорого и замучает его, если утвердится в мысли, что одна спасла ему жизнь; и Аксель решает поделить триумф. Бреде получает котомку и инструмент, Аксель даже уверяет их, что от этого ему сразу полегчало, ему уже лучше. Но Олина не желает с этим мириться, она тянет котомку на себя и заявляет, что все, что нужно, понесет она, а не кто другой. Хитроумное простодушие вступает в бой, Аксель на минуту оста-

ется без опоры, и тогда Бреде выпускает котомку и подхватывает Акселя, хотя тот уже стоит на ногах более твердо.

Дальше они идут так: Бреде поддерживает ослабевшего Акселя, а Олина тащит поклажу. Она тащит и тащит, но полна злобы и мечет искры: на ее долю досталась самая жалкая и самая тяжелая часть спасения. За каким чертом принесло сюда Бреде!

— Послушай-ка, Бреде, — говорит она, — что это толкуют, будто у тебя отобрали и продали хутор?

— Надумала выпытать? — дерзко отвечает Бреде.

— Выпытать? Я и не знала, что ты порешил держать это в тайне.

— Вот жалость, что ты сама не пришла и не поторговала хутор, Олина.

— Я? Смеешься над нищей!

— Как, разве ты не разбогатела? Говорят, будто тебе достался в наследство сундучок дяди Сиверта, хе-хе-хе.

Напоминание о едва не привалившем наследстве отнюдь не способствовало умиротворению Олины.

— Да, старик Сиверт от всей души хотел меня облагодетельствовать, ничего не могу сказать. Но не успел он умереть, как его живенько освободили от всех земных благ. Сам знаешь, Бреде, каково это, когда тебя обчистили и ты зависишь от чужой милости; но старик Сиверт сидит себе и пирует в райских хоромах, а мы с тобой, Бреде, ходим по земле на своих двоих.

— Да ну тебя, — бросает Бреде и обращается к Акселю: — Я рад, что вовремя подоспел и могу помочь тебе дойти до дому. Я не слишком быстро иду?

— Нет.

Спорить с Олиной, препираться с Олиной? Ну нет! Она никогда не сдавалась, и еще никому не удалось сравниться с нею в искусстве смешать небо и землю в единый комок доброжелательства и злости, пустозвонства и яда. Что она слышит: оказывается, это Бреде помогает Акселю дойти до дома!

— Что это я хотела сказать... — начинает она. — Ага, вспомнила! Про тех важных господ, что приезжали намедни в Селланро, — ты показал им свои мешки с каменьями?

— Если хочешь, Аксель, я возьму тебя на спину и понесу, — предлагает Бреде.

— Нет, — отвечает Аксель. — Спасибо тебе!

Они все идут и идут, до дома уже недалеко, и Олина понимает, что если хочет чего-нибудь добиться, то надо действовать.

— Лучше бы ты спас Акселя от смерти, — говорит она. — И неужто, Бреде, ты видел, что он помирает, слышал его предсмертные крики и прошел мимо?

— Попридержи-ка язык, Олина! — отвечает Бреде.

Для нее бы и самой было лучше помолчать, она бредет, спотыкаясь в снегу, согнувшись под тяжестью ноши, она задыхается, но вовсе не желает молчать. По-видимому, она приберегла на конец лакомый кусочек, опасную тему, неужто рискнет?

— А Барбру-то, — говорит она, — сбежала, что ли?

— Да, — беспечно отвечает Бреде. — Потому-то ты и получила на зиму работу.

Тут Олина снова воспряла духом, она намекнула, как она всем нужна, как на селе она у всех прямо нарасхват, да она хоть сейчас может пойти сразу в два места, да хоть бы и в три! Ее даже к священнику приглашали. И тут же ненавязчиво сообщила кое-что еще, о чем не мешало послушать и Акселю, — чего только ей не предлагали за зиму: и новые башмаки, и барашка впридачу по окончании срока. Но она знала, что здесь, в Лунном, ее ждет необыкновенно хороший человек, который щедро вознаградит ее, и потому предпочла прийти сюда. И пусть Бреде не беспокоится, вплоть до нынешнего дня ее небесный отец не переставал раскрывать перед нею одну дверь за другой и приглашал ее войти. И похоже, у Господа был свой особый замысел, когда Он посылал ее в Лунное, ведь нынче вечером она спасла человеку жизнь.

Но Акселя вдруг охватывает страшная слабость, ноги совсем перестают его слушаться. Странное дело, только что он шел все бодрее и бодрее, по мере того как тепло и жизнь возвращались в его члены, а теперь, не поддержи его Бреде, он бы на ногах не удержался! Началось это как будто с той минуты, как Олина заговорила о своем жалованье, а когда она повторила, что спас-

ла ему жизнь, стало совсем худо. Неужто он вздумал еще раз умалить ее торжество? Бог знает, но в голове у него, должно быть, совсем прояснилось. До жилья уже было рукой подать, когда он вдруг остановился и сказал:

— Нет, видно, не дойти мне до дому!

Бреде, ни слова не говоря, взваливает его на спину. Так они и идут, Олина полна желчи, Аксель бессильно висит на спине Бреде.

— Но как же так! — спрашивает Олина. — Разве Барбру не ждала ребенка?

— Ребенка? — стонет Бреде под тяжестью своей ноши.

В высшей степени странная процессия, но Аксель ничуть не против, что его доносят до самого дома и усаживают на крыльце.

Бреде с трудом переводит дыхание.

— Так разве не было у нее ребенка? — спрашивает Олина.

Аксель поспешно перебивает, обратившись к Бреде:

— Не знаю, как бы я добрался нынче живым до дому, если б не ты! — Но он и Олину не забывает: — Спасибо тебе, Олина, ты первая нашла меня! Спасибо вам обоим!

Это было в тот вечер, когда Аксель спасся от смерти...

А в последующие дни Олина только и говорила что о великом событии, Акселю стоило больших трудов остановить ее. Олина показывает место в горнице, где она стояла, когда ангел Господень вызвал ее на крыльцо, чтоб она услыхала крик о помощи. У Акселя уже другие мысли в голове, ему надо быть мужчиной. Он возобновляет работу в лесу, а закончив с рубкой, принимается возить бревна на лесопилку в Селланро.

Обычная в зимнюю пору работа: в гору едешь — везешь бревна, под гору — нарезанные доски. Надо, однако, торопиться, чтоб кончить к Новому году, когда наступят большие морозы и скуют лесопилку льдом. Дело подвигается, все идет хорошо: когда Сиверту Селланро случается порожняком возвращаться из села, он тоже захватывает бревно-другое, помогая соседу. Тогда они с удовольствием подолгу беседуют.

— Что слыхать в селе? — спрашивает Аксель.

— Да так, пустяки, — отвечает Сиверт. — В наши края приезжает новый поселенец.

Новый поселенец — это уж вовсе не пустяк, просто такая у Сиверта манера выражаться. Новые поселенцы появляются в здешней глуши далеко не каждый год; ниже Брейдаблика теперь уже пять хуторов, а выше в горы заселение идет медленнее, хотя чем дальше к югу, тем земля все более плодородная, а болот все меньше. Выше всех хуторян забрался Исаак, основав Селланро; он оказался всех смелее и умнее. За ним появился Аксель Стрём, а теперь, стало быть, объявился еще один новый покупатель. Этот новый отхватил большой кусок пригодного к обработке болота и часть леса пониже Лунного — отхватить было от чего.

— Что за человек, не слыхал? — спрашивает Аксель.

— Нет, — отвечает Сиверт. — Он привез с собой готовые постройки, соберет и поставит их в одну минуту.

— Так. Значит, богатый?

— Должно быть. Приехал с семьей, жена и трое ребятишек. И лошади, и скотина.

— Ну, стало быть, богатый, — говорит Аксель. — А больше ничего не слыхал?

— Нет. Ему тридцать три года.

— Как его зовут?

— Говорят, Арон. А место, где поселился, он назвал Великое.

— Так, Великое. Да ведь кусочек и впрямь не маленький.

— Он родом с побережья. Говорят, рыболовством занимался.

— Еще неизвестно, годится ли он в землепашцы, — говорит Аксель. — Ты на этот счет ничего не слыхал?

— Нет. По купчей он заплатил чистоганом. Больше я ничего не слыхал. Говорят, он здорово нажился на рыбе. А теперь поселится здесь и откроет торговлю.

— Так он откроет торговлю?

— Говорят.

— Вот оно что — откроет торговлю!

Это была очень важная новость, и оба соседа обсуждали ее на все лады всю дорогу, оставшуюся до Селланро, — целую милю. Новость и впрямь большая, пожалуй, самая большая во всей

истории здешних мест, так что поговорить было о чем. С кем станет торговать новосел? С восемью хуторами на казенной земле? Или он ждет покупателей и из села? Во всяком случае, торговое заведение, конечно же, приобретет вес, может быть, это ускорит заселение, участки, глядишь, поднимутся в цене, почем знать.

Они обсуждали новость и так и этак, без устали! Интересы и цели этих двух людей были столь же важны, как интересы и цели других людей; земля — это их мир, труд, времена года и сбор урожая — события и приключения, которыми полна их жизнь. И мало ли в такой жизни волнений? О, еще сколько! Сколько раз приходилось им спать вполглаза, сколько раз приходилось забывать за работой о еде. Они с завидным терпением справлялись с невзгодами, здоровья им было не занимать, им под силу пролежать семь часов под огромным деревом — и ничего, руки и ноги целы. Мир без широкого простора, без будущего? Так! Зато какой мир будущего открывал перед ними этот хутор Великий с торговой лавкой посреди глухомани!

Народ обсуждал это событие до самого Рождества...

Аксель получил письмо, большое письмо со львом на конверте, от казны: ему предлагалось забрать у Бреде Ольсена телеграфные провода и телеграф, материалы и инструменты и с Нового года взять на себя надзор за линией.

IV

По болотам тянется целый обоз, это везут бревна новоселу, подвода за подводой, много дней. Бревна сваливают на месте, которое будет называться Великое; со временем оно, пожалуй, таким и станет: четверо рабочих уже сейчас трудятся в горах, выбирая камни на ограду и на два погреба.

А подводы все едут и едут. Каждое бревно пригнано заранее, весной их останется только собрать, все рассчитано до мелочей, бревна помечены номерами, не забыта ни одна дверь, ни одно окно, ни одно цветное стеклышко для веранды. А однаж-

ды привезли огромный воз кольев. Это еще что за невидаль? Один из новоселов, что живет ниже Брейдаблика, знает, он родом с юга и видал там такое.

— Это садовый штакетник, — говорит он.

Стало быть, новосел хочет развести сад, большой сад.

Хороший знак, никогда тут не бывало такой езды по болотам, и многие, у кого были лошади, зашибли на возке порядочные деньги. Обсуждали и другое, появились виды на заработки и в будущем, торговец ведь будет получать товары, и местные и из-за границы, ему придется возить их с моря на многих подводах.

Похоже было, что все здесь ставится на широкую ногу. Приехал молодой франтоватый десятник или помощник хозяина, распоряжавшийся возкой, ему все казалось, что не хватит лошадей, хотя возить оставалось совсем не так уж и много.

— Да ведь бревен-то осталось и не много, — сказали ему.

— А товары-то! — отвечал он.

Сиверт из Селланро ехал домой, по обыкновению, порожняком, и десятник крикнул ему:

— Ты едешь порожняком? Почему ж ты не взял клади до Великого?

— Я бы взял, да не знал, — отвечал Сиверт.

— Он из Селланро, у них две лошади! — сказал кто-то.

— У вас две лошади? — спросил помощник. — Давай обеих сюда, заработаешь денег!

— Оно бы неплохо, — ответил Сиверт, — да как раз сейчас нам недосуг.

— Недосуг заработать деньги! — воскликнул помощник.

Да, в Селланро не всегда могли свободно располагать временем, дел в усадьбе было хоть отбавляй. Теперь они впервые даже наняли работников, двух каменщиков-шведов, которые заготавливали камень для постройки скотного двора.

Этот скотный двор долгие годы был мечтой Исаака, землянка стала совсем плоха и тесна для скотины, надо строить каменный скотный двор с двойными стенами и хорошим подпольем для навоза. Но на очереди стояло так много дел, одно тащило за собой другое, стройке не предвиделось конца. У Исаака

была лесопилка, и мельница, и летний хлев, а кузница разве не нужна? Хоть совсем маленькая, на случай, на самый крайний случай: покривится лемех или потребуется перековать пару подков — до села-то далеко. Стало быть, уж это ему завести необходимо — горн и маленькую кузницу. В общем, в Селланро стояло уже очень много больших и маленьких строений.

Хозяйство растет и растет, никак не обойтись без работницы, и Йенсина живет у них теперь и лето и зиму. Ее папаша, кузнец, время от времени спрашивает, скоро ли она вернется, но не слишком настаивает, он покладист и уступчив, и, должно быть, не без задней мысли. Селланро расположено высоко в горах, надо всеми хуторами, и все растет, и строений прибавляется, и возделанной земли, а людей сколько было, столько и осталось. Лопари уже давно не ходят мимо и не располагаются по-хозяйски на усадьбе. Лопари заглядывают нечасто, они предпочитают сделать большой крюк и обойти усадьбу стороной, и уж в избу никогда не заходят, а останавливаются снаружи, если вообще останавливаются. Лопари бродят по задворкам, впотьмах, дайте им свет и воздух, и они зачахнут, как черви и нечисть. Изредка с выгона в Селланро, где-нибудь на далекой опушке, пропадет теленок или барашек, ничего не поделаешь. Уж как-нибудь Селланро переживет потерю. Если б Сиверт и умел стрелять, так у него нет ружья, да он и не умеет стрелять, он совсем не вояка. Он весельчак и большой шутник.

— Ведь лопари-то не иначе как заповедные! — говорит он.

Селланро и впрямь может пережить пропажу мелкого скота, потому что хозяйство это большое и крепкое, но и тут не обходится без забот и огорчений, вовсе нет! Ингер не весь год одинаково довольна собой и жизнью; когда-то давным-давно она совершила большое путешествие и, должно быть, подхватила что-то вроде злой тоски. Временами тоска проходит, но потом опять возвращается. Ингер проворна и деловита, как в лучшую свою пору, она красивая и здоровая жена для своего мужа, для этого мельничного жернова; но разве у нее не осталось воспоминаний о Тронхейме? Разве она никогда не мечтает? Еще бы, особенно зимою. Иногда ее охватывает какое-то

дьявольское веселье, но ведь в одиночку не потанцуешь и бала не устроишь. Мрачные мысли и молитвенник? Да-да, еще бы! Но Богу известно, что в жизни есть и что-то другое, не менее приятное и прекрасное. Она научилась быть неприхотливой, шведы-каменщики как-никак чужие люди, их голоса звучат на усадьбе странно и незнакомо, но люди они пожилые и тихие, они не играют, а работают. Но все-таки это лучше, чем ничего, они вносят оживление, один чудесно поет. Ингер иногда выходит и слушает, как он поет, сидя на камне. Его зовут Яльмар.

Но и помимо этого не все хорошо и благополучно в Селланро. Вот, например, новая незадача с Элесеусом. От него пришло письмо, что место его у инженера упразднено, но ему обещано другое, надо только подождать. Потом пришло еще одно письмо: в ожидании солидного места в конторе ему не на что жить, а когда ему послали бумажку в сто крон, он написал, что этого только-только хватило на то, чтоб расплатиться с мелкими долгами.

— Так-так, — сказал Исаак. — Но нынче у нас работают каменщики и много расходов, спроси-ка Элесеуса, не лучше ли ему приехать домой и помочь нам!

Ингер написала, но Элесеус возвращаться домой не пожелал, нет, он не захотел опять понапрасну проделывать это долгое путешествие, он предпочитал голодать.

Но, должно быть, вакантного солидного места не было во всем городе, а может, и сам Элесеус был не мастер добиваться своего. Бог знает, может, он и вообще-то был не ахти какой работник. Усидчив и искусен в писанье, это да, а как насчет ума и сметки? А если этого нет, что же с ним будет?

Когда он вернулся из дома с двумястами крон, город встретил его старыми счетами, а расплатившись, должен же он был купить тросточку вместо палки от зонтика.

Пришлось купить и разные другие вещи: меховую шапку на зиму, какие были у всех его товарищей, пару коньков, чтоб кататься на городском катке, серебряную зубочистку, чтобы ковырять в зубах и изящно держать ее в руке, беседуя за стаканчиком. Пока он был при деньгах, он не скупился на угощения:

на пирушке по случаю его возвращения, при самой строгой бережливости, пришлось-таки раскупорить полдюжины пива.

— Никак ты дал барышне двадцать эре? — спрашивали его. — Мы даем десять.

— Чего уж тут мелочиться! — отвечал Элесеус.

Он был не мелочен, ему не подобало быть мелочным, он сын богатых землевладельцев, его отец, маркграф, владеет необозримыми пространствами строевого леса, у него четыре лошади, тридцать коров и три сенокосилки. Элесеус не был лгуном, не он распространил выдумку про поместье Селланро, а окружной инженер в свое время наплел об этом в городе. Но Элесеус нисколько не был против, чтоб этой сказке верили. Раз уж он сам ничего из себя не представлял, то лучше быть сыном богатых родителей, это открывало ему кредит, и он как-то выпутывался из затруднительных обстоятельств. Но вечно так не могло продолжаться, пришлось в конце концов за все платить, и тут он завяз окончательно. Тогда один из товарищей определил его на службу к своему отцу, в деревенскую мелочную лавку, — все лучше, чем ничего. Такому взрослому молодому человеку, конечно, не пристало идти на жалованье младшего приказчика в мелочную лавку, тогда как ему куда больше подходит пост ленсмана, но это давало кусок хлеба и до поры до времени было не так уж и плохо. Элесеус и здесь проявил расторопность и добродушие, хозяева и покупатели его полюбили, и потому он написал домой, что решил перейти к занятию торговлей.

Вот эта-то новость и стала источником огромного разочарования для его матери. Если Элесеус стоит за прилавком в мелочной лавке, значит, он ни на волос не выше приказчика из их села; раньше он стоял несравненно выше: никто, кроме него, не уехал из села в город и не служил конторщиком. Неужто он утерял из виду свои высокие цели? Ингер была неглупа, она знала, какое большое расстояние пролегло между заурядностью и незаурядностью, только, пожалуй, не всегда умела точно его определить. Исаак был наивнее и проще, в мыслях своих он все меньше и меньше принимал Элесеуса в расчет, старший сын выходил за пределы его планов, Селланро все реже представа-

ло перед его мысленным взором разделенным между сыновьями, когда самого его уже не станет.

В середине весны приехал инженер с рабочими из Швеции — они будут прокладывать дороги, строить бараки, ровнять участок, взрывать горы, налаживать связь с поставщиками провизии, возчиками, прибрежными землевладельцами и прочая, и прочая, — но зачем все это? Разве мы живем не в глуши, где все мертво? А затем, что решено приступить к пробным разведкам на медной скале.

Значит, дело все-таки вышло, Гейслер не просто так болтал.

На сей раз появились не прежние важные господа, что приезжали тогда с Гейслером, нет, ни губернатора, ни фабриканта с ними не было, приехали только пожилой горный инженер да пожилой специалист по горному делу. Они купили у Исаака все доски, какие он согласился им уступить, купили провизии и хорошо заплатили, поговорили немного и расхвалили Селланро.

— Канатная дорога! — сказали они. — Подвесная дорога от вершины скалы к морю!

— Через эти болота? — спросил Исаак, соображавший туговато.

Тут они невольно рассмеялись.

— Нет, на той стороне, — сказали они, — не с этой стороны, отсюда ведь до моря несколько миль, нет, с той стороны горного участка и прямо к морю, там крутой уклон, и совсем недалеко. Мы будем спускать руду по воздуху в железных бадьях, увидишь, как это замечательно; но для начала мы свезем руду вниз, проложим дорогу и свезем на лошадях — на пятидесяти подводах, тоже неплохо. Нас ведь будет не столько, сколько ты сейчас видишь, мы что? Ничего! С той стороны идет много людей, целый транспорт рабочих, готовые бараки и провиант, материалы, всяческие инструменты и машины, — сказали они, — мы встретимся на вершине горы. Увидишь, как мы тут размахнемся, на миллионы, а руда пойдет в Южную Америку.

— А губернатор в этом разве не участвует? — спросил Исаак.

— Какой губернатор? Ах, тот! Нет, он все продал.

— А фабрикант?

— Тоже продал. Так ты их помнишь? Нет, они оба все продали. И те, что купили у них, тоже все продали.

Теперь медной горой владеет большая компания, богачи каких мало.

— А где сейчас Гейслер? — спросил Исаак.

— Гейслер? Не знаю такого.

— Ленсман Гейслер, который тогда продал вам гору?

— А-а, этот! Так его зовут Гейслер? Бог его знает, где он! Ты и его тоже помнишь?

И вот все лето вместе с большой партией рабочих они вели работы на горе, устраивая взрыв за взрывом; округа очень оживилась. Ингер вела большую торговлю молоком и молочными продуктами, и было весело и приятно торговать, суетиться и видеть много народу; Исаак по-прежнему вышагивал своей тяжелой поступью и обрабатывал землю, ему ничто не могло помешать; двое каменщиков строили с Сивертом скотный двор. Он выходил очень большой, но подвигался медленно, троих на такую работу было слишком мало, вдобавок Сиверт часто отрывался помогать отцу на земле. Тут как нельзя более кстати были сенокосилка и трое проворных женщин на покосном лугу.

Все шло хорошо, глухой край ожил, зацвел деньгами.

А как же торговое местечко Великое, разве там не пошли крупные дела? Этот Арон, похоже, большой пройдоха, проведал о предстоящих работах на руднике и мигом открыл свою мелочную лавочку, он торговал, торговал, как одержимый, ну прямо как само правительство, прямо как король. Первым делом он продавал всякого рода хозяйственные предметы и рабочее платье; но рудокопы, когда при деньгах, не очень-то считают гроши и покупают не только самое необходимое, а все подряд. А уж субботними вечерами лавочка в Великом кишела народом, и Арон знай себе загребал деньги; за прилавком ему помогали помощник и жена, да и сам он отпускал товары, только успевал, и лавочка не пустела до поздней ночи. Те сельчане, у кого были лошади, оказались правы, подвоз товаров в Великое был огромный, во многих местах дорогу пришлось перемостить и привести в надлежащий вид — где уж до нее той первой

узенькой тропе через безлюдье, что проложил когда-то Исаак. Со своей торговлей и дорогой Арон стал поистине благодетелем здешних мест. Фамилия его, между прочим, вовсе не Арон, это только его имя, фамилия же у него Аронсен, так называл себя он сам и так звала его жена; все семейство очень важничало и держало двух работниц и конюха.

Земля в Великом оставалась пока нетронутой, пахать да сеять было недосуг, кому охота копаться в болоте! Но Аронсен развел сад с красной смородиной, с астрами, с рябиной и разными другими деревьями, красивый сад, окруженный штакетником. Посреди сада шла широкая дорожка, по которой Аронсен разгуливал воскресными днями, покуривая длинную трубку; в глубине сада виднелась веранда с красными, желтыми и синими стеклами. Усадьба Великое. Трое хорошеньких ребятишек бегали по саду: девочку предполагалось воспитать настоящей купеческой дочкой, мальчики пойдут по торговой части, да, этих детей ждало большое будущее!

Если бы Аронсен не заботился о будущем, он бы сюда не переехал. Продолжал бы рыбачить и, может быть, удачно, и порядочно зарабатывал бы, но это не сравнить с торговлей, совсем не такое это благородное занятие, она не дает уважения, перед ним не снимают шапок. До сих пор Аронсен плавал на веслах, в будущем он хотел плавать под парусами. У него были в ходу словечки «полный порядок». У его детей, говорил он, будет совсем «полный порядок», подразумевая, что хочет обеспечить им жизнь, свободную от тяжелого труда.

И все складывалось куда как хорошо, люди кланялись ему, его жене, даже детям. А разве это мало, что люди кланяются детям? Спустились как-то с горы рудокопы, ребятишек им давно не приходилось видеть, а тут им во дворе встретились дети Аронсена; рудокопы ласково заговорили с ними, словно трех пуделей увидели. Они хотели было дать детям денег, но, узнав, что это дети самого торговца, поиграли им вместо этого на губной гармонике. Приходил Густав, молодой повеса в шляпе набекрень и с веселыми словами на устах, и подолгу потешал их. Дети каждый раз узнавали его и выбегали к нему навстречу, в

этот раз он посадил всех троих себе на спину и стал плясать с ними. «Хо-хо!» — кричал Густав и плясал. Потом достал губную гармонику и играл танцы и песенки, обе работницы вышли из дома, смотрели на Густава и со слезами на глазах слушали его игру. А повеса Густав отлично знал, что делал!

Немного погодя он зашел в лавочку и стал швырять деньгами: накупил полный мешок всякой всячины, так что, уходя домой в горы, потащил целую мелочную лавку; в Селланро он раскрыл мешок и всем показал его содержимое. Чего только там не было: и почтовая бумага с цветочками, и новая трубка-носогрейка, и новая рубашка, и шарф с бахромой, и леденцы, которые он тут же роздал женщинам, и блестящие вещицы, и часовая цепочка с компасом, и перочинный ножик; да пропасть всего, даже ракеты — он купил их на воскресенье, чтоб повеселить себя и других. Ингер угостила его молоком, он шутил с Леопольдиной и подбрасывал высоко к потолку маленькую Ребекку.

— Ну, скоро вы закончите скотный двор? — спросил он своих земляков-каменщиков, по-приятельски болтая с ними.

— Народу маловато, — отвечали каменщики.

— Так возьмите меня, — пошутил Густав.

— Вот бы хорошо-то, — сказала Ингер, ведь двор должен быть готов к осени, когда скотину загоняют на зиму.

А потом Густав пустил одну ракету, а после второй решил поджечь и все остальные шесть, женщины и дети глядели на колдовство и на колдуна, затаив дыханье. Ингер никогда раньше не видала ракет, но почему-то эти сумасшедшие вспышки напомнили ей о далеком большом мире. Что значит нынче швейная машинка! Когда же Густав заиграл напоследок на губной гармонике, ей показалось, она с радостью пошла бы за ним от одного только сильного смятения...

Разработка рудника идет своим чередом, руду свозят на лошадях к морю, один пароход загрузился и ушел в Южную Америку, на его место пришел другой. Оживленное движение. Все в округе, кто мог ходить, перебывали в горах и полюбовались чудесами, побывал и Бреде Ольсен со своими образцами, но их

у него не взяли, потому что специалист по горному делу незадолго перед тем вернулся в Швецию. По воскресеньям из села устраивалось целое паломничество, даже Аксель Стрём, которому недосуг было глазеть по сторонам, и тот направлял свой путь мимо рудника в те несколько раз, что ходил осматривать телеграфную линию. Скоро в округе не останется таких, кто не повидал бы всех этих чудес! Тут уж и Ингер Селланро надевает нарядное платье и золотое кольцо и тоже отправляется на гору.

Чего ей там нужно?

Да ничего, ей даже не любопытно взглянуть, как вскрывают гору, она просто хочет показаться сама. Увидев, как другие женщины ходят на гору, она почувствовала, что и ей хочется туда сходить. У нее некрасивый рубец на верхней губе и взрослые дети, но ей тоже хочется туда сходить. Ее огорчает, что другие женщины моложе ее, но она попробует потягаться с ними, она еще не начала полнеть, она высокая, стройная и с себя пригожая, словом, хоть куда. Разумеется, она не бела и не румяна лицом, золотистая свежесть ее кожи давно поблекла, но пусть-ка посмотрят, придется им кивнуть ей и сказать: «Она все еще хороша!»

Встречают ее с величайшим радушием, рабочие выпили у Ингер не одну кринку молока и хорошо знают ее, они показывают ей рудник, бараки, конюшни, кухню, погреб, кладовую, те, что посмелее, подходят и легонько берут ее за руку, а Ингер — ничего, ей только приятно. Поднимаясь или спускаясь по каменным ступенькам, она высоко поднимает юбку, показывая ноги, но вид у нее при этом такой, будто она ровным счетом ничего не сделала. «Она еще хороша!» — верно, думают рабочие.

Женщина в годах, она тем не менее положительно трогательна: видно было, что взгляд каждого из этих разгоряченных мужчин был для нее неожиданностью, она была за него благодарна и отвечала таким же взглядом. Да, ей льстило быть в центре внимания, она такая же женщина, как все другие. Она добродетельна за неимением соблазнов.

Женщина в годах.

Пришел Густав. Он оставил двух сельских девиц на товарища только для того, чтоб прийти. Густав отлично знал, что де-

лал, он горячо и нежно пожал руку Ингер и поблагодарил за прошлый раз, но не навязывался.

— Что ж ты не придешь пособить нам достроить скотный двор, Густав? — говорит Ингер и краснеет, как пион.

Густав отвечает, что скоро обязательно придет. Услышав такое, его товарищи говорят, что скоро, наверное, придут все вместе.

— Как, разве вы не останетесь здесь на зиму? — спрашивает Ингер.

Рабочие сдержанно отвечают, что нет, на это не похоже. Густав смелее, он объясняет, что, пожалуй, в ближайшее время они выцарапают отсюда всю медь, какая есть.

— Да что ты? — восклицает Ингер.

— Да нет, — заверяют другие рабочие. — Густав напрасно это.

Но Густав полагает, что не напрасно, а, смеясь, прибавляет и еще кое-что; что же до Ингер, то он явно старается отвоевать ее для себя одного, хоть и не навязывается. Другой парень заиграл на гармони, но это было совсем не то что губная гармоника, когда на ней играл Густав; третий парень, не менее шустрый, попытался привлечь ее внимание, пропев наизусть песню под гармонь, но и это тоже вышло не ахти как хорошо, хотя голос у него был красивый и громкий. А минутку спустя Густав уж надевал на свой мизинец золотое кольцо Ингер. Как же это вышло, если он совсем не навязывался? Да очень даже навязывался, только делал это исподтишка, как и она сама, они не говорили об этом, она притворялась, будто ничего не замечает, когда он пожимал ей руку. Немного позже, сидя в бараке, где ее угощали кофе, она услыхала снаружи шум и брань и поняла, что это, так сказать, в ее честь. Это польстило ей, старой тетере, она сидела, жадно вслушиваясь в сладостный шум.

Как же она в этот вечер вернулась с горы домой? О, великолепно, такою же добродетельной, как и ушла, не больше и не меньше. Ее провожали много мужчин, они не хотели отставать, пока с ней был Густав, они не сдавались, не желали сдаться. Ингер даже и в Тронхейме не бывало так весело.

— Ты ничего не потеряла, Ингер? — спросили они напоследок.

— Потеряла? Нет.

— А золотое колечко? — сказали они.

Тут уж Густаву ничего не оставалось, как отдать его, против него была целая армия.

— Вот хорошо, что ты нашел его! — сказала Ингер и поспешила проститься с провожатыми.

Она подходит к Селланро и видит много крыш, там, внизу, ее дом. Она снова чувствует себя хорошей женой и хозяйкой, какою и была всегда, и направляется взглянуть на скотину в летнем загоне, по пути туда она проходит мимо хорошо знакомого ей места; здесь когда-то схоронили маленького ребеночка, она плотно умяла землю руками и поставила маленький крестик. Давно это было. А вот подоили ли девочки коров и коз и успели ли прибраться?..

Работа на руднике идет своим чередом, но поговаривают, будто в горе не оказалось того, чего ожидали. Специалист по горному делу, уезжавший домой, приехал опять и привез с собой еще одного специалиста, они бурят, взрывают, основательно все обследуют. В чем, собственно, дело? Медь хороша, но ее мало, она не идет в глубину, толщина жилы увеличивается чем дальше к югу, жила становится мощной и великолепной как раз там, где проходит граница участка, а дальше уже идет казенная земля. Первые покупатели не придали особого значения своей сделке, то был семейный совет, несколько родственников, купивших землю с целью спекуляции, они не обеспечили за собой всей горы, всей мили, которая шла до ближайшей долины, нет, они купили у Исаака Селланро и Гейслера маленький кусочек и перепродали его.

Что же теперь делать? Начальники, мастера и специалисты по горному делу отлично во всем разобрались, надо немедленно вступать в переговоры с казной. И вот они посылают домой, в Швецию, нарочного с письмами и картами, а сами едут на север, к ленсману, чтоб заключить контракт на покупку всей горы к югу от озера. Но тут начинаются затруднения: в дело вмеши-

вается закон, они иностранцы, впрямую купить гору они не могут. Они знали об этом сами и приняли меры. Но южная часть горы уже продана, чего они не знали.

— Продана? — говорят господа.

— Давным-давно, много лет назад.

— Кто же ее купил?

— Гейслер.

— Какой такой Гейслер? Ах, тот!

— Купчая утверждена, — говорит ленсман. — Это была голая скала, она досталась ему почти даром.

— Черт возьми, что же это за Гейслер, о котором мы то и дело слышим? Где он?

— Бог знает, где он!

Господам приходится посылать в Швецию другого нарочного. Надо же выяснить, кто такой этот Гейслер. А пока всем рабочим тут делать нечего.

И вот теперь Густав пришел в Селланро, таща на спине все свое земное достояние. «Вот я и пришел!» — сказал он. Да, Густав расстался с компанией, то есть в последнее воскресенье он несколько неосторожно выразился насчет медной горы, слова его тут же передали мастеру и инженеру, и Густав получил расчет. Счастливо оставаться, да ему, пожалуй, как раз этого и хотелось; теперь его приход в Селланро ни в ком не возбудит подозрений. Он тотчас же получил работу на постройке скотного двора.

Они выводят кладку, и когда немного погодя с горы приходит еще один человек, его тоже определяют на стройку, образуется две смены, и работа подвигается быстро. К осени скотный двор непременно будет готов.

А с горы один за другим приходят все новые и новые рабочие, им отказывают, и они отправляются на родину, в Швецию; разведочные работы приостановлены. Словно горестный вздох вылетел из груди села: по глупости люди не поняли, что пробная разведка — это всего лишь разведка, которую делают на пробу, так оно и оказалось. Уныние и дурные предчувствия охватили жителей села, деньги стали появляться реже, заработки уменьшились, в лавке в Великом наступило затишье. Что же

это такое? Ведь все шло так хорошо, Аронсен уже завел флагшток и флаг, купил на зиму полость из шкуры белого медведя для санок, вся семья его разодета в пух и прах. Это все, конечно, мелочи, но случались и крупные события: двое новоселов купили участки высоко в горах, между Лунным и Селланро, и вот это было совсем не безразлично для маленького уединенного мирка. Оба новосела построили землянки, расчистили землю, осушили болото, они были работящие люди и за короткое время достигли многого. Все лето они покупали съестные припасы в Великом, но в последний раз, что они пришли туда, в лавке почти нечего было взять. Товары — к чему Аронсену товары, когда работа на руднике остановилась? Товаров у него теперь почти не было, были только деньги. Из всех жителей округи больше всех досадовал, пожалуй, Аронсен, его расчеты совершенно не оправдались. Когда кто-то предложил ему заняться обработкой земли и жить хозяйством, Аронсен ответил:

— Копаться в земле? Не за тем мы сюда приехали!

В конце концов Аронсен не выдержал и отправился на рудник посмотреть, что там делается. День был воскресный. Дойдя до Селланро, он решил позвать с собой Исаака — Исаак, который еще ни разу не побывал на горе с тех пор, как началась ее разработка, ответил, что ему и здесь, на склоне горы, неплохо. Пришлось вмешаться Ингер.

— Неужто ты не можешь пойти с Аронсеном, если он тебя просит! — сказала она.

Ингер ничего не имела против того, чтоб Исаак ушел, — было воскресенье, ей хотелось избавиться от него на часик-другой. Исаак пошел.

На горе им довелось увидеть много чудного, Исаак никак не мог разобраться в этом городе из бараков, тачек, повозок и зияющих ям. Водил их по горе сам инженер. Должно быть, у славного инженера-горняка на душе было нелегко, но он всячески старался рассеять тягостное настроение, охватившее хуторян и жителей села; и вот представился хороший случай: к ним пожаловали сам маркграф из Селланро и торговец из Великого. Он называл им породы камней: серный колчедан, мед-

ный колчедан, содержит медь, железо и серу. Да, они до тонкости знают, что таит гора, в ней есть даже немного золота и серебра. Нельзя ведь заниматься горным делом, не зная, с чем работаешь!

— А правда, что теперь все остановится? — спросил Аронсен.

— Остановится? — изумленно повторил инженер. — Южная Америка нас за это не поблагодарит. Разведочные работы на время приостановятся, это верно, но вы ведь сами видите, что уже сделано, позже построят подвесную дорогу и начнут разрабатывать гору с южной стороны. — И спросил, не знает ли Исаак, куда подевался этот Гейслер.

— Нет.

— Ну ничего, отыщется. Тогда уж работа пойдет всерьез. Вот ведь чего выдумали — остановится!

Исаак очень удивился и разволновался при виде небольшой машинки с ножным приводом, он сразу смекнул, что это такое, — оказалось, маленькая кузница, которую можно возить на тележке и ставить где угодно.

— Что стоит такая машина? — спрашивает Исаак.

Эта? Походный горн? Недорого. У них их несколько штук, впрочем, есть и совсем другие машины и совсем другое оборудование, на берегу, там стоят огромные машины. Исаак и сам понимает, что такие глубокие долины и пропасти в горе ногтями не проделаешь, ха-ха-ха!

Они продолжают обход и осмотр, дорогой инженер рассказывает, что на днях собирается в Швецию.

— Но вы ведь вернетесь? — спрашивает Аронсен.

Разумеется. Инженер не знает за собой ничего такого, за что правительство или полиция могли бы задержать его на родине.

Исаак устроил так, чтобы еще раз пройти мимо маленькой кузницы.

— А сколько же может стоить такой горн? — спрашивает он.

Сколько он стоит? Этого инженер, правду сказать, не помнил. Наверное, порядочно, но в бюджете большого рудника это ровно ничего не составляет. Ах, инженер, широкая натура, — наверно, в эту минуту на душе у него было совсем невесело, но он изо

всех сил соблюдал видимость и был важен и щедр до конца. Исааку нужен походный горн? Да пусть берет вот этот! Компания богата, она дарит ему походный горн!

Час спустя Аронсен и Исаак идут домой. Аронсен несколько успокоился, у него появилась маленькая надежда; Исаак спускается с горы, таща на спине драгоценный походный горн. Старой барже не в новинку таскать тяжести! Инженер вызвался прислать драгоценный груз в Селланро завтра с кем-нибудь из рабочих, но Исаак вежливо поблагодарил: дескать, не стоит беспокоиться. Вот ведь удивятся его домашние, когда он заявится с целой кузницей на спине.

А удивляться-то пришлось не кому-нибудь, а самому Исааку.

Когда он подошел к дому, во двор как раз въезжала лошадь, запряженная в весьма странную телегу. Возница был человек из села, а рядом с ним шел господин, на которого Исаак уставился с изумлением: это был Гейслер.

V

У Исаака было много оснований подивиться и кой-чему другому, но он был не мастак думать о многих вещах зараз.

— Где Ингер? — спросил он только, проходя мимо кухни. Он подумал, что Гейслера надо хорошенько попотчевать.

Ингер? Она ушла по ягоды, аккурат как Исаак отправился на гору, ушла вместе с Густавом, со шведом. Пожилая женщина, а надо же, совсем одурела, влюбилась как девчонка, время шло к осени и зиме, а она снова почувствовала в себе жар, снова зацвела. «Пойдем, покажи мне, где у вас тут морошка», — сказал ей Густав. Кто уж тут устоит! Она побежала в клеть, несколько минут помедлила в набожном раздумье, но он ведь дожидался ее под окном; мир дышал ей в затылок, и кончилось тем, что она пригладила волосы, внимательно посмотрелась в зеркало и вышла. Ну да разве не все поступили бы на ее месте так же? Женщины не отличают одного мужчину от другого, во всяком случае, не всегда, не часто.

Они бродят по ягоднику и рвут морошку на болоте, перебираются с кочки на кочку, она высоко поднимает юбку, показывая свои упругие ноги. Кругом тихо, птенцы у куропатки уже выросли, и она больше не клохчет, попадаются мягкие прогалинки с кустиками по краю болота. Часу не прошло, а они уж садятся отдохнуть.

— Так вот ты какой! — говорит Ингер.

О, она так и млеет от него, улыбается блаженно, потому что совсем влюблена. О Господи, как сладко и как больно быть влюбленной, и сладко и больно! Обычай и приличия требуют защищаться? Да, но только для того, чтобы сдаться. Ингер так влюблена, смертельно и бесповоротно, она готова для него на все и полна к нему нежности и ласки.

Женщина в годах.

— Когда скотный двор отстроят, ты уедешь, — говорит она потом.

Нет, он не уедет. Ну конечно, когда-нибудь придется уехать, но не раньше чем недели через две.

— Не пора нам домой? — спрашивает она.

— Нет.

Они собирают ягоды, немного погодя опять попадается мягкая прогалинка, и Ингер говорит:

— Ты с ума сошел, Густав!

Часы бегут, батюшки, да никак они заснули в кустах! Неужто заснули? Вот чудеса-то, заснули посреди безлюдья, в раю. Ингер садится, прислушивается и говорит:

— Как будто кто-то едет по дороге?

Солнце клонится к закату, вересковые холмы слегка потемнели от тени, когда они поворачивают домой. По пути попадается много укромных местечек, Густав видит их, Ингер тоже, но ей все время чудится, что впереди них кто-то едет. Вот и извольте-ка всю дорогу домой защищаться от такого сумасшедшего! Ингер слаба, она только улыбается и говорит:

— Нет, я такого, как ты, в жизни не видала!

Домой она приходит одна. И как хорошо, что пришла она именно сейчас, замечательно хорошо, приди она минутой позже,

было бы скверно. Исаак только-только вошел во двор с своей кузницей и с Аронсеном, а перед домом стоят лошадь и телега.

— Здравствуйте! — говорит Гейслер и здоровается с Ингер.

Все стоят и смотрят друг на друга. Чего уж лучше...

Опять пожаловал Гейслер. Он не был здесь несколько лет, но вот явился снова, постаревший и поседевший, но, как всегда, бодрый и подвижный, и нынче нарядный, в белой жилетке и при цепочке. Сам черт не поймет этого человека!

Может, проведал, что на медной горе что-то происходит, и решил выяснить, в чем дело? Так или иначе, он здесь. Вид у него в высшей степени оживленный, он осматривается кругом, тихонько вертя головой и водя глазами, видит большие перемены: маркграф расширил свои владения. Гейслер удовлетворенно кивает.

— Что это ты тащишь? — спрашивает он Исаака. — Ведь это лошади впору! — говорит он.

— Кузнечный горн, — объясняет Исаак. — Он мне еще не раз сослужит службу на хуторе, — говорит он, наконец называя Селланро хутором.

— Где ты его достал?

— На горе, инженер взял да и подарил мне.

— Разве там есть инженер? — спрашивает Гейслер, будто не знал.

А неужто Гейслер спасует перед каким-то инженером на горе!

— Я слыхал, у тебя есть сенокосилка, так вот, я привез тебе механические грабли, — говорит он, показывая на телегу.

На телеге стоит машина, красная с синим, — огромный гребень, сенные грабли на конном ходу. Ее сняли с телеги, осмотрели, Исаак впрягся в нее и попробовал на ходу. Да так и застыл с открытым ртом. И что ж тут удивительного — вон сколько чудес набралось в Селланро!

Заговорили о медной горе, о руднике.

— Они спрашивали про вас, — сказал Исаак.

— Кто спрашивал?

— Инженер и остальные господа. Дескать, им непременно нужно вас разыскать.

Исаак зашел, пожалуй, чересчур далеко, Гейслеру это, видать, не понравилось, он вскинул голову и сказал:

— Если им что-нибудь от меня нужно, я здесь!

На следующий день курьеры вернулись из Швеции, и с ними вернулись некоторые из владельцев рудника, они ехали верхом, важные и толстые господа, судя по виду, страсть какие богатые. В Селланро они не задержались, спросили про дорогу, не слезая с лошади, и поехали дальше в горы. Гейслера они как будто и не заметили, хотя он стоял довольно близко. Курьеры с вьючными лошадьми отдохнули с часок, потолковали с каменщиками у скотного двора, узнали, что старый господин в белом жилете и с золотой цепочкой — Гейслер, и тоже отправились дальше. Но в тот же вечер один из курьеров вернулся с устным приглашением Гейслеру пожаловать к господам на гору.

— Если им что-нибудь от меня нужно, я здесь! — велел ответить Гейслер.

Должно быть, он вошел в большую силу, должно быть, думал, что владеет всем миром, раз его не удовлетворило устное приглашение? Но как же так случилось, что он попал в Селланро как раз тогда, когда был нужен? Значит, умел быть всеведущим и много чего знал. А господам на скале, после того как они получили ответ Гейслера, пришлось самим пожаловать в Селланро. Их сопровождали инженер и два горных специалиста.

Да, стало быть, много было крючков и обходов, прежде чем свидание состоялось. Ничего хорошего это не предвещало, нет, Гейслер ужас как разважничался.

На этот раз господа были очень вежливы, извинились, что присылали за ним вчера, но уж очень они устали с дороги. Гейслер тоже был вежлив и ответил, что он тоже устал с дороги, иначе непременно бы пришел. Ну а теперь к делу. Не продаст ли он скалу на южной стороне озера?

— Вы покупатели? — спросил Гейслер. — Или я говорю с посредниками?

Это было чистое ехидство со стороны Гейслера, он ведь наверняка понимал, что важные и толстые господа не посредники. Пошли дальше.

— Какая ваша цена? — спросили они.

— Ах да, цена! — Гейслер задумался. — Пару миллионов, — ответил он.

— Вот как, — сказали господа и улыбнулись.

Гейслер не улыбался.

Инженер и горняки рассказали, что бегло исследовали гору, заложили несколько буровых скважин, взорвали в нескольких местах породу, и вот данные: месторождение вулканического происхождения, неровного залегания, согласно предварительным расчетам, мощность его всего выше на участке, которым владеют компания и Гейслер, а дальше постепенно уменьшается. На всем протяжении последней полумили годной к разработке руды не попадается.

Гейслер слушал их с величайшим равнодушием. Он достал из кармана какие-то документы и внимательно изучал их, но это были не карты, и одному Богу известно, касались ли они вовсе медной горы.

— Вы недостаточно глубоко бурили! — сказал он, словно вычитал это из своих бумаг.

— Это верно, — тотчас же согласились господа, а инженер спросил:

— Откуда вам это известно, Гейслер? Ведь вы-то совсем не бурили?

Гейслер улыбнулся, словно пробурил земной шар на двести метров в глубину, а потом взял да и засыпал скважину.

Они пробыли в Селланро до полудня, обговаривая дело и так и этак, и уже начали посматривать на часы. Гейслер дал себя уговорить и снизил цену до четверти миллиона, но ни на грош больше. Должно быть, они всерьез обидели его, они исходили из того, что ему бы только продать скалу, он вынужден ее продать, но это было совсем не так, разве они не видят, что вот он перед ними — почти такой же важный и богатый, как они!

— Пятнадцать — двадцать тысяч тоже хорошие деньги, — сказали господа.

Гейслер не отрицал этого — особенно когда они нужны, — но двести пятьдесят тысяч больше.

Тут один из господ заметил, не иначе как для того, чтоб немножко вернуть Гейслера на землю:

— Между прочим, мы привезли вам поклон от родных госпожи Гейслер из Швеции.

— Благодарствуйте! — ответил Гейслер.

— Кстати, — сказал другой господин, видя, что ничто не помогает, — ведь это же не золото, это колчедан. Четверть миллиона!

Гейслер кивнул:

— Верно, колчедан.

Тут уж все господа разом потеряли терпение, пять крышек часов разом раскрылись и снова захлопнулись, и теперь уж некогда было шутить, настало время обедать. Господа не пожелали обедать в Селланро, а отправились обратно на рудник, кушать свой собственный обед.

Тем и закончилось свидание.

Гейслер остался один.

Интересно, о чем это он раздумался? Может, вовсе ни о чем, может, ему все это было неинтересно и он ни о чем не думал? Ничего подобного, думал, но при этом не проявлял ни малейшего беспокойства. После обеда он сказал Исааку:

— Я собираюсь сходить на мою гору и хотел бы взять с собой Сиверта, как в прошлый раз.

— Хорошо, — тотчас же ответил Исаак.

— Нет. У него другие дела.

— Он немедля пойдет с вами! — сказал Исаак и позвал Сиверта.

Гейслер поднял руку и коротко сказал:

— Не надо.

Он расхаживал по двору, несколько раз подходил к каменщикам и заводил с ними оживленный разговор. Как ему удавалось так собой владеть, ведь только что его занимало такое важное дело! Может быть, жизнь Гейслера долгие годы была столь шаткой и ненадежной, что для него уже никакой риск не был страшен, он не боялся никаких ударов судьбы.

Все было делом случая. Продав маленький рудный участок родственникам жены, он сейчас же купил всю прилегающую к

нему гору. Зачем он это сделал? Чтобы посердить владельцев земельных участков, сделавшись их ближайшим соседом? Поначалу он, вероятно, хотел обеспечить за собой маленькую полоску земли на южной стороне озера, где скорее всего расположился бы рудничный поселок, в случае если бы началась разработка руды; хозяином же горы он стал потому, что она почти ничего не стоила, и потому, что ему не хотелось затевать сложную процедуру по размежеванию, которая наверняка затянулась бы на долгие месяцы. Он сделался горным королем из безразличия, маленький участок под бараки и машины превратился в огромную империю, протянувшуюся до самого моря.

В Швеции его первый маленький рудный участок то и дело переходил из рук в руки, и Гейслер был хорошо осведомлен о его судьбе. Разумеется, первые его владельцы совершили глупую покупку, чудовищно глупую, семейный совет, ничего не понимая в горном деле, не обеспечил за собой достаточно большого участка, им хотелось только откупиться от некоего Гейслера и избавиться от его близости. Да и новые владельцы показали себя не меньшими забавниками, люди богатые и солидные, почему бы им не позволить себе за пирушкой шутку и не купить участок развлечения ради, Господь их знает! Когда же произвели разведочные работы и дело оказалось серьезным, перед ними вдруг встала стена: Гейслер.

«Сущие дети!» — должно быть, размышлял Гейслер, он здорово расхрабрился и ходил, задрав нос. Правда, господа старались охладить его, они полагали, что перед ними нищий, и намекнули о каких-то пятнадцати — двадцати тысячах, — ну как есть дети, они еще не знают Гейслера. А он вот каков!

В тот день господа больше не приезжали, верно, сочли за благо не проявлять слишком большой горячности. Они приехали на следующее утро в сопровождении вьючных лошадей, господа направлялись в обратный путь. Но тут оказалось, что Гейслер ушел.

— Гейслер ушел?

Сидя на лошадях, трудно было что-либо решить, пришлось слезть и подождать. Куда же ушел Гейслер? Никто не знал, он

ведь ходил повсюду, весьма заинтересовавшись хозяйством в Селланро, в последний раз его видели у лесопилки. За ним послали нарочных, но Гейслер, должно быть, ушел далеко, потому что сколько его ни звали, так ни разу и не откликнулся. Господа нетерпеливо смотрели на часы и поначалу очень сердились.

— Не сидеть же нам здесь дураками и ждать! — говорили они. — Если Гейслер решил продавать гору, так должен быть на месте!

Но мало-помалу их досада улеглась, они даже стали находить во всем этом что-то забавное — вот ведь незадача, того и гляди заночуем где-нибудь на скалах!

— Великолепно! — восклицали они. — Когда-нибудь наши семьи отыщут тут наши кости!

В конце концов Гейслер явился. Он ходил прогуляться, сейчас возвращается прямо с летнего загона.

— Похоже, и летний загон для тебя уже маловат, — обратился он к Исааку. — Сколько у тебя там всего скотины? — продолжал он, в то время как господа стояли с часами в руках! Гейслер был заметно красен лицом, словно выпил спиртного. — Ух, ну и разогрелся же я от ходьбы! — заявил он.

— Мы ожидали застать вас дома, — сказал один из господ.

— Вы же меня не предупредили, — ответил Гейслер, — иначе я был бы на месте.

Ну, а как же сделка? Согласен ли Гейслер принять сегодня разумное предложение? Не каждый ведь день предлагают ему пятнадцать или двадцать тысяч крон, а?

Этот новый намек сильно задел Гейслера. Ну что за манеры! Но господа, верно, не говорили бы так, если б не были сердиты, а Гейслер не побледнел бы лицом, если б не успел побывать в одном пустынном местечке, где лицо его сильно покраснело. Теперь же он побледнел и холодно ответил:

— Я не хочу называть цену, возможно, подходящую для господ, но я знаю цену, какую хочу получить сам. Я не желаю больше слушать детскую болтовню! Моя цена та же, что и вчера.

— Четверть миллиона крон?

— Да.

Господа сели на коней.

— Вот что я вам скажу, Гейслер, — начал один из них. — Мы прибавим до двадцати пяти тысяч.

— Вы продолжаете шутить, — ответил Гейслер. — Зато я намерен предложить вам нечто вполне серьезное: хотите продать ваш маленький рудник?

— Да, — несколько растерянно отвечали господа, — отчего ж, надо подумать.

— Тогда я покупаю его, — сказал Гейслер.

Вот так Гейслер! Двор был полон народу, и все слышали, что он сказал, все жители Селланро, и каменщики, и господа, и нарочные, он скорее всего и гроша не мог выложить на такую покупку, а впрочем, Бог знает, вероятно, и мог, черт его поймет. Во всяком случае, он совсем сбил с толку господ несколькими своими словами. Что это — ловушка? Или он этим хитроумным маневром рассчитывал подчеркнуть то важное значение, которое отводил своей горе?

Господа задумались, господа начали тихонько переговариваться между собой, снова спешились. Но тут в дело вмешался горный инженер; видно, такой поворот событий ему не очень понравился и, похоже, он обладал какими-то правами, а то и властью. Двор был полон народу, все внимательно слушали.

— Мы не продаем! — сказал он.

— Не продаем? — спросили господа.

— Нет.

Они еще немного пошептались, потом сели на коней, собираясь ехать.

— Двадцать пять тысяч! — крикнул один из господ.

Гейслер не ответил, повернулся и снова пошел к каменщикам.

Тем и окончилось последнее свидание.

Казалось, Гейслер остался совершенно равнодушным к последствиям, он расхаживал по двору взад-вперед, вступал в беседу то с одним, то с другим, с интересом наблюдал, как каменщики водружают над скотным двором толстые стропила. Им хотелось кончить строительство на этой же неделе, крыша бу-

дет временная, потом сверху надо всем двором построят новое кормохранилище.

Исаак отпустил Сиверта с работы, разрешив ему побездельничать; это он сделал для того, чтобы Гейслер мог в любую минуту, когда захочет, отправиться с Сивертом в горы. Напрасная забота, Гейслер или отказался от этой затеи, или вовсе забыл о ней. Взяв у Ингер кое-что перекусить, он зашагал вниз по склону и отсутствовал до вечера.

Он заглянул на два новых хутора, пониже Селланро, потолковал с их хозяевами, потом дошел до Лунного и пожелал узнать, что сделал за эти годы Аксель Стрём. Дело у Акселя подвигалось не очень быстро, но землю он обработал хорошо. Гейслер заинтересовался и этим хутором и сказал Акселю:

— Есть у тебя лошадь?

— Да.

— У меня на юге стоят косилка и борона, совсем новенькие, я пришлю тебе.

— Что? — спросил Аксель и, не понимая такого великодушия, принялся прикидывать в уме размер платы.

— Я подарю тебе эти орудия, — сказал Гейслер.

— Да разве такое возможно?

— Но зато ты поможешь двум своим ближайшим соседям поднять новину.

— Это уж само собой, — заявил Аксель, все еще не понимая толком Гейслера. — Так у вас на юге есть поместье и машины?

Гейслер ответил:

— У меня там много всяких дел.

Ну, ничего такого у Гейслера, пожалуй, не было, но он часто делал вид, будто так оно и есть. А косилку и борону он мог и просто купить в каком-нибудь городе и отослать на север.

Он разговорился с Акселем Стрёмом, расспрашивал о других здешних хуторянах, о торговой усадьбе Великое, о брате Акселя, молодожене, который недавно переехал в Брейдаблик и начал прокапывать болота и отводить из них воду. Аксель жаловался, что никак не найдет работницу, живет у него одна старуха, по имени Олина, да проку от нее мало, но приходится ра-

доваться, что есть хоть она. Одно время летом Акселю приходилось работать день и ночь. Можно бы выписать работницу с его родины, из Хельгеланна, но тогда придется оплатить ей дорогу, помимо жалованья. Куда ни посмотри — все расходы. Потом Аксель рассказал, что он взял место смотрителя на телеграфной линии, но немножко об этом жалеет.

— Такие дела подходят для людей вроде Бреде, — сказал Гейслер.

— Вот уж правда так правда! — согласился Аксель. — Да ведь все из-за денег.

— Сколько у тебя коров?

— Четыре. И бык. А то уж больно далеко водить коров к быку в Селланро.

Но было на душе у Акселя одно дело поважнее всех других, и ему не терпелось поговорить о нем с Гейслером: против Барбру возбудили следствие. Конечно же, все открылось: Барбру была беременна, а уехала как ни в чем не бывало и без ребенка, как же это так вышло? Услышав, о чем речь, Гейслер коротко сказал:

— Пойдем!

Он увел Акселя подальше от дома, при этом держался куда как важно, совсем как начальство. Они сели на опушке, и Гейслер сказал:

— Ну, выкладывай!

Конечно же, все открылось, как могло быть иначе! Людей вокруг уже было много, не то что прежде, да, кроме того, у них на хуторе часто бывала Олина. При чем здесь Олина? Она-то? Да еще ко всему Бреде Ольсен с ней поссорился. Теперь Олину уж никак не обойти, она поселилась прямехонько на месте происшествия и мало-помалу все выведала у самого Акселя, она и жила-то ради темных дел, ими и кормилась, как же тут не повторить, что у нее на диво верный нюх. По правде, Олина уже слишком старая и слабая, чтоб смотреть в Лунном за домом и скотиной, ей бы отказаться от места, да разве она пойдет на это? Разве она оставит дом, где такая огромная нераскрытая загадка? Она управилась с зимними работами, кое-как скоротала

лето, силы у нее таяли, но она держалась надеждой разоблачить одну из дочерей Бреде. Не успел весной сойти снег, как Олина принялась шнырять повсюду, нашла маленький зеленый холмик у ручья и сразу увидела, что холмик обложен аккуратно срезанным дерном; ей даже посчастливилось однажды застать там Акселя, когда он утаптывал и заравнивал маленькую могилку. Стало быть, Акселю тоже обо всем известно. Олина кивнула седой головой — теперь, значит, ее черед!

Не сказать чтоб ей у Акселя было плохо жить, но он был изрядно скуповат, считал головки сыра и помнил наперечет каждый моток шерсти: руки у Олины были связаны. А взять его спасение в прошлом году, разве Аксель показал себя настоящим хозяином и отблагодарил ее как следует? Наоборот, он только и делал, что все время упорно старался умалить ее торжество. Ну да, говорил он, если б не Олина, ему пришлось бы всю ночь пролежать в лесу на морозе; но Бреде тоже оказал ему большую помощь, он притащил его домой! Вот и вся благодарность. Не иначе как Всевышний разгневался на людей! Ведь что стоило Акселю взять в хлеву корову, подвести ее к Олине и сказать: «Вот тебе корова, Олина!» Так нет же!

А теперь вот еще неизвестно, не обойдется ли ему это подороже коровы!

Все лето Олина подкарауливала всех, кто шел мимо хутора, шушукалась с ними, многозначительно кивала головой и поверяла свои тайны. «Только никому ни слова!» — говорила она. Несколько раз наведывалась Олина и в село. И вот по всей округе пошли слухи, они ползли, как туман, ложились на лица, набивались в уши, даже у детей, которые ходили в школу в Брейдаблике, и у тех завелись свои тайны. В конце концов волей-неволей зашевелился и ленсман, составил рапорт и получил приказ. И однажды он явился в Лунное с понятым и протоколом, учинил допрос, записал что надо и уехал. А через три недели приехал снова, продолжил допрос и записал больше прежнего и на сей раз раскопал маленький зеленый холмик у ручья и извлек оттуда детский трупик; Олина оказалась ему незаменимой помощницей, взамен ему пришлось ответить на ее много-

численные вопросы, и вот тут-то, между прочим, он заметил, что, возможно, встанет вопрос об аресте Акселя. Олина всплеснула руками, ужасаясь гнусностям, в какие угодила, и посетовала, что она здесь, а не далеко, очень далеко отсюда. «Ну, а Барбру?» — зашептала она. «Девица Барбру, — сказал ленсман, — арестована в Бергене; правосудие пойдет своим чередом», — прибавил он. Потом забрал мертвое детское тельце и уехал...

Немудрено поэтому, что Аксель Стрём был в большом волнении. Он все рассказал ленсману, он и не думал запираться: чему он причастен, так это самому ребенку, да еще тому, что собственноручно выкопал для него могилку. И теперь он спрашивал совета у Гейслера, как ему вести себя дальше. Неужто его повезут в город на более строгий допрос и пытки?

Гейслер держался уже не таким молодцом, как раньше, длинный рассказ утомил его, силы совсем оставили его, кто знает, отчего, может, утренний подъем уже весь выдохся. Он посмотрел на часы, поднялся с земли и сказал:

— Это надо основательно обмозговать, я подумаю. И до своего отъезда дам тебе ответ.

С этими словами Гейслер ушел.

Вернувшись вечером в Селланро, он легко поужинал и лег спать. Проспал до полудня, спал долго, отдыхал; должно быть, утомился от встречи со шведами, владельцами копей. Только через два дня он собрался в путь. Он опять был важен и величав, щедро расплатился и дал маленькой Ребекке новенькую крону.

Перед Исааком он произнес целую речь:

— Ничего не значит, что сделка не состоялась, всему свое время; а пока я приостанавливаю работы на горе. Эти люди — сущие дети — вздумали меня учить! Ты слышал, как они мне предлагали двадцать пять тысяч?

— Да, — ответил Исаак.

— Так вот, — продолжал Гейслер и мотнул головой, словно отметая все обидные предложения и пылинки, — здешней округе не повредит, если я приостановлю работы, наоборот, люди научатся ценить свою землю. Но в селе это почувствуют. Ведь за лето туда притекло порядочно денег, все понакупили наряд-

ных платьев и всяких разностей — теперь этому конец. Н-да, а если бы в селе отнеслись ко мне по-хорошему, все могло бы быть иначе. Теперь сила-то у меня!

Однако, когда он уходил, по его виду никто бы не сказал, что у него сила: в руке он нес маленький узелок с провизией, да и жилетка на нем была далеко не белоснежной чистоты. Может, заботливая жена собирала его в эту поездку на остатки от тех сорока тысяч, которые когда-то получила. Бог знает, не так ли оно и было на самом деле. И вот теперь он вернется домой ни с чем!

На обратном пути он не забыл зайти к Акселю Стрёму и дать ему ответ.

— Я все обдумал, — сказал он, — следствие уже ведется, и, стало быть, сейчас ты ничего сделать не можешь. Тебя вызовут на допрос, и тебе придется дать показания...

Пустые общие фразы, Гейслер, наверное, и думать не думал об этом деле. Аксель на все уныло отвечает «да».

Под конец в Гейслере опять проснулся важный барин, он нахмурил брови и сказал раздумчиво:

— Вот разве что мне удастся в это время быть в городе и лично явиться в суд?

— Ах, если б так-то! — воскликнул Аксель.

Гейслер сразу же решил:

— Посмотрю, может, и успею, у меня ведь столько дел на юге. Но я постараюсь выбрать время. А пока до свидания. Я пришлю тебе косилку и борону!

Гейслер ушел.

Не последнее ли это его посещение здешних мест?

VI

Последние рабочие спускаются с горы, работы приостановлены. Гора вновь стоит мертвая.

Закончено строительство скотного двора в Селланро. На зиму его покрыли временной дерновой крышей, большое стро-

ение разделено на отдельные светлые комнаты, посредине огромная гостиная, на обоих концах по большому кабинету — словно для людей. Когда-то Исаак жил здесь в дерновой землянке вместе с козами; теперь в Селланро не осталось ни одной дерновой землянки.

Внутри обустраивают стойла, хлева и закуты. Для скорости к этой работе привлекают каменщиков, Густав же говорит, что не умеет столярничать, и потому собирается уезжать. Густав отлично работал за каменщика и ворочал бревна, что твой медведь, по вечерам он веселил и забавлял всех, играл на губной гармонике, а кроме того, помогал женщинам носить тяжелые ведра с реки и на реку; но теперь он собрался ехать. Нет, столярная работа не по нем, говорит он. Похоже, он во что бы то ни стало хочет уехать.

— Остался бы до завтра, — просит Ингер.

Нет, работы для него здесь больше нету, а вдобавок до самых гор у него будут попутчики, последние рудокопы.

— Кто-то теперь поможет мне носить ведра? — говорит Ингер с печальной улыбкой.

На это у бойкого Густава сейчас же готов ответ: Яльмар. Яльмар — младший из двух каменщиков, но ни один из них не такой молодой, как Густав, и ни один не похож на него.

— Фи, Яльмар! — презрительно отзывается Ингер. Но вдруг спохватывается и, желая подзадорить Густава, говорит: — Что ж, Яльмар не так плох. И как славно поет за работой.

— Ретивый мужик! — заявляет Густав, не поддаваясь на ее уловки.

— Неужто не можешь остаться до утра?

Нет. Попутчики уйдут тогда без него.

Да, должно быть, Густаву все это уже здорово прискучило. Что и говорить. Чудесно было выхватить ее из-под носа у всех своих товарищей и побаловаться с ней неделю-другую, что он прожил здесь; но теперь ему пора уходить, его ждут другие работы, а то и невеста на родине, у него новые виды на будущее. Не торчать же ему здесь ради Ингер. Неужто ей самой невдомек, какие у него веские причины к разрыву, но она так осмеле-

ла, стала такая беззастенчивая, что ей все нипочем. Любовь их длилась не так уж и долго, нет, но опять же, все то время, что шла каменная кладка.

Ингер и впрямь печальна, она сбилась с пути истинного, но при этом так искренна, что не может не горевать. Ей плохо, она влюблена без притворства и без жеманства. И не стыдится этого; сильная по натуре женщина, она, как и все женщины, полна слабостей, она повинуется окружающей ее природе, она охвачена осенним пламенем любви. Она собирает Густаву провизию на дорогу, а грудь ее ходуном ходит от волнения. Она не задумывается о том, имеет ли на это право и не опасно ли это, она бездумно отдается своим чувствам, она стала жадной на удовольствия, на наслаждения. И если Исаак вздумает снова поднять ее к потолку и швырнуть на пол — ну что ж, она и не станет защищаться.

Она выходит с узелком и отдает его Густаву.

У лестницы стоит загодя поставленная ею лоханка, не снесет ли ее Густав напоследок вместе с нею на реку. Может, она хочет сказать ему что-то, сунуть что-нибудь в руку, золотое кольцо, — Бог знает, она сейчас на все способна. Но когда-нибудь надо же положить этому конец. Густав благодарит ее за узелок, прощается и уходит. Уходит.

А она остается.

— Яльмар! — зовет она громко, ах, излишне громко. Словно радуется назло всему — или мечется в отчаянии.

Густав уходит...

Осенью по всей округе аж до самого села идут обычные работы, копают картошку, свозят на тока ячмень, выпускают на поля крупный скот. Восемь новых хуторов, и всюду спешка, в торговом же местечке Великом нет ни скота, ни зеленых полей, там есть только сад; торговли, впрочем, теперь тоже нет, нет и спешки.

В Селланро в этот год посадили новый корнеплод, который называется турнепс, он стоит огромный и зеленый на полосе и колышет листьями на ветру, но от него невозможно отогнать коров, они крушат загородки и с ревом несутся на поле с тур-

непсом. Леопольдине и маленькой Ребекке поручено стеречь турнепсовое поле, Ребекка расхаживает с огромной хворостиной, старательно отгоняя коров. Отец работает неподалеку, изредка подходит к ней, щупает ей руки и ноги и спрашивает, не озябла ли она. Леопольдина, уже взрослая, тоже ходит за пастуха, а заодно вяжет чулки и варежки на зиму. Она родилась в Тронхейме и приехала в Селланро пяти лет, воспоминания о большом городе, где живет много-много людей, и о долгом путешествии на пароходе отходят все дальше и дальше, она дитя полей и не знает иного мира, кроме усадьбы и села, где несколько раз бывала в церкви и в прошлом году конфирмовалась...

Время от времени возникают кой-какие случайные дела, к примеру, дорога, идущая вниз, в нескольких местах стала почти непроезжей. Однажды, пока земля еще не промерзла, Исаак с Сивертом отправляются чинить дорогу. Там два болотца, их надо осушить.

Аксель Стрём обещал принять участие в этой работе, он ведь тоже обзавелся лошадью и пользуется дорогой; но Акселю почему-то понадобилось непременно поехать в город — неизвестно зачем, он только сказал, по очень важному делу. Впрочем, он прислал вместо себя своего брата из Брейдаблика. Зовут его Фредрик.

Фредрик — молодой веселый малый, умеет пошутить и за словом в карман не лезет; он недавно женился. Они с Сивертом похожи друг на друга. Утром, по дороге сюда, Фредрик зашел в Великое к своему ближайшему соседу Аронсену и сейчас еще полон тем, что ему сказал торговец. Началось с того, что Фредрик спросил у него пачку табаку.

— Я подарю тебе пачку табаку, как только он у меня будет, — сказал Аронсен.

— Да разве у вас нет табаку?

— Нет, и не будет, некому его покупать. Сколько, по-твоему, я заработаю на одной пачке табаку?

Аронсен пребывал в скверном настроении, он считал, что шведская компания прямо-таки его обманула: он поселился в деревне, чтоб торговать, а они взяли и прекратили все работы.

Фредрик потешается над Аронсеном и отзывается о нем не очень-то лестно.

— Да ведь он к своей земле и не притронулся, — говорит он, — у него нет даже корма для скотины, он его покупает! Он и у меня хотел купить сена, но только нет, я продажного сена не держу. «Как, разве тебе не нужны деньги!» — сказал Аронсен. Он думает, что деньги — это все, выложил на прилавок бумажку в сто крон и говорит: «Деньги!» — «Да, деньги — штука хорошая!» — говорю я. «Полный порядок!» — говорит он. Аккурат словно бы немножко помешался, а жена его и по будням ходит при часах — Бог ее знает, о каких таких часах ей непременно надо помнить.

Сиверт спрашивает:

— А не упоминал Аронсен об одном человеке по имени Гейслер?

— Как же. «Это тот, что не захотел продать свою гору», — сказал он. Аронсен страсть как на него злится: ленсман, которого выгнали, дескать, у него за душой наверняка нет и пяти крон, его, мол, надо пристрелить! «А вы подождите немножко, — говорю я, — может, он потом продаст свою гору». — «Нет, — говорит Аронсен, — даже и не думай. Я-то ведь купец и понимаю, что когда одна сторона запрашивает двести пятьдесят тысяч, а другая дает двадцать пять, так тут разница слишком велика, и никакой сделки выйти не может. Ну да скатертью дорожка! — говорит Аронсен. — Я и сам был бы счастлив, если б ноги моей никогда не бывало в этой проклятой дыре!» — «Но вы ведь не собираетесь продавать усадьбу?» — спрашиваю я. «Собираюсь, — ответил он, — как раз и собираюсь. Уж это мне болото — дыра, пустыня! Я не выручаю за день и одной кроны», — сказал он.

Они смеялись над Аронсеном, не чувствуя к нему ни капли жалости.

— Да, вот так и говорил. Он уже отпустил работника. Ничего не скажешь, чудной он какой-то, странный, этот Аронсен! Отпускает работника, который заготовил бы ему дров на зиму и свез бы сено на своей лошади, но оставляет помощника. Он и правда не выручает сейчас в день и одной кроны, потому что у

него нет товаров в лавке, но тогда на что ему помощник? Разве что для гордыни и важности: вот, мол, у меня за конторкой стоит помощник и пишет в больших книгах. Ха-ха-ха, нет, он просто-напросто малость помешался, этот Аронсен!

Трое мужчин работают до обеда, закусывают из своих котомок и некоторое время беседуют. У них есть о чем поговорить, полевые и хуторские горести и радости, это не мелочи, они обсуждают их здраво, они спокойны, нервы их не издерганы, и они не делают того, что не следует. Приближается осень, леса умолкают, вон стоят горы, вон стоит солнце, вечером выйдет луна и зажгутся звезды, все прочно и твердо, полно ласки, как нежное объятие. У них есть время отдохнуть на вереске, подложив под голову руку вместо подушки.

Фредрик рассказывает про Брейдаблик, про то, что еще не так много успел сделать.

— Ну как же, — говорит Исаак, — ты уже много наработал, я видел, когда проходил мимо.

Эта похвала, сказанная старейшим в округе, самим великаном Исааком, радует Фредрика, и он почтительно спрашивает:

— Правда? Потом пойдет еще быстрее. В этом году уж больно много было помех; пришлось проконопатить избу, она протекала и совсем разваливалась, пришлось сломать и поставить заново сеновал, да и хлев был совсем маленький, а у меня ведь корова и телка — у Бреде-то вовсе не было скотины, — горделиво говорит Фредрик.

— Нравится тебе здесь? — спрашивает Исаак.

— Да, нравится, и жене тоже нравится, почему же не нравиться? Место у нас открытое, все видно далеко вверх и вниз по дороге. Рощица за постройками очень красивая, березы и вербы, когда будет время, посажу еще деревья по другую сторону двора. Просто удивительно, до чего быстро просохло болото с весны, как я прокопал его. Интересно, что-то на нем нынче вырастет! Как же не нравиться? Раз у нас с женой есть и дом, и свой угол, и земля?

— Так вас только двое и будет? — лукаво спрашивает Сиверт.

— Ну, знаешь, может случиться, что будет и больше, — весело отвечает Фредрик. — А раз уж мы заговорили о том, хорошо

ли нам здесь живется, так я скажу, что никогда жена моя не толстела так, как нынче.

Они работают до вечера; изредка распрямляют спины и переговариваются.

— Что ж, ты так и не достал табаку? — спрашивает Сиверт.

— Нет, да мне все равно, — отвечает Фредрик. — Я ведь не курю.

— Не куришь?

— Нет. Мне просто хотелось зайти к Аронсену и послушать, что он расскажет.

Оба проказника весело смеются.

На обратном пути домой отец и сын, по обыкновению, молчаливы, но Исаак, видать, надумал что-то, он говорит:

— Послушай, Сиверт.

— Что? — отзывается Сиверт.

— Да нет, ничего.

Они идут дальше, потом отец начинает снова:

— Как же Аронсен может торговать, когда у него нет товаров?

— Все так, — отвечает Сиверт. — Но и людей-то здесь не так много, чтоб для них держать товары.

— Думаешь? Н-да, пожалуй что твоя правда!

Сиверта немного удивляют эти слова. Отец продолжает:

— Здесь сейчас всего восемь хуторов, но ведь со временем может стать и гораздо больше. Впрочем, нет, не знаю.

Сиверт дивится еще больше: о чем это отец? Ни о чем? Отец с сыном опять долго идут молчком и почти доходят до дому.

— Гм. Как думаешь, сколько Аронсен запросит за свой участок? — спрашивает старик.

— Вот оно что! — отвечает Сиверт. — Купить хочешь? — спрашивает он шутки ради. И вдруг его осеняет, он понимает, куда клонит отец: старик думает об Элесеусе. Должно быть, он никогда и не забывал о нем, а думал так же неотступно, как и мать, только на свой лад, мысли его были ближе к земле, ближе к Селланро.

— Цена небось сходная, — говорит Сиверт.

Из этих слов Сиверта отец заключает, что его поняли, и, словно испугавшись своей чрезмерной откровенности, тотчас

же переводит разговор на другое и говорит о том, как хорошо, что они отремонтировали дорогу и развязались с ней.

Несколько дней после этого Сиверт с матерью то и дело подсаживались друг к дружке, совещались, шушукались и даже написали письмо, а в субботу Сиверту вдруг вздумалось пойти в село.

— Зачем это тебе опять понадобилось в село, только трепать подметки? — с досадой спросил отец, и по его неестественно сердитому лицу было ясно: он отлично понял, что Сиверт собрался на почту.

— В церковь хочу пойти, — ответил Сиверт.

Лучше причины было не сыскать, и отец сказал:

— Да уж за чем ни на есть!

Но если Сиверт собрался в церковь, так пусть запряжет лошадь и возьмет с собой маленькую Ребекку. Почему не доставить маленькой Ребекке такое удовольствие первый раз в жизни; она ведь такая умница, все лето помогала отгонять коров от турнепса, и вообще для всех на хуторе она что солнышко в небе. Запрягли телегу, Ребекке дали в провожатые Йенсину, чему Сиверт не противился.

Пока их нет, на хутор неожиданно является помощник из Великого. Что случилось? Да ничего, просто пришел пешком некий помощник, некий Андресен, по поручению хозяина он направляется в горы... Только и всего. Событие это не вызывает среди обитателей Селланро никакой особой суматохи, не то что прежде, когда гость на хуторе был редкостью и приводил Ингер в большее или меньшее волнение. Нет, Ингер опять ушла в себя и притихла.

Ну что за чудо этот молитвенник, как есть путеводная звезда, рука, обвивающая шею! Когда Ингер в разладе с самой собой заблудилась в ягоднике, на путь к дому вывело ее воспоминание о горенке и молитвеннике; теперь она снова сосредоточенна и богобоязненна. Она вспоминает давние годы: бывало, уколет иголкой палец за шитьем и скажет: «Черт!» — научилась от своих товарок за большим портняжным столом. А теперь уколется до крови и молча высасывает кровь. Через ка-

кую же борьбу с самой собой надо пройти, чтобы этак перемениться? А Ингер пошла еще дальше. Когда каменный скотный двор был готов и все рабочие ушли, а хутор опустел и затих, Ингер очень мучилась, много плакала и страдала. Она никого не винила в своем отчаянии, кроме себя самой, и была полна смирения. Поговорить бы с Исааком и облегчить душу! Но в Селланро такого не водилось, чтобы кто-нибудь говорил о своих чувствах и в чем-либо каялся. И потому она только ласково звала мужа обедать и ужинать, а если он, случалось, работал неподалеку от дома, шла к нему, а не кричала с порога, по вечерам же осматривала его платье и прикрепляла пуговицы. Но Ингер на этом не остановилась. Однажды ночью она приподнялась на локте и сказала мужу:

— Послушай, Исаак!

— Чего тебе? — спросил Исаак.

— Ты не спишь?

— Ну?

— Нет, ничего, — говорит Ингер. — А только я была не такая, как надо.

— Чего? — недоуменно спрашивает Исаак и тоже приподнимается на локте.

Они лежат и разговаривают. Она все-таки редкостная женщина, и на сердце у нее тяжело.

— Я была для тебя не такою, как надо, — говорит она. — И оттого мне так тяжко!

Эти простые слова умиляют его, умиляют мельничный жернов: ему хочется утешить Ингер, он не понимает, в чем, собственно, дело, понимает только, что другой такой, как она, нет.

— Вот уж о чем не стоит плакать, — говорит Исаак, — никто не бывает таким, как надо.

— Ах! Нет, нет, — с благодарностью отвечает она.

У Исаака такие здравые понятия о вещах, он, как никто другой, умеет выпрямить то, что покосилось. Кто из нас таков, каким бы должен быть? Исаак прав; даже он, бог своего собственного сердца, который ведь все-таки бог, пускается порой на приключения, и тогда видно, какой он дикий: нынче зароется в

груду роз и смотрит на них, как кот на сметану, а завтра занозит ногу шипом и вытаскивает его с гримасой отчаяния. Умирает он от этого? Вовсе нет, каким был, таким и остается. Еще бы не хватало, чтоб он умер!

Оправилась от своих переживаний и Ингер, она пережила свое горе, но осталась верна благочестивым размышлениям и находит в них надежное утешение. Ингер неизменно прилежна, терпелива и добра, она ставит Исаака выше других мужчин и смотрит на мир его глазами. С виду он, конечно, не красавец, и певец из него никакой, но он еще хоть куда, ого-го! Спросите-ка ее! И опять вышло, что набожность и нетребовательность — большое благо.

И вот явился этот коротышка-помощник из Великого, этот Андресен; явился он в Селланро в воскресенье, и Ингер не взволновалась, совсем напротив, даже не удосужилась подать ему сама кринку молока, а так как работницы не было дома, послала вместо себя Леопольдину. И Леопольдина отлично справилась с поручением, и сказала: «Пожалуйста», — и вся вспыхнула, хотя одета была по-воскресному, и не от чего было ей стесняться.

— Спасибо, напрасно ты беспокоилась! — сказал Андресен и спросил: — Отец твой дома?

— Должно, вышел куда-нибудь.

Андресен выпил молоко, утер носовым платком рот и посмотрел на часы.

— Далеко отсюда до рудника? — спросил он.

— Нет. Час ходьбы, а то и меньше.

— Я иду туда по поручению Аронсена, я его помощник.

— Ну?

— Разве ты меня не знаешь? Я помощник у Аронсена. Ты же приходила к нам за покупками?

— Да.

— Я тебя хорошо помню, — сказал Андресен, — ты два раза приходила за покупками.

— Не ожидала я, что вы меня запомните, — ответила Леопольдина, но тут силы ей изменили, и она ухватилась за стул.

Андресену силы не изменили, он расхрабрился и сказал:

— Как же мне тебя не запомнить! — И прибавил: — А ты не можешь пойти со мной на гору?

Перед глазами у Леопольдины замелькали какие-то удивительные красные круги, пол поплыл из-под ног, а голос помощника Андресена донесся откуда-то совсем издалека:

— Тебе некогда?

— Да, — ответила Леопольдина.

Бог знает как она добралась до кухни. Мать взглянула на нее и спросила:

— Что с тобой?

— Ничего.

Ничего — ну конечно! Просто и для Леопольдины настал черед волноваться, начинать свой бег по кругу. Она весьма для этого годилась, вытянулась, похорошела, только что конфирмовалась, жертва хоть куда. В юной груди ее трепыхается птичка, длинные руки, как и у матери, полны нежности, женственности. А разве она не умеет танцевать? Еще как! Удивительно, где только они научились, но и Сиверт, и Леопольдина умели танцевать — и местный деревенский танец, который они отплясывают с разными коленцами, и шотландку, и мазурку, и рейнлендер, и вальс. А наряжаться, влюбляться и грезить наяву — разве Леопольдина всего этого не умела? Точь-в-точь как другие! В церкви мать дала ей надеть свое золотое кольцо, какой же тут грех, только красиво, к тому же на следующий день, когда ей предстояло причащаться, кольца ей уже не дали и она простояла без кольца до окончания всей церемонии. Отчего же ей и не надеть в церковь золотое кольцо, она ведь дочь богатого человека, самого маркграфа.

На обратном пути с горы помощник Андресен застал Исаака дома, и его пригласили зайти. Угостили обедом и кофе. Все домашние были в горнице и приняли участие в беседе. Помощник объяснил, что Аронсен послал его поглядеть, как обстоят дела на руднике, не видать ли признаков, что скоро опять начнется работа. Бог весть, может, помощник и наврал, что его послали, он мог и сам по себе затеять эту прогулку, во всяком случае, отсутствовал он так недолго, что нипочем за это время не мог добраться до рудника.

— Снаружи-то не очень разглядишь, собирается компания дальше работать или нет, — сказал Исаак.

— Верно, — согласился помощник, но Аронсен все же послал его, да и в четыре глаза разглядишь все-таки больше, чем в два.

Тут Ингер не удержалась и спрашивает:

— Правду ли говорят, будто Аронсен собирается продавать усадьбу?

Помощник отвечает:

— Поговаривает. Такой человек, как он, может делать что захочет, у него на все хватит средств.

— У него так много денег?

— Ясное дело, — отвечает помощник и кивает головой, — уж не без того.

Не в силах смолчать, Ингер спрашивает:

— Сколько же он хочет за свой участок?

Тут вмешивается Исаак, любопытство разбирает и его, может, еще больше, чем Ингер, но мысль о покупке Великого никак не должна исходить от него, он отмахивается от нее и говорит:

— И чего ты пристала, Ингер?

— Да так просто, — отвечает она.

Оба смотрят на помощника Андресена и ждут. Наконец тот отвечает.

Он отвечает очень сдержанно, что цены не знает, знает только со слов Аронсена, во сколько ему обошлось Великое.

— Во сколько же? — спрашивает Ингер, снова не в силах удержать язык за зубами.

— В тысячу шестьсот крон, — отвечает помощник.

— Неужто! — Ингер мгновенно всплескивает руками, вот уж в чем женщины не знают никакого толку, так это в ценах на земельные участки. Но, впрочем, тысяча шестьсот крон — сумма и сама по себе для деревни не маленькая, и Ингер боится одного: как бы она не отпугнула Исаака. Но Исаак аккурат что скала.

— Постройки-то там большие! — только и говорит он.

— Да, — соглашается помощник Андресен, — много разных служб!

Перед самым уходом помощника Леопольдина потихоньку выскользнула за дверь. Как замечательно, должно быть, подать ему руку, хотя это и представляется почти невозможным. Но она выискала себе хорошее местечко: стоит в каменном скотном дворе и выглядывает из окошка. На шее у нее голубая шелковая ленточка, раньше ее не было, когда она только успела ее надеть! Вот он идет — чуток низковат ростом, кругленький, крепкие ноги, белокурая бородка, лет на восемь — десять старше ее. Как будто бы ничего!..

А в ночь на понедельник возвращаются из села Сиверт с Ребеккой и Йенсиной. Все сошло хорошо, Ребекка последние несколько часов спала, и так, сонную, ее вытаскивают из телеги и вносят в дом. Сиверт узнал много новостей, но когда мать спрашивает:

— Что-нибудь слыхал нового? — он отвечает:

— Да ничего особенного. Аксель завел косилку и борону.

— Правда? — с интересом спрашивает отец. — Ты видел?

— Сам видел. Стоят на пристани.

— Ага, так вот зачем он ездил в город! — говорит отец.

У Сиверта полным-полно еще более любопытных новостей, но он не произносит больше ни слова.

Пусть отец думает, что дело, за которым Акселю Стрёму понадобилось съездить в город, — покупка косилки и бороны; пусть и мать тоже так думает. Да только никто из них так не думал, они уже довольно наслушались, что поездка эта связана была с недавним детоубийством, раскрытом в их местах.

— Ну ладно, ступай ложись! — говорит наконец Исаак.

Сиверт уходит и ложится, его так и распирает от новостей. Акселя вызвали на допрос по важному делу, с ним поехал и ленсман. Дело было настолько важное, что даже жена ленсмана, у которой опять родился ребенок, оставила ребенка и тоже отправилась в город вместе с ними. Она объяснила, что хочет сказать словечко присяжным.

По селу во множестве ходили всякие сплетни и слухи, и от Сиверта не укрылось, что вспомнили тут и про другое, старое детоубийство. При его приближении разговоры возле церкви

смолкли, и будь он не тем, кем был, люди, возможно, отвернулись бы от него. Хорошо быть Сивертом: во-первых, сын богатого человека, владельца большой усадьбы, к тому же и сам по себе толковый парень, работяга, его ставили в пример и уважали. Он всегда пользовался общей любовью. Только бы Йенсина не наслушалась лишнего до их отъезда домой! У Сиверта был свой резон для беспокойства, ведь и деревенские люди тоже могут краснеть и бледнеть. Он видел, как Йенсина вышла из церкви с маленькой Ребеккой, она тоже его заметила, но молча прошла мимо. Он подождал немножко, потом подъехал к дому кузнеца, чтоб забрать Йенсину и сестренку.

Все сидят за обедом, весь дом обедает. Сиверта тоже приглашают к столу, но он уже закусил, спасибо! Они ведь знали, что он приедет, могли б немножко и подождать; у них, в Селланро, подождали бы, здесь — нет!

— Конечно, у нас не такая еда, к какой ты привык дома, — говорит кузнечиха.

— Что нового узнал в церкви? — спрашивает кузнец, хотя тоже был там.

Когда Йенсина с Ребеккой уселись в телегу, кузнечиха говорит дочери:

— Ну что ж, Йенсина, пора тебе поскорее возвращаться домой!

Это можно понять надвое, подумал Сиверт, потому и не вмешался. Но выразись она немножко пояснее — и он бы уж обязательно ответил! Он хмурит брови и ждет — но нет, больше она ничего не говорит.

Они едут домой, разговаривает одна маленькая Ребекка, она полна впечатлений от виденного в церкви: священник в ризе с серебряными крестами, паникадило, орга́н. Много спустя Йенсина говорит:

— Какой стыд, с Барбру-то!

— На что это твоя мать намекала, когда сказала, что тебе надо поскорее возвращаться домой? — спрашивает Сиверт.

— На что намекала?

— Ты хочешь от нас уехать?

— Когда-нибудь придется же вернуться домой.

— Тпр-ру! — Сиверт останавливает лошадь. — Хочешь, я поверну и отвезу тебя сейчас же?

Йенсина смотрит на него, он бледен как мертвец.

— Нет, — отвечает она и начинает плакать.

Ребекка с удивлением посматривает то на одного, то на другую. О, маленькая Ребекка оказалась как нельзя более кстати в этой поездке, она взяла сторону Йенсины, погладила ее и заставила улыбнуться. А когда пригрозила брату, что спрыгнет с телеги и принесет для него хорошую розгу, невольно улыбнулся и Сиверт.

— А теперь я спрошу: на что намекал ты? — сказала Йенсина.

Сиверт, не раздумывая, ответил:

— Я хотел сказать, что, если ты хочешь от нас уехать, мы попробуем обойтись и без тебя.

Позже Йенсина говорит:

— Да, конечно, Леопольдина уже подросла и вполне может исполнять мою работу.

Обратный путь домой вышел очень печальный.

VII

В гору поднимается человек. Ветрено, льет дождь, началась осенняя распутица, но человек не обращает на это никакого внимания, он весел с виду, и на душе у него весело — это Аксель Стрём, он возвращается с допроса, его оправдали. И он рад: во-первых, на пристани стоят его новенькие косилка и борона, а во-вторых, его оправдали. Он не принимал участия в убийстве ребенка. Вот как бывает на свете!

Но что ему пришлось пережить! Когда он стоял перед судом и давал показания, ему, неутомимому труженику, эта работа показалась самой тяжкой в его жизни. Ему не было никакого расчета усугублять вину Барбру, поэтому он всячески старался не сказать лишнего, рассказал даже не все, что знал, каждое слово пришлось из него вытягивать, и большей частью он отвечал

только «да» и «нет». Ну не довольно ли уже? Надо ли раздувать дело? Много раз казалось, что оно принимает совсем серьезный оборот, высокое начальство в черных-пречерных сюртуках смотрело так грозно, им ничего не стоило немногими словами повернуть все на плохое и, пожалуй, добиться его осуждения. Но они оказались добрыми людьми, не захотели его погибели. Да кроме того, в спасение Барбру включились могущественные силы, а это должно было пойти на пользу и ему.

Господи помилуй, что же его ожидало?

Ведь сама Барбру навряд ли станет говорить во вред своему бывшему хозяину и возлюбленному — он сидел, мысленно возвращаясь и к этой ужасной истории, и к другой, что была раньше, — не так уж Барбру глупа. Нет, Барбру оказалась достаточно умна, она расхвалила Акселя, сказала, что он решительно ничего не знал о родах, до того как все кончилось. Он немножко чудной, и они между собой не ладили, но он человек смирный и вообще замечательно хороший человек. А что он выкопал новую могилку и переложил в нее тельце, так случилось это уже много спустя, и сделал он это оттого, что ему показалось, будто прежняя могилка сыровата, хотя она и была сухая, а только Аксель такой уж чудной.

Так что же могло грозить Акселю, раз Барбру принимала всю вину на себя? За Барбру же вступили в бой могучие силы. Вступила в бой госпожа ленсманша Хейердал.

Не щадя себя, она обошла и высших и низших, потребовала, чтоб ее допросили в качестве свидетельницы, и произнесла на суде целую речь. Когда настала ее очередь, она предстала перед судом с видом важной дамы; она поставила вопрос о детоубийстве во всем его объеме и прочитала суду целую лекцию; похоже было, будто она предварительно добилась разрешения на это. Можно было иметь о ленсманше какое угодно мнение, но что-что, а говорить она умела и в политике и в общественных вопросах разбиралась очень хорошо. Просто удивительно, откуда у нее брались слова. Временами председателю явно хотелось вернуть ее к существу дела, но, должно быть, у него не хватало духу ей помешать, и он так и не прервал ее. А в заклю-

чение она даже внесла два весьма практических совета и сделала суду предложение, возбудившее всеобщий интерес.

Все произошло — не входя в юридические тонкости — следующим образом.

— Мы, женщины, — сказала ленсманша, — несчастная и угнетенная половина человечества. Законы создают мужчины, мы же, женщины, не имеем в этой области никакого влияния. Но разве мужчина способен понять, что значит для женщины родить дитя? Довелось ли ему испытать страх, довелось ли пережить ужасные муки и страдания, исторгать крики боли?

В данном случае ребенка родила служанка, наемная работница. Она не замужем, следовательно, вынашивая ребенка, она должна все время это скрывать. Почему она должна это скрывать? Ради общества. Общество презирает незамужнюю женщину, ожидающую ребенка. Оно не только не охраняет ее, но преследует ее презрением и позором. Разве это не ужасно? Ведь это должно бы возмутить всякого человека с сердцем! Девушке не только предстоит родить на свет ребенка, что и само-то по себе, казалось бы, довольно тяжко, с ней к тому же обращаются как с преступницей. Я готова сказать, что девушке, сидящей на скамье подсудимых, выпала редкая удача: ее ребенок по несчастной случайности появился на свет в ручье и захлебнулся. Это счастье и для нее самой, и для ребенка. Пока общество остается таким, каково оно есть сейчас, незамужнюю мать следует освобождать от наказания даже за убийство своего ребенка.

С того места, где сидит председатель суда, слышится слабое ворчанье.

— Или по крайней мере назначать лишь самое незначительное наказание, — продолжала ленсманша. — Разумеется, мы все согласны с тем, что жизнь детей надлежит охранять, — говорила она, — но неужели абсолютно ни один из гуманных законов не распространяется на несчастную мать? — вопрошала она. — Попробуйте представить себе, что она пережила за время беременности, какие муки вытерпела, скрывая свое состояние и не зная, что ей делать с собой и будущим ребенком. Ни один мужчина не в состоянии представить себе этого. Так или иначе,

ребенка она убивает из добрых побуждений. Мать не настолько жестока к себе и к своему дорогому малютке, чтоб оставить ему жизнь, ей слишком тяжело нести свой позор, под его бременем в ней созревает план убить дитя. И вот она родит его тайком и в течение двадцати четырех часов находится в таком расстройстве чувств, что во время совершения самого убийства полностью невменяема. Она, если можно так выразиться, почти не совершила его, до того было велико охватившее ее безумие. У нее еще болит после родов каждая косточка, каждый суставчик, а ей предстоит убить ребенка и поскорее спрятать труп — подумайте только, какого напряжения воли требует все это! Конечно же, мы все хотим, чтоб дети оставались жить, и можем только сожалеть, что некоторых из них лишают жизни. Но это вина самого общества, тупого, жестокого, погрязшего в сплетнях, объятого жаждой преследования, злобного общества, в любую минуту готового всеми средствами задушить незамужнюю мать!

Но даже и при таком обращении со стороны общества злополучные матери поднимаются и возвращаются к жизни. Нередко именно после такого социального проступка в этих девушках начинают развиваться лучшие и благороднейшие качества их души. Присяжные могут поинтересоваться у заведующих приютами, принимающих таких матерей и детей, правда ли это. Опыт показывает, что именно те девушки, которые... которых общество вынудило убить свое дитя, становятся образцовыми нянями. Обстоятельство, думается нам, дающее пищу для размышлений.

Теперь о другой стороне дела: почему оставляют на свободе мужчину? Мать, совершившую детоубийство, бросают в тюрьму, подвергая мучениям, но отца ребенка, истинного соблазнителя, не трогают. Однако, будучи виновником зачатия ребенка, он несет и известную долю участия в его убийстве, и даже наибольшую долю: не будь его — не случилось бы и несчастья. Так почему же он остается на свободе? Да потому, что законы создаются мужчинами. Вот вам и ответ. Остается лишь молить небо о защите от этих мужских законов! И так будет всегда, до тех пор пока мы, женщины, не получим права голоса на выборах и в стортинге.

Но когда, — продолжала ленсманша, — такая жестокая судьба уготована виновной — или более виновной — незамужней матери, совершившей детоубийство, то что сказать о невиновной, только подозреваемой в убийстве и его не совершавшей? Какую компенсацию предлагает общество этой жертве? Никакой! Я удостоверяю, что знаю сидящую здесь подсудимую с детства, она служила у меня, отец ее состоит приставом у моего мужа. Мы, женщины, позволяем себе думать и чувствовать, идя наперекор обвинениям и преследованиям мужчин, мы позволяем себе иметь собственное мнение. Сидящая здесь девушка арестована и лишена свободы по подозрению в том, что, во-первых, родила ребенка тайком и, во-вторых, убила своего ребенка. Она — и в этом я не сомневаюсь — не совершала ни того, ни другого; присяжные сами придут к этому ясному, как день, заключению. Сокрытие родов? Но она рожает ребенка средь бела дня. Правда, она одна, но кому же быть при ней? Она живет в глуши, единственный человек в доме, кроме нее самой, — мужчина, неужели же ей призывать его в такой момент? Нас, женщин, такая мысль возмущает, от такой мысли мы стыдливо опускаем глаза. Она убила свое дитя? Она родила его в ручье, она лежит в ледяной воде и рожает. Каким образом она попала в ручей? Она служанка, следовательно, рабыня, каждый день у нее куча дел, ей нужно пойти в лес за можжевельником для мытья деревянной посуды; переходя через ручей, она оступается и падает в воду. Она лежит, не в силах подняться, ребенок рождается и захлебывается в воде.

Ленсманша останавливается. По лицам присяжных и слушателей она видит, что говорила очень хорошо, в зале царит полная тишина, никто не шелохнется, только Барбру от волнения изредка утирает глаза. Ленсманша заканчивает следующими словами:

— У нас, женщин, есть сердце. Я бросила своих детишек на чужих людей, чтоб приехать сюда и дать показания в пользу сидящей здесь несчастной девушки. Законы, принятые мужчинами, не могут запретить женщинам думать: я считаю, эта девушка уже достаточно наказана за то, что не сделала ничего дур-

ного. Оправдайте же ее, и я возьму ее к себе. Она будет самой лучшей няней из всех, какие у меня были.

Ленсманша умолкает.

— Но ведь, по словам свидетельницы, такие замечательные няни выходят именно из детоубийц? — замечает председатель.

Впрочем, председатель вовсе не принял речь ленсманши Хейердал в штыки, нет-нет, он тоже чрезвычайно гуманен, по-пастырски сострадателен. Когда затем прокурор стал задавать ленсманше вопросы, председатель большей частью сидел молча, делая какие-то пометки в бумагах.

Судебное разбирательство проходило утром, свидетелей было мало, а самое дело, по сути, сложностью не отличалось. Аксель Стрём уж было стал надеяться на благоприятный исход, как вдруг ленсманша и прокурор словно объединились, чтобы доставить ему неприятности за то, что он похоронил ребенка, а не заявил о его смерти. Его стали допрашивать со всей возможной строгостью, и, может быть, ему не так-то легко было бы доказать свою невиновность по этому пункту, если б он вдруг не заметил в конце залы Гейслера. Совершенно верно: там сидел Гейслер. Это дало Акселю некоторую опору, он сразу почувствовал себя не одиноким перед лицом начальства, задумавшего его погубить. Гейслер кивнул ему.

Да, Гейслер приехал в город. Приехал не затем, чтобы выступить в качестве свидетеля, но на суде присутствовал. Несколько дней, предшествующие разбирательству, он употребил на ознакомление с делом и на запись того, что ему запомнилось из рассказа самого Акселя в Лунном. Бóльшая часть документов, на взгляд Гейслера, никуда не годилась, этот ленсман Хейердал, человек весьма ограниченный, в протоколе допроса постарался изобразить Акселя соумышленником детоубийства. Дурак, идиот, он не имел никакого понятия о жизни в деревне, не понимал, что именно ребенок, как никто другой, мог привязать к хутору Акселя столь необходимую ему помощницу!

Гейслер переговорил с прокурором, и у него сложилось впечатление, что в этом не было особой нужды: он хотел помочь Акселю вернуться обратно на хутор, к земле, но Аксель в помо-

щи вовсе не нуждался. Потому что для самой Барбру обстоятельства складывались наилучшим образом, а с ее оправданием отпадает и вопрос о соучастии Акселя. Все зависело от показаний свидетелей.

Допросили немногих свидетелей — Олину в суд не вызывали, вызвали только ленсмана, эксперта, двух-трех девушек из села; после допроса наступил обеденный перерыв, и Гейслер опять отправился к прокурору. Тот по-прежнему был уверен в благоприятном для девицы Барбру решении. Показания ленсманши Хейердал оказались чрезвычайно вескими. Теперь все зависело от присяжных.

— Вы так заинтересованы в этой девушке? — спросил прокурор.

— Отчасти, — ответил Гейслер. — Скорее, в мужчине.

— Она тоже у вас служила?

— Нет, он у меня не служил.

— Мужчина не служил. А девушка? Сочувствие суда на ее стороне.

— И она у меня не служила.

— Мужчина вызывает гораздо больше подозрений, — сказал прокурор. — Идет совершенно один к ручью и хоронит детский трупик в лесу. Весьма подозрительно.

— Наверное, он просто хотел его похоронить, — сказал Гейслер, — ведь сначала этого не сделали.

— Но она женщина, она не обладает мужской силой, чтобы выкопать могилу. Да и в том состоянии, в каком она находилась, на большее она не была способна. А в общем и целом, — сказал прокурор, — мы дожили наконец до того, что верх взяли более гуманные воззрения на эти дела о детоубийстве. На месте присяжных я бы не решился вынести этой девушке обвинительный приговор, и после всего, что выяснилось на суде, я не стану требовать ее осуждения.

— Рад слышать это! — сказал Гейслер и поклонился. Прокурор продолжал:

— Как человек и частное лицо, я пойду еще дальше: я не буду выносить обвинительный приговор ни одной незамужней матери, лишившей жизни своего ребенка.

— Интересно, — сказал Гейслер, — сколь единодушны господин прокурор и дама, дававшая сегодня свидетельские показания.

— Что ж! Впрочем, она очень хорошо выступила. А и в самом деле, к чему все эти приговоры? Незамужние матери уже заранее вынесли такие неслыханные муки и низведены на такую низкую ступень человеческого существования жестокостью и грубостью общества, что это само по себе уже достаточное наказание.

Гейслер поднялся и сказал:

— А как же дети?

— Да, — ответил прокурор, — что касается детей, то все это очень прискорбно. Но, в конечном счете, это Божье благословенье и для детей. В особенности для таких незаконнорожденных детей — какая им уготована судьба? Что из них выходит?

То ли Гейслеру захотелось подразнить кругленького человечка, то ли вздумалось разыграть из себя мистика и философа, но он сказал:

— Эразм был незаконнорожденный.

— Эразм?

— Эразм Роттердамский.

— Неужели?

— Леонардо был незаконнорожденный.

— Леонардо да Винчи? Вот как! Да, разумеется, бывают исключения, иначе не было бы и правил. Но в общем и целом...

— Мы оберегаем птиц и зверей, — сказал Гейслер, — и както странновато не оберегать младенцев.

В знак окончания беседы прокурор медленно, с достоинством потянулся за какой-то из лежавших на столе бумаг.

— Да, — рассеянно проговорил он, — да, да, конечно.

Гейслер поблагодарил его за необычайно поучительную беседу, которой удостоился, и вышел.

Он снова сел в зале суда, чтобы своевременно быть на месте. Наверное, ему льстило сознание своей силы: ведь он знал о разрезанной на полосы рубашке, которую взяли для... для того, чтоб увязать в нее ветки, о детском трупике, выловленном од-

нажды из залива, он мог бы здорово озадачить суд, одно его слово сейчас стоило тысячи мечей. Но Гейслер, видимо, не собирался без особой необходимости произносить это слово. Все ведь складывалось отлично, даже общественный обвинитель стоял на стороне обвиняемой.

Зал наполнился публикой, суд занял свои места.

Началась интересная для маленького городка комедия: грозная торжественность прокурора, взволнованное красноречие защитника. Присяжные сидели и внимали тому, что им надлежит думать о девице Барбру и о смерти ее ребенка.

Да и то сказать: разобраться во всем этом было совсем не просто. Прокурор был красивый мужчина и, несомненно, добрый человек, но, должно быть, его перед самым заседанием что-то рассердило, или он вспомнил, что призван защищать определенную позицию норвежского правосудия. Господь его знает! Непонятно, но он уже не проявлял прежней снисходительности. Он порицал содеянное злодеяние, если оно было совершено, — разумеется, сказал он, это была бы мрачная страница, если б можно было с уверенностью сказать, что она действительно столь мрачна, как позволяют думать и полагать свидетельские показания. Все должны решить присяжные. Он хочет обратить их внимание на три пункта: пункт первый — налицо ли факт сокрытия рождения ребенка и ясен ли этот вопрос для судей. Он сделал на этот счет несколько замечаний от себя. Пункт второй — тряпка, половина разорванной рубашки: для чего обвиняемая взяла ее с собой? В ожидании, что она ей понадобится? Он подробно развил эту мысль. Пункт третий — поспешные и подозрительные похороны, без уведомления пастора и ленсмана о факте смерти. Здесь главным действующим лицом становится мужчина, и присяжным чрезвычайно важно составить себе об этом верное суждение. Ведь ясно же, что если мужчина был сообщником и потому совершил погребение по собственному почину, то его работница совершила, несомненно, преступление, коего он сделался сообщником.

— Гм! — пронеслось по залу.

Аксель Стрём опять сообразил, что он в опасности, поднял голову и не встретил ни одного взгляда, все следили глазами за

оратором. Но в дальнем конце зала сидел Гейслер, вид у него был чрезвычайно важный, словно он вот-вот лопнет от гордости, нижняя губа выпячена, голова запрокинута к потолку. Это неслыханное равнодушие к громам правосудия и это «гм!», брошенное к потолку, подбодрили Акселя, и он опять почувствовал, что не остался один на один со всем светом.

И вот дело пошло на поправку: прокурор, видимо, решил, что, пожалуй, довольно, — он так щедро посеял семена недоверия и злобы против Акселя, что пора остановиться. Каким-то образом он и вовсе пересмотрел свою позицию, не потребовав даже осуждения. Под конец своей речи он напрямик заявил, что на основании имеющихся улик он не решается настаивать на обвинительном приговоре.

«Да ведь это отлично! — должно быть, подумал Аксель. — Скоро, значит, конец!»

Тут слово взял защитник, молодой человек, учившийся на юриста и получивший защиту в этом замечательном деле. Ну и речь же он закатил! Кто другой сумел бы так блестяще защитить невинность, как он! В сущности, ленсманша Хейердал опередила его и утром утащила несколько его аргументов, он был крайне недоволен тем, что она уже воспользовалась возможностью обратиться к обществу, — у него и у самого было так много что сказать этому обществу! Он сердился на председателя, что тот не прервал ее, ведь она явно нарушила судебную процедуру. Что же осталось для него?

Он начал с первых шагов на жизненном пути девицы Барбру Бредесен.

— Она родом из бедной семьи, впрочем, дочь работящих и почтенных родителей; вынужденная уже в ранней юности пойти в услужение, она поступила сперва в семью ленсмана. Мы слышали сегодня отзыв о ней ее хозяйки, госпожи Хейердал, более прекрасного отзыва трудно себе представить. Барбру переехала в Берген. — Защитник подробно остановился на глубоко прочувствованной рекомендации двух конторщиков из Бергена, у которых она служила, пользуясь их полным доверием. — Затем Барбру снова вернулась домой, чтобы вести хозяйство у

холостого мужчины на отдаленном хуторе. Здесь-то и начались ее несчастья.

Она забеременела от этого холостого мужчины. Почтенный прокурор намекнул — впрочем, наиразумнейшим и осторожнейшим образом — на сокрытие родов. Но разве Барбру скрывала свое состояние, разве она отрицала его? Две свидетельницы, девушки из ее родного села, показали, что сразу поняли, что она беременна, но, когда они спросили об этом Барбру, она вовсе этого не отрицала, а просто пропустила их вопрос мимо ушей. Так обычно и поступают в такой ситуации молодые девушки — пропускают мимо ушей. Больше Барбру никто ни о чем не спрашивал. Пошла ли она к своей хозяйке и призналась ли ей? У нее не было хозяйки. Она сама была себе хозяйкой. У нее был хозяин, но молодая девушка ни за что не пойдет с такой тайной к мужчине, она несет свой крест в одиночку, она не поет, она не шепчет, она молчит. Она ни от кого не прячется, не ищет уединения.

Рождается ребенок; это доношенный, нормально сложенный мальчик, он жил и дышал после рождения, но погиб. Присяжным известны обстоятельства этих родов: они произошли в воде, мать упала в ручей и рожала в воде, — она не в состоянии спасти ребенка, она лежит, и сама лишь много спустя смогла выбраться на берег. И ведь никаких признаков насилия на теле ребенка не обнаружено, никаких следов, никто не хотел его смерти, он просто захлебнулся в воде. Невозможно найти более естественного объяснения.

Почтенный прокурор намекнул на тряпку, считая то обстоятельство, что она взяла с собой кусок оторванной рубашки, весьма темным. Но нет ничего яснее этой неясности: она взяла с собой тряпку, чтобы увязать в нее можжевельник. Она могла бы взять — ну, скажем, наволочку, но взяла тряпку. Что-то же ей нужно было взять, не нести же ей можжевельник просто в руках. Нет, в этом отношении присяжные могут быть совершенно спокойны!

Но вот другое обстоятельство уже не представляется столь ясным: имела ли обвиняемая ту поддержку и заботу, каких требовало тогда ее состояние? Проявлял ли хозяин по отношению

к ней заботливость? Хорошо, если так! На допросе девушка отзывалась о своем хозяине с благодарностью, это говорит о ее доброте и благородстве. Сам мужчина, Аксель Стрём, в своих показаниях тоже не бросил в нее камня, не утяжелил бремени обвиняемой и не порочил ее — и поступил, безусловно, правильно, чтобы не сказать умно: ведь спасти его может только она. Взвалить на нее вину значило бы, в случае ее осуждения, самому разделить с ней кару.

Невозможно погрузиться в материалы настоящего дела, не испытав при этом живейшего сострадания к этой молодой девушке, такой покинутой и заброшенной. И все же она нуждается не в милосердии, а лишь в справедливости и понимании. Она и ее хозяин некоторым образом помолвлены, но несходство характеров и глубокая разница интересов не позволяют им вступить в брак. С этим мужчиной эта девушка не может связать своего будущего. Сколь ни прискорбно, но нам снова придется вернуться к тому факту, что она взяла с собой тряпку: если говорить все до конца, то ведь девушка взяла не одну из своих рубашек, а рубашку хозяина. Мы уже задавали себе вопрос: кто предоставил в ее распоряжение эту рубашку? И здесь, думается нам, весьма вероятна возможность, что в игре замешан мужчина.

— Гм! — раздалось в конце зала, и прозвучало так громко и твердо, что оратор умолк, и все стали искать глазами виновника заминки. Председатель метнул в ту сторону строгий взгляд.

— Но, — продолжал защитник, оправившись, — и в этом пункте мы можем быть спокойны благодаря самой подсудимой. Хотя, казалось бы, в ее интересах разделить вину, она этого не сделала. Она самым решительным образом отрицала, что Аксель Стрём знал о том, что, отправляясь к ручью — я хочу сказать, в лес, за можжевельником, — она взяла вместо своей его рубашку. У нас нет ни малейших оснований сомневаться в показаниях обвиняемой, до сих пор они успешно выдерживали проверку, то же самое и в данном случае: если бы она взяла рубашку из рук мужчины, это бы предполагало и совершение детоубийства, обвиняемая же не хочет, чтобы ее правдивость способствовала обвинению этого человека за несодеянное преступление. В об-

щем, она вела себя на допросе чистосердечно и откровенно и не пожелала бросить тень на кого-либо другого. Эта ее черта — благородство — проявляется во всем: так, она самым тщательным образом, с большим старанием запеленала маленький детский трупик. В таком виде его и нашел в могиле ленсман.

Председатель — порядка ради — обращает внимание на то, что ленсман нашел могилу номер два, а ведь там похоронил ребенка Аксель.

— Да, это верно, и я очень благодарен господину председателю! — говорит защитник со всей подобающей юристу почтительностью. — Да, так оно и было. Но ведь Аксель сам заявил, что он всего лишь и сделал, что перенес тельце в новую могилу и там закопал его. Не подлежит также сомнению, что женщина умеет спеленать ребенка лучше, нежели мужчина, а кто спеленает его лучше всех? Конечно же, мать своими нежными материнскими руками!

Председатель кивает головой.

— Дальше. Разве не могла эта девушка — если бы она была другого склада — разве не могла она похоронить ребенка голеньким? Я готов даже допустить, что она могла бы бросить его в мусорный ящик. Могла бы оставить его лежать на земле под деревом, и он бы замерз — конечно, в том случае, если б он уже не был мертв. Она могла, улучив минуту, сунуть его в горящую печь и сжечь. Могла отнести в Селланро и бросить в речку. Ничего такого эта мать не сделала, она запеленала мертвого ребеночка и похоронила его. И если, когда его нашли, он был аккуратно запеленат, значит, его запеленала женщина, а не мужчина.

А теперь, — продолжал защитник, — присяжным предстоит решить, что же осталось от вины девицы Барбру. По совести, совсем немного, по моему глубокому убеждению как защитника, не осталось ничего. Правда, присяжные вправе судить ее за то, что она не заявила о случае смерти. Но ведь ребенок уже умер, произошло это в глуши, за много миль от пастора и ленсмана, и пусть он спит вечным сном в уютной могилке в лесу. Если преступлением является тот факт, что его похоронили там, то обвиняемая разделяет это преступление с отцом ребенка; но

уж это преступление можно простить. Мы все более и более отходим от мысли карать людей за совершенные ими преступления, мы исправляем преступников. Это в прежние времена полагалось наказывать за все, что угодно, тогда надо всем царила мстительная заповедь Ветхого Завета: око за око, зуб за зуб! Но нет, дух современного законодательства уже не таков. Современное правосудие гуманно, оно в той или иной мере старается принять во внимание склад характера, присущий упомянутому лицу.

Не судите же строго эту девушку! — продолжал защитник. — Наша задача не в том, чтобы заполучить лишнего преступника, а в том, чтобы вернуть обществу доброго и полезного его члена.

Защитник указал, что на новом месте обвиняемая будет находиться под самым тщательным присмотром: супруга ленсмана Хейердала, много лет зная девицу Барбру и обладая богатым материнским опытом, широко раскрыла перед нею двери своего дома; и теперь присяжные должны взять на себя полную ответственность и либо осудить, либо оправдать ее. В заключение защитник выразил благодарность господину прокурору за то, что он не настаивал на обвинительном приговоре, проявив тем глубокое и гуманное понимание сути дела.

Защитник сел.

Остальная часть процедуры заняла совсем немного времени; судебное наставление председателя присяжным было повторением уже сказанного, рассматриваемого с двух точек зрения: краткое изложение содержания пьесы, сухое, скучное и весьма достойное. Прошло оно очень гладко, ведь и прокурор и защитник оба в своих речах вмешивались в сферу деятельности председателя, облегчив тем самым ему задачу.

Зажгли свет, две лампы вспыхнули под потолком скупым светом, при котором председатель, казалось, с трудом разбирает свои заметки. Он очень строго выразил свое неудовольствие тем, что о смерти ребенка не было сообщено властям; но, заметил он, в данных обстоятельствах это следовало бы поставить в вину скорее отцу, чем матери, — она была чересчур слаба. Таким образом, присяжным предстоит решить, имело ли место сокрытие родов и детоубийство. Он вновь рассказал им суть

дела с самого начала. Затем последовали обычные в таких случаях разъяснения по поводу осознания возложенной на них ответственности, чем присяжные и без того были сыты по горло, и, наконец, небезызвестное уточнение, что в случае расхождения во мнениях решение принимается в пользу обвиняемого.

Теперь все было ясно.

Присяжные удалились из зала заседаний в соседнюю комнату. Совещаться. Им предстояло совещаться, сверяясь с вопросами, которые один из них захватил с собой. После пятиминутного отсутствия они вернулись, дав отрицательный ответ на все вопросы.

Нет, девица Барбру не убивала свое дитя.

Затем председатель обратился к присутствующим еще с несколькими словами и объявил, что девица Барбру свободна.

Публика покинула зал. Комедия окончилась...

Кто-то трогает Акселя Стрёма за руку, это Гейслер. Он говорит:

— Ну, вот ты и развязался с этим делом!

— Да, — проговорил Аксель.

— Только напрасно оторвали тебя от работы.

— Да, — снова ответил Аксель. Но он уже немного оправился и прибавил: — Мне радоваться надо, могли бы впутать в неприятности.

— Этого еще не хватало! — сказал Гейслер, напирая на каждое слово.

Отсюда Аксель заключил, что Гейслер принимал какое-то участие в деле, что не обошлось без его вмешательства. Бог знает, может, Гейслер и направлял все разбирательство и добился того результата, какого хотел. Кто его поймет.

Но как бы то ни было, Аксель сознавал, что весь день Гейслер был на его стороне.

— Спасибо вам, уж такое большое спасибо! — сказал он, протягивая руку.

— За что? — спросил Гейслер.

— Как же... как же — за все!

Гейслер оборвал его:

— Я ничего не сделал. Даже и не старался, не стоило того.

Но Гейслер, пожалуй, все же был не против этой благодарности, он словно дожидался ее и наконец получил.

— Мне сейчас недосуг говорить с тобой, — сказал он. — Ты едешь домой завтра? Вот и хорошо. Ну, будь здоров! — Гейслер направился вниз по улице...

На пароходе по дороге домой Аксель повстречался с ленсманом и его женой, с Барбру и двумя девушками-свидетельницами.

— Ну, — сказала ленсманша, — ты рад исходу суда?

Аксель ответил, что да, как же не радоваться, уж теперь-то, наверное, конец.

Ленсман тоже вступил в разговор:

— Это второе детоубийство в моем округе, в первом была замешана Ингер из Селланро, теперь вот я развязался со вторым. По мне, так в подобных случаях не годится проявлять мягкость, правосудие должно осуществляться в полной мере!

Но ленсманша, должно быть, понимала, что Аксель не испытывает к ней особой благодарности за ее вчерашние показания, и потому решила смягчить их.

— Ты, надеюсь, понял, почему я выступила против тебя?

— Да. Как же, — ответил Аксель.

— Надеюсь, что так. Ты ведь не думаешь, что я хотела тебе навредить? Я всегда считала тебя превосходным человеком, я только это и хочу тебе сказать.

— Да что вы, — только и промолвил Аксель, одновременно взволнованный и обрадованный.

— Да-да, — продолжала ленсманша. — Но я была вынуждена переложить на тебя малую толику вины Барбру, потому что иначе ее осудили бы, а вместе с ней и тебя. Я действовала из самых лучших побуждений.

— Да-да, спасибо вам!

— Именно я, а не кто-то другой, пошла в городе к Ироду и Пилату хлопотать за вас. И ты ведь сам слышал, что всем нам, кто произносил речи, пришлось переложить часть вины на тебя, чтоб добиться оправдания вас обоих.

— Да, — кивнул Аксель.

— Ты же ни одной минуты не думал, что я настроена против тебя, не правда ли? Против тебя, которого я считаю таким превосходным человеком!

Услышать такое после стольких унижений! Аксель так растрогался, что ему захотелось подарить ленсманше что-нибудь, все равно что, лишь бы выразить ей свою благодарность, — пожалуй, он отвезет ей убоины осенью. У него ведь есть молодой бычок.

Ленсманша Хейердал сдержала слово: взяла Барбру к себе. Она и на пароходе проявляла заботу о ней, не давала ей зябнуть и голодать, но и не позволяла любезничать с бергенским штурманом. Когда это случилось в первый раз, ленсманша ничего не сказала, только отозвала Барбру. Но смотрите-ка, Барбру опять любезничает со штурманом и, склонив головку набочок и улыбаясь, болтает с ним на бергенском наречии. Тогда ленсманша подозвала ее и сказала:

— Мне кажется, тебе не следует сейчас разводить тары-бары с мужчинами, Барбру. Вспомни, что ты только что пережила и от чего спаслась.

— Я только услыхала, что он из Бергена, оттого с ним и заговорила, — ответила Барбру.

Аксель с ней не сказал ни слова. Он заметил, что она похудела и побледнела и зубы у нее стали хорошие. Ни одного его кольца у нее не было...

И вот Аксель идет домой. Ветрено и льет дождь, но на душе у него радостно и весело, он видел на пристани косилку и борону. Вот так Гейслер! И ведь ни слова не сказал в городе о своем большом подарке. Что за чудной барин.

VIII

Акселю не пришлось долго отдыхать дома: с осенними бурями пришли новые заботы и неприятности, которые он сам и навязал себе: телеграф на его стенке известил, что на линии непорядок.

А все потому, что пожадничал на деньги, принимая эту должность. С самого начала все пошло наперекосяк, Бреде Ольсен прямо пригрозил ему: когда Аксель пришел к нему за телеграфным имуществом и аппаратом, Бреде сказал:

— Не очень-то ты помнишь, что я спас тебе жизнь зимой.

— Мне спасла жизнь Олина, — отвечал Аксель.

— Разве не я тащил тебя домой на своей разнесчастной спине? А ты и отплатил мне: купил в летнюю пору мой хутор и выкинул меня на улицу, на зиму глядя! — Бреде был оскорблен до глубины души. — Что ж, сделай одолжение, забирай и телеграф и весь этот хлам. Я переезжаю с семьей в село, примусь там за одно дело, что за дело — тебе и не снилось, а только будет у меня своя гостиница и такое заведение, куда люди смогут приходить пить кофе. Думаешь, не справимся? Жена моя будет продавать всякие угощения, а я стану разъезжать по всяким делам и заработаю гораздо больше тебя. Но только вот что я тебе скажу, Аксель: я могу наделать тебе много каверз, я ведь до тонкости знаю телеграф, могу повалить столбы, порвать провода. Вот тебе и придется отрываться в рабочую пору. Только это я и хотел тебе сказать, а уж ты постарайся запомнить...

И вот вместо того, чтобы привезти с пристани машины — яркие и цветистые, как с картинки, он мог бы привезти их сегодня, полюбоваться на них, поучиться, как с ними обращаться, — теперь придется их там оставить. Обидно откладывать то, что необходимо сделать, и бегать по телеграфной линии. Но деньги есть деньги.

На вершине горы он встречает Аронсена. Торговец Аронсен стоит, точно призрак, пристально вглядываясь куда-то в даль, в снежную мглу. Что ему здесь надо? Должно быть, никак не успокоится, тянет его на гору, хочется самому осмотреть рудник. Да, торговец Аронсен полон тревоги за себя и за судьбу своей семьи. Перед его глазами картина полного разорения и опустошения на покинутой людьми горе: повсюду валяются и ржавеют машины, материалы, повозки — все под открытым небом, все без призора. Кое-где на стенах бараков прибиты написанные от руки плакаты, запрещающие уносить или портить принадлежащие обществу инструменты, повозки и строения.

Аксель останавливается поболтать с помешанным лавочником и спрашивает:

— Уж не на охоту ли собрались?

— Да-да, мне непременно надо добраться до него! — отвечает Аронсен.

— До кого?

— До кого? До того, кто разоряет и меня и всех остальных в округе. Кто не захотел продать свою гору, по чьей вине прекратились работы, кто лишил людей денег и не дает им заниматься торговлей.

— Вы говорите про Гейслера?

— Именно про него. Его следовало бы расстрелять!

Аксель улыбается и говорит:

— Гейслер был на днях в городе, можно было с ним встретиться. Да только, по моему слабому разумению, не стоит вам связываться с этим человеком.

— Почему это? — резко спрашивает Аронсен.

— Боюсь, он для вас чересчур крепкий орешек.

Они заспорили, Аронсен все больше и больше горячился. Под конец Аксель спросил шутки ради:

— Вы ведь не собираетесь бросить нас насовсем, вы не собираетесь уехать от нас?

— Уж не воображаешь ли ты, что я стану гнить в ваших болотах, когда я не могу заработать даже на табак для трубки? — сердито вскричал Аронсен. — Найдешь мне покупателя — непременно продам усадьбу!

— Покупателя? — спросил Аксель. — У вас такая хорошая земля, занялись бы ею как следует, на участке вроде вашего смело можно прокормиться.

— Не желаю я в ней копаться, слышишь! — опять закричал Аронсен прямо в снежную мглу. — Я могу подыскать занятие и получше!

Аксель заметил, что может найти ему покупателя, но Аронсен только язвительно рассмеялся:

— Здесь, в округе, нет ни одного человека, которому под силу купить мой участок.

— А вот и есть. Могут найтись и другие.

— Да тут живет одна дрянь да голытьба, — со злостью продолжал Аронсен.

— Уж какие есть. А только Исаак из Селланро может в любой день купить ваш участок, — обиженно сказал Аксель.

— Не думаю, — сказал Аронсен.

— Мне все равно, что вы думаете, — отвечал Аксель и повернулся уходить.

Аронсен крикнул ему вслед:

— Погоди! По-твоему, Исаак мог бы избавить меня от Великого, так, что ли?

— Да, — отвечал Аксель, — ему нипочем купить пять таких Великих, если дело касается денег!

Идя на рудник, Аронсен обошел Селланро стороной, ему не хотелось, чтоб его видели; на обратном пути он заглянул на усадьбу и имел беседу с Исааком.

— Нет, — сказал Исаак и только покачал головой, — я об этом не думал и думать не собираюсь.

Но когда к Рождеству приехал домой Элесеус, несговорчивости у Исаака поубавилось. Правда, по нему, так ничего не было глупее, как покупать Великое, во всяком случае, все эти выдумки исходят не от него; но если Элесеусу кажется, что лавка — дело стоящее и для него подходящее, — надо об этом подумать.

Сам Элесеус был в нерешительности, середка на половинку — не совсем против, но и не безразличен. Если он обоснуется здесь, дома, то ему, считай, конец: деревня не город. Осенью, когда в городе шла перепись приезжих из деревни, он всячески избегал показываться на улице, не желая встречаться с земляками — они принадлежали к другому миру. Так неужели же теперь ему самому суждено вернуться в этот мир?

Мать настаивала на покупке, Сиверт тоже, они уговаривали Элесеуса, и однажды все втроем поехали в Великое посмотреть «поместье».

Но когда Аронсен оказался перед перспективой лишиться участка, его словно подменили: ему нет никакой надобности продавать усадьбу! Даже если он уедет, все тут останется как

было, на участке все в полном порядке, это замечательный участок, продать его он всегда успеет.

— Вы и не сможете дать за него столько, сколько я хочу, — сказал Аронсен.

Они обошли комнаты, побывали на скотном дворе, на складе, осмотрели жалкие остатки товаров: несколько губных гармоник, часовые цепочки, коробочки с розовой бумагой, висячие лампы со стеклянными подвесками — сплошь вещи среди хуторян неходкие. Да еще немножко бумазеи и несколько ящиков гвоздей.

Элесеус важничал, расхаживая с видом знатока.

— Таких товаров мне не нужно, — сказал он.

— Их можно не брать, — ответил Аронсен.

— А за участок, как он есть, со всеми товарами, скотиной и всем прочим, я могу предложить вам полторы тысячи крон, — сказал Элесеус. Ему было все равно, что ни сказать, предложение он сделал из чистого озорства, лишь бы показать себя.

Поехали домой. Сделка не состоялась, Элесеус обидел Аронсена, прямо-таки оскорбил его.

— И слушать тебя не желаю! — крикнул Аронсен, переходя на ты. — Этакий городской щелкопер, вздумал учить торговца Аронсена, какие должны быть товары!

— Насколько мне известно, я не пил с вами на ты, — проговорил Элесеус, не менее оскорбленный. Еще немного, и они станут врагами не на живот, а на смерть.

Но почему Аронсен с первой же минуты их приезда повел себя так несговорчиво и наотрез отказался продать усадьбу? На то были свои причины, у Аронсена снова пробудились некоторые надежды.

В селе прошла сходка, на которой обсуждалось положение, создавшееся вследствие отказа Гейслера продать свою гору. Пострадали от этого не только ближайшие хутора, весь округ замер на грани краха. Почему людям не жить так же хорошо или так же плохо, как они жили до того, как начались разведочные работы на медной горе? Нет, и все! А они уже успели привыкнуть к манной каше и белому хлебу, к ткани фабричной выдел-

ки, к высоким заработкам, к расточительности, они привыкли к большим деньгам, привыкли чувствовать себя людьми. А теперь денег снова нет, они уплыли, словно косяк сельдей в море, Господи помилуй, опять нужда, что же нам делать?

Ни у кого не было сомнений, что все дело в том, что бывший ленсман Гейслер решил отомстить селу за то, что оно помогло амтману сместить его. Ни у кого не было сомнений и в том, что село явно недооценило этого человека. Он не исчез. Самым простым путем, всего-навсего бесстыдным требованием четверти миллиона за какую-то гору, он приостановил процветание села. Разве это не говорит о его силе? Спросите Акселя Стрёма из Лунного, он недавно повстречался с Гейслером, он порасскажет. У Барбру, дочери Бреде, был суд в городе, и она вернулась домой оправданная, а ведь Гейслер просидел в суде все то время, что шло разбирательство. Те же, кто решил, что Гейслер покатился под гору не хуже иного нищего, пусть сходят на пристань и посмотрят дорогие машины, которые он прислал Акселю в подарок.

Итак, этот человек держит в своих руках судьбу всего округа, и с этим приходится считаться. За сколько же, в крайности, продаст Гейслер свою гору? Это надо выяснить. Шведы предлагали ему двадцать пять тысяч, Гейслер отказался. Ну а если село, если община доложит остальное, чтобы сделка все-таки состоялась? Если сумма окажется не слишком несообразная, дело того стоит. Торговец с берега и торговец Аронсен из Великого тайно согласились сделать дополнительные взносы: лишний расход, который они понесут теперь, со временем окупится.

Кончилось тем, что выбрали двух уполномоченных и отправили их на переговоры с Гейслером. И теперь с нетерпением ждали их возвращения.

Вот потому-то у Аронсена и появились некоторые надежды, и он посчитал, что может проявить упрямство, разговаривая с покупателями на Великое. Но упрямиться ему пришлось недолго.

Через неделю уполномоченные вернулись, привезя с собой решительный отказ. С самого начала была допущена ошибка:

одним из уполномоченных назначили не кого-нибудь, а Бреде Ольсена, по той простой причине, что у него было много свободного времени. Уполномоченные разыскали Гейслера, но он только покачал головой, усмехнулся и сказал: «Возвращайтесь-ка домой». Правда, обратную дорогу он им оплатил.

Стало быть, округу ничего не остается как погибать!

Побесновавшись некоторое время и придя в полную растерянность, Аронсен в один прекрасный день отправился в Селланро и заключил сделку. Вот что сделал Аронсен. Элесеус поставил на своем, участок с постройками, скотом и товарами достался ему за тысячу пятьсот крон. Правда, при передаче оказалось, что жена Аронсена припрятала бóльшую часть ситцев, но на такие пустяки такие люди, как Элесеус, не обращают внимания. «Не будем мелочными», — сказал он.

В целом же Элесеус был далеко не в восторге: отныне судьба его была окончательно решена, так он и погибнет в этой глуши! Ничего не остается как отказаться от блестящих планов: конторщиком он уже не был, ленсманом не будет, даже городским жителем и тем ему не бывать. Перед отцом и домашними он гордился, что сторговал Великое аккурат за ту цену, какую назначил, пусть видят, как хорошо он во всем разбирается! Правда, этот маленький триумф недорого стоил. Вдобавок ему льстило, что он мог взять на службу помощника Андресена, составлявшего в некотором роде придачу к лавке, — до открытия новой торговли Аронсен не нуждался в своем помощнике. Элесеус же очень утешился, когда Андресен пришел к нему с просьбой не увольнять его; впервые он почувствовал себя начальником и хозяином.

— Можешь оставаться! — сказал он. — Мне нужен здесь помощник на то время, когда я буду уезжать по делам и налаживать связи в Тронхейме и Бергене.

Андресен сразу же показал себя неплохим помощником — он работал не покладая рук и приглядывал за всем, пока хозяин Элесеус находился в отлучке. Только в самом начале своей жизни в здешних краях помощник Андресен разыгрывал из себя важную персону, да и то по вине своего хозяина, Аронсена. Те-

перь все переменилось. По весне, когда болота оттаяли немножко, в Великое приехал Сиверт из Селланро и стал копать на земле у брата канавы, тогда и помощник Андресен вышел копать канавы. Чего ради, непонятно, это вовсе не входило в его обязанности — просто такой уж он был человек! Земля оттаяла еще совсем немного, прокопать ее как следует было невозможно, но как-никак, а половину работы они сделали, а это уж не так мало. Затея эта шла от старика Исаака — осушить болота в Великом и заняться там земледелием; мелочная же торговля пусть будет побочным делом: не ехать же людям в село, если понадобится катушка ниток.

И вот Сиверт и Андресен копают бок о бок, временами останавливаясь передохнуть и весело разговаривая. Андресен каким-то образом раздобыл золотой в двадцать крон, и Сиверту очень хочется завладеть этой блестящей монеткой, но Андресену жалко с ней расстаться, он держит ее в сундуке завернутой в папиросную бумагу. Сиверт предлагает побороться на монету — кто одолеет противника, тому она и достанется, но Андресен боится идти на риск; тогда Сиверт говорит, что даст в обмен на монету двадцать крон бумажками и один вскопает все болото, но тут уж помощник Андресен обиделся и сказал:

— Ага, чтобы ты потом рассказывал у себя дома, что я не умею работать на болоте!

В конце концов сошлись на двадцати пяти кронах бумажками, и Сиверт на ночь глядя побежал домой в Селланро и выпросил у отца деньги.

Причуды юности, прекрасная пора юности! Ночь без сна, миля туда да миля обратно, весь день снова за работой — пустяки для сильного молодого человека, и вот она, чудесная золотая монета! Андресен вздумал было посмеяться над Сивертом по случаю этой странной сделки, но против этого у Сиверта было хорошее средство, ему стоило только сказать словечко о Леопольдине:

— Да, кстати, Леопольдина просила тебе кланяться! — и Андресен мигом смолк и покраснел.

Веселые были деньки для обоих, они работали на болоте и время от времени в шутку пререкались, снова принимались за

работу и опять препирались. Изредка им на помощь выходил Элесеус, но он очень скоро уставал, он не отличался ни сильным телом, ни сильным духом, однако человек был милейший.

— Вон идет Олина, — говорит шутник Сиверт, — поди продай ей еще полфунта кофе!

И Элесеус охотно повиновался. Шел в лавку и отпускал Олине какую-нибудь мелочь. Так он на время избавлялся от работы на болоте.

А бедняжка Олина теперь совсем редко приходила за кофе. Разве что иной раз раздобудет деньжонок у Акселя или выручит маленько за головку козьего сыра. Про Олину уже нельзя было сказать, что она совсем не меняется, служба в Лунном оказалась чересчур тяжела для старухи и подточила ее силы. Но при этом она ни за что не хотела признавать своей старости и немощности, она бы изрядно взъерепенилась, если бы ей отказали от места. Она была выносliва и крепка, исправно делала свою работу и находила время зайти к соседям, чтоб отвести душу за беседой, которой ей не хватало дома. Аксель-то был не говорун.

Она осталась недовольна процессом, разочарована решением суда. Оправдание по всей линии! Олина никак не могла взять в толк, как это Барбру вышла сухой из воды, тогда как Ингер из Селланро засадили на восемь лет, и совсем не по-христиански злилась, что ближнему ее сделали добро. «Но Всемогущий еще не сказал своего слова!» — хитро подмигивала Олина, словно провидя возможный небесный приговор в будущем. Разумеется, удержать про себя свое недовольство процессом было выше ее сил, а уж когда она ссорилась из-за чего-нибудь со своим хозяином, то непременно принималась за свое, изощряясь в язвительности:

— Что и говорить, мне, конечно, неизвестно, как смотрит теперь закон на содомские грехи, но я-то живу в согласии со словом Божиим, такая уж я глупая!

До чего ж надоела Акселю его экономка и как он желал избавиться от нее! А тут опять наступила весна, и все работы приходится делать одному; потом подойдет сенокос, и он окажется все равно что без рук. Вот каковы были виды. Невестка его в

Брейдаблике написала своим в Хельгеланн, чтоб ему прислали хорошую работницу, но до сих пор так никого и не нашли. Вдобавок еще и дорогу оплачивать придется.

Да, очень нехорошо и подло поступила Барбру, что убила ребенка и сама сбежала! Две зимы и одно лето ему поневоле пришлось обходиться с Олиной; похоже, так оно будет и впредь. А Барбру хоть бы что, дрянь этакая! Однажды зимой ему случилось поговорить с ней в селе — хоть бы слезинка выкатилась у нее из глаз и замерзла на щеке.

— Куда ты девала кольца, которые я тебе подарил? — спросил он.

— Кольца? — проговорила она.

— Ну да, кольца.

— У меня их нет.

— Значит, у тебя их больше нет?

— Ведь между нами все кончилось, — сказала она, — выходит, мне уже нельзя их больше носить. Так никогда не делается, чтоб носить кольца, когда все кончено.

— Мне желательно знать, куда ты их девала.

— Ты хочешь взять их обратно? — спросила она. — Мне бы не хотелось выставлять тебя таким скаредом.

Подумав немножко, Аксель сказал:

— Я бы заплатил тебе за них. Ты отдала бы их не задаром!

Так нет же, Барбру сбыла куда-то кольца, лишив его возможности задешево заполучить обратно золотое кольцо и серебряное.

Впрочем, Барбру была весьма приятна и вовсе не выказала грубости, вовсе нет! На ней был длинный передник с бретелями и складочками, а у ворота белая обшивочка, очень красивая. Поговаривали, что она завела себе дружка в селе, но, может, это просто болтали, ленсманша держала ее в строгости, даже на Святках танцевать не пустила.

Да, ленсманша и в самом деле строго следила за Барбру: когда Аксель разговаривал на дороге со своей бывшей работницей о кольцах, барыня вдруг выросла между ними и сказала:

— Ведь я, кажется, послала тебя в лавку, Барбру?

Барбру ушла. Барыня обратилась к Акселю:

— Нет ли у тебя продажной убоины?

Аксель только хмыкнул и поклонился.

А ведь не далее как нынче осенью ленсманша вовсю расхваливала его, какой он-де замечательный парень, самый замечательный из всех парней, за это следует платить. Аксель знал, как народ в старину расплачивался с господами, с властями, оттого у него тогда же мелькнула мысль об убоине, о молодом бычке, которым он мог бы пожертвовать. Но дни шли, миновала осень, уходил месяц за месяцем, а бычок так и стоял в хлеву. Ну что случится плохого, если бычок и впредь останется при нем, во всяком случае, отдав его, он станет на одного бычка беднее, а бычок вон какой уже вымахал.

— Гм. Здравствуйте! Нету, — сказал Аксель и помотал головой в знак того, что убоины у него нет.

Но барыня словно читала его потаенные мысли.

— А я слыхала, будто у тебя есть бычок, — сказала она.

— Есть-то есть, — отвечал Аксель.

— Он тебе нужен?

— Да, нужен.

— Так, — сказала ленсманша, — а барана нет?

— Нет, сейчас нету. У меня ведь в аккурат столько скотины, сколько я могу прокормить.

— Да, да, ну что ж, нет так нет. — Барыня кивнула головой и пошла.

Аксель поехал домой, но разговор этот не выходил у него из головы и он с испугом думал, не наделал ли глупостей. Ленсманша в свое время оказалась важной свидетельницей, она показывала и за него и против него, но свидетельница она была важная. Ему изрядно досталось, но, во всяком случае, он выкарабкался из тяжелого и неприятного дела, в котором был замешан детский трупик, похороненный в его лесу. Пожалуй, лучше все-таки пожертвовать одного барана.

Удивительно, что эта мысль имела отдаленную связь с Барбру: когда он придет к ее хозяйке с бараном, Барбру поневоле проникнется к нему некоторым уважением.

А дни все шли, и ничего дурного оттого, что они шли, не случилось. Поехав снова в село, Аксель не взял с собой барана, однако в последнюю минуту прихватил ягненка. Впрочем, ягненок был крупный, не какой-нибудь заморыш, и, придя с ним к ленсманше, Аксель сказал:

— У баранов очень уж жесткое мясо, а мне хотелось подарить вам что получше!

Но ленсманша и слышать не хотела ни о каких подарках.

— Говори, почем хочешь за фунт? — сказала она.

Гордая барыня, нет, спасибо, не в ее привычках принимать подарки от простонародья! Кончилось тем, что Аксель выручил за ягненка хорошие деньги.

Барбру он не видал. Ленсманша, должно быть, заметила, как он подходил, и отослала ее. Что ж, скатертью дорожка, Барбру на целых полтора года оставила его без работницы!

IX

Весной произошло событие весьма неожиданное и важное: Гейслер продал гору, на медном руднике собирались возобновить работы. Неужто невероятное все-таки произошло? О, Гейслер был непредсказуемый господин, в его власти было продавать или не продавать, трясти головой отрицательно и кивать утвердительно. В его власти было заставить целое село вновь заулыбаться.

Значит, в нем заговорила-таки совесть, он не захотел дольше наказывать свой бывший округ, наслав на него домодельную кашу и безденежье? Или он получил все же свои четверть миллиона? А может быть и так, что Гейслер сам испытал нужду в деньгах и вынужден был спустить гору за что дадут? Двадцать пять или пятьдесят тысяч тоже ведь деньги. А впрочем, ходили слухи, что продажу совершил от имени отца его старший сын.

Но как бы там ни было, разработка возобновилась, приехал тот же инженер с рабочими, пошла та же работа. Та же, да не та, и велась она совсем по-другому, чем прежде, как-то задом наперед.

Казалось, все так просто: приехали шведы с рабочими, привезли с собой динамит и деньги, в чем же дело? Даже Аронсен вернулся, торговец Аронсен, пожелавший во что бы то ни стало выкупить Великое.

— Нет, — сказал Элесеус, — я не продаю.

— Продадите, за хорошую-то цену.

— Нет.

Нет, Элесеус ни за что не хотел продавать Великое. Объяснялось это тем, что положение торговца в деревне уже не представлялось ему таким жалким, как прежде, у него была красивая веранда с цветными стеклами, был помощник, который все за него делал, а сам он мог путешествовать. Да еще в первом классе, с благородными господами! Хорошо бы когда-нибудь прокатиться аж в Америку, он частенько об этом подумывал. Даже деловые поездки в южные города для установления связей и те каждый раз давали ему столько впечатлений, что он долго жил ими. Не то чтобы он очень форсил и разъезжал на собственном пароходе или закатывал оргии. Он — и оргии! В сущности, он был какой-то странный, совсем перестал интересоваться девушками, он бросил их, утратил к ним интерес. Но при этом он был сын маркграфа, он ездил в первом классе и закупал много товаров. Из поездок своих он каждый раз возвращался все наряднее и важнее, в последний раз приехал в галошах.

— Зачем это ты носишь две пары обуви? — спрашивали его.

— Да потому, что у меня очень зябнут ноги, — отвечал Элесеус.

И все жалели его, потому что у него зябнут ноги.

Счастливые дни, барская жизнь и полное безделье! Нет, он не хочет продавать Великое. Неужто ему снова возвращаться в маленький городишко и снова стоять в мужичьей лавчонке и не иметь под своим началом помощника! К тому же он намеревался развить в Великом бурную деятельность. Вернулись шведы, опять потекут денежки, болван он будет, если продаст усадьбу. Аронсен каждый раз уходил, получив отказ, все более и более ужасаясь тому, что наделал, так глупо бросив эти места.

Но Аронсену было в самую пору умерить свои муки, а Элесеусу точно так же было в самую пору умерить свои большие

надежды; самое же главное, не следовало хуторянам и сельчанам так уж уповать на будущее и ходить, блаженно улыбаясь и довольно потирая руки, словно ангелы в раю, да, хуторянам и сельчанам совсем не следовало бы так поступать, ибо охватившее их разочарование оказалось громадным. Кто бы мог поверить: работы в руднике-то начались, верно, но начались-то они на противоположном конце горы, в двух милях отсюда, на южном конце Гейслеровой горы, в другой, чужой волости и совсем от них в стороне. Оттуда работа будет постепенно продвигаться к северу, к первой медной горе, к Исааковой, чтобы стать благословением для хуторов и села. В лучшем случае на это потребуется много лет, потребуются десятилетия.

Весть эта грянула, как страшнейший взрыв динамита, всех затуманила и оглушила. Жители села погрузились в глубокую скорбь. Одни обвиняли Гейслера, мол, этот чертов Гейслер опять сыграл с ними шутку, другие приплелись на сход и снова послали депутацию из доверенных лиц, на этот раз к рудничной компании, к инженеру. Все это ни к чему не привело, инженер объяснил, что разработку горы надо начинать с южной стороны, потому что там рядом море, не надо строить подвесной дороги, не надо почти никаких перевозок. Нет, работы начнутся на южной стороне. Это вопрос решенный.

Тогда Аронсен вмиг переехал на место новых работ, поближе к новым золотым россыпям. Он даже пожелал взять с собой помощника Андресена.

— Чего тебе торчать в этой дыре? — сказал он. — Со мной тебе будет лучше!

Однако помощник Андресен наотрез отказался покинуть Великое; непостижимо, но его словно что-то привязывало к здешним местам, видимо, ему здесь нравилось, он будто прирос к этой земле. Должно быть, это Андресен так переменился, потому что места остались такие, как и были. Люди и условия их жизни были аккурат такие же, как прежде: да, горные работы отошли от этих краев, но ни один из хуторян не потерял из-за этого головы, у них была их земля, были урожаи, был скот. Денег, правда, водилось немного, но все необходимое для жиз-

ни имелось, решительно все. Даже Элесеус не пришел в отчаяние от того, что денежный поток промчался мимо, хуже всего было, что в первом пылу он накупил много неходких товаров, но они могут и полежать, они только украшают лавку.

Поселянин не потерял головы. Он не считал, что местный воздух ему вреден, публики для демонстрации его новых нарядов у него было предостаточно, о брильянтах он не тосковал, вино знал по браку в Кане Галилейской. Поселянин не горевал об удовольствиях, которых не имел: искусство, газеты, роскошь, политика стоят ровно столько, сколько люди готовы за них платить, не больше того; плоды же земные, напротив, достаются по бог весть какой цене, они всему начало, единственный источник. Жизнь поселянина пуста и печальна? О, ничуть не бывало! У него свои высшие силы, свои мечты, своя любовь, свои разнообразные предрассудки. Однажды вечером Сиверт идет берегом реки и вдруг останавливается: на воде покачиваются две дикие утки, самец и самка. Они увидели его, увидели человека и испугались, одна говорит что-то, отрывистый звук, мелодия в три тона, вторая отвечает ей в лад. В ту же секунду птицы снимаются с места, чиркают, словно два маленьких колесика, по воде и снова садятся на воду, на расстоянии брошенного камня. Одна опять что-то говорит, а другая отвечает, это та же фраза, что и в первый раз, но в ней столько блаженства: она звучит двумя октавами выше! Сиверт стоит и смотрит на птиц, смотрит мимо них, куда-то далеко, в грезу. Какой-то покой снизошел на него, какая-то нежность, в нем проснулось смутное и легкое воспоминание о чем-то необычном и чудесном, пережитом когда-то раньше, но изгладившемся из памяти. Он идет домой притихший, никому ничего не рассказывает, не болтает попусту; то, что ему довелось услышать, совсем не походило на земные слова. Вот вам и Сиверт из Селланро, молодой и самый обыкновенный: выйдя однажды вечером из дома, он и пережил такое.

Это было не единственное его приключение, случались и другие. Среди них — и отъезд Йенсины из Селланро, внесший сумятицу в душевную жизнь Сиверта.

Да, вышло так, что она уехала, сама захотела уехать. О, Йенсина вовсе не была первой и самой лучшей, этого никто бы не сказал! Однажды Сиверт предложил отвезти ее домой, в тот раз она, к сожалению, расплакалась, а потом раскаялась в своих слезах и в доказательство, что раскаялась, отказалась от места. Ну что ж, все понятно.

А Ингер из Селланро отъезд Йенсины пришелся как нельзя более по душе, она все чаще и чаще бывала недовольна своей работницей. Странное дело, вроде бы Ингер было не в чем ее упрекнуть, но смотрела она на девушку с явной неприязнью, с трудом вынося ее присутствие в усадьбе. Наверное, это связано было с душевным состоянием Ингер: всю зиму она прожила в мрачности и благочестии, и это не прошло для нее бесследно.

— Хочешь уехать? Ну что ж, — сказала Ингер.

Вот уж поистине счастье, исполнение ночных молитв. Их и так две взрослые женщины на усадьбе, к чему еще эта пышущая свежестью девица на выданье? Ингер с неприязнью отмечала в Йенсине эту зрелую готовность к браку и, должно быть, думала: «Точь-в-точь такая была когда-то и я!»

Ее набожность не убывала. Неиспорченная от природы, она отведала в жизни сладкого, полакомилась, но она вовсе не стремилась к тому же на старости лет, и речи быть не может. Ингер с ужасом отгоняла саму мысль об этом. Прекратились работы на руднике, уехали рабочие — о Господи, да чего ж еще желать! Добродетель можно не только вынести, она необходима, необходимое благо, милость.

А мир совсем свихнулся. Посмотреть хотя бы на Леопольдину, на маленькую Леопольдину, — зернышко, ребенок, а и она до краев полна здоровья и греха; обними ее кто за талию, и она готова пасть, фу! На лице у нее появились прыщики, верный признак буйства в крови, о, мать отлично помнила, что именно с этого начинается буйство в крови. Мать не осуждала дочь за эти прыщики, но ей не терпелось с ними покончить, Леопольдине надо немедленно избавиться от этих прыщиков. И чего ради этот помощник Андресен таскается по воскресеньям в Селланро и болтает с Исааком о сельском хозяйстве? Неужто оба

они воображают, что малютка Леопольдина ничего не понимает? И в старину, лет тридцать — сорок тому назад, молодежь была необузданна, но теперь она стала еще хуже.

— Ну, уж как будет, так и будет, — сказал Исаак, когда они заговорили об этом. — Но вот весна на дворе, а Йенсина уехала, кого же нам взять на летние работы?

— Мы с Леопольдиной сами станем работать, — сказала Ингер. — Да я готова работать день и ночь! — проговорила она взволнованно и со слезами в голосе.

Исаак не понял причины этой бурной вспышки, но у него были свои собственные планы, и, взяв кирку и лом, он пошел на опушку леса и занялся обработкой камня. Он и впрямь не мог взять в толк, как так получилось, что работница Йенсина уехала, хорошая была девушка. Его пониманию вообще доступны были только самые простые и явные представления — работа, предписанные законом или природой поступки. Большой, с мощным мускулистым торсом, он менее всего походил на эфирное существо, и ел он как положено мужику, что шло ему тоже на благо, и потому он очень редко выходил из равновесия.

Так вот, стало быть, этот камень. Камней-то вокруг было много и самых разных, но для начала он выбрал этот. Исаак предвидит день, когда ему придется построить здесь маленькую избушку, уголок для себя и Ингер, он решил расчистить место, пока Сиверт в Великом, не то придется давать сыну объяснения, а этого он хочет избежать. Конечно, придет время, и Сиверту понадобятся все строения на усадьбе, значит, родителям нужно приготовить для себя избу. Собственно говоря, стройка в Селланро никогда и не прекращалась, большой сеновал над каменным скотным двором до сих пор еще не поставлен. Но бревна и доски для него готовы.

Стало быть, этот камень. Он не особенно выступал над землей, но от ударов не подавался, значит, наверняка здоровенный. Исаак окопал его кругом и попробовал приподнять ломом — камень не шелохнулся. Он покопал еще немного и снова попробовал приподнять — нет. Делать нечего, Исааку пришлось сбегать домой за лопатой, чтоб откинуть землю. Он снова око-

пал, снова попробовал — нет. «Вот так дядя!» — терпеливо подумал Исаак про камень. Он уже копал довольно долго, а камень только все глубже и глубже уходил в землю, никак за него не ухватишься. Досадно, если придется взрывать его. Удары по буру услышат из дому, сразу все сбегутся. Он продолжал копать. Сходил за вагой и опять попробовал — нет! Опять покопал. Исаак начал немножко сердиться на камень, сдвинув брови, он глядел на него так, словно пришел сюда понаблюдать за здешними камнями и как раз этот камень оказался особенно противным. Он ругал его, камень такой круглый и дурацкий, никак за него не ухватишься, Исааку почти казалось, что он над ним издевается. Взорвать? Еще чего, тратить на него порох! Так неужто отказаться, признаться в своем страхе перед тем, что камень одолеет его?

Он все копал и копал. Устал ужасно, это да, но куда девался страх? Он подсунул под камень конец ваги и попробовал — камень не шелохнулся. Технически все было проделано безупречно, а толку никакого. Что же это такое, разве Исаак не ломал раньше камней? Может, стареет? Чудно́, хе-хе. Смешно. Правда, он недавно заметил у себя признаки, говорящие об ослаблении силы, то есть вовсе он их не заметил, даже внимания не обратил, просто ему это померещилось. И он снова принимается за камень с твердым намерением сдвинуть его с места.

Да, это вам не пустяк: Исаак ложится всем телом на вагу и давит на нее изо всех сил. Он лежит на ваге и давит, и давит, словно великан, богатырь, и кажется, будто туловище его вытягивается до самых колен. Во всем этом есть какая-то пышность, фантастичность.

Но камень не шелохнулся.

Делать нечего, придется копать дальше. Взорвать камень? Молчок! Нет, придется копать дальше. Он вошел в азарт, он во что бы то ни стало вытащит камень! Нельзя сказать, что в этом упрямстве сказывалась какая-то испорченность Исаака, — нет, то была затаенная любовь землепашца, любовь, напрочь лишенная нежности. Со стороны поглядеть, глупее не придумаешь: сначала, прежде чем навалиться на камень, Исаак, казалось,

припадал к нему — то с одного боку, то с другого, потом окапывал его вокруг, ощупывал и счищал землю голыми руками, вот что он делал. Но ни в одном из этих его действий не было ласки. Он разгорячился, но разгорячился от упрямства.

Что, если опять попробовать вагу? Он подсунул ее под камень в наиболее подходящем, на его взгляд, месте — нет. Что же это за упрямый и настойчивый камень! Но ему показалось, будто камень чуть-чуть дрогнул, Исаак снова налегает на вагу, у него появляется надежда. Землепашец чутьем угадывает, что камень уже утратил свою непобедимость. И тут вага вдруг соскальзывает с камня, опрокинув Исаака на землю.

— Черт! — восклицает он. Шапка у него съехала набекрень и едва держится на голове, вид у него эдакого испанского разбойника. Он сплевывает.

Показывается Ингер.

— Иди же поешь, Исаак! — говорит она мягко и ласково.

— Сейчас, — отвечает он, ему не хочется, чтоб она подходила ближе, не хочется разговаривать.

Ох уж эта Ингер, ничего-то она не поняла, она подошла.

— Что это ты опять задумал? — спрашивает она, желая привести его в хорошее расположение духа напоминанием о том, что он чуть не каждый день придумывает какую-нибудь новую грандиозную затею.

Но Исаак мрачен, ужасно мрачен.

— Да ничего я не задумал, — отвечает он.

А Ингер, ну до чего же глупая, уф, продолжает к нему приставать, и не думая уходить.

— Раз уж ты увидала, — говорит Исаак, — так я хочу вытащить этот камень!

— Да ты что!

— Ага.

— А я не могу тебе помочь? — спрашивает она.

Исаак качает головой. Но Ингер явно сделала удачный ход, предложив Исааку свою помощь, теперь ему уже не спровадить ее.

— Пожалуй, погоди немножко! — сказал он и побежал домой за кувалдой и обжимкой.

Если он отколет от камня кусок, камень будет уже не такой гладкий, и у ваги станет больше упора. Ингер держит обжимку, а Исаак что есть силы колотит по камню кувалдой. Удар, снова удар. Ага, вот и отлетел осколок.

— Спасибо за помощь, — говорит Исаак. — И не приставай пока ко мне с едой, я хочу сначала вытащить этот камень.

Но Ингер не уходит. А в глубине души Исааку приятно, что она стоит и смотрит, как он работает, ему еще смолоду это было приятно. И глядите-ка, у ваги теперь нужный упор, он налегает на нее, и — камень шевелится!

— Шевелится! — говорит Ингер.

— А ты не врешь? — спрашивает Исаак.

— Ну вот, вру! Шевелится!

Наконец-то! Он все-таки сдвинул камень с места, черт бы его побрал, они были заодно, он и камень. Исаак наваливается на вагу и пыхтит, и камень шевелится, но и только. Так продолжается несколько минут, да все без толку. Исаак вдруг понимает, что дело не только в его весе, просто у него уже нет былой силы, вот в чем суть, тело его утеряло прежнюю гибкость и упругость. Физическая сила? Чего уж проще — навалиться и сломать крепкую, прочную вагу. Он стал слабее, вот и весь сказ. От этой мысли терпеливый человек преисполняется горечью: хоть бы Ингер не стояла тут и не смотрела на него!

Он вдруг бросает вагу и хватается за кувалду. На него напал гнев, он готов прибегнуть к грубому насилию. Шапка у него по-прежнему набекрень, вид разбойничий; он большими шагами грозно обходит камень, словно решив показать себя ему в настоящем свете, вот возьмет и превратит этот камень в щебенку. А почему бы и нет? Расколотить ненавистный ему камень — простая формальность. А если камень окажет сопротивление, если не даст себя расколотить? Тогда мы еще посмотрим, кто из нас двоих уцелеет!

Но вот Ингер, понимая, что творится на душе у мужа, чуть-чуть боязливо спрашивает:

— А если мы оба наляжем на жердину? — Под жердиной она подразумевает вагу.

— Нет! — яростно кричит Исаак. Но после минутного раздумья говорит: — Впрочем... раз уж ты все равно здесь... но я не понимаю, почему ты не идешь домой. Давай попробуем!

И вот они выворачивают камень на ребро. Наконец-то!

— Уф-ф! — говорит Исаак.

И тут их глазам открывается нечто неожиданное: нижняя часть камня — широченная, аккуратно срезанная, ровная, гладкая, как пол, плоскость. Значит, это лишь половина камня, вторая половина где-нибудь поблизости. Исаак отлично знает, что две половинки одного и того же камня могут залегать в разных пластах — видимо, за долгие-долгие годы мерзлота отделила их друг от друга; но находка удивляет его и радует, этот великолепный камень — отличный поделочный материал для дверной приступки. Крупная сумма денег и та не преисполнила бы сердце хуторянина большей радостью.

— Приступка хоть куда! — гордо говорит он.

Ингер наивно восклицает:

— Не понимаю, откуда ты это прознал!

— Гм! — отвечает Исаак. — А ты думала, я стал бы зазря копать землю?

Они вместе идут домой; Исаак наслаждается незаслуженным восхищением — оно не менее приятно, чем заслуженное. Он рассказывает, как все это время искал подходящую дверную приступку и вот наконец нашел. Теперь его работа на пустоши не будет вызывать никаких подозрений, под предлогом поисков другой половины приступки он может копать, сколько его душе угодно. А вернется Сиверт, так поможет ему.

Но если дело обстоит так, что он уже не может в одиночку корчевать из земли камень, значит, многое изменилось, это неладно, надо поторопиться с расчисткой пустоши. Его нагнала старость, глядишь, скоро и в богадельню пора. Торжество, которое он испытал, найдя дверную приступку, с течением дней растаяло, оно было ненастоящее и непрочное. Исаак стал горбиться при ходьбе.

Разве не было в его жизни времени, когда он весь настораживался, стоило кому-нибудь завести речь о камнях и о пахо-

те? И было это совсем не так давно, всего несколько лет назад. И плохо пришлось бы тогда тому, кто косо поглядит на осушенное болото. Теперь он стал принимать подобные вещи много спокойнее, о-ох, Господи! Прежнего ничего не осталось, весь здешний край переменился; этой широкой телеграфной просеки через лес не было, горы у моря еще не были покалечены вдоль и поперек взрывами. А люди? Разве говорили они «Мир вам!», когда приходили, или «Оставайтесь с миром!», когда уходили? Они просто кивали головой, а бывало, и вовсе не кивали.

Но ведь прежде не было и никакого Селланро, была просто дерновая землянка. А что теперь? И никакого маркграфа прежде не было.

Так-то оно так, но кто он такой, этот маркграф, теперь? Просто унылый и слабый человек. Какой прок поглощать еду и иметь здоровые кишки, если от этого не прибывает сил? Теперь силы у Сиверта, и слава Богу, что у Сиверта они есть; но Господи, если бы они были и у Исаака. Что же хорошего в том, что его шестеренки начали замедлять ход? Он работал как настоящий мужчина, спина его выдерживала тяжести впору вьючной скотине, взамен он проявит выносливость, дав ей отдохнуть на табуретке.

Исаак недоволен, Исаак удручен.

Вот лежит на пригорке и преет старая зюйдвестка. Сюда, на опушку, ее занесло, наверно, сильным порывом ветра, а может, ребятишки бросили, когда были маленькие. Она лежит здесь год за годом и все больше и больше преет, а была когда-то отличная новая зюйдвестка, вся желтая. Исаак хорошо помнит, как он пришел в ней от торговца и Ингер сказала, что зюйдвестка очень красивая. Года через два он зашел на селе к маляру и попросил его хорошенько вычернить зюйдвестку, а козырек выкрасить зеленым. Когда он вернулся домой, Ингер сказала, что зюйдвестка стала еще красивее. Ингер всегда все нравилось, да, хорошее было время, он колол дрова, а Ингер смотрела — то была его лучшая пора. А когда наступали март и апрель, они с Ингер сходили с ума друг по другу, аккурат как птицы и звери в лесу, а потом наступал май и он принимался сеять хлеб и сажать картошку и трудился круглые сутки. Тогда были работа и

сон, любовь и мечты, он походил на своего первого быка, а бык тот был ну просто чудо природы — большой да гладкий и выступал, словно король. Но в нынешние годы такого мая больше не случалось. Нету его.

Несколько дней Исаак ходил сам не свой. То были мрачные дни. Он не чувствовал в себе ни сил, ни охоты приняться за новый сеновал, пусть уж об этом позаботится Сиверт; если что и нужно построить, так это избушку на старость. Он не мог долго скрывать от Сиверта, что расчищает на опушке место для стройки, и однажды так прямо и сказал:

— Там есть хороший камень, на случай, если нам когда-нибудь придется что-то строить. И еще один такой же хороший.

Сиверт даже бровью не повел, но ответил:

— Отличные камни для фундамента!

— Послушай, — говорит отец, — мы столько времени потратили в поисках второй приступки, а ведь здесь вышел бы отличный двор. Только вот не знаю...

— Что ж, место для двора неплохое, — отвечает Сиверт и обводит глазами пустошь.

— В самом деле? Можно бы поставить маленькую избушку, на случай, если кто в гости приедет.

— Да-да.

— С горницей и клетью, как по-твоему? Помнишь, к нам приезжали шведские господа, а остановиться им у нас и негде было. А как ты считаешь, не надо ли тут и кухоньку пристроить, на случай, если они захотят что сготовить?

— Да как же без кухни-то? Еще на смех нас поднимут, — сказал Сиверт.

— Ты так думаешь?

Отец замолчал. А Сиверт, удивительный парень, этот Сиверт, как он хорошо понимает, что за изба требуется для шведских господ, и никогда ведь даже ничего не спросит, только вдруг возьмет да и скажет:

— На твоем месте я бы сделал маленький чуланчик у северной стены, ведь, глядишь, им понадобится просушить мокрую одежду.

Отец сейчас же подхватывает:

— Это ты дело говоришь!

Они молча углубляются в работу. Немного погодя отец спрашивает:

— Элесеус еще не вернулся?

Сиверт отвечает уклончиво:

— Наверно, скоро приедет.

Чистая беда с Элесеусом, самое милое для него дело уехать подальше от дома, попутешествовать. Неужто нельзя выписать товары, вместо того, чтоб самому ездить за ними? Правда, так они обходятся ему гораздо дешевле, но зато во сколько обходятся самые разъезды? Чудно как-то он рассуждает. И на что ему столько ситцев да бумазеи, и разных шелковых ленточек на крестильные чепчики, и черных и белых соломенных шляп, и длинных чубуков для трубок? Никто из хуторян таких вещей не покупал, а покупатели из села приходили в Великое только тогда, когда у них не было денег. Элесеус по своей части толковый парень, посмотреть только, как он пишет на бумаге или записывает мелом какие-то свои подсчеты! «Нам бы твою голову!» — говорили ему люди. Это-то все верно, но он тратит слишком много денег. Ведь покупатели из села никогда не платят своих долгов, а даже такая голытьба, как Бреде Ольсен, приходит зимой в Великое и берет в кредит и бумазею, и кофе, и патоку, и керосин.

Исаак напередавал уже так много денег Элесеусу на его торговлю и разъезды, что от богатства, полученного за медную гору, немного осталось. Ну а дальше что?

— Как, по-твоему, идут дела у Элесеуса? — спрашивает вдруг Исаак.

— Дела-то? — переспрашивает Сиверт, чтоб выгадать время.

— Непохоже, чтоб хорошо.

— Он надеется, что еще пойдут.

— Вот как? Ты говорил с ним об этом?

— Нет. Андресен сказывал.

Отец обдумывает ответ и качает головой.

— Нет, не пойдут! — говорит он. — А жалко Элесеуса!

Отец все мрачнеет и мрачнеет, а он и прежде-то был не очень веселый.

Тогда Сиверт делится с ним новостью:

— А у нас тут прибавилось народу.

— Как так?

— Еще двое новоселов. Купили участок напротив нас.

Исаак так и застывает с ломом в руках, это большая новость, хорошая новость, одна из самых лучших.

— Стало быть, нас теперь будет десятеро, — говорит он.

Исаак расспрашивает подробнее, где именно купили новоселы землю, вся география местности у него в голове, он кивает:

— Да, это они правильно сделали, там много лесу на дрова, да и строевые сосны попадаются. Участок смотрит на юго-восток.

Стало быть, новоселов ничто не отпугивает, народу все прибавляется. Работы на руднике прекратились, но это только на пользу земледелию, неправда, что земля умирает, наоборот, она только-только начинает жить, вот и еще появились двое новых поселенцев — четыре лишних руки, поля, луга, дома. Ах, как хороши зеленые полянки в глубине леса, избушка, колодец, дети, скотина! Где раньше на болотах торчал один крестовник, колышатся колосья, кивают на межах голубенькие колокольчики, солнце пылает золотом на лютиках у домов. И ходят там люди, разговаривают меж собой, размышляют и составляют одно целое с небом и землей.

А вот стоит человек, который первым пришел в это безлюдье. Он пришел однажды, увязая по колено в болотах и путаясь в вереске, отыскал поросший лесом склон горы и поселился на нем. За ним пришли другие, протоптали тропинку на пустынной земле, потом пришли еще другие, тропинка превратилась в дорогу, теперь по ней ездят на телегах. Исаак должен быть доволен, душа его должна трепетать от гордости: он основатель этого поселения, он — маркграф.

— Да, да, хватит нам все время возиться с этим двором, надо и о сарае для фуража подумать, — говорит он.

Должно быть, пришел в радостное расположение духа, почувствовал вкус к жизни.

X

В гору поднимается женщина. Льет ровный летний дождь, она промокла, но не обращает на это внимания, ей есть о чем подумать, она взволнована — это не кто иная, как Барбру. Барбру, дочка Бреде. Конечно, она взволнованна: она не знает, чем закончится ее затея, ведь она ушла от ленсмана и бросила село. Вот как обстоит дело.

Она обходит стороной все здешние хутора, потому что не хочет никому попадаться на глаза; ведь всякий поймет, куда она направляется, — на спине у нее узел с одеждой. Ну да, она направляется в Лунное, где хочет опять поселиться.

Она прослужила у ленсмана десять месяцев, срок немалый, если перевести его на дни и ночи, а в пересчете на постоянное принуждение и скуку — это целая вечность. Вначале все шло отлично, госпожа Хейердал была очень заботлива, подарила несколько передников и приодела ее, приятно было ходить за покупками в лавочку в таких красивых платьях. Ведь Барбру сызмальства жила в этом селе, знала всех и каждого с той поры, как играла на улице, ходила в школу, целовалась с мальчиками и играла в камешки и раковины. Месяца два-три все шло хорошо. Но тут госпожа Хейердал стала проявлять к ней еще бóльшую заботливость, а с приходом рождественских праздников стала просто-напросто строгой. К чему это могло привести, как не к порче добрых отношений! Барбру и вовсе не выдержала бы такой жизни, не оставайся в ее полном распоряжении несколько ночных часов: с двух до шести утра она была до известной степени в безопасности, и в эти часы она позволила себе немало краденых удовольствий. Но что же это была за кухарка, которая не выдала ее? Да самая обыкновенная девушка на свете: кухарка сама уходила из дому без спросу. Они соблюдали неукоснительную очередность.

Прошло немало времени, прежде чем все это открылось. Барбру была вовсе не так легкомысленна, чтобы каждый мог прочесть об этом у нее на лбу, да и в безнравственности ее никто бы не заподозрил. Безнравственность? Она давала отпор при каждом случае. Когда на Святках парни приглашали ее на танцы,

она отвечала «нет» — один раз, два раза, но на третий говорила: «Попробую прийти от двух до шести!» Ну что ж, это ответ всякой порядочной женщины, которая не выставляет себя хуже, чем она есть, но и не кичится своей дерзостью. Она была служанка, служила в людях всю жизнь и не знала иных развлечений, кроме как пококетничать. Ничего больше она и не желала. Ленсманша приходила к ней, читала нотации и давала книжки — вот дурища! Это Барбру-то, которая жила в Бергене, читала газеты и ходила в театр! Это вам не какая-нибудь неотесанная деревенщина.

Но, должно быть, у ленсманши зародились подозрения. Однажды в три часа утра она подходит к двери комнаты, где спят девушки, и зовет:

— Барбру!

— Да? — отвечает кухарка.

— А разве Барбру нет? Отопри!

Кухарка отпирает дверь и дает заранее обговоренное объяснение: мол, Барбру неожиданно пришлось побежать домой.

— Домой, неожиданно? Да ведь три часа ночи, — говорит барыня, до бесконечности развивая эту мысль.

Наутро последовал долгий допрос, призвали Бреде.

— Была у вас Барбру нынче ночью в три часа? — спросила его барыня.

Бреде не подготовлен, но отвечает:

— Да. В три часа? Была нынешней ночью. А засиделись мы так долго потому, что надо было кое о чем потолковать.

Ленсманша торжественно возвещает:

— Больше Барбру не будет выходить по ночам из дому!

— Конечно, конечно, — отвечает Бреде.

— Пока она служит у меня — этого не будет!

— Ясно. Ты слышишь, Барбру, я ведь предупреждал тебя! — восклицает отец.

— Можешь сходить к своим родителям иногда по утрам! — решает барыня.

Но бдительная ленсманша, видать, не вполне освободилась от своих подозрений; выждав неделю, она снова в четыре часа утра отправилась на разведку.

— Барбру! — позвала она.

Но на этот раз нет кухарки, а Барбру дома, стало быть, их комната — воплощение самой невинности. Барыне пришлось наспех что-нибудь придумать:

— Ты внесла вечером белье в дом?

— Да.

— Вот и хорошо, а то поднимается сильный ветер. Покойной ночи!

Впрочем, это занятие оказалось для ленсманши утомительным и хлопотным: упрашивать ленсмана, чтоб он будил ее по ночам, а потом плестись через весь дом к комнате девушек и подслушивать, там ли они. Пусть делают что хотят, она не будет больше следить за ними.

И если бы счастье не изменило Барбру, она бы, пожалуй, выдержала такую жизнь у своей хозяйки до конца года. Но несколько дней тому назад между ними случился полный разлад.

Произошло это ранним утром на кухне. Сначала Барбру слегка повздорила с кухаркой, впрочем, не так уж и слегка, а как следует; они кричали все громче и громче, совсем позабыв, что в кухню может зайти барыня. Кухарка вела себя подлее подлого, удрав нынешней ночью не в очередь, потому что было воскресенье. И что бы, вы думали, она привела в свое оправданье? Что ей необходимо было проститься с любимой сестрой, уезжавшей в Америку? Ничего подобного, кухарка вовсе и не собиралась оправдываться, а только сказала, что хорошо повеселилась в эту ночь.

— Нет у тебя за душой ни совести, ни чести, тварь ты этакая! — сказала Барбру.

А в дверях барыня стоит.

Должно быть, идя к ним, она имела в виду спросить объяснение этому крику, но, ответив на приветствие девушек, она вдруг как-то странно уставилась на Барбру, на ее грудь, наклонилась и стала смотреть еще пристальнее. В кухне повисла гнетущая тишина. И вдруг барыня вскрикивает и кидается к двери.

«Господи, что такое?» — думает Барбру и смотрит себе на грудь. Ох, Господи, вошь! Барбру невольно улыбается и, так как

она не привыкла теряться в чрезвычайных обстоятельствах, невозмутимо стряхивает с себя вошь.

— На пол? — кричит барыня. — Ты с ума сошла! Подними эту пакость!

Барбру принимается за поиски и опять действует очень ловко: делает вид, будто нашла вошь, и широким жестом бросает ее на плиту.

— Откуда она у тебя? — негодует барыня.

— Откуда она у меня? — переспрашивает Барбру.

— Да, я желаю знать, где ты была, где ее подцепила? Отвечай!

И тут Барбру допустила постыдную ошибку. Ей бы ответить: «В лавке!» И на этом все бы и кончилось. А она возьми да и скажи, что не знает, откуда у нее вошь, намекнув при этом, не от кухарки ли.

Кухарка так и подскочила:

— От меня? Ты и сама мастерица притаскивать вшей!

— Да ведь нынче-то ночью ты уходила из дому!

Опять ошибка, вот уж этого ей никак не следовало упоминать. Кухарке не было больше смысла молчать, тут все и выплыло на Божий свет о злополучных ночных странствиях Барбру. Ленсманша пришла в страшнейшее волнение, до кухарки ей дела нет, но Барбру, к которой она так хорошо относилась! И может быть, все бы еще обошлось, если б Барбру поникла головой, как тростинка, пала бы наземь и поклялась какими-нибудь удивительно твердыми клятвами, что впредь этого не будет. Так нет же. В конце концов барыне пришлось напомнить своей горничной обо всем, что она для нее сделала, и тут Барбру принялась отвечать и возражать, вот до чего оказалась глупа. А может, и очень умна, если хотела довести дело до точки и выбраться отсюда? Барыня сказала:

— Я вырвала тебя из львиных когтей.

— Что до этого, — ответила Барбру, — то мне и без вас было бы не хуже.

— Вот твоя благодарность! — воскликнула барыня.

— Долго молчали, да звонко заговорили, — сказала Барбру. — Если б меня и осудили, то все равно не больше как на несколько месяцев, тем бы все и кончилось!

На какую-то долю секунды барыня онемела от изумления, некоторое время она стоит в оцепенении, беззвучно открывая рот и снова его закрывая. Первое слово, какое ей удается произнести, — расчет!

Барбру только и ответила:

— Как вам будет угодно!

Следующие за этим дни Барбру прожила дома у родителей. Но там ей нельзя было оставаться. Мать, правда, торговала теперь кофе и к ней приходило много народу, но Барбру на это не прожить, а может, у нее были и другие веские причины занять более прочное положение. И вот сегодня она вскинула на спину узел с одеждой и отправилась в путь. Теперь все зависит от того, примет ли ее Аксель Стрём! Но она устроила так, что в прошлое воскресенье их огласили в церкви.

Льет дождь, грязь непролазная, но Барбру идет. Вечереет, но так как до Дня святого Олафа далеко, еще светло. Бедняжка Барбру, она совсем не жалеет себя, она идет, чтобы выполнить свою задачу, ей надо дойти и снова начать борьбу. Собственно, она никогда себя не жалела, никогда не ленилась, оттого она и красива и тонка станом. Барбру все схватывает на лету и часто пользуется этим на свою погибель, но чего же иного ожидать? Она привыкла бросаться из крайности в крайность, но сумела сохранить много хороших качеств, смерть ребенка для нее ничто, но живого ребенка она охотно угостит конфеткой. Вдобавок у нее замечательный музыкальный слух, она трогательно и верно тренькает на гитаре и поет хрипловатым голосом, ее очень приятно и чуть-чуть грустно слушать. Жалеть себя? О, она жалела себя так мало, что давно уже выплеснула всю себя за борт, не заметив при этом никакой потери. Изредка она плачет, и сердце у нее разрывается при мысли о том или ином эпизоде ее жизни; но так оно и полагается, это от песен, которые она поет, от поэзии и милого ее дружка, она обманывала этим и себя и многих других. Будь у нее сегодня с собой гитара, она нынче же вечером поиграла бы Акселю.

Она подгоняет так, чтоб прийти попозже, и когда входит во двор, в Лунном все тихо. Ага, Аксель уже выкосил все вокруг

дома и убрал часть сена! Она соображает, что Олина, по старости лет, спит, наверное, в горнице, а Аксель — на сеновале, где когда-то спала она сама. Она тихонько, словно вор, подходит к знакомой двери, потом тихонько окликает:

— Аксель!

— Что там? — сразу отвечает Аксель.

— Ничего, это только я, — говорит Барбру и поднимается наверх. — Небось не пустишь меня ночью? — говорит она.

Аксель смотрит на нее, медленно соображая, что к чему, сидит в одном белье и смотрит на нее.

— А, так это ты, — говорит он наконец. — Куда это ты собралась?

— Перво-наперво я пришла узнать, нужна ли тебе помощница на лето, — отвечает она.

Аксель думает с минуту, потом спрашивает:

— А ты разве ушла оттуда, где жила?

— Да, я рассчиталась у ленсмана.

— Работница мне, пожалуй, нужна, — говорит Аксель. — Но как это понимать: ты разве надумала вернуться?

— Да ты не беспокойся, — отвечает Барбру. — Я завтра же пойду дальше, в Селланро и за перевал, у меня там есть место.

— Тебя там наняли?

— Да.

— Работница мне, пожалуй, нужна, — повторяет Аксель.

Она промокла насквозь, но в узле у нее белье и платье, и она хочет переодеться.

— Ты не обращай на меня внимания, — говорит Аксель, слегка отодвигаясь к двери.

Барбру принимается стаскивать с себя мокрое платье; разговаривая, Аксель то и дело поворачивает к ней голову.

— Ну а теперь выйди на минутку! — говорит Барбру.

— На двор? — спрашивает он.

Погода и правда не такая, чтоб выходить на двор. Он встает и смотрит, как она все больше и больше обнажается, прямо глаз не оторвать; да и Барбру-то по рассеянности не додумалась сразу надевать сухую одежду, снимая мокрую, не додумалась, и все

тут. Рубашка у нее совсем тоненькая и прилипла к телу, вот она расстегнула ее на одном плече и сразу отворачивается, вот ведь какая ловкая. Он теряет дар речи и молча смотрит, как она всего одним или двумя движениями спускает с себя рубашку. «Надо же, как здорово», — думает он. А она стоит себе как ни в чем не бывало.

Немного погодя они лежат и разговаривают. Да, ему нужна работница, это верно.

— Я слыхала, — говорит Барбру.

Он начал косовицу, ведь запасти сена надо на целый год, а он один, Барбру может понять, как ему трудно.

Да, Барбру все понимает.

С другой стороны, ведь Барбру сама удрала в тот раз и оставила его без работницы, этого он ей не забыл, да еще прихватила с собой кольца. И в довершение всех издевательств ему продолжала приходить ее бергенская газета, от которой он никак не мог отделаться; пришлось потом заплатить за целый год.

— Бессовестная газетенка! — сказала Барбру, во всем соглашаясь с ним.

Но ввиду такой невиданной ее уступчивости Аксель не может вести себя как изверг; он признает, что у Барбру были основания сердиться на него за то, что он отнял у ее отца место на телеграфе.

— Впрочем, отец твой может опять забрать телеграф, — говорит он, — я за ним не гонюсь, пустая трата времени.

— Верно, — соглашается Барбру.

Аксель думает с минуту, потом спрашивает напрямик:

— Ну так как, ты останешься только на лето?

— Нет, — отвечает Барбру, — будет, как ты захочешь.

— Ты это всерьез?

— Да. Как ты хочешь, так хочу и я. Ты больше во мне не сомневайся.

— Ну?

— Да, да. И я сказала, чтоб нас огласили.

Вот оно что. Совсем неплохо. Аксель долго лежит, размышляя. Если на сей раз это всерьез, а не опять какой-нибудь под-

лый обман, он обзаведется работницей и будет обеспечен помощью на вечные времена.

— Я попросил прислать мне женщину с моей родины, — говорит он, — и она написала, что согласна выйти за меня. Да только придется оплатить ей проезд из Америки.

Барбру спрашивает:

— Как, разве она в Америке?

— Да. Уехала в прошлом году, но ей там не нравится.

— Нет, и не думай о ней! — заявляет Барбру. — Что же тогда будет со мной? — забеспокоившись, спрашивает она.

— Оттого-то я и не порешил с ней окончательно.

Должно быть, не желая отстать, Барбру тоже признается, что могла выйти замуж за одного молодого человека в Бергене, он служил возчиком в большой пивной, так что пользовался большим уважением.

— Он и по сию пору вздыхает обо мне, — всхлипывая, говорит Барбру. — Но понимаешь, Аксель, когда между двумя людьми было столько, сколько между мною и тобой, мне такого человека не забыть. А ты, пожалуйста, можешь забыть меня, как только пожелаешь!

— Кто, я? — отвечает Аксель. — Нет, из-за этого тебе нечего плакать, потому что я никогда не забывал тебя.

— Да?

Это признание благотворно действует на Барбру, и она говорит:

— Раз так, зачем тебе выписывать ее из Америки, если можно обойтись без этого!

Она отговаривает его от этой затеи, слишком это дорого, да и незачем. Барбру, по-видимому, вбила себе в голову, что сама составит его счастье.

За ночь они договорились. Они ведь были не чужие друг другу и очень часто обсуждали все это и прежде. Без венчания не обойтись, надо устроить его до Дня святого Олафа и до сенокоса, им нечего скрывать — теперь уже Барбру торопила венчание еще усерднее Акселя. Акселя не оскорбляла настойчивость Барбру, не возбуждавшая в нем никаких подозрений, наоборот,

ее поспешность льстила ему и подогревала его. Ну да, он был весь от земли, твердый как кремень, не очень разборчивый и уж совсем не щепетильный, ему приходилось мириться и с тем, и с другим, и с третьим, он хорошо соображал свою выгоду. К тому же Барбру показалась ему такой свежей и красивой, чуть ли даже не красивее и милее прежнего. Она была словно яблоко, и он запустил в него зубы. Да и в церкви их уже огласили.

Мертвого ребенка и судебный процесс они оба обошли молчанием.

Зато они поговорили об Олине: как им от нее избавиться?

— Нужно ее выпроводить! — сказала Барбру. — Нам ее благодарить не за что. От нее только одни сплетни и злость.

Но выпроводить Олину оказалось не так-то просто.

В первое же утро, увидев Барбру, старуха Олина, должно быть, почуяла свою участь. Она сразу обозлилась, но затаила злость и, лишь кивнув, придвинула Барбру стул. Все то время, что Барбру не было, жизнь в Лунном шла своим чередом, Аксель таскал воду и дрова, делал за Олину всю самую тяжелую работу, а Олина справлялась со всем остальным. С течением времени она решила про себя, что останется на хуторе до конца своих дней, но вот появилась Барбру и разом разрушила ее планы.

— Будь в доме хоть одно кофейное зернышко, я бы сварила тебе кофе, — говорит она Барбру. — Ты идешь куда-нибудь дальше?

— Нет, — отвечает Барбру.

— Вон что, так ты не за перевал?

— Нет.

— Ну да, это меня, конечно, не касается, — говорит Олина. — Опять, значит, в село?

— Нет, и не в село. Я останусь здесь, как раньше.

— Вон что. Будешь тут жить?

— Да, наверно.

Олина молчит с минуту, мозги в ее старой голове работают вовсю; о-о, она тонкий политик.

— Да, — говорит она, — в таком случае я, значит, освобожусь. Вот радость-то!

— Ну, — шутливо говорит Барбру, — разве Аксель так плохо к тебе относился?

— Плохо? Он-то? Не смейся над несчастной старухой, которая только и ждет отпущения грехов! Аксель был мне все равно что отец родной и посланец Божий во всякий день и час, иного я не могу сказать. Но ведь у меня здесь нет родных, живу одинокая и покинутая на чужой стороне, а все мои близкие за перевалом...

Но Олина осталась. Они не могли расстаться с ней, пока не повенчаются, и Олина хорошо на этом сыграла, заставила себя упрашивать, но под конец согласилась задержаться: дескать, ладно, она окажет им эту услугу, присмотрит за скотиной и за домом, пока они будут венчаться. Венчание заняло два дня. Но когда новобрачные вернулись домой, Олина все-таки не ушла. Она тянула время, то была нездорова, то дождь собирался. Она всячески подлизывалась к Барбру: теперь все стало по-другому в Лунном, другая еда, а уж про кофе нечего и говорить! Да, Олина не пренебрегала никакими средствами, она советовалась с Барбру о вещах, которые сама знала лучше ее:

— Как думаешь, подоить мне коров, раз уж они стоят в хлеву, или сначала приняться за Борделину?

— Делай как хочешь.

— Да разве я о том говорю! — восклицает Олина. — Ты побывала в свете, пожила среди богатых и знатных людей и всему научилась. Не то что мы, бедные!

Да, Олина не пренебрегала никакими средствами, круглые сутки ведя свою линию. Подолгу сидела она с Барбру, рассказывая, как была дружна с ее отцом, с Бреде Ольсеном. О, не один приятный часок провели они вместе, он такой почтенный и обходительный человек, этот Бреде, никогда не услышишь от него плохого слова!

Но долго продолжаться так не могло; ни Аксель, ни Барбру не желали больше держать Олину, и Барбру мало-помалу прибрала к рукам все ее обязанности. Олина не жаловалась, но провожала свою хозяйку недобрыми взглядами и постепенно изменила тон.

— Да, теперь-то вы страх какие важные! — говорила она. — Аксель в прошлом году осенью ездил в город, ты с ним там, случаем, не встречалась? Нет, ты ведь была в Бергене. А ездил он по какому-то делу и купил косилку и борону. Что теперь против вас хозяева Селланро? И равнять нельзя!

Она изощрялась в мелких уколах, но и это не помогало; хозяева перестали ее бояться, и однажды Аксель прямо заявил, что ей пора уходить.

— Уходить? — переспросила Олина. — Как это? Ползком, что ли?

Нет, она отказалась уйти под тем предлогом, что нездорова и не в состоянии шевельнуть ногами. И ведь как нехорошо вышло: когда у нее отобрали работу и лишили всякой деятельности, она сразу сникла и впрямь захворала. Но и после этого она протаскалась на ногах еще с неделю. Аксель смотрел на нее с бешенством, а Олина держалась уже на одной злости, но под конец не выдержала и совсем слегла.

И вот она лежит и вовсе не ждет отпущения, наоборот, часами твердит, что поправится. Она потребовала доктора — роскошь, доселе в их глуши неведанную.

— Доктора? — спросил Аксель. — Совсем из ума выжила?

— Почему это? — кротко спросила Олина, притворяясь, будто ничего не понимает.

Она была так кротка и умильна, так счастлива тем, что никому не в тягость, она может заплатить доктору сама.

— Правда? — спросил Аксель.

— А почему и нет? — сказала Олина. — Не лежать же мне здесь и помирать, как беспризорной скотине.

Тут вмешалась Барбру и осторожно спросила:

— Чего тебе не хватает? Разве я не приношу тебе еду? А кофе я тебе не даю для твоей же пользы.

— Это ты, Барбру? — говорит Олина и переводит на нее глаза; она совсем плоха, заведенные к потолку глаза придают ей жуткий вид. — Оно, может, и так, как ты говоришь, Барбру, может, мне и впрямь станет хуже от капельки кофе, от чайной ложечки кофе.

— Будь ты на моем месте, ты бы думала сейчас кое о чем другом, а не о кофе, — сказала Барбру.

— А я что говорю, — ответила Олина. — Ты не из тех, что желают смерти человеку, ты за то, чтоб он поправился и жил дольше. Что это, я вот лежу и смотрю, никак ты в тягостях, Барбру?

— Я? — кричит Барбру и яростно прибавляет: — Так бы и выбросила тебя в навоз за твой язык!

Больная молчит с добрую минуту, но губы ее дрожат, будто она силится улыбнуться и не может.

— Нынче ночью я слышала чей-то крик, — говорит она.

— Она бредит! — шепчет Аксель.

— Нет, я не брежу. Кто-то словно позвал меня. Из лесу или от ручья. Удивительно, аккурат будто кричал маленький ребеночек. Что, Барбру ушла?

— Да, — говорит Аксель, — ей надоело слушать чушь, которую ты несешь.

— Вовсе это не чушь, и я не брежу, как вы думаете, — говорит Олина. — Нет, Всемогущий не допустит, чтоб я предстала перед Престолом и Агнцем со всем тем, что знаю про Лунное. Я еще поправлюсь, но только позови ко мне доктора, Аксель, тогда дело пойдет скорее. Какую из коров-то ты мне подаришь?

— Какую еще корову?

— Корову, которую ты мне обещал. Не Борделину ли?

— Ну уж ты городишь сама не знаешь что, — говорит Аксель.

— Ты ведь обещал мне корову, когда я спасла тебе жизнь, помнишь?

— Нет, не помню.

Тогда Олина поднимает голову и смотрит на него. Она совсем седая и лысая, голова торчит на длинной птичьей шее, она страшна, как сказочное чудовище; Аксель вздрагивает и нащупывает за спиной дверную ручку.

— Ага, — говорит Олина, — так вот ты какой! Значит, пока что мы об этом говорить больше не станем. Проживу и без коровы и не заикнусь об ней. Но хорошо, что ты показал себя аккурат таким, каков ты есть, Аксель, вперед я буду знать, что ты за птица!

А ночью Олина умерла, в какой-то ночной час, во всяком случае, когда утром они вошли к ней, она уже похолодела.

Старуха Олина — родилась и умерла...

Что Аксель, что Барбру, оба они были рады похоронить ее навеки, теперь некого было остерегаться, они повеселели. Барбру опять жалуется на зубную боль, в остальном все идет как надо. Но этот вечный шерстяной платок у рта, который ей приходится отнимать всякий раз, когда она хочет сказать слово, — немалое мученье, и Аксель никак не возьмет в толк, как это могут у человека так долго болеть зубы. Правда, он замечает, что она жует всегда очень осторожно, но ведь у нее все зубы целы.

— Ты же вроде вставила себе новые зубы? — спрашивает он.

— Да.

— Что же, и они тоже болят?

— Ну сколько можно глупости болтать! — сердито отвечает Барбру, хотя он полон миролюбия. И в раздражении своем она дает более толковый ответ: — Мог бы и сам понять, что со мной такое.

Что же с ней такое? Аксель смотрит чуть внимательнее, и ему начинает казаться, что у нее вырос живот.

— Да ведь не в тягостях же ты? — спрашивает он.

— Будто сам не знаешь, — отвечает она.

Он смотрит на нее, уставившись бессмысленным взглядом. В медлительности своей он сидит довольно долго и считает: неделя, две недели, третья неделя.

— Разве я знаю? — говорит он.

Их спор приводит Барбру в страшное раздражение, и она начинает громко и обиженно плакать.

— Лучше закопай и меня в землю, тогда ты от меня избавишься! — говорит она.

Вот ведь удивительно, какую только причину не найдут женщины, чтобы поплакать!

У Акселя нет никакого желания закапывать ее в землю, он великий умелец по части своей выгоды, ему вовсе нет нужды в траурном венке.

— Выходит, ты не сможешь летом работать? — спрашивает он.

— Я не смогу работать? — с ужасом восклицает она.

О Господи, и какую только причину не найдут женщины, чтобы улыбнуться! Когда Барбру увидела, как воспринял новость Аксель, ее обуяло какое-то истерическое счастье, и она воскликнула:

— Я буду работать за двоих! Вот увидишь, Аксель, я буду делать все, что ты велишь, и даже гораздо больше. Я в лепешку расшибусь, лишь бы ты был доволен!

Опять полились слезы, пошли улыбки и нежности. Здесь, в глуши, их было только двое, некого бояться, настежь открытые двери, летнее тепло, жужжанье мух. Она была так покорна и преданна, на все смотрела его глазами.

После заката солнца он запрягает косилку, хочет скосить маленькую луговинку на завтра. Барбру поспешно выходит следом, будто за дедом, и говорит:

— Послушай, Аксель, как это ты надумал выписывать кого-то из Америки? Ведь она приедет не раньше зимы, а на что она тебе тогда?

Вот что надумала Барбру и прибежала сказать ему, словно в том была нужда.

Но нужды никакой не было, Аксель с первой же минуты понял, что если возьмет Барбру, то выгадает вместо летней работницы годовую. Этому человеку не ведомы колебания, и в облаках он не парит. Теперь, когда он залучил в дом надежную работницу, можно покуда и телеграф за собой оставить. Это даст в год большие деньги и будет очень кстати, пока он не может особо много чего продавать со своего участка. Все складывается как нельзя лучше, он человек, трезво смотрящий на жизнь. И от Бреде, который сделался его тестем, ему теперь нечего опасаться притязаний на телеграфную линию.

Счастье начинает улыбаться Акселю.

XI

А время идет, миновала зима, опять приходит весна.

Разумеется, однажды Исааку понадобилось съездить в село. Домашние спросили, зачем ему туда.

— Да сам не знаю, так просто, — ответил он.

Но хорошенько вымыл телегу, приладил сиденье и уехал. И, разумеется, захватил с собой в Великое разной провизии для Элесеуса. Ведь ни разу никто не уезжал из Селланро, не взяв чего-нибудь для Элесеуса.

Уж если когда Исаак выезжал куда-нибудь, это было событие вовсе не заурядное, он делал это очень редко, обыкновенно посылал вместо себя Сиверта. Хозяева двух ближних хуторов стоят в дверях землянки и при виде его говорят друг другу:

— А вон и сам Исаак, куда это он нынче отправился?

Когда он проезжает мимо Лунного, у окна стоит Барбру с ребенком на руках, смотрит на него и думает: «А вон и сам Исаак!»

Он подъезжает к Великому и останавливается.

— Тпру! Элесеус дома?

Выходит Элесеус. Да, он дома, не уехал пока, но собирается в весеннюю поездку по южным городам.

— Вот, тут мать что-то тебе прислала, — говорит отец, — не знаю что, но, верно, пустяки.

Элесеус вынимает горшки, благодарит и спрашивает:

— А письмеца или чего-нибудь такого нет?

— Как же! — отвечает отец и начинает шарить по карманам. — Должно быть, от маленькой Ребекки.

Элесеус берет письмо, его-то он и ждал, он чувствует, что оно большое и толстое, и говорит отцу:

— Жаль, ты приехал так рано, лучше бы денька через два. Но, может, подождешь немножко, тогда свезешь мой чемодан.

Исаак слезает с телеги и привязывает лошадь. Он осматривает участок. Коротышка Андресен неплохой землепашец, правда, Сиверт приезжал из Селланро с лошадью ему на подмогу, но он и сам осушил порядочный участок болота и нанял человека обложить канавки камнями. Нынче в Великом не придется покупать корма для скотины, а на будущий год Элесеус сможет, пожалуй, держать и лошадь. Тут уж надо благодарить Андресена за его интерес к сельскому хозяйству.

Спустя какое-то время Элесеус кричит ему, что уже уложил чемодан. Сам он тоже стоит на крыльце готовый к отъезду, на

нем красивый синий костюм, белый воротничок, на ногах галоши, в руках тросточка. Правда, он приедет в село за два дня до отхода парохода, но это не беда, можно и подождать, ему все равно, где быть.

И вот отец с сыном едут дальше. Помощник Андресен стоит в дверях лавки и кричит:

— Счастливого пути!

Отец беспокоится о сыне и предлагает ему одному занять сиденье, но Элесеус наотрез отказывается и усаживается сбоку. Когда они проезжают мимо Брейдаблика, Элесеус вдруг вспоминает, что позабыл одну вещь.

— Тпру! Что такое? — спрашивает отец.

О, зонт, Элесеус позабыл дождевой зонт; не пускаясь в объяснения, он говорит только:

— Ну, делать нечего. Поезжай!

— Не повернуть ли?

— Нет, нет, поезжай дальше!

И все же чертовски досадно, что он стал так забывчив! А все из-за спешки, оттого, что отец ходил по участку и ждал его. Теперь Элесеусу придется покупать второй зонт, чтоб ходить с ним в Тронхейме, когда туда приедет. Что из того, что у него будет два зонта, какая разница. Но при этом он так рассердился на самого себя, что соскакивает на землю и идет пешком за телегой.

Так им и не удается поговорить как следует, потому что отцу приходится каждый раз оборачиваться и обращаться к сыну через плечо. Он спрашивает:

— Ты надолго уезжаешь?

Элесеус отвечает:

— Недели на три, самое большее на месяц.

Отец удивляется, как это люди не плутают в больших городах и не попадают невесть куда. Но Элесеус отвечает, что если говорить о нем, то он привык к городам и ни разу там не плутал, с ним этого никогда не случалось.

Отцу совестно сидеть одному, он говорит:

— Ну ладно, теперь правь ты, мне надоело!

Но Элесеус ни за что не хочет сгонять отца с сиденья, лучше он сядет с ним рядом. Но сначала они закусывают из большой отцовской котомки. Потом едут дальше.

Они подъезжают к двум нижним хуторам — сразу видно, что они уже недалеко от села: в обеих усадьбах на маленьких оконцах, выходящих на дорогу, белые занавески, а на коньках сеновала укреплены шесты для флага в честь Семнадцатого мая.

— А вон и сам Исаак! — говорят хуторяне, завидя проезжающих.

Наконец Элесеусу удается хоть немного отмахнуться от мыслей о собственной персоне и собственных делах, и он спрашивает:

— Ты за чем едешь сегодня?

— Гм! — отвечает отец. — Особенно ни за чем! — Но Элесеус ведь уезжает, стало быть, не беда, если он и узнает. — Да вот, еду за Йенсиной, кузнецовой дочкой, — признается отец.

— Чего тебе было ехать самому, разве не мог Сиверт съездить? — спрашивает Элесеус.

Вот тебе и раз, выходит, Элесеус ничего не понимает; неужто он думает, что Сиверт поехал бы к кузнецу за Йенсиной, после того как она так заважничала, что уехала из Селланро?

В прошлом году с сенокосом у них вышло неважно. Правда, Ингер здорово работала, как и обещала. Леопольдина тоже трудилась не покладая рук, к тому же у них были и конные грабли. Но сено — частью тяжелая тимофеевка, а луг для покоса широченный. В Селланро теперь большое хозяйство, у женщин много всякой другой работы, помимо уборки сена: обиходить скотину, вовремя приготовить еду, сварить сыр, сбить масло, постирать, испечь хлебы; мать с дочерью выбиваются из сил. Исаак не хотел пережить второе такое лето, он твердо решил, что Йенсина должна вернуться, если она свободна. Теперь Ингер тоже ничего не имела против, она опять образумилась и отвечала:

— По мне, делай как хочешь!

Ингер стала нынче куда как рассудительнее, великое дело вернуть себе разум, после того как его потеряешь. Ингер уже не нужно гасить сердечный жар, не нужно держать в узде свое тай-

ное буйство, зима остудила ее, жар остался для домашнего пользования, она чуть-чуть пополнела, стала красивая, статная. Удивительная она женщина: не увядала, не отмирала по частям; может, оттого, что так поздно начала цвести. Бог знает отчего так бывает, ничто не происходит по одной-единственной причине, на все имеется целый ряд причин. Разве не расточала похвалы Ингер жене кузнеца? За что осуждала ее жена кузнеца? Из-за своего изуродованного лица она упустила свою весну, потом ее посадили в искусственную клетку и на шесть лет оторвали от лета; но жизнь все еще оставалась в ней, и осень ее поэтому волей-неволей дала такие буйные побеги. Ингер была лучше всяких кузнечих, чуть побитая жизнью, чуть исковерканная, но хорошая от природы, добродетельная от природы...

Отец с сыном едут дальше, подъезжают к гостинице Бреде Ольсена и ставят лошадь под навес. Вечереет. Они входят в дом.

Бреде Ольсену удалось снять этот дом, тогда еще нежилой, принадлежавший торговцу, сейчас в нем устроены две комнаты и две каморки; дом неплохой и стоит на хорошем месте, заведение охотно посещают любители кофе и жители соседних сел и деревень, приезжающие к пароходу.

Кажется, на этот раз Бреде повезло, он попал на свое настоящее место, и этим обязан своей жене. Действительно, мысль о кофейне и гостинице пришла жене Бреде, когда она продавала кофе на аукционе в Брейдаблике, очень уж это было весело — торговать, чувствуя между пальцами скиллинги, наличные деньги. С тех пор как они обосновались здесь, дела идут отлично, жена Бреде продает теперь кофе всерьез и дает приют многим, у кого нет крыши над головой. Проезжие ее благословляют. Конечно, ей помогает дочь, Катрина, она уже взрослая девушка и отлично прислуживает; но, конечно, Катрине недолго осталось жить в родительском доме и прислуживать гостям. Но пока что оборот очень приличный, а это самое главное. Начало было хорошее и было бы еще лучше, если б их не подвел торговец, не привезя крендельки и печенье к кофе; тогда, в праздник Семнадцатого мая, все сидели и тщетно требовали хлеба и печенья к кофе! Это научило торговца заранее запасаться печеньем к сельским торжествам.

Семья Бреде и сам он кое-как кормятся своим предприятием. Частенько обед их состоит из кофе с черствым хлебом и печеньем, но это все-таки поддерживает жизнь, да и дети малопомалу приобретают благородный, можно даже сказать, очень благородный вид. «Не у всех есть хлеб к кофе!» — говорят сельчане. Семья Бреде, по-видимому, живет хорошо, они даже держат собаку, которая трется промеж гостей, ластится, кормится лакомыми кусками из их рук и жиреет. Такая жирная собака — лучшая реклама кухни и стола в гостинице!

Сам Бреде Ольсен играет в своем доме роль хозяина, попутно успев упрочить и свое общественное положение. Он снова состоит приставом и постоянным спутником ленсмана и одно время исполнял свои обязанности весьма исправно; но в последнюю осень дочь его Барбру не поладила с ленсманшей из-за сущей безделицы, попросту сказать, из-за вши, и с того времени Бреде стали недолюбливать в доме ленсмана. Но Бреде от этого не очень внакладе, есть в селе другие господа, которые теперь обращаются к нему всякий раз для того, чтоб позлить ленсманшу; вот почему он теперь в большом фаворе у доктора, а пасторша, «так у той и свиней-то столько нет, сколько раз она посылала за Бреде, чтоб заколоть их», — это его собственные слова.

Но, что и говорить, семье Бреде частенько приходится туговато, не все они такие жирные, как их собака. Ну да, слава Богу, у Бреде характер легкий. «Дети ведь вырастают!» — говорит он, хотя постоянно на свет Божий появляются все новые малютки. Те, что выросли и уехали, заботятся о себе сами и изредка посылают кое-что домой: Барбру живет замужем в Лунном, а Хельге служит в сельдяной артели; когда могут, они уделяют родителям немножко провизии или денег. Даже Катрина, та, что прислуживает постояльцам дома, умудрилась однажды зимой, когда им пришлось очень уж туго, сунуть отцу в руку пять крон. «Вот так девчонка!» — сказал Бреде, не поинтересовавшись, откуда у нее бумажка и за что она ее получила. Так тому и следует быть, дети должны любить родителей и помогать им!

Единственно, кем Бреде недоволен, так это сыном Хельге. Частенько, стоя в мелочной лавке в окружении слушателей,

Бреде развивает свои взгляды на обязанности детей перед родителями.

— Взять для примера сына моего Хельге: если он курит табак или выпьет когда рюмочку, я против этого ничего не скажу, все мы были молоды. Но разве это порядок, что он шлет нам письмо за письмом с одними поклонами? Разве это порядок, что он заставляет плакать свою мать? Это безобразие. В старину все было по-другому: не успев вырасти, дети сейчас же поступали на службу и начинали помаленьку помогать родителям. Так и должно быть! Разве не отец и мать носили их под сердцем, а потом трудились до кровавого пота, чтоб прокормить их, пока они вырастут? А они это забывают!

И однажды Хельге словно услышал отцовы речи, потому что от него вдруг пришло письмо с бумажкой, целых пятьдесят крон. Тут уж семья Бреде закутила вовсю — накупили и мяса, и рыбы для варева, и лампу с подвесками для парадной комнаты в гостинице.

День прошел, чего же больше? Живет себе семья Бреде, живет, перебиваясь с хлеба на квас, но без больших трудов. Чего же еще желать!..

— Вот так гости! — говорит Бреде, провожая Исаака и Элесеуса в комнату с висячей лампой. — Что я вижу! Ты, надеюсь, не уезжаешь, Исаак?

— Нет, я к кузнецу, по делу.

— Выходит, это Элесеус опять собрался на юг, по городам?

Элесеус привык к гостиницам, он располагается в номере как дома, вешает пальто и палку на стену и заказывает кофе; еда у отца с собой в котомке. Катрина приносит кофе.

— Нет-нет, не надо платить! — говорит Бреде. — Я так часто бывал у вас в Селланро, и вы меня угощали, а у Элесеуса я и посейчас записан в книгах. Не бери ни эре, Катрина.

Но Элесеус платит, вынимает кошелек и платит, а потом дает Катрине еще двадцать эре. Не безделица!

Исаак уходит к кузнецу, а Элесеус остается.

Он произносит несколько слов, обращаясь к Катрине, но только самых необходимых, не больше, предпочитая разгова-

ривать с ее отцом. Да, Элесеус не гоняется за девицами, видать, когда-то его что-то оттолкнуло от них, и с тех пор он напрочь утратил к ним интерес. Может, в нем никогда и не было заложено любовного влечения, о котором стоило бы говорить, раз он живет вот так зазря. Редкий экземпляр в деревне, господин с тонкими писарскими руками и женской страстью к франтовству, зонтикам, тросточкам и галошам. Испортили, что ли, подменили этого непонятного холостяка? И усы-то у него не желают расти как следует. Но может ведь быть и так, что поначалу он и был правильно устроен для продолжения рода, а потом попал в искусственную обстановку и превратился в урода? Или же он с таким усердием занимался в конторе, а потом в мелочной лавке, что вся его непосредственность исчезла? Может, и так. Во всяком случае, так он и живет, слабый, беззаботный, добродушный и бесстрастный, и уходит все дальше и дальше по своему ложному пути. Ему бы позавидовать любому в деревне, но он даже на это не способен.

Катрина привыкла шутить с гостями, и она поддразнивает Элесеуса — наверно, он опять едет на юг к своей душеньке.

— У меня другое на уме, — отвечает Элесеус, — я еду по делам, устанавливать связи.

— Не приставай с глупостями к приличным гостям, Катрина! — осаживает ее отец.

Бреде Ольсен на удивление вежлив и почтителен с Элесеусом. Да ему и приходится быть таким, с его стороны это очень умно, за ним долг в лавку Элесеуса, он стоит сейчас перед своим кредитором. А Элесеус? Ему нравится эта вежливость, и он милостиво отвечает на нее. «Ваше благородие!» — дурачась, обращается он в шутку к Бреде. И рассказывает ему, что снова позабыл дома свой зонт.

— Мы как раз проезжали мимо Брейдаблика, тут я и вспомнил про зонт.

Бреде спрашивает:

— Ведь вы, наверное, зайдете к нашему торговцу вечерком на стаканчик пунша?

Элесеус отвечает:

— Зашел бы, будь я один. Но со мной отец.

Бреде настроен на любезный манер и продолжает разговор:

— Послезавтра сюда приезжает один человек, который возвращается в Америку.

— Он приезжал домой на побывку?

— Да. Он из верхнего села. Уже много лет как он уехал, и вот теперь прожил зиму дома. Его чемодан привез сюда возчик, вот это чемодан так чемодан!

— Я сам частенько подумываю об Америке, — признается Элесеус.

— Вы? — восклицает Бреде. — Да вам-то туда зачем?

— Я, может, и не остался бы там на вечные времена, сам не знаю. Но я уже много путешествовал, хотелось бы побывать и там.

— Разве что так. Они зарабатывают там пропасть денег, в этой Америке. Вот взять хоть этого парня, с которым я разговаривал: всю эту зиму он устраивал у себя в селе пир за пиром, а ко мне пришел и говорит: «Подай полный кофейник кофе и все, говорит, печенье, какое у тебя есть». Хотите посмотреть его чемодан?

Они выходят в коридор и осматривают чемодан. Чудо, а не чемодан, весь сверкает от металла и блях, с тремя пряжками, не считая замка.

— Замок-то с секретом, отмычкой не открыть! — говорит Бреде, словно уже пробовал.

Они вернулись в комнату, но Элесеус вдруг как-то притих. Этот американец из верхнего села, который путешествует по свету как самый важный чиновник, поверг его в ничтожество; ясно было, что Бреде увлечен этим субъектом. Элесеус спросил еще кофе и попытался тоже разыграть из себя богача, потребовав к кофе печенья, он даже покормил печеньем собаку, но по-прежнему чувствовал себя жалким и ничтожным. Что такое его чемодан по сравнению с только что увиденным чудом! Вон он стоит: черная клеенка, потертые углы, обыкновенный ручной саквояж, — ей-ей, он купит себе великолепный чемодан, как только приедет на юг, вот посмотрите!

— Не утруждайте себя кормлением собаки, — сказал Бреде.

И Элесеус снова почувствовал себя человеком и напустил на себя важность.

— Колоссально! До чего же жирна эта собака, — сказал он.

Мысли мешались у него в голове, он резко оборвал разговор и вышел, решив пойти в сарай к лошади. Здесь он вскрыл конверт, лежавший у него в кармане. Он сунул его туда, не посмотрев, сколько в нем денег; он уже не раз получал такие письма из дома и каждый раз находил в них несколько кредиток, помощь на поездку. Что-то в нем теперь? Большой лист серой бумаги, разрисованный маленькой Ребеккой для братца Элесеуса, записочка от матери. А еще что? Ничего? Ничего. Никаких денег.

Мать писала, что не решилась больше просить денег у отца, ведь от капитала, который они получили за медную гору, уже почти ничего не осталось, все ушло на покупку Великого, на товары и на его поездки. Пусть уж он на этот раз выкручивается сам, потому что те деньги, какие еще есть, должны пойти другим детям, а то они останутся совсем безо всего. Счастливого пути и с любовью низкий поклон.

Никаких денег.

Своих денег для поездки на юг Элесеусу не хватит, он подчистую выскреб кассу в лавке и собрал не очень много. Ах, как же он сглупил, послав недавно в Берген своему поставщику письмо с деньгами в уплату по нескольким счетам. Вполне можно было и подождать. Разумеется, он поступил очень легкомысленно, пустившись в дорогу, не распечатав предварительно письма; мог бы избавить себя от поездки в село с этим своим злосчастным чемоданом. А теперь вот извольте радоваться...

Отец возвращается от кузнеца, удачно покончив дело: завтра утром он поедет домой вместе с Йенсиной. Йенсина не стала упрямиться, не заставила себя упрашивать, она сразу поняла, что им в Селланро нужна на лето работница, и тотчас согласилась поехать. Повела себя куда как правильно.

Пока отец рассказывает, Элесеус сидит и думает о своем. Потом показывает отцу чемодан американца и говорит:

— Как бы я хотел быть там, откуда приехал этот чемодан!

Отец отвечает:

— Да, оно бы неплохо!..

Наутро отец собирается в обратный путь, запрягает лошадь и едет к кузнецу за Йенсиной и ее сундучком. Элесеус стоит и смотрит им вслед; когда они скрываются в лесу, он расплачивается в гостинице и дает Катрине на чай.

— Пусть чемодан постоит у вас до моего возвращения, — говорит он ей и уходит.

Элесеус — куда же он идет? У него есть только одно место, куда он может пойти, — он поворачивает назад, ему ничего не остается, как опять постучаться домой. Он шагает прежней дорогой, стараясь держаться на таком расстоянии позади отца и Йенсины, чтобы они его не увидали. Он идет все дальше и дальше. В душе он завидует теперь каждому хуторянину.

Жаль Элесеуса, он совсем сбился с толку!

Разве у него нет торговли в Великом? Да ведь не с чего разыгрывать барина-то. Слишком уж часто предпринимает он приятные поездки для установления связей, они стоят слишком дорого, он не привык ездить задешево. «Не будем мелочными», — говорит Элесеус и дает двадцать эре, когда вполне можно было бы обойтись и десятью. Торговле не под силу прокормить этого расточительного человека, ему необходима помощь из дому. Участок в Великом дает картофель, ячмень и сено для домашнего обихода, но остальные припасы идут из Селланро. Все ли это? Сиверт возит товары Элесеусу бесплатно с пристани. Все ли это? Матери приходится раздобывать ему денег у отца на разъезды. Но уж теперь-то все?

Самое худшее впереди.

Элесеус ведет торговлю как безумец. Ему так льстит, что к нему в Великое идут за покупками из села, что он с готовностью отпускает товары в кредит; когда об этом узнали в округе, народ повалил валом, и все желают брать в кредит, в лавке творится черт знает что; Элесеус такой добрый, знай себе отпускает товары, полки пустеют, снова наполняются. Все это стоит денег. Кто же платит? Отец.

Поначалу самой верной его союзницей была мать: Элесеус в семье светлая голова, ему надо открыть дорогу в жизнь; вспом-

ни, как дешево он купил Великое и как он точка в точку угадал, сколько за него дать! Когда отец убеждал ее, что это не торговля, а сущая ерунда, мать неизменно отвечала: «Много ты понимаешь!» Она даже осуждала Исаака за такие грубые выражения, неужто добрый Исаак так неуважительно относится к Элесеусу?

Ну да, мать ведь и сама попутешествовала, повидала свет, она понимает, что, по сути, Элесеус зазря пропадает в деревне, он привык к другим условиям жизни, привык к общению с равными себе по развитию, которого ему так здесь не хватает. Он слишком много тратит средств на ничтожных людей, но делает это не по испорченности и не из желания разорить родителей, а исключительно по благородству и доброте характера, ему хочется помочь людям, стоящим ниже его. Господи, да ведь во всей округе только он один пользуется белыми носовыми платками, которые постоянно приходится стирать. Если люди доверчиво обращаются к нему за кредитом, а он возьми да и ответь «нет», да ведь это наверняка истолкуют превратно: вот, мол, совсем он не такой уж и добрый, каким его все считают. Кроме того, как местный горожанин и гений, он не может не выполнять свои особые обязательства.

Все это мать принимала во внимание.

Но отец, ничего по этой части не понимающий, раскрыл ей однажды глаза: «Посмотри, вот что осталось от денег, какие мы получили за медную гору!» — «Как, — сказала она, — а где остальные?» — «Ушли на Элесеуса». Она всплеснула руками и воскликнула: «Пора ему взяться за ум!»

Бедный Элесеус, он так изболтался, так запутался. Лучше бы ему было остаться деревенским жителем, теперь вот он умеет писать буквы, но лишен стержня, лишен глубины. Он вовсе не злодей и не исчадие ада, он ни в кого не влюблен и не честолюбив, он почти ничто, если и чудовище, то весьма некрупное.

На этом молодом человеке словно лежит печать несчастья и обреченности, его словно поразила порча. Уж лучше бы добрый окружной инженер не обратил на него внимания в детстве и не забрал с собой в город, чтоб сделать из него человека; долж-

но быть, у мальчика подрезали корни, и он зачах. Все, что он затевает, оказывается потом каким-то изъяном, какой-то чернотой на светлом дне...

Он все идет и идет. Двое седоков проезжают мимо Великого, Элесеус сворачивает в сторону и тоже обходит Великое; что ему делать дома, в своей лавке? Ночью телега подъезжает к Селланро. Следом за нею подходит и Элесеус. Он видит, как во двор выходит Сиверт, с удивлением уставившись на Йенсину; они здороваются за руку и оба улыбаются, потом Сиверт берет лошадь и уводит ее в конюшню.

Только теперь отваживается Элесеус подойти ближе; только теперь отваживается подойти ближе гордость семьи. Он не идет, он крадется, он застает Сиверта в конюшне.

— Это я, — говорит он.

— И ты здесь! — Сиверт снова удивляется.

Между братьями начинается тихий разговор: не упросит ли Сиверт мать дать ему сколько-нибудь денег на дорогу, пусть выручит его. Так больше не может продолжаться, Элесеус устал, он давно уже об этом подумывал, это должно произойти нынешней ночью, большое путешествие, Америка, сегодня же в ночь.

— Америка? — громко произносит Сиверт.

— Тише! Я давно об этом подумывал, и вот теперь ты должен уговорить мать. Так больше не может продолжаться, я давно об этом думал.

— Но в Америку — как же так? — говорит Сиверт. — Нет, не надо этого делать!

— Надо. Непременно. Я сейчас же уйду и успею на почтовый пароход.

— Тебе, верно, охота поесть?

— Я не голоден.

— А поспать?!

— Нет.

Сиверт любит брата и отговаривает его, но Элесеус стоит на своем, первый раз в жизни он стоит на своем. Сиверт совсем сбит с толку, сначала он разволновался при виде Йенсины, а

теперь вот Элесеус решил покинуть родину, все равно что отправиться на тот свет.

— А как же Великое? — спрашивает Сиверт.

— Достанется Андресену, — отвечает Элесеус.

— Как же оно может достаться Андресену?

— Разве он не женится на Леопольдине?

— Не знаю. Может, и женится.

Они разговаривают шепотом. Сиверт предлагает позвать отца, чтоб Элесеус сам поговорил с ним, но... нет, нет! — шепчет Элесеус, ни за что, у него никогда не хватит храбрости встретиться лицом к лицу с подобными опасностями, ему всегда был нужен посредник.

Сиверт говорит:

— А мать, ты ведь знаешь, какая она. Не оберешься потом слез и причитаний. Ей ни за что не надо знать об этом.

— Да, — соглашается Элесеус, — ей не надо знать.

Сиверт уходит, его нет целую вечность, наконец он возвращается с деньгами, с целой кучей денег.

— Вот, больше у него нет. Как думаешь, довольно? Сосчитай, он не считал.

— А что отец сказал?

— Да ничего особенного. Подожди минутку, я оденусь и провожу тебя.

— Не надо, ложись спать.

— Может, ты боишься остаться один в темной конюшне? — спрашивает Сиверт, делая слабую попытку приободриться.

Он уходит на минуту и возвращается уже одетый, на плече у него отцовская котомка с припасами. На выходе из конюшни их встречает отец.

— Я слышал, ты собираешься уехать в далекие края? — говорит он.

— Да, — отвечает Элесеус, — но я вернусь.

— Ну-ну, что же это я тебя задерживаю, — бормочет старик и круто поворачивается. — Счастливого пути! — дрожащим голосом говорит он и поспешно уходит.

Братья спускаются вниз по дороге, пройдя немного, садятся и закусывают, и оказывается, что Элесеус очень голоден, он

никак не может наесться. Стоит чудесная весенняя ночь, повсюду на холмах токуют тетерева, от этого родного звука на минуту у изгнанника сжимает сердце.

— Какая славная погода, — говорит он. — А теперь иди домой, Сиверт!

— Ага, — говорит Сиверт и идет дальше.

Они минуют Великое, минуют Брейдаблик, и все время то тут, то там на холмах токуют тетерева, это не духовая музыка, какая играет в городах, нет, но это голоса, благовест — настала весна. Вдруг с вершины дерева слышится щебетанье первой пташки, оно будит другую, со всех сторон несутся вопросы и ответы, это больше чем песня, это песнь, восхваляющая жизнь. Должно быть, изгнанника охватывает чувство тоски по родине, чувство безнадежности, он едет в Америку, никто не готов для такого путешествия больше, чем он.

— Ну а теперь, Сиверт, тебе пора возвращаться! — говорит он.

— Ладно, ладно, — отвечает брат, — раз тебе так хочется.

Они садятся на опушке, впереди виднеется село, торговая площадь, пристань, гостиница Бреде; несколько человек копошатся возле парохода, готовясь к отплытию.

— Однако мне, пожалуй, уже некогда сидеть, — говорит Элесеус, вставая.

— Жалко, что ты так далеко уезжаешь, — говорит Сиверт.

Элесеус отвечает:

— Да ведь я вернусь. И тогда у меня будет для разговоров не какой-то клеенчатый чемодан!

Прощаясь, Сиверт сует брату в руку какую-то завернутую в бумагу вещичку.

— Что это? — спрашивает Элесеус.

Сиверт отвечает:

— Пиши чаще! — и уходит.

Элесеус развертывает бумажку и смотрит: это золотая монета, те самые двадцать крон золотом!

— Нет, не надо, зачем! — кричит он.

Сиверт не останавливается.

Пройдя немного, он сворачивает в лес и опять садится на опушке. Внизу, у парохода, становится все оживленнее, он ви-

дит, как по трапу поднимаются люди, вот на борт парохода входит его брат, и пароход отчаливает. Элесеус уезжает в Америку.

Он так никогда и не вернулся.

XII

К Селланро приближается удивительная процессия, пожалуй, немножко смешная, но не только смешная: три человека с огромными ношами, с мешками, свисающими у них вдоль груди и спины. Они идут гуськом, шутливо перекликаясь друг с другом, но нести им их тяжело. Первым в процессии идет коротышка Андресен, да, впрочем, и вся процессия-то — его задумка: он снарядил в эту экспедицию самого себя, Сиверта из Селланро и еще третьего, Фредрика Стрёма из Брейдаблика. Чертовски забавный парень этот помощник Андресен, одно плечо у него перегнулось чуть не до земли, а куртка сползла едва не до поясницы, но он упорно идет вперед, неся свою тяжелую ношу.

Он так и не купил Великое и торговое дело после отъезда Элесеуса, на это у него нет средств; но у него есть средство получше: выждать время, и, глядишь, все это достанется ему задаром. Андресен далеко не дурак, пока что он арендует участок и понемножку приторговывает.

Недавно он провел ревизию товарной наличности и обнаружил в лавке Элесеуса большое количество неходовых товаров вроде зубных щеток, вышитых дорожек для стола, даже птичек на стальной проволоке, которые пищат, если их подавить в надлежащем месте.

Со всеми этими товарами он и отправился в путь, надумав продать их рудокопам за горой. Еще со времен Аронсена он знает по опыту, что, когда рудокопы при деньгах, они покупают все что ни попадя. Сейчас его сердит только то, что пришлось оставить дома шесть деревянных лошадок-качалок, купленных Элесеусом в последнюю его поездку в Берген.

Караван входит во двор Селланро, и они сбрасывают тюки на землю. Отдыхают недолго; напившись молока и для потехи

предложив свои товары обитателям хутора, они вскидывают груз на спины и идут дальше. Затеяли-то они этот поход не одной только потехи ради. Они идут, пошатываясь, через лес в южном направлении.

Идут до полудня, останавливаются перекусить и снова идут до вечера. Потом разводят костер, ужинают и ложатся передохнуть часок-другой. Сиверт спит, сидя на камне, который он называет мягким креслом. Сиверт в таких делах знает толк. Ведь солнце за день так накалило камень, что сидеть и спать на нем одно удовольствие, товарищи его не столь опытны да и советов не слушаются, они укладываются на вереск и просыпаются вознобе и с насморком. Встав, они завтракают и идут дальше.

Идут, все время прислушиваясь, в ожидании взрывов; они рассчитывают к середине дня набрести на людей и шахты, работы, верно, уже отошли далеко от моря в сторону Селланро. Но взрывов не слышно. Они идут до полудня, не встретив ни одного человека, но время от времени наталкиваются на большие ямы, которые выкопали люди, проводя разведочные работы. Что все это значит? Должно быть, руды на той стороне горы так богаты, что они разрабатывают полновесную, без всяких примесей медь и почти не двигаются вверх от моря.

После полудня им встречается несколько рудников, но людей не видать; они идут до вечера, и вот уже внизу их глазам открывается море, они бредут мимо пустынных, покинутых людьми рудников и не слышат ни единого взрыва. Все это просто поразительно, но им надо развести костер, поужинать и лечь соснуть — еще одна ночь под открытым небом. Они совещаются: уж не закончились ли тут работы? Не повернуть ли им назад со своими тюками?

— И речи быть не может! — говорит помощник Андресен.

Утром к месту их ночлега подходит человек, бледный и изнуренный, он хмурит брови и смотрит на них, пронизывая взглядом.

— Это ты, Андресен? — говорит человек.

Это Аронсен, торговец Аронсен. Он не прочь выпить с ними горячего кофе и закусить и присаживается к костру.

— Я увидел дым и решил поглядеть, в чем дело, — объясняет он. — Я подумал: вот видишь, они взялись за ум и возобновили работу. А оказывается, это всего лишь вы! Куда вы собрались?

— Сюда.

— А что несете?

— Товары.

— Товары?! — кричит Аронсен. — Вы пришли сюда продавать товары? Кому? Здесь никого нет. Все уехали в субботу.

— Кто уехал?

— Все. Здесь никого нет. А если б и были, так у меня довольно товаров. У меня полная лавка. Можете купить товары, если хотите.

Ах ты, Господи, опять торговцу Аронсену не повезло: работа на руднике прекратилась.

Он немножко повеселел, выпив вторую кружку кофе, и они приступили к нему с расспросами.

Аронсен уныло мотает головой.

— Этому нету слов, это просто непонятно! — говорит он. Все шло хорошо, он продавал свои товары и копил деньги, поселки вокруг благоденствовали, все привыкли к манной каше, к новым школам, лампам с подвесками и к городской обуви. И вдруг господа решают, что больше работать не стоит, и все прекращают. Не стоит? Ведь до сих пор стоило? Разве медная лазурь не выходит на белый свет при каждом взрыве? Это просто чистое жульничество. — Они не думают о том, что ставят такого человека, как я, в затруднительные обстоятельства. Но, должно быть, так и есть, как они говорят: всему виной опять этот Гейслер. Не успел он приехать, как работы прекратились, точно он пронюхал об этом.

— Разве Гейслер здесь?

— Еще бы не здесь! Его следовало бы пристрелить. Он приехал однажды с почтовым пароходом и сразу к инженеру: «Ну, как дела?» — «На мой взгляд, хорошо», — ответил инженер. А Гейслер стоит и опять спрашивает: «Так вы говорите — хорошо?» — «Да. Насколько мне известно», — ответил инженер. Но не было печали: когда распечатали почту, в ней оказались пись-

мо и телеграмма инженеру, мол, овчинка выделки не стоит, извольте прекратить работу!

Участники процессии переглядываются, но их предводитель, коротышка Андресен, видимо, не потерял мужества.

— Поворачивайте-ка лучше домой! — советует Аронсен.

— И не подумаем, — отвечает Андресен, укладывая в тюк кофейник.

Аронсен смотрит поочередно на всех троих.

— Да вы с ума сошли! — говорит он.

Но помощник Андресен не очень обращает внимание на своего бывшего патрона, он теперь сам себе патрон, это он снарядил экспедицию в дальние края, повернуть обратно здесь, на вершине горы, значило бы потерять весь свой авторитет.

— Да куда же вы пойдете? — раздраженно спрашивает Аронсен.

— Не знаю, — отвечает Андресен. Но у него есть план, не иначе как в голове у него туземцы, к которым они пришли втроем, с большим запасом стеклянных бус и колец. — Ну, пойдемте, — говорит он, обращаясь к товарищам.

Собственно говоря, выйдя нынче утром из дома, Аронсен намеревался пройти подальше, может, ему хотелось посмотреть, все ли рудники опустели, правда ли, что ушли все до единого человека; но эти разносчики своим упрямым желанием непременно идти дальше расстроили все его планы: он во что бы то ни стало должен отговорить их продолжать путь. Вне себя от злости, Аронсен забегает вперед, поворачивается к ним лицом и кричит, вопит во всю мочь, защищая неприкосновенность своей территории. Так они доходят до барачного поселка.

Вокруг пусто и уныло. Основные инструменты и машины внесены в помещения, но бревна, доски, сломанные повозки, ящики и бочки валяются повсюду без призора; кое-где на стенах домов прибиты плакаты, воспрещающие вход.

— Видите! — кричит Аронсен. — Ни души! Куда вы идете? — И грозит каравану великими бедами и ленсманом; сам он пойдет за ними по пятам и проверит, не торгуют ли они запрещенными товарами. — А за это тюрьма и каторга, уж будьте покойны.

Вдруг кто-то окликает Сиверта. Поселок не вовсе покинут, не совсем мертв; у одного из домов стоит человек и машет им рукой. Сиверт шагает к нему со своей ношей и сразу узнает его: это Гейслер.

— Вот так встреча! — говорит Гейслер. Лицо у него красное, цветущее, но глаза, должно быть, болят от весеннего света, он в темном пенсне. Речь у него такая же живая, как прежде. — Чудесная встреча! — говорит он. — Она избавляет меня от путешествия в Селланро, у меня так много хлопот. Сколько у вас там теперь хуторов?

— Десять.

— Десять хуторов? Вот это я одобряю, я доволен! Нам бы иметь в стране тридцать две тысячи таких молодцов, как твой отец! — говорю я и опять одобряю, я это высчитал.

— Ты идешь, Сиверт? — кричат ему.

— Нет! — коротко бросает Гейслер.

— Я догоню, — кричит Сиверт и сбрасывает на землю тюки.

Оба садятся и беседуют; на Гейслера снизошел дух, он смолкает лишь на то время, пока Сиверт дает краткий ответ, потом опять говорит без удержу:

— Редкостный случай, никогда его не забуду! Вся эта моя поездка была замечательно удачна, а тут еще тебя встретил, и мне не надо делать крюк, чтоб попасть в Селланро! У вас все благополучно дома?

— Да, спасибо.

— Построили новый сеновал над скотным двором?

— Да.

— А я так занят, скоро у меня дел будет выше головы. Видишь, где мы сейчас сидим, Сиверт? На развалинах поселка. Люди построили его аккурат на свою беду. В сущности, во всем виноват я, то есть я был одним из посредников в маленькой игре судьбы. Началось с того, что твой отец нашел несколько камешков на скале и дал их тебе поиграть, когда ты был маленьким. С этого все и началось. Я хорошо знал, что эти камешки имеют только ту цену, какую люди захотят заплатить за них, ну что ж, я назначил цену и купил их. Камни стали переходить из рук в

руки, производя свое разрушительное действие. Время шло. Несколько дней тому назад я снова приехал сюда, и знаешь зачем? Хочу купить эти камни обратно!

Гейслер умолкает и смотрит на Сиверта. Он замечает тюки и вдруг спрашивает:

— Что это ты тащишь?

— Товары, — отвечает Сиверт, — мы идем с ними в село.

Ответ, видимо, не интересует Гейслера, а может, он и не слыхал его; он продолжает:

— Стало быть, хочу купить обратно камни. Последний раз я велел моему сыну продать их, он молодой человек твоих лет, и это все, что о нем можно сказать. В семье нашей он — молния, я — туман. Я из тех, кто знает, что надо делать, но ничего не делает. А он — молния; сейчас он работает на промышленном предприятии. Так вот, в последний раз он продал эти камешки вместо меня. Я из себя кое-что представляю, про него этого не скажешь, он — всего лишь молния, прыткий, современный юнец. Но молния сама по себе бесплодна. Взять вас, обитателей Селланро; вы каждый день видите перед собой синеющие на горизонте цепи гор, они не выдуманы, это древние горы, они — из далекого прошлого, но для вас они — близкие друзья. Вы живете вместе с землей и небом, вы одно целое с ними, одно целое с этой ширью и незыблемостью бытия. Вам не нужен меч в руках, вы идете по жизни с пустыми руками и непокрытой головой, окруженные великой любовью. Смотри, вот она — природа, она принадлежит тебе и твоим близким! Человек и природа не палят друг в друга из пушек, они воздают друг другу должное, не соперничают, не состязаются ни в чем, они следуют друг за другом. И посреди всего этого — вы, обитатели Селланро. Горы, лес, болота, луга, небо и звезды — и все это не в малости и отмеренности, все это в беспредельности. Послушай меня, Сиверт: будь доволен! У вас есть все, чем жить, все, ради чего стоит жить, все, во что верить; вы рождаетесь и производите себе подобных, вы необходимы на земле. Вы поддерживаете жизнь. Из поколения в поколение вы возделываете землю, а когда умираете, ваше место заступают другие. Вот это-то и есть то самое, что называ-

ется вечной жизнью. Что вам дано взамен? Жизнь по справедливости и возможностям, жизнь в доверчивом и правильном ко всему отношении. Никто не дергает вас и не управляет вами, у вас есть покой и авторитет. Вы окружены великой любовью. Вот что дано вам взамен. Вы лежите у женской груди, играете теплой материнской рукой и сосете молоко. Я думаю о твоем отце, он один из тех тридцати двух тысяч. Что представляют из себя многие другие? Я — хоть что-то представляю, я — туман, я здесь и там, я парю в небе, иногда я — дождь, пролившийся на пересохшую почву. А другие? Мой сын — молния, которая — ничто, он — бесплодное сверканье, он может лишь действовать. Мой сын — порождение нашего века, он искренне верит в то, чему научил его нынешний век, в то, чему научили его евреи и янки; меня все это не трогает. Во мне нет ничего загадочного, только в своей семье я — туман. Я сижу в кругу семьи, и меня все это не трогает. Дело в том, что я лишен таланта жить покойно и беззаботно. Будь у меня этот талант, я и сам мог бы быть молнией. Теперь я — туман.

Вдруг Гейслер словно опять приходит в себя и спрашивает:

— Так вы поставили сенной сарай над скотным двором?

— Да. А еще отец построил новую избу.

— Новую избу?

— Он говорит, на случай, если кто приедет, на случай, говорит, если приедет Гейслер.

Гейслер обдумывает его слова и решает:

— В таком случае я непременно приду. Да, приду, так и скажи отцу. Но у меня очень много дел. Я приехал сюда и сказал инженеру: «Передайте от меня господам в Швеции, что я — их покупатель!» Посмотрим, что из этого выйдет. Мне-то ведь все равно, я не тороплюсь. Но поглядел бы ты на инженера: он работал не покладая рук, он занимался людьми, лошадьми, деньгами, машинами, разорением, он был убежден, что делает настоящее дело. Ему казалось, чем больше камней он превратит в деньги, тем лучше; он был уверен, что достоин за это всяческой похвалы, что он добывает деньги для села, деньги для страны; гибель подступает к нему все ближе и ближе, а он не понимает

положения; он не понимает, что стране нужны не деньги, у страны денег более чем достаточно; чего ей не хватает, так это таких людей, как твой отец. Подумать только — превратить средство в цель и гордиться этим! Они больны и безумны, они не работают, они не знают плуга, они знают только игральные кости. Разве они не достойны похвалы, разве они не изводят себя своим безумием? Посмотри на них, ведь они ставят на карту все, что имеют! Их ошибка только в том, что игра это вовсе не задор, это даже не мужество, это — ужас. Знаешь, что такое игра? Это страх и холодный от пота лоб, вот что такое игра. Их ошибка в том, что они не хотят идти в ногу с жизнью, они хотят обогнать ее, они несутся, они вламываются в жизнь. Но тут начинают подавать голос их бока — остановитесь, больно, ищите лекарство, остановитесь! А жизнь продолжает давить на них, вежливо, но решительно. И тут начинаются жалобы на жизнь, возникает ожесточение против жизни! Каждому свое — у одних, пожалуй, и есть причины жаловаться, у других их нет, но никому не дано ожесточаться против жизни. Нельзя быть суровым, справедливым и жестоким к жизни, надо проявлять к ней милосердие, надо брать ее под свою защиту: надо помнить, с какими игроками приходится возиться жизни!

Гейслер смолкает на минуту и уходит в себя, потом говорит:

— Ну, да ладно, будь что будет! — Он, видимо, устал и начинает зевать. — Ты идешь вниз? — спрашивает он.

— Да.

— Что ж, торопиться некуда. За тобой еще прогулка по горам, помнишь, Сиверт? Я-то все помню. Я помню себя полуторагодовалым мальчонкой: я стою и качаюсь на помосте у сенного сарая в усадьбе Гармо в Ломе и чувствую какой-то запах. Я еще и сейчас чувствую этот запах. Ну да ладно, будь что будет; мы могли бы пройтись с тобой прямо сейчас по горам, не тащи ты этих тюков. Что у тебя в тюках?

— Товары. Андресен хотел их продать.

— Я тоже из тех, кто знает, что надо делать, но ничего не делает, — говорит Гейслер. — Это надо понимать дословно. Я — туман. Вот на днях я, наверно, откуплю эту гору, очень может

быть; но и в этом случае я не стану смотреть в небо и кричать: «Подвесная дорога! Южная Америка!» Это для игроков. Здешний народ думает, что я не иначе как сам дьявол, раз знал, что разработки потерпят крах. Но тут нет ничего загадочного, все очень просто: новые залежи меди в Монтане. Янки игроки похитрее нас, они забивают нас конкуренцией в Южной Америке; наша руда слишком бедна. Мой сын — молния, он получил сообщение, вот я и приплыл сюда. Все очень просто. Я всего на несколько часов опередил шведских господ, и весь секрет. — Гейслер опять зевает, встает и говорит: — Если тебе надо вниз — пойдем!

Они спускаются вниз, Гейслер плетется сзади, он совсем раскис. Караван расположился у пристани, весельчак Фредрик Стрём поддразнивает Аронсена:

— У нас табак вышел, у вас есть табак?

— Вот я дам тебе табаку! — отвечает Аронсен.

Фредрик смеется и утешает его:

— Да вы не огорчайтесь, не принимайте этого так близко к сердцу, Аронсен! Мы только продадим у вас на глазах свои товары, а потом уйдем домой!

— Пойди лучше вымой морду! — злобно кричит Аронсен.

— Ха-ха-ха, чего это вы прыгаете, как попрыгунчик! Вам надо быть красивым, как на картинке!

Гейслер устал, он ужасно устал, даже темное пенсне не помогает, глаза его слипаются от яркого весеннего света.

— Прощай, Сиверт! — внезапно говорит он. — Нет, мне все-таки не удастся в этот раз побывать в Селланро, скажи отцу; у меня столько хлопот. Но я приеду попозже!

Аронсен плюет ему вслед и повторяет:

— Пристрелить бы его!..

В три дня караван распродает свои тюки, и по хорошей цене. Дело оказалось блестящим. У сельчан еще оставалось много денег после разразившегося краха, и они всячески старались поскорее спустить их; даже птички на проволоке и те им понадобились, их поставили на комоде в горнице; раскупили они и красивые ножи для разрезания календарей. Аронсен неистовствует:

— Как будто у меня в лавке нет точно таких же красивых вещей!

Торговец Аронсен переживает страшные муки, ему бы хорошенько последить за этими мешочниками, но они возьми да и разделись — они пошли в село поодиночке, а он разрывается на части, бегая сразу за всеми тремя. Пришлось сначала бросить Фредрика Стрёма, самого злого на язык, потом Сиверта, который вообще никогда ему не отвечал ни слова, а только и делал, что продавал; Аронсен решил сопровождать своего бывшего помощника и бороться против него в домах сельчан. Но помощник Андресен отлично знал своего бывшего хозяина и его неосведомленность по части торговли и запрещенных товаров.

— Выходит, английские катушечные нитки не запрещены? — спросил Аронсен, притворяясь сведущим торговцем.

— Как же, — ответил Андресен. — Но я и не принес сюда катушек, я их и у себя могу продать. Посмотрите сами, у меня нет ни одной катушки.

— Ладно уж. Но ты видишь, я знаю, что запрещено, а что нет, не тебе меня учить!

Аронсена хватило всего на один день, после чего, бросив и Андресена, он ушел домой. Больше следить за ними было некому.

С того дня дела пошли лучше некуда. Женщины в ту пору носили накладные косы, и помощник Андресен оказался великим мастером продавать накладные косы, ему ничего не стоило всучить белокурую косу черноволосой девушке; одно только было жалко, что нет у него кос еще посветлее, седых, потому что те ценились всего дороже. Каждый вечер приятели сходились на условленном месте, делились новостями и пополняли, занимая друг у друга, запасы товаров; потом Андресен усаживался с напильником и счищал с охотничьего рога германскую фабричную марку или соскабливал клеймо «Фабер» с пеналов. Андресен был мастер на все руки.

Зато Сиверт оказался явно не на высоте. Не то чтобы он ленился или плохо сбывал товары, нет, он продавал их больше всех, но денег выручал куда как меньше.

— Ты мало разговариваешь, — сказал Андресен.

Нет, Сиверт не болтал как за язык повешенный; как всякий хуторянин, он был скуп на слова. Да и о чем было говорить? К тому же Сиверту хотелось отделаться к празднику и поскорее попасть домой, где его уже ждали полевые работы.

— Это Йенсина его зовет! — говорит Фредрик Стрём.

Самого Фредрика, впрочем, тоже ждут весенние работы, и ему тоже некогда терять время, но в последний день он все-таки не удержался и отправился доругиваться к Аронсену!

— Хочу продать ему пустые мешки, — сказал он.

Андресен с Сивертом отправились следом, терпеливо поджидая Фредрика у лавки Аронсена. До них доносится отборнейшая ругань, потом смех Фредрика; вдруг дверь распахивается, и Аронсен принимается выпроваживать гостя. Но Фредрик не торопится уходить, нет, он продолжает что-то говорить; они слышат, как он напоследок пытается всучить Аронсену деревянных лошадок.

Потом караван — три парня, полных молодых сил и здоровья, — отправляется домой. Они идут, распевая во весь голос, спят несколько часов и снова отправляются в путь. Когда в понедельник они подходят к Селланро, Исаак как раз начинает сеять. Погода для сева самая подходящая: влажный воздух, изредка проглядывает солнце, через все небо перекинулась огромная радуга.

Караван расходится. Прощай, прощай...

Исаак идет по полю и сеет, как есть мельничный жернов, чурбан чурбаном. На нем домотканое платье из шерсти, настриженной с его собственных овец, сапоги — из кож его собственных телят и коров. Он идет по полю, благочестиво обнажив голову, и сеет, макушка у него лысая, но вся остальная часть головы буйно заросла волосами, густая борода обрамляет лицо. Это Исаак, маркграф.

Он редко знает точные числа, зачем они ему! У него нет бумаги, чтоб что-то записывать: кресты на календаре указывают дату отела каждой из коров. Но осенью он знает День святого Олафа — к этому сроку надо свезти в сарай все сено; весной он

знает день Благовещенья, к которому должны быть доделаны все ворота и ограды, знает, что через три недели после Благовещенья медведь выходит из берлоги — к этому сроку все семена должны быть в земле. Он знает все, что ему нужно.

Душой и телом он — деревенский житель, землепашец, не ждущий чьих-то милостей. Выходец из прошлого, провозвестник будущего, один из первых на земле хлебопашцев; от роду ему девятьсот лет, и все же он сын своего века.

Да, у него ничего не осталось от денег, которые он получил за медную гору, их сдуло порывом ветра! Да и у кого они остались после того, как с горы ушли люди? На пустоши же выросло десять хуторов, и она ждет появления сотен других.

Может, здесь, на пустоши, ничего не растет? Да здесь растет все — люди, животные, плоды. Исаак сеет. Вечернее солнце озаряет семена, широкой дугой сыплются они из его руки и золотым дождем падают на землю. Следом идет Сиверт, он заборонит их, прикатает катком, снова заборонит. Лес и скалы стоят и смотрят на них, во всем — величие и мощь, все взаимосвязано и соразмеримо.

Клинг-клинг! — звенят колокольчики высоко на откосе, вот они все ближе и ближе: скотина торопится добраться до вечера домой. Пятнадцать коров и сорок пять голов мелкого скота — всего шестьдесят голов. Вон к летнему загону направились женщины с подойниками, которые они несут на коромысле через плечо, — Леопольдина, Йенсина и маленькая Ребекка. Все трое босиком. Маркграфини нет с ними. Ингер осталась дома, готовит обед. Она расхаживает по дому, высокая и статная, весталка, поддерживающая огонь в кухонной плите. Ну что ж, Ингер поплавала по бурному морю, побывала в городе, теперь она опять дома; мир велик, он кишит мириадами песчинок, Ингер — одна из них. Что она среди людей? Песчинка.

Наступает вечер.

ПРИМЕЧАНИЯ

Голод

К работе над романом Гамсун приступил после возвращения из Америки в Европу летом 1888 года. В окончательной редакции романа, изданного в 1890 году, точное указание на время происходящих в нем событий отсутствует. Однако в опубликованном в ноябре 1888 года анонимно отрывке в датском журнале «My jord» начало первой фразы звучало следующим образом: «Это было два года назад» (в окончательной редакции: «Это было в те дни, когда я бродил голодный по Христиании»). Следовательно, речь в нем идет о событиях 1886 года, одного из самых тяжелых периодов жизни Гамсуна, когда он находился на пороге голодной смерти.

В то же время отнести роман «Голод» к чисто автобиографическим произведениям было бы не совсем верно. В нем, по словам Гамсуна, он «попытался изобразить своеобразную душевную жизнь, мистерии нервов в изголодавшемся теле». Парадоксальность и непредсказуемость поступков героя вызваны не только физиологическим состоянием голода. Он существует как бы в двух мирах, действительном и вымышленном, порожденном его фантазией. Эта двойственность запечатлена и в названии романа: в испорченном, извращенном мире его герой испытывает голод не только физиологический, но и духовный, как неудовлетворенную потребность в естественных человеческих взаимоотношениях. Следует отметить и то, что определенную грань между автором и его героем создает сочувственно-иронический тон повествования.

Можно привести ряд примеров того, как трудно роман Гамсуна уложить в какую-либо традиционную схему. Современник Гамсуна И. Йоргенсен в рецензии на роман писал, что «это произведение нельзя назвать ни романом, ни новеллой, ни рассказом». Потому что «ему тесно в рамках понятий, разработанных до настоящего времени эсте-

тической наукой. Это оригинальная, добротно выполненная работа, эпос в прозе, «Одиссея» голодающего». Гамсун также не хотел называть «Голод» романом. В письме Г. Брандесу он настаивает на том, что «"Голод" не роман, но книга», в которой он «исследует живую человеческую душу», глубоко заинтересовавшую его своей «бесконечной подвижностью». «В ней нет никаких писательских выдумок: свадеб, балов, пикников и т. п. Одним словом, это не роман». Сказанное Гамсун повторяет неоднократно. А в письме Э. Фрюденлунду он называет свою книгу «рядом анализов», поскольку в центре авторского внимания — постоянные самонаблюдения героя. На эту особенность романа современные исследователи очень часто обращают свое внимание, считая, что в «Голоде» Гамсун предвосхищает повествовательную технику «потока сознания».

С. 30. *...зато уж Ренана...* — Жозеф Эрнест Ренан (1823—1892) — французский философ, писатель, историк религии, филолог-востоковед. Благодаря эссе Г. Брандеса о Ренане его сочинение «Жизнь Иисуса» (1863) стало широко известно в Скандинавии.

...имя, скользящее и волнующее: Илаяли... — Имя Илаяли навеяно Гамсуну творческой фантазией. Гамсун писал, что «иногда обстоятельства требуют, чтобы имя персонажа характеризовало его уже одним своим фонетическим звучанием». За экзотическим именем героини, возвышающим ее над повседневностью, скрывается вполне земная, сомнительного поведения женщина. Об источнике происхождения этого имени существуют различные версии. По мнению одних (Р. Н. Неттум), «Илаяли» — это либо видоизмененное «Асали» из стихотворения И. П. Якобсена «К Асали» (1886), либо «Юлэлей» (Eulalie) из стихотворения Э. По «Юлэлей» (1845), другие (М. Наг) считают, что оно навеяно Гамсуну персидской надписью «Акхлак», о которой упоминается в книге «Духовная жизнь современной Америки» (1888).

С. 35. *Неужто перст Божий коснулся меня?..* — Здесь и далее рассказчик, пародируя тон библейского повествования, объясняет обрушившиеся на него несчастья делом рук Божьих. При этом социальные мотивировки отодвигаются на второй план. Герой «Голода» не обыкновенный человек, а гений и не собирается апеллировать к общественному состраданию.

С. 40. *Ю.-А. Хапполати.* — Хапполати — финская фамилия, упоминающаяся в эссе Гамсуна «В турне» (1891).

С. 61. *...монету из конгсбергского серебра.* — Конгсберг — город в 84 км от Осло; в 1623 г. неподалеку от Конгсберга были открыты серебряные залежи.

С. 101. *...очерк о Корреджо.* — Антонио Корреджо (наст. фам. Аллегри, ок. 1489—1534) — итальянский живописец, представитель Высокого Возрождения.

С. 132. *Апис* — в древнеегипетской мифологии священный бык, почитавшийся как земное воплощение бога Пта, покровителя искусств и ремесел.

С. 160. *...назвался Вольдемаром Аттердагом...* — Вольдемар IV Аттердаг (ок. 1320—1375) — король Дании с 1340 по 1375 г.

С. 166. *...о землетрясении в Лиссабоне.* — В 1755 г. Лиссабон был разрушен сильным землетрясением.

С. 170. *...изобрел учитель танцев Шекспир.* — Ироническое упоминание Шекспира в целом созвучно той оценке, которую Гамсун дает великому английскому драматургу в докладе «Психологическая литература». Стесненный законами драмы, Шекспир, по мнению Гамсуна, как и Ибсен, не мог создавать произведения, глубоко проникающие во внутренний мир человека.

Пан

В этом романе, по словам Гамсуна, он «попытался прояснить некоторые особенности чувствительной и сверхчувствительной натуры поклонника природы в духе Руссо».

Гамсун долго обдумывал название своего романа. Вначале он хотел озаглавить его по имени главной героини «Эдварда». Но впоследствии от этого намерения отказался, посчитав, что такое название не соответствует замыслу произведения. Когда книга была готова к печати, он сообщил своему издателю, что роман будет называться «Пан».

Согласно классическому мифу, Пан, сын Гермеса, бог лесов, стад и полей, полон страстной влюбленности и преследует нимф. Фигурка Пана на пороховнице намекает на то, что как охотник Глан находится под его покровительством. Сходство с Паном проявляется у Глана в том, что он обладает почти безграничной властью над женщинами. И все же это сходство не затрагивает одну важную особенность его натуры. Глан — современный «нервный человек», превыше всего ставящий мечту и надежду. Неприятие бездушной цивилизации заставляет его искать прибежища в лесу, где в одиночестве он может погрузиться в тайны своего «я». Герой обретает чувство свободы, порывая с обществом.

В названии романа заключен символический смысл. Человек, считает Гамсун, — частичка природы, воплощенной в романе в образе могучего Пана, который живет в каждом из героев и распоряжается его судьбой. Роман Гамсуна «Пан», по словам А. И. Куприна, — «это восторженная молитва красоте мира, бесконечная благодарность сердца за радость существования, но также и гимн перед страшным и прекрасным лицом бога любви» (А. И. Куприн «О Кнуте Гамсуне»).

Лирическое начало, пронизывающее прозу Гамсуна 90-х годов, в «Пане» достигает своей кульминации.

Смерть Глана

Эпилог к роману «Пан» был написан в 1893 году и тогда же опубликован отдельным изданием. События в нем отнесены к 1861 году, т. е. их отделяет от событий, происходивших в «Пане», временной отрезок в шесть лет.

Виктория

Роман «Виктория» — последнее прозаическое произведение Гамсуна 90-х годов. Он был написан за необычайно короткое время: еще в июле 1898 года Гамсун не представлял себе его полного объема («Моя новая книга, — писал он, — будет состоять из двух, может быть, из трех небольших частей»), а в конце сентября «Виктория» была уже подготовлена к печати.

Сюжетную основу произведения, как и большинства романов 90-х годов, составляет история трагической любви. Не случайно в письме Г. Брандесу Гамсун обращает внимание на то, что «Виктория» — это «лирическое произведение» и что в центре его «любовный конфликт, подобный тому, который был изображен в «Пане». В то же время в разработку этого, уже привычного для него, конфликта Гамсун вносит и нечто новое: в «Виктории» звучит не только мотив фатальной обреченности сильного чувства любящих, но и мотив сословного неравенства, ставящего перед ними труднопреодолимые преграды. К этому мотиву Гамсун уже обращался в одном из своих ранних произведений, в романе «Бьёргер» — о любви крестьянского парня и дочери богатого купца. В «Виктории» социальные причины любовной драмы заявляют о себе с новой силой. По сравнению с «Паном» в нем меняется и тональность звучания. Эту особенность романа тонко подметил Куприн, по словам которого, у Гамсуна «существуют разные аккорды» для изображения любви: в «Пане» — это «могучий призыв тела», «трепетное опьянение страсти», «весеннее бурное брожение в крови», в «Виктории» любовь «овеяна нежным, целомудренным благоуханием»*.

---

* Куприн А. Собрание сочинений, т. 6. М., 1958, с. 593.

С. 302. ...*один глаз бывает у троллей*... — Тролли — по скандинавским народным поверьям, враждебные человеку сверхъестественные существа. Позднее ассоциируются с гномами.

С. 315. ...*стихотворение об Эсфири — «еврейской девушке, которая стала королевой персиян»*... — По ветхозаветному преданию, персидский царь Ксеркс (в Библии — Артаксеркс), разгневанный на царицу Астинь, отказавшуюся явиться на званый царский пир, ее устранил и из собранных со всего царства молодых прекрасных девиц избрал царицей иудейку Эсфирь.

Плоды земли

К работе над романом Гамсун приступил летом 1916 года, в разгар кровавых событий Первой мировой войны, убедивших его в бесчеловечном характере индустриальной цивилизации. В «Плодах земли» он решил противопоставить ей свою мечту об идеальном крестьянском обществе, сильном и жизнестойком, уверенном в своем будущем. Замысел романа в значительной степени основывался на реальных фактах норвежской истории. В период Первой мировой войны и после нее в стране осваивалось много новых земель. Эту тенденцию времени Гамсун художественно переосмыслил и выразил в романе, воплотив ее в судьбе своего легендарного героя, Исаака из Селланро, плоть от плоти норвежской земли. Подобно сказочному богатырю, он превращает дикий лесной край в плодородную ниву. Косвенную характеристику герою романа дает другой персонаж, ленсман Гейслер, по словам которого Норвегии для процветания надо бы «иметь тридцать две тысячи таких молодцов».

«Плоды земли» — программное произведение Гамсуна с явно ощутимой морализирующей тенденцией. В образе Исаака из Селланро воплощен идеал норвежского крестьянина-труженика, свободного и независимого, неразрывно связанного с родной землей. В то же время он фигура символическая, как и другие персонажи романа, плод авторской фантазии. Триумф его крестьянского труда противопоставлен краху начинаний других героев, занявшихся торговлей, горным делом и т. п. Младший сын Исаака Сиверт пошел по стопам отца, и ему сопутствует успех. Старший сын Элесеус оторвался от родной почвы и поселился в городе. Его вина в глазах писателя в том, что он не удовлетворен своей крестьянской жизнью. В конце концов он вынужден уехать в Америку, и след его теряется. Жена Исаака Ингер, проведя шесть лет в исправительном доме и приобщившись к городским нравам, только после возвращения в Селланро вновь обретает

душевный покой. Не случайно Гейслер, в уста которого Гамсун вкладывает свои сокровенные мысли, так восхищается трудолюбием Исаака и, предостерегая его от земельных спекуляций, просит лишь об одном: продолжать возделывать свою землю.

Программа жизнеустройства, предложенная Гамсуном в романе, — призыв вернуться назад, к традициям патриархального норвежского крестьянства, консервативная утопия, игнорирующая реальный процесс исторического развития Норвегии. Значение книги, однако, в другом. Роман увидел свет в декабре 1917 года, в разгар мировой войны, и прозвучал как мощный призыв к миру, к мирному созидательному труду. В разрушенной, разоренной войной Европе он был с восторгом встречен читателями.

Высокую оценку «Плоды земли» получили в России. М. Горький в письме Гамсуну 24 января 1923 года назвал новую книгу норвежского писателя «удивительно своеобразной», «эпической идиллией». «Я человек страны, где литература о мужике, мужицкой жизни разработана больше, чем в какой-либо другой стране Европы, — писал Горький. — Труд хвалебно воспевали Лев Толстой и десятки русских литераторов, поляк Реймонт написал огромный роман-эпопею «Год», посвященный деревне и мужику, но все это и многое другое уступает прекрасной и мощной Вашей поэме»*.

С. 427. *...назначу за все про все сто далеров.* — Далер — норвежская серебряная монета, замененная в 1875 г. кроной (из расчета 1 далер — 4 кроны).

С. 431. *...один орт, а это было совсем не мало.* — Орт — старинная мелкая монета.

Фогт — в Норвегии до конца XIX в. судейский и податный чиновник.

С. 509. *...как Израиль, например, — взысканный и обманутый, но все же верующий.* — Израиль — в ветхозаветном предании патриарх, сын Исаака и Ревекки. Живя у своего дяди Лавана, полюбил младшую его дочь красавицу Рахиль и отслужил за нее семь лет. Но Лаван обманом дал ему в жены Лию, свою старшую дочь. Чтобы получить в жены Рахиль, Израиль должен был отслужить дяде еще семь лет.

С. 515. *...явились члены Армии спасения...* — Армия спасения — международная христианская организация, возникшая в 1865 г. в Англии. Позднее распространила свою деятельность в других странах, в том числе и в Норвегии. Занимается вопросами нравственного воспитания и благотворительностью.

---

* Переписка А. М. Горького с зарубежными литераторами. М.,1960, с. 286.

С. 520. *Святой Олаф* — имеется в виду норвежский король Олаф II (ок. 995—1030), завершивший введение христианства в Норвегии.

С. 534. *Семнадцатое мая* — национальный праздник Норвегии, День конституции, принятой 17 мая 1814 г.

С. 539. *Епитимья* — нравственно-исправительная мера в православии и католицизме, налагаемая в качестве наказания на мирян, иноков и пастырей за греховные мысли и поведение.

С. 542. *Лютер чуть не убил его однажды...* — Лютер Мартин (1483—1546) — деятель Реформации в Германии, основатель направления протестантизма-лютеранства. Перевел на немецкий язык Библию, утвердив нормы общенемецкого литературного языка.

С. 555. *Маркграф* — правитель пограничного округа — марки во Франкском государстве в VIII—IX вв. В Средние века — владетели феодальных княжеств.

С. 590. *...предстал бы правым и богатым пред Агнцем и Престолом...* — Выражение «Агнец Божий» в христианстве употребляется для обозначения Иисуса Христа, своей смертью искупившего грехи людей. Престол — четырехугольный стол посредине алтаря в католическом и православном храме, на котором освящаются хлеб и вино для причастия.

С. 621. *...когда ангелы трубили в трубы на Иерихонских стенах.* — Иерихон — город в Палестине (VII—II тыс. до н. э.). В конце II тыс. до н. э. был разрушен еврейскими племенами. По библейскому преданию стены Иерихона рухнули от звуков труб завоевателей (Иис. Н., 6; 19).

С. 671. *...незамужнюю мать следует освобождать от наказания даже за убийство своего ребенка.* — Позиция Гамсуна в этом вопросе явно противоположна и вызвана резким несоответствием, на его взгляд, характера преступления и меры наказания, применявшегося в норвежской судебной практике. «Матери, убивающие своих детей, недостойны жить», — писал Гамсун в статье «Ребенок» (1915), написанной как отклик на судебный процесс в Осло, в результате которого молодая работница за убийство своего новорожденного ребенка была осуждена всего на 8 месяцев тюремного заключения.

С. 676. *Эразм Роттердамский* Дезидерий (1469—1536) — гуманист эпохи Возрождения, филолог, писатель.

Леонардо да Винчи (1452—1519) — итальянский живописец, скульптор, архитектор, ученый, инженер.

С. 693. *...содомские грехи...* — По названию города Содом, жители которого, погрязшие в распутстве, были испепелены огнем, посланным с небес.

С. 699. *...вино знал по браку в Кане Галилейской.* — Намек на библейское предание о «первом чуде» Иисуса, превратившего воду в вино во время брачного пира в Кане Галилейской (Еванг. от Иоанна, 2; I—II).

С. 749. *Благовещенье* — христианский праздник, в основе которого лежит христианский миф о том, что посланец Бога — архангел Гавриил явился избраннице Божьей Марии и возвестил о ее непорочном зачатии от Духа Святого и рождении Иисуса Христа.

А. Сергеев

Содержание

Т. Боровинская. «Певец любви и природы» 5

ГОЛОД. *Перевод Ю. Балтрушайтиса под редакцией В. Хинкиса* 21

ПАН. *Перевод Е. Суриц* 181

ВИКТОРИЯ. *Перевод Ю. Яхниной* 295

ПЛОДЫ ЗЕМЛИ. *Перевод под редакцией Н. Федоровой* 389

ПРИМЕЧАНИЯ 751

С.: ЗФМК С.: БМЛ-2 С.: ЗФМК(портрет)

ISBN 978-5-17-057242-7 ISBN 978-5-17-057243-4 ISBN 978-5-17-062253-5

9 785170 572427 9 785170 572434 9 785170 622535

Исключительные права на публикацию книги на русском языке принадлежат издательству АСТ. Любое использование материала данной книги, полностью или частично, без разрешения правообладателя запрещается.

Литературно-художественное издание

Гамсун Кнут

Голод

Пан

Виктория

Плоды земли

Ответственный за выпуск Л.Ю. Зайцева
Компьютерная верстка: Р.В. Рыдалин
Технический редактор О.В. Панкрашина

Подписано в печать 08.09.09.
Формат 60x90 $^{1}/_{16}$. Усл. печ. л. 48.
С.: ЗФМК. Тираж 1000 экз. Заказ № 4924365
С.: БМЛ-2. Тираж 1000 экз. Заказ № 4924367
С.: ЗФМК(портрет). Тираж 1000 экз. Заказ № 4924366

Общероссийский классификатор продукции
ОК-005-93, том 2; 953000 — книги, брошюры

Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ 77.99.60.953.Д.009937.09.08 от 15.09.08 г.

ООО «Издательство АСТ»
141100, Россия, Московская обл., г. Щелково, ул. Заречная, д. 96
Наши электронные адреса: WWW.AST.RU E-mail: astpub@aha.ru

Широкий ассортимент электронных и аудиокниг
ИГ АСТ Вы можете найти на сайте www.elkniga.ru

ООО Издательство «АСТ МОСКВА»
129085, г. Москва, Звездный б-р, д. 21, стр. 1

Отпечатано на ОАО «Нижполиграф»,
603006 Нижний Новгород, ул.Варварская, 32.

www.elkniga.ru
ISBN 978-5-17-057243-4